А. С. МАКАРЕНКО

избранные
произведения

2



Беспризорные! Этим словом европейская буржуазия пугает своих немногочисленных слушателей.

„Вот, — говорит она, — это наследие революции“. Но мы видим совсем иное наследие революции: коммуну Дзержинского, в которой забытые, беспризорные дети растут активными членами нового общества...

Ю. Фучик

Уважаемый Антон Семенович! Прочел я начало Вашей „Книги для родителей“ и пишу Вам сразу в две руки как редактор и как читатель. ... Вы начали книгу, великое народное значение которой во много раз превосходит „Педагогическую поэму“.

П. Павленко



Грамота, которой был награжден А. С. Макаренко
Народным комиссариатом просвещения за большую работу
по борьбе с беспризорностью

НАРОДНІЙ КОМІСАРІЯТ ОСВІТИ

ГРАМОТА

Народній Комісаріят Освіти — за велику роботу по боротьбі з дитячою безпритульністю, за вмілу організацію роботи в Комуні по вихованню активних і свідомих будівників соціялізму — нагороджує тов. Макаренко Антона Семеновича, помішника начальника Комуни імени „Ф. Е. Джержинського" по педчастини, почесною грамотою.

Заст. Наркома Освіти Карпеко

Член Колегії НКО
Керівник Сектору Соцвиху Баруп



А. Макаренко

Педагогическая библиотека



А.С.МАКАРЕНКО

Избранные произведения в трех томах

А.С. МАКАРЕНКО

Том второй

ФЛАГИ НА БАШНЯХ
КНИГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ К ПОВЕСТИ «ФЛАГИ НА БАШНЯХ» И К «КНИГЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Издание второе

КИЕВ «РАДЯНСЬКА ШКОЛА» 1985

74
М15

МАКАРЕНКО А. С. Избранные произведения: В 3-х т. / Редкол.: Н. Д. Ярмаченко (председатель) и др.— Изд. 2-е.— К.: Рад. шк., 1985.— (Пед. б-ка).

Т. 2.— 574 с.— 4 р. 65 000 экз.

Во второй том вошли произведения «Флаги на башнях», «Книга для родителей», а также авторские материалы, приложения, комментарии и примечания к названным произведениям.

Комментарии и примечания составил *Н. Д. Ярмаченко*, действительный член АПН СССР.

М $\frac{4702010200-289}{М210(04)-85}$

ФЛАГИ НА БАШНЯХ

Повесть в трех частях

Текст
(за исключением главы «На всю жизнь»)
с некоторыми сокращениями
и редакционными правками
печатается по изданию:
Макаренко А. С. Флаги на башнях.
М.: Правда, 1983.
Глава «На всю жизнь» печатается по изданию:
Макаренко А. С. Сочинения: В 7-ми т.
М.: Изд-во АПН РСФСР, 1957, т. 3.

В «Флагах на башнях»... я хотел изобразить тот замечательный коллектив, в котором мне посчастливилось работать, изобразить его внутренние движения, его судьбу, его окружение.

А. Макаренко

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. ЧЕЛОВЕКА СРАЗУ ВИДНО

Началась эта история на исходе первой пятилетки.

От зимы остались корки льда, прикрытые от солнца всяким хламом: соломенным прахом, налетами грязи и навоза. Поношенный булыжник привокзальной площади греется под солнцем, а между булыжником просыхает земля, и за колесами уже подымаются волны новенькой пыли. Посреди площади — запущенный палисадник. Летом в палисаднике распускаются на кустах листья, и бывает похоже на природу; сейчас же здесь просто грязно, голые ветки дрожат, как будто на земле не весна, а осень. От площади в городок ведет мостовая. Городок — маленький, случайно попавший в географию. Многие люди о нем и совсем не знали бы, если бы им не приходилось делать пересадку на узловой станции, носящей имя города.

На площади стоит несколько ларьков. В сторонке почта, на ее дверях желтая яркая вывеска. Возле почты скучают две провинциальные клячи, запряженные в перекосившиеся экипажи-линейки. Движение на площади небольшое — больше проходят железнодорожники с фонарями, кругами веревки, фанерными чемоданчиками. Рядок будущих пассажиров — крестьян сидит на земле у стены вокзала, греется на припеке.

В сторонке от них расположился в одиночестве Ваня Гальченко, мальчик лет двенадцати. Он грустит у своей подставки для чистки сапог и щурится на солнце. Подставка у него легонькая, кое-как сбитая из обрезков,— видно, что Ваня мастерил ее собственноручно. И припасу у него немного.

У Вани чистое, бледное лицо и костюм еще исправный, но в лице и в костюме уже зародился тот беспорядок, который потом будет отталкивать добрых людей на улице и неудержимо привлекать на сцене или на страницах книги. Этот процесс байронизации[1] Вани только-только что начался,— сейчас Ваня принадлежит еще к тем людям, которых не так давно называли просто «хорошими мальчиками».

Из-за палисадника, описывая быструю, энергичную кривую, картинно заложив руки в карманы пиджака, щеголяя дымящейся в углу рта папиросой, вышел здешний молодой человек и прямо направился к Ване. Он поддернул новенькую штанину, поместил ногу на подставке и спросил, не разжимая зубов:

— Желтая есть?

Ваня испугался, поднял глаза, ухватился за щетки, но тут же увял и растерянно-грустно ответил:

— Желтая? Нету желтой.

Молодой человек обиженно снял ногу с подставки, снова заложил руки в карманы, презрительно пожевал папиросу.

— Нету? А чего ты здесь сидишь?

Ваня развел щетками:

— Так черная есть...

Молодой человек гневно толкнул носком ботинка подставку и произнес скрипящим голосом:

— Только голову морочите! Черная есть! Ты имеешь право чистить?

Ваня наклонился к подставке и начал быстро складывать свое имущество, и глаза поднял на молодого человека. Он собрался было произнести слова оправдания, но в этот момент увидел за спиной молодого человека новое лицо. Это юноша лет шестнадцати, худой и длинный. У него насмешливо-ехидный большой рот и веселые глаза. Костюм старенький, но все-таки костюм, только рубашки под пиджаком нет, и поэтому пиджак застегнут на все пуговицы и воротник поднят. На голове клетчатая светлая кепка.

— Синьор, уступите очередь, я согласен на черную...

Молодой человек не обратил внимания на появление нового лица и продолжал с надоедливой внимательностью:

— Тоже чистильщик! А документ у тебя есть?

Ваня опустил щетки и уже не может оторваться от гневного взгляда молодого человека. Раньше Ваня где-то слышал, какое значение имеет документ в жизни человека, но никогда серьезно не готовился к такому неприятному вопросу.

— Ну? — грубо спросил молодой человек.

В этот печальный момент на Ваниной подставке опять появилась нога. На ней очень древний ботинок светло-грязного цвета, давно не пробовавший гуталина. Вследствие довольно невежливого толчка молодой человек отшатнулся в сторону, но толчок сопровождался очень вежливыми словами:

— Синьор, посудите, никакой документ не может заменить желтой мази.

Молодой человек не заметил ни толчка, ни вежливого обращения. Он швырнул папиросу на мостовую и, порываясь ближе к Ване, оскалил зубы:

— Пусть документ покажет!

Обладатель светло-грязного ботинка гневно обернулся к нему и закричал на всю площадь:

— Милорд! Не раздражайте меня! Может быть, вы не знаете, что я — Игорь Чернявин?

Наверное, молодой человек действительно не знал об этом. Он быстро попятился в сторону и уже издали с некоторым страхом посмотрел на Игоря Чернявина.

Тот улыбнулся ему очаровательно:

— До свиданья... До свиданья, я вам говорю! Почему вы не отвечаете?

Вопрос был поставлен ребром. Поэтому молодой человек охотно прошептал «до свиданья» и быстро зашагал прочь. Возле палисадника он задержался, что-то пробурчал, но Игорь Чернявин в этот момент интересовался только чисткой своих ботинок. Его нога снова поместилась на подставке. Ваня весело прищурил один глаз, спросил:

— Черной?

— Будьте добры. Не возражаю. Черная даже приятнее.

Ваня одной из щеток начал набирать мазь. Героическое столкновение Игоря Чернявина с молодым человеком нравится Ване, но он спрашивает:

— Только... Десять копеек. У вас есть десять копеек?

Игорь Чернявин растянул в улыбку свои ехидные губы:

— Товарищ, вы всем задаете такой глупый вопрос?

— А есть десять копеек?

Игорь Чернявин ответил спокойно:

— Десяти копеек нет.

Ваня с тревогой приостановил работу:

— А... сколько у тебя есть?

— Денег у меня нет... Понимаешь, нет?

— Без денег нельзя.

Рот у Игоря удлинился до ушей, и в глазах изобразился любознательный вопрос:

— Почему нельзя? Можно.

— Без денег?

— Ну, конечно, без денег. Ты попробуй. Очень хорошо получится.

Ваня взвизгнул радостно, потом прикусил нижнюю губу. В его глазах загорелось настоящее задорное вдохновение.

— Почистить без денег?

— Да. Ты попробуй. Интересно, как получится без денег.

— А что ж? Возьму и попробую...

— Я по глазам вижу, какой ты человек.

— Сейчас попробую. Хорошо получится.

Ваня бросает на клиента быстрый иронический взгляд. Потом он энергично принимается за работу.

— Ты беспризорный? — спросил Игорь.

— Нет, я еще не был.

— Так будешь. А в школу ходишь?

— Я ходил... А потом они уехали.

— Кто? Родители?

— Нет, не родители, а... так. Они поженились. Раньше были родители, а потом...

Ване не хочется рассказывать. Он еще не научился с пользой реализовать в жизни собственные несчастья. Он внимательно заглядывает на потрепанные задники ботинок Игоря.

— Коробку эту сам делал?

— А что? Плохо?

— Замечательная коробка. А где ты живешь?

— Нигде. В город хочу ехать... Так денег нет... Сорок копеек есть.

Ваня Гальченко рассказывает все это спокойно.

Работа кончена. Ваня поднял глаза и спросил с гордостью и юмором:

— Хорошо получилось?

Игорь потрепал Ваню по русой взлохмаченной голове:

— А ты пацан веселый. Спасибо. Человек, понимаешь, сразу видно. Поедем вместе в город?

— Так денег нет... Сорок копеек.

— Чудак. Разве я тебе говорю: купим что-нибудь? Я говорю: поедем.

— А деньги?

— Так ведь ездят не на деньгах, а на поезде? Так?

— Так,— кивнул Ваня размышляя.

— Значит, нам нужны не деньги, а поезд.

— А билет?

— Билет — это формальность. Ты посиди здесь, я сейчас приду.

Игорь Чернявин достал из кармана пиджака какую-то бумажку, внимательно ее рассмотрел, потом подставил бумажку под лучи солнца и сказал весело:

— Все правильно.

Он показал на здание почты:

— В том маленьком симпатичном домике есть, кажется, лишние деньги. Ты меня подожди.

Он проверил пуговицы пиджака, поправил кепку и направился не спеша к почте. Ваня проводил его внимательным, чуть-чуть удивленным взглядом

2. ТРИ ПИРОЖКА С МЯСОМ

В кустах станционного палисадника стоит шаткая скамья. Вокруг скамьи бумажки, окурки, семечки. Сюда пришли откуда-то все тот же здешний молодой человек и Ванда Стадницкая. Может быть, они пришли из города, может быть, с поезда, а скорее всего они вышли вот из-за этих самых тощих кустов палисадника. У Ванды калоши на босу ногу, старая юбчонка в клетку и черный жакет, кое-где полинявший и показывающий желтую крашенину. Ванда очень хорошенькая девушка, но заметно, что в ее жизни были уже тяжелые неудачи. Белокурые ее волосы, видно, давно не причесывались и не мылись,— собственно говоря, их нельзя уже назвать белокурыми.

Ванда тяжело опустилась на скамью и сказала сонным, угрюмым голосом:

— Иди к черту! Надоел.

Молодой человек дрогнул коленом, поправил воротник, кашлянул:

— Дело ваше. Если надоел, могу уйти.

Молодой человек достал из кармана кошелек, долго в нем искал, облизнул губы, положил три монеты на скамейку около Ванды и ушел.

Держась рукой за спинку скамьи, склонив голову на руку, Ванда не то мечтательным, не то безнадежным взглядом глядела на далекие белые облака. Потом, удобней улегшись щекой на сукно рукава, она, не мигая, засмотрелась на переплеты голых кустов палисадника. В таком положении сидела она очень долго, пока рядом с ней не уселся Гришка Рыжиков Это угрюмый, некрасивый парень. На щеке — заживающая болячка. Фуражки нет, но рыжие волосы причесаны. Новые суконные

брюки и заношенная, полуистлевшая рубаха. Вытянув ноги в тапочках и как бы любуясь ими, он спросил:

— Нет пошамать?

Не меняя позы, Ванда сказала медленно:

— Отстань.

Рыжиков ничего не сказал, но, видимо, и не обиделся. Они сидели и молчали еще несколько минут, до тех пор, пока у Рыжикова не устали ноги. Он резко повернулся на скамейке. Двугривенный и два пятака свалились на землю. Не спеша Рыжиков поднял их и разложил на ладони.

— Твои?

Несколько раз подбросил деньги на руке. Сказал задумчиво:

— Три пирожка с мясом.

Продолжая подбрасывать монеты на ладони, он побрел к вокзалу.

3. ДОБРАЯ БАБУШКА

Игорь Чернявин вошел в помещение почты и огляделся. Комната была маленькая, перегороженная деревянной решеткой. В решетке два окна. У одного — длинная очередь, у другого, где надпись: «Заказная корреспонденция. Прием и выдача денежных переводов»,— ожидают всего трое посетителей. Игорь стал позади сгорбленной, пухлой старушонки и пригляделся к «барышне» за окном. Но это вовсе и не барышня,— сухая бледная женщина, и лет ей не меньше сорока. Игорь ощупал в кармане свою бумажку и подумал, что «барышня», к сожалению, мало симпатична. Соображения о бумажке и «барышне» так его заняли, что он не заметил, как его предшественница в очереди молниеносно закончила свое дело и исчезла.

— Вам что?

Несимпатичная женщина за окном строго смотрела на Игоря.

— Здесь должен быть перевод... до востребования... Игорю Чернявину...

Она забегала сухими пальцами по краям целого отряда переводов, сложенных в ящике. Выхватила один из них, поднесла к глазам:

— Это — вы?

— Это — я.

— Это вы — Чернявин?

У Игоря в груди пробежал легкий, приятный холодок:

— Собственно говоря, это я.

Женщина посмотрела на Игоря сердито:

— Как вы странно говорите: «собственно говоря»! Вы Чернявин или нет?

— Ну конечно, я. Какие же могут быть сомнения?

— Покажите ваш документ.

Игорь отвернулся и полез в карман. Мельком взглянул на двери. Двери открыты настежь, за ними свежее небо и прекрасный жизненный простор. Игорь протянул женщине документ. Она прочитала все от первого до последнего слова, глянула на обратную сторону, глянула на Игоря:

— Здесь написано, что вы командируетесь в областной отдел связи. А почему вы у нас получаете деньги?

— А я... так сказать, проездом.

— «Так сказать»... Сколько же вам лет?

— Восемнадцать ..

— Да не выдумывайте!

Игорь улыбнулся смущенно.

— Что же я могу поделать, если я такой .. моложавый...

— Я спрошу у заведующего. .

Она направилась к узенькой двери в углу. За спиной Игоря о чем-то зашептались в очереди. Открытая дверь потянула его к себе неудержимо.

Оглянулся. в очереди — больше женщины.. пожилой рабочий, довольно сонного вида. Игорь поставил локоть на полку и принял рассеянно-скучающий вид.

— Чернявин? Вы где живете?

Не снимая с полки локтя, Игорь неохотно повернул лицо. Заведующий небрит и тоже несимпатичен.

— Что?

— Вы где проживаете? В каком городе?

— В Старосельске.

— А почему сюда адресованы деньги?

— Это не ваше дело,— произнес Игорь со скукой.

— Как это не мое дело?

— Абсолютно не ваше.

— Я в таком случае денег не выдам.

Заведующий произнес эти слова решительным голосом, но бумажка дрожит у него в руке, а глаза неуверенно присматриваются к Игорю. Тоже — физиономист!

Игорь Чернявин высокомерно улыбнулся:

— В таком случае позвольте мне жалобную книгу.

Заведующий всеми пальцами потер небритую щеку:

— Жалобную? А что вы будете записывать?

— Я запишу, что вместо денег вы предлагаете мне глупые вопросы...

— Молодой человек! — закричал заведующий.

Но закричал и Игорь:

— Глупые вопросы! Почему сюда высланы деньги? Это не ваше дело, почему! Может быть, они высланы на мои похороны. А может быть, на мою свадьбу! Я должен вам объяснять, почему? Давайте или деньги или жалобную книгу!

В очереди засмеялись. Игорь оглянулся: очередь была на его стороне. Одна из женщин сказала с горечью:

— Вот они всегда такие. Чего куражиться над бедным мальчиком! Родители, может, прислали.

Заведующий стоял, думал над бумажкой.

— Отпускай там скорей, чего нас держишь? — закричали в очереди.

— Хорошо,— произнес заведующий с угрозой,— я деньги выдам. Но я запрошу Старосельск.

— Будьте добры, синьор, запросите.

— Выдайте им,— распорядился заведующий.

И вот Игорь Чернявин стоит на крыльце. В одной руке у него деньги, в другой — старосельский документ. Игорь вытянул губы:

— Родители, может, прислали...

На душе у Игоря радостно. Над площадью бродят праздничные облака, станционный палисадник дышит полной грудью и собирается нарядиться в зелень. У стены вокзала сидят крестьяне и с удовольствием ждут поезда. Подальше над своей подставкой сидит Ваня Гальченко [redacted] смотрит в сторону Игоря. Игорь отделил белую кредитку и положил в наружный карман пиджака. Остальные деньги аккуратно задвинул подальше,— есть такой карман у самого голого тела. Он направился к Ване:

— Приветствую тебя, труженик!

Достал из наружного кармана белый кредитный билет, встряхнул им в воздухе, торжественно сказал:

— Вот тебе, мальчик, за то, что помог мне в тяжелую минуту

Ваня испуганно вскочил с большого серого камня, на котором сидел. Его глаза удивленно заострились. Он осторожно взял бумажку.

Игорь, улыбаясь, наблюдал: на деньги Ваня сначала смотрел серьезно, потом серьезно-недоверчиво, потом поднял на Игоря лукаво-понимающие глаза:

— А теперь какая минута?

— Теперь такая минута, что ты можешь купить себе гуталина — желтого, красного, зеленого и оранжевого.

Ваня радостно взвизгнул:

— А для чего зеленого?

— Ну, представь себе такой случай: подходит к тебе крокодил.

Ваня пришел в восторг:

— Крокодил? И говорит: пожалуйста, у вас есть зеленая?

— Ну да. А ты отвечаешь: а как же...

— А почему так: то не было денег, [redacted] то сколько денег?!

Ваня смотрел на Игоря серьезно, но в его внимательных серых глазах плясали настороженные веселые точечки.

Игорь ответил несколько в нос:

— Чудак. Всегда так бывает: нет денег, а потом есть. И у тебя так: сначала не было, а теперь — десять рублей.

— Получку получил?

— Нет, это бабушка узнала, что [redacted] тяжелом положении, и прислала мне сто рублей.

— Сто рублей?

Игорь громко смеется. Смеется [redacted] Ваня. Но чрезвычайно дельный вопрос приходит ему [redacted] голову:

— У бабушки не может быть сто рублей. Бабушка ведь не работает. Это, наверно, дедушка?

— Пускай дедушка. Только знаешь что? Давай о родственниках после поговорим. А сейчас купим шамовки и подумаем, как нам добраться до города Лондона.

Ваня не стал расспрашивать [redacted] удивляться. Он деловым движением, напрягая губы, сложил десятку и спрятал в карман. Потом расставил ноги [redacted] коротких штанишках и [redacted] исправных ботинках, пошевелил пальцами и бросил на свое производство взгляд сверху. Быстро присел, сложил [redacted] ящик щетки и коробки, прихлопнул крышку, взялся за ремень.

4. ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖИКОВА

Пирожки были сочные и вкусные, но одним движением челюстей они превращались в нежный невесомый комок, который проглатывался почти без ощущения,— только аппетит просыпался по-настоящему.

На угрюмом лице Рыжикова это отразилось усиленным блеском глаз и острой внимательностью ко всему окружающему.

У кассы стояла очередь. Окно кассира было еще закрыто, но перед окном собралось уже человек двадцать.

Это была опасная провинциальная очередь тех лет — все скромные, трезвые, бедные люди. Самым выдающимся лицом в очереди был невысокого роста человек в зимней бекеше, воротник и карманы которой были обшиты серым барашком. Но за ним стояла обозленного вида худая женщина, из тех, которые дрожат за свое место в очереди, как будто в этом месте уж такое большое счастье. За нею тоже женщины, и все простого звания. Деньги они зарыли под юбки или за пазухи, да и какие у них деньги? У черненькой аккуратной девчонки деньги зажаты в кулаке, крепко держит.

Эта станция и эта очередь плохо приспособлены для удачной операции. Люди здесь осторожные, деньги у них небольшие, и за деньги они держатся обеими руками. И лица у них скучные: билетов здесь на всех хватает, никто не волнуется и не может забыть о своих деньгах.

Рыжиков вспоминает вокзал большого города. Правда, там есть неудобства: милиционеры, стрелки и другие строгости. Каким-то чудом, невзирая на деловую походку Гришки и его пассажирскую физиономию, они умеют узнавать самые сокровенные мысли и даже документов не спрашивают, а говорят просто:

— Ну, молодой человек, пойдем со мной!

Зато какой там пассажир — в большом городе! Какие там волнения, какие чувства, сколько там настоящей жизни! Целый день человек бродит между кассовыми окошками, торчит перед справочным бюро, расспрашивает носильщиков, пассажиров. Целые ночи просиживает на вокзале. Кто попроще, раскладывается на полу и спит так крепко, что не только деньги,— душу можно вытащить незаметно. Кто покультурнее, те, конечно, не спят, те бродят, мечтают... Билеты там покупаются дорогие, далекие, в карманах покоятся бумажники, черные, коричневые, пухлые.

Кто может быть счастливее человека, только что получившего билет в вокзальной кассе? Он стоял в очереди, он ссорился с ее нарушителями, он трепетал, ожидая, что не хватит билетов, он жадно прислушивался к невероятным разговорам и слухам. И вот он, радостный, еще не веря своему счастью, бредет в толпе по вокзальному залу и читает билет дрожащими глазами, он забыл обо всем — о жене, о начальнике, о своем чемодане, о своем бумажнике, который так берег в очереди...

Рыжиков вдруг оживился. За последней женщиной стал в очередь волосатый мужчина в стареньком пиджаке. Сапоги у него хорошие — вытяжки, на шее шарф зеленого цвета, а брючный карман приятно рисуется точным, хорошего размера прямоугольником.

Рыжиков не спеша направился к очереди и стал за пиджаком. Внимательно присматриваясь к какой-то рекламе, он повернулся к пиджаку боком, и в следующий момент его два пальца ощутили бугристый угол бумажника. Гришка потянул вверх, бумажник неслышно пошел, еще мгновение и... шершавая лапа жадно ухватила руку Рыжикова, и против его глаз очутилось испуганно-перекошенное лицо:

— Ах ты, сволочь какая! Ну, что ты скажешь?

Рыжиков рванулся в сторону,— неудачно. Он закричал общепринятым обиженно-угрожающим голосом:

— Чего ты пристал? Смотри!

— Где я эту руку поймал?

— Чего ты хватаешь?

— Нет, стой, голубчик!

Неожиданным резким движением Гришка выдернул руку и бросился в двери на перрон. Через платформу и ближайшие пути он перемахнул, почти не касаясь земли, и нырнул под товарный состав. Под другой. Присел, оглянулся. На перроне топталось несколько человек. Плеч и голов он не видел, но сразу узнал вытяжки, а рядом с ними полы серой шинели и блестящие узкие сапоги. Услышал тот же взволнованный голос:

— Ах ты, какой бандюга!

Шинельный подол пошел волнами, и начищенные сапоги двинулись вперед, спрыгнули с перрона. Рыжиков, мелькая тапочками, побежал вдоль товарных составов к железнодорожным стре́лкам. На душе у него было тяжело, но зато аппетит прошел.

5. ЗАВТРАК В САДУ

В руках у Игоря две французские булки, колбаса и банка варенья. Еще на вокзале он сказал Ване:

— Здесь все пропитано железнодорожными бактериями. Давай лучше позавтракаем в саду. Там есть такая маленькая скамеечка.

Но, войдя в палисадник, они увидели на маленькой скамеечке Ванду Стадницкую. Она сидела, положив голову на руку, вытянутую по спинке скамейки. Игорь воскликнул:

— О! Это купе занято!

Он на носках обошел мечтательную фигуру Ванды, сначала подозрительно покосился на калоши, надетые на босу ногу, но когда очутился против ее открытых серых глаз, обратился к ней серьезно, без улыбки:

— Мадемуазель, вы разрешите позавтракать в вашем присутствии?

Его учтиво склоненная фигура, застегнутый до воротника пиджак и ярко начищенные ботинки произвели на Ванду приятное впечатление. Грустная, она все же разрешила себе привычно-кокетливую ужимку и даже чуть-чуть улыбнулась:

— Пожалуйста!

Игорь со сдержанным оживлением сказал:

— Мерси.

Ванда удивленно оглядела мальчиков и подвинулась на край скамейки. Облака перестали ее занимать, она занялась более прозаическим

пейзажем привокзальной площади. Игорь быстро разложил на скамейке закуску, уселся на другом конце. Ваня загремел ящиком, поставил его на землю, уселся за скамейкой, как за столом, сводя плечи в предвкушении завтрака. Игорь разрезал колбасу и спросил:

— Ваня! А как мы будем варенье есть? Пальцами?

Ваня завертел головой, оглядел палисадник:

— А мы... такие... ложечки сделаем... из дерева. Ножиком.

— У вас нет ложечки, миледи? — обратился Игорь к Ванде.

Он произнес это чрезвычайно вежливо, таким тоном, каким пользуются только самые изысканные путешественники, обращаясь друг к другу в купе международного вагона. У Ванды блеснули глаза от удовольствия, но, во-первых, очевидно было для самого неиспытанного глаза, что у нее нет никаких вещей,— она имела вид пассажира без багажа; во-вторых, от колбасы исходил чарующий запах. Ванда проглотила слюну и ответила с жеманной обидой:

— Ну, что вы? Какие у меня ложечки?!

— Серебряные,— приветливо пояснил Игорь.

Ванда ничего не ответила, снова протянула руку по спинке скамейки, обратилась к облакам. Но в ее глазах уже нет прежней грустной мечтательности.

Ваня держит в руке половину французской булки, он решительным рывком откусывает от нее большие куски, а колбасу берет с бумажки осторожно, двумя грязными пальцами. Проделывая все это, он то и дело поглядывает на Ванду. Он не замечает ни ее босых грязных ног, ни безобразной копны волос. Он видит только ее нежную розовую щеку, наружный уголок глаза, выгнутые темные ресницы.

Ваня отломил горбушку, положил на нее два ломтика колбасы, протянул Ванде. Ванда не заметила этого, и Ваня вопросительно посмотрел на Игоря. Игорь ест с увлечением, работает руками, зубами, ножиком. Но быстро, между делом, он кивает Ване в знак одобрения и свободной рукой треплет его по плечу. Ваня, немного поколебавшись, легонько прикоснулся к колену соседки. Она повернула к нему голову, хотела улыбнуться кокетливо, но не вышло,— улыбнулась просто, благодарно и не спеша начала есть, отщипывая булку мелкими кусочками.

Все это произошло в полном молчании. Покончив с нарезанной колбасой и принимаясь снова резать, Игорь спросил деловито, не глядя на Ванду:

— Вы куда едете, синьорита?

Ванда отвернулась к вокзалу, перестала жевать и сказала скучливо:

— Я не знаю.

— Поедем с нами,— предложил Ваня весело, поворачиваясь к Ванде на своем ящике — Тебя как зовут?

— Ванда.

— О! Вот это да! Ванда!

— Это польское имя.

— Поедем! Там у него дедушка и бабушка,— Ваня иронически сверкал глазами и следил за Игорем, принимающим его иронию с дружеским добродушием.

Но Ванда почему-то ничего не ответила на буйную радость Вани. Она положила на скамью недоеденный кусок булки, сказала почти растерянно, опираясь руками на край скамьи:

— Я не знаю... куда поехать...

Игорь пристально глянул на нее [redacted] занялся банкой с вареньем. Оживление Вани вдруг исчезло. Он с недоумением присмотрелся к Ванде, глянул на Игоря, как будто [redacted] выражении его лица искал ответа. Игорь замычал какую-то песенку, поставил банку на скамью [redacted] сказал строго.

— Ты, Ванда, поедешь с нами, [redacted] там видно будет.

Вот теперь Ваня все понял. Но Ванда посмотрела на Игоря испуганно:

— Я не знаю...

— Ты не знаешь, а я знаю. Сейчас придет поезд,— сядем [redacted] купе, все обсудим.

Ваня воззрился на Игоря: какое купе? Ванда покорно замолчала.

[redacted] этот момент из-за кустов выглянул Рыжиков. Оглядел компанию, выдвинулся вперед, остановился, тупо засмотрелся на еду. Ванда метнула [redacted] Рыжикова ненавидящий взгляд. Игорь засмеялся:

— У тебя неприятности, Рыжиков?

Рыжиков ничего не ответил.

— Ешь,— предложил Игорь,— я всегда говорил: воровское дело — самое невыгодное. Тебя сегодня били? Я видел, как ты засыпался.

— Убежал,— прохрипел Рыжиков [redacted] принялся за еду.

— И то счастье! Это ужасно глупо. У каждого человека две руки, [redacted] каждый старается схватить тебя руками,— Игорь брезгливо вздрогнул.— Это глупо! Надо так делать, как я.

— Бабушка, да? — спросил Ваня.

— Бабушка — почта. Присылает тебе записочку: дорогой Игорь, будьте добры, придите, пожалуйста, и ради бога возьмите сто рублей. А если не придешь,— вторая записочка: какое безобразие, почему вы не берете сто рублей? Пожалуйста, возьмите.

Рыжиков отвернулся обиженно:

— Записочку... Конечно, когда ты грамотный.

— А если ты неграмотный — иди работать. А то — в карман! Что может быть глупее? — Игорь запустил кусок булки [redacted] банку с вареньем: — Работать — это тоже неплохо. Многие одобряют.

6. В КУПЕ

Через степь бежит длинный товарный поезд. На одной из платформ стоит накрытый брезентом трактор. На краю брезента, спускающегося с трактора, спит Ванда, свернувшись калачиком. Игорь Чернявин сидит около ее ног, обнял руками свои колени [redacted] рассеянным взглядом посматривает по сторонам. Рыжиков, расставив ноги [redacted] тапочках, стоит против него. Ваня спустил ноги с платформы и любуется степью, широкой дорогой, первой весенней зеленью.

Выехали вчера вечером, долго укладывались спать, было холодно. Потом залезли под брезент, копошились там и ежились, наконец заснули. Под брезентом еще и тем хорошо, что на остановках ничьи любопытные взгляды не беспокоили пассажиров и никто не мешал спать. Игорь Чернявин, засыпая, сказал:

— Это самое лучшее купе, никакой давки и тесноты, свежий воздух и никто не говорит глупостей: предъявите ваши билеты!

Утром проснулись рано и вылезли из-под брезента в хорошем настроении. Только на больших станциях снова пользовались его гостеприимством, но уже не в качестве спального места, а исключительно для того, чтобы не волновать поездной прислуги. А потом Ванде захотелось поспать на солнышке.

Рыжиков молчал, молчал, наконец спросил:

— Зачем Ванду потащил в город?

— А тебе какое дело? — Игорь прищурил на Рыжикова глаза, может быть, потому, что из-за Рыжикова над крышей соседнего вагона поднималось чистое, словно умытое, солнце.

— Значит, есть дело.

— В городе что-нибудь найдем. Работу или что...

— Ты не хочешь работать, а ей нужно?

Рыжиков сказал это в упор, он лез в ссору.

— А ей нужно,— спокойно сказал Игорь, отвернулся от Рыжикова и покровительственно посмотрел на Ванду.

— Люди все работают,— с края платформы отозвался Ваня.

Рыжиков закричал на Ваню:

— Ты, пацан, замри, пока в рожу не схватил!

Игорь произнес в нос:

— Месье, в рожу можете только с моего письменного разрешения.

Рыжиков медленно навел на Игоря через плечо угрюмо угрожающие глаза:

— С твоего разрешения?

— И притом письменного... Подайте мне заявление...

— Какое заявление?

— О том, что вы желаете заехать ему в рожу.

Рыжиков оживился, направился к Ване:

— Интересно! Интересно, как выйдет без разрешения.

Ваня испуганно стрельнул взглядом, быстро на руках вскочил, бросился к Игорю. Рыжиков протянул руку, чтобы поймать Ваню, но как-то так случилось, что Игорь стал между ними. Рыжиков не успел даже бросить на Игоря презрительный взгляд, не успел протянуть руку для защиты. Стремительный кулак Игоря Чернявина направился как будто в лицо Рыжикова, но с ног его повалил неожиданный удар в живот. Рыжиков свалился прямо на спящую Ванду. Ванда проснулась, вскрикнула в испуге:

— Ой! Что такое? Чего ты?

Игорь спокойно улыбнулся:

— Не беспокойтесь! Рыжиков спать хочет. Уступите спальное место.

Ванда брезгливо обернулась к Рыжикову, но сейчас же и улыбнулась: вид скривившегося Рыжикова, очевидно, ей понравился.

— Ты его побил? За что?

Рыжиков приподнялся на локте, выпятил толстые губы. Рыжие космы [redacted] беспорядке спадали на лоб, почти закрывая наглые зеленые глаза.

— Ты чего скалишься? Он за тебя заступаться не будет.

Ванда покачала головой:

— А может [redacted] будет!

— Ты...— Рыжиков вскочил на ноги, сжал кулаки.

Игорь улыбнулся, положил руку на плечо Вани, сказал [redacted] сторону, почти нехотя, скучно:

— Имейте в виду, сэр: в этом купе вы пальцем никого не тронете.

Рыжиков засунул руки в карманы, ухмыльнулся:

— Ты, наверное, не знаешь, кто она такая?

Игорь посмотрел на Рыжикова удивленно:

— А что такое?

— Ты, может, думаешь, она барышня? Сказать, какая ты есть?

— Пошел ты [redacted] черту! Жаба! Ну и говори! Все вы сволочи!

Рыжиков обрадовался:

— Ха! Она же проститутка! Понимаешь, какое дельце?

Ванда медленно пошла к краю платформы, подняла воротник жакета, втянула [redacted] воротник встрепанную голову. Игорь двинулся к Рыжикову, но Рыжиков захохотал и, ловко перепрыгнув на другую сторону платформы, спрятался за трактором.

Ваня еле успевал следить за происходящим.

Игорь подошел к Ванде. Глядя [redacted] пол платформы, спросил:

— Верно?

Ванда быстро повернулась, ответила с прежней ненавистью:

— Ну и что ж, верно! А твое какое дело? Может, поухаживать хочешь?

Игорь покраснел, скривил рот, отвел глаза от жадного взгляда Вани Гальченко.

— Да... нет! А только... сколько ж тебе лет?

Ванда кокетливо повела головой, чуть-чуть, через плечо, задела взглядом Игоря:

— Ну [redacted] что ж? Пятнадцать.

Игорь почесал медленно затылок, грустно улыбнулся и сказал:

— Хорошо... Больше ничего, синьора, вы свободны.

Она тронулась с места, неслышно, медленно прошла к брезенту, зябко втягивая голову [redacted] воротник, опустилась на брезент и тихонько улеглась, отвернувшись к трактору.

Игорь, насвистывая, загляделся на степь. Далеко впереди встали из-за пологих холмов белые верхи зданий. Над ними нависло солнце.

Промелькнула внизу босоногая команда девушек, ноги у них были еще белые, не загоревшие. Одна из девушек что-то крикнула Игорю, другие засмеялись. Игорь проводил их скучным взглядом, отвернулся. Ваня взглянул на Ванду, осторожно прислушался к Рыжикову за трактором, стал рядом с Игорем, поднялся на носки, спросил шепотом:

— Она плачет?

Игорь ответил сурово, не глядя на Ваню:

— Неважно!

Платформу сильно качнуло на стрелках.

— Приехали,— сказал Игорь.

Через многочисленные стрелки, мимо мелькающих просветов товарных составов поезд забирал вправо, быстро проходя пассажирскую станцию. Над крышами стоявших вагонов проплыли надстройка вокзала и длинные выпуклые кровли перронов. Поезд выскочил на узкую насыпь, которая правильной кривой огибала неожиданно широкий луг у самого края города. За лугом соломенные крыши белых хат. Но снова стрелки дернули поезд, и он более осторожно начал втягиваться в широкую сеть товарных путей. Хат уже не было, на горе стояли и смотрели на поезд красные, серые, розовые дома города.

Ванда зашевелилась на брезенте, села, отвернула лицо к городу. Поезд вошел в узкую длинную перспективу других товарных поездов, очень медленно продвигался между ними. Игорь задумался, глядя на проплывающую замасленную поверхность станционного полотна.

Сзади него что-то глухо стукнуло. Игорь быстро обернулся. На их платформе стоял, выпрямляясь после трудного прыжка и внимательно разглядывая их, стрелок железнодорожной охраны. Ванда неслышной тенью слетела с платформы.

— Это ты — Игорь Чернявин?

— Я.

— Ага! Тут у нас телеграмма... Ты получил сто рублей по подложному переводу?

Игорь влепился в стрелка восхищенным взглядом:

— Ой, и народ же быстрый! Получил, представьте. Я отказывался, понимаете...

Стрелок ухмыльнулся, кивнул:

— Идем.

Игорь почесал нос:

— Ах ты, черт! Жалко, Ванька, с тобой расставаться. Хороший ты человек! И Ванда... Вы понимаете, товарищ стрелок, некогда мне.

Ваня растерялся:

— А... куда ты?

— Я? Именем закона... арестован.

— За что?

— За бабушку.

— Идем, идем,— повторил стрелок и тронул Игоря за плечо.

Игорь взялся за борт платформы, готовясь спрыгнуть. Оглянулся на Ваню:

— А ты, Ванюшка, иди в колонию. Здесь, говорят, приличная. Имени Первого Мая.

Он спрыгнул. За ним спрыгнул стрелок. Опершись руками о колени, Ваня смотрел им вслед. Он еще не мог вместить в себя это горе.

Из-за трактора вышел Рыжиков. Он улыбнулся злорадно:

— Будьте добры! Присылают записочку: дорогой Игорь, пожалуйста, возьмите сто рублей! Чистая работа! А Ванда где?

Ваня ответил испуганно:

— Не знаю.

7. НА СВОЕЙ УЛИЦЕ

— Куда ты пойдешь? — спросил Рыжиков, когда они подошли к остановке трамвая возле товарной станции.

Улица здесь была булыжная, покрытая угольной пылью. Из-под копыт и колес поднималось видимо-невидимо воробьев. У трамвайной остановки стояла очередь. У многих людей ботинки требовали чистки. Ваня не успел ответить: к нему подошел человек в форменной тужурке. Он добродушно кивнул к забору:

— Почистишь, что ли?

— Вам черной?

— Черной, а какой же! А то к начальству нужно, а ботинки...

Ваня осмотрелся,— сесть было не на чем. Подальше он увидел старое деревянное крыльцо.

— На ступеньках?

Человек, собирающийся к начальству, молча кивнул. Ваня побежал вперед, чтобы все приготовить. Когда клиент подошел, Ваня уже набирал мазь на одну из щеток.

— Э, нет, ты раньше пыль убери.

Ваня приступил к работе. Рыжиков уселся повыше на том же крыльце и молча рассматривал улицу.

— Сколько тебе?

— Десять копеек.

— А сдача у тебя есть? С пятнадцати?

Ваня полез в карман. У него оказалось только четыре гривенника.

— Не рассчитаемся так. Ну, бог с тобой, бери лишний пятак,— сказал клиент.

Не успел клиент отойти, подошла девушка, попросила почистить туфли, потом — красноармеец. Красноармеец спросил:

— Сколько будет стоить, если вот сапоги?

Перед красноармейцем Ваня оробел. Он еще ни разу не чистил сапоги красноармейцам и не знал, сколько это стоит. Ваня поперхнулся:

— Де... десять копеек.

— Вот еще дурак,— прошептал Рыжиков, но красноармеец обрадовался, поставил ногу на подставку:

— Дешево берешь, малыш, дешево. У нас везде за сапоги двадцать копеек.

Ваня забыл спросить: «Вам черной?» Работал он сильно, действовал глазами, бровями и даже языком. Быстро чистить двумя щетками он еще не умел, одна щетка вырвалась у него из рук и далеко отлетела. Рыжиков громко захохотал, но щетки не поднял. Ваня сам, кряхтя, поднялся и побежал за щеткой.

Красноармеец дал Ване гривенник и сказал:

— Молодец. Дешево почистил, и блестит хорошо.

Он ушел, поглядывая на сапоги. У Вани заболели руки и спина. Опершись на локти, Ваня молча рассматривал улицу.

Дома на улице все были одинаковые, кирпичные, запыленные, двухэтажные. Между ними короткие заборы, а в заборах ворота. Почти у всех ворот стояли скамейки, на скамейках сидели люди и грызли семечки.

Ваня вспомнил, что завтра воскресенье. По кирпичным тротуарам проходили люди, по двое, по трое, и разговаривали негромко.

Сзади открылась дверь, и скрипучий, неприятный голос спросил:

— А вам чего здесь нужно? Беспризорные?

Ваня вскочил и оглянулся. Лениво поднялся и Рыжиков. В открытых дверях стоял человек, высокий, худой, с седыми усами.

— Беспризорные?

— Нет, не беспризорные.

— Чистильщик? Ага? А резиновые набойки у тебя есть?

В ящике у Вани было только две щетки и две банки черной мази. Ваня развел руками:

— Резиновых набоек нет!

— Хо! Чистильщик! Такой ты чистильщик! Ну допустим! А этот чего?

Рыжиков недовольно отвернулся.

— Чего ты здесь? Ночи ожидаешь?

Рыжиков прохрипел еще более недовольно:

— Да никакой ночи... Вот... знакомого встретил.

— А... знакомого!

Старик запер дверь на ключ, спустился по ступенькам. Ткнул узловатым пальцем:

— Ты — марш отсюда. Вижу, какой знакомый.

— Да я сейчас пойду. Что, и на улице нельзя остановиться? Ты, что ли, такие порядки выдумал? — Рыжиков чувствовал свою юридическую правоту, поэтому обижался все больше и больше.

Старик усмехнулся:

— Плохие здесь порядки — уходи, иди туда, где хорошие порядки. Я вот только в лавочку. Пока вернусь, чтоб тебя тут не было.

Он отправился по улице. Рыжиков проводил его обиженными глазами и, снова усаживаясь на крыльце, прогудел почти со слезами:

— Придирается! «Ночи ожидаешь»!

К ним подошел молодой человек и радостным голосом воскликнул:

— Какой прогресс! На нашей улице чистильщик! Да какой симпатичный! Здравствуй!

— Вам черной? — спросил Ваня.

— Черной! Ты всегда здесь будешь чистить?

Набирая мазь, Ваня серьезно повел плечами и сказал с небольшим затруднением:

— Всегда.

Этот клиент не спросил, сколько нужно платить, а без всяких разговоров протянул Ване пятнадцать копеек.

— Так сдачи нет.

— Ничего, ничего, я всегда буду платить тебе пятнадцать копеек. Мне только надо побыстрее.

Ваня опустил деньги в карман и снова начал рассматривать улицу. Приближался вечер, от этого на улице стало как будто чище. Ваню очень интересовал трамвай. Он много слышал об этой штуке, но никогда ее не видел, и теперь ему хотелось залезть в вагон и куда-нибудь поехать. Настроение у него было хорошее. В душе разгоралась маленькая гор-

дость: все проходят и видят, что на крыльце сидит Ваня и может почистить ботинки.

Рыжиков сказал:

— Ваня, знаешь что? Ты мне дай пятьдесят копеек, ладно? А я тебе завтра отдам.

— А где возьмешь?

— Это я уже знаю, где возьму. Надо пойти пошамать.

Ваня вдруг почувствовал голод. Еще утром они съели на платформе остатки вчерашнего ужина.

— Пятьдесят копеек? А у меня есть сколько? У меня есть девяносто копеек. А, я и забыл про те деньги!

— Какие «те»?

— Игорь дал... бабушкины.

Ваня развернул бумажку, посмотрел на нее грустно и спрятал обратно.

— Так дай пятьдесят копеек. Видал, сколько у тебя денег!

— Те — нельзя,— сказал Ваня и дал ему сорок пять копеек, поделив пополам имевшуюся наличность.

Рыжиков взял деньги:

— А ночевать... я приду.

Ваня с тоской вспомнил: нужно еще ночевать. Почему-то мысль об этой необходимости до сих пор ему не приходила в голову. Он даже растерялся:

— А где ночевать?

— Найдем. Здесь на вокзале не позволяют.

Рыжиков деловой походкой направился вдоль по улице. Ваня снова опустился на ступеньки и загрустил. Солнце зашло за дома. Мимо Вани проходили люди, и никто не смотрел на него. На противоположном тротуаре шумела стайка детей, голос балованной девочки сказал громко:

— А вон сидит маленький чистильщик.

Еще одна девочка загляделась на Ваню, но потом кто-то ее дернул, она засмеялась и побежала к калитке. Голос взрослой женщины сказал:

— Варя, твой суп простынет. Я тебе второй раз говорю.

И балованная девочка запела:

— Первый, первый, первый!

Ваня подпер голову кулаком и посмотрел в другую сторону улицы. По ней возвращался усатый хозяин.

— Сидишь? — сказал он.— А тот где?

— Ушел,— ответил Ваня.

— Да и тебе пора домой, никто больше чистить не будет. Только ты мне завтра резиновые набойки принеси.

Ваня спросил:

— А далеко отсюда лавочка?

— А тебе зачем? Покупать что будешь? Папиросы, наверное?

— Нет, не папиросы. А где она?

— Да вот тут за углом сразу.

Ваня сложил щетки и коробки, поднял ящик и отправился в лавочку.

8. НОЧЬ

Заночевали [redacted] соломе, [redacted] оказалось, что это вовсе не далеко. Нужно по той же улице пройти два квартала, перейти через переезд, потом еще немного пройти, [redacted] там уже начиналось поле. Может быть, и не настоящее поле, потому что впереди было еще несколько огоньков, но здесь, за последним домом, было просторно, шуршала под ногами трава, а чуть [redacted] стороне стояла эта самая солома. Вероятно, она стояла на пригорке, потому что отсюда хорошо был виден горящий огнями город. Совсем близко, на переезде, один фонарь горел очень ярко и сильно бил в глаза.

Ваня неохотно шел ночевать. Когда позади осталась последняя хата, он пожалел, что не поискал ночлега в городе. Но Рыжиков брел уверенно, заложив руки [redacted] карманы, посвистывал.

— Вот здесь,— сказал он.— Нагребем соломы, тепло будет. И к городу близко.

Ваня опустил ящик на землю, [redacted] не захотелось ему ложиться спать. Он начал рассматривать город. Было очень приятно смотреть на него. Впереди огни рассыпались по широкой площади, и было их очень много. Они казались то насыпанными [redacted] беспорядке, то обнаруживались [redacted] их толпе определенные линии. Выходило так, как будто они играют. Подальше начинался ряд больших домов, и во всех домах окна горели разными цветами: желтыми, зелеными, ярко-красными.

— Отчего это? — спросил Ваня.— То такге, а то такие... окна?

— Чего это? — спросил Рыжиков, наклонившись к соломе на земле.

— Окна отчего такие? Разные?

— А это у кого какая лампа. Колпаки такие, абажуры. Это женщины любят: то красный абажур, то зеленый.

— Это богатые?

— И богатые и бедные. Это из бумаги можно сделать. Бывает, абажур такой висит, [redacted] больше ничего и нет. И взять нечего. Только голову морочат...

— Украсть? — спросил Ваня.

— У нас не говорят «украсть», а говорят «взять».

— Я завтра пойду [redacted] этому... к Первому Мая.

— И там можно кое-что взять. Если умно.

— А зачем?

— Ну и глупый ты! Совсем глупый! Как это «зачем»?

— Пойти туда жить, а потом взять?

— А как же?

— А потом в тюрьму?

— Это пускай поймают!

— А Игоря поймали.

— Потому что дурак. На почту лазит. Да ему все равно ничего не будет: несовершеннолетний.

Рыжиков гребнул солому из стога еще раз.

— У нас на станции сторож такой... так он умер, [redacted] тот, Мишкой его зовут, так он тоже [redacted] колонии Первого Мая. И он писал письмо.

— Первое Мая.— Рыжиков еще раз разгреб солому, помял ее ногами, растянулся.— Ложись лучше!

Ваня замолчал и стал укладываться.

На небе горели звезды. Соломенные пряди под ними казались черными большими конструкциями.

Проснулся Ваня рано, но день уже наступил. Солнце вставало за стогом, Ваня лежал в тени, ему стало холодно. Он вскочил, подымая за собой солому, приставшую к нему, и посмотрел на город. Город сейчас был другой. Кое-где горели ненужные уже фонари, и ярко светился тот самый фонарь возле переезда.

Город был сейчас интереснее и сложнее, но уже не был таким красивым. Впрочем, что не имело особенного значения. Все-таки там было много домов и крыш, а дальше стояло высокое белое здание с колоннами. Вот где настоящий город, и нужно пойти туда посмотреть. Заработать денег и пойти... нет, поехать в трамвае. И, наверное, в городе есть кинотеатр. А сегодня надо идти на «свою» улицу. Ваня вспомнил вчерашнего молодого человека, который так обрадовался, что завелся чистильщик на этой улице. Наверное, там сейчас много народу хочет почистить ботинки. Хорошо, что есть лишняя коробка черной мази. Ване захотелось хорошенько рассмотреть эту коробку. Он наклонился к ящику, но ящика не было. Ногой Ваня откинул солому. Оглянулся. Только сейчас он заметил, что и Рыжикова тоже нет. Ваня обошел стог, вернулся на прежнее место, скучно посмотрел на город, еще раз оглянулся, прислонился к стогу, задумался. Вдруг вспомнил, полез в карман, пошарил в нем, вывернул: и десять рублей исчезли. Ваня сделал несколько шагов в сторону дороги. Но остановился Собственно говоря, в город идти было нечего.

9. КОЗЛЫ

Целый месяц прошел после этих происшествий.

Рано утром милиционер, человек молодой, подтянутый и добросовестный, разбудил Игоря в приемнике и сказал ему:

— Трогаем, товарищ! Ты потом выспишься, в колонии, а мне до девяти нужно назад вернуться.

Игорь быстро натянул на плечи свой пиджак, под которым уже имелась рубаха. Хотя это была короткая и бязевая рубаха, но Игорь умел ее желтоватый воротник кокетливо разбрасывать над воротником пиджака.

Дворники сухими метлами подметали улицы, но пыль еще неохотно взлетала над тротуарами. Утро стояло над городом ясное, прозрачное, здоровое. Игорю было приятно в такое утро идти «в новую жизнь».

Игорь не очень интересовался новой жизнью. Это у Полины Николаевны, в Комиссии по делам несовершеннолетних, за каждым словом: новая жизнь, новая жизнь! Игорь любил вообще жизнь, а какая там она, новая или старая, он не привык разбирать. Он никогда не задумывался ни над завтрашним днем, ни над вчерашним. Но сегодняшний день всегда привлекал его внимание, как еще не раскрытая страница, и ему нравилось не спеша перевертывать ее и любопытным глазом присматриваться к новым рассказам. Сегодня это тем более было приятно, что в течение

всего минувшего месяца ему пришлось переворачивать очень однообразные страницы, и он начал даже привыкать к этому однообразию.

В Комиссии по делам несовершеннолетних он и раньше бывал, и в этот раз не встретил там ничего существенно нового. Давно ему известная Полина Николаевна, женщина маленькая, остроносая, казавшаяся очень умной и доброй, с грустной вежливостью расспрашивала его о родителях, об учебе и вообще о том, как он дошел до такой жизни. Расспрашивая, она уже не заглядывала, как в прошлом году, в большой лист с заглавием: «Порядок опроса», но задавала все те же вопросы, что и в прошлом году. Игорь отвечал ей тоже вежливо. Он понимал, что Полина Николаевна честно обслуживает таких, как он, получает за это небольшое жалованье, что ей будет приятно хотя изредка поговорить с приличным человеком. Игорь Чернявин любил доставлять людям радость, поэтому и с Полиной Николаевной он разговаривал в джентльменском тоне, тем более, что это было вовсе не трудно. Полина Николаевна постукивала тупым концом карандаша по столу и спрашивала:

— Ваш отец профессор?

— Да.

— В Ленинграде?

— Да.

— Почему вы не хотите к нему возвратиться?

— Мне не нравится его характер. Он — грубый, черствый, он изменяет моей маме, я с ним жить не могу.

— Вы с ним часто ссорились, крупно говорили?

— Нет. Я с ним не желаю разговаривать.

— Вы могли бы мать пожалеть, Игорь.

— Мне очень жаль, но мать не хочет от него уйти.

— Вы, Игорь, такой культурный мальчик, до каких же пор вы будете заниматься всеми этими... приключениями?

— Полина Николаевна! Иначе не выходит. Уже два раза меня силой возвращают к отцу. Я все равно жить у него не буду.

— А если мы вас не отправим к отцу?

— Я надеюсь, что это будет очень хорошо.

— Вы бросите ваши фокусы?

— Я надеюсь.

— Почему вы надеетесь?

— А вот вы со мной поговорили.

Полина Николаевна посмотрела на него с благодарностью:

— Поможет ли вам это... мои разговоры?

— Я думаю, что ваши разговоры хорошо помогут.

— Что мне с вами делать, Игорь? Неужели только с вами одним и говорить? И другие ведь есть!

Полина Николаевна показывала карандашиком на дверь, за которой в узком коридоре другие мальчики ожидали своей очереди. На бледном остреньком личике Полины Николаевны, в беленьком узком кружевном воротничке, даже в ловком, юрком карандашике, которым она действовала,— во всем чувствовалось искреннее сожаление, что не может она взять Игоря за руку и повести по трудной дороге жизни. И Игорь понимал и сочувствовал: ей нужно заняться и другими сбившимися с пути

объектами. Вероятно, это сочувствие довольно сильно выражалось на лице Игоря, потому что Полина Николаевна страдательно опустила глаза и ее карандашик застучал по столу несколько нервно.

К ним подошел человек в белом халате. У него была беспорядочная шевелюра, начинавшаяся чрезвычайно низко, почти от самых бровей. Глазные яблоки этого человека были очень велики, они были покрыты мелкими красными жилками и почти целиком выкатывались наружу. Казалось, что этот человек в чистом белом халате везет что-то очень тяжелое и везти ему трудно. Полина Николаевна сказала устало:

— Вы, Чернявин, идите в кабинет [2]. Товарищ должен произвести некоторые исследования относительно ваших трудовых предрасположений...

Игорь Чернявин раньше уже подвергался подобным исследованиям, только тогда в белом халате был какой-то другой человек. Игорь покорно поднялся со стула, и ближайший отрезок жизненного пути (он так и не разобрал, нового или еще старого) он прошел за человеком в халате. Идти было недалеко. В небольшой комнате, обставленной белой крашеной мебелью, Игоря усадили на стул, а человек в халате сказал другому человеку в халате:

— Лабиринт Партеуса!

По спине у Игоря пробежали неприятные холодные иголочки, он притих за белым столом и начал думать о том, что действительно надо начать более спокойную жизнь. Но когда перед его глазами на столе расположился широкий картон с какими-то клетками и ходами, Игорь оживился. Лупоглазый оперся руками на стол и сказал сухим, немного дрожащим голосом:

— Вы находитесь в центре этого лабиринта, понимаете? Вам нужно из него выйти. Вот вам карандаш, покажите, как вы будете выходить.

Игорь еще раз оглянулся на этих людей, но в общем не протестовал. Он взял карандаш и с улыбкой наклонился над лабиринтом. Повел карандашом к выходу, но скоро очутился в тупике и остановился. За большим окном что-то начало сильно хлопать. Игорь посмотрел и увидел девушку на балконе. Она тонкой палочкой колотила по развешанному на веревке ковру. Игорь снова подумал, что нужно все-таки... черт его знает. В этот момент лупоглазый вытащил картон у него из-под руки, а на его место положил другой. Это был тоже лабиринт. В одном углу был изображен козел, вкушающий какие-то запрещенные плоды, а в другом углу — девушка с прутиком в руке. Было у нее что-то общее с той девушкой, которая работала на балконе. Игорь улыбнулся, глянул на балкон, потом сообразил: пока девушка доберется до козла, пройдет очень много времени и козел успеет полакомиться как следует. Игорь поднял лицо к человеку в халате:

— Неудобное устройство!

— Что неудобное?

— Да вот... Зачем такие дворы? Козлу тут раздолье!

— Если вы будете оглядываться, вы ничего не сделаете.

Игорь сосредоточился над картоном. У козла был очень добродушный вид. Игорю не захотелось его прогонять.

— А знаете что? Пускай себе пасется!

— Как это так? — вскрикнул лупоглазый.

— Я думаю, что вреда будет немного. Какие-то кустики.

— Представьте себе, что там малинник.

— Не думаю. Вы напрасно беспокоитесь.

— Почему вы так разговариваете? — человек в халате с силой дернул картон.

— С флейтой будем исследовать? — спросил другой.

Старший ответил сухо:

— Нет.

Он пошел к умывальнику, а потом долго вытирал каждый палец отдельно.

Потом он вышел в дверь и уже из коридора пригласил:

— Идемте.

У столика Полины Николаевны он устало опустился на стул.

— Как? — спросила Полина Николаевна.

— Слабо. Очень слабо. Результаты нулевые. Рассеян, безынициативен, воображение отсутствует.

— Что вы говорите? У него инициативу нужно уменьшить вдвое, а вы говорите, безынициативен! Прочтите.

Она протянула довольно толстую папку. Человек в халате поднес ее к самым глазам и стал быстро вертеть головой вправо и влево, бегая по строчкам.

— Это ничего не значит, Полина Николаевна. Мы не знаем, инициатива это или подражание. Такие штуки,— он потряс папкой в руках,— вообще ничего не доказывают.

— А я вам говорю, что вы ошибаетесь. Я вас очень прошу посмотреть еще раз. Вы увидите, что вы ошибаетесь.

Лупоглазый поднялся со стула обиженный и двинулся к дверям своей комнаты.

— Хорошо!

— Что же вы сидите? — сказала Полина Николаевна Игорю.

Игорь посмотрел вслед белому халату и, когда закрылась за ним дверь, спросил доверительно.

— А для чего это, Полина Николаевна?

Она подняла на него глаза:

— Значит, нужно.

— Я не понимаю, для чего.

— Это исследование ваших способностей.

— А для чего им мои способности?

— Идите, Игорь, не спорьте.

Игорь снова вошел в комнату, молча стал у стены. Пока люди в халатах перебирали какие-то папки, ящики, карты, у него в душе скопилась густая обида. Кто-то сильной рукой подчеркнул в ней одиночество, чреду последних скудных дней, брошенного на товарных путях симпатичного Ваню, отошедшие в вечность светлые дни детства, и мать, и старые обиды: вздорный, неверный, сумасбродный отец и другие люди, жестокие и холодные.

На столе стояла длинная коробка с отделениями. Старший предложил:

— Садитесь.

Обо всем этом вспомнил Игорь Чернявин, шагая рядом с милиционером по просторным, освещенным утром тротуарам. Нет, истекший месяц был печальным месяцем. Это было скучное и глупое время. Полина Николаевна убеждала его начать новую жизнь, люди в халатах раскладывали перед ним разные картоны. Особенно стало скучно после того, как Игорь примирился со своей участью и научился выходить из всех лабиринтов, научился продевать веревку через дырочки флейты. Все эти занятия он сначала сопровождал насмешкой над самим собой, над козлами, над человеками в халатах, а потом он все упражнения проделывал с угрюмой технической серьезностью. От скуки сделав небольшое усилие, он даже сумел понравиться людям в халатах и помогал им исследовать других ребят. Только записывать и высчитывать он не научился. Его наставники не посвящали никого в свои тайны и прятали их значение за непонятными словами. «тесты», «корреляция».

Все-таки в кабинете было занятнее, чем в приемнике. Игорь не любил беспризорную, шумную и ржавую толпу, дешевое ее остроумие и низкую культуру. В кабинете же он говорил новичку с высокомерием жреца·

— Вот, синьор, пока щука не поймает эту жалкую рыбешку, вы отсюда не выйдете!

— Видите: куда мяч закатился? Доставьте его к волейбольной сетке. Перекинуть нельзя. Несите в руках. Через забор перелезть? Забудьте эти ваши уличные привычки.

Он стоял за плечом новичка и холодным взглядом наблюдал неудачные попытки исследуемого субъекта. Субъект разочарованно тянул:

— Если так играть, никогда не выиграешь.

— Вы, мистер, и не должны выиграть. Выигрываем в таком случае только мы.

Досадно только было, что в сравнении с хозяевами кабинета он выиграл до смешного мало: бесплатный бутерброд во время завтрака. По сравнению с таким заработком предприятие на почте было все же выгоднее, хотя оно было и гораздо проще оборудовано, чем кабинет.

Сейчас Игорь с внутренним смущением вспоминал о своих легкомысленно-позорных действиях в кабинете, на которые его подвинуло дикое невезение с деньгами бабушки. Но... страницы этого прошлого были перевернуты. Сегодняшний день быстро бежал навстречу: сначала промелькнули хорошо знакомые улицы центра, потом пошли и новые места, узкая, грязная набережная, запруженная подводами базарная площадь, потом широкая, щедро накрытая небом Хорошиловка. Домики на Хорошиловке маленькие, между ними цветут сады, мимо домиков бегает трамвай, бегает хлопотливо, быстро, весело. Но вот и Хорошиловка кончилась, мостовая пошла среди молодой зелени, а трамвай побежал по шпалам, как будто это не трамвай, а поезд. И зеленые полосы, и шоссе, и трамвай — все направляются к дубовой рощице. К этой рощице пришли милиционер и Игорь. В сторону ведет просека, в просеке тоже мостовая, и через нее сетчатая с золотыми буквами вывеска:

КОЛОНИЯ ИМЕНИ ПЕРВОГО МАЯ

10. ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Просеку милиционер и Игорь прошли быстро. Милиционер был доволен, что заканчивает свою командировку. И Игорь был доволен: впереди была «новая жизнь».

Сквозь просеку видны были крыши, да и сама просека скоро вышла в поле — настоящее пахучее поле с рожью, с цветами на межах. За полем по всему горизонту пошел лес, а к лесу прислонилась колония. На одном из зданий, на высоких флагштоках — два узких флага. Флаги какие-то особенные, узкие и длинные,— такие флаги видел Игорь когда-то давно на изображениях сказочных дворцов.

Он спросил у милиционера:

— Они там живут?

Милиционер удивился:

— Само собою — там, а где же им жить?

— Флаги у них какие... Скажите, пожалуйста!

— Да, флаги, это верно! Да у них все такое... чудное! А народ здесь хороший, крепко живут!

Игорь повел плечами, засунул руки в карманы и все не мог отвести взгляда от двух узких, гуляющих на ветру флагов. Флаги были на флагштоках, а флагштоки стояли на двух башенках, венчающих здание.

— У них башни, как будто крепость!

— Такое просто здание,— ответил милиционер,— никакого сравнения с крепостью не может быть.

Игорь не стал спорить. А все-таки две башни напоминали крепость, в этом заключалось и что-то приятное и что-то сомнительное, во всяком случае, в расчеты Игоря не входило жить в крепости. Но когда подошли ближе, Игорь и сам увидел, что никакой крепости нет, а стоит действительно просто здание, широкое, двухэтажное, серое, построено здание красиво, блестят на его стенах искорки, выступающие впереди «фонари» подымаются над крышей башнями, на башнях все полощутся флаги.

Милиционер и Игорь шли по мостовой уже мимо здания, но оно отделялось от них широкой полосой цветников. Игорь давно не видел такого обилия цветов. Между цветами проходили яркие золотые дорожки, на одной из них поближе к Игорю шли две девушки, настоящие девушки, черт возьми, хорошенькие и нарядные. Одна из них, с вздернутым носиком, с веселыми, живыми глазами, взглянула на Игоря и сказала подруге — черноглазой и смуглой:

— Новенький! Посмотри какой, в пиджаке!

Игорь чуть-чуть покраснел и отвернулся. Собственно говоря, что ж тут такого — в пиджаке!

На тротуаре мимо дверей гуляет народ: и постарше, и пацаны, и девушки. У некоторых юношей начинает темнеть верхняя губа... Одеты все разнообразно, но, видно, костюмы для работы: кое-где пропитаны маслом. Пацаны в трусиках, босиком. Девушки, как всегда, наряднее.

— Солидный народ,— как будто про себя сказал Игорь. Улыбнулся милиционеру, но милиционер не заметил улыбки.

В открытых настежь дверях здания стоял пацан лет тринадцати, лобастый и серьезный; среди этой спокойной, оживленной толпы он выделялся странно официальной внешностью: ботинки, суконные полугалифе, гамаши, темно-синяя гимнастерка заправлена в штаны, талия стянута узким черным поясом с пряжкой. На одном рукаве золотой вензель, широкий белый воротник ослепительно чист, хотя чуточку примят. В руках настоящая винтовка со штыком, пацан держит ее обеими руками.

Игорь засмотрелся на эту фигуру, но развлекали его и другие впечатления. Два пацана стремглав вылетели из дверей и помчались по дорожке. Тот, который бежал сзади, закричал:

— Васька! Васька! Постой! Ключи у меня!

Игорю удалось поймать и другие слова, но они касались событий неясных, хотя, без сомнения, и драматических.

— А Алексей вызвал его и говорит: найди!

— О!

— Говорит: найди! А не найдешь — разберем на общем собрании!

— Ой-ой-ой!

Удивило Игоря еще одно обстоятельство. Идя сюда, он испытывал неприятное чувство ожидания: все на него набросятся, закидают вопросами, взглядами, шутками, а тут еще и милиционер: подробность особенная. А теперь было даже обидно: сколько народу, а у всех такой вид, как будто никакого Игоря под стражей и не существует на свете. Но в то же время нельзя было сомневаться: появление фигуры Игоря между цветников всеми отмечено, и все поставили своего рода нотабене на его фигуре и, кажется, нотабене ироническое.

Игорь подумал: «Вредный народ!» — но немедленно получил и более активные знаки внимания. По дорожке мимо него проходил черноглазый мальчик в трусиках, посвистывал, поглядывал по сторонам,— видно было, что шел по какому-то определенному, нужному ему направлению, на Игоря еще издали бросил легкий взгляд и снова куда-то отвлекся и, тем не менее, проходя мимо Игоря, сказал:

— Дядя! А где ваш галстук?

Игорь не разобрал, что это обращаются именно к нему, и огляделся. Но тут же он догадался, что по характеру костюма проблема галстука могла возникнуть только с его, Игоря, появлением, ибо к костюмам местных жителей добавление галстука, безусловно, не требовалось. Но когда Игорь все это сообразил и бросился догонять взглядом черноглазого мальчика, то уже не мог отличить его среди других мальчиков.

Как раз в этот момент из здания вышел, тоже босоногий и тоже в трусиках, пацан лет двенадцати, хорошенький, румяный, чуть-чуть важный. Как-то особенно играючи и уверенно ступали его ноги, большие темные глаза по-хозяйски оглядывали все. Он стал на краю единственной ступени, поднял длинную, блестящую серебряным блеском трубу, быстро облизал губы и, подняв раструб трубы, заиграл. Это был сигнал, короткий, отрывистый, а в конце украшенный шутливо-разливчатым хвостиком [3]. Пацан проиграл его только один раз, опустил трубу, улыбающимися глазами посмотрел на мальчиков поближе и вдруг, сорвавшись

со ступеньки, побежал. На углу здания остановился и снова проиграл тот же сигнал. Игорь не утерпел, спросил первого попавшегося:

— Что это он играл?

— Кто играл? Бегунок? А это на работу...

Через полминуты из дверей только одиночки торопливо выбегали [redacted] устремлялись следом за всеми. Остался пацан с винтовкой, [redacted] к нему обратился милиционер.

— Куда здесь? Вот привел...

Тот серьезно оглянулся на вопрос, но, видно, ничего не нашел подходящего [redacted] сказал.

— Сейчас!

Бегунок со своей трубой не спеша возвращался к дверям.

— Володька, позови дежурного бригадира.

Володька Бегунок сразу догадался, для чего нужен дежурный бригадир. Повернув голову, он прищурился на Игоря и, проходя [redacted] двери, почти пропел:

— Е-есть .. Позове-ем...

Он ушел [redacted] здание, пацан с винтовкой теперь составлял единственную мишень для Игоря Чернявина. Игорь сказал улыбаясь.

— А если я пройду... вот, без спросу? Что же ты, будешь стрелять?

Часовой опустил глаза к ложу, но ответил басом·

— Стрелять не буду, а прикладом по башке получишь.

После этих слов он покраснел и недовольно отвернулся. Игорь рассмеялся, прицепился к часовому удивленным взглядом:

— Ух ты?!

Часовой посмотрел на Игоря исподлобья, вдруг улыбнулся, но что-то почуял справа, в прохладном полумраке вестибюля, вытянулся, винтовка моментально оказалась у его плеча. На ступеньку вышел юноша лет шестнадцати. Он одет был в такой же костюм, как и часовой, только на левом рукаве у него была красная повязка. Игорь догадался, что это дежурный бригадир, да и часовой показал на Игоря·

— Воленко! Привели...

У Воленко тонкое лицо, очень интеллигентное и бледное. Особенно строгое выражение имеет рот Воленко· у него подвижные губы, от которых, кажется, всегда можно ожидать слова осуждения.

Воленко подошел к милиционеру, мельком глянул на Игоря:

— У вас есть бумага?

Милиционер раскрыл книжку·

— Есть тут бумажонка. Вот здесь распишитесь.

Воленко расписался и возвратил книжку милиционеру:

— Все?

— Все как будто ..

Игорь подал милиционеру руку, улыбнулся:

— Надеюсь, больше не увидимся?

Милиционер ответил с тонкой улыбкой:

— А кто его знает? — козырнул Воленко [redacted] отправился [redacted] обратный путь.

Воленко, до сих пор наблюдавший процедуру прощания, сказал Игорю:

— Пойдем.

11. БЕСЕДЫ КУЛЬТУРНЫХ ЛЮДЕЙ

Игорь Чернявин вошел в вестибюль и попятился. Молнией блеснула у него мысль, что случилось недоразумение: он сюда попал по ошибке. Растерянно оглянулся он на Воленко, потом снова глянул вперед. Перед ним был марш широкой лестницы, покрытой бархатной малиновой дорожкой. В конце марша — просторная площадка, дубовые двери, на них золотом на стекле написано:

ТЕАТР

А рядом с дверьми в театр огромное квадратное зеркало, оно отражает следующий марш лестницы, и еще площадку, и еще зеркало, а самое главное — оно отражает бесконечную и щедрую ленту ярко-красных цветов, уставленных по всему барьеру в особых длинных ящиках.

— Вытри ноги,— сказал Воленко и показал на большую темную тряпку, лежащую на кафельном полу.

Игорь посмотрел на свои ботинки. Никакой грязи на них не было:

— У меня чистые.

Подошел часовой с винтовкой.

— Они у тебя не чистые, а совсем грязные. Вытирай, когда тебе говорят.

Игорь пробормотал:

— Черт его знает...

Все-таки он зашаркал подошвами по темной тряпке, и только теперь понял, что тряпка потому и кажется темной, что она влажная.

— Теперь здесь,— часовой показал на трехстороннюю щетку и внимательно и строго нахмурил лицо, пока Игорь исполнял его приказание. Воленко терпеливо ожидал, стоя на третьей, верхней ступеньке, ведущей в более высокую часть вестибюля. Игорю стало интересно:

— Синьоры, у вас все такие серьезные?

У Воленко чуть-чуть вздрогнул уголок строгого рта, он завертел вокруг пальца шнурок с ключиком на конце.

Игорь, обчищая ботинки в щетках, разглядывал часового. У того из-под тюбетейки выбегал на выпуклый лоб небольшой чубик и закручивался крутой спиралью.

— Сколько же тебе лет?

Часовой пошевелил губами, сдержал улыбку, еще строже глянул на ноги Игоря:

— Это не твое дело, вытирай себе!

Игорь иронически дернул плечом.

— Идем, идем,— сказал Воленко.

Он двинулся влево по коридору. Вправо коридора не было, а на такой же дубовой двери таким же нарядным золотом было написано:

СТОЛОВАЯ

Дверь эта открылась, из столовой выглянула девочка лет четырнадцати в белом халате, спросила:

— Воленко, ты ведь еще не завтракал?

— Нет. Ты мне оставь, Лена. И вот. . новенькому.

— А как же,— ответила девочка и спряталась за дверью.

С одной стороны коридора были большие окна, а с другой несколько дверей и между ними, в больших рамах, не то стенгазеты, не то что-то другое. В конце коридора тоже дверь, и на ней тоже надпись:

ТИХИЙ КЛУБ

Но они вошли не в эту дверь. Последняя дверь слева:

СОВЕТ БРИГАДИРОВ

Воленко именно эту дверь открыл и взглядом пригласил Игоря войти. Игорь переступил порог. Солнечное сияние в двух огромных окнах ослепило его. Он прищурился, но сразу отметил особенности этой комнаты: в ней под всеми четырьмя стенами проходил неширокий диван, мягкий, но узкий. В углах комнаты он заворачивал по кривой. В правом углу на диване сидел Володя Бегунок, на голом колене держал свою трубу, натирал ее суконным обрезком. Бегунок быстро глянул на Игоря, но сказал в другой угол:

— Когда же мази купят? Говорили, говорили, аж надоело! Это бесхозяйственность, правда, Витя?

В другом углу дивана стоял маленький письменный столик, и за ним сидел тот, кого Бегунок назвал Витей Витя поднялся за своим столиком и ответил:

— Сейчас денег мало.

— Сколько там нужно денег? Тридцать копеек.

Володя с большой силой начал натирать свою трубу и на Игоря больше не посмотрел. Очевидно, для Володи Бегунка Игорь представлял сейчас явление малозанимательное и особенно в сравнении с вопросом о мази. Но тот, кого называли Витей, заинтересовался Игорем, вышел из-за своего столика и подошел вплотную к Игорю. Он был тоже в трусиках и в парусиновой рубашке. И у него трусики были стянуты узким черным пояском. Но Витя был уже не малыш. Ему было не меньше шестнадцати лет, это был человек серьезный и бывалый,— опытный взгляд Игоря это сразу почувствовал.

У Вити быстрый, острый, сдержанно-насмешливый взгляд Он взял из рук Воленко большой пакет и бросил его на стол:

— Из комиссии?

— Из комиссии.

Игорь вежливо ему поклонился. Витя ответил таким же вежливым поклоном, но в этом поклоне просвечивало очень тонкое передразнивание. Бегунок громко засмеялся, завалившись на диван и задирая босые ноги. Игорь оглядел всех. Витя присел к столику, взял в руки конверт, прочитал то, что было на нем написано:

— Игорь Чернявин? Много про тебя понаписывали...

Но в конверт не заглянул, снова подошел к Игорю. Последнему захотелось как можно скорее отделаться от разных вопросов:

— Написано там много, а дело пустое. Маленькая неправильность при получении денег.

Витя сказал ему в глаза, улыбаясь одними ресницами:

— Вот что, друг. Какая там у тебя неправильность[4], это никому не интересно. Понимаешь, не интересно. А вот другой вопрос: будешь бежать или останешься?

Бегунок поднял лицо, медленно улыбнулся. Игорь огляделся. Бежать ему не хотелось, но нельзя было и сдаваться так легко. Он ответил:

— Там видно будет.

— Это верно,— сказал Витя весело.— Ну, идем к Алексею Степановичу.

Только теперь Игорь увидел, что в одном месте диван прерывался узкой дверью и на ней тоже надпись:

ЗАВЕДУЮЩИЙ КОЛОНИЕЙ

Эту дверь Витя распахнул, и Игорь неожиданно для себя очутился в кабинете. За ним прошли Витя и Воленко, а за ними и Бегунок, бросив свою трубу на диван, прошмыгнул в кабинет, прошмыгнул ловко, во всяком случае, Игорь увидел его уже возле письменного стола. Володя поставил локти на стол, на ладошках пристроил голову, глядел на заведующего.

Заведующий сидел за письменным столом и перелистывал книгу. В этом человеке не было ничего особенного: подстриженные усы, стеклышки пенсне, под машинку стриженная голова. Он поднял на Игоря глаза, и глаза у него были обыкновенные: серые, чуть-чуть холодные.

— Вот, Алексей Степанович, новичок,— Витя показал рукой на Игоря.

Игорь вежливо поклонился, и Володя Бегунок не смог удержать улыбки, да уж так и оставил улыбку надолго. По всему было видно: Алексей Степанович заметил улыбку Володи и знал ее причину, но сделал такой вид, как будто он ничего не заметил.

— Как тебя зовут?

— Игорь Чернявин.

— Ты учился в школе?

— Да. Окончил семь классов.

— Почему так мало?

Алексей Степанович с недовольным видом откинулся к спинке кресла. Его глаза холодно, осуждающе смотрели на Игоря. Но Игорь всегда был убежден, что его образование превышает среднюю необходимость в жизни. И поэтому ему показалось сейчас, что заведующий шутит. Игорь оживленно удивился и даже руками дернул вперед:

— Мало? Семь классов — это мало?

— А ты разве не знаешь? Есть восьмые группы, девятые, десятые.

— Конечно, есть, так это не для всех.

Алексей Степанович не обратил внимания на ответ Игоря. Он начал перелистывать книгу, помолчал, потом протянул скучновато:

— Та-ак... Днепрострой,— что это такое?

— Как?

— Днепрострой... ты знаешь, что такое Днепрострой?

— Днепрострой? Это... это станция.

— Какая станция?

— Станция... мост и... там станция.

Бегунок восторженно пискнул в ладоши, которыми прикрыл рот.

— Виноват... там, кажется, нет моста.

Игорь видел, с каким трудом Бегунок прикрывает ладонями губы, чтобы не засмеяться. На лице Воленко не было улыбки, но еле заметно вздрагивала нижняя губа.

Алексей Степанович кивнул головой над книгой:

— Стыдно! Просто стыдно! Культурный человек! Окончил семь классов — говорит такие глупости. Надо себя больше уважать, товарищ Чернявин.

— Я забыл, товарищ заведующий...

— Что забыл?

— Забыл... вот . Днепрострой.

— Днепрострой — такая вещь, о которой нельзя забывать. Понимаешь, нельзя! А кроме того... ты сказал... старшие классы не для всех. Это тоже . не блещет остроумием.

— Я в том смысле сказал .

— Смысла мало. Такое количество смысла меня не устраивает. Мало смысла, понимаешь?

Алексей Степанович глянул Игорю в глаза, и Игорь увидел, что у заведующего нет ничего холодного, ничего скучноватого: у него было живое, требовательное лицо. Игорь ответил:

— Да, понимаю, товарищ заведующий.

— Ага! Это уже лучше. Это гораздо умнее сказано. Теперь еще один вопрос: ты хороший товарищ?

Глаза Алексея Степановича смотрели сейчас иронически, как будто в его вопросе был нескрываемый подвох. И поэтому Игорь переспросил:

— Хороший ли я товарищ?

— Да. Хороший товарищ или... так себе?

Этот вопрос, в сущности, был для Игоря легким вопросом, он ответил уверенно и охотно:

— Да, я могу сказать: товарищ я неплохой.

Алексей Степанович улыбнулся вдруг просто и дружески, и в его улыбке было что-то такое задорное, почти мальчишеское,— только у детей так свободно, беззастенчиво открываются губы, у них не остается никаких узких щелей и углов.

— Молодец! Нет, знаешь, ты далеко не глупый человек, это очень приятно. Ну... хорошо. Ты познакомишься с нами ближе. Витя, у нас где место?

— Есть место в восьмой бригаде

— Хорошо. Будешь в восьмой бригаде. Бригадир Нестеренко — человек основательный. Ты немного зубоскал, правда?

Игорь чуть-чуть покраснел.

— Немножко.

— Это ничего, а то в восьмой бригаде много серьезных. Отдохни, а там за дело. Бежать не будешь?

Почему-то Игорю не захотелось сказать: «Там будет видно», но он помнил свой ответ и посмотрел на Витю. Свободно, просто и уверенно Витя ответил за Игоря, чуть-чуть улыбаясь одними глазами:

— Нет, Алексей Степанович, он бежать не собирается.

— Добре. Значит... Воленко, действуй.

Воленко вытянулся.

— Есть!

12. ПОЛНОЕ НЕДОВЕРИЕ

Все вышли из кабинета, кроме Володи Бегунка. Володя снял локти со стола:

— Алексей Степанович!

— Ну?

— До зарезу нужно тридцать копеек на мазь.

— Тридцать копеек? Хорошо, я скажу завхозу.

Все в Володе оставалось в положении «смирно», только шея вытянулась и в глазах появилось обиженно-убедительное, страстное выражение.

— Да он не купит! Честное слово, он не купит... Он будет говорить ..

— Ладно. Вот тебе тридцать копеек на мазь, а это двадцать на трамвай.

— Сейчас можно?

— Можно... до четырех часов.

Очень радостно, громко, с молниеносным салютом Бегунок сказал:

— Есть, Алексей Степанович!

Он выскочил из комнаты, потом приоткрыл дверь, просунул голову.

— Спасибо!

По коридору мимо часового Володя пролетел с предельной скоростью, но пришлось с такой же скоростью возвратиться, чтобы спросить у часового:

— Куда дежурный пошел? Воленко?

Часовой, опираясь на свою винтовку, нахмурил брови:

— Воленко? А он туда пошел, с этим чудаком... туда,— часовой показал направление.

Володя побежал догонять. По плиточному тротуару он повернул за угол и выбежал на широкий двор, обставленный хозяйственными постройками. В самом центре двора он увидел Воленко и Чернявина, направляющихся к кладовой. Володя, запыхавшись, обогнал их и пошатнулся, останавливаясь перед дежурным:

— Товарищ дежурный бригадир! Товарищ Захаров разрешил в город до четырех.

Воленко удивился:

— В этом костюме?

— Нет, не в этом. Я только говорю. А я надену парадный. Я сейчас надену.

Воленко тронулся в дальнейший путь.

— Ты переоденься и приди показаться.

У Бегунка на этот раз даже руки вышли из положения «смирно».

— Так, Воленко! Я же не какой-нибудь новенький. Другие дежурные всегда отпускают и то... доверяют. Я хорошо оденусь.

— Я посмотрю.

Володя несколько увял, опустил плечи, неохотно и сумрачно сказал «есть» и уступил дорогу.

Через пятнадцать минут, когда Воленко вел Игоря в баню, Володя стал перед дежурным:

— Товарищ дежурный бригадир! Я могу идти?

Воленко уже занес ногу на ступеньку, но оглянулся, внимательно осмотрел Володю, тронул его пояс, бросил взгляд на ботинки, поправил белый воротник. Румяное личико Бегунка над белым воротником сияло совершенно неизъяснимой красотой. Большие карие глаза ходили по следам взглядов дежурного и постепенно меняли выражение, переходя от смущенного опасения к победоносной гордости. Тюбетейки Воленко не тронул, но сказал возмущенно:

— Я не понимаю, что это за мода! Почему у тебя всегда тюбетейка набекрень?

Рука Володи быстро поправила тюбетейку, и глаза потеряли некоторую часть гордости.

— Зеркало у вас есть? Надо в зеркало смотреть, когда уходишь. Деньги на трамвай имеются?

— Деньги есть.

— Покажи.

— Да есть! Вот еще, Воленко, какое у тебя недоверие!

— Показывай!

Маленькая ладонь Володи расправилась у пояса, и над ней склонились две головы в золотых тюбетейках.

— Это тридцать копеек на мазь, а это двадцать копеек на трамвай.

— Только смотри, все равно узнаю: нужно покупать билет, а без билета нечего кататься. А то я знаю: все экономию загоняете!

— Да когда же я, Воленко, загонял экономию? У тебя всегда... такое недоверие.

— Знаю вас... Можешь идти!

— Есть!

На этот раз «есть» было сказано без всякой обиды.

13. «ИСПЛОТАЦИЯ»

Город был большой, и самая лучшая улица в городе — улица Ленина. На этой улице, на горке, стоит белое здание с колоннами, в здании помещается театр. На улице много прекрасных витрин, но Ваня Гальченко бредет между людьми и витринами грустный. Чулки у него исчезли, голова заросла грязной, слежавшейся порослью, ботинки порыжели.

Ваня пережил плохой месяц. Тогда, у стога соломы, ограбленный и обиженный, он недолго плакал, но долго думал и не придумал ничего. Продолжал думать и потом, когда, перебравшись через переезд, прошел

«своей» улице; со стесненным сердцем посмотрел на крыльцо, на котором вчера чистил ботинки.

Так начались его трудные дни.

Где находится колония имени Первого Мая, Ваня никак не мог выяснить. На улицах он спрашивал встречных, но большинство отвечало незнанием, и были и такие, которые отмахивались и молча проходили дальше. К милиционерам Ваня подходить боялся. Боялся он и беспризорных и старался куда-нибудь скрыться, когда видел их приближающуюся стайку. Вообще Ваня плохо привыкал к сложности и многолюдству большого города. На той станции, откуда он приехал, все было проще и понятнее.

Он спросил у молодой женщины, катящей перед собой детскую коляску:

— Где колония Первого Мая? Никто не знает.

— Колония Первого Мая? — женщина остановила коляску.— Я слышала. Только это далеко. Это за городом, мальчик.

— За городом? А где?

— Я не знаю. Ты спроси в наробразе[5].

Режущее, незнакомое слово так испугало Ваню, что он даже вздохнул. Стало вдруг очевидно, что в городе жизнь гораздо более запутана, чем ему казалось.

— А что это?

— Это учреждение, понимаешь, дом такой. Там тебе и скажут...

— Дом...

— Это на главной улице. Не забудешь? Наробраз.

— Наробраз.

— Ты на главной улице спроси. Тебе каждый покажет.

— Там написано?

— Наверное, написано.

Ваня обрадовался. Но пришлось истратить целый день на это дело. Несколько раз он прошел главную улицу. В последний раз шел медленно, останавливался перед каждым входом, от первого до последнего слова прочитывал все вывески, но такого слова: «наробраз» так и не встретил. Наконец догадался спросить. Пожилой человек в шляпе показал палкой на огромный дом с просторной перед ним площадкой и сказал:

— Наробраз? А это в окрисполкоме. Это там...

Этот дом давно заметил Ваня и даже прочитал все вывески при входе. Там такой вывески «наробраз» тоже не было. Все же он поверил пожилому человеку и направился к этому дому.

Ваня еще раз просмотрел все вывески при входе в большое здание, просмотрел рассеянно, потому что хорошо знал, что наробраза там не было. Потом вспомнил, что с другой стороны подъезда на асфальтированной площадке выступает крылечко и над ним есть какая-то вывеска. Он нашел этот вход. Действительно, здесь была вывеска, и на ней написано:

ОКРУЖНОЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Опять не то. Но в этом месте Ваня увидел нечто, не имеющее никакого отношения к наробразу, но безусловно важное. На асфальтированной

площадке сидело целых четыре чистильщика — все мальчики. Тут же стояли люди, ожидающие свободной подставки. Одна подробность Ваню сильно заинтересовала: стояла пятая подставка для чистки обуви, на ней лежали две щетки. Ваня заметил, как на это соблазнительное оборудование поглядывали люди, читавшие афиши, но ничего сделать не могли: работник, вероятно, отлучился надолго. Ваня подошел сбоку к самой подставке и начал наблюдать работу мальчиков. Ближайший к нему, скуластый, веснушчатый пацан лет пятнадцати, работал быстро, весело, щетки у него в руках ходили незаметно для глаза. Начищая задник, он наклонялся вперед и вбок, поглядывая на Ваню. Когда клиент снял ногу с подставки и полез в карман за кошельком, пацан дробно застучал колодками щеток по ящику и загляделся на Ваню. Глаза у него были ловкие, напористые, уверенные. Ваня смутился и двинулся уходить. Пацан крикнул:

— Ты чего здесь заглядываешь?

— Это я?

— «Это я!» Чего торчишь! Может, чистить умеешь?

— Умею.

— Врешь.

— Умею.

— А ну, покажи!.. Пожалуйте, гражданин! Вот к нему! Пожалуйте, пожалуйте!

— Да, может, он не умеет?

— Я отвечаю. Если будет плохо, перечищу. Как тебя зовут?

— Ваня.

— Ванька? Садись.

Пацан энергично перемахнул к свободной подставке, открыл ящик, достал одну коробку, другую, открывал, закрывал их. В ящике находилось большое богатство: мази всех цветов, даже бесцветная, две бархатки, банка с разведенным мелом. Он выбросил малую щетку, банку с черной мазью, хлопнул рукой по подставке, сказал:

— Начинай! Видишь, сколько народу!

Ваня уселся на скамеечке, расставил ноги, с удовольствием принялся за работу. На подставке стоял хороший новый ботинок, и над ним нависла штанина, тоже новая, дорогого сукна. Ваня начал сметать пыль с ботинка, но энергичный пацан крикнул на него недовольным голосом:

— Умеешь! Штаны подкати!

Ваня оглянулся растерянно, но скоро догадался, в чем дело. Аккуратно, не спеша подкатил штанину, получилось хорошо. Ваня продолжал работу. Скуластый хозяин был занят своим клиентом, но все время посматривал на работу Вани, а когда клиент ушел, сделал одно замечание:

— Зачем мази много кладешь? Он не понимает, говорит: «чисти», а на самом деле мази не нужно. Туда сюда — и готово. А ты намазал!

К Ване подошел новый клиент, потом еще один. Ваня работал охотно, с радостью, но руки и спина у него заболели почему-то очень скоро, и он был доволен, когда наступила передышка.

— Деньги давай! — сказал скуластый, не глядя на Ваню.— Ох ты, черт, спать хочется. У тебя есть документ?

У Вани было тридцать копеек. Ему не жалко было этих денег, но почему-то раньше ему не приходило в голову, что их придется отдавать, поэтому он немного удивился требованию и переспросил:

— Тебе деньги отдать?

— А как же? Ха! А кому ж отдавать?

Он взял тридцать копеек и небрежно бросил в свой ящик. А из ящика достал три копейки.

— На. Буду платить тебе по копейке с гривенника. Хочешь?

— Как это: по копейке?

— По копейке, хочешь? За каждого.

— Мне?

— Ну да, за работу. Нужно платить или не нужно? А документ у тебя есть?

— Какой документ?

— Без документа? Видал! Тебе и по копейке много. А если спросят: какое право имеешь чистить, тогда что будет?

— А я скажу, что нету документа.

— Он скажет! Подумаешь! А он возьмет ящик, и ты пойдешь. . знаешь? Юрка, посмотри за ним, а я пошамать...

— Их сосед в общем ряду — Юрка — кивнул головой, ответил нехотя:

— Посмотрю.

— И посчитай, сколько он наработает.

— Считать мне некогда, сам считай.

— И не надо. Все равно, если спрячешь, найду. Все равно найду, понимаешь?

Он стоял перед Ваней и теперь, во весь рост, казался выше и основательнее. На нем были хорошие брюки навыпуск и новые ботинки Ване стало не по себе перед его настойчивой угрозой, Ваня отвернул лицо в сторону:

— Ничего я прятать не буду.

Скуластый отправился по улице. Юрка повернул к Ване лицо, сказал недружелюбно:

— По копейке взялся! Ходит тут всякая шпана!

Ваня ничего не ответил. Юрка еще раза два посмотрел на него, задумался, плюнул с осуждением через свой ящик, сказал своему соседу слева:

— Нашел дурака. По копейке!

Подошел клиент, Юрка застучал щетками:

— Пожалуйте, гражданин! Почистим шевровые!

Но гражданину, видно, не понравилась развязность Юрки, тем более, что ботинки у него были вовсе не шевровые. Он поставил ногу к Ване.

— Да он и чистить не умеет, он приблудный! Жалеть будете!

Ваня ощутил неприятную робость перед Юркой. Он нахмурил брови, механически, без увлечения, закончил работу, положил гривенник в ящик. Юрка с презрением наблюдал за ним.

Последний в ряду слева, большой, неповоротливый, скучный, бросил:

— Спирька меня целое лето эксплуатировал, сволочь! Целое лето, так и то по три копейки платил.

— По пять нужно,— сказал Юрка.

Большими стаями пошли клиенты, разговоры прекратились. Ваня не успевал разогнуть спину, одна нога за другой менялись на подставке, гривенники прибавлялись в ящике. Но сейчас Ваня не испытывал прежней трудовой радости, лица клиентов его не интересовали, и он с клиентами не разговаривал. Наконец он так устал, что щетки еле двигались у него в руках, чаще стали вырываться. Возвратился Спирька с папиросой в зубах, увидел группу ожидающих, закричал весело:

— Вот пришел мастер первой категории! Пожалуйте!

Еще с полчаса все пятеро разгружали очередь. У Вани вспотел лоб и стало болеть в груди. Когда последний клиент бросил ему гривенник, Ваня даже не поднял монету, она так и осталась лежать на асфальте. Потом Спирька сказал:

— Давай выручку!

Не считая, Ваня передал ему серебро.

— Ого! Рубль шестьдесят! Здорово! А больше нет?

— Нет

— А ну, выверни карманы.

Ваня вывернул.

— Значит, тебе шестнадцать копеек. На. Видишь, и заработал.

Юрка, положив руки на колени, обратил глаза к Спирьке. Глаза выражали негодование. Негодование выражали и другие пацаны, но только последний в ряду, неповоротливый и скучный, сказал:

— Паскуда ты, Спирька.

Спирька воинственно обернулся:

— Что ты сказал? Что ты сказал?

Последний ничего не ответил, но Юрка подтвердил с улыбкой:

— Не слыхал? Правильно сказал! Это называется, знаешь как?

— А как? А как?

— Это называется исплотация! Исплотация! Что ж ты ему по копейке! Так же только буржуи делают, исплотаторы.

Спирька гневно завертелся на асфальте, покалывал взглядами Ваню, но с наибольшим возмущением обращался к последнему в ряду:

— А по скольку ему давать? Он и чистить не умеет. А гуталину сколько изводит? Видал? А если тебе, Гармидер, жалко, так и плати ему сам. Пожалуйста, плати хоть по десять копеек.

Гармидер по-прежнему скучно смотрел в сторону и ничего не сказал. Спор поддерживал Юрка:

— Гармидер не исплотатор, у него и ящика лишнего нету.

— Ага! У него нету! И у тебя нету! Так вам хорошо говорить! А я гуталин должен покупать? А щетки стоят? А бархат стоит? А за ящик ты не платил четыре рубля, не платил? Так тебе легко!

Юрка далеко плюнул, прямым, как стрела, броском.

— Мне легко, у меня свой ящик. И ты себе чисть. А второй ящик — это исплотация, значит.

— Заладил, как сорока,— исплотация, исплотация! Какой пионер, по-

думаешь! Его никто не держит, пускай себе идет, куда хочет И документа у него нет. Он поймается, а мой ящик и весь припас пропали!

Юрка еще раз далеко плюнул, поднялся, потянулся, зевнул:

— Как себе хочешь. А только мы не позволим. Плати ему по пять копеек с гривенника.

Спирька заверещал на всю улицу.

— По пять копеек?

— По пять копеек!

— По пять копеек без документа?

— Ну... если ящиком рискуешь, плати по три копейки. Гармидеру платил по три, и ему по три

Спирька вдруг неожиданно сдался, перестал кричать, захохотал, хлопнул Юрку по плечу.

— Да я и плачу ж по три. Чего ты взъерепенился?

— И плати по три.

— А по сколько ж? Это я пошутил, что по копейке. Думал, посмотрю, как он работает, а может, он убежит. Очень мне нужно: исплотация! Пускай себе чистит. Это я насмех, а вы тут целый митинг завели!

Спирька долго посмеивался, поглядывал острыми глазами на всех. Гармидер не обращал на него внимания и скучно глядел в сторону. Юрка снова уселся за свой ящик, улыбался понимающе, наконец сказал:

— Да чего ты представляешься? Что мы, не знаем? У тебя этот ящик целый месяц даром стоит. А тут нашелся пацан, другой бы обрадовался, если умный, а ты жадничаешь: по копейке.

— Вот чудаки! Жадничаю! Пошутил я, это верно. Пожалуйста: по всей справедливости расчет. Начистил ты на три гривенника, потом еще на пятнадцать гривенников.

— На шестнадцать,— поправил Юрка.

— Ну да, на шестнадцать. Значит, на девятнадцать разом. Вот тебе еще по две копейки с гривенника — тридцать восемь копеек. Целую кучу денег заработал.

Ваня в течение всей этой истории сидел неподвижно на скамейке и слушал. Его захватила неожиданная глубина проблемы, поднятой чистильщиками. Еще так недавно Ваня учился в школе, в четвертой группе. В школе говорили об Октябрьской революции, о поражении буржуев, о гражданской войне. Все это, казалось Ване, давно прошло, и вдруг он сам сделался предметом эксплуатации. Спирька в его глазах вдруг перестал быть чистильщиком, соседство с ним стало неприятным. Но когда Спирька высыпал на его руку тридцать восемь копеек, Ваня с радостью увидел и другую сторону проблемы: теперь у него было пятьдесят семь копеек, да еще до вечера оставалось много времени... Сегодня он поужинает не иначе, как замечательной, влажной, вкусной колбасой с мягкой булкой. Ваня с большим удовольствием набросился на новый ботинок, очутившийся на подставке, и легко принял дополнительное требование Спирьки:

— Только ты и ящик домой отнесешь. Я тебе носить не буду.

14. НЕПОНЯТНОЕ

Три недели работал Ваня у Спирьки, зарабатывал по рублю в день, а то и больше. На пищу ему хватало. Но работать приходилось много, к вечеру Ваня очень уставал, а еще нужно было и ящик относить, и утром приходить к Спирьке за ящиком. К счастью, Спирька жил недалеко от товарной станции, следовательно, и от той соломы, где Ваня ночевал.

За это время Ваня ближе, чем с другими, сдружился с Юркой. Юрка был человек опытный и много понимал в жизни. Несмотря на то, что он был круглый сирота, он спал не на улице, как другие, а нанимал угол у какой-то «тетки». Он очень одобрительно отнесся к намерению Вани идти в колонию имени Первого Мая, но тут же и разочаровал его:

— Там хорошая колония, только тебя не примут.

— Почему не примут?

— Думаешь, так легко принимают? Тут в городе пацанов, ой-ой-ой, сколько хотят, а попробуй! Я тоже ходил.

— В колонию ходил?

— Ходил. Еще в прошлом году. Меня как пришпилит декохт [6], а ящика у меня не было. Я и пошел. А теперь мне наплевать на них. Еще и лучше, потому — у них все-таки строго: чуть что — «есть», «есть». И пацаны там есть знакомые, а только наплевать! — Юрка и действительно плюнул артистическим своим способом.— Проживу и без них.

— Значит, они не берут?

— Они не имеют права, а нужно в комиссию идти.

— В какую комиссию?

— Комонес [7] называется.

— А где она?

— Комонес? А вот тут, за углом сейчас. Только туда не пустят.

— В колонию?

— Нет, в комонес. Я ходил, так туда не пустили.

Все-таки Ваня улучил минутку и побежал в комонес. Это было действительно за углом. Окончился его визит очень быстро. Ваня успел проникнуть только в коридор, и уже через минуту он снова стоял на крыльце, а на него глядела из полуоткрытой двери лысая голова сторожа. Разговор между ними начался еще в коридоре и за самое короткое время успел дойти до большого накала. Быстро обернувшись к двери, Ваня дернул плечом и крикнул со слезами:

— Не имеете права!

Сторож никакого мнения по вопросу о праве не высказал, он выражался директивно:

— Иди, иди!

— Я хочу в колонию Первого Мая!

— Мало ты чего хочешь! Здесь таких не берут.

— А каких?

— Правонарушителей берут, понимаешь?

— Каких нарушителей?

— Повыше тебя сортом. А не то что всякий сброд: захочется ему в колонию, скажите, пожалуйста!

— А если мне жить негде?

— Это что: жить негде? Это пустяки. Это спон [8] принимает.
— Спон? Какой спон?
— Так говорится: спон. И иди себе!
Сторож захлопнул дверь. Ваня задумался: «Спон!»
К месту работы Ваня возвращался расстроенный. Юрка еще издали увидел его и крикнул:
— А что я говорил?
Ваня присел на скамейку, взялся за щетки. Клиент уже поставил ногу. Юрка заканчивал щегольский командирский сапог и все-таки отозвался на события:
— Он думал, так ему сейчас: пожалуйте, товарищ Гальченко, садитесь.
Ваня ничего не сказал, а когда кончил работу, спросил:
— А он говорит — в спон какой-то иди?
— Кто говорит?
— Да там такой лысый: в спон.
— Стой, стой! Спон? О! Знаю! Это в наробразе, знаю спон. Только там...— Юрка завертел головой, и Ваня понял, что Юрка выразил предельное пренебрежение к спону.
— Чего?
— Да там... ну... туда лучше не ходи. Буза!
Спирька к подобным разговорам относился с самым холодным презрением. Он принимал и отпускал клиентов, курил, посвистывал, с кем-то перемаргивался, как будто никакого спона не существовало.
— Спон этот здесь,— Юрка кивнул на входную дверь, возле которой они сидели.— Только они здесь не берут, а говорят: иди в приемник. Буза!
Ваня на следующий день отправился в спон. Он вошел в ту самую дверь, на которую показывал Юрка, поднялся по узкой и темной лестнице и попал в такой же темный коридор. Здесь было много дверей, они открывались и закрывались, какие-то люди входили и выходили, за фанерными створками дверей гудели голоса, стучали машинки. В коридоре, на деревянных диванах, сидели потертые, с нечищеными ботинками клиенты и скучали. Ваня прошел весь коридор, прочитал все надписи и вернулся. У одного из сидящих спросил:
— Спон, понимаете...
— Ну?
— Какой это спон?
— Спон самый обыкновенный. Сюда иди.
Он показал пальцем на дверь. На двери Ваня прочитал:

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Прочитал еще раз. Ничего не понял. Обернулся.
— Это спон?
— Еще не верит, малыш! Прочитай первые буквы.
Ваня прочитал и обрадовался, теперь он все понял: действительно, это был спон. Ваня открыл дверь и вошел. В небольшой комнате сидели

четыре женщины и один мужчина. Все они что-то писали. Ваня осмотрел всех и обратился к маленькой женщине с черными большими глазами:

— Здравствуйте.

Женщина посмотрела на Ваню, но продолжала держать перо в руке:

— Тебе чего, мальчик?

— Мне спон.

— Ну да, спон, так что тебе нужно?

— Отправьте меня в колонию Первого Мая.

Женщина заинтересовалась Ваней, положила ручку, ее глаза улыбнулись:

— Это ты сам придумал?

— Сам.

— Не может быть. Тебя кто-то научил.

— Никто не учил. Там, говорят, прилично.

Женщина с черными глазами переглянулась с другой женщиной, обе они улыбались, не открывая губ.

— Еще бы! Ты — беспризорный?

— Нет, еще не был.

— Так чего же ты пришел? Мы берем только беспризорных.

— Я не хочу быть беспризорным.

— Видно, ты очень не глупый мальчик.

Ваня повел головой к плечу:

— А чего ж я буду глупый?

— Это и видно.

Они опять поглядели друг на друга.

— Ну хорошо. Не мешай...— сказала одна из них.

— Я не мешаю.

— В колонию Первого Мая мы не отправляем. Это комонес.

— Комонес?

— Да, комонес. Туда правонарушителей отправляют.

— Я был в комонесе. Так там выгоняют! Такой... лысый.

— У них есть кому выгонять, а у нас некому, так ты и стоишь. Я тебе сказала: не мешай!

За столом в углу поднялся молодой мужчина и сказал недовольно:

— Мария Викентьевна, сами виноваты: зачем эти разговоры? Сами вступаете с ними в прения, а потом не выгонишь. Работать абсолютно невозможно.

Он вышел из-за стола, подошел к Ване, ласково, осторожно взял его за плечи, повернул лицом к двери:

— Иди!

В коридоре Ваня еще раз прочитал надпись:

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Потом прочитал первые буквы. Выходило действительно спон. Но теперь это уже было не так понятно, как четверть часа тому назад.

Через три недели произошла новая катастрофа. К чистильщикам подошел молодой человек с портфелем и потребовал документы. В ката-

строфе виноват был сам Спирька. Нужно было посадить Ваню в середине шеренги чистильщиков,— в таком случае, как потом объясняли опытные люди, Ваня успел бы смыться. Ваня же сидел крайним, и человек с портфелем прежде всего потребовал документы у него. В ответ на это Ваня только похолодел. Человек с портфелем помолчал над ним и распорядился:

— Собирай свое добро.

Ваня беспомощно обратился к Спирьке, но Спирька вел себя самым странным образом: он любовался улицей, любовался всласть, его глаза смеялись от удовольствия.

— Бери ящик, чего ты оглядываешься?

— Так это не мой ящик.

— Не твой? А чей?

— Это его, Спирьки.

— Ага, Спирьки? Это ты — Спирька?

— Я! А какое мне дело? — Спирька очень честно и обиженно пожал плечом.

— Чей это ящик, ребята?

Сначала молчали, а Гармидер все-таки сказал:

— Ваньку нечего подводить. Спирькин ящик. И припас тоже его.

— Да идите вы к черту! Чего пристали, смотри! Я тебе продал ящик? Продал? Чего ж ты молчишь?

— Когда же это ты мне его продавал?

Юрка сказал примирительно:

— Засыпался, Спирька, нечего.

Человек с портфелем все понял, и судьба всей системы стала очевидной и для Спирьки. Человек с портфелем произнес после этого только одно слово:

— Идем!

Спирька выругался головокружительно, размахнулся и ударил Ваню по уху. Гармидер бросился на помощь, но Спирька успел ногой очень сильно ударить по своему ящику. Коробки с гуталином и деньги покатились по асфальту, и Спирька, заложив руки в карманы, спокойно отправился по улице. Человек с портфелем глазами искал подкрепления, но оно пришло не скоро. Юрка шепнул растерявшемуся Ване:

— Дергай!

И Ваня «дернул». Через десять минут, на глухой, заросшей вербами, улице, он остановился. Ему казалось, что за ним погоня. Он присмотрелся к уличной дали: там никого не было, а поближе только белая собака перебегала улицу. Собака посмотрела в сторону Вани несколько подозрительно, но когда Ваня тронулся с места, она поджала хвост и побежала скорее. Денег у Вани было двадцать две копейки, сегодняшняя выручка вся осталась в ящике.

Снова начались дни одиночества и голода. Двадцать две копейки помогли поддерживать жизнь в течение двух дней. Потом стало совсем плохо, а тут еще и небо выступило против Вани. С утра светило солнце, к двум часам собирались черные говорливые тучи, к вечеру проходила над городом гроза: ливень несколько раз с силой обрушивался на город, громовые удары били без разбору, а к ночи начинался тихий дождик и

продолжался до утренней зари. Этот порядок установился на целую неделю. Ваня в своей соломенной постели промок в первую же ночь, он думал, что на вторую ночь не будет дождя, и снова промок. На третью ночь он уже побоялся идти ночевать в солому, долго ходил по городу, пережидая дождь в подъездах и воротах домов. Так он добрался до вокзала.

На вокзале стояла тишина. В зале ожидания только что прошла уборка. Влажный чистенький кафель с опилками, кое-где к нему приставшими, блестел под ярким электричеством, на больших диванах дремали редкие пассажиры. Двое красноармейцев закусывали. Они доставали еду из холщового мешка, стоявшего между ними, и еда была вкусная: розовую французскую булку они разломили пополам, разлом этой булки был ослепительно пушистый. Шесть яиц лежало на диване, один из красноармейцев подставил широкое колено, чтобы они не скатились на пол. Другой на газетном листе потрошил и резал селедку. Кусочки селедки красноармейцы осторожно брали двумя пальцами и ели. Ваня сделал к ним несколько шагов, красноармейцы посмотрели на него, один из них ухмыльнулся:

— Выходит, ты голодный?

— Денег.. нету.

— Денег нету? Это плохо. Беспризорный, выходит?

— Нет... я еще...

— Ну что ж. Садись с нами, вот сюда.

Ваня сел против них на другом диване. Рядом с ним легла приятная порция половина французской булки, два кусочка селедки и одно яйцо. Красноармейцы все это разложили перед ним молча, в своем мешке они оба хозяйничали дружно, но обходились тоже без слов, только изредка гмыкали. Стрелок железнодорожной охраны подошел к ним, показал пальцем:

— Этот с вами едет... пассажир?

Красноармеец постарше и посмуглей ответил:

— Пока . видишь, с нами едет.

Стрелок недоверчиво скосил глазом на Ванину закуску:

— Чего-то он мало соответствует.

— Ничего, подходящий. Будет соответствовать.

Стрелок отошел Красноармейцы даже не переглянулись, продолжали закусывать. До самого конца ужина они не сказали Ване ни слова. Только, когда холщовый мешок был завязан и газета с крошками и требухой брошена в сорный ящик, молодой протянул:

— Поужинали, значит.

15. СЕРЕБРЯНЫЙ ГРИВЕННИК

Ваня здесь, на вокзале, и заснул, сидя на диване. Стрелок не беспокоил его до утра, потому что на противоположном диване сидели красноармейцы. Но утром, когда стрелок все-таки разбудил Ваню, красноармейцев уже не было. Стрелок молча смотрел на Ваню, а Ваня молча догадался, что нужно уходить.

Он побрел [redacted] главной улице — ему хотелось посмотреть, что теперь происходит на асфальте возле наробраза, а кроме того, он решил еще раз зайти [redacted] спон и поговорить там о колонии Первого Мая.

Походка у Вани деловая, но настроение у него плохое: мужчина в споне, который сидит за самым дальним столом, бросает на жизнь довольно мрачную тень.

Из магазина вышел мальчик [redacted] золотой тюбетейке — Володя Бегунок. И на тюбетейку эту, [redacted] на вензель на рукаве, [redacted] на живые темные глаза Ваня так загляделся, что даже приостановился у деревянной клетки, ограждающей молодое дерево.

Володя Бегунок держал в руке коробку мази для чистки сигнальной трубы. Стоя при выходе из магазина, он внимательно рассматривал этикетку на коробке. Потом спрятал мазь в карман, но, вынимая руку из кармана, выронил гривенник, который назначен был на обратный трамвай. Гривенник покатился под ноги Вани Гальченко. Ваня быстро наклонился, поднял монету. Бегунок выжидательно посмотрел на Ваню. Ваня протянул ему гривенник. Володя взял и несколько смущенно объяснил:

— Это у меня на трамвай. А то пешком... шагать. Шесть километров.

Ваня улыбнулся из вежливости. Собственно говоря, у Вани есть свои дела, гораздо более трудные

— Шесть километров?

— Там...— Володя показал куда-то,— колония Первого Мая

Ваня, ошеломленный, дернулся к Володе.

— Первого Мая?

— Ну да.

— Ты из Первого Мая? Ага? — Ваня, не сдерживая радости, засмеялся.

Володя улыбнулся, гордый своим высоким званием.

— Колонист. Видишь — [redacted] форма первомайская.

Володя поднял локоть. На рукаве, на бархатном ромбике, было вышито: золотым цветом цифра 1, [redacted] серебром, через цифру, слово «Мая».

— А мне как раз...

— Ты — беспризорный?

— Нет, [redacted] еще не был беспризорный. Я все хочу... И ничего... Никто не отправляет.

Ваня говорил серьезно. Они стояли на середине тротуара, их толкали проходящие. Володя первый заметил это неудобство, нахмурил брови, взял Ваню за руку, потащил [redacted] сторону.

— Я тебе так скажу... Там у нас совет бригадиров, так он строгий. Там такие черти, бригадиры! Они скажут: [redacted] место где? А еще скажут: почему? А ты пойди в комиссию, называется комонес.

— Был я в комонесе. И [redacted] споне был. Везде [redacted] был.

— Она не хочет?

— Кто «она»?

— Там женщина такая. Не хочет?

— Она не хочет, [redacted] он тоже толкается. Говорит, это для первого сорта — право... нарушителей. А ты правонарушитель?

Володя носком ботинка застучал по выступу цоколя, опустил глаза, улыбнулся:

— Они там такое придумали: правонарушители, а только это буза, понимаешь? Это все равно. И наши так говорят: это неправильно.

Володя на секунду задумался, скучно повел взглядом по улице. Очень возможно, что поднятый вопрос был выше его сил. Брови у Володи оставались еще нахмуренными. Наконец он решительно шевельнул губами, гневно вздернул голову:

— Знаешь что? Черт с ними! Ты приходи. В субботу. Мы попросим, я моему бригадиру скажу. У меня, ох, и хороший бригадир, Алеша Зырянский! Ты найдешь колонию? Через Хорошиловку нужно.

— Найду.

— А ты эти десять копеек.. купи булку.

Ваня взял гривенник.

— А на трамвай? Пешком?

— Вот еще: пешком! С какой стати! Поеду, только я так.. бесплатно поеду.

— Без билета?

— Конечно, это нельзя, ну так что ж! Только я с пересадкой: в одном трамвае, потом в другом трамвае, а кондуктор и не увидит.

Ваня улыбнулся.

Володя строго салютнул.

Они разошлись. Ваня считал, сколько дней осталось до субботы, а Володя Бегунок вспомнил дежурного бригадира Воленко и ясно видел, что в колонию нужно идти пешком.

16. АКУЛА НЬЮ-ЙОРКА

Игорь Чернявин рано закончил все процедуры: побывал у врача, в бане, в парикмахерской. В швейной мастерской с него сняли мерку. Воленко объяснил:

— Это для парадного костюма.

В кладовой, в присутствии Воленко, старик-кладовщик выдал Игорю «школьный» костюм, спецовку, ботинки, трусики, тюбетейку и пояс. В бане Игорь переоделся, кое-что осталось у него на руках. Воленко привел его в тихий клуб и сказал:

— Здесь побудь до пяти часов. В спальню я тебя не могу допустить, потому что нет дома восьмой бригады — все заняты. А в обед им некогда с тобой возиться.

Игорь не был утомлен процедурами, его ничто не раздражало, а суховатая сдержанность дежурного бригадира даже немного импонировала ему. И может быть, поэтому распоряжение Воленко его неприятно удивило:

— Я должен здесь сидеть? И не могу выйти?

— Почему? Ты можешь выйти. Только на второй этаж и в другие здания тебя еще не пустят, потому что ты еще не принят бригадой. Ты новенький, тебя никто не знает.

— Но я уже в колонистском костюме.

— Это ничего не значит. Ты здесь посиди до обеда. А после обеда пойдем в школу, там тебя проэкзаменуют.

Воленко ушел. Игорь сложил спецовку на диване и решил познакомиться с тихим клубом.

Тихий клуб представлял собой большой, красиво расписанный зал. Под его стенами проходил такой же бесконечный диван, как и в комнате совета бригадиров. [redacted] одном месте, [redacted] узком конце зала, диван прерывался, здесь находился небольшой помост, устланный ковриком. На помосте на мраморном пьедестале стоял бюст Сталина, [redacted] вся стена [redacted] этом месте была украшена портретами и картинами из жизни Сталина. В других частях зала тоже были портреты и картины. Игорь долго ходил и рассматривал их. Ему понравилось, что все в зале было сделано красиво [redacted] основательно: все портреты и картины были [redacted] дубовых рамах, под стеклом. Пол [redacted] тихом клубе был паркетный, вероятно, только сегодня его натерли. Кое-где возле дивана стояли дубовые восьмигранные столики, а вокруг них полумягкие стулья.

На одной из продольных стен Игорь увидел длинный ряд небольших портретов. Были здесь изображены и пожилые, [redacted] молодые люди, [redacted] пацаны. Игорь легко узнал среди лиц, изображенных на портретах, лицо Воленко, все остальные были незнакомы.

Рассматривая все это, Игорь дошел до большого зеркала. [redacted] бане он переоделся [redacted] костюм, который Воленко называл «школьным», но Игорь еще не видел себя в зеркале в этом костюме. Сейчас на него смотрел румяный молодой человек, узкий черный ремень туго стягивал поясок суконных брюк навыпуск, темно-синяя, плотной материи, блуза была заправлена [redacted] брюки, ее воротник не имел пуговиц [redacted] широко раскидывался, открывая шею. Все это Игорю понравилось. Жаль только, что нижняя сорочка без воротника [redacted] ничего беленького нельзя выпустить. Жаль еще, что его остригли под машинку: голова Игоря была немного торчком и, остриженная, казалась чуть-чуть глуповатой. Но Игорь видел, что многие колонисты носили прическу, прическа была и у Воленко, значит, это здесь можно.

Игорь любил свое лицо. Больше всего ему нравились в нем постоянная склонность к ехидной улыбке и чистый блеск небольших, немного прищуренных глаз. Но сейчас что-то изменилось [redacted] его лице, хотя оно оставалось таким же приятным. Может быть, оно стало серьезнее, может быть, удивленнее? Игорь розобрать хорошо не мог. А все-таки в нем было что-то новое.

Игорь уселся на диван и задумался. Очевидно, придется ему жить в этой колонии имени Первого Мая! Сколько времени? Год, два, три? Уходить отсюда еще не хотелось. Он провел два года «на свободе». Деньги доставались легко, попадались хорошие знакомства, но как-то так получалось, что радости от всего этого было мало. Кино, конфеты, колбаса давно перестали его удовлетворять. Больше всего надоела бездомность. Ночевки на вокзалах, в соломе, в ночлежках, в притонах были одинаково отвратительны. Самые лучшие костюмы, которые он покупал при удаче, очень быстро обращались [redacted] паскудную рвань.

Получалось не солидно. [redacted] такой же рвани щеголяло большинство, как он, «свободных» людей. Это некрасиво, это ни [redacted] какой мере не напоминало той элегантной, блещущей остроумием и удачей жизни, которая так притягательна в американских кинофильмах. Игоря раньше привлекал

этот бесшабашный задор, блеск таланта и смелости, благородная борьба с сыщиками, такими же джентльменами, такими же элегантными и смелыми. Черт его знает, в жизни получалось совсем не так. Игорь мог проделывать захватывающие дух операции, но никакие сыщики против него не выступали. Обыкновенный стрелок в полном вооружении или милиционер в своей шинели — один вытаскивал с вокзала или из ночлежки целую кучу таких акул Нью-Йорка. А потом нужно было разговаривать с Полиной Николаевной и ловить какого-то безобразного и, в сущности, невинного козла. Эта жизнь не обнаружила в себе ни одной привлекательной черты. Не было никаких преследований на автомобиле, завещаний, таинственных писем, трюков, блондинок с револьвером, направленным на человека в маске. Ничего не было, кроме американской мечты. Игорю сейчас не хотелось возвращаться в этот мир приключений.

А что здесь, в колонии? Как пойдет жизнь? Ему выдали спецовку, обязательно заставят работать. Он ничего не имеет против честных трудовых рук. Но сам он никогда ничего не делал, и работать ему не хотелось. А здесь, вероятно, гордятся: вот мы работаем! Надо все-таки разбираться: одному нравится, другому не нравится. Игорю не нравилось. Впрочем, можно будет попробовать. Черт его знает, может быть, из него и выйдет какой-нибудь токарь. С другой стороны, его заставят и в школу ходить. Заведующий этот, Захаров, конечно, дока. Игорь не возражал против образования, особенно против высшего образования. Но ему и раньше не нравилось учиться, не нравилась добродетельная скука учителей, их мелочная придирчивость. Не нравилась и беспорядочно-шумная, желторотая толпа школьников.

Игорь думал долго, но не пришел ни к каким решениям. Впереди все оставалось открытым. Самым открытым был вопрос о матери. К этому вопросу Игорь давно не возвращался, так слабо его тянуло пробираться к этому страшному вопросу сквозь дебри расстояний и противоречий. Вопрос о матери — это вопрос какого-то, черт его знает, отдаленного будущего, но, пожалуй, мать была бы рада, если бы он приехал к ней в гости в парадной форме колониста и на пороге отдал сдержанный, строгий салют. Это у них шикарно. Но взгляд его упал на спецовку, мирно лежащую на диване; спецовка пахнула очень сложным и скучноватым будущим.

Какие бывали блестящие, захватывающие дни, полные опасности и остроты! Бывали. А сегодня что? Он сидит в этой красивой клетке, и его стережет с винтовкой в руках какой-то сопливый Петька Кравчук. Хорошенькая акула Нью-Йорка! Эту акулу сегодня будут просто потрошить школьными перочинными ножиками.

Игорь сумрачно встретил дежурного бригадира Воленко, который пришел звать его обедать.

17. ПРИЯТНЫЙ РАЗГОВОР

После обеда Игорь Чернявин был в школе. Его принял старик учитель. Или он здесь назывался как-нибудь иначе?

Учительская была красивая, большая и тоже с огромными окнами. Но

здесь были приспущены тяжелые гардины и на полу лежали ковры. Старик учитель выбрал для разговора затененный угол, где стояли большой диван, два кресла и маленький столик.

Учитель Игорю понравился. Пиджак его застегнут на все пуговицы, очень чистый воротник рубахи, щеки гладко выбриты и седые усы привычно-умело, несколько даже кокетливо, подкручены. Он напоминал Игорю профессора из американской картины. Больше всего понравился вежливый склад речи учителя. Он сказал:

— Вы Игорь Чернявин? Я вас жду. Садитесь, прошу вас.

Он тронул рукой спинку кресла, а когда Игорь сел, он расположился рядом с ним на диване и, немного склоняясь вперед, сказал:

— Меня зовут Николай Иванович. Надо с вами выяснить. Алексей Степанович говорил мне, что вы окончили семь групп, но это было, вероятно, давно: некоторые жизненные обстоятельства, так сказать, мешали вам.

Он остановил взгляд на Игоре с молчаливым вопросом, Игорь сидел прямо в кресле и, сложа руки на коленях, внимательно слушал.

— Да, я два года не занимался.

— Скажите, пожалуйста, товарищ Чернявин, вы хорошо учились?

— Иногда хорошо, иногда плохо.

— Я думаю, это зависело от разных посторонних причин, способности вам не мешали?

— Да, у меня были способности...

— Разрешите, я вам предложу кое-что написать. Очень важно узнать, как у вас с грамотностью. Пожалуйста. Вот вам бумага, чернила и перо. Что бы вам такое предложить? Ну вот, если вы не возражаете. Напишите коротко, очень коротко — вы ведь из Ленинграда? — напишите, что вам больше всего нравится в Ленинграде — улицы, мосты, может быть, парки. Это вы можете?

— Да, попробую.

— Пожалуйста, а я займусь своим делом.

Николай Иванович улыбнулся, чуть-чуть кивнул головой и присел за большим столом посреди комнаты. Игорю понравилась тема. Действительно, Ленинград было чем вспомнить. Игорь часто думал о родном городе и грустил. В Ленинграде живет мать... Да и вообще Ленинград — шикарный город, больше всего соответствующий его вкусам. Через полчаса Игорь вручил Николаю Ивановичу исписанный лист. Николай Иванович достал большие черные очки и, вытянув губы, стал читать работу Игоря. Прочитал один раз, улыбнулся, прочитал второй раз.

— Очень хорошо. Очень грамотно и интересно. Одна ошибка, и то незначительная: колонна пишется через два эн.

— Разве?

— Да, через два, но этого в седьмом классе вы могли и не знать. А вот с математикой как?

Игорь покраснел. Ничего не ответил. Так же вежливо Николай Иванович попросил Игоря разделить дробь на дробь. Целую минуту Игорь рассматривал написанное выражение, но карандаша в руки не взял.

Николай Иванович от своего стола посмотрел на Игоря через плечо.

— Что же вы? Забыли?

— Забыл. Представьте себе, совершенно забыл.

Игорь поднялся с кресла. Он мог тоже показать пример вежливости.

— Я не буду больше затруднять вас, Николай Иванович. Писать я могу, а все остальное забыл, алгебру забыл, биологию, всякую политику. Я думаю, что... мне уже поздно учиться.

Николай Иванович зашарил по карманам, нашел очки на столе, надел их и сквозь очки посмотрел удивленно на Игоря:

— Как вы странно говорите, товарищ Чернявин! Как это можно так говорить? Какая там особенная премудрость! Забыли, это вполне естественно. Будем вспоминать. Да садитесь, чего вы вскочили.

Он снова усадил Игоря в кресло, придвинул стул, сел прямо против него и, поглаживая свои колени, поглядывая вкось на яркие окна, заговорил:

— Я вам предложу такую программу. Учебный год кончается. Сейчас нет смысла зачислять вас в школу. Мы сделаем просто: запишем вас на следующий год прямо в восьмой класс. Только летом нужно будет позаниматься. Я вам очень советую. У вас хорошие способности, нужно учиться. Вы согласны со мной?

— Я бы мог согласиться с вами. И даже... я вам благодарен, понимаете? Но, может быть, я не останусь здесь до осени. Может быть, мне в колонии не понравится.

— То есть... вы уйдете из колонии?

— Да.

Николай Иванович посмотрел на него поверх очков.

— Куда же вы уйдете?

— Там будет видно, куда.

— У нас никогда не было случая, чтобы уходили. Отсюда может уйти только очень глупый, совершенно запущенный субъект. Я уверен, что вы не уйдете, товарищ Чернявин.

Этот старик, на румяных щеках которого уютными завитками шевелились седые усы, был просто прелесть. Он говорил с живым огоньком в глазах, иногда делал паузу, чтобы найти более точное выражение, и в это время его глаза быстро бросались в сторону. Он не просто болтал, он задумывался, соображал, но все это выходило у него без натуги и очень симпатично. Главным образом он говорил о значении образования, о том, какие пути лежат перед молодым человеком в Союзе, какое достоинство заключается в том, чтобы идти по этим путям, как растет личность человека в учебной работе. Он думал сейчас об Игоре Чернявине и ни о ком другом. Он уважал Игоря Чернявина и с особым удовольствием высказывал это уважение. И именно поэтому Игорь не захотел покончить с ним разговор как-нибудь формально, хотелось и самому с такой же искренностью и честным вниманием отнестись к собеседнику. И Игорь сказал:

— Николай Иванович! Я не привык работать. Я никогда не работал.

Николай Иванович спокойно улыбнулся:

— Да, это может быть. Вы еще так мало жили, и привычек у вас мало.

— А если не привыкну?

Николай Иванович скрестил на животе пальцы и добродушно рассмеялся:

— Почему же? Эта такая приятная привычка.

— Приятная?

— А как же? Очень приятная. Я вот работаю сорок лет, и знаете, мне до сих пор нравится.

— Ну да, так вы учитель!

— О, пожалуйста! Если вы хотите быть учителем, это очень хорошо. Но многие думают, что труд учителя самый неприятный. Это, конечно, чепуха. Всякий труд очень приятная вещь. Вот вы увидите.

— Попробую,— сказал Игорь и снова поднялся.

— Попробуйте. Вам здесь помогут. У нас хорошие ребята.

— Спасибо, Николай Иванович.

— Все-таки, когда вы можете начать подготовку?

— С первого июня?

— Хорошо. Давайте с первого июня. Я вас запишу.

Игорь поклонился Николаю Ивановичу. Николай Иванович радушно, внимательно ему ответил. Володи Бегунка здесь не было, и некому было скалить зубы по поводу обычной вежливости двух воспитанных людей.

Игорь шел по двору и беспомощно оглядывался. Ему захотелось, дозарезу захотелось встретить что-нибудь такое, что его возмутило бы, вызвало бы злобу, протест, или хотя бы такое, над чем подмывало бы пошутить. Нельзя же в самом деле: с утра, с самого утра он был предоставлен самому себе, а против него стояла непонятная, уверенная и вежливая сила. В пять часов он будет принят бригадой. Неужели и бригада с таким же спокойствием будет его обрабатывать?

18. РАЗГОВОР НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРИЯТНЫЙ

В пять часов в тихий клуб пришел Воленко в сопровождении высокого, массивного юноши с лицом чрезвычайно добродушным, какие бывают только у очень мягких, покладистых людей.

Воленко сказал:

— Товарищ Чернявин! Это твой бригадир Нестеренко.

Только теперь Воленко позволил себе некоторую шутливость тона и движения. Он немного иронически повел рукой и взглядом:

— Сдаю его в полном порядке: остриженный, чистый и вполне оборудованный. Спецовка вот лежит. Парадный костюм заказан. Пожалуйста!

Видимо, Воленко надоело уже возиться с Чернявиным, и он с облегчением передавал новичка бригадиру. Бригадир, понимая это, с такой же сдержанной игрой склонился перед дежурным:

— Очень благодарен, товарищ дежурный. Вы понимаете, следующий раз и вам приготовлю.

Воленко отдал салют и удалился.

В этой церемонии, торжественной и чуть-чуть шутливой, Игорь почувствовал большую теплоту. Не вызывало сомнений, что Воленко и Нестеренко были очень дружны между собой, и сейчас в шутливых, чуть-чуть церемонных поклонах они что-то играючи подчеркивали. Нестеренко в этой игре вовсе не казался уже таким добродушным. У него был симпатичный голос, мягкого баритонного оттенка, но слышно было, что этим

голосом он умеет владеть. В его обращении был небольшой привкус замедленного, украинского юмора. Но ту же выправку, какая была у Воленко, Игорь заметил и у Нестеренко.

Впрочем, как только ушел Воленко, Нестеренко оставил всякую игру.

— Ты назначен в восьмую бригаду. Бригада сейчас в сборе. Пойдем.

Он направился к двери. Игорь остановил его:

— Товарищ бригадир!

— Что такое?

Игорь взял в руки свою спецовку, так же, как и во дворе, беспомощно оглянулся на окна, не вытерпел, растянул в улыбке свой ехидный рот:

— Товарищ бригадир, вы учитесь?

— В школе?

— Да, в школе учитесь?

— Во-первых, учусь в десятом классе. А во-вторых, не называй меня на вы, товарищем бригадиром. Это у нас не нужно. Меня зовут Васей.

— Разве? А я слышал, как обращаются к Воленко: товарищ дежурный бригадир!

— Это — другое дело. Дежурный бригадир — у нас большая власть. Он ведет день. Если он в повязке, с ним без салюта нельзя разговаривать.

— А зачем это нужно?

— Видишь ли... Вот с тобой сегодня сколько он повозился? Ты заметил? Сколько у него дела! Если каждый будет с ним рассусоливать, так он ничего не успеет. А кроме того... какие могут быть споры с дежурным?

— А с тобой можно спорить?

Нестеренко пожал плечами:

— Со мной, конечно, можно. Только у нас это не в моде.

— К тебе не нужно с салютом?

— Иногда нужно. Потом узнаешь. Идем, бригада ждет.

Они прошли мимо часового (стоял уже другой) и поднялись по лестнице между цветов. На втором этаже проходил такой же светлый коридор, только здесь на полу был не кафель, а паркет, он так же блестел, как и в тихом клубе. Они остановились у дверей, на табличке которой было написано:

8-я БРИГАДА

Нестеренко взялся за ручку двери, но раньше, чем открыть ее, он объяснил:

— У нас две спальни по восемь человек. Вторая спальня рядом.

Спальня была большая. В ней стояло восемь кроватей, добротных, красивых, окрашенных розово-желтой краской. На кроватях лежали одеяла вишневого цвета. Все постели находились в идеальном порядке. На кроватях никто не сидел, никто даже не стоял рядом. Больше десятка мальчиков собралось вокруг большого стола. У стены Игорь заметил диван, очень длинный и тоже, видимо, имеющий претензию быть бесконечным,— очевидно, такие диваны в колонии любили.

При входе Игоря и Нестеренко все повернули к ним головы. Нестеренко остановился у дверей и сказал несколько торжественным голосом, в котором Игорь все же услышал оттенок сдержанной шутливости:

— Принимайте нового товарища. Рекомендую: Игорь Чернявин.

Все задвигали стульями, но не встали, а еще плотнее уселись за столом, заботливо оставляя рядом два места для вошедших. Нестеренко сел на один стул, хлопнул рукой по другому, приглашая Игоря:

— Садись.

Все вдруг притихли и с интересом ожидали, что будет дальше. Глаза у Нестеренко вспыхивали иронически:

— У нас такой обычай: когда приходит новенький, вся бригада собирается, и бригадир знакомит. Так у нас в колонии пошло издавна, годков пять тому будет. И в это время бригадир должен всю правду сказать о товарищах, как он думает, брехать нельзя. Когда и ты, Чернявин, будешь бригадиром, тоже так будешь делать. Так вот, видишь, они на меня и смотрят, потому — знают: пощады не будет.

Все это Нестеренко говорил не спеша, добродушно, чуть-чуть окая и растягивая слова.

— Да начинай уже, Василь, довольно мучить!

Это сказал самый младший в бригаде, беленький мальчик лет четырнадцати, с тем аккуратным, чистеньким и умным лицом, какие часто бывают у природных отличников по учебе.

— Рогову невтерпеж — знает, что ругать буду.

— Ругай, только, пожалуйста, скорее.

— И еще у нас обычай: никто не должен спорить и обижаться. Какое бы слово ни сказал бригадир — каюк! А новенький, вот, скажем, ты, Чернявин, не должен воображать, а должен учиться, как правду говорить и как правду слушать нужно. Понимаешь?

Игорь Чернявин даже рот приоткрыл, и его лицо потеряло последнее выражение остроумной ехидности.

Нестеренко начал. Он показал на взрослого юношу, которому было не меньше восемнадцати лет. У него был низкий лоб и жесткие волосы, не признающие никакого пробора. Лицо расплывчатое, губошлепистое, а в то же время и энергичное в движении, боевое.

— Это Миша Гонтарь, слесарь по ремонту, хороший слесарь, только в школе учиться не хочет. Дошел до пятого класса, а теперь выдумал, что он уже ученый. Сдурел, приходится силой заставлять. Товарищ он хороший, прямо скажу, хоть бы и все были такие товарищи, а только неряха — никакого спасения. Ты у него с этой стороны ничему не научишься доброму. Куда ни повернется, или поломает что-нибудь, или набросает, пойдет и забудет. Ему каждый день бриться нужно, а он три дня не брился. А живет в детской колонии... Через него наша бригада по чистоте никак не может на хорошее место выйти, а бригада хорошая. Он как наденет спецовку с утра, да еще в цехе задержится, известно — слесарь по ремонту, так и в столовую в спецовке прется, а там, конечно, ДЧСК [9] скандал устраивает, и все на бригаду. Видишь? Если Миша дежурит по бригаде, так мы к нему буксир назначаем, как к маленькому. Еще у него недостаток: строя не любит, в ногу ходить не умеет, да и костюм парадный на нем сидит как на сундуке. Это нам, всей бригаде, конечно, очень грустно, потому что, собственно говоря, пустяк, а он никак не справится. А слесарь он хороший и товарищ тоже. Добрый и работать любит, самые пустяки остались, чтобы человеком стать. Он хочет шофером стать, а каждый шофер образованный человек должен быть. А теперь еще у него новая

напасть: влюбился. Как же ему можно влюбляться, когда прическу ему всей бригадой делаем — сделать не можем!

Нестеренко все это проговорил сочно, основательно, поглядывая на товарищей, а товарищи смотрели на Мишу. Очевидно было, что в характеристике Миши все с бригадиром согласны, пожалуй, согласен и сам Миша. Он даже не протестовал против информации о влюбленности.

— Теперь дальше: Петр Акулин.

Петр Акулин не улыбнулся. Как сидел боком, так и остался сидеть. У него было худое простецкое лицо, покрытое густым, деревенским румянцем. Казалось, что лицо это не способно к улыбке.

— Акулин у нас лучший токарь в колонии и в восьмом классе лучше всех учится. И аккуратист, и дисциплину знает, и комсомолец первый сорт. Будет летчиком по прошествии времени. Само собой — будет. Только корзину у нас каждый имеет, и у него есть корзина. И никто никогда не запирает, такого обычая нет в колонии. Акулин же три дня назад замок повесил,— некрасиво. Либо ты воров боишься, либо тайну какую собираешься завести, кто тебя знает, а только замки в колонии заводить не следует. Другое дело — на заводе, государственное имущество должно быть заперто для порядка, а в бригаде товарищи живут, к чему здесь замок?

Акулин не обернулся к Нестеренко, одну руку положил на спинку соседнего стула, сказал невыразительно, тихо:

— Я не от товарищей замок...

— Знаем. Думаешь, у нас место свободное, новенького пришлют, а он к тебе в корзину полезет. Конечно, полезет, если замок висит. А зачем так думать: как новенький, так и вор. Мало ли чего там у каждого было — в старой жизни! Чернявин тоже новенький, видишь, сидит с нами, так и по нему ж видно: он к товарищу в корзинку не полезет.

Акулин убрал руку со спинки стула, прохрипел:

— Сниму.

В бригаде, притаившейся в ожидании, как будто все вздохнули. На самом деле не вздохнули, а просто пошевелились.

— Дальше: Александр Остапчин — помощник бригадира восьмой бригады трудовой колонии имени Первого Мая.

Уже по тому, как торжественно произнес бригадир название должности Остапчина, можно было заключить, что Остапчина в бригаде любят и относятся к нему немножко насмешливо. И сам Александр Остапчин, услышав свою фамилию, мигнул, повернулся к бригадиру, положил голову на кулаки, поставленные один на другой. У Остапчина большие карие, красивые глаза, чуть-чуть подернутые веселой, маслянистой влагой.

— Совсем человек как человек — и токарь неплохой, и в десятом классе, и помбригадира, и прочее. Настоящий человек, а только одна беда: трепач. Ох, и трепаться же любит, прямо хлебом не корми, а дай поговорить. И хоть бы дело говорил, а то язык говорит, а он за языком бегает, остановить не может и на правильную линию пустить тоже не может. И по сторонам не смотрит: свой, чужой, совсем посторонний — ему все равно; он говорит и непременно загнет куда-нибудь. Всей бригадой удержать не можем. Мечтает: прокурором буду. Так разве можно, чтобы прокурор за собой не смотрел? Прокурор если что скажет, так все к делу, да перед

этим два раза подумает. А нашему Александру всегда нянька нужна, чтоб его за полы хватала.

Остапчин не смутился, не обиделся, его глаза по-прежнему смотрели на Нестеренко, улыбались дружески, но в какой-то еле заметной степени и нахально. Он как будто был даже доволен, что у него есть такой интересный недостаток, и тоном полудетского каприза возразил:

— А что я такое когда говорил?

— А помнишь, приехала к нам женщина из Наркомпроса, а ты ей такого натрепал, что она чуть не плакала.

— Правду говорил.

— Правду? Правду говорить тоже к месту нужно. Она приехала познакомиться с нашей жизнью, может, и поучиться хотела, значит, у нее где-то там натерло, а ты речь... прямо с горы: ничего вы, наркомпросовцы, не понимаете, все путаете, даром хлеб едите. Она потом спрашивает: кто это такой? А я ей, конечно, ответил: не обращайте внимания, так себе, новенький, еще не отесался.

Колонисты расхохотались. Остапчин смущенно отвернулся, но глаза его даже в этот момент не потеряли своей влажной улыбки.

— Санчо Зорин, во! Он — сам видишь, какой!

И действительно, Санчо был виден, как бывает виден насквозь ясный апрельский день. Услышав свое имя, он немедленно взобрался с ногами на стул. А бригадир сказал ему с добродушной строгостью:

— Чего ты с ногами на стул залез? Чернявин, он назначается твоим шефом, давно тебя ждет. Будет твоим шефом, пока ты получишь звание колониста. Будет тебя всему учить и на общем собрании докладывать на звание колониста. Человек он горячий, а только не всегда справедливый бывает. Если ему вожжа попадет под хвост, так никакого удержу нет. Ты на это не обращай внимания.

Игорь кивнул и засмотрелся на Зорина. А Зорин уже и кивал ему, и моргал, и всем лицом рассказывал о чем-то. Лицо у него было острое, живое, быстрое. В течение одной секунды он успевал отозваться на все впечатления, всем ответить и у всех спросить. И сейчас каким-то чудом он успел показать бригадиру, что он благодарен ему за правду и постарается поменьше горячиться, что он видит любовь к себе всей бригады и отвечает ей такой же любовью, что он поможет Чернявину сделаться хорошим колонистом и что Чернявин не должен робеть. Это лицо больше рассказывало о Зорине, чем мог о нем рассказать бригадир.

Нестеренко перешел к другим, их было еще шесть человек, все юноши шестнадцати — восемнадцати лет. Нестеренко всех их признал хорошими мастерами, прекрасными товарищами и колонистами, но в каждом отметил и недостатки, отметил в упор, улыбаясь сдержанно, выбирая и округляя слова, но в то же время не скрывал и досады, требовательной и въедливой. Лиственному Сергею он приписал слишком большую любовь к чтению, послужившую причиной того, что Лиственный ходит «как сумасшедший». Широкоскулому, белобрысому, нескладному Харитону Савченко — вялость характера. Борису Яновскому, кучерявому брюнету,— наклонность к запирательству и брехне. Всеволоду Середину — пижонство. Данилу Горовому — неуязвимость характера и излишнее хладнокровие.

Все слушали бригадира молча, никто ничего не возражал, но когда он кончил, все загалдели, засмеялись, напомнили друг другу самые вредные детали характеристик и напали даже на Нестеренко с разными дополнительными вопросами Но Нестеренко не долго их слушал:

— Чего крик подняли? Дайте же кончить! Познакомьтесь вот с Чернявиным, забыли, что ли?

Александр Остапчин закричал:

— Ты про нас можешь рассказывать, а про себя ничего не сказал? Когда я буду бригадиром, я про тебя расскажу.

— Вот я и подожду, когда ты будешь бригадиром, тогда и про меня скажешь, хотя я так полагаю, что ничего умного не скажешь. Принимайте Чернявина!

— Да уж приняли! Чернявин, руку! — Остапчин размахнулся своей рукой.— Санчо, довольно тебе там, бери человека в работу. Смотри, какой хороший материал для комсомольца.

Все посмотрели на Игоря, и этим моментом Игорь воспользовался:

— Синьоры! Вы понимаете, я очень благодарен вам, что приняли меня к себе. Только вы понимаете... про вас вот товарищ бригадир все рассказал, а про себя я сам должен рассказать, правда?

Кое-кто улыбнулся. Акулин посмотрел подозрительно, Гонтарь с осуждением. Нестеренко сказал:

— У нас нет такой моды, чтобы новенький о себе рассказывал. Да тебе и нечего рассказывать. Какой ты человек, мы и сами увидим. А кроме того, не нужно говорить «синьоры». Понял?

— Понял, товарищ бригадир, виноват... товарищ Нестеренко.

— Иди сюда, Чернявин.— Санчо Зорин ожидал его в углу комнаты.— Вот твоя кровать, вот твоя тумбочка, все хозяйство. Мыло и зубной порошок получишь у помощника бригадира Остапчина. Два дня будешь отдыхать, а потом — за дело[10]. Вечером я тебе что нибудь расскажу. Ты в каком классе будешь?

— В восьмом.

— Здорово. И я в восьмом. А вообще — ты свободный гражданин! Куда хочешь!

Санчо широким жестом показал на окно. За окном было поле, а на самом горизонте виднелись постройки города.

19. ОН ЕЩЕ СЫРОЙ

Вечером Игорь Чернявин заснул не скоро. Постель была свежая, прохладная, чистая, такая постель была у него тогда, когда он жил еще дома; заснуть в такой постели показалось ему высшим блаженством. В эту минуту ему хотелось выразить кому-то благодарность и за эту постель, и за чистое белье, и за новый симпатичный костюм, и за узкий черный пояс. Кого только благодарить? Алексея Степановича? Воленко? Восьмую бригаду? А может быть, просто Советскую власть? Но о Советской власти Игорь Чернявин имел самое сложное представление. От школы остались чисто словесные образы, от Ленинграда — неясное, забытое ощущение

детства, зато в «вольной» жизни Советская власть вспоминалась — власть строгая, требовательная и настойчивая: милиционеры, стрелки, воспитатели в приемниках, люди в белых халатах. Изо всей Советской власти наиболее покладистым и безобидным существом была Полина Николаевна, но он вспомнил ее остренькое и умненькое лицо с острой неприязнью. А здесь, в колонии, он ощущал Советскую власть очень сложно, в непонятном, густом экстракте; трудно даже было разобрать, где она находилась. Конечно, Алексей Степанович, конечно, Николай Иванович. Но Санчо только что рассказывал: все эти дома наново построены на чистом поле. Все сделано наново: и цветники, и зеркала, и паркет. Санчо говорил: ничего старого, все Советская власть сделала. И по словам того же Санчо выходило, что Советская власть — это не только Алексей Степанович и учителя, но еще и они, все колонисты. Санчо так и говорил: мы сделали, мы купили, мы решили, мы постановили. Выходит так, что и сам Санчо Зорин — тоже Советская власть. И Володя Бегунок!

Да... Хитро придумано: восьмая бригада даже корзинок запирать не хочет,— фасон! А, черт возьми, действительно хитрый фасон, ни за что в чужую корзинку после этого не полезешь. Рыжикова бы сюда, интересно посмотреть, как он эти корзинки обчистит? Разумеется, Рыжиков — дрянь, это и говорить нечего. А все-таки они здорово спелись. Сидит Алексей Степанович в кабинете, и не видно его, а кругом начальство; даже этот лобастый Петька тычет нахальными глазенками в щетку и требует — вытирай! Всякие у них обычаи, фасоны, и все это только для того, чтобы свободному человеку, Игорю Чернявину, заморочить голову.

Игорь согласен, что и кровать на сетке, и свежая простыня, и пододеяльник — хорошие вещи, но Игорь понимает и другое: такими хорошими вещами покупается покорность, особенно если человек попадается жадный на все эти удовольствия. И папаша, вероятно, на это рассчитывал, однако у папаши не вышло. Что же? Можно поспать в хорошей постели, пускай, но посмотрим, чем это кончится. Вот, например, работать. Николай Иванович говорит: приятная штука. А если неприятная? Ему хорошо в чистом костюме поучать там... в классе. А если они заставят доски строгать — покорно благодарю, синьоры! Допустим, не захочу. Выгонят? Интересно. Какой позор для трудовой колонии Первого Мая! Однако человека — Игоря Чернявина, не какого-нибудь там бандита, а скромного интеллигента и джентльмена, не смогли заставить работать. Не справились! Интересно, как они будут выгонять? Игорь Чернявин представил себе расстроенные физиономии восьмой бригады. Ох, как им будет досадно! Сколько они здесь нахитрили, вежливость какая, простыни какие, «обычаи», а купить не купили. Игорь Чернявин может прожить и без их досок. Он вспомнил некоторые свои самые остроумные комбинации. Сколько в них было вдохновения, привлекательных, забавных, неожиданных поворотов! Никакие свежие постели с ними сравняться не могут, потому что в этих поворотах — свобода.

Все-таки Игорь счастливо потянулся, вкусно свернулся калачиком и заснул, так и не разрешив противоречия приятных вещей и неприятных, хотя и гордых мыслей.

Когда утром он открыл глаза, было уже светло. Перед этим ему снились надоедливая трубная музыка и пожар. На пожаре было много огня,

шума [redacted] треска. Игорь [redacted] какой-то толпе куда-то спешил, [redacted] в уши бил настойчивый, звонкий голос:

— Слышишь? Слышишь?

Игорь открыл глаза. Перед ним стоял беленький, чистенький Рогов [redacted] звенел:

— Слышишь, Чернявин, вставай!

Рогов увидел открытые глаза Игоря и повторил уже спокойнее:

— Вставай, сейчас уборку начнем.

Другие колонисты восьмой бригады чуть-чуть суматошились, входили [redacted] выходили с полотенцами, убирали постели, взбивали подушки. Рогов мотался по спальне с белой тряпкой в руках, вытирал пыль. Он прыгал от стульев к подоконникам, заглядывал в тумбочки, подскакивал к верхней перекладине дверей, продевал руку за батареи отопления, возился у портретов, потом застыл у какой-то кроватной ножки. Игорь закрыл глаза; хороший, счастливый, теплый сон снова к нему возвратился..

— А чего этот спит?

Игорь узнал голос Нестеренко и глаз не открыл.

— Ты будил его, Рогов?

— Да, будил. Он же проснулся!

Игорю стало интересно. что эти представители Советской власти будут делать, если он не встанет? Вот просто не встанет, да и куда ему спешить? Даже по здешним «обычаям» он два дня не должен работать. Он снова услышал над собой голос Нестеренко:

— Чернявин!

Помолчал — [redacted] опять:

— Чернявин!

Сильная рука легла на его плечо, плечо заходило взад [redacted] вперед. Игорь открыл глаза:

— А что?

— Давно сигнал был.

— Какой сигнал?

— Сигнал вставать! Тебе вчера Санчо объяснял?

Игорь повернулся на спину, улегся поуютнее, показал бригадиру свою широкую ехидную улыбку:

— Объяснял, да я не все разобрал!

— Так вот я тебе говорю: был сигнал вставать!

— Это несущественно, товарищ!

Нестеренко вытаращил на него большие свои серые глаза, полные удивления Рогов натирал пол и подскочил к ним на босой ноге. Наконец Нестеренко нашел слова, нашел с таким замедлением, что у Игоря даже смех начал срываться.

— Что ты там мелешь? Смотри: несущественно! Сейчас поверка будет!

Игорь повернулся на бок и руку положил под щеку:

— Это тоже мало существенно.

В спальню влетел Санчо Зорин [redacted] закричал:

— Товарищ бригадир! Уборка нижнего коридора сдана мною на-ять!

Но бригадир находился в таком недоумении, что не слышал рапорта; он сказал Игорю гробовым голосом:

— А это будет существенно, если я тебя поясом потяну?

Игорь ответил спокойно:

— Это будет существенно, но незаконно.

— Ах ты, панское зелье!

Одеяло и пододеяльник куда-то полетели с Игоря. Ничем не прикрытый, он почувствовал себя в смешном положении и хотел уже вставать, но снаружи долетели звуки нового сигнала. Рогов соскочил со своей щетки и вскрикнул:

— Ой, лышенько! Уже поверка!

Он бросился к ботинкам. Все колонисты завертелись перед зеркалом, поправляя прически, сегодня они были, как один, одеты в школьные костюмы. Игорь знал, что вся бригада до обеда работает в школе. Приведя себя в порядок, все спешили занять место на свободном участке спальни — выстраивались в просторный ряд. Нестеренко беспомощно оглянулся. Санчо подбежал к нему:

— Да закрой ты его, ну его к черту! Сегодня Клава дежурит!

— Клава? Ну, что ты скажешь!

Нестеренко набросил одеяло на Игоря. Сообщение о Клаве у Чернявина привело в ужас. Оказаться перед девушкой в одном белье! Поэтому он охотно подхватил одеяло и закутался с головой, но оставил щель, чтобы видеть.

Нестеренко быстро обошел спальню, потрогал пальцем подоконник, заглянул под кровать и спросил:

— Санчо, не знаешь, Алексей будет на поверке?

— Алексей спозаранку в город уехал.

Из коридора влетел Рогов, шепнул: «Поверка идет!», стал на свое место в ряду. Открылась дверь, Нестеренко громко скомандовал:

— Бригада, смирно! Салют!

Игорь увидел, как ряд колонистов вытянулся, повернул головы к дверям, поднял правые руки. Нестеренко стоял отдельно, против двери. Сияя золотом тюбетеек, вензелями на рукавах, белизной широких воротничков, вошли невысокая девочка лет пятнадцати-шестнадцати и мальчик гораздо моложе ее. За ними голоногий Володя Бегунок, с трубой в парусовке, направил любопытные, загоревшиеся глаза на необычную фигуру в постели.

У дежурного бригадира Клавы Кашириной очень хорошенькое, нежное, немного полное лицо, темно-русые кудри из-под тюбетейки и ясные, хоть и небольшие, серые глаза. Она очень серьезная, строго стояла перед высоким Нестеренко и смотрела на него вверх из-под чистенькой розовой руки.

Нестеренко сделал шаг вперед:

— Товарищ дежурный бригадир! В восьмой бригаде трудовой колонии имени Первого Мая все благополучно. Не поднялся к поверке Чернявин!

Клава бросила быстрый, по-женски лукавый взгляд на лежащего Игоря и сказала замечательно красивым, высокого, серебряного тона голосом:

— Здравствуйте, товарищи!

Шеренга дружно ответила ей:

— Здравствуй!

И после этого шеренга разрушилась. Заговорили, засмеялись. Центральной фигурой сделался вдруг мальчик в повязке с красным крестом —

ДЧСК — дежурный член санитарной комиссии. Сегодня в роли ДЧСК — Семен Касаткин. Ему со всех сторон говорят:

— И здесь смотрите!

— Пожалуйста!

— Будьте покойны!

Но Касаткин не улыбается. У него придирчивый взгляд, и он рыщет по всей спальне, заглядывает в корзины, щупает батареи. В руке у него чистый носовой платок, он пользуется им в качестве контрольного приспособления. Но всякий раз, когда он подносит платок к глазам, пыли на платке не обнаруживается, и восьмая бригада торжествующе «агакает». За пальцами ДЧСК и за его платком особенно напряженными глазами следит сегодняшний дежурный по бригаде Олег Рогов. От волнения его аккуратная прическа растрепалась, и ДЧСК издевательски спрашивает:

— А почему ты сегодня не причесывался?

Рогов с некоторым страхом поглядывает на Клаву и отвечает:

— Да, понимаешь, беспокойства столько!

Потерявший надежду «поймать» бригаду, Касаткин задирает голову к лампочке:

— А лампочка, кажется, в мухах!

Ему отвечают хором:

— Да это разве мухи? Это точки такие! Каждое дежурство спрашивает. Стекло такое!

А Игорь Чернявин в это время крепко спит. Черт его знает, дежурство хорошенькой Клавы им абсолютно не было предусмотрено. По движению голосов Игорь чувствует, что Клава уже стоит у его постели. И если секундой раньше Игорь еще дышал, как дышит каждый крепко спящий человек, то сейчас он дышать перестал. Серебряный голос Клавы спрашивает:

— Может, он заболел? Касаткин, проверишь потом.

Касаткин отвечает негромко.

— Есть проверить!

Но Нестеренко не может забыть «это несущественно».

— Кто заболел? Чернявин? Ты послушала бы, как он перед поверкой разговаривал! А потом взял и заснул сразу.

Клава тронула плечо Игоря:

— Чернявин! Чернявин, как тебе не стыдно?

Но Игорь не дышит и в самой далекой глубине души проклинает свой вздорный характер. Он невольно, сквозь досаду, представляет себе, как это было бы красиво, если бы он сегодня, хоть и новенький, самым точным образом отсалютовал этой девушке и вместе со всеми крикнул бы ей: «Здравствуй!» Очень возможно, что она обратила бы внимание на его оригинальное лицо и ехидную улыбку. Неужели она еще будет его тормошить? С облегчением он слышит голос своего шефа Санчо Зорина:

— Да брось его, Клава! Пускай лежит. Он еще совсем сырой!

Игорь слышит, как легкие шаги удаляются от его постели. Он приоткрывает глаз, видит движение к двери и снова закрывает глаз, потому что встречает карий, веселый и все понимающий взгляд Володьки Бегунка.

20. НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Через час Игорь Чернявин весело вошел [redacted] столовую. Только остриженная под машинку голова несколько смущала Игоря, костюм у него самый новый, пояс самый изящный, лицо у него самое интеллигентное и интересное. Заканчивала завтрак первая смена, которая должна отправиться в школу. Игорь знал, что Нестеренко на него зол, ожидаются неприятные разговоры, но, с другой стороны, его продолжала увлекать роль остроумного протестанта. С уверенной грацией Игорь проходил через просторную, светлую, украшенную цветами столовую. Скатерти сияют такой белизной, точно их сегодня переменили, или это утреннее солнце так радостно светит? Из столовой многие уже выходили. Игорь не заметил насмешливых взглядов, направленных на него Он знал свое место за столом и свое исключительное право на него. За этим столом, кроме Игоря, сидят Нестеренко, Гонтарь и Санчо Зорин. Действительно, Нестеренко и Санчо на своих местах, уже поели и разговаривают. За другими столами только одиночки заканчивают завтрак, [redacted] в конце столовой, возле Клавы Кашириной, вертится Володя Бегунок,— самый верный признак того, что сейчас будет сигнал на работу. Но Игорь еще не работает, поэтому он весело подходит к столу и говорит свободно:

— А вот и мое местечко!

К удивлению Игоря, Нестеренко ничего укорительного на это не сказал, напротив, спросил по-своему добродушно:

— Выспался?

— Ох, [redacted] хорошо выспался! Меня будили, кажется?

— Кажется, будили.

— Я что-то там такое говорил?

— Что-то говорил.

Санчо отвернулся к окну. Откуда-то взялся возле окна Миша Гонтарь и сердито посматривает на Игоря. Нестеренко увидел подходившую к ним Клаву и вежливо приподымается навстречу:

— Спасибо, Клава, за завтрак. Хорошо накормила.

Это Игорю нравится. Санчо ему вчера рассказывал, что существует правило — за пищу благодарить дежурного бригадира.

— Не стоит,— говорит Клава.

Она смотрит на ручные часы и кивает Володьке, следующему за нею, как тень:

— Через минуту можешь давать.

Володька проделал трубой движение, отдаленно напоминающее салют. Нестеренко говорит ему тихо:

— Вот [redacted] скажу Алешке, как ты отвечаешь. Он тебе завинтит гайку.

Володька серьезнеет, краснеет и спешит к выходу,— кстати, у него [redacted] дело есть.

Нестеренко недовольно обращается к Клаве:

— Ты, Клава, распускаешь пацана Он мне так не ответил бы!

Клава улыбается. У нее прекрасные зубы, и она еще краше в улыбке:

— Да я и не заметила. И не привыкла. Второй раз дежурю. А это кто? Ты — Чернявин?

Чернявин вежливо поклонился.

— Почему ты прикидываешься в спальне? Такой большой, и прикидываешься, как ребенок.

Краска заливает лицо Игоря. Он хотел бы видеть в Клаве только хорошенькую девушку — и не в состоянии. Черт его знает, как получается, но никак он не может забыть о том, что она дежурный бригадир. Неужели шелковая повязка на руке производит такое сильное впечатление? Игорь что-то лепечет, начинает сбиваться:

— Бывает... товарищ...

— Как это так «бывает»? А чего ты в столовую пришел?

— С вашего разрешения... кушать.

— Кушать! Разве тебе не объяснили? Опоздать можно не больше как на пять минут. Раздача кончена двадцать минут тому назад. Столовая готовится для второй смены. Тебе объяснили?

— Мне говорил товарищ Зорин, но я выпустил из виду.

— Выпустил из виду?

Не дождавшись его ответа, Клава тронулась к выходу.

Это возмутило Игоря. Она говорить с ним не хочет!

Неужели они здесь воображают, что ему неизвестны советские законы?

Игорь сделал шаг вперед и очутился перед Клавой:

— Позвольте, выходит так, что вы меня лишаете завтрака?

— Вот какой ты чудак! Ты сам себя оставил без завтрака. Почему ты не пришел?

— Значит, я без завтрака?

Нестеренко сказал мечтательно, глядя в сторону:

— Это малосущественно.

Игорь взялся за спинку стула, произнес медленно, веско, так, как он разговаривал с начальником почты:

— Оставление без пищи все-таки запрещено. Мне это хорошо известно.

Зорин пришел в восторг. Быстрой рукой он дернул по своей и без того всклокоченной шевелюре и сказал звонко:

— Верно, товарищ! Ты на Клаву пожалуйся.

— Обязательно! Имейте в виду, товарищ дежурный бригадир, я буду жаловаться. Кому у вас нужно жаловаться?

В таком же тоне, с прибавкой небольшой дозы невинности, Зорин ответил:

— Общему собранию.

Нестеренко и даже Клава громко рассмеялись. Только Зорин был серьезнее:

— А ничего! Что ж тут такого? Он имеет право...

Но и Зорин не выдержал и захохотал уже в полную силу.

На дворе заиграли сигнал. Клава быстро направилась к выходу.

Игорь посмотрел ей вслед, бросил гневный взгляд на Зорина, но и сам не выдержал: улыбнулся.

21. РУСЛАН

После «завтрака» Игорь в очень скучном настроении отправился осматривать колонию. Голод его не беспокоил. Во время свободной жизни он привык вкушать пищу независимо ни от каких расписаний и даже независимо от аппетита, а исключительно по обстоятельствам. Его больше

задевало насилие, произведенное над ним этой смазливой девчонкой, которая не только не проявила интереса к его оригинальной наружности, но еще вздумала поучать его.

Выйдя из здания, Игорь даже с некоторым удовольствием нашел и формулу осуждения: они здесь гордятся своими порядками, салютами и вензелями: воображают себя Советской властью, а на самом деле — обыкновенные бюрократы. На своем веку Игорь насмотрелся на таких бюрократов. «Скажите, пожалуйста, почему деньги присланы как раз на эту станцию?» Опоздать к завтраку можно только на пять минут, а если опоздаешь на шесть минут, сиди голодный. И они собираются воспитывать Игоря Чернявина! Кто знает, захочет ли еще Игорь Чернявин, чтобы из него тоже бюрократа сделали. И все бюрократы говорят: можешь жаловаться.

Так размышлял Игорь Чернявин, проходя по дорожке цветника. Цветы его мало радовали. Собственно говоря, можно было выйти из цветника и отправиться по дороге в город. К сожалению, у него не было никаких планов, никакого начатого дела, а во-вторых, можно уйти и завтра.

Игорь прошел цветники и свернул вправо. Здесь начинался лес. На его опушке — новое каменное здание. Оно было пристроено к глагольному концу того дома, из которого Игорь вышел, и соединялось с ним висячим закрытым мостиком. Санчо рассказывал ему об этом здании. В нем будут новые спальни, только спальни. А в старых спальнях будет школа, а в теперешней школе еще что-то такое будет, Игорь уже забыл. Вообще строительство Санчо, захлебываясь от восторга, называл какие-то цифры: двести тысяч, триста тысяч. Санчо в то же время и возмущался: кто-то где-то ассигнует деньги на новые спальни и на прием новых ребят, а на производство никто не хочет давать ни копейки, колонисты сами об этом должны подумать. Ребят можно набрать, а работать где? Надо развивать производство. Слово «производство» Санчо произносил с уважением, восторженно вспоминал Соломона Давидовича Блюма, но тут же и посмеивался над ним. Вообще у них только снаружи все это прибрано, а что на самом деле, кто их разберет. Вчера перед сном вся бригада потешалась, вспоминая какой-то стадион И Нестеренко сказал:

— В такой колонии такой стадион! Что это такое?

Игорь прошел мимо нового здания. Оно было уже закончено, блестели стекла в оконных переплетах.

Дальше был разработан парк, проведены широкие дорожки, посыпанные песком, стояли чугунные скамьи. Санчо об этом парке рассказывал с энтузиазмом. Подумаешь, большое дело: дорожки и гимнастический городок. Посмотрели бы они, какие гимнастические городки в Ленинграде! А то: собственными руками. И еще пруд какой-то!

Довольно запутанная сеть дорожек куда-то заметно спускалась. Ага! Вот и пруд. По берегу пруда тоже идет дорожка и тоже стоят скамейки. Пруд небольшой, над ним нависли деревья, кое-где на берегу сделаны деревянные ступени.

Игорь присел на скамью, а потом подумал: почему бы ему не искупаться? Он разделся и полез в воду. Вода была прохладная, ласковая и пахла чем-то особенным: духов они напустили в пруд, что ли? Нет, это пахнет мята, все берега заросли мятой Игорь выплыл на середину, попробовал достать дно, не достал, внизу вода была ледяная. Перевертываясь в воде,

Игорь заметил движение у скамьи, где он оставил одежду. Он подпрыгнул, посмотрел, подплыл ближе. На берегу стоял, заложив руки [redacted] карманы спецовки, смотрел на него коренастый парень, стриженный тоже под машинку, наверное, новенький. Он крикнул:

— Холодная вода?

— Хорошая.

— Полезу.

Через минуту он с разгону бултыхнулся в воду, [redacted] скоро его стриженая голова очутилась рядом с Игорем.

— Ты что, колонист? — спросил он.

— Да, [redacted] этом роде.

— Новый, что ли? Что-то [redacted] тебя не видел.

— Со вчерашнего дня.

— Ага!

— А ты?

— А я две недели.

— Тоже новый?

— Тоже.

— Ну и что?

— Удирать буду.

— Да ну?

— Честное слово Ну их к чертям!

Он перевернулся в воде, выставив зад, подрыгал ногами:

— Холодная! Я — одеваться!

Они поплыли к берегу. Натягивая штаны, Игорь спросил:

— А тебе есть куда удирать?

— Да у меня папан в городе. Только он — сволочь. Я к нему не пойду. Я у него облигаций на пятьсот рублей стырил, так он такой хай поднял, [redacted] милицию потащил. А сам ответственный работник, как же,— Заготзерно какое-то. Меня сюда и спровадили.

— Ты уже работаешь?

— А как же, приспособили. Социализм, говорят, строим. Ну и стройте!

— А почему ты сейчас гуляешь?

— Да какой там социализм! Материалу нету. Меня на шипорезный поставили. Станок, правда, мировой, так материалу нету. Да ну их...

— Как твоя фамилия?

— Фамилия у меня еще ничего: Горохов. А вот имя. . Куда их головы торчали? Руслан!

Игорь рассмеялся. Горохов тоже осклабился. У него было очень простое, прыщеватое, носатое лицо, [redacted] нос был гораздо краснее всего остального Когда он смеялся, зубы показывались разной величины и направления и даже разного цвета.

— Руслан! Я пока не читал «Руслана [redacted] Людмилу», так еще, ничего, терпел, [redacted] как прочитал! Ты читал?

— Читал.

— С моей мордой! Руслан! Так это им, понимаешь, можно, [redacted] как ассигнаций паршивых на пятьсот рублей, так [redacted] милицию побежали!

— Я тоже, наверное, уйду,— сказал Игорь.

— У тебя тоже родители?

— Мои далеко — в Ленинграде.
— К ним пойдешь?
— Нет, к ним не пойду.
— А куда?
— А ты куда?

Они сели на скамью, глянули друг на друга, улыбнулись неохотно. Руслан задумался:

— Черт их знает... может, они и правильно...
— Кто?
— Да... эти... тут. А только нельзя так: все это ходи по правилам. По правилам и по правилам. И тащат тебя в разные стороны. И вякают, и вякают: в стрелковый кружок, в драматический кружок, а изокружок! «Учиться необходимо!» А я хотел в оркестр, так у них тут тоже правила.
— А ты говорил: удирать будешь.
— И убегу, а что ж ты думаешь? Терпеть буду? Хотел в оркестр — «подожди», а оркестр принимают только колонистов.
— Так ты же колонист?
— Черта с два! Тебе разве не рассказывали? Черта с два!
— Что-то я слышал... звание колониста...
— Звание колониста. Ты не колонист, а воспитанник. Ого! Тебе, может, и пошьют парадный костюм, так без этого... на рукаве... без знака. И наказывать тебя можно как угодно: и наряды, и без отпуска, и без карманных денег. Алексей что захочет, то и сделает. И из бригады в бригаду, и на черную работу погонит... И в оркестр нельзя.
— Черт знает что! — протянул Игорь удивленно.— И долго это так?
— Самое меньшее — четыре месяца. А потом,— как бригада захочет. Бригада должна представить на общее собрание, а на собрании — как по большинству решат. А на собрании известно кто,— комсомольцы. Там где-то по секрету поговорят, а ты и не знаешь.
— А почему же в оркестр только колонисты?
— А кто их знает, почему? Да еще знаешь, какое правило: в оркестр можно, допустим, колонисту, а из оркестра — черта с два!
— Нельзя?
— Боже сохрани! Так уже до смерти и оставайся музыкантом. Понимаешь ты порядки? Допустим, мне надоело — нет, играй! Все равно убегу.

Руслан отвернул обиженное лицо к глубине парка, задумался; задумался и Игорь. Слышно было, как за парком шумело машинное отделение. Какие-то еще звуки долетели оттуда, не то детские крики, не то лай собак. Потом звонко ударило один раз, другой, и пошло ритмично звенеть дальше. Руслан вытянул шею, встревожился.

— Ты в какой бригаде? — спросил Игорь.

Руслан не расслышал:

— А?
— В какой ты бригаде? В первой? У Воленко?
— У Воленко. Кажется, лес привезли. Говорили, привезут.
— Воленко хороший бригадир?
— Они тут все одинаковые. Побегу. Это лес привезли.

Руслан прыгнул через кустики на соседнюю дорожку. Игорь посмотрел ему вслед: синяя куртка Руслана далеко уже мелькала между деревьями.

22. СТАДИОН ИМЕНИ БЛЮМА

Игорь тоже направился на «производственный двор», как говорили в колонии. Санчо уже рассказывал ему, что в колонии есть несколько мастерских. Недавно приехал новый заведующий производством, так уже не будут мастерские, а будут цехи: механический, литейный, машинный, сборочный и швейный. Игорь никогда не видел никакого производства и не интересовался этим делом, поэтому он ничего не понял во всех этих названиях, догадывался только, что в швейном цехе что-то шьют. Но теперь выходило, так что ему придется работать в каком-нибудь цехе. Он решил посмотреть, что это за «производственный двор».

Через парк, идя по тому же направлению, куда побежал Руслан, Игорь действительно вышел на новый двор, видно недавно расчищенный из-под леса: кое-где стояли еще пни, а в других местах, в огромных ямах, валялись выкорчеванные могучие корневища. Двор был громадный и весь заброшен, трудно было разобрать, чем. Здесь было много бревен, досок, балок — все это в беспорядке, вперекос, перемешано с углем, железом разного сорта, опилками, стружками, пустыми бочками из-под извести. Вокруг двора стояло несколько приземистых деревянных строений, похожих на сараи, но через крыши их выходили трубы, а из труб валил дым самых разнообразных оттенков и густоты,— следовательно, это были не сараи. В одном из строений, более солидном, что-то делали с деревом, и дереву было, видимо, неприятно: оттуда неслись стоны и вопли самых разнообразных оттенков: тихие, гулкие, низкие звуки — звуки привычного и безнадежного протеста, звуки нервные, визгливые, раздражительные; наконец, время от времени вырывался настоящий вопль, отчаянный, душераздирающий, невыносимый. Возле этого здания стояло несколько длинных подвод, рабочие сбрасывали с них доски.

Выйдя из парка, Игорь остановился, выбирая, как легче пройти, и рядом с собой увидел группу людей: Алексей Степанович без шапки, в сапогах и военной рубашке хаки, Витя, Клава Каширина и еще двое. Один из них полный, с брюшком, с круглой головой, выбритой начисто, а может быть, просто лысый. Игорь догадался: это и был знаменитый заведующий производством — Соломон Давидович Блюм. Он торжественно показывал рукой на широкое, приземистое, барачного типа здание, выстроенное недавно, и тем не менее производящее отталкивающее впечатление. Трудно было установить, из чего оно сделано: из обрезков, щепок, старой фанеры, глины? Покрыто оно тоже весьма странной смесью из самых различных материалов: железа, фанеры, толя, а в одном месте красовалось даже несколько рядов черепицы. Это было очень длинное здание, и именно поэтому бросалась в глаза его несуразность: здание довольно круто спускалось в сторону пруда, и его наклонная, скошенная конструкция дико противоречила всякому привычному представлению о строении.

Как будто пораженный этим внезапным величием, Захаров стоял на опушке парка, шевелил руками в карманах галифе и смеялся:

— Да-а! Я приблизительно предчувствовал нечто подобное, но... все-таки ..

Витя хохотал, наклоняясь к земле:

— Вот молодец, Соломон Давидович! За неделю построил!

Клава улыбалась сдержанно. Виктор сказал:

— Это и называется: стадион имени Блюма.

Соломон Давидович выпятил полную стариковскую губу:

— Что вы такое говорите — имени Блюма? Это плохой сборный цех? Плохой? Да?

Захаров увидел Игоря:

— Чернявин, иди сюда.

Игорь вытянулся, красиво — это было несомненно — поднял руку и успел заметить любопытный взгляд Клавы Кашириной:

— Здравствуйте, товарищ заведующий!

— Здравствуй. Иди сюда Ты ведь человек ленинградский, всякие дворцы видел. Как тебе нравится сборный цех?

— Вот этот сарай?

— Это стадион,— повторил Виктор.

Соломон Давидович произнес спокойно:

— Пускай себе сарай, пускай себе стадион, зато в нем можно работать.

Игорь спросил:

— А он не завалится?

Блюм возмутился так серьезно, как будто он давно знал Игоря и обязан был считаться с его мнением:

— Вы слышите, что он говорит: завалится! Волончук, он завалится или не завалится?

Скучный, нескладный, состоящий из каких-то мускульных узлов, инструктор Волончук — правая рука Соломона Давидовича — ответил невозмутимо, определяя судьбу стадиона с завидной беспристрастностью:

— С течением времени должен завалиться, но нельзя сказать, чтобы скоро.

— Через год завалится?

— Через год? — Волончук внимательным взглядом присмотрелся к стадиону.— Нет, через год он не должен завалиться. Другое дело, если, скажем, дожди большие пойдут.

Блюм закричал на него:

— Кто вас про дожди спрашивает! Когда был Ной и пошли большие дожди, так все на свете завалилось. Когда человек строится, так он не может ориентироваться на всемирный потоп, а ориентируется на нормальную погоду.

Волончук спокойно выслушал гневную речь Соломона Давидовича, даже глазом не моргнул лишний раз, и уступил:

— Если хорошая погода, так ничего... выдержит.

Алексей Степанович поправил пенсне, каким-то особенным взглядом, преисполненным векового терпения, глянул на двор и тронулся вперед.

— Хорошо, посмотрим, что там внутри.

Блюм обрадовался:

— Конечно, внутри. Нам внутри работать, а вовсе не наблюдать разную красоту. Красота тоже деньги стоит, дорогие товарищи. Если у тебя нет денег, так ты бреешься один раз в неделю. И ничего.

Через скрипящие воротца, кое-как сбитые из обрезков, они вошли в здание сборного цеха. В цехе еще ничего не было, бросался в глаза деревянный пол, отдаленно напоминающий паркет: он был составлен из многочисленных концов досок разной длины и ширины и даже толщины. Витя первый выразил свое восхищение внутренним устройством здания, но очень сдержанно:

— Если деталь какая упадет, так ее и не поймаешь, так покатится!

Все рассмеялись, кроме Блюма:

— А почему она будет катиться? Это теперь здесь, конечно, ничего нет. А когда будут люди, верстаки и доски, так куда она будет катиться? Вы слышите, Волончук? Куда она будет катиться?

Волончук серьезно оглядел все и ответил:

— Так чтобы катиться, не должна. Зацепится.

Виктор серьезно подтвердил:

— Беру свои слова обратно: если зацепится, тогда другое дело.

И теперь Блюм разгневался окончательно: короткими руками он несколько раз хлопнул себя по бедрам, на отекшем лице появилось выражение боевой готовности...

— Вам нужно делать мебель или вам нужен какой-нибудь бильярд? Чтобы ничего никуда не катилось, пока его не ударишь палкой? Что это за такие разговоры? Мы делаем серьезное дело или мы игрушками играемся? Вам нужны каменные цеха? А деньги у вас есть? А что у вас есть? Может, у вас кирпич есть? Или железо? Или фонды? Ваши сборщики работают под небесами, а я вам построил крышу, так вам еще не нравится, вам подавай архитектурный фасад и какие-нибудь такие пропилеи[12]. Вы сюда пришли, приемочная комиссия, и фыркаете губами, и говорите: стадион! А что вы мне дали? Смету, проект, чертежи, деньги? Вы дали хоть одного инженера? Что вы мне дали, товарищ секретарь совета бригадиров Виктор Торский?

Секретарь совета бригадиров Витя Торский ничего не ответил. Алексей Степанович дружески взял Блюма за локоть:

— Не сердитесь, Соломон Давидович, мы на лучшее и не рассчитывали. Увидите, в будущем году мы построим настоящий завод, а это здание с благодарностью спалим, подложим соломки и...

— Мне очень нравится: они спалят! Здесь будет замечательный склад!

— Ну, хорошо.

— Пожалуйста! Теперь есть где работать. А что бы вы делали, если бы не было этого самого стадиона имени Блюма, товарищ Торский?

— А я всегда говорил: нужно строить не спальни, а завод.

— Так видите, вы только говорили, а я построил.

— Я говорил: строить завод, вы построили стадион.

— Товарищ Торский! Живая собака в тысячу раз лучше английского льва!

Алексей Степанович, смеясь, любовно прижал локоть Соломона Давидовича и направился к выходу.

Игорь Чернявин подождал, пока все выйдут. Оглянулся на пустой стадион. Кого-то ему стало жаль. При выходе он остановился, и было ясно: жаль стало Соломона Давидовича.

23. ДОВОЛЬНО ИНТЕРЕСНАЯ МЫСЛЬ

Вечером Нестеренко сказал Игорю:

— Завтра ты пойдешь на работу в сборный цех.

— Я никогда не работал [redacted] сборном цеху.

— А завтра будешь работать.

— Это значит — [redacted] стадионе?

— Потом [redacted] стадионе, [redacted] пока на дворе.

— А что я там буду делать?

— Мастер тебе покажет.

— А может, я не собираюсь быть сборщиком?

— Я тоже не собираюсь быть литейщиком, а работаю в литейном.

— Это твое дело, [redacted] я иначе думаю.

— Ты думаешь? А ты научился думать? Слышишь, Санчо? Он так думает, что он не будет сборщиком, [redacted] поэтому не хочет работать. Ты его шеф, должен ему объяснить, если он не понимает.

Санчо с радостью согласился объяснить Игорю, хлопнул рукой по сиденью дивана рядом с собой.

— А что же? Садись, [redacted] тебе все растолкую.

Игорь сел, кисло улыбнулся, приготовился выслушать поучение. Вспомнил жалкий стадион, жалкую бедность Соломона Давидовича, стало скучно и непонятно: для чего все это нужно?

— Чего ты такой печальный, Чернявин? Это очень плохо. А я знаю, почему. Ты думаешь так: «Какие-то колонисты, где они взялись на мою голову? А я вон какой герой, Чернявин, скажите, пожалуйста! Поживу у них четыре дня и пойду на все четыре стороны». Правда, ты так думаешь?

Игорь помолчал.

— А на самом деле, может, ты у нас проживешь четыре года.

— А если проживу, так что?

— Как это «что»? Если ты умный человек... Представь себе: четыре года живешь! Так сегодня ты в сборном не хочешь, а завтра ты в литейном не хочешь. А потом ты скажешь, не хочу быть токарем, [redacted] хочу быть доктором, давайте мне, пожалуйста, больницу, я буду лечить людей, ха! Так мы с тобой четыре года будем возиться! Ты, значит, как будто не в себе — психуешь, а мы с тобой все возимся и возимся?

Нарисованная Зориным картина заинтересовала Игоря, но заинтересовала прежде всего глубоким противоречием той ясной логической линии, которая принадлежала ему, Игорю Чернявину, [redacted] которую он мог изложить в самых простых словах. Санчо сидел рядом с ним, глаза его, как всегда, были горячи, но все-таки этот самый Санчо Зорин соображает довольно тупо.

— Ты неправильно говоришь, товарищ Зорин.

— Хорошо. Неправильно. А как правильно?

— Ты говоришь: Чернявин хочет быть доктором? А скажи, пожалуйста, почему это плохо? А разве мало людей хочет быть докторами? А вы здесь, дорогие товарищи, придумали: как себе хочешь, [redacted] иди [redacted] ваш сборный цех. А я должен сказать: «Есть в сборный цех!» А вот [redacted] не хочу.

— Так кто тебе мешает, Чернявин? Разве мы тебя заставляем? Мы тебя не заставляем. Смотри, пожалуйста,— Зорин показал на окно,—

заборов у нас нет, стражи нет,— никто тебя не держит и не уговаривает — иди себе!

— Мне некуда идти...

— Как некуда? Ого! Ты же говоришь: не хочу быть сборщиком, а хочу быть доктором.

— Куда же я пойду?

— Да в доктора и иди. Учиться там или как... Добивайся, пожалуйста.

— А у вас, значит, нельзя?

— А у нас тоже можно, только по-нашему.

— Сначала в сборный цех?

— А что ж ты думаешь? А если и сборный? Думаешь, плохо?

— Я не думаю, что это плохо, а ты мне ничего не объяснил. С какой стати?

— А с такой стати: для нас это нужно. Ты у нас живешь два дня? Живешь. Шамаешь? Одели тебя, кровать тебе дали? А ты еще сегодня в столовой кричал: не имеете права! А почему? Откуда все это берется, какое тебе дело? Я — Чернявин, все мне подавайте. Я хочу быть доктором. А может, ты врешь? Откуда мы знаем? А мы тоже можем сказать: иди себе, Чернявин — доктор Чернявин, к чертовой бабушке!

— Не скажете.

— Не скажем? Ого! Ты еще нас не знаешь! Ты думаешь: уйду. А на самом деле мы тебя раньше прогоним. Для чего ты нам? Мы тебя ни о чем не спросили, кто ты такой, откуда, а может, ты дернешь. Мы тебя приняли, как товарища, одели, накормили и спать уложили. Так ты один, а нас колония. Ты против нас куражишься: хочу быть доктором,— ты нам ни на копейку не доверяешь. Тебе нужно все доказать сразу, а почему ты вперед поверить не можешь, нам поверить?

— Кому поверить? — задумчиво спросил Игорь, чувствуя, что Санчо далеко не так туп, как ему показалось сначала.

— Как «кому»? Нам всем.

— Поверить?

— Ага, поверить. Видишь, ребята живут, и работают, и учатся, что-то делают. Подумал бы: значит, у них какой-то смысл есть. А то ничего не видишь, кроме себя: я доктор. А какой ты доктор, если так спросить? Мы знаем, что мы — трудовая колония, это же видно, а откуда видно, что ты доктор?

Они сидели на диване в полутемной спальне, на дворе зажигались фонари, ребята куда-то разошлись. В коридоре слышались редкие шаги. Потом кто-то крикнул:

— Се-евка!

И стало очень тихо. Игорь, конечно, не был убежден словами Санчо, но спорить с ним уже не хотелось, и возникло простое, легкое желание: почему в самом деле не попробовать? Этому народу можно, пожалуй, оказать некоторое доверие. И он сказал Санчо Зорину:

— Да это я к примеру. Ты не думай, что я такой бюрократ. А ты где работаешь?

— В сборном цеху.

— Интересно там?

— Нет, не интересно.

— Вот видишь?

— А тебе только интересное подавай. Может, с музыкой? А если неинтересное что делать, так ты не можешь?

— Неинтересное делать?

Игорь присмотрелся к Зорину. У Санчо задорно горели глаза.

— Неинтересное делать? Это, сэр, довольно интересная мысль.

24. ДЕВУШКА В ПАРКЕ

Сигнал «вставать» Игорь услышал без посторонней помощи. Было приятно — быстро и свободно вскочить с постели, но когда он начал заправлять кровать, оказалось, что это совершенно непосильная для него задача. Он посматривал на другие кровати и все делал так, как делали и остальные, но выходило гораздо хуже: поверхность постели получалась бугристая, складка шла косо, одеяло не помещалось по длине кровати, а его излишек никуда толком не укладывался. Санчо посмотрел и разрушил его работу:

— Смотри!

Санчо работал ловко, из его техники Игорь уловил главное назидание: складка на одеяле потому получалась прямая, что с самого начала Санчо укладывал одеяло сложенным вдвое, потом отворачивал половину, складка сама выходила прямой, как стрела. Это Игорю понравилось.

— Спасибо.

— Не стоит.

У Игоря было прекрасное, утреннее настроение. Вместе со всеми он салютом встретил приход дежурства. Сегодня дежурил бригадир четвертой бригады, знаменитый в колонии Алеша Зырянский, именуемый чаще «Робеспьером» [13]. И сегодня дежурные по бригадам мотались, «как соленые зайцы», а за десять минут до поверки сам Нестеренко взял тряпку и бросился протирать стекло на портрете Ворошилова и дежурному по бригаде Харитону Савченко сказал с укором:

— Ты забыл, кто сегодня дежурит по колонии?

Харитон с озабоченной быстротой заглядывал в тумбочки и под матрацы. Когда уже устроились на поверку, Нестеренко спросил:

— А ногти? Ногти у всех стрижены?

Кто-то глянул на ногти и закричал:

— Да черт его знает, где ножницы наши?

Нестеренко рассердился:

— Если искать ножницы, когда сигнал на поверку играют, так, конечно, никогда не найдешь. Чернявин, у тебя как?

— Да ничего, как будто...

— «Как будто» не считается. Гонтарь, давай ножницы. Да куда же ты режешь? Ну, что ты наделал? Эх, Мишка!

Но уже входила в спальню поверка, и Нестеренко подал команду.

Зырянский был невысокого роста, лет шестнадцати. Он хорошо сложен, строен. Обращали на себя внимание его пристальные, умные, но в то же время и веселые, серые глаза. Брови у Зырянского короткие, прямые, ближе к переносице они заметнее.

Еще приветствуя бригаду, Зырянский увидел все, хотя как будто ничего не старался увидеть. Принимая рапорт, он весело смотрел Нестеренко в глаза. Он не рыскал по спальне, ничего не искал, но, уходя, сказал своему компаньону по дежурству, скромной и тихой девочке — ДЧСК:

— Отметишь в рапорте: в спальне восьмой бригады грязь.

— Да какая же грязь, Алеша?

— А это что? Натерли пол, а потом набросали ногтей? Это не грязь, по-твоему?

Нестеренко ничего не ответил. В дверях Алеша сказал:

— Нельзя заниматься туалетом только для дежурного бригадира, это, Василь, ты хорошо знаешь. Да и новенькому вашему не остригли когтей. Салютует, а лапы, как у волка.

Нестеренко был очень расстроен после поверки и все повторял:

— Ах ты черт! Вот нечистая сила! А все ты, Мишка. Человек влюбленный, а ногти какие! И как же это можно: на паркет! Хорошо, если Захаров так пропустит рапорт. А если передаст на общее собрание?

Миша Гонтарь ничего не сказал на это. Сидя на корточках, он подбирал с полу собственные ногти.

— Я тогда прямо и скажу на собрании: это наш влюбленный Михаил Гонтарь. Честное слово, так и скажу. А еще раз случится такое неряшество, попрошу Алексея посадить тебя часа на три. И Оксане все расскажу, чтоб знала.

Гонтарь так ничего и не ответил бригадиру. Достаточно того, что ему и перед своими было неловко. Нестеренко оставил его и тем же уставшим, недовольным голосом обратился к Игорю:

— Ты идешь в сборный цех или еще будешь ногами дрыгать?

Игорь был рад, что мог утешить бригадира хотя бы в этом вопросе:

— Иду.

На производство Игорь должен был выйти после обеда во вторую смену. Это было хорошо: все-таки оттягивалась процедура первого рабочего опыта. После завтрака Игорь решил погулять в парке и искупаться. Но как только он вступил в парк, на первой же дорожке встретил «чудеснейшее видение» — девушку.

Уже и раньше, в своей «свободной жизни», Игорь стремился понравиться девчатам и принимал для этого разные меры: заводил прическу, украшал костюм, произносил остроумные слова. Но никогда еще не было, чтобы девушка ему самому очень понравилась. Он по-джентльменски привык отдавать должное привлекательности и красоте и считал себя в некотором роде знатоком в этой области, но всегда забывал о красавицах, как только они уходили из его поля зрения. И поэтому каждую новую девушку он привык встречать свободным любопытством донжуана. Так он встретил и девушку в парке и прежде всего должен был признать, что она «чудесна». Это слово Игорь очень ценил, гордился его выразительностью и от самого себя скрывал, что унаследовал его от отца, который всегда говорил:

— Чудесный человек!

— Чудесная женщина!

— Чудесная мысль!

Девушка, проходившая по дорожке парка, была «чудесна». Это в особенности бросалось в глаза оттого, что одета она была очень бедно и некрасиво. Не было никаких сомнений в том, что она не колонистка,— колонистки всегда чистюльки.

У нее было чуть-чуть смуглое лицо, очень редкого розовато-темного румянца, расходящегося по лицу без каких бы то ни было ослаблений или усилений, удивительно чистого и ровного. Ничто у нее в лице не блестело, ничто не было испорчено царапиной или прыщиком, редко у кого бывает такое чистое лицо. Из-под тонких черных бровей внимательно и немного смущенно смотрели большие карие глаза, белки которых казались золотисто-синими. Зачесанные к косе темные волосы, отливающие заметным каштановым блеском, непокорно рассыпались к вискам. Словом, девушка была действительно чудесна.

Игорь остановился и спросил удивленно:

— Леди! Где вы достали такие красивые глаза?

Девушка остановилась, отодвинулась к краю дорожки, поднесла руку к лицу:

— Какие глаза?

— У вас замечательные глаза!

Этими самыми глазами девушка сердито на него взглянула, потом наклонила покрасневшее лицо, метнулась с дорожки в сторону, на траву

— Миледи, уверяю вас, я не кусаюсь.

Она остановилась, посмотрела на него исподлобья, строго.

— А вам какое дело? Идите своей дорогой.

— Да у меня никакой своей дороги нет. Скажите ваше имя.

Девушка переступила босыми ногами и улыбнулась:

— Вы из колонии, да?

— Из колонии.

— Смешной какой!

Она произнесла это с искренним оживлением насмешки, еще раз боком на него посмотрела и быстро пошла в сторону, прямо по траве, не оглянувшись на него ни разу.

25. ПРОНОЖКИ

Мастер Штевель, широкий, плотный, румяный, внимательно глянул на Игоря круглыми глазами:

— Никогда не работал?

— Нет.

— Значит, начинаешь?

— Начинаю.

— Дома...Хоть пол подметал?

— Нет, не подметал.

— Незначительный у тебя стаж. Ну что же .. начнем. Я дам тебе для начала проножки зачищать. Работа легкая.

— Какие это проножки?

Мастер ткнул ногой в готовый стул:

— А вот она — проножка, видишь? Поставили, как была, нечищеную, с заусеницами, вид она имеет отрицательный. А теперь ты будешь зачищать, лучше выйдет стул. А то все чистили, а на проножки так смотрели, что там, проножка, и так сойдет.

Мастер был словоохотливый, но деловой: пока говорил, руки его действовали, и на подмостке перед Игорем появились куча проножек, рашпиль и лист шлиферной бумаги. Заканчивая речь, Штевель прошелся рашпилем по одной проножке, потом зашаркал по ней бумагой, полюбовался проножкой, погладил ее рукой.

— Видишь, какая стала! И в руки приятно взять. Действуй!

Пока все это говорилось и делалось, Игорю занятно было и слушать и смотреть на мастера, на проножку и на всякие принадлежности. Когда мастер, похлопав его по плечу, отошел, Игорь тоже взял в руки проножку и провел по ней рашпилем. В первый же момент обнаружилось все неудобство этой работы: проножка сама собой вывернулась из руки, а рашпиль прошелся твердым огневым боком по пальцам. На двух пальцах завернулась кожица и выступили капельки крови. Рядом чей-то знакомый голос сказал весело:

— Хорошее начало, товарищ сборщик!

Игорь оглянулся. Голос недаром казался знакомым,— свой, из восьмой бригады, только из второй спальни,— Середин, тот самый, которого Нестеренко упрекнул в пижонстве. У него чистое лицо и голова немного откинута назад. В руках несколько тонких пластинок для спинки стула, и Середин любовно отделывает их при помощи линейки со вставленными листиками шлифера. Не успел Игорь рассмотреть их, как они полетели в кучу готовых пластинок, а рука Середина захватила уже новую порцию.

— Возьми там, в шкафике, йод,— улыбаясь, кивнул Середин.— Это ничего, все так начинают.

Игорь полез в шкафик, нашел бинты и большую бутылку с йодом. Он смазал царапины и обратился к Середину:

— Завяжи.

— Да что ты! Зачем это? Бинт зачем? Ты еще скажешь доктора вызвать.

— Так она течет. Кровь.

— Вся не вытечет. Намазал йодом? Ну и хорошо. И не течет вовсе, просто капелька.

Игорь не стал спорить и положил бинт обратно в шкафик. Но пальцы все-таки болели, и он боялся взять в руку новую проножку. Все-таки взял, подержал, примерился рашпилем. Потом со злостью швырнул все это на примосток и, отвернувшись от верстака, начал рассматривать цех.

Никакого цеха, собственно говоря, и не было. К стене машинного отделения, вздрагивающей от гула станков, снаружи кое-как был прилеплен дырявый фанерный навесик. Он составлял формальное основание сборного цеха; под навесиком помещалось не больше четырех ребят, а всего в цехе работало человек двадцать. Все остальные располагались просто под открытым небом, которое, в самой незначительной степени, заменялось по краям площади красными кронами высоких осокорей. На площадке густо стояли примостки различной высоты и величины, сделан-

ные кое-как из нестроганых обрезков. Некоторые мальчики работали просто на земле. На площадку эту из машинного отделения высокий чернорабочий то и дело выносил порции отдельных деталей. Деревообделочная мастерская колонии производила исключительно театральную, дубовую мебель. Детали, подаваемые из машинного отделения, были: планки спинок, сидений, ножки, цанги, проножки. Собирали театральные стулья по три штуки вместе, но раньше, чем собрать такой комплект, составляли отдельные узлы: козелки, сиденья и так далее. Сборкой узлов и целых комплектов занимались более квалифицированные мальчики, между ними и Санчо Зорин. Они работали весело, стучали деревянными молотками, возле них постепенно нарастали стопки собранных узлов, а возле Зорина располагались на земле уже готовые, стоящие на ногах, трехместные конструкции, еще без сиденья. Большинство же ребят занималось операциями, подобными той, которая была поручена Игорю, в руках у них ходили рашпили, зудели, посвистывали, дребезжали.

Игорь до тех пор рассматривал цех, пока Середин не спросил у него:

— Что же ты не работаешь? Не нравится?

Игорь молча повернулся к примостку, взял в руки рашпиль. В руке он ощущался очень неприятно: тяжелый, шершавый, осыпанный опилками, и все старался перевиснуть куда-то вниз. Игорь положил его и взял в руки проножку. Эта была симпатичнее. Игорь внимательно рассмотрел ее. Глаз увидел те неправильности, неровности, острые углы, которые нужно было снять, увидел и неряшливый край, вышедший из-под шипорезного станка. Вторая рука снова протянулась к рашпилю, но в это время прилетела пчела. Собственно говоря, ей абсолютно нечего было делать здесь, в сборном цеху. Игорь следил за ней и думал, что она должна понять бесцельность своего визита и улететь. Пчела, однако, не улетала, а все сновала и сновала над примостком, тыкалась, подрагивая телом, в свежие изломы дубовых торцов, а потом вдруг набросилась на раненую руку Игоря — ее соблазнила засыхающая капелька крови. Похолодев, Игорь взмахнул проножкой и обрадовался, увидев, что пчела улетела. Он перевел дух и оглянулся, и сейчас только заметил, что ему жарко, что солнце припекает голову, что шея у него вспотела. Вдруг на эту самую потную, горячую шею что-то село, мохнатое, тяжелое. Игорь взмахнул свободной рукой,— огромная, зеленоватая муха нахально взвизгнула у его головы. Игорь поднял глаза и увидел, что их две — мухи, они нахально не скрывали от Игоря своих злобных физиономий. Игорь тоже обозлился и произнес неожиданно чуть ли не со слезами:

— Черт его знает! Мухи какие-то!

И Санчо, и Середин, и другие засмеялись. Середин смеялся добродушно, закидывая голову, а Санчо громко, на всю площадку:

— Игорь! Они ничего! Они не кусаются!

Из молодых кто-то сказал:

— А может, они думают, что это лошадь.

Игорь швырнул проножку на стол:

— К черту!

— Не хочешь? — спросил Середин.

— Не хочу.

Санчо оставил работу, подошел к нему.

— Чернявин, в чем дело?

Игорь надвинулся на Санчо разгневанным лицом.

— К черту! — кричал он.— С какой стати! Какие-то проножки! Рашпили! Для чего это мне? Цех называется,— мухи, как собаки!

Краем глаза он видел, как Середин, не прекращая работы, неодобрительно мотнул головой, другие обернули к ним удивленные, но серьезные лица. Санчо сказал:

— А что же? Просить тебя не будем. Иди, выйти можно здесь.

— И пойду.

Не глядя ни на кого, Игорь переступил через кучу деталей. Санчо что-то сказал ему вслед, но Игорь не расслышал. Не услышал потому, что увидел перед собой неожиданное видение: та самая девушка, которую он сегодня встретил в парке, присела у корзинки, в которой лежали обрезки, но лицо подняла к нему, и на лице этом была задорная и откровенная насмешка.

26. ГЕРОЙ ДНЯ

День пошел вперед, жаркий, неслаженный и... одинокий. В столовой за ужином хохотали по-запорожски, а Гонтарь, который ничего и не видел, со вкусом рассказывал:

— Говорит — мухи, как собаки.

У соседнего стола звонкий пацаний голос деловито произнес:

— Безобразие! Мух надо на цепь посадить!

И за тем столом тоже хохотали.

Игорь сидел, отвернувшись к окну, злой. Нестеренко спросил:

— Значит, не будешь работать?

— Нет.

— А жить в колонии будешь?

— Меня прислали сюда, я не просил.

— Здорово! — Зорин сделался серьезным.

Хохот везде прекратился. Игорь заметил несколько лиц, смотрящих на него с интересом, а может быть даже с уважением. Игорь почувствовал гордость, встал за столом и сказал Зорину громко, так, чтобы и другие слышали:

— Видите ли, не чувствую у себя призвания чистить ваши проножки.— И вышел из столовой.

Он был даже рад. На его лице восстановилась обычная уверенность в себе, склонность к ехидной улыбке, глаза сами собой стали сильней прищуриваться. Перед сигналом «спать» он гулял в парке, посмотрел волейбол. Среди других, наблюдавших игру, приметил группу девочек и между ними, рядом с Клавой Кашириной, полное, тронутое веснушками, но очень милое лицо. Девушка посмотрела на него, улыбнулась, о чем-то зашептала подруге. У нее были ярко-рыжие кудри. Игорь придвинулся ближе, и она спросила:

— Твоя фамилия Чернявин? Ты играешь в волейбол?

— Играю.

— А мух не боишься?

Девочки засмеялись, одна Клава смотрела на Игоря осуждающим взглядом, презрительно сжала красивые губы. Но Игорь не обиделся.

— Мухи мешают только в вашем сборном цеху Мешают этой важной работе. Тут нужно проножку чистить, а она без всякого дела.

— А ты сколько проножек зачистил?

Девочки притихли, но было видно: притихли только для того, чтобы услышать его ответ и смеяться над ним еще больше, еще веселее Игорь не хотел потешать их:

— Я отказался от этой глупой работы. И без меня найдутся охотники чистить разные проножки, сороконожки.

— А ты что будешь делать?

Рыжая девочка спрашивала со спокойной улыбкой, приятным грудным голосом, очень теплым и без насмешки. И никто больше не хохотал. Игорь был доволен успехом: он умел вызвать к себе уважение. И на вопрос постарался ответить с достоинством:

— Я еще посмотрю: роль для меня найдется.

Впечатление было такое, какого он хотел. Девочки посмотрели на него с уважением, но Клава неожиданно сказала отворачиваясь:

— Роль для тебя уже нашлась: шута горохового.

И тут девочки громко захохотали, даже глаза их увлажнились от смеха. Игорю пришлось заинтересоваться волейбольной партией и отойти от них. Но в общем этот разговор его не особенно смутил. Конечно, Клава Каширина у них бригадир, конечно, она может позволить себе назвать Игоря шутом гороховым, а они будут смеяться. Но вот другая, рыжая, эта не очень смеялась. Кто она такая? Пробегающего Рогова Игорь спросил:

— Кто эта рыжая?

— Рыжая? А это Лида. Лида Таликова, бригадир одиннадцатой.

Ого, тоже бригадир, а не очень смеялась!

В спальне, когда все собрались, Игоря приятно поразило, что никто не вспоминал о его уходе из цеха, все держали себя так, как будто в бригаде ничего не случилось, каждый занимался своим делом, читали, писали. Санчо и Миша Гонтарь играли на диване в шахматы. Нестеренко разложил на полу газеты и разбирал на них какой-то странный прибор, весь состоящий из пружин и колес. Игорь ходил один по комнате и стеснялся спросить, что это за прибор. На дворе заиграли короткий сигнал, Нестеренко удивленно поднял голову:

— Да неужели на рапорты? Ох и время ж бежит! Саша, пойди сдай рапот, а то у меня руки...

Он расставил черные пальцы. Александр Остапчин, помощник бригадира, повертелся перед зеркалом, посмотрел на всех красивыми глазами:

— И хитрый же у нас бригадир! Это, значит, с Алексеем разговаривать насчет Мишиных ногтей?

Все улыбнулись. Нестеренко ответил хмуро:

— Ну и поговоришь, чего там. Скажешь, этот франт не успел. Да ведь ты любишь поговорить, для тебя будет... вроде прокурорская практика. А если Гонтарю попадет, тоже не жалко.

Он бросил убийственный взгляд на Гонтаря. Гонтарь крякнул и с досадой хлопнул себя по затылку.

Остапчин еще раз глянул в зеркало и выбежал из спальни. Игорь спросил:

— Товарищ Нестеренко, что это такое?

Нестеренко поднял голову, нехотя повел глазом на Игоря и махнул рукой, что безусловно могло обозначать только одно: отвяжись!

Игорь подошел к шахматистам. Рука Гонтаря еще лежала на затылке. Он не обратил внимания на Игоря а, подвигая фигуру, тихо спросил:

— Как ты думаешь, Санчо, меня сейчас вызовут к Алексею?

— Тебя?

— Да, по рапорту Зырянского.

Санчо взялся за голову коня:

— По рапорту? Думаю, нет. Алексей по таким пустякам не вызывает.

— А вдруг?

— Нет. А Сашке что-нибудь скажет. А кого позовет, так, может, этого лодыря,— Санчо кивнул на Игоря.

Гонтарь снял руку с затылка, отодвинул Игоря подальше.

— Отойди, свет заслоняешь.

Но Игоря заинтересовало последнее слово Зорина:

— Меня позовет? Пожалуйста! Я уже испугался, синьоры!

Игорь победоносно посмотрел на всех, но никто не обратил на него внимания.

Через пять минут в спальню ворвался Остапчин, переполненный чувствами, багрово-красный и явно смущенный.

— Под арест на один час! — закричал он, вытаращивая на всех глаза.

Гонтарь показал на себя пальцем:

— Меня?

— Меня,— ответил с тем же жестом Остапчин.

— Тебя? — все вскочили с мест, глаза у всех сделались задорно-круглыми. Даже Харитон Савченко совершил какое-то быстрое движение.

— Тебя? Ой!! — Нестеренко повалился спиной на пол, дрыгал в воздухе ногами, хохотал громовым хохотом.

Гонтарь снова отправил руку на затылок и улыбался смущенно. Санчо обрадовался больше всех, прыгал, воздевая руки, ухватил Остапчина за руки:

— За ногти?

— Да за ногти же! Робеспьер, дрянь такая, мало того, что рапорт сдал, да еще с подробностями. После рапортов я говорю: «Алексей Степанович, Гонтаря нужно подтянуть», а он мне отвечает: «Я у вас не нанимался всех подтягивать, другое дело Чернявин — вчера пришел, а Гонтарь пять лет у вас живет». Я ему и скажи: «Зырянский придирается». Тут мне и попало, насилу вырвался. «Во-первых, говорит, споры во время рапорта не допускаются, а во-вторых, и в рапорте восьмой бригады, которой ты сдавал, сказано: отмечается неряшливость колониста Михаила Гонтаря. За неуменье держать себя во время рапортов и за неряшливость в бригаде — один час ареста».

Все слушали молча, широко открыв глаза. Игорь забыл о собственных делах и в увлечении сказал:

— А ты ему объяснил же?

Все на Игоря посмотрели, как на докучный посторонний предмет, но Остапчин ответил:

— Конечно, объяснил: «Есть один час ареста».

Нестеренко снова ударился в хохот:

— Вот здорово! Хорошо, что я тебя послал.

— Я больше никогда не пойду...

Нестеренко ответил ему весело, с дружеской угрозой:

— Попробуй не пойти. Да ты и не за меня сел, а за себя. Любишь трепаться и на рапортах трепанулся. Как это можно такое говорить: дежурный придирается! Подумать только! Я удивляюсь, что ты дешево отделался,— видно, сегодня Алексей добрый.

Игорю вдруг стало обидно и не по себе. Черт их разберет, что у них делается: совершенно было ясно, что Остапчин получил один час ареста незаслуженно, а настоящий виновный, Миша Гонтарь, остался безнаказанным. Наконец было обидно и другое: почему-то все, даже Алексей Степанович, интересуются таким пустяком, как остриженные ногти Гонтаря, и никто не обращает внимания на открытый, демонстративный отказ от работы Игоря Чернявина.

Когда укладывались спать, зашел в спальню Алеша Зырянский, уже без повязки, и его почему-то встретили радостными возгласами, обступили, а сам Зырянский в изнеможении упал на диван:

— Сашка влопался! Я уверен: Алексей сейчас сидит в кабинете и смеется: Александр Остапчин пришел отдать рапорт! А между прочим, рапорт он сдает красиво, прямо лучше всех.

И Зырянский ничего не сказал об Игоре, даже не вспомнил, что он есть в спальне и что он сегодня демонстративно отказался от работы в сборном цехе.

27. ТЕБЕ ОТДУВАТЬСЯ

Утром Игорь встал вовремя и долго возился с постелью. Может быть, он и еще поспал бы, но вчера забыл спросить, кто сегодня дежурит,— ему не хотелось опять оказаться в постели перед «дамой». Оказалось, что он сделал хорошо, потому что поверку принимал сам Захаров, а вместе с ним вошла дежурным бригадиром Лида Таликова. Захаров был весел, в белой косоворотке. Так же, как и дежурные бригадиры, он поднял руку и сказал:

— Здравствуйте, товарищи!

Игорю показалось, что ему ответили дружнее и любовнее, чем отвечали дежурным, а в то же время чувствовалось, что Захарова и побаивались здорово. Он осмотрел спальню без придирок, ни в какие тайники не заглядывал, все это проделывал юркий и маленький ДЧСК. Алексей Степанович все-таки попросил Гонтаря показать ногти, в этот момент Остапчин весело покраснел, но Захаров ничего не заметил. Мимо Игоря он прошел бесчувственно. Нестеренко спросил:

— Алексей Степанович, какая сегодня картина, не знаете?

— Говорят, «Броненосец «Потемкин». Поехали за картиной, Лида?

— Поехали.

Уходя, Алексей Степанович глянул на лампочку под потолком, и все закричали обиженными голосами:

— Да это точечки такие! Стекло такое! Сколько говорили, никто не переменяет!

Захаров остановился в дверях:

— Чего вы кричите?

— А вы посмотрели на лампочку.

— Мало ли куда я посмотрю, так вы кричать будете?

— Мы уж знаем, как вы смотрите!

Игорь отправился завтракать. По дороге никто с ним не заговорил, а за столом Санчо и Гонтарь о чем-то громко вспоминали. Нестеренко ел молча и осматривал столовую.

В столовой в одну смену сидело сто человек. Все они сидели за небольшими столами, покрытыми белыми скатертями, и, по правде сказать, все они Игорю нравились. Хотя он и жил в колонии только четвертый день, но уже многих знал, знал ДЧСК, очень похожих друг на друга, аккуратных, въедливых и строгих мальчиков и девочек в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет. Примелькались и другие лица. В каждом лице Игорь бессознательно отличал два характера, две линии. Что-то в каждом было свое, мальчишеское, назвать это Игорь не умел, но это были несомненная энергия, агрессивность, проказливость, боевой нрав и самостоятельный, плутовской, расторопный взгляд, от которого трудно укрыться,— все более или менее знакомые типы лиц и привычек, которые Игорь и раньше наблюдал и которые ему нравились. С другой стороны, у всего этого народа, живущего в колонии, ясно были заметны и другие черты характера. Игорь отмечал их тоже бессознательно и даже самому себе не говорил утвердительно, что черты эти — именно от колонии, но это были те черты, которые он нигде не наблюдал, которые вызывали у него и симпатию и возбуждали желание сопротивляться.

Не было никаких сомнений, что вся эта публика, заседающая в столовой, составляет одну семью, очень дружную, сбитую и — гордую своей собранностью. Особенно нравилось Игорю, что за четыре дня ему не пришлось наблюдать не только драк или ссор, но даже сколько-нибудь заметной размолвки, озлобленного или вздорного тона. Сначала Игорь объяснял это тем, что все боялись Захарова или бригадиров. Может быть, и боялись, но почему-то этой боязни не было видно. Правда, дежурные бригадиры и бригадиры в спальнях давали распоряжения, не оглядываясь, не сомневаясь в исполнении, тоном настоящих начальников, видно было, что они привыкли это делать, как будто годами командовали в колонии. Но Санчо рассказывал Игорю, что большинство бригадиров все новые, что только Нестеренко и Зырянский занимают свои посты более полугода. Кроме того, Игорь заметил, что не только бригадиры, но и все остальные, обладающие какой-то крупинкой власти только на один день, распоряжаются этой властью с уверенностью, без осторожной оглядки, а колонисты принимают эту власть как вполне естественное и необходимое явление[14]. Так держались и ДЧСК, и дежурные по столовой и по бригадам, и часовые у парадного входа.

Часовыми обыкновенно стояли малыши, те самые малыши, которые с визгом гоняли по парку, кувыркались в пруде, перекидывались на аппа-

ратах [redacted] физкультурном городке. У них были разные лица и разные походки, разные голоса и повадки, были между ними и «вредные» пацаны, зубоскалы и насмешники, выдумщики и фантазеры, у многих бродили в голове всякие ветры. Но как только такой пацан брал [redacted] руки винтовку, он сразу становился похожим на Петьку Кравчука, встретившего Игоря [redacted] день его прибытия. Как Петька, они становились серьезны, подтянуты, старались говорить басом и были ослепительны и официальны. Обязанности были несложные: не впускать [redacted] здание посторонних и следить, чтобы все вытирали ноги. Никаких пропусков ни для взрослых, ни для колонистов в колонии не было, часовые просто на глаз хорошо знали, кого можно пропустить, [redacted] кого нельзя. А что касается вытирания ног, то в этом вопросе они все были одинаково беспристрастны и неумолимы. Игорь сам видел вчера, как такой малыш остановил Виктора Торского, пролетевшего со двора с предельной спешностью:

— Витя, ноги!

— Да спешу очень, Шурка!

Но Шурка отвернулся и даже не повторил приказания. И Виктор Торский, глава всей этой республики, только с секунду подумал и с половины лестницы возвратился к тряпке вытирать ноги, [redacted] Шурка еще и следил, как он вытирает.

Здесь, [redacted] колонии, была единая, крепко склеенная компания, а чем она склеена, разобрать было трудно. Иногда у Игоря возникало странное впечатление: как будто все они — и те, кто постарше, и пацаны, [redacted] девочки — где-то, по секрету, очень тайно договорились о правилах игры и сейчас играют честно, соблюдая эти правила и гордясь ими, гордясь тем больше, чем правила эти труднее. Иногда Игорю казалось, что и эти правила [redacted] вся эта игра придуманы нарочно, чтобы посмеяться, пошутить над Игорем, посмотреть, как он будет играть, не зная правил. И досадно было, что вся игра проходила с таким видом, как будто никакой игры нет, как будто так и полагается и иначе быть не может, как будто везде нужно встречать дежурного бригадира салютом, везде нужно называть заброшенный кусок двора сборным цехом и чистить в нем бесчисленное количество проножек.

И поэтому, при всей своей симпатии к этому веселому и гордому обществу, Игорь не хотел сдаваться. Он допускал, что легко дело не пройдет, что все эти добродушно-бодрые пацаны и девчата только вид такой делают, как будто никакого Игоря не существует, как будто присутствие в столовой одного лодыря и дармоеда среди такой массы трудящихся никого не раздражает. Игорь понимал, что должен наступить момент, когда они все на него набросятся и захотят заставить работать. Очень интересно, как они это сделают. Силой — не имеют права. Голодом? Тоже не имеют права. Оставят жить в колонии и позволят не работать? Едва ли. Выгонят? Им, конечно, не хочется выгонять. Посмотрим.

Игорь завтракал и любовался колонистами. Они тоже завтракали, все в школьных костюмах, свежие, чистые, разговаривали друг с другом, негромко смеялись, иногда гримасничали. Поглядывали на сегодняшнего симпатичного дежурного бригадира Лиду Таликову, проходившую между столами.

Вот она остановилась у соседнего стола. Смуглый мальчик поднял на нее глаза. Она спросила у него:

— Филька, ты зачем книги притащил в столовую?

Он встал за столом, ответил:

— Так, очень нужно, я хотел правило повторить.

— Тебе лень после завтрака подняться в спальню за книгами?

Филька ничего не ответил, отвернулся, и выражение у него было такое: говорить она будет недолго, потерплю.

— Что это за манера отворачиваться?

Филька обиделся:

— Никакая вовсе манера, а что ж я буду говорить?

— Чтобы этого больше не было. Нельзя учебники носить в столовую. И отворачиваться нечего.

Филька облегченно вздохнул, поднял руку:

— Есть книг не носить.

Когда Лида удалилась, все четыре стриженые головы сблизились, пошептали, потом одна оглянулась на Лиду, снова пошептали. Лида подошла к Игорю, они обернулись тоже к Игорю.

— Чернявин, ты сегодня выходишь на работу?

Игорь открыл рот. Гонтарь сказал строго:

— Встань.

Игорь поднялся.

— Не выхожу

— У нас не хватает рабочих рук, ты об этом знаешь?

— Я не собираюсь быть столяром.

Лида пояснила ему ласково:

— А если на нас нападут враги, ты скажешь, я не собираюсь быть военным?

— Враги — это другое дело.

И тот самый Филька, который только что отвечал перед дежурной, сказал своему столу, но сказал очень громко, на всю столовую:

— Это другое дело! Он тогда под кровать залезет.

Лида строго посмотрела на Фильку. Он улыбнулся ей проказливо и радостно, как сестре.

— Значит, не выйдешь?

— Нет.

Лида что-то записала в блокнот и отошла.

После обеда Игорь читал книгу: нашел в тумбочке Санчо «Партизаны» В спальню вошел Бегунок, вытянулся у дверей.

— Товарищ Чернявин! ССК [15] передал: в пять часов вечера совет бригадиров. Чтобы ты пришел. Отдуваться тебе.

— Хорошо.

— Придешь или приводить надо?

Володя спросил серьезно, даже губами что-то проделывал от серьезности при слове «приводить».

— Приду.

— Ну, смотри, в пять часов быть в совете.

Помолчали.

— Чего ж ты не отвечаешь?

Игорь глянул на его серьезную, требовательную мордочку, вскочил, сказал со смехом:

— Есть в пять часов быть в совете!

— То-то же! — строго сказал Володя и удалился:

28. ПОСЛЕ ДОЖДЯ

В четыре часа прошла гроза. По лесу била аккуратно, весело, как будто договор выполняла, колонию обходила ударами, поливала крупным, густым, сильным дождем. Пацаны в одних трусиках бегали под дождем и что-то кричали друг другу. Потом гроза ушла на город, над колонией остались домашние хозяйственные тучки и тихонько сеяли теплым дождиком. Пацаны побежали переодеваться Более солидные люди, переждав ливень, быстро на носках перебегали от здания к зданию. У парадного входа, с винтовкой, аккуратненькая, розовая Люба Ротштейн стоит над целой территорией сухих мешков, разостланных на полу, и сегодня пристает к каждому без разбору:

— Ноги!

— Богатов, ноги!

— Беленький, не забывай!

К пацанам, принявшим холодный душ, она относится с нескрываемым осуждением:

— Все равно не пущу.

— Да и вытер ноги, Люба!

— Все равно с тебя течет.

— Так что же мне, высыхать?

— Высыхай.

— Так это долго.

Но Люба не отвечает и сердито поглядывает в сторону. Пацан кричит кому-то в окно на втором этаже, тому, кого не видно и, может быть, даже в комнате нет, кричит долго, надсадно:

— Колька! Колька! Колька!

Наконец кто-то выглядывает.

— Чего тебе?

— Полотенце брось.

Через минуту натертый докрасна пацан улыбается подобревшей Любе и пробегает в вестибюль.

В пять часов Володя проиграл сбор бригадиров, посмотрел на дождик и ушел в здание.

К парадному входу прибрел совершенно промокший, без шапки, в истоптанных ботинках, похудевший и побледневший Ваня Гальченко. Он остановился против входа и осторожно посмотрел на великолепную Любу.

— Ты откуда, мальчик?

— Я? Я пришел сюда...

— Вижу, что ты пришел, а не приехал. А кого тебе нужно?

— Примут меня в колонию?

— Скорый ты какой. У тебя есть ордер?

— Какой ордер?

— Бумажка какая-нибудь есть?

— Бумажки нету.

— А как же? По чему тебя принимать?

Ваня развел руками и пристально посмотрел на Любу. Люба улыбнулась:

— Чего ты на дожде мокнешь? Стань сюда... Только тебя не примут.

Ваня вошел в вестибюль. Стал на мешках, засмотрелся на дождь. Глянул на Любу, быстро рукавом вытер слезы.

В этот самый момент Игорь Чернявин стоял на середине в комнате совета бригадиров и «отдувался». Народу в комнате было много. На бесконечном диване сидели не только бригадиры, сидели еще и другие колонисты, всего человек сорок. Из восьмой бригады, кроме Нестеренко, были здесь Зорин, Гонтарь, Остапчин. Рядом с Зориным сидел большеглазый, черноволосый Марк Грингауз, секретарь комсомольской ячейки, и печально улыбался, может быть, думал о чем-то своем, а может быть, об Игоре Чернявине — разобрать было трудно. За столом ССК сидели Виктор Торский и Алексей Степанович. В дверях стояли пацаны и впереди всех Володя Бегунок. Все внимательно слушали Игоря, а Игорь говорил:

— Разве я не хочу работать? Я в сборном цеху не хочу работать. Это, понимаете, мне не подходит. Чистить проножки, какой же смысл?

Он замолчал, внимательно провел взглядом по лицам сидящих. На лицах выражались нетерпение и досада, это Игорю понравилось. Он улыбнулся и посмотрел на заведующего. Лицо Захарова ничего не выражало. Над большой пепельницей он осторожно и пристально маленьким ножиком чинил карандаш.

— Дай слово,— сказал Гонтарь.

Виктор кивнул. Гонтарь встал, вытянул вперед правую руку:

— Черт его знает! Сколько их, таких, еще будет? Я живу в колонии пятый год, а их, таких барчуков, стояло в этой самой комнате человек, наверное, тридцать.

— Больше,— поправил кто-то.

— И каждый торочит одно и то же. Аж надоело. Он не собирается быть сборщиком. А что он умеет делать, спросите? Жрать и спать, больше ничего. Придет сюда, его, конечно, вымоют, а он станет на середину и сейчас же: «Я не буду сборщиком». А чем он будет? Угадайте, чем он будет. Дармоедом будет, так и видно. Я понимаю, один такой пришел, другой, третий. А то сколько! А мы уговариваем и уговариваем. А я предлагаю: содрать с него одежду, выдать его барахло,— иди! Одного выставим — все будут знать.

Зырянский крикнул:

— Правильно!

Виктор остановил:

— Не перебивай. Возьмешь потом слово.

— Да никакого слова я не хочу. Стоит он того, чтобы еще слово брать? Он не хочет быть столяром, а мы все столяры? Почему мы должны его кормить, почему? Выставить, показать дорогу!

— Его нельзя выставить, пропадет,— спокойно сказал Нестеренко.

— И хорошо. И пускай пропадает.

В совете загудели сочувственно. Высокий, полудетский голос выделился:

— Прекратить разговоры и голосовать.

Игорь навел чуткое ухо, надеялся услышать что-либо более к себе расположенное. Захаров все чинил свой карандаш. В голове Игоря промелькнуло: «А пожалуй, выгонят». И стало вдруг непривычно тревожно.

..На парадном входе Люба спросила грустного Ваню Гальченко.

— Ты где живешь?

— Нигде.

— Как это «нигде?» Вообще ты живешь или умер?

— Вообще? Вообще живу, а так — нет.

— А ночуешь где?

— Вообще, да?

— Что у тебя за глупый разговор? Где ты сегодня спал?

— Сегодня? Там... в одном доме.. в сарае спал. А почему меня не примут?

— У нас мест нет, а мы тебя не знаем.

Ваня снова загрустил, и снова ему захотелось плакать.

29. ВСЕ, ЧТО ХОТИТЕ...

В совете бригадиров речь говорил Марк Грингауз. Он стоял не у своего места на диване, а подошел к письменному столику, опирался на него рукой. Захаров уже очинил карандаш и на листке бумаги что-то тщательно вырисовывал. Марк говорил медленно, тихо, каждое слово у него имело значение:

— Сколько раз уже здесь говорилось, и Алексей Степанович тоже подчеркивал,— как это так выгнать? Куда выгнать? На улицу? Разве мы имеем право? Мы не имеем такого права!

Марк большими черными глазами посмотрел на Зырянского. Зырянский ответил ему задорным взглядом, понимающим всю меру доброты оратора и отрицающим ее.

— Да, Алеша, не имеем права. Есть советский закон, а закону мы обязаны подчиняться. А закон говорит: выгонять на улицу нельзя. А вы, товарищи бригадиры, всегда кричите: выгнать!

— А что же,— крикнул Гонтарь,— смотреть? Терпеть?

— Выгонять нельзя,— Грингауз нажал голосом и головой,— а, конечно, мы не можем терпеть, потому что у нас социалистический сектор, а в социалистическом секторе все должны работать. Игорь говорит: буду работать в другом месте. Тоже допустить не можем: в социалистическом секторе должна быть дисциплина. Обойди у нас всю колонию, хоть одного найдешь, который сказал бы, хочу быть сборщиком? Все учатся, все понимают: дорог у нас много, и дороги прекрасные. Тот хочет быть летчиком, тот геологом, тот военным, а сборщиком никто не собирается, и даже такой квалификации вообще нет. Никаких капризов колония допустить не может, а только и выгонять нельзя.

— В банку со спиртом.. посадить!

Марк оглянулся на голос. Смотрел на него, покраснев до самого вихревого своего чубика, Петька Кравчук. Покраснел, а все-таки смотрел в глаза, очень был недоволен речью Грингауза.

Витя Торский прикрикнул на Петьку:

— Ты чего перебиваешь? Залез сюда, так сиди тихо.

Марк, продолжая смотреть все-таки на Петьку, пояснил:

— Выгонять нельзя, но и оставлять его я не предлагаю. Если он не хочет подчиниться социалистической дисциплине, нужно его отправить.

Нестеренко добродушно смотрел мимо Марка:

— В какой же сектор ты его отправишь, Марк?

Громко засмеялись и бригадиры и гости. Захаров поднял на Марка любовно-иронический взгляд.

Марк улыбнулся печально:

— Его нужно отправить куда-нибудь... в детский дом...

Петька Кравчук в этот момент испытал буйный прилив восторга.

Он высоко подскочил на диване, кого-то свалив в сторону, и заорал очень громко, причем обнаружилось, что у него вовсе нет никакого баса:

— Я приветствую, я приветствую! Отправить его в наш детский сад... в этот детский сад, где пацаны... который для служащих!

Виктор Торский и сам хохотал со всеми, но потом нахмурил брови:

— Петька, выходи!

— Почему?

— Выходи!

Салют, который отдал Петька, больше был похож на жест возмущения:

— Есть!

Петька вышел. За ним Бегунок. Слышно было, как в коридоре они звонко заговорили и засмеялись. Захаров что-то рисовал на своей бумажке, глаза еле заметно щурились.

Володя Бегунок выскочил на крыльцо и сразу увидел Ваню Гальченко

— Ты пришел?

Ваня обрадовался:

— Пришел, а как дальше-то?

— Стой! Я сейчас!

Он бросился в вестибюль и немедленно возвратился:

— Ты есть хочешь?

— Есть? Ты знаешь... лучше...

— Подожди, я сейчас.

Володя осторожно вдвинулся в комнату совета бригадиров. Игорь по-прежнему стоял на середине, и видно было, что стоять ему уже стыдно, стыдно оглядываться на присутствующих, стыдно выслушивать предложения, подобные Петькиному. И Виктору Торскому стало жаль Игоря.

— Ты присядь пока. Подвиньтесь там, ребята. Слово Воленко.

Бегунок поднял руку:

— Витя, разреши выйти дежурному бригадиру.

— Зачем?

— Очень нужно! Очень!

— Лида, выйди. В чем там дело?

Лида Таликова направилась к выходу, Володя выскочил раньше нее. Воленко встал, был серьезен.

— У Зырянского всегда так: чуть что — выгнать. Если бы его слушаться, так в колонии один бы Зырянский остался.

— Нет, почему? — сказал Зырянский.— Много есть хороших товарищей.

— Так что? Они сразу стали хорошими, что ли? Куда ты его выгонишь? Или отправишь? Это наше несчастье. Присылают к нам белоручек, а мы обязаны с ними возиться. Кто у вас шефом у Чернявина?

— Зорин.

— Так вот пускай Зорин и отвечает.

Многие недовольно загудели. Санчо вскочил с места.

— Ты добрый, Воленко! Вот возьми его в первую бригаду и возись!

Воленко снисходительно глянул на Зорина:

— Не по-товарищески говоришь, Санчо. У вас и так в восьмой собрались одни философы, а у меня посчитайте: Левитин, Ножик, Московченко, этот самый Руслан. У меня четыре воспитанника, у вас все колонисты. Прибавили вам одного чудака, а вы сразу закричали — выгнать.

Игорь теперь сидел между Нестеренко и бригадиром второй — Поршневым. Ему и теплее становилось от слов Воленко и в то же время разыгрывалась неприятная внутренняя досада: — что это они его рассматривают, как букашку? Залезла к ним в огород букашка, и они смотрят на нее, будет из нее толк или не будет. Вспоминают каких-то других букашек. Никто не хочет обратить внимание, что перед ними сидит Игорь Чернявин, а не какой-нибудь Ножик или Руслан, которые все-таки не решились отказаться от работы.

У главного входа Лида Таликова смотрит на Ваню, сочувствует ему, но у нее сегодня душа дежурного бригадира, а эта душа заставляет ее говорить:

— Принять в колонию? А кто тебя знает? Может, ты все врешь.

Ваня из последних сил старался рассказать этой важной девушке что-то особенное, но слова находились все одни и те же:

— Ничего нету... и денег нету... и ночевать негде. Я был в комонесе и был в споне... там тоже... ничего нету. Нету — и все!

— А родители?

— Родители? — Ваня вдруг заплакал. Плачет он беззвучно и не морщится при этом, просто из глаз льются слезы.

Володя дернул Лиду за рукав, сказал горячо:

— Лида! Ты понимаешь? Надо его принять!

Лида улыбнулась пылающим очам Бегунка.

— Ну!

— Честное слово! Ты подумай!

— Подожди здесь.— Лида быстро ушла в дом.

Бегунок поспешил за ней, но успел еще сказать:

— Ты не робей! Самое главное — не робей! Держи хвост трубой, понимаешь?

Ваня кивнул. Собственно говоря, это он понимал, но хвост у него уже отказывался держаться трубой.

В совете бригадиров говорил Алексей Степанович. По-прежнему в руке у него остро очиненный карандаш. Говорил сурово, иногда подымая взгляд на Игоря:

— Нельзя, Чернявин, в таких легких вопросах не разбираться. Ты пришел к нам, и мы тебе рады. Ты член нашей семьи. Ты не можешь теперь думать только о себе, ты должен думать и обо всех нас, обо всей колонии. В одиночку человек жить не может. Ты должен любить свой коллектив, познакомиться с ним, узнать его интересы, дорожить ими. Без этого не может быть настоящего человека. Конечно, тебе не нужно сейчас чистить проножки. Но это нужно для колонии, а значит и для тебя нужно. Кроме того, и для тебя это важное дело Попробуй выполнить норму: зачистить сто шестьдесят проножек за четыре часа. Это большой труд, он требует воли, терпения, настойчивости, он требует благородства души. К вечеру у тебя будут болеть руки и плечи, зато ты зачистил сто шестьдесят проножек на сто двадцать театральных мест. Это важное советское дело. Раньше народ только в столицах ходил в театр, а сейчас мы выпускаем в месяц тысячу мест, и все не хватает, а разве мы одни делаем? Какое мы важное дело делаем! Каждый месяц по всему Союзу мы ставим тысячу мест. Мы отправляем наши кресла целыми вагонами в Москву, в Одессу, в Астрахань, в Воронеж. Приходят люди, садятся в эти кресла, смотрят пьесу или фильм, слушают лекцию, учатся. А ты говоришь, тебе это не нужно. Нам же за эту работу еще и деньги платят. За эти деньги через год или через два мы построим новый завод, тоже необходимый и для нас и для всей страны. Тебя здесь противно слушать: «Я не собираюсь быть сборщиком». С нашей помощью, как член нашего коллектива, ты будешь тем, чем ты захочешь. А проножка — это мелочь. Когда у людей нет мяса, они едят ржаной хлеб и должны быть благодарны этому хлебу

Игорь слушал внимательно. Ему нравилось, как говорил Захаров. Игорь представлял себе всю страну, по которой разбросаны проножки, это ему тоже нравилось. Игорь видел, как, затаив дыхание, слушали колонисты, которым, очевидно, не часто приходилось слышать речи Захарова. И сейчас было ясно видно, почему все колонисты составляют один коллектив, почему слово Захарова для них дорого.

В дверях стояли Лида и Бегунок Захаров кончил говорить, посмотрел на кончик своего карандаша — и только теперь улыбнулся.

— Лида, чем ты так встревожена?

— Алексей Степанович! Мальчик там плачет, просится в колонию.

— Можно оставить переночевать, а в колонию некуда. Отправим куда-нибудь

— Хороший такой мальчик.

Захаров еще раз улыбнулся волнению Лиды и крякнул:

— Эх! Ну давай его сюда.

Лида вышла, Володя вылетел вихрем. Виктор Торский вкось повел строгим, всевидящим глазом:

— Говори, Чернявин, последнее слово Только не говори глупостей. Выходи на середину и говори.

Игорь вышел, приложил руку к груди:

— Товарищи!

Он глянул на лица. Ничего не понятно, просто ждут.

— Товарищи! Я не лентяй. Вы привыкли, вам легче. А тут рашпиль первый раз вижу, он падает, проножки...

Зорин подсказал дальше:

— Мухи!

Все засмеялись, но как-то нехотя.

— Не мухи, а какие-то звери летают...

Зорин закончил:

— И рычат.

Под общий смех, но уже не такой прохладный, открылась дверь, и Лида пропустила вперед Ваню Гальченко. Все еще продолжая смеяться, взглянул на него Игорь. Оглянулся и вдруг, вытаращив глаза, закричал горячо и радостно:

— Да это же Ванюша! Друг!

— Игорь! — со стоном сказал Ваня и точно захлебнулся.

Игорь уже тормошил его:

— Где ты пропал?

Виктор загремел возмущенно:

— Чернявин, к порядку! Забыл, что ли?

Игорь повернул к нему лицо, все вспомнил и с разгону, протягивая руки, обратился к совету:

— Ах, да! Милорды!

Он сказал это слово так горячо, с такой душевной тревогой, с такой любовью, что все не выдержали, снова засмеялись, но глаза сейчас смотрели на Игоря с живым и теплым интересом, и не было уже в них ни капельки отчужденности.

— Товарищи! Все, что хотите! Проножки? Хорошо! Алексей Степанович! Делайте, что хотите! Только примите этого пацана!

— А мухи?

— Черт с ними! Пожалуйста!

Виктор кивнул на старое место:

— Сядь пока, посиди.

30. СЛАВНАЯ, НЕПОБЕДИМАЯ ЧЕТВЕРТАЯ БРИГАДА

Виктор спросил:

— Тебе что нужно?

Ваня осмотрел всех, и ему все понравилось — такой знакомой была длинная улыбка Игоря, так тепло ощущалось соседство Володи Бегунка и девушки в красной повязке. Ваня не затруднился ответом:

— Чего мне нужно? Я, знаете, что? Я буду здесь жить.

— Это еще посмотрим, будешь или нет.

Но Ваня был уверен в своем будущем:

— Буду. Уже целый месяц все сюда иду и иду.

— Ты беспризорный?

— Нет... я еще не был беспризорным.

— Как тебя зовут?
— Ваня Гальченко.
— Родители у тебя есть?
Ваня на этот вопрос не ответил, а только головой завертел, не отрываясь от Виктора взглядом.
— Нету, значит, родителей?
— Они... они были, только взяли и уехали.
— Отец и мать? Уехали?
— Нет, не отец и мать.
— Разбери тебя. Рассказывай по порядку.
— По порядку? Отец и мать умерли, давно, еще была война, тогда отец пошел на войну, а мать умерла...
— Значит, родители умерли?
— Одни умерли, а потом были другие. Там... дядя был такой, и он меня взял, и я жил, а потом он женился, и они уехали.
— Бросили тебя?
— Нет, не бросили. А сказали: пойди на станцию, купи один фунт баранины. Я пошел и все ходил, а баранины нигде нету. А они взяли и уехали.
— Ты пришел домой, а их нет?
— Нет, ничего нет. И родителей нету, и вещей нету. Ничего нету. А там жил хозяин такой, так он сказал: ищи ветра в поле.
— А потом?
— А потом я сделал ящик и ботинки чистил. И поехал в город.
— Та-ак,— протянул Виктор.— Как скажете, товарищи бригадиры?
Сказал Нестеренко:
— Пацан добрый, да и куда ж ему деваться? Надо принять.
Кто-то несмело:
— Но у нас же мест нет?
Володя стоял у дверей:
— Вот я скажу, Торский!
— Говори.
— Мы с ним вместе будем. Вместе! На одной кровати.
Зырянский перед этим долго рассматривал Ваню, а теперь одобрительно притянул его к себе:
— Правильно, Володька, давайте его в четвертую бригаду.
Игорь встал:
— А я прошу, если можно, в восьмую. Я тоже могу уступить пятьдесят процентов жилплощади.
Володя обиженно закивал на Игоря головой:
— Смотри ты, какой! Ты еще сам новенький! В восьмую! А твой бригадир молчит. А ты за бригадира?
Виктор на Володьку прикрикнул:
— Володька, это что за разговоры!
Володя отошел к дверям, но на Игоря смотрел сердитым, темным глазом, и полные губы его шевелились, продолжая что-то шептать, видно, по адресу Игоря.
Из бригадиров коротко высказались несколько человек, каждый не больше как в десяти словах:

— Пока еще не разбаловался, нужно взять.

— Мальчишка правильный, видно. Берем.

— Это хорошо. Он еще не познакомился с разными там тетями, так из него человек будет. А нам отгонять его от колонии рука ни у кого не повернется.

Клава Каширина недовольно сказала:

— И чего вы все одно и то же? Конечно, нужно принять, а только пускай Алексей Степанович скажет, как там по правилам выходит.

Ее поддержали, обернулись к Захарову, но Володя Бегунок предупредил слово заведующего:

— Вот постойте! Вот постойте! Вот я расскажу. Алексей Степанович, помните, в прошлом году пришел такой пацан, да этот, как же, Синичка Гришка, он у тебя в десятой бригаде, Илюша. А его тогда не хотели принимать. Сказали: места нету и закона такого нету. И не приняли. А он две недели в лесу жил. И опять пришел. И опять его не приняли. Сказали: почему такое нахальство, его не принимают, а он в лесу живет. И взяли его и повезли в город, в спон, еще ты возил, помнишь, Нестеренко?

— Возил.— Нестеренко улыбнулся и покраснел.

— Возил, а он от тебя из трамвая убежал. Помнишь, Нестеренко?

— Да отстань, помню.

— Убежал и начал опять в лесу жить. А потом вы, Алексей Степанович, взяли и сказали: черт с ним, давайте его возьмем. И еще тогда все смеялись.

И видно было, что тогда все смеялись, потому что и теперь по лицам заходили улыбки. А только нашелся голос и против Володькиной сентенции. Голос принадлежал бригадиру третьей, некрасивому, сумрачному Брацану:

— Много у нас воли дали таким, как Володька. Он трубач, с дежурством шляется целый день, так теперь уже и речи стал говорить на совете бригадиров. По-твоему, всех принимать? Ты знаешь, какая у нас колония?

— Знаю... Правонарушительская?

— Такая она и есть.

— И вовсе ничего подобного.

Виктор прекратил прения:

— Довольно вам!

Но Воленко считал, что вопрос поднят важный:

— Нет, Виктор, почему довольно? Брацану нужно ответить.

— Ты ответишь?

— Надо ответить. Брацан давно загибает.

— Чего загибаю?

— Загибаешь!

— Говори, Воленко.

— И скажу. Ты, Брацан, так считаешь: правонарушитель — человек, а все остальные — шпана. Я не знаю, кто ты такой, правонарушитель или нет, и знать не хочу. Я знаю, что ты хороший товарищ и комсомолец. Ты что? Гордишься, что под судом не был? В твоей бригаде Голотовский

не был под судом, а я Голотовскому все равно не верю. И вы ему не верите: скоро год как в третьей бригаде, а до сих пор не колоиист.

Воленко кончил речь, но, видно, Брацана не убедил. Брацан, попрежнему сердитый, сидел на своем месте.

— Слово Алексею Степановичу.

— Ты, Филипп, нехорошо сделал, напрасно этот вопрос зацепил. Правонарушители — это дети, которым прежде всех нужна помощь. Советская власть так на них и смотрит. И правонарушителям этим гордиться нечем, разве можно гордиться несчастьем! И вот пришел мальчик. У него тоже несчастье, и ему тоже нужно помочь.

— А почему нашу колонию приспособили?

— Потому что вы в колонии прекрасно работаете и прекрасно живете. Теперь в споне кричат: «Это наша колония!» и в комонесе кричат: «Это наша колония!» А если бы наша колония была плохая, так кричали бы другое: «Это ваша колония!» А на самом деле эта колония...

Петька Кравчук, стоявший возле дверей, закричал:

— Наша!!

Покрывая общий смех, Виктор возмутился:

— Ну, что ты скажешь! Он опять здесь! Вопрос выяснен. Голосую: кто за то, чтобы принять Ваню Гальченко в четвертую бригаду?

Душа у Вани Гальченко замерла, когда поднялись руки. Только одним глазом покосился он на Брацана и поразился: Брацан улыбался ему, и лицо у него было красивое и вовсе не сумрачное.

— Единогласно. Алешка, бери его. Стойте, чего загалдели? С Черняевым, значит, остается по-старому — сборный цех. А кроме того, он слово дал. Закрываю совет бригадиров.

Вечером в спальне четвертой бригады было весело. Алеша Зырянский поставил Ваню между коленями, расспрашивал, шутил, пугал. Потом все уселись за стол и выслушали рассказ Алеши о том, какая славная, непобедимая, боевая существует на свете четвертая бригада трудовой колонии имени Первого Мая и какие в ней замечательные пацаны! Этот самый Алеша Зырянский, которого боялась все колония, в дежурство которого все вставали на полчаса раньше, чтобы лучше приготовиться к проверке, сейчас сверкал глазами, с трудом сдерживая улыбку и откровенно рассыпал восторженные слова о четвертой бригаде.

— Не бригада, а просто пирожное! А пацаны у нас какие, Ванька! Ой, и пацаны ж, не знаю даже кто лучше, даром что у нас самые малые собрались. На кого ни посмотри: вот тебе Тоська Таликов, ты на него только глянь — вот будет бригадир, да у него уже и сейчас сестра бригадиром одиннадцатой. А Бегунок! А Филька Шарий! А Кирюшка Новак! А Федька и Колька Ивановы! И Семен Гайдовский, и Семен Гладун! И еще Петька Кравчук!

На Ваню смотрели разные лица — то смуглые, то румяные, то красивые, то не очень красивые, то открыто доверчивые, то доверчивые с иронией, то веселые, то забавно-серьезные, то нахмуренные просто, то нахмуренные через силу, но все одинаково счастливые, гордые своей бригадой и бригадиром, довольные, что живут они на советском свете с честью и умеют за эту честь постоять. Потом Алеша сказал, что он будет перечислять недостатки. Алеша заявил, что он скажет только по одному не-

достатку на каждого, но зато этот недостаток очень важный. И сказал, что Володька важничает. Петька Кравчук задается, он там где-то был дезорганизатором, Кирюшка думает, что он самый красивый, Гайдовский думает... одним словом, недостатки у всех были одииаковые: все воображали, думали и задавались. Алеша закончил:

— Никогда не иужно себя хвалить, потому что это очень глупо и для четвертой бригады не подходит. Лучше я вас похвалю, когда придется к слову. Дежурный по бригаде!

Володя выскочил из-за стола и вытяиулся перед бригадиром:

— Есть дежурный по бригаде!

— Барахло Ванюшино!

— Есть Ванькино барахло!

Володя торжественно поднес:

— Получи, Гальчеико! Вот трусики, голошейка, тюбетейка. А это мыло. А это пояс. А это простыни, а это полотенце. А школьный костюм завтра. Идем! Там душ горячий. А кто будет Ванькиным шефом?

— Ты и будешь шефом.

— Есть! Алеша, дай машинку, мы его сейчас...— Володя показал пальцами.

В дверь заглянул Игорь Чериявин:

— К вам в гости можно?

— Можио.

— Хоть ты меня и собирался выгнать, а я на тебя не обижаюсь.

— У нас нет такой моды — обижаться.

Ваия воззрился на Игоря:

— Выгнать? За что?

— Он большой барин. А может, наследство от кого получил.

Ваня захохотал:

— От бабушки? Да?

Игорь поднял Ваню на руках:

— Смотри, Ваия! А скажи, где твой ящик?

Он поставил его иа пол.

— А тот украл... Рыжиков. И десять рублей.

— А Ванда?

— Не знаю.

Володя нетерпеливо дернул Ваню за рукав:

— Идем!

Мальчики побежали по коридору. Зырянский улыбиулся Игорю:

— Не обижайся, Игорь. Это называется: горячая обработка металлов!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!

Колония имени Первого Мая заканчивала седьмой год своего существования, но коллектив, собравшийся в ней, был гораздо старше. Его история началась довольно давно, на второй день после Октября, в другом месте, в совершенно ином антураже, среди полей и хуторов старой полтавской степи. «Основателями» этого коллектива были люди ярких характеров и рискованной удачи. Они принесли с собой «с воли» много беспорядочной страсти и горячего фасона, все это было у них черномазое, собственно говоря — негодное к употреблению, ибо было испорчено орнаментами культуры, так сказать, капиталистической, с маленьким креном в уголовщину.

Небольшая группа педагогов, людей обыкновенных и добродушных, по случайной раскладке заняла этот скромный участок революционного фронта. Во главе группы был Захаров, человек тоже обыкновенный. Необыкновенным и ошеломляющим в этом зачине было одно: Октябрьская революция и новые горизонты мира. И поэтому Захарову и его друзьям задача казалась ясной: воспитать нового человека! В первые же дни выяснилось, что дело это очень трудное и длинное. Тысячи дней и ночей — без передышки, без успокоения, без радости — пришлось пережить Захарову, но и после этого до нового человека оставалось еще очень далеко. К счастью, Захаров обладал талантом, довольно распространенным на восточной равнине Европы,— талантом оптимизма, прекрасного порыва в будущее. В сущности, это даже и не талант. Это особое, чисто интеллектуальное богатство русского человека, человека с здоровой башкой и зорким глазом, умеющего различать ценности. До Октябрьской революции этим богатством души и веры спекулировали хозяева жизни, обращая веру в доверчивость, а оптимизм в беззаботность, расценивая эти качества как особые атрибуты замечательного «русского прекраснодушия». И народная вера и разум, в цену ценностей. В истину и правду, в общем, была выведена за границы практической жизни, в область легенд, сказаний и анекдотов, приноровленных для развлечения. Оптимистической силе русского народа потом приделали тульской работы ярлычок и написали на нем с самоуничтожительным юмором: «Авось, небось и как-нибудь». И осталось для оптимизма прилично нищенское место, над которым можно было и посмеяться с европейским высокомерием и поплакать с русской тоской.

В порядке не то высокомерия, не то тоски поставили на этом самом месте беломраморный дворянский памятник и написали на нем вдохновенные слова поэта:

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя [16].

Это и все, что осталось от великолепного русского оптимизма к началу двадцатого века: наивность и умиление. Ибо только безгранично наивный человек не мог понять, что светит в смеренной наготе. Люди более практические ухмылялись в бороды: русский человек ограблен был весьма успешно, а по оптимизму своему даже и не обижался. И только в 1917 году неожиданно обнаружилось, что народный оптимизм есть нечто более сильное и гораздо менее безобидное. Без всякого расчета на «авось» и «как-нибудь», чрезвычайно основательно, с настоящей деловитостью русский народ выгнал старомодных эстетов «за Черное море», и очистилось место для новой эстетики и для нового оптимизма. Вероятно, в Западной Европе и до сих пор еще не могут понять: откуда у нас взялись простота и уверенность действия? Советский человек показал себя не только в пафосе загоревшихся глаз, не только в усилии волевого взрыва, но и в терпеливых, ежедневных напряжениях, в той черной, невидной работе, когда будущее начинает просвечивать в самых неуловимых и тонких явлениях, настолько нежных, что заметить их может только тот, кто стоит у их источника, кто не отходит от них ни помышлением, ни физически. После многих дней и ночей, после самых бедственных разочарований и срывов, отчаяния и слабости — наступает праздник: видны уже не мелочи и детали, а целые постройки, пролеты великолепного здания, до сих пор жившие только в оптимистической мечте. На таком празднике самое радостное заключается в логическом торжестве: оказывается, что иначе и быть не могло, что все предвидения рассчитаны были точно, основаны на знании, на ощущении действительных ценностей. И был вовсе не оптимизм, а реалистическая уверенность, а оптимизмом она называлась из застенчивости.

И Захаров прошел такой тяжелый путь — путь оптимиста. Новое рождалось в густом экстракте старого: старых бедствий, голода, зависти, озлобления, толкотни и тесноты человеческой и еще более опасных вещей — старой воли, старых привычек и старых образов счастья. Старого обнаружилось очень много, и оно не хотело умирать мирно, оно топорщилось, становилось на пути, наряжалось в новые одежды и новые слова, лезло под руки и под ноги, говорило речи и сочиняло законы воспитания. Старое умело даже писать статьи, в которых становилось на защиту «советской педагогики».

Было время, когда это старое в самых новых выражениях куражилось и издевались над работой Захарова и тут же требовало от него чудес и подвижничества [17]. Старое ставило перед ним сказочно глупые загадки,

формулируя их в научно-нежных словах, а когда он совсем не по-сказочному изнемогал, старое показывало на него пальцами и кричало:

— Он потерпел неудачу!

Но пока происходили все эти недоразумения, протекали годы, и было уже много нового, над чем хорошо стало задуматься. Со всех сторон, от всех событий в стране, от каждой печатной строки, от всего чудесного советского роста, от каждого живого советского человека приходили в колонию идеи, требования, нормы и измерители.

Да, все пришлось иначе назвать и определить, новой мерой измерить. Десятки и сотни мальчиков и девочек вовсе не были дикими звереньшами, не были они и биологическими индивидами. Захаров теперь знал их силы и поэтому мог без страха стоять перед ними с большим политическим требованием:

— Будьте настоящими людьми!

Они с молодым, благородным талантом принимали эти требования и хорошо знали, что в этом требовании больше уважения и доверия к ним, чем в любом «педагогическом подходе». Новая педагогика рождалась не в мучительных судорогах кабинетного ума, а в живых движениях людей, в традициях и реакциях реального коллектива, в новых формах дружбы и дисциплины. Эта педагогика рождалась на всей территории Союза, но не везде нашлись терпение и настойчивость, чтобы собрать ее первые плоды.

Старое цепко держалось на земле, и Захаров то и дело сбрасывал с себя отжившие предрассудки. Только недавно он сам освободился от самого главного «педагогического порока»: убеждения, что дети есть только объект воспитания [18]. Нет, дети — это живые жизни, и жизни прекрасные, и поэтому нужно относиться к ним как к товарищам и гражданам, нужно видеть и уважать их права и обязанности, право на радость и обязанность ответственности. И тогда Захаров предъявил к ним последнее требование: никаких срывов, ни одного дня разложения, ни одного момента растерянности! Они с улыбками встречали его строгий взгляд: в их расчеты тоже не входило разложение.

Наступили годы, когда Захарову уже не нужно было нервничать и с тревогой просыпаться по утрам. Коллектив жил напряженной трудовой жизнью, но в его жилах пульсировала новая, социалистическая кровь, имеющая способность убивать вредоносные бактерии старого в первые моменты их зарождения.

В колонии перестали бояться новеньких, и Захаров потушил в себе последние остатки уважения к эволюционной постепенности. Однажды летом он произвел опыт, в успехе которого не сомневался. В два дня он принял в колонию пятьдесят новых ребят. Собрали их прямо на вокзале, стащили с крыш вагонов, поймали между товарными составами. Сначала они протестовали и «выражались», но специально выделенный «штаб» из старых колонистов привел их в порядок и заставил спокойно ожидать событий. Это были классические фигуры в клифтах, все они казались брюнетами, и пахло от них всеми запахами «социальной запущенности». Ближайшее будущее представлялось им в тонах пессимистических, дело было летом, а летом они привыкли путешествовать — единственное качество, которое сближало их с английскими лордами. То, что произо-

шло дальше, Захаров называл «методом взрыва», а колонисты определяли проще: «Пой с нами, крошка!»

Колония встретила новеньких на вокзальной площади, окруженная тысячами зрителей, встретила блестящим парадом, строгими линиями развернутого строя, шелестом знамен и громом салюта «новым товарищам». Польщенные и застенчивые, придерживая руками беспомощные полы клифтов, новенькие заняли назначенное для них место между третьим и четвертым взводами.

Колония прошла через город. На привычном фоне первомайцев новенькие и на себя и на других производили сильное впечатление. На тротуарах роняли слезы женщины и корреспонденты газет.

Дома, после бани и стрижки, одетые в форменное платье, румяные, смущенные до глубин своей юной души и общим вниманием и увлекательной придирчивостью дисциплины, новенькие подверглись еще одному взрыву. На асфальтовой площадке, среди цветников, были сложены в большой куче их «костюмы для путешествий». Политое из бутылки керосином, «барахло» это горело буйным, дымным костром, а потом пришел Миша Гонтарь с веником и ведром и начисто смел жирный, мохнатый пепел, подмаргивая хитро ближайшему новенькому:

— Вся твоя биография сгорела!

Старые колонисты хохотали над Мишиным неповоротливым остроумием, а новенькие оглядывались виновато: было уже неловко.

После этой огневой церемонии [19] начались будни, в которых было все, что угодно, но почти не было пресловутой перековки: новенькие не затрудняли ни коллектив, ни Захарова.

Захаров понимал, что здоровая жизнь детского коллектива законно и необходимо вытекает из всей советской действительности. Но другим это не казалось таким же законным явлением. Захаров теперь мог утверждать, что воспитание нового человека — дело счастливое и посильное для педагогики. Кроме того, он утверждал, что «испорченный ребенок» — фетиш педагогов-неудачников. Вообще он теперь многое мог утверждать, и это больше всего раздражало любителей старого.

Старое — страшно живучая вещь. Старое пролезает во все щели нашей жизни и очень часто настолько осторожно, умненько выглядывает из этих щелей, что не всякий его заметит. Нет такого положения, к которому старое не сумело бы приспособиться. Казалось бы, что может быть священнее детской радости и детского роста? И все это утверждают, и все исповедуют, но...

Приезжает в колонию человек, ходит, смотрит, достает блокнот и еще не успел вопрос поставить, а глаза его уже увлажняются в предчувствии романтических переживаний.

— Ну... как?

— Что вам угодно?

— Как вы... вот... с ними... управляетесь?

— Ничего... управляемся.

— Э... э... расскажите какой-нибудь случай... такой, знаете, потруднее.

Захаров с тоской ищет портсигар:

— Да зачем вам?

— Очень важно, очень важно. Мы понимаем... перековка... конечно, они теперь исправились, но... воображаю, как вам трудно!

— Перековка...

— Да, да! Пожалуйста, какой-нибудь яркий случай. И если можно, снимок... Как жаль, что у вас нет... до перековки!

Захаров роется в памяти. Что-то такое очень давно действительно было... вроде перековки. Он смотрит на любопытного романтика и про себя соображает: как легче отделаться — доказывать ли посетителю, что никакой перековки не нужно, или просто соврать и рассказать какой-нибудь анекдот. Второе, собственно говоря, гораздо легче.

В подобных недоразумениях было для Захарова много трагического. А еще трагичнее вышло, когда приехали к нему приятели из Наркомпроса.

Они видели людей, машины, цветы, рассмотрели цифры и сводки. Вежливо щурились на предметы реальные и вежливо мычали над бумагой. Захаров видел по их лицам, что они просто ничему не поверили.

— Это беспризорные?

— Нет, это колонисты.

Володя Бегунок на диване неслышно хихикнул.

— А. . вот этот мальчик? Был беспризорный?

Володя встал, бросил на Захарова секретный, дружеский взгляд:

— Я колонист четвертой бригады.

— Но. . раньше, раньше ты был беспризорным?

Почему-то Володе стало неудержимо смешно, он быстро посмеялся в угол дивана. Отвечать все же нужно:

— Я.. забыл

— Как это забыл? Забыл, что ты был беспризорным?

— Угу...

— Не может быть!

— Честное слово!

Володя сказал это с искренней убедительностью, но им показалось, что мальчик над ними издевается, и это было вполне возможно, если принять во внимание, что здесь все в чем-то сговорились.

Приятели уехали расстроенные. Редко им приходилось встречать такой единодушный заговор. А разве в таком случае можно установить, где правда, а где очковтирательство. Во всяком случае у Захарова чересчур уж благополучно.

— Не может быть!

И если даже так, где же борьба? Где же самая педагогика? И где, наконец, беспризорные? Откуда он набрал этих детей?

У этих людей никогда не было оптимизма.

2. ВАНЯ

Только один месяц прошел после совета бригадиров, памятного для Вани на всю жизнь. Над колонией стоял июнь — жаркий, солнечный. Школьный костюм Вани лежал в тумбочке. Бригадир четвертой никому не разрешал надевать школьных костюмов

— Вам, пацанам, только и погулять теперь в трусиках, вроде как солнечная ванна...— говорил он.

И Ваня и другие члены четвертой бригады ходили в трусиках и голошейках, а в парадных случаях добавочно к трусикам наряжались в просторную, блестяще отглаженную «парусовку» [20] — одежду полноценную, с рукавами, воротником и карманом на груди. На ноги при этом надевались голубые носки и «спортсменки» [21], а на голову — золотая тюбетейка. В этом костюме пацаны имели вид великолепный.

Ваня быстро входил в колонистскую жизнь, все ему нравилось в ней и было ему по плечу. Он отказался от своего законного права погулять два дня и на второй день после приема пошел работать в литейный цех шишельником [22]. Литейный цех помещался в старом каменном сарае. В одном углу здесь стоял литейный барабан, в другом — работали шишельники. Литейный цех отливал из меди масленки. Ване нравилось, что они важно назывались «масленки Штрауфера». Нравилось Ване и то, что масленки Штрауфера были очень нужны для разных заводов: без них ни один станок не мог работать. Так по крайней мере утверждала вся четвертая бригада. Ваня нарочно выбегал смотреть, как полная подвода, нагруженная небольшими ящиками, отправлялась на вокзал. В ящиках лежали масленки, никелированные, совсем готовые, завернутые в бумагу.

Масленки были разных размеров, от двадцати до восьмидесяти миллиметров в диаметре, таких же размеров делались и шишки. С первого же дня Ваня стал входить в работу. Конечно, техника ему давалась не сразу. Бывало, что шишка развалится у него в руках, когда, проткнув ее песчаное тело тонкой проволокой, он укладывал шишки на фанерный лист, чтобы отправить их в сушилку. Но уже через неделю он научился деревянным молотком придавать шишке определенную плотность в форме, научился сообщать песку необходимую влажность, осторожно вынимать шишку из формы и протыкать проволокой, и если еще не умел делать ста шишек за четыре часа, то шестьдесят выходило у него свободно. Соломон Давидович платил ребятам по копейке за каждую шишку; Филька, Кирюшка и Петька говорили, что это очень мало.

Но не одни шишки владели Ваниной душой. Каждый день приносил что-либо новое. Перед каждым днем он останавливался, чуть-чуть задыхаясь от силы новых впечатлений, оглядывался на новых друзей и требовал от них разъяснений.

Например, оркестр. Все пацаны четвертой бригады преклонялись перед оркестром, многое о нем рассказывали, умели напевать «Марш милитэр» и марш из «Кармен», а «Смену караула» напевали на такие слова:

Папа римский вот, вот, вот
Собирается в поход.
Видно, шляпа этот папа —
Ожидаем третий год.

А после этого следовало тараканье, очень сложное и красивое. Но в настоящих тайнах оркестра разбирались немногие: Володя Бегунок, Петька Кравчук и Филька Шарий, потому что Володя играл на второй трубе, Петька — на пиколке, а Филька был самый высокий класс — первый корнет. Ване тоже захотелось играть на чем-нибудь, но приходилось

ожидать, пока он получит звание колониста: воспитанников в оркестр не принимали. А пока наступит этот счастливый момент, Ваня не пропускал ни одной сыгровки. Услышав сигнал «сбор оркестра», он первым приходил в тот класс, где оркестр обыкновенно собирался. В первые дни дежурные по оркестру старались его «выставить», но потом к нему привыкли, так уже и считали, что Ваня Гальченко — будущий музыкант. В оркестре Ване все нравилось: и блестящий белый хор инструментов — с серебром, как уверял Володя Бегунок,— целых тридцать штук, и восемь черных кларнетов, и хитрые завитки тромбонов, и пульты, и строгость полного веселого старика-дирижера Виктора Денисовича, его язвительные замечания.

— Ты был в цирке? — обращается Виктор Денисович к «эсному басу» Данилу Горовому, после очередного недоразумения с си-бемоль.

— Был,— отвечает Горовой и краснеет.

— Был? Видел — морской лев на трубе играет?

Данило Горовой, массивный, с могучей шеей, славный кузнец колонии, молча облизывает огромный мундштук своего баса. Виктор Денисович сердито смотрит на Горового; подняв лица от своих мундштуков, смотрят на Горового и все сорок музыкантов. Виктор Денисович продолжает:

— Так это же морской лев! Морской лев, а как играет!

Горовой подымает недовольный взгляд на дирижера. Известно всей колонии, что он не отличается остроумием, но не может он молчать сейчас, не может оставить без возражения обидного намека на морского льва. Морской лев — у него даже ног нету, а голова собачья. И Горовой с пренебрежением отводит глаза от дирижера и говорит тихо:

— Как он там играет!

После этого радостно заливаются смехом и музыканты, и Виктор Денисович, и Ваня Гальченко, и сам Данило Горовой. Чей-то голос прибавляет к смеху одинокую реплику:

— Морской лев си-бемоль тоже не возьмет, Виктор Денисович!

Но Виктор Денисович уже серьезен. Он холодно смотрит через головы оркестра, стучит тоненькой палочкой по пульту:

— Четвертый номер. Тромбоны, не кричите! Раз... два!

Ваня замирает рядом с малым барабаном, в его уши вливается прекрасная, сложная музыка. Но оркестр притягивает его не только музыкой. В колонии говорили, что оркестр, существуя пять лет, ни разу не отдувался на общем собрании. Старшиной оркестра ходил Жан Гриф, высокий, черноглазый юноша из девятой бригады. Ваня и смотреть на него остерегался, а не то что разговаривать... Если же смотрел, так только тогда, когда Жан выделывал какое-нибудь соло на своем коротеньком корнете и ничего, кроме нот и палочки дирижера, не видел.

Но и оркестр не поглощал целиком душу Вани Гальченко. Замирала его душа и на физкультурной площадке. С таким же почтением смотрел он на Перлова, у которого голова всегда победоносно забинтована: о нем гремит слава отчаянного форварда. Затаив дыхание, Ваня слушал рассказы о величественных матчах волейболистов. Славились и городошники. Их капитан Круксов говорил:

— В нашей команде «письмо»[23] выбивают с одного удара.

— Ну, это врешь, положим, «письмо» не выбьют.

— Выбиваем. Как «не выбьют»? А про «аэроплан» и говорить нечего. У наших пацанов хоть и не сильный удар, а зато как повернет, каждым концом зацепит.

А в коридоре главного здания висел еще и ребусник. Ваня подолгу останавливался перед ним, прочитывал сотни его потрясающих вопросов, картин, загадок, чертежей, труднейших математических формул. Нарисовано окно, в окно смотрит девочка, а внизу вопрос:

«Сколько этой девочке лет?»

Потом еще вопрос: «Где можно построить такую избу, чтобы все ее четыре стены смотрели на юг?» И тут же нарисована симпатичная избушка, а на ней флаг.

За спиной Вани стоит Семен Гайдовский; он человек серьезный:

— Это пятая серия, она теперь так висит — для красоты; уже решили и уже премии получили. А когда будет осень, Петр Васильевич повесит новую. Я в прошлую зиму четыре тысячи очков заработал на ребуснике.

Познакомился Ваня и с Петром Васильевичем, фамилия которого была странная: Маленький. А на самом деле он был страшно большой, самый высокий человек в колонии и худой-худой. У него были и ноги худые, и шея худая, и нос худой, а все-таки это был веселый, неутомимый человек. Самое же главное — он был какой-то «не такой», как говорили пацаны. Они рассказывали о нем много смешных историй, но в то же время стаями, обуреваемые сложнейшими планами, проектами и начинаниями, ходили за ним.

Видно, у Маленького был приметливый глаз. Уже на второй день он увидел Ваню, пробегавшего через двор, и закричал:

— Эй, пацан! Паца-ан!

Ваня задержался.

— А иди сюда!

— А чего?

У Маленького были такие длинные ноги, что он сделал только три шага и очутился возле Вани:

— Новенький?

С высоты, с неба, смотрело на Ваню носатое, худое лицо. Под носом что-то такое растет — не то усы, не то как будто нарочно, глаза ярко голубые, напористые.

— Новенький? Зовут как? Ваня Гальченко? Ты перемет умеешь делать?

— Перемет?

— Перемет — рыбу ловить? Не умеешь? А радиоприемник? Тоже не умеешь? А может, ты стихи пишешь? А что же ты умеешь делать?

Ваня был смущен многими вопросами, но ему захотелось не ударить лицом в грязь, и он сказал, подняв лицо и прищурив один глаз:

— А я сделал ящик.

— Какой ящик?

— Ботинки чистить...

— Сам делал?

— Сам.

— И чистил?

— Чистил.

— Щеткой намазывал?

— Ага, маленькой такой, а потом большой.

— А! Видишь? Значит, мы с тобой завернем.

— Кого?

— Не кого, а дело завернем. Гребной автомобиль! Ваня Гальченко? Кажется, ты человек деловой

И, больше не сказав ни слова, Маленький сделал в сторону несколько шагов и исчез между двумя зданиями. Через цветник он, кажется, просто перешагнул.

Это было интересно. Гребной автомобиль! Ваня расспросил всю четвертую бригаду, но никто не знал, что такое гребной автомобиль. Слух о том, что Петр Васильевич Маленький собирается с Ваней делать гребной автомобиль, сильно взбудоражил четвертую бригаду. Оказалось, что у колонистов четвертой бригады были свои планы на Маленького: с тем в воскресенье он идет рыбу ловить в каком-то таинственном озере в десяти километрах, с другими затевает сложную игру, с третьими отвоевал у совета бригадиров комнату и в ней устраивает что-то.

— А кто он такой? — спросил Ваня.

— Петр Васильевич? А... он... он — никто.

— Почему никто?

— Он считается учитель, так это он учит по черчению в старших группах, а так он никто, просто себе...

Через неделю Ваня встретил Маленького в лесу. Он ходил между деревьями, заглядывал на их вершины, но Ваню сразу узнал:

— Ага! Ваня! Гребной автомобиль — замечательная вещь. Мы с тобой завтра сядем и поговорим.

Но завтра Петр Васильевич заболел, и говорили, что он заболел туберкулезом Известие об этом с большой печалью повторялось в четвертой бригаде И не столько таинственный гребной автомобиль, сколько сам Петр Васильевич запомнился Ване: такой большой, быстрый и занимательный и так печально заболевший туберкулезом, тоже таинственной и, кажется, смертельной болезнью...

Но, по совести говоря, больше всего нравилась Ване сама жизнь в четвертой бригаде. Было здесь по-дружески тепло, интересны были все ребята, и в такой строгости держал всех Алеша Зырянский Каждый день хотелось Ване поскорее закончить работу и вернуться в чистую, уютную спальню, слушать, говорить, смеяться, жить... Хотелось, чтобы Алеша что-нибудь приказал, даже самое трудное,— и чтоб салютнуть и сказать ему:

— Есть!

3. СТАРЫЕ И НОВЫЕ СЧЕТЫ

Игорь Чернявин каждый день работал — зачищал проножки. Руки его были покрыты ссадинами и царапинами, и рашпиль по-прежнему вызывал отвращение. Игорь не скрывал своего отрицательного отношения к работе над проножками, но считал себя обязанным ее выполнять, потому что дал слово в совете бригадиров. Однако он скрывал свой паниче-

ский страх перед пчелами и мухами и с осторожным вниманием поглядывал на них, когда они прилетали к его верстаку. К счастью, цех был переведен в помещение стадиона. Как ни плохо шла работа над проножками, Игорь к концу четырехчасового рабочего дня [24] сдавал Штевелю тридцать проножек, а за это количество полагалось в день заработка девяносто копеек. Штевель утверждал, что такой молодой человек, как Игорь, должен сдавать в день, по крайней мере, сотню проножек.

Работа в цехе отнимала всего четыре часа после обеда. Все остальное время проходило гораздо симпатичнее. Утром Игорь шел в школу, а там в одном из классов Николай Иванович полчаса или час занимался с ним. Николай Иванович был по-прежнему всегда чисто одет, чрезвычайно вежлив и прост. За это время Игорь познакомился и с другими учителями и учительницами и заметил, что все они отличаются такой же безукоризненной вежливостью и так же чисто одеваются. Вообще учителя здесь были какие-то «не такие», да и от всей школы, помещавшейся в отдельном здании, исходил приятный запах: в школе было солидно, чисто, приветливо и даже несколько торжественно.

Понравилась Игорю и библиотека. Она помещалась рядом с тихим клубом. Книг в ней было много, книги все были переплетены, стояли в порядке на полках до самого потолка, а у широких дверей с перекинутой поперек полочкой всегда собиралась очередь читателей. Библиотекой заведовала древняя старушка Евгения Федоровна, но копошились с книгами, выдавали, принимали, записывали, чертили, рисовали и мазали рекомендательные списки три колониста, и между ними главную роль играла Шура Мятникова, тонкая, очень стройная девушка. У нее смуглое лицо и большой рот.

— Прочитал? Или картинки посмотрел? — спрашивала она, и при этом в лице ее была шутливая и серьезная, очень живая игра...

Игорь всегда любил читать. Бродячая жизнь отвлекла его от книг, а сейчас он с новой жадностью набросился на чтение. Проснувшись утром, приятно было вспомнить, что в тумбочке лежит книга. Вечером Нестеренко не позволял долго читать и тушил свет в одиннадцать часов. Игорь приспособился просыпаться раньше сигнала «вставать» и часок почитать в постели.

Именно с этого утреннего чтения начался день, который потом до самого вечера был наполнен выдающимися происшествиями.

Еще с вечера Нестеренко сказал Игорю:

— Завтра ты дежуришь по бригаде.

Дежурный по бригаде должен был вставать в шестом часу, чтобы к поверке успеть закончить уборку. Игорь проснулся рано, но, вспомнив о «Таинственном острове», который лежал в его тумбочке, не вспомнил о дежурстве. Когда прозвенел сигнал и поднялась вся бригада, Нестеренко только ахнул:

— Что же ты со мной делаешь?

Игорь бросился к тряпкам и щеткам, но было уже поздно. Поверка застала спальню в беспорядке и Чернявина в разгаре работы. Не повезло еще и в том отношении, что поверку принимал сам Захаров. Он строго нахмурился, холодно рассматривал спальню, холодно сказал: «Здравствуйте, товарищи», небрежно выслушал рапорт и спросил:

— Кто дежурит?

Игорь улыбнулся смущенно:

— Я.

— Получи один наряд.

Игорь так же смущенно улыбнулся и услышал шипенье Нестеренко:

— Да отвечай же как следует! Что это такое?

Игорь обрадовался выходу из мучительного положения, вытянулся:

— Есть один наряд, товарищ заведующий!

После поверки Нестеренко долго еще читал Игорю нотацию, по-старушечьи детально разбирал недостатки его характера и барского воспитания:

— Даже книга, даже книга, святая вещь, и та тебя с толку сбивает, а если же ты повстречаешься с какой сволочью, что тогда будет!

Но другие товарищи не сильно осуждали. Санчо Зорин даже одобрил:

— Это хорошо, Нестеренко, чего ты испугался? Боевое крещение! Ты посуди: какой же из него будет человек, если он ни одного наряда не получит?

И Нестеренко не выдержал, улыбнулся:

— Это, конечно, верно, а только в бригаде неприятность.

В тот же день дежурил по бригаде Ваня Гальченко. У него дело прошло гораздо благополучнее и даже со славой. Все еще спали, а Ваня стоял на подоконнике и мыл стекла, тихонько насвистывая. За окном распускалось утро, внизу, в цветнике, возились с поливкой, горели на солнце окна в здании школы. Володя Бегунок давно захватил свою трубу и пошел будить дежурного бригадира Илюшу Руднева из десятой бригады. Скоро во дворе он заиграл сигнал побудки.

Продолжая работать, Ваня лукаво посмотрел на спящих товарищей. Отвечая сигналу, Филька о чем-то заговорил во сне. У окна зашуршали шаги. Снизу, из сада, Володя спросил тихо:

— Спят?

Ваня кивнул.

Через минуту тихонько приоткрылась дверь, в щель продвинулся раструб трубы. Сигнал раздался страшно громко. Алеша Зырянский мгновенно вскочил с постели, но Володи уже не было.

— Вот чертенок! Ну, я его поймаю! Ваня! Какой же ты молодец, даже окна помыл.

Ваня, краснея, выслушивает похвалу бригадира и еще сильнее натирает стекло. В двери снова просовывается серебряный раструб. Зырянский вспыхивает и крадется к двери, но дверь распахивается. Володя налетает на Алешу, вскакивает верхом на его живот, обнимает его руками, ногами и трубой и орет.

— Ребята! Бей бригадира!

С постелей вскакивают Филька, Петька, оба Семена, и подымается общая возня. Стоя на подоконнике, Ваня громко смеется. В дверь заглядывает невысокий, собранный, хорошенький мальчик — дежурный бригадир Руднев, улыбается и спрашивает:

— Встаете?

После завтрака Игорь увидел Ваню:

— Ванюша, как дела?

— О! Здорово, понимаешь! Сегодня будет благодарность в приказе!
— Да ну! За что?
— А за дежурство по бригаде.
— За дежурство? Ох ты, черт! И я получил.
— Благодарность?
— Нет, один наряд. Говорят, хорошего колониста не бывает без наряда.
— А кто это говорит?
— А это мой шеф говорит, Санчо Зорин.
— Это у тебя такой шеф? Вот у меня шеф — так шеф,— Володька!
Лето — школа не работает, и в парке народу много. Кто идет к пруду, кто к гимнастическому городку, а кто на скамьях расположился поуютнее и читает книжку. Игорь с книжкой — причиной утреннего скандала — направился в самый далекий и тенистый уголок. На запущенной дорожке он третий раз в жизни встретил «чудесную» девушку с карими глазами. Она очень спешила, идя ему навстречу, быстро перебирала загоревшими ногами, волосы у нее были еще мокрые после купанья. Девушка подняла на Игоря глаза, такие, как и раньше, прекрасные, с золотисто-синим блеском, но не смутилась, что-то вспомнила, задорно улыбнулась.
Игорь стал на ее дороге. Она отступила назад и руку подняла к лицу.
— Не бойтесь, мисс, не бойтесь. Скажите только ваше имя.
— А на что вам?
— Я хочу с вами познакомиться, а меня зовут Игорь.
— Ну, так что?
— Ничего, конечно, особенного. Просто — Игорь.
Девушка попыталась обойти его сбоку. Юбчонка на ней была поношенная.
— Скажите ваше имя, миледи, я же больше ни о чем не прошу.
Девушка остановилась, поднесла кулачок к губам:
— Вы... мух боитесь.
Игорь вдруг вспомнил, при каких бедственных обстоятельствах он встретил эту девушку в последний раз, и покраснел. Она заметила его смущение, опустила руку, двинулась вперед. Игорь уступил ей дорогу. Она быстро оглянулась на него, сверкнула зубами:
— А меня зовут Оксана!
Игорь всплеснул руками:
— Боже мой, какое имя! Оксана!
Но девушка была уже далеко, только ноги ее светло и быстро мелькали на запущенной дорожке.
— Чего ты? — окликнули Игоря сзади.
Игорь оглянулся. Это был Всеволод Середин. Сын старого инженера, он и в колонии старался не терять «интеллигентности» — по-пижонски крепко сжимал склонные к улыбке губы, как-то особенно высоко задирал голову.
— Ты не знаешь, что это за девчонка? Она ведь не колонистка!
Середин ответил с небольшим возмущением:
— Какая там колонистка! Прислуга!
— Не может быть?!
— Почему не может быть?

— Прислуга?

— Ну да, прислуга. Здесь за прудом дача... дом просто. Она там прислуга.

— А кто же там хозяин?

— Там не хозяин, а черт его знает... адвокат какой-то.

— А ты откуда знаешь?

— Ты спроси у Гонтаря Он в эту девчонку влюблен.

— Влюблен? Да ну?

— Еще как влюблен! Он для нее и прическу сделал. Он тебе ребра поломает.

Игорь тронул Середина за рукав:

— Сэр! Дело не в ребрах. Дело, понимаешь... если он адвокат, так почему она так одевается?

— Я не знаю. Гонтарь думает, что он ее для огорода держит. Свои овощи, понимаешь, только не сам работает, а занимается эксплуатацией.— Оксана работает Батрачка. А ей только пятнадцать лет. Сволочь!

Середин смотрел на Игоря умным, спокойным взглядом, и слово «сволочь» особенно сочно звучало в его культурном выговоре.

Они направились к главному зданию. Игорю хотелось еще расспросить Середина об Оксане. Дежурный бригадир Руднев стоял на крыльце с блокнотом в руках. Увидев Игоря, он сказал:

— Чернявин! У тебя есть один наряд. Вот эту дорожку нужно подмести и посыпать песком. Работы здесь на полчаса, а у тебя как раз один наряд. Сдашь мне к обеду.

Игорь не забыл стать смирно.

— Есть выполнить один наряд, сдать к обеду.

Но забыл спросить, чем нужно подметать и где взять песок. Руднев ушел. Игорь осмотрелся. И Середина уже не было возле него.

Через полчаса Игорь работал на дорожке. В руках у него были три гибких прутика, и как он ни царапал ими дорожку, они не в силах были зацепить мелкий сор. Проходивший мимо Нестеренко остановился:

— Это наряд?

— Да.

Откуда-то взялся Ваня Гальченко. Нестеренко пренебрежительно надул полные щеки:

— Так... кто же это .. прутиком?

— А чем?

— Что ты за человек? Веник сделай!

Нестеренко еще с секунду молча смотрел на Игоря, неодобрительно пожал плечами, ушел. Игорь оглянулся на Ваню, покраснел, Ваня убежал

Игорь задумался. Еще царапнул два раза. Собственно говоря, против наряда он ничего не имел, но дайте же орудия производства! На дорожке были мелкие веточки, два-три старых окурка, лепестки цветов. Вся эта мелочь никак не хотела поддаваться прутику. Игорь еще раз беспомощно оглянулся и увидел Ваню. Ваня бежал к нему вприпрыжку, и в руках у него был великолепный веник.

— Ваня! Вот спасибо! Где ты такой веник достал?

— А нарвал. Сколько хочешь!

— Давай я буду сам.

— Ты подметай, а я пойду песку принесу.

Через двадцать минут Игорь и Ваня заканчивали работу, посыпая дорожку из одного ведра. Захаров вышел из-за угла здания:

— Гальченко, помогаешь?

— Это так... немножко... Он все сам...

— Ты — хороший товарищ!

Ваня поднял голову, но Захаров уже ушел. У него была тонкая талия и хорошие, блестящие сапоги.

— Новенького ведут,— сказал Игорь.

Ваня посмотрел вдаль по шоссе. Действительно, было видно, что один из идущих — милиционер.

— Меня тоже с милиционером. А нехорошо с милиционером.

Ваня не ответил, деловым взглядом осмотрел работу.

— Надо здесь досыпать, а то получилась лысина.

— А куда мы песок денем? Остаток?

— Давай на этой дорожке приберем. Она маленькая.

Игорь не возразил. Они в десять минут убрали небольшую поперечную дорожку. Игорь взял ведро и направился к главному входу, где как раз дежурный бригадир Руднев расписывался в книге милиционера. Пока друзья подошли к ним, милиционер уже козырнул и направился в город.

— Товарищ дежурный бригадир, наряд выполнил.

— Сейчас посмотрю, вот только этого сдам Торскому.

Игорь посмотрел на новенького и остолбенел: перед ним стоял Гришка Рыжиков. Ваня Гальченко, глядя на Рыжикова, давно уже задохнулся в удивлении и даже рот открыл. Рыжиков развязно улыбался, но заговорить не решался. Заговорил Игорь:

— Этого гада в колонию? Я его сейчас с лица земли сотру!

Руднев протянул руку, чтобы остановить, но Игорь уже схватил Рыжикова за воротник.

— Ограбить такого пацана!

— Да пусти,— захрипел Рыжиков, цепляясь своими грязными пальцами за пальцы Игоря.

Игорь уже занес кулак другой руки над головой Рыжикова, но в этот момент Руднев с силой схватил Игоря за пояс и повернул к себе:

— Товарищ Чернявин! К порядку!

Игорь не мог не оглянуться на этот крик, а, оглянувшись, увидел сразу и белый воротник, и золотисто-серебряный вензель, и яркий шелк повязки. Он выпустил Рыжикова и стал «смирно». Руднев посмотрел на Рыжикова, как показалось Игорю, с гадливостью, но Игорю сказал сурово, негромко и властно:

— В колонии нельзя сводить старые счеты, товарищ Чернявин!

И в тоне этого мальчика, в его сведенных насильно бровях, в ясном взгляде, в том уважении, с которым было сказано слово «товарищ», Игорь почувствовал нечто совершенно непреодолимое. Он поднял руку:

— Есть не сводить старые счеты, товарищ дежурный бригадир!

Руднев уже уводил Рыжикова в дом. Игорь никак не мог прийти в себя, но о Рыжикове уже забыл: он только сейчас почувствовал, как это

удивительно, что он мог с такой готовностью подчиниться маленькому Рудневу. .

Ваня вышел из оцепенения и трепыхнулся рядом с ним...

4. ДРУЖБА НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Ваня заметил Володю Бегунка на другом конце двора и побежал рассказать ему о своем несчастье. Прибытие Рыжикова как будто закрыло солнце, светившее над колонией. Мрачные тени легли теперь на все эти здания, и на лес, и на пруд, и даже на четвертую бригаду. Рыжиков в колонии — это было оскорбительно!

Володя нахмурил брови, напружинил глаза, расставив босые ноги, терпеливо выслушал взволнованный Ванин рассказ:

— Так это тот самый, который тебя обокрал? Так чего ты сдрейфил?

— Так он же теперь в колонии! Он теперь все покрадет!

— Ха! — Володя показал на Ваню пальцем.— Испугался! Обкрадет! Думаешь, так легко обокрасть? Пускай попробует! А ты думаешь, тут мало таких было? Ого! Сюда таких приводили — прямо страшно.

— А где они?

— Как где? Они здесь, только они теперь уже не такие, а совсем другие

Они пошли в парк. Ни они, ни Игорь Чернявин не видели, как к главному зданию подкатил легковой автомобиль. Из него вышли две женщины и с ними — Ванда Стадницкая. Дежурный бригадир Илюша Руднев, выбежавший к ним навстречу, бросил быстрый взгляд на Ванду и увидел, какая она красивая. Сейчас у Ванды волосы совсем белокурые, чистые, они даже блестят, а на волосах — синий берет. И на ногах не хлюпающие калоши, а чулки и черные туфли. И лицо у Ванды сейчас оживленное, она оглядывается на своих спутниц Официальный блеск дежурного бригадира Ванда встречает дружеской улыбкой.

К сожалению, в настоящий момент Руднев не может ответить ей такой же улыбкой Он поднимает руку и спрашивает с приветливой, но настороженной вежливостью:

— Я дежурный бригадир колонии Скажите, что вам нужно

Полная, с ямочками на щеках, с пушистыми черными бровями, видно, веселая и добрая женщина, так засмотрелась на хорошенького Руднева, что не сразу даже ответила. Засмеялась.

— Ага, это вы такой дежурный. А нам начальника нужно.

— Заведующего?

— Ну, пускай заведующего.

— По какому делу?

— Ну, что ты скажешь,— она обернулась к другой женщине, такой же полной, но солидно, немного даже строго настроенной: — Значит, обязательно вам сказать?

— Да.

— Хорошо Мы привезли к вам девушку... вот .. Ванду Стадницкую. А сами мы из партийного комитета завода имени Коминтерна. И письмо у нас есть

Руднев показал дорогу.

— Пожалуйте.

Часовой у дверей, тоненький белокурый Семен Касаткин, чуть заметным движением глаз спросил Руднева и получил такой же еле ощутимый ответ.

Руднев открыл дверь в комнату совета бригадиров, но отступил, пропуская выходящих. Ванда подняла глаза, вдруг побледнела, слабо вскрикнула, повалилась на окно:

— Ой!

Рыжиков, нахально улыбаясь, прошел мимо. Руднев сказал ему:

— Подожди здесь, я сейчас. Пожалуйте. Витя, это к Алексею Степановичу.

Все обернулись к Ванде, предлагая ей пройти, но Ванда сказала, опустив голову:

— Я никуда не пойду.

Рыжиков стоял на отлете, руки держал в карманах, смотрел с необъяснимой насмешкой. Виктор опытным глазом оценил положение.

— Руднев, забирай его!

Руднев, ухватив за рукав, повернул Рыжикова лицом к выходу. Витя пригласил:

— Заходите.

— Никуда я не пойду.— Ванда еще ниже опустила голову, а когда Рыжиков скрылся в вестибюле, она с опозданием бросила ему вдогонку ненавидящий взгляд, потом отвернулась к открытому окну и заплакала.

Женщины растерянно переглянулись. Витя мягко подтолкнул их в комнату:

— Посидите здесь, а я с ней поговорю.

Женщины послушно вышли. Витя закрыл за ними дверь, потом осторожно взял Ванду за плечи, заглянул в лицо:

— Ты этого рыжего испугалась? Ты его знаешь?

Ванда не ответила, но плакать перестала. Платка у нее не было, она размазывала слезы рукой.

— Чудачка ты! Таких хлюстов бояться — жить на свете нельзя.

Ванда сказала в угол оконной рамы:

— Я его не боюсь, а здесь все равно не останусь.

— Хорошо. Не оставайся. Машина ваша стоит. А только можно ведь зайти в комнату?

— Куда зайти?

— Да вот к нам.

Ванда помолчала, вздохнула и молча направилась к двери. В комнате совета бригадиров она хотела задержаться, но Витя прямо провел ее в кабинет к Захарову.

Алексей Степанович удивленно посмотрел на Ванду, Ванда отступила назад, вскрикнула:

— Куда вы меня ведете?

— Поговорите там, Алексей Степанович, женщины .. две...

Захаров быстро вышел, Ванда испуганно глянула ему вслед, упала на широкий диван и на этот раз заплакала с разговорами:

— Куда вы меня привели? Все равно не останусь. Я не хочу здесь жить!

Она два раза бросалась к двери, но Витя молча стоял на дороге, она не решилась его толкнуть. Потом она тихо плакала на диване. Витя видел в окно, как ушел в город автомобиль, и только тогда сказал:

— Ты зря плачешь, теперь все будет хорошо.

Она притихла, начала вытирать слезы, но вошел Захаров, и она снова зарыдала. Потом вскочила с дивана, сдернула с себя берет, швырнула его в угол и закричала:

— Советская власть! Где Советская власть?

Стоя за письменным столом, Захаров сказал:

— Я — Советская власть.

И Ванда закричала, некрасиво вытягивая шею:

— Ты? Ты — Советская власть? Так возьми и зарежь меня! Возьми нож и зарежь, я все равно жить больше не буду.

Захаров не спеша, основательно уселся за столом, разложил перед собой принесенную бумажку, произнес так, как будто продолжал большой разговор:

— Эх, Ванда, мастера мы пустые слова говорить! И у меня вот... такое бывает. А покажи, какая у тебя беретка. Подними и дай сюда.

Ванда посмотрела на него тупо, села на диван, отвернулась. Витя поднял берет, подал его Захарову.

— Хорошая беретка... Цвет хороший. А наши искали, искали и не нашли. Интересно, сколько она стоит?

— Четыре рубля,— сказала Ванда угрюмо.

— Четыре рубля? Недорого. Очень хорошенькая беретка.

Захаров, впрочем, не слишком увлекался беретом. Он говорил скучновато, не скрывал, что берет его заинтересовал мимоходом. Потом кивнул, Витя вышел. Ванда направила убитый взгляд куда-то в угол между столом и стеной. Поглаживая на руке берет, Захаров подошел к ней, сел на диван. Она отвернулась.

— Видишь, Ванда, умереть,— это всегда можно, это в наших руках. А только нужно быть вежливой. Чего же ты от меня отворачиваешься? Я тебе зла никакого не сделал, ты меня не знаешь. А может быть, я очень хороший человек. Другие говорят, что я хороший человек.

Ванда с трудом навела на него косящий глаз, угол рта презрительно провалился:

— Сами себя хвалите...

— Да что ж делать? Я и тебе советую. Иногда очень полезно самому себя похвалить. Хотя я тебе должен сказать: меня и другие одобряют.

Ванда, наконец, улыбнулась попроще:

— Ну, так что?

— Да что? Я тебе предлагаю дружбу.

— Не хочу и никаких друзей! Я уже навидалась друзей, ну их!

— Какие там у тебя друзья! Я уже знаю. Я тебе предлагаю серьезно: большая дружба и на всю жизнь. На всю жизнь, ты понимаешь, что это значит?

Ванда пристально на него посмотрела:

— Понимаю.

— Где твои родители?
— Они... уехали... в Польшу. Они — поляки.
— А ты?
— Я потерялась... на станции, еще малая была.
— Значит, у тебя нет родителей?
— Нет.
— Ну, так вот... [redacted] тебе могу быть... вместо отца. И [redacted] тебя не потеряю, будь покойна. Только имей [redacted] виду: я такой друг, что если нужно, так [redacted] выругаю. Человек я очень строгий. Такой строгий, иногда даже самому страшно. Ты не боишься? Смотреть [redacted] на тебя не буду, что ты красивая.

У Ванды вдруг покраснели глаза, она снова отвернулась, сказала очень тихо:

— Красивая! Вы еще не знаете, какая

— Голубчик мой, во-первых, [redacted] все знаю, [redacted] во-вторых, [redacted] знать нечего. Чепуха там разная.

— Это вы нарочно так говорите, чтобы я осталась в колонии?

— А как же... Конечно, нарочно. Я не люблю говорить нечаянно, всегда нарочно говорю. И верно: хочу, чтобы ты осталась [redacted] колонии. Очень хочу. Прямо... ты себе представить не можешь.

Она подняла к нему внимательные, недоверчивые глаза, а он смотрел на нее сверху, и было видно, что он и в самом деле хочет, чтобы она осталась [redacted] колонии. Она показала рукой на диван рядом с собой.

— Вот садитесь, я вам что-то скажу.

Он молча сел.

— Знаете что?

— Возьми свою беретку.

— Знаете что?

— Ну?

— Я сама очень хотела [redacted] колонию. А меня тут... один знает... Он все расскажет.

Захаров положил руку на ее простоволосую голову, чуть-чуть провел рукой по волосам:

— Понимаю. Это, знаешь, пустяк. Пускай рассказывает.

Ванда со стоном вскрикнула:

— Нет!

Посмотрела на него с надеждой. Он улыбнулся, встряхнул головой:

— Ни за что не расскажет.

[redacted] кабинет ворвался Володя Бегунок, остолбенел перед ними, удивленно смутился:

— Алексей Степанович, Руднев спрашивает, не нужно ему новенькую девочку... принимать?

— Не нужно, Клава примет. Пожалуйста: одна нога здесь, другая там, позови Клаву.

— Есть!

Володя выбежал из кабинета, [redacted] Ванда прилегла на боковинку дивана [redacted] беззвучно заплакала. Захаров ей не мешал, походил по комнате, посмотрел на картины, снова присел к ней, взял ее мокрую руку:

— Поплакала немножко. Это ничего, больше плакать не нужно. Как зовут того колониста, который тебя знает?

— Рыжиков.

— Сегодняшний!

Влетел в комнату Володя, снова быстро и с любопытством взглянул на Ванду, что не мешало ему очень деловито сообщить:

— Клава идет! Сейчас идет!

— Ну, Володя! Вот у нас новая колонистка! Видишь, какая грустная? Ванда Стадницкая

— Ванда Стадницкая? Вот здорово! Ванда Стадницкая?

— Чего ты?

— Да как же! А Ванька собирается в город идти... искать тебя. И я тоже.

— Ваня? Гальченко? Он здесь?

— А как же! Гальченко! Вот он рад будет! Я позову его, хорошо? Захаров подтвердил:

— Немедленно позови. И Рыжикова.

— Ну-у! Тогда и Чернявина нужно...

— Ванда, ты и Чернявина знаешь?

— Ванда горько заплакала:

— Не могу я...

— Глупости. Зови всех.

В дверях Володя столкнулся с Клавой Кашириной.

— Алексей Степанович, звали?

— Слушай, Клава. Это новенькая — Ванда Стадницкая Бери ее в бригаду и немедленно платье, баню, доктора, все, и чтобы больше не плакала. Довольно.

Клава склонилась к Ванде:

— Да чего же плакать? Идем, Ванда...

Не глядя на Захарова, пошатываясь, торопясь, Ванда вышла вместе с Клавой.

Через десять минут в кабинете стояли Игорь, Ваня и Рыжиков. Торский и Бегунок присутствовали с видом официальным. Захаров говорил:

— Понимаете, что было раньше, забыть. Никаких сплетен, разговоров о Ванде. Вы это можете обещать?

Ваня ответил горячо, не понимая, впрочем, какие сплетни может сочинить он, Ваня Гальченко:

— А как же!

Игорь приложил руку к груди:

— Я ручаюсь, Алексей Степанович.

— А ты, Рыжиков?

— На что она мне нужна? — сказал Рыжиков

— Нужна или не нужна, а языком не болтать!

— Можно,— Рыжиков согласился с таинственной снисходительностью. На него все посмотрели. Вернее сказать — его все рассмотрели. Рыжиков недовольно пожал плечами.

Но в комнате совета бригадиров разговор на эту тему был продолжен. Игорь Чернявин настойчиво стучал пальцем по груди Рыжикова:

— Слушай, Рыжиков! То, что Алексей говорит,— одно дело, а ты запиши, другое запиши... в блокноте: слово сболтнешь — привяжу камень на шею и утоплю в пруду.

5. ЛИТЕЙНАЯ ЛИХОРАДКА

В спальнях, в столовой, в парке, в коридорах, в клубах — между колонистами всегда шли разговоры о производстве В большинстве случаев они носили характер придирчивого осуждения Все были согласны, что производство в колонии организовано плохо На совете бригадиров и на общих собраниях въедались в заведующего производством Соломона Давидовича Блюма и задавали ему вопросы, от которых он потел [redacted] надувал губы.

— Почему дым [redacted] кузнице?

— Почему лежат без обработки furthermore?

— Почему не работает полуревольверный?

— Почему не хватает резцов?

— Почему протекает нефтепровод в литейной?

— Почему перекосы [redacted] литье?

— Почему [redacted] механическом цеху полный базар? Барахла накидано, [redacted] Шариков целый день сидит в бухгалтерии, не может никак пересчитать несчастную тысячу масленок?

— Когда будут сделаны шестеренки на станок Садовничего, клинья к суппорту Поршнева, шабровка[25] переднего подшипника у Яновского, капитальный ремонт у Редьки?

Колонисты требовали ремонта станков, ходили за ремонтными слесарями, ловили во дворе Соломона Давидовича, жаловались Захарову, но к станкам всегда относились с презрением:

— Мою соломорезку сколько ни ремонтируй, все равно ей дорога [redacted] двери. Разве это токарный?

Соломон Давидович обещал все сделать [redacted] самом скором времени, но остановить станок и начать его ремонт — на это не был способен Соломон Давидович. Это было самоубийство — остановить станок, если он еще может работать. Станок свистел, скрипел, срывался с хода, колонисты со злостью заставляли его работать, [redacted] станок все-таки работал Работали соломорезки, работали суппорты без клиньев, работали изношенные подшипники. «Механический» цех ящик за ящиком отправлял в склад готовые масленки, около сборного цеха штабелями грузили на подводы театральные кресла Швейная мастерская выпускала исключительно трусики из синего, коричневого и зеленого сатина, но выпускала их тысячами, [redacted] на каждой паре трусиков зарабатывал завод три копейки. В колонии не было денег, но на текущем счету колонии все прибавлялись и прибавлялись деньги. Среди колонистов находились люди с инициативой, которые говорили на собраниях:

— Соломон Давидович деньги посолил, а спецовок прибавить, так у него не выпросишь.

Соломон Давидович возражал терпеливо:

— Вы думаете, если завелась там небольшая копейка, так ее обязательно нужно истратить? Так не делают хорошие хозяева Я ни капельки не боюсь за вас, дорогие товарищи: тратить деньги вы всегда успеете научиться [redacted] можете всегда добиться очень высокой квалификации в этом отношении. А если нужно беречь деньги, так это не так легко научиться.

Если ты не будешь терпеть, так ты потом будешь хуже терпеть. Я дал слово Алексею Степановичу и вам, что мы соберем деньги на новый завод, так при чем здесь спецовка? Потерпите сейчас без спецовок, потом вы себе купите бархатные курточки и розовые бантики.

Колонисты и смеялись, и сердились. Смеялся и Соломон Давидович. Смотрели все на Захарова, но и он смотрел на всех и улыбался молча. И трудно было понять, почему этот человек, такой напористый и строгий, так много прощает Соломону Давидовичу,— правда, и колонисты прощали ему немало.

Самым скандальным цехом был, конечно, литейный. Это был кирпичный сарай с крышей довольно-таки дырявой. В сарае стоит литейный барабан. В круглое отверстие на его боку набрасывается «сырье» — винтовочные гильзы, оставшиеся от ружей старых систем, измятые, покрытые зеленью и грязью. Не брезговал Соломон Давидович и всяким другим медным ломом. Из того же круглого отверстия выливается в ковши расплавленная медь. К барабану приделана форсунка, а под крышей в углу — бак с нефтью. Все это оборудование далеко не первой молодости — продырявлено и проржавлено.

Система барабана, форсунки и бака, в сущности, очень проста и не заключает в себе ничего таинственного, но мастер-литейщик Баньковский, бывший кустарь и бывший владелец барабана, имеет вид очень таинственный: ему одному известны секреты системы.

В литейной кипит работа. У столика шишельников работают малыши. Все они одеты в поношенные спецовки, очевидно, раньше принадлежавшие более взрослому населению колонии: брюки слишком велики, они целыми гармониями укладываются на худых ногах пацанов, рукава слишком длинны.

На полу литейной расположены опоки [26], возле которых копаются формовщики — колонисты постарше: Нестеренко, Синицын, Зырянский. У одной из стен старая формовочная машина, на ней работает виднейший специалист по формовке, худой, серьезный Круксов из седьмой бригады.

Литейная полна дыму. Он все время пробивается из барабана, из литейной он может выходить только через дырки в крыше. Каждый день между мастером Баньковским и колонистами происходят такие разговоры:

— Товарищ Баньковский! Нельзя же работать!

— Почему нельзя?

— Дым! Куда это годится? Это же вредный дым — медный!

— Ничего не вредный. Я в нем всю жизнь работаю.

Через щели в крыше, через окна и двери дым расходится по всей колонии и в часы отливки желтоватым сладким туманом гуляет между зданиями. Молодой доктор, сам бывший колонист Колька Вершнев, лобастый и кучерявый, бегает из кабинета в кабинет, стучит кулаками по столам, потрясает томиком Брокгауза — Ефрона [27] и угрожает заикаясь:

— Я п-пойду к п-прокурору. Литейная л-лихорадка! Вы з-знаете, что это т-такое? П-прочитайте!

Этого самого доктора Алексей Степанович давно знает. Он морщит лоб, снимает и надевает пенсне:

— Призываю тебя, Николай, к порядку. Прокурор нам вентиляции не сделает. Он закроет литейную.

— И п-пускай з-закрывает!

— А за какие деньги я тебе зубоврачебное кресло куплю? А синий свет? Ты мне покою уже полгода не даешь. Синий свет! Ты обойдешься без синего света?

— В каждой п-паршивой амбулатории есть с-синий свет!

— Значит, не обойдешься?

— Так что? Будете т-травить п-пацанов?

— Надо вентиляцию делать. Я нажимаю, и ты нажимай. Вот сегодня комсомольское.

На комсомольском собрании Колька размахивает Брокгаузом — Ефроном и вспоминает некоторые термины, усвоенные им отнюдь не в медицинском институте:

— З-занудливое п-производство т-такое!

И другие комсомольцы «парятся», вздымают кулаки. Марк Грингауз направляет черные печальные глаза на Соломона Давидовича:

— Разве можно допустить такой дым, когда вся страна реконструируется?

Соломон Давидович сидит в углу класса на стуле — за партой его тело поместиться не может. Он презрительно вытягивает полные непослушные губы.

— Какой там дым?

— Отвратительный! Какой! И вообще нежелательный! И для здоровья неподходящий!

Это говорит Похожай, чудесно-темноглазый, всегда веселый и остроумный.

Соломон Давидович устанавливает локоть на колено и протягивает к собранию руку, жестом, полным здравомыслия:

— Это же вам производство. Если вы хотите поправить здоровье, так нужно ехать в какой-нибудь такой Крым или, скажем, в Ялту. А это завод.

В собрании подымается общий галдеж.

— Чего вы кричите? Ну хорошо, поставим трубу.

— Надо поручить совету бригадиров взяться за вас как следует.

Теперь и Соломон Давидович рассердился. Опираясь на колени, он тяжело подымается, шагает вперед, его лицо наливается кровью.

— Что это за такие разговоры, товарищи комсомольцы? Совет бригадиров за меня возьмется! Они из меня денег натрусят или, может, вентиляцию? Я строил этот паршивый завод или, может, проектировал?

— У вас есть деньги.

— Это разве те деньги? Это совсем другие деньги.

— Вы «стадион» проектировали!

— Проектировал, так что? Вы работаете сейчас под крышей. Вы думаете, это хорошо делают некоторые комсомольцы? Он смотрит на токарный станок и говорит: соломорезка! Он не хочет делать масленки, а ему хочется делать какой-нибудь блюминг. Он без блюминга жить не может!

— Индустриализация, Соломон Давидович!

— Ах, так я не понимаю ничего в индустриализации! Вы еще будете меня учить! Индустриализацию нужно еще заработать, к вашему сведению. Вот этим вот местом! — Соломон Давидович с трудом достал рукой

до своей толстой шеи.— А вы хотите, чтобы добрая старушка принесла вам индустриализацию ■ вентиляцию.

— А трубу все-таки поставьте!

— И поставлю.

— И поставьте!

Расстроенный и сердитый Соломон Давидович направляется ■ литейный цех. Там его немедленно атакуют шишельники, и Петька Кравчук кричит:

— Это что, спецовка? Да? Эту спецовку Нестеренко носил, а теперь я ношу? Да? И здесь дырка, и здесь дырка!

Соломон Давидович брезгливо подымает ладони.

— Скажите, пожалуйста, дырочка там! Ну, что ты мне тыкаешь свои рукава? Длинные — это совсем не плохо. Короткие — это плохо. А длинные — что такое? Возьми и подверни, вот так.

— Ой, и хитрый же вы, Соломон Давидович!

— Ничего я не хитрый! А ты лучше скажи, сколько ты шишек сделал?

— Вчера сто двадцать три.

— Вот видишь? По копейке — рубль двадцать три копейки.

— Это разве расценка — копейка! И набить нужно, и проволоку нарезать, и сушить

— А ты хотел как? Чтобы я тебе платил копейку, а ты будешь в носу ковырять?

Из дальнего угла раздается голос Нестеренко:

— Когда же вентиляция будет, Соломон Давидович?

— А ты думаешь, тебе нужна вентиляция, а мне не нужна вентиляция? Волончук сделает

— Волончук? Ну! Это будет вентиляция, воображаю!

— Ничего ты не можешь воображать. Он завтра сделает.

Вместе с Волончуком, молчаливым ■ угрюмым и, несмотря на это, мастером на все руки, Соломон Давидович несколько раз обошел цех, долго задирал глаза на дырявую крышу. Волончук на крышу не смотрел:

— Трубу, конечно, отчего не поставить? Только я не кровельщик.

— Товарищ Волончук. Вы не кровельщик, я не кровельщик. А трубу нужно поставить.

Ваня Гальченко работал в литейном цехе, и ему все нравилось: и таинственный барабан, и литейный дым, и борьба с этим дымом, и борьба с Соломоном Давидовичем, и сам Соломон Давидович. Не понравилось ему только, что Рыжиков был назначен тоже ■ литейный цех — на подноску земли

6. ПЕТЛИ

Ванда Стадницкая с трудом привыкала к пятой девичьей бригаде. Она как будто не замечала ни нарядности ■ чистоты спальни, ни ласковой деликатности новых товарищей, ни вечернего их щебетанья, ни строгого порядка колонистского дня. Молча она выслушивала инструктивные наставления Клавы Кашириной, кивала головой и скорее отходила, чтобы

по целым часам стоять у окна и рассматривать все одну и ту же картину: убегающую дорожку парка, ряд березовых вершин и небо. В столовой она боком сидела на своем месте, как будто собираясь каждую минуту вскочить и убежать, ела мало, почти не подымая взгляда от тарелки. И новое школьное платье, которое она получила в первый же день: синяя шерстяная юбка в складку и две миленькие батистовые блузки — очень простой и изящный наряд, который ей шел и делал ее юной, розовой и прекрасной,— и блестящие вымытые волосы — ничто ее не развлекало и не интересовало.

В швейной мастерской, которая помещалась в одной из комнат в здании школы, Ванде предложили было серьезную работу, но оказалось, что она ничего не умеет делать. Тогда ей поручили метать петли. Эту работу обычно выполняли самые маленькие, таких в бригаде было около полдюжины: бойкие, веселые, тонконогие, у них по углам спальни водились куклы. Но и петли Ванда метала очень плохо, медленно, лениво. Старшие молча наблюдали, неодобрительно поглядывали друг на друга, показывали, поправляли. Ванда покорно выслушивала их замечания, на время уступала им работу, скучно посматривала боком, как ловкая, юркая игла мелькает между розовыми опытными пальчиками.

Однажды Ванда пришла в мастерскую, когда уже давно стучали машинки. Не отрываясь от работы, Клава спросила:

— Ванда, почему ты опоздала?

Ванда не ответила.

— А вчера ты ушла раньше времени. Почему?

Неожиданно Ванда заговорила:

— Ну что же, я скажу. Не буду работать, не хочу.

— Не будешь работать? А как же ты будешь жить?

— Ну и пусть. Проживу без ваших петель.

— Стыдно, Ванда. Надо учиться. Мы все с петель начинали.

Ванда бросила работу. В горле у нее стояли рыдания, она дико оглядела комнату:

— Куда мне до вас! Петлями начинали! А я кончу петлей!

Она вышла из комнаты, хлопнула дверью.

Вечером она лежала, отвернувшись к стене, ужинать не пошла. Девочки посматривали на ее белокурый, нежный затылок испуганными глазами. Клава сводила брови и что-то шептала про себя.

Утром, когда Ванда одна гуляла по спальне, к ней пришел Захаров. При виде его она покраснела и поправила юбку. Он улыбнулся грустно, сел у стола:

— Что случилось, Ванда?

Ванда не ответила, продолжала смотреть в окно. Он промолчал.

— В столярной хочешь работать? Там интересно: дерево!

Она быстро повернулась к нему.

— Ой, какой же вы человек! Такое придумали: в столярной!

— Хорошо придумал. Ты вообрази: в столярной!

— Будут смеяться.

— Напротив. Первая девушка в нашей колонии пойдет в столярную. Честь какая! А то девчата все считают: их дело — тряпки. Неправильно считают.

Ванда задорно взметнула ресницы:

— А что же вы думаете? И пойду. В столярную? Пойду. Сейчас?

— Идем сейчас.

— Идем.— Он повернулся и, не оборачиваясь, пошел к двери, она вприпрыжку побежала за ним и взяла его под руку.

— Это вы нарочно придумали?

— Нарочно.

— У вас все нарочно?

— Решительно все,— сказал он смеясь.— Я тут еще одну вещь придумал, да только не скажу.

— Скажите. Про меня?

— Про тебя.

— Скажите, Алексей Степанович!

Он наклонился к ее уху, прошептал таинственно:

— Потом скажу.

Ванда ответила ему таким же секретно-задушевным шепотом:

— Хорошо.

7. КОРОМЫСЛО

После работы Игорь решил погулять в окрестностях колонии. Взяв с собой книгу, он прошел парк и вышел на плотину. Слева блестел пруд, а справа между двумя скатами холмов, в заросшем камышами овраге, еле-еле пробивалась речушка. На вершине противоположного холма стояла дача, по белой стене к черепичной крыше подымались простодушные побеги «крученого панычა», пестрели его синие, лиловые и розовые колокольчики. У самого дома возвышался ряд тополей, за ними темнел приземистый садик. По эту сторону домика деревьев не было, небольшая площадка огорожена была плетнем, на площадке расположился огород. Огород был не такой, как у крестьян; между грядами проложены были дорожки и кое-где стояли деревянные диванчики.

Игорь заглянул через плетень. На огороде никого не было, только у одного из диванчиков лежала большая рыжая собака. Увидев Игоря, она поднялась, зарычала, потянулась и побежала к дому. Присмотревшись к огороду, Игорь заметил, что ближайшие грядки были политы и у самого плетня, накренившись на кочке, стояла пустая лейка. «Где же они воду берут?» — подумал Игорь и в этот же момент увидел калитку в плетне, привязанную к нему старой проволокой. Проследив дальше, он увидел, что вниз, к речке, спускается узенькая, хорошо протоптанная тропинка, а в конце тропинки, у самых камышей, медленно подымается с двумя ведрами на коромысле Оксана. Ведра были большие, свежеокрашенные в зеленый цвет; по тому, как слабо они раскачивались на коромысле, было видно, как они тяжелы. Это было заметно и по тому, с какой осторожностью и напряжением делала Оксана маленькие шаги.

Игорь быстро сбежал и схватил дужку ближайшего к нему ведра. Оксана пошатнулась от толчка, подняла к нему испуганные глаза:

— Ой!

— Я тебе помогу.

— Ой, не надо. Ой, не трогайте!

Игорь даже не знал, что у него в запасе имеется такая сила. Одной рукой он шутя поднял вверх выгнутое плоское коромысло, подхватил его другой рукой. Оксана еле успела выскочить из-под заходивших вокруг них ведер и коромысла. Выскочила и рассердилась:

— Кто тебя просит? Чего ты пристал?

— Леди! Никто не имеет права...

Договорить было трудно: коромысло вертелось на его плече, как на шарнире. Игорь попробовал остановить его, но стряслась другая беда: тяжесть руки перевесила всю систему, одно ведро пошло к земле, другое нависло почти над головой. Оксана уже смеялась:

— Ты не умеешь, без привычки трудно. Поставь на землю. Вот прицепился, что ты будешь делать! Поставь на землю.

Игорь уже сам догадался, что поставить ведро на землю надо. Оксана заговорила с ним на «ты». Ему было весело.

— Дорогая Оксана! Это правильная мысль — поставить их на землю. К черту это допотопное изобретение! Как оно называется?

— Да коромысло ж!

— Коромысло? Получите его в полное ваше распоряжение.

Он взял ведра в руки, потащил в горку. Нести было так тяжело, что он не мог даже говорить. Оксана шла сзади и волновалась:

— И где ты взялся со своей помощью? Поставь ведра, тебе говорю.

Но когда Игорь поставил ведра у самого плетня, она глянула на него из-под дрожащих ресниц и улыбнулась:

— Спасибо.

— Разве можно такое... носить? Это же черти, а не ведра. Это кровожадная эксплуатация!

— А как же ты хочешь? Без воды сидеть? Огород пропадет без воды.

— Культурные люди в таких случаях водопровод устраивают, а не носят на этих самых коромыслах.

— А у нас вся деревня на коромыслах носит. Тут совсем близко. И вода добрая, ключевая.

Оксана уже хозяйничала на огороде. Она легко подняла ведро, отлила воды в лейку и пошла по узкой меже между грядками картофеля. Игорь любовался ее склоненной головкой, на которой рассыпались к вискам темно-каштановые волосы. Она бросила на него взгляд искоса, но ничего не сказала.

— Давай я тебе помогу.

— У нас другой лейки нету.

— А ты мне эту отдай.

— Ты не умеешь.

— Почему ты так стараешься? Ему барыши, ироду, а ты работаешь. Твой хозяин — он эксплуататор.

— Все люди работают,— сказала Оксана.

— Твой хозяин работает?

— Работает.

— Он эксплуататор, твой хозяин. Он имеет право держать батрачку? Имеет право?

— Я не батрачка. И он не хозяин вовсе, вы все врете. Он хороший

человек, ты такого еще и не видел. И не смей говорить,— проговорила Оксана с обидой и сердито посмотрела на Игоря.

Она перевернула пустую лейку, на стебли растений упали последние струйки.

— Картошка всем людям нужна. Ты любишь картошку?

На этот вопрос Игорь почему-то не ответил.

— Ты ел когда-нибудь свою картошку?

Вопрос ударил Игоря с фронта, а с тылу ударил другой вопрос:

— Я не помешал? Может, и помешал, так сказать?

Оглянувшись, Игорь увидел Мишу Гонтаря. Миша был в парадном костюме, но этот костюм не украшал Мишу. Белый широкий воротник находился даже в некотором противоречии с его физиономией, в настоящую минуту выражавшей подозрительность и недовольство. Оксана ответила:

— Здравствуй, Михайло. Ничего, не помешал.

Игорь саркастически улыбнулся:

— Миша ревнует.

Оксана гневно удивилась. Разгневался и Гонтарь:

— Ты, Чернявин, зря языком!

У самой дачи молодой женский голос позвал:

— Оксана! Скорее беги сюда, скорее!

Оксана поставила поливалку на землю и убежала.

Колонисты помолчали, потом Гонтарь постучал носком ярко начищенного ботинка в плетень и сказал со смущенным хрипом:

— А только ты сюда не ходи, Чернявин!

— Как это «не ходи»?

— А так, не ходи. Нечего тебе здесь делать.

— А если я здесь найду для себя работу?

— Какую работу? Он найдет работу!

— А, например, картошку поливать.

— Я тебе говорю: не ходи!

Игорь склонился над плетнем:

— Сейчас подумаю: ходить или не ходить?

Миша вдруг закричал:

— Иди отсюда к черту! Найди себе другое место и думай!

Игорь отступил от плетня, с ехидной внимательностью посмотрел на Гонтаря.

— Милорд! Как сильно вы влюбились!

Светло-серые, широко расставленные глаза Гонтаря засверкали. Он замотал головой так, что его жесткие патлы рассыпались по лбу и по ушам.

— Это такие, как ты, влюбляются, барчуки!

Игорь демонически захохотал и побежал вниз, к пруду.

8. КАЖДОМУ СВОЕ

В первой бригаде Рыжикова встретили сдержанно. Мало доверия внушала его мясисто-подвижная физиономия, зеленоватые глаза. Дошел до первой бригады и рассказ о том, как Игорь Чернявин, старый знакомый

Рыжикова, вместо приветствия сразу сгреб его и стал душить. Воленко был недоволен назначением Рыжикова в его бригаду, ходил к Виктору Торскому спорить, перечислял фамилии: Левитин, Руслан Горохов, Ножик, а теперь еще и Рыжиков. Но Виктор Торский ничуть не был поражен этим списком:

— Ты думаешь — у тебя одного? Пожалуйста, в восьмой: Гонтарь, Середин, Яновский, прибавился Чернявин. В десятой: Синичка, Смехотин, Борода, а бригадир какой — ребенок, Илюша Руднев. А у тебя, подумаешь, Ножик! Ножик хороший мальчишка, только фантазер. Зато актив у тебя какой: Колос, Радченко, Яблочкин, Бломберг. Пожалуйста, возьми себе Чернявина, а Рыжикова отдай.

Воленко подумал-подумал и ушел молча.

Рыжикову он сказал на первом бригадном собрании, после того как сухо и коротко познакомил его с бригадой:

— Слушай, Рыжиков. Я знаю, ты не привык к организованному трудовому коллективу. Я тебе советую: привыкай скорее, другой дороги для тебя все равно нет.

Рыжиков ничего не ответил. Он уже начинал разбираться в организованном трудовом коллективе. Назначенный к нему шефом кучерявый, курносый, умный и уверенный Владимир Колос, ученик десятого класса и член бюро комсомольской ячейки, не любил длинных разговоров и нежностей. Он сказал Рыжикову:

— Я — твой шеф, но ты не воображай, пожалуйста, что я тебя за ручку буду водить. Ты не ребенок. Я тебя насквозь вижу и еще под тобой на полметра, и все твои мысли знаю. В голове у тебя уборка еще не произведена как следует. Ты этим делом и займись. Колония живет... все видно, хитрого ничего нет. Смотри и учись. А если не захочешь, значит, ты человек очень плохой.

Рыжиков подумал, что Колос тоже насквозь виден, и поэтому ответил с чувством:

— Ты будь покоен, я буду учиться.

— Посмотрим,— сказал Колос небрежно и ушел.

А на другой день Рыжиков подружился с Русланом Гороховым. Руслан первый подошел к нему:

— В литейную назначили?

— В литейную.

— Землю таскаешь?

— Таскаю.

— Правильно. Остригли?

— Остригли.

— Все по правилам. Будешь жить?

Рыжиков обиженно отвернулся:

— С ума я сошел — тут жить!

Руслан захохотал, показывая свои разнообразные зубы, и пригласил Рыжикова погулять в лесу. После прогулки Рыжиков вдруг сделался веселым парнем, со всеми заговаривал по делу и без дела, острил, вертелся возле Воленко. Игорь был очень удивлен, когда Рыжиков остановил его посреди цветника.

— Чернявин, а ты все на меня злишься?

Игорь посмотрел на него недружелюбно, но вспомнил дежурного бригадира Илюшу Руднева:

— Я на тебя не злюсь, а только ты паскудно поступил с Ваней.

— Да брось, Игорь, чего там «паскудно»! Ему все равно было в колонию идти, а мне жить нужно было. Мало ли что?

— А здесь... останешься?

— Я вот с тобой хочу поговорить: жить или не жить? Ты как?

Поведение Рыжикова было непонятно. С одной стороны, задумчивая серьезность и доверие к товарищу, советом которого он, видимо, дорожил. С другой стороны, Рыжиков явно показывал, что человек он бывалый и себе цену знает. Он поминутно сплевывал, подымал брови, небрежно скользил взглядом по цветникам,— этот взгляд говорил, что цветами его не купишь. В этой игре было что-то приятное для Игоря, напоминающее прежнюю свободу «жизненных приключений». И он ответил Рыжикову, не поступаясь своей славой человека бывалого:

— У меня свои планы, а только я воровать не буду.

Рыжиков еще раз одобрительно сплюнул.

— Каждому свое.

Они вошли в вестибюль. С винтовкой стоит маленькая кругленькая Лена Иванова, с веселым безбровым лицом. Она посторонилась, пропуская входящих, нахмурилась, разглядывая действия Рыжикова. Рыжиков остановился на мокрой тряпке, докуривал папиросу, часто затягиваясь. Лену он не замечал.

— Здесь нельзя курить,— сказала громко Лена.

Рыжиков не спеша рассмотрел Лену, пустил ей в лицо струйку дыма. Лена прикрикнула на него:

— Ты чего хулиганишь? Здесь нельзя курить, тебе говорю!

Рыжиков с неспешной развязностью повернулся к Игорю:

— Вот такие они все! Легавые!

Он сплюнул с досадой.

Лена вздрогнула так, что весь ее парадный костюм пришел в движение, и сказала тоном приказа:

— Вытри!

— Что?

Лена показала пальцем:

— Вытри! Ты зачем плюнул? Вытри!

Рыжиков усмехнулся и вдруг повернулся к ней боком, провел рукой по ее лицу снизу вверх:

— Закройся, юбка!

Лена крепко сжала губы и с неожиданной силой толкнула его своей винтовкой. Рыжиков рассвирепел:

— Ах! Ты так?

Игорь схватил его за плечо, повернул круто:

— Эй!

— Ты тоже легавый?

— Не тронь девчонку!

— А чего она прямо в живот, сволочь!

Лена отбежала к лестнице, крикнула звонко:

— Как твоя фамилия? Говори, как твоя фамилия?

На площадке лестницы у зеркала показалась Клава Каширина — дежурный бригадир. Лена приставила винтовку к плечу. Рыжиков тронул Игоря локтем.

— Идем, начальство ползет.

Он сказал Лене, уходя во двор:

— Я тебе еще задеру юбку.

Они вышли из здания.

Спустившись вниз, Клава вопросительно посмотрела на Лену. Лена одной рукой молча вытерла слезы, не оставляя положения «смирно».

9. ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Они разговаривали в парке: Рыжиков, Руслан и Игорь.

— Ты это зря девчонку тронул,— говорил Руслан.

— А что? Всякая мразь — начальство?

— Тебя сегодня вызовут на общем собрании.

— Ну и что?

— Выведут на середину.

— Пускай попробуют.

— Выведут.

— Посмотрим.

По Рыжикову было видно, что он на середину, пожалуй, и не выйдет. Игорю это нравилось.

— А это интересно: не выйдешь?

— Сдохну, а не выйду.

— Это здорово! Вот будет потеха!

Рыжиков до вечера ходил по колонии с видом независимым. Случай в вестибюле уже не был секретом, на Рыжикова посматривали с некоторым интересом, но разобрать было трудно, что это за интерес.

Общее собрание открылось в восемь часов, после ужина. В тихом клубе на бесконечном диване все колонисты не умещались, хотя и сидели тесно. На коврике вокруг бюста Сталина и на ступеньках помоста гнездами расположились малыши, на весь зал блестели их голые колени. Девочки заняли один из углов тихого клуба, но отдельные их группки были и среди мальчиков.

Малыши на помосте оставили небольшое место для ораторов. Председатель, Виктор Торский, сидит на самой верхней ступеньке, спиной опираясь на мраморный пьедестал, малыши и председателя облепили, как мухи. На краю помоста стоит Соломон Давидович и держит речь:

— Я очень хорошо понимаю, что трусики шить — не большая приятность. Но зато трусики приятно надеть, особенно на курорте, а вы этого, товарищи, не учитываете. А если вы здесь не захотите шить трусики, и другие не захотят, и никто не захочет — так кто же будет шить трусики? И везде так. Вы спрашивали каменщиков, когда они строили для вас дом? Вы ничего не спрашивали. А может, вы спрашивали кровельщиков или плотников? А кто вам печет хлеб, так вы тоже не спрашивали, приятно им или, может, неприятно. А вы сидите и считаете: «Вот мы колония Первого Мая, так мы такие хорошие, лучше всех, мы не желаем шить

трусиков и не желаем делать масленок и театральную мебель, а мы желаем шить какие-нибудь фраки и делать швейные машины и какую-нибудь там мебель рококо или Людовика Семнадцатого». За обедом вы едите мясо, и это мясо ходило на четырех ногах с хвостом и ело траву, а такие самые мальчики и девочки за ними смотрят и вовсе не называются колонистами-первомайцами, а называются просто пастухами. Так все довольны, а только вы недовольны: у вас паркет, цветы, школа, музыка, кино, четыре таких цеха, а вам все мало, вам подавай оборудование по последнему слову техники, и вы будете делать паровозы и аэропланы, а может, блюминги, которые вам не дают покоя. Пускай из вас кто встанет и скажет, что я говорю неправильно. Я хотел бы посмотреть, как он это скажет

Сохраняя на лице задорную, расплывшуюся чуть не до самого затылка улыбку, Соломон Давидович сошел с помоста и уселся на диване, где пацаны ревниво сохраняли для него место. Но, усевшись и сложив на большом животе руки, он еще раз обвел взглядом собрание и увидел улыбки колонистов, то недоверчивые, то смущенные, то задорно-убежденные. И Соломон Давидович сказал Захарову, сидящему неподалеку от него на том же диване:

— Что ты скажешь? Они все-таки по-своему думают.

Захаров загадочно улыбнулся и показал глазами на очередного оратора. К помосту вышел Санчо Зорин и еще не начал говорить, а уже занес кулак.

— Соломон Давидович! До чего хитрый! Каждый день девчата делают тысячу трусиков, прибыли тридцать рублей в день. А в месяц девятьсот рублей, а в год десять тысяч. Так это ничего. А как девчата захотели кройке поучиться, так он сейчас и каменщиков вспомнил, и пастухов, и паровозы. А мы что? Разве мы говорим? Мы очень благодарны каменщикам А что касается пастухов, так при социалистическом хозяйстве много пастухов не нужно, а будет стойловое кормление. А если вы хотите знать, так я и сам был пастухом; что ж, тоже работа, только у кулака, конечно. А теперь я столяр, и хочу быть ученым, и буду, вот увидите. Так что? При Советской власти — каждый может! И паровозы может строить, и блюминги. Теперь нет такого, что вот ты пастух, так и издохнешь возле коров. Попас, попас немного, а потом и в вуз. Видите как? И поэтому я предлагаю: если девочки хотят — взять им инструктора, чтобы кройку показывал. А может, им пригодится? А только меня удивляет, почему это девчата все за свою швейную держатся. И очень одобряю, хвалю прямо: новенькая к нам приехала, Ванда Стадницкая. Она в сборном цеху Молодец, прямо молодец, она и комсомольцам покажет, как нужно работать, даром что еще не умеет.

Ванда спряталась в гуще пятой бригады и лицо пристроила за чьим-то плечом, чтобы общее собрание не увидело ее румянца

С другой стороны зала Чернявин и Руслан на диване, а впереди них на стуле веселым героем уселся Рыжиков; слушает — не слушает, а разглядывает всех нахальными глазами, даром что никого еще не знает. Чуть-чуть вкось на том же диване Мишка Гонтарь.

Руслан сказал тихо:

— А про тебя, кажется, забыли, Рыжиков,— везет!

— Один черт!

Гонтарь повернул к ним голову, сказал поучительно:

— Ничего, голубчики, не забыли. Все знают.

— Наплевать,— сказал Рыжиков.

— Ты не очень плюй. Вот попаришься на середине.

— А я выйду?

— Не выйдешь? А потом что будет?

— А что будет?

— Дорогой! Мне тебя загодя жалко. Лучше выйди!

— Испугал!

— Друг! Лучше испугайся сейчас.

Игорь даже рукой по колену хлопнул:

— Интересно! Ты не выходи, Рыжиков, покажи им.

Гонтарь печально улыбнулся:

— Эх, люди, люди! Я и сам таким был... дураком.

Проголосовали вопрос об инструкторе кройки, и Виктор Торский спросил:

— Клава, что в рапортах?

Рыжиков, Игорь, Руслан вытянули шеи. Гонтарь прошептал с торжеством кудесника, предсказание которого начинает сбываться:

— Пожалуйте бриться!

Клава ответила:

— В рапортах все благополучно. Только в первой бригаде плохо: Рыжиков не подчинился дневальной Лене Ивановой и оскорбил ее.

Клава передала Торскому бумажку. Он молча пробежал ее, кивнул головой:

— Угу... Рыжиков!

В зале стало тихо. Рыжиков ответил с бодрым, склонным к остроумию оживлением:

— А что такое?

Все лица неслышно повернулись к Рыжикову. Торский показал глазами:

— Выходи на середину.

Рыжиков неловко, но достаточно бодро повозился на стуле:

— Никуда я не пойду.

Те же лица, только что смотревшие на него с благодушным интересом, вдруг заострились, легкий шум пробежал в зале и затих. Торский удивленно спросил:

— Как это не пойдешь?

Рыжиков в подавляющей, оглушительной тишине отвалился назад и руку развесил на спинке стула:

— Не пойду — и все!

В зале как будто взорвалось. Кричали в разных местах, пацаны на помосте звенели дискантами, чего-то требовали. Рыжиков заставил себя посмотреть туда — к нему были обращены горячие, гневные лица. Вырывались возгласы:

— Ха! Он не пойдет!

— Пойдешь, милый!

— Встань, чего ты развалился?

— Какой такой Рыжиков?

— Ух ты! Ирой какой!

Зырянский поднялся с места, сделал шаг вперед. Торский приказал резко:

— Зырянский! На место!

Зырянский мгновенно опустился на диван, но все в нем по-прежнему стремилось вперед. Общий крик загремел на несколько тонов выше:

— Смотреть на него?!

— Да я его сам!

— Ломается!

— Выходи!

Игорь не успевал оборачиваться... Рыжиков хотел что-то сказать, лицо уже приготовил нахальное, нечаянно приподнялся. Гонтарь одной рукой принял его стул, другой подтолкнул к середине.

Очутившись на свободном, блестящем пространстве, Рыжиков не сразу понял то, что произошло. Но он чувствовал, что силы его исчезают. Недовольно пожав одним плечом, он проворчал что-то, вероятно, ругательство, засунул руки в карманы, но, глянув перед собой, нечаянно увидел Зырянского. Тот, сидя на диване, весь подался вперед и, встретившись взглядом с Рыжиковым, гневно и угрожающе стукнул себя кулаком по колену. В зале захохотали. Рыжиков вздрогнул, не понимая причины хохота, и, совсем растерявшись, машинально подвинулся к чистой, холодной, как пустыня, середине зала. Но руки у него оставались в карманах, ноги в какой-то нелепой балетной позиции. Как будто подчиняясь дирижерской палочке, прогремел общий, весело-требовательный крик:

— Стань смирно!

У Рыжикова уже не было сил сопротивляться. Он приставил ногу, выпрямился, но одна рука еще в кармане. И тогда в тишине раздался негромкий, повелительно-нежный голос председателя:

— Вынь руку из кармана.

Рыжиков для приличия повел недовольным взглядом поверх голов сидящих и руку из кармана вынул. Игорь не удержался:

— Синьоры! Он готов!

— Чернявин! К порядку!

Рыжиков действительно готов и поэтому старается не смотреть на колонистов. У колонистов два выражения: у одних еще остывает гнев, у других улыбка — выражение победы. Торский поставил деловой вопрос:

— Ты первой бригады?

Рыжиков прохрипел, по-прежнему глядя поверх голов:

— Первой

— Дай объяснение, почему не подчинился дневальной и оскорбил ее.

— Никого я не оскорблял. Она сама меня двинула.

Быстрый, легкий смех пробежал в тихом клубе.

— Никого не оскорблял? Ты провел рукой по лицу.

— Ничего подобного. А кто видел?

Смех повторился, но уже более долгий. Улыбнулся и Торский. Смеялся,

поддерживая сложенными руками живот, Соломон Давидович, Захаров поправил пенсне. Торский пояснил:

— Какой ты чудак. Нам не нужны свидетели.

Рыжиков сообразил, что колонисты уже устроили из него потеху. Но он слишком хорошо знал жизнь и знал, какое важное значение имеют свидетели.

— Вы мне не верите, а ей верите.

И как всегда в минуты юридической правоты, у него нашлось обиженное выражение лица и небольшое дрожание в голосе. Было только странно, что и этот ход, считавшийся у понимающих людей абсолютно неуязвимым, был встречен уже не смехом, а хохотом, раздольным и жизнерадостным. Рыжиков обозлился и закричал:

— Чего вы смеетесь? А я вам говорю: кто видел?

Очевидно, это было настолько завлекательно, что ребята и смеяться не могли, боясь расплескать полную чашу наслаждения. Они увлеченно смотрели на Рыжикова и ждали. Торский снова охотно пояснил:

— А если никто не видел? Можно оскорблять человека, если никто не видит?

Это была очень странная мысль, с такими мыслями Рыжиков никогда еще не встречался. Он помолчал, потом поднял глаза на председателя и сказал убедительно и просто.

— Так она врет. Никто же не видел!

Игорь Чернявин поднялся на своем месте. Торский и другие вопросительно на него посмотрели. Игорь сказал:

— Рыжиков несколько ошибается. Я, например, имел удовольствие видеть, как он мазнул ее по лицу.

Рыжиков быстро оглянулся:

— Ты?

— Я.

— Ты видел?

— Видел!

Теперь смех получился недоброжелательный, осуждающий. Эстетическое наслаждение кончено: в последнем счете неприятно смотреть на человека, который обиженным голосом требовал свидетеля, а свидетель сидел с ним рядом.

Зырянский протянул руку:

— Дай слово.

— Говори.

— Что тут разбирать? Откуда такой взялся? Рыжиков! Как ты смеешь не подчиняться нашим законам? Как ты смеешь возить лапой по лицу девочки? С какой стати? Говори, с какой стати?

Зырянский шагнул к Рыжикову. Рыжиков отвернулся.

— Выгнать! Немедленно выгнать! Открыть дверь и... иди! А он еще свидетелей ищет. Мое предложение — взять и...

— Выгнать,— подсказал кто-то.

Зырянский улыбнулся на голос:

— Вы, конечно, не выгоните, у вас добрые души, а только напрасно.

Зырянский жестом пригласил говорить Воленко, своего постоянного оппонента. Воленко не отказался.

— Рыжиков в моей бригаде. Человек, прямо скажу, тайный какой-то, и все с Русланом вместе.

— А я при чем? — крикнул Руслан.

— О тебе тоже когда-нибудь поговорим. А все-таки я думаю, что из Рыжикова толк будет. Он не то что какой-нибудь барчук. Конечно, прошлым мы не интересуемся, а все-таки пусть он скажет, где его отец.

Торский спросил:

— Рыжиков, ответь... Можешь сказать?

— Могу. Купец был

— Умер?

— Нет.

— А где он?

— Не знаю.

— Совсем не знаешь?

— Убежал куда-то.

Воленко продолжал:

— Выгонять не нужно. Наказать следует, и в колонии нужно оставить. Посмотрим, может, из него еще советский человек выйдет.

Встал Захаров.

— Я думаю, что и наказывать не нужно. Человек еще малокультурный.

Рыжиков недовольно отозвался:

— Чего я там малокультурный?

— Малокультурный. Ты еще не понимаешь такого пустяка — плюешь. За тобой же прибирать нужно: мыть. А ведь в этом вопросе совсем нетрудно сообразить. Надо, чтобы первая бригада научила Рыжикова необходимой культуре. Хватаешь девочку за лицо. Так делают только самые дикие люди, а ведь ты совсем не такой дикий, учился, окончил три группы. Предлагаю оставить без наказания, а Лене выразить сочувствие от имени общего собрания.

Собрание закончилось быстро. Зырянский снял свое предложение. Торский сказал Рыжикову:

— Можешь идти. Да смотри за собой.

Рыжиков тронулся с места.

— Подожди. Салют общему собранию.

Рыжиков улыбнулся снисходительно и поднял руку.

— Лена, общее собрание выражает тебе сочувствие и просит тебя забыть об этом деле

На лестнице, по дороге к спальням, Рыжиков приостановился и сверху вниз глянул на Игоря:

— Ты что же, Чернявин, легавишь?

— А когда я легавил?

— Когда легавил? Ты видел? Свидетель! Какое тебе дело?

Игорь хлопнул себя по бокам:

— Ах, ты черт! Действительно. А то разве ты стоял на середине? Я смотрю, стоит какой-то рыжий. Думал, кто другой. Значит, ты вышел на середину?

Руслан раскатился смехом на всю лестницу. Рыжиков презрительно

смотрел на Игоря до тех пор, пока их не догнал снизу Владимир Колос. Он хлопнул Рыжикова по плечу:

— Поздравляю. Это, брат, важно: первый раз на середине. Теперь дело пойдет. А все-таки перед собранием стоять нужно «смирно».

10. ПОЦЕЛУЙ

Раз в неделю в большом театральном зале колонии, в котором стояло четыреста дубовых кресел собственного завода, бывали киносеансы. На кино приходили служащие с семьями, девушки и парни с Гостиловки, знакомые из города. Киносеансы не требовали от колонистов добавочных хлопот. С утра отправлялся в город на линейке колонист из девятой бригады Петров 2-й, с младенческого возраста преданный киноидее, решивший и всю остальную жизнь посвятить этому чуду XX века. Петров 2-й прожил от рождения шестнадцать лет и был убежден, что за это время он постиг всю мудрость жизни. Она оказалась очень простой и приятной: человек должен быть киномехаником, даже если для этого нужно выдержать экзамен. Но Петрова 2-го бюрократы, конечно, не допускали к экзамену раньше восемнадцати лет, и поэтому Петров 2-й ненавидел бюрократов, к которым он ездил раз в неделю, чтобы выписать и получить очередную картину. Будучи вообще человеком добродушным, вежливым и даже вяловатым, Петров 2-й, выписывая комплект жестяных круглых коробок, ухитрялся наговорить столько неприятных вещей кинематографическим бюрократам, что они постепенно дошли до остервенения. В один прекрасный день они целой толпой в составе трех человек нагрянули в колонию и констатировали, что картину «пускает» не настоящий киномеханик, обладающий всеми правами, а тот самый шестнадцатилетний Петров 2-й, который раз в неделю приходил к ним с пустым мешком и обвинял их в бюрократизме. Петров 2-й и сейчас не полез в карман за словами, но дело кончилось грустно: колония была оштрафована на пятьдесят рублей, аппарат опечатан, написан очень длинный акт, содержащий множество бюрократических требований. Общественное мнение колонии стояло, разумеется, на стороне Петрова 2-го, так как для всех было ясно, что шестнадцатилетний возраст не мешает человеку быть гением в той или иной области.

Общественное мнение, однако, кое в чем обвиняло и самого Петрова 2-го, Зырянский Алеша в своей речи на общем собрании выразил это так:

— Петрова 2-го следует тоже взгреть. Разве с бюрократами можно бороться в одиночку? Нужно было привезти их на общее собрание и тут поговорить.

Теперь, после поражения политики Петрова 2-го, главная беда состояла в том, что под выходной день нечего было показать публике, а публика уже привыкла приходить в колонию под выходной день. Выход из положения был найден, конечно, Петром Васильевичем Маленьким.

Петр Васильевич предложил поставить пьесу. Драмкружок в колонии и зимой работал плохо, а летом и совсем рассыпался: ни у кого не было охоты тратить летние вечера на репетиции. Да и зимой даже самые активные члены драмкружка в глубине души предпочитали кино. Но сейчас

кино было исключено из жизни бюрократическим актом и не могло возродиться, пока вся кинобудка с ног до головы не оденется асбестом, пока не появится в будке совершеннолетний киномеханик.

Петр Васильевич кликнул клич. Охотников нашлось не так много, поэтому были привлечены к драматической затее и новички. Чернявин должен был играть третьего партизана, нашлись роли и для Вани Гальченко и Володи Бегунка. Репетиции прошли успешно и быстро, декорации леса и барской усадьбы сделаны были в естественном стиле: лес — из сосновых веток, а усадьба — из фанеры.

В день спектакля, когда уже костюмы были привезены и публика начала собираться, Игорь заглянул в парк и на первой же скамье увидел одинокую Оксану. Он очень ей обрадовался. Его настроение было повышено в предчувствии сценического успеха. Оксана же сегодня была красивее всех девушек мира: на ней была замечательно отглаженная розовая кофточка, а в руках васильки.

— Оксана! Какая ты сегодня красивая!

Девушка испуганно отодвинулась от него, а когда Игорь сделал к ней движение, она вскочила и попятилась от него по дорожке.

— А еще колонист! Разве так можно?

— Оксана! У тебя такие глаза!

Оксана поднесла руку к глазам, в руке были васильки.

— Уходи! Я тебе говорю, уходи от меня!

Но Игорь не ушел. Он сделал к ней широкий шаг и одним движением обнял ее за шею, руки и васильки. Он никогда потом не мог вспомнить, поцеловал он ее или не поцеловал: она пронзительно вскрикнула, отстраняя его,— цветы попали ему в глаз и стало больно...

— Чернявин! — сказал кто-то гневно.

Он оглянулся: серые ясные глаза Клавы Кашириной смотрели на него, ее нежное лицо покраснело пятнами.

— Ты можешь так обижать девушку?

Больше от смущения, чем от наглости, Игорь прошептал:

— Наоборот...

Клава в крайнем и безудержном гневе притопнула ногой:

— Вон отсюда! Ступай, сейчас же найди дежурного бригадира Воленко и расскажи ему все. Понял?

Игорь ничего не понял и бросился по дорожке к зданиям. Но, как быстро он ни покинул место происшествия, он успел услышать глухие звуки рыданий. Оглянуться он побоялся.

11. ВЕСЕЛАЯ СОБАКА

Игорь прибежал в театральную уборную, не помня себя. Во-первых, стало совершенно очевидно, что он, Игорь Чернявин, влюблен в Оксану, просто втрескался, как идиот. Такого несчастья с ним еще не случалось, а сейчас оно наступило... Все признаки налицо: только влюбленные могут так набрасываться с поцелуями. Во-вторых, он предвидел страшный вопрос на общем собрании:

— Чернявин, дай объяснение...

Он бежал через парк и через двор, страдал и краснел, и все вспоминались ему и брови, и глаза, и васильки, черт бы их побрал; рядом с ними вспоминался и Воленко. Ни за какие тысячи Игорь ничего ему не расскажет. Общее собрание, Игорь стоит посредине, все заливаются хохотом .. пацаны, пацаны с голыми коленями!

Стремительно открыв дверь в театр — специальный вход для актеров, Игорь налетел на Воленко. Воленко глянул на него строго,— впрочем, он всегда смотрел строго,— Игорь посторонился и вспотел.

— Где ты пропадаешь, Чернявин? Иди скорее!

В актерской уборной происходило столпотворение. Захаров, Маленький и Виктор Торский гримировали актеров. Некоторые занимались примериванием костюмов: партизаны, командиры, офицеры, женщины. Виктор Торский, в рясе и в поповском парике, сказал Игорю:

— Чернявин, скорее одевайся. Третий партизан?

— Третий. Никогда, понимаете, партизаном не был...

— Чего там уметь! Будешь партизан — и все. А у тебя и морда подходящая, кто это тебя смазал?

Игорь давно уже чувствовал, что у него напухает правый глаз.

— Да... Зацепился...

— Бывает... за чужой кулак зацепишься. А выйдет, как будто в бою. Веревкой, веревкой подвяжись. Онучи вот, а вот лапти.

Игорь уселся на скамью надевать лапти.

— Как их... никогда лаптей не носил...

Поручик Зорин туго стягивает поверх старенькой хаковой гимнастерки парадный офицерский пояс:

— А думаешь, я когда-нибудь погоны носил? А теперь приходится.

Игорь склонился над сложной своей обувью, задумался над двумя длинными веревками, привязанными к лаптю. Первый партизан Яновский, невыносимо рыжебородый, но с бровями ярко-черными, задирает ногу:

— Видишь, как? Видишь?

Собственно говоря, Игорь не видит, потому что в дверях уборной стоит Клава Каширина и смотрит на Игоря. Игорь наморщил лоб и занялся веревкой. Клава посмотрела на него и ушла.

Петр Васильевич Маленький в длинном генеральском сюртуке с красным воротником показал на свободный стул:

— Садись, Чернявин. Кого играешь?

— Третий партизан.

— Третий? Угу. Мы тебя сделаем такого... вот эта бороденка. Совсем бедный мужик, даже борода не растет. Намазывайся.

Игорь начал намазываться желтоватой смесью. Петр Васильевич натянул на его стриженую голову взлохмаченный грязный парик, и на Игоря глянуло из зеркала смешное большеротое лицо. По этому странному лицу Петр Васильевич заходил карандашом.

— Витька, а где мои ордена? — спросил он у Торского.

— Сейчас Рогов принесет. Там еще звезды не высохли, а лента вон висит.

Он показал на голубую широкую ситцевую ленту, висящую на гвоздике.

Захаров тоже посмотрел на ленту:

— Лента лишняя. Это же гражданская война. И звезды... не нужно.

Виктор изумленно глянул на Захарова:

— Какой же генерал, если без звезды? И лента .. насилу у девчат выпросил.

— Голубая лента, выходит, андреевская, такие ленты только важные сановники носили.

Маленький снял с гвоздика ленту, перекинул через собственное плечо:

— Ничего, Алексей Степанович, публике понравится. Только вы, ребята, когда хватать будете, полегче. А то с прошлой репетиции домой пришел... просто избитый.

Яновский улыбнулся:

— Ну, а как же с генералом? Цацкаться?

Хлопнула дверь, в уборную вбежали Ваня и Бегунок. Бегунок закричал:

— Хорошо? Алексей Степанович, хорошо?

И на нем, и на Ване надеты вывороченные полушубки. Володя опустился на четвереньки, натянул на голову собачью остромордую маску и залаял, прыгая к сапогам Захарова и захлебываясь от злости. Ваня проделал то же, уборная наполнилась собачьим лаем и хохотом зрителей. У Вани выходило лучше, он умел выделывать особенные нетерпеливо-обиженные взвизгивания, а потом снова заливался высоким испуганным тявканьем.

Виктор закричал:

— Да хватит! Вот эти пацаны! Когда еще спектакль, а они уже три дня бегают по колонии, на всех набрасываются.

Алексей Степанович улыбнулся:

— По шерсти если считать, больше похожи на медвежат. Но, я думаю, сойдет Раз генерал в андреевской ленте, собаки должны быть страшные.

И Володя и Ваня, довольные репетицией, на четырех ногах убежали на сцену.

Через полчаса начался спектакль Виктор усадил «собак» за кулисами и сказал:

— Только вы так: полайте, а потом промежуток сделайте. Чтобы и другие могли слово сказать Поняли?

— Есть,— ответили «собаки» и с угрожающим видом притаились в дебрях помещичьего сада.

На сцене все готово. Белые генералы и вообще буржуазия сходятся в дом. Окно открыто, дом освещен, за окном они усаживаются на совещание. Поп поместился прямо против окна, крикнул:

— Готово!

Занавес пошел вправо и влево. В зале кто-то не выдержал:

— Смотрите: Витя Торский!

На него шикнули, стало тихо; против открытого окна, рядом с худющим генералом, сидит не Витя Торский, а отец Евтихий, что немедленно и выяснилось из разговоров буржуазии и генералитета.

На сцену из-за деревьев пробираются партизаны. Между ними и Игорь

Чернявин. Партизаны крадутся к окну, [redacted] часть должна пробраться [redacted] дом. Двое располагаются у самого окна, подымают винтовки, готовясь выстрелить. И вот они выстрелили: наступила самач увлекательная минута. За окном, [redacted] доме, выстрелы [redacted] свалка, крики, визги, женский плач. Из-за кулис выскочили две собаки, очень похожие на медвежат, с злобным лаем набросились на партизан. В зале все знали, что это Володька [redacted] Ванька, но борьба на сцене так захватывала, всем так хотелось, чтобы партизаны победили, что [redacted] собаки стали собаками и даже вызывали к себе враждебное чувство.

Игорь Чернявин, третий партизан, с головой всклокоченной [redacted] с жидкой кущеватой бороденкой, возится с попом и кричит:

— Попался, пузатый черт!

Непривычная глубина зрительного зала, заполненная сотнями человеческих глаз, мелькание золотых эполет, орденских звезд и голубой ленты, огромный крест, сделанный из картона, захлебывающийся собачий лай под ногами, шипенье Вити Торского: «Не хватай за крест»,— все это так оглушило Игоря, что он вдруг забыл вторую свою реплику. Суфлер в будке разрывался на части и что-то подавал свистящим, злым шепотом, но Игорь так и не мог вспомнить эту фразу и кричал все одно [redacted] то же:

— Попался, пузатый черт!

Эта реплика вдруг перестала работать — попа повели в плен. Третий партизан должен падать раненым от выстрела худенького поручика. Самый выстрел давно прогремел за сценой, поручик давно тыкал пугачом [redacted] живот Игоря, а Игорь растерялся и снова начал:

— Попался, пу...

Он вдруг услышал из зала взрыв смеха и подумал, что это смех по поводу его возгласа. А может быть, имела значение [redacted] веревка на лапте. С самого начала боя она начала развязываться, потом Игорь почувствовал, что на нее наступают, наконец его нога выпрыгнула из лаптя. Игорь дрыгнул босой ногой и тут только вспомнил, что ему давно полагается падать, тем более, что и Зорин зашипел на него:

— Да падай же, Чернявин!

Собаки продолжали бешено лаять, но с одной из собак тоже происходило что-то странное. она добросовестно выполняла свои обязанности, бросалась на упавшего третьего партизана и даже одной рукой дернула за его лапоть, но между собачьими звуками у нее стали проскакивать звуки настоящего мальчишеского смеха. Видно было, что собака старается прекратить это явление, но смех все более и более, все победоноснее вторгался в ее игру, и, наконец, собака расхохоталась самым неудержимым звонким способом, каким всегда смеются мальчики в веселые минуты. С таким хохотом собака и убежала за кулисы, но собачью честь сохранила — убежала все-таки на четырех ногах.

Игорь лежал раненый [redacted] никак не мог разобрать, что такое происходит. Он слышал высокий, звонкий смех рядом с собой, слышал смех в зале, ему казалось, что это смеются над ним, над его босой ногой и слишком поздним падением.

Когда закрылся занавес, Игорь вскочил и выбежал за кулисы. За первым же деревом он натолкнулся на Клаву и Захарова. Они стояли вдвоем [redacted] о чем-то серьезно беседовали. Игорь похолодел и кинулся в сторону.

Мысль о том, что нужно бежать из колонии, молнией пронеслась у него, но в этот момент налетел Витя Торский.

— Что же ты бросил,— сказал он, протягивая лапоть,— надевай скорей!

Игорь вспомнил, что его актерский путь далеко не закончен, что предстоит еще три акта сложных партизанских действий. Он поспешил в уборную и там встретил общий радостный хохот. Ваня Гальченко, совершенно обескураженный, сидел в углу, может быть, он даже плакал перед этим, его щеки вымазаны были в саже. Рядом с ним Володя Бегунок катался по скамье и не мог остановить смеха.

— Ты пойми, ты пойми, Ванька! Собака смеется человеческим голосом. Вот это так собака!

Петр Васильевич Маленький сдирал с себя орденские знаки. Один он успокаивал Ваню:

— Ничего, Гальченко, ты не грусти. Хорошая собака всегда умеет смеяться, только, конечно, не так громко.

12. ТАИНСТВЕННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Володя Бегунок хохотал до тех пор, пока в уборную не пришел Захаров. Он подошел к Ване, теплой, мягкой рукой поднял за подбородок его голову:

— Гальченко, ты плакал, что ли?

— Он смеялся,— сказал Володя,— это такая собака, она сначала смеется, а потом плачет

Ване было грустно. Он с таким счастливым азартом готовился к спектаклю, он так хорошо научился лаять — гораздо лучше Володьки, а теперь он опозорен на всю жизнь, он не представляет себе, с какими глазами он покажется в бригаде, в колонии. И все из-за этого Игоря, который выскочил из своего лаптя и который ни за что не хотел падать. Санчо Зорин только что ругал Игоря за это:

— Что это такое: я в тебя стреляю, а ты стоишь, как баран, и еще кричишь! Надо же иметь соображение.

Петр Васильевич на это добродушно отозвался:

— Ты, Санчо, не придирайся. Соображение иметь — это очень трудная штука.

— Ничего не трудная.

— Трудная. Ты сам сейчас не имеешь соображения: «стоишь, как баран!» Почему ты думаешь, что если в барана стрелять, так он не будет падать? Ты ошибаешься, баран у нас не считается самым упрямым животным. Ты, наверное, хотел сказать — осел.

Под добродушным взглядом голубых глаз Петра Васильевича Зорин смутился и машинально подтвердил:

— Ну да, как осел.

Все засмеялись тому, как остроумно Петр Васильевич «купил» Зорина А Петр Васильевич так же добродушно положил руку на его плечо:

— Дорогой мой, осел тоже свалится.

Санчо рассердился:

— Да ну вас..

Все эти разговоры и шутки уменьшили было Ванино горе, но сейчас под ласковой рукой Алексея Степановича оно снова закипело, и снова Ванина черная рука потянулась к щеке Алексей Степанович сказал строго:

— Гальченко, это мне не нравится. За то, что ты хохотал в собачьей должности, на тебя никто не обижается. Бывают такие положения, когда никакая собака не выдержит, даже самая злая. А вот за то, что ты слезы проливаешь я, честное слово, дам тебе два наряда. Володька, сейчас же ступайте мыться! Молодец, Ваня! Ты замечательно играл собаку.

Сбросив с себя не только собачью одежду, но и человеческую, в одних трусиках, они побежали через парк. Никакого горя не оставалось в Ваниной душе. Володя бежал рядом с ним, вглядывался в темную дорожку и успевал вспоминать:

— Ты не думай. Я в прошлом году наступил на свой аэроплан. Три недели делал, а потом наступил. И так было жалко, понимаешь. Я лег на подушку и давай реветь. А тут он в спальню. Ну, так что это с тобой! Это пустяк. А на меня он как закричит! Как закричит: «К черту с такими колонистами! Не колонист, а банка с водой! Два наряда!» Ой-ой-ой! И пошел, сердитый такой. Да еще и дежурным бригадиром Зырянский попался: «Вымоешь вестибюль». Я мыл, мыл, а он пришел, Зырянский, и говорит: «Не помыл, а напачкал, сначала мой, не принимаю работы». Так я три часа мыл. Вот как было.

— А ты потом ревел? После этого хоть раз?

— После наряда?

— Ну да...

— Да что ты! А если он узнает, так что? Он тогда.. ого... он тогда со свету прямо сживет и на общее собрание. Теперь рюмзить.. если даже захотел, так как же ты будешь без слез? Я вон заиграл в прошлом лете сигнал «вставать» в четыре часа утра, так такое было... ой, ты себе представить не можешь! Разбудил всех, а дежурство еще раньше. Чего мне такое показалось на часах, я и сам не знаю. И все встали, и уборку сделали, а потом дежурный как посмотрел на часы... И то не плакал.

Володя вдруг остановился:

— Смотри!

Слева вспыхивал огонек, ярко освещал кирпичную стену, лица каких-то людей. Потом потухал и снова вспыхивал.

— Кладовка,— шепнул Володя.

— Какая кладовка?

— Кладовка. Производственная кладовка. Пойдем.

Мальчики пригнулись и, ступая на пальцы, побежали к кладовке. Здесь парк не был расчищен, было много кустов, их ноги тонули в мягкой, прохладной травке. У последних кустов они остановились: производственный двор Соломона Давидовича был освещен одним фонарем, кирпичный сарай-кладовка стоял в тени стадиона. Снова огонек. Было ясно видно — кто-то зажигал спички.

Ваня прошептал в испуге:

— Рыжиков!

— Верно, Рыжиков. А другой кто? Стой, стой! Руслан! Это Руслан! Это они добираются! Тише!

Слышно было, как Руслан сказал напряженным шепотом:

— Да брось свои спички! Увидят!

Голос Рыжикова ответил:

— Кто там увидит? Все в театре.

Они завозились возле замка, слабый металлический звук долетел оттуда.

Володя шепнул:

— Отмычка. Честное слово, они обкрадут и убегут.

С замком, видимо, что-то не ладилось. Рыжиков чертыхался и оглядывался. Володя сказал, наклонившись к самому уху Вани:

— Давай закричим.

— А как?

— Знаешь как? Я буду кричать: «Держите Рыжикова!..» Потом ты... нет... Давай вместе, только басом...

— А потом бежать.

— А потом... потом они нас все равно не поймают.

Ваня хотел даже громко засмеяться, так ему понравилось это предложение:

— Ой, ой, Володя, Володя! Давай будем кричать, знаешь как? Только тихо, только тихо. Будем так говорить: «Рыжиков, выходи на середину!»

— Давай, давай, только разом.

Володя поднял палец. Они сказали басом, пугающим, игровым голосом:

— Рыжиков, выходи на середину.

Их слова замечательно явственно легли на всей площадке производственного двора, мягко, отчетливо ударились в стены и отскочили от них в разные стороны. Там, у кладовки, очевидно, даже не разобрали, откуда они идут, эти страшные слова. Рыжиков и Руслан бросились бежать как раз к тем кустам, за которыми стояли мальчики. Володя и Ваня еле-еле успели отскочить в сторону.

Руслан глухо прошептал:

— Стой!

Рыжиков остановился, в его руках еще звенели отмычки. Руслан сказал тем же дрожащим шепотом:

— Какая это сволочь кричала?

— Идем в театр, а то узнают.

— Все твои спички. Говорил, не нужно...

Они быстро направились к главному зданию.

Володя запрыгал:

— Здорово! Вот потеха!

— Теперь нужно сказать Алеше,— сказал Ваня.

— Не надо. Алешка сейчас же хай подымет — и на общее собрание. Сейчас же скажет: выгнать.

— И пускай! И пускай!

— Да, чудак! Их все равно не выгонят. Они скажут: а какие доказательства? Мы гуляли. И все равно не выгонят. Давай лучше за ними смотреть. Интересно! Они про нас не знают, а мы про них знаем.

13. ВАМ ПИСЬМО [28]

На другой день утром Игорь Чернявин проснулся в плохом настроении. Лежал и думал о том, что из колонии необходимо бежать, что нельзя с таким делом стать на середине. Дежурила Клава Каширина. Одно ее появление на поверке заставило Игоря лишний раз вспомнить вчерашний ужасный вечер. Но Клава с веселой девичьей строгостью сказала: «Здравствуйте, товарищи», снисходительно пожурила Гонтаря за плохо вычищенные ботинки, Гонтарь дружески-смущенно улыбнулся ей, улыбнулась и вся бригада, в том числе и Игорь Чернявин. Трудно было не улыбаться: на сверкающем полу горели солнечные квадраты, дежурство в парадных костюмах тоже сияло, голос у Клавы был, наверное, с серебром, как в корнеты оркестра. И Игорь снова поверил в жизнь — не может Клава ябедничать, должна она понимать, как человек может влюбиться. Игорь весело отправился завтракать. Многие колонисты, даже из чужих бригад, встретили его приветливо, вспоминали и неумирающего третьего партизана и веселую собаку. Нестеренко за столом тоже сиял добродушно-медлительной радостью: собственно говоря, вчерашний спектакль, о котором сегодня так много говорят, был сделан силами восьмой бригады, даже новенький — Игорь Чернявин — и тот играл.

К столу быстро подошел Володя Бегунок, вытянулся, салютнул:

— Товарищ Чернявин!

Игорь оглянулся:

— А что?

— Вам письмо!

В руке Володиной у пояса вздрагивает аккуратный, основательный белый конверт.

— Откуда письмо? Это, может, не мне?

— Вот написано: «Товарищу Игорю Чернявину».

— Местное, что ли?

Володя сдержанно улыбнулся:

— Местное.

— От кого?

— Там, наверное, тоже написано.

— Что такое?

Игорь вскрыл конверт. И его стол и соседние столы были заинтересованы. Володя стоял по-прежнему в положении «смирно», но его глаза, щеки, губы, даже голые колени улыбались.

Игорь прочитал скупые, короткие строчки на большом белом листе.

«Товарищ Чернявин.

Прошу тебя сегодня вечером, после сигнала «спать», прийти ко мне поговорить.

А. Захаров».

Игорь прочитал второй раз, третий, наконец, покраснел, что-то холодное пробежало сквозь сердце.

Санчо Зорин привстал, заглянул в письмо, положил руку на плечо Игоря:

— Ну, Чернявин, я к тебе в долю не иду.

У Игоря еще больше похолодело в груди. Нестеренко, не выпуская стакана с чаем из одной руки, другую молча протянул к Игорю, взял письмо, прочитал:

— Д-да. А за что это, не знаешь?

Володя перестал улыбаться:

— Все понятно?

Нестеренко на него глянул свирепо:

— Володька! Убирайся!

— Есть убираться!

Убираясь, Володя все-таки бросил на Игоря и на всю восьмую бригаду намекающе-кокетливый взгляд.

— За что, не знаешь? — повторил вопрос Нестеренко.

Игорь опустился на стул, с опаской глянул на Гонтаря:

— Да .. наверное, девчонка эта...

— Ага! Девчонка? Послушаем!

Тихонько, чтобы не слышали другие столы, заикаясь, не находя слов, краснея и бледнея, Игорь рассказал о вчерашнем несчастном случае в парке. И закончил:

— И больше ничего не было.

Нестеренко не долго размышлял:

— Влетит. Алексей за такие дела... ой-ой-ой!

Гонтарь с самого начала рассказа смотрел на Игоря прищуренными, презрительными глазами, а сейчас наклонился ближе, чтобы не слышали другие столы, и сказал Игорю в лицо:

— Видишь, какой ты гад! А ты этой девчонки, понимаешь, и мизинчика не стоишь. Жалко, что тебя Алексей вызывает, а то я подержал бы тебя в руках...

Нестеренко и Зорин ничего на это не сказали, наверное, были согласны с тем, что Чернявин — гад. И с тем, что его стоит подержать в руках.

Игорь склонился к тарелке:

— Ну его к черту! Уйду.

Нестеренко откинулся на спинку стула, задумчиво закатал под пальцем крошку хлеба.

— Нет, не уйдешь. Алексей знает: если бы ты мог уйти, он бы тебе письма не написал, а затребовал бы с дежурным бригадиром.

Гонтарь сказал с прежним презрением:

— Да и кто тебе даст убежать? Думаешь, бригада? Ты об этом забудь.

После завтрака Игорь в тоске бродил по парку, по двору, наконец по коридору. Он рассчитывал, что Захаров будет проходить мимо и с ним поговорит. Но Захаров не выходил из кабинета, а к нему все проходили и проходили люди: то Соломон Давидович, то бухгалтер, то Маленький, то какие-то из города, то Клава. Клава не замечала его.

По дорожкам цветника гуляет Ваня. Володя Бегунок сзади набежал на него, обхватил руками. Повозились немного, и Володя зашептал:

— А ты знаешь? Чернявина в кабинет... Алексей... вечером в кабинет. Ой, и попадет же! Он эту... Оксана там такая .. поцеловал...

— Поцеловал?

— Три раза, в саду!

— Прямо так поцеловал? И все?

— А тебе мало? Это, знаешь, очень строго запрещается. Один раз поцеловать — [redacted] то попадет. А то три раза!

— И что же ему будет?

— Я к нему [redacted] долю не иду!

В коридоре главного здания Игорь-таки дождался Захарова. Алексей Степанович проходил не спеша, очевидно, отдыхал. Он приветливо ответил на салют Игоря:

— Здравствуйте, Чернявин.

Но не остановился, ничем не показал, что он состоит некоторым образом [redacted] переписке с Игорем.

— Алексей Степанович, [redacted] получил записку. Нельзя ли сейчас?

— Нет, почему же... Я просил вечером...

— Для меня, видите, ли... удобнее сейчас.

— А для меня удобнее вечером.

И снова Игорь бродит по парку, по двору, по тихому клубу. Бежать ему не хочется. Бежать будет неблагородно: получить такое вежливое письмо и бежать. Успокоительные мысли приходят в голову: что с ним сделает Захаров? Под арест не посадит, под арестом сидят только колонисты. Наряды? Пожалуйста, хоть десять нарядов Чепуха! Успокоительные мысли приходили охотно и были убедительны, но почему-то не успокаивали. До сигнала «спать» оставался еще обед, потом работа [redacted] сборном цехе, потом ужин, потом два часа свободных, потом рапорты бригадиров, потом уже сигнал «спать». Этот сигнал, спокойный, умиротворенно-красивый, сейчас предчувствовался как нечто ужасное. И слова сигнала, которые колонисты часто напевали, услышав трубу:

Спать пора, спать пора, ко-ло-нис-ты,
День закончен, день закончен трудовой...

эти слова не подходили к тому, что ожидало Игоря после сигнала.

За обедом колонисты не говорили с Игорем, и он был рад этому: яснее становилось положение, уже не было охоты оправдываться и защищаться. Хотелось только, чтобы скорее все окончилось.

Но после работы в обсуждении положения приняла участие вся бригада. Самое длинное слово сказал Рогов. Его слово [redacted] особенности звучало веско потому, что к своим словам он ничего не прибавил мимического, [redacted] нем не было ни злобы, ни презрения:

— Попадет тебе здорово. Это и правильно. Оксана — батрачка, надо это понимать, [redacted] ты сидишь здесь на всем готовом, да еще и целоваться лезешь... конечно, свинья!

Вечером, когда уже забылся ужин, когда возвратился Нестеренко с рапортом [redacted] Бегунок прогуливался во дворе со своей трубой, отношение к Игорю стало душевнее и мягче. Наконец пропел сигнал. Зорин подошел к Игорю:

— Ну, Чернявин, собирайся.

Нестеренко сказал медленно, похлопывая по столу ладонью:

— Я так надеюсь, что ты все обдумал как следует.

Игорь грустно молчал. Зорин взял его за пояс:

— Ты, дружок, духом не падай. Алексей — он такой человек, после него как после бани.

— Мы, Санчо, его проводим, ладно? — сказал Нестеренко.

Они спустились вниз. В вестибюле сидел Ваня Гальченко. Он улыбнулся. Посмотрел, как они направились по коридору в кабинет, и побежал за ними. В комнате совета бригадиров никого не было. Из кабинета открылась дверь, вышли Блюм и Володя Бегунок. Володя сказал:

— Иди сейчас, Чернявин.

Игорь двинулся к дверям:

— Он злой?

— О! Такой, честное слово,— из носа огонь, из ушей дым идет!

Володя сделал страшное лицо, топнул на Игоря ногой. И Блюм и Зорин рассмеялись, Ваня, напротив, готов был принять это сообщение с полной серьезностью. Нестеренко поднял руку:

— Иди, сын мой. Давай я тебя благословлю.

Игорь открыл дверь.

Захаров сидел за столом. Увидев Игоря, кивнул на стул:

— Садись.

Игорь сел и перестал дышать. Захаров оставил бумаги, потер одной рукой лоб.

— Я тебе должен что-нибудь говорить или ты сам все понимаешь?

Игорь вскочил, положил руку на сердце, но ему стало стыдно этого движения, бросил руку вниз.

— Алексей Степанович, все понимаю... Простите!

Захаров посмотрел Игорю в глаза, посмотрел внимательно, спокойно. И сказал медленно, немного сурово:

— Все понимаешь? Это хорошо. Я так и думал, что ты человек с честью. Значит, завтра ты сделаешь все, что нужно?

Игорь ответил тихо:

— Сделаю.

— Как же ты это сделаешь?

— Как? Я... не знаю. Я буду говорить, просить, чтобы простила... Оксана.

— Так... Ну что же... правильно. До свидания. Можешь идти.

Игорь, легкий от радости, салютнул, быстро пошел к двери, но у дверей остановился:

— Вам потом... доложить, Алексей Степанович?

— Нет, зачем же... Я и так знаю, что ты это сделаешь. Зачем же докладывать.

Игорь забросил руку на затылок, скинул ее вниз уже тогда, когда очутился в комнате совета бригадиров. Все смотрели на него выжидательно, а он как будто никого и не видел. Ваня крикнул:

— Ну, что? Ну, что?

Нестеренко присмотрелся к Игорю:

— Перевернул?

Игорь тряхнул головой.

— Ну и человек! Ну его...

Он остановился, удивленный, посреди комнаты.

— Понимаете, он мне ничего не говорил!

— А ты сам все говорил?

— А я сам все говорил.

— Хорошо, если ты умное говорил.

— Представьте, я говорил довольно умное.

Зорин сверкнул глазами:

— Это он правильно! Почему это так, товарищи? Я и сам замечал: живешь, так .. обыкновенно, а попадешь [redacted] кабинет, как будто сразу поумнеешь[29] Стены, что ли такие?

— Наверное, стены,— согласился Нестеренко добродушно-лукаво.

14. ФИЛЬКА

Пришел август: прозрачные вечера и яблоки на третье по выходным дням. Колонисты перебрались в новые спальни — в новых спальнях места больше. В новой спальне кровать Вани стоит рядом с кроватью Фильки Шария, нового Ванина друга. Сдружились они на работе в литейном цехе, но характеры у них разные.

Филька Шарий очень боевой человек, знающий себе цену, уверенный, что со временем он будет киноартистом В сущности, он был очень проказлив. Он был убежден [redacted] том, что суть жизни состоит в приключениях, сложных [redacted] смелых. Но Филька целых пять лет, с восьмилетнего возраста, жил в колонии, был одним из немногих старожилов и шел одиннадцатым номером по списку старых колонистов. Это обстоятельство, бывшее для Фильки постоянным источником гордости, одновременно мешало Фильке отдаваться своим естественным склонностям к проказам. Он не мог представить себе, что он стоит «на середине» и отдувается перед какими-то новичками, которые, в сущности, ничего и не видели в жизни: не видели и пустого поля на месте нынешней колонии, не жили в деревянном бараке, не работали на картошке [redacted] не присутствовали при организации оркестра, [redacted] котором Филька играет на первом корнете.

По всем этим причинам Филька проказить-то проказил, но очень хорошо ощущал ту границу, где оканчивались проказы допустимые и начинались, так сказать, «серединные». Филька боялся только «середины», Захарова он не очень боялся. Любил поговорить с ним, всегда вступал в спор, оправдывался до последнего изнеможения и сдавался только тогда, когда Захаров говорил:

— Что же? Значит, ты со мной не согласен? Перенесем вопрос на общее собрание.

Алексей Степанович насквозь видел Фильку, но и Филька насквозь видит Алексея Степановича. Филька прекрасно понимает, что прав он, Филька, [redacted] не Захаров, но Захаров — заведующий и может перенести вопрос на общее собрание. Филька смотрит на Захарова исподлобья, решительно отказывается отвечать на его улыбку и, наконец, говорит низким альтом:

— Как что, так сейчас же общее собрание. Вы имеете право наказать — и все

Захаров, конечно, ломается:

— Ты старый колонист. Как [redacted] могу тебя наказывать, если ты считаешь себя правым? Перенесем вопрос на собрание.

Тогда Филька отворачивается, размышляет. Но что может дать размышление, если общее собрание все равно должно стать на сторону Захарова? И Филька сдается окончательно:

— Разве я говорю, что я прав?

— Да мне показалось.

— Я совсем не говорю, что я прав. Я, конечно, виноват.

— Ты полчаса спорил.

— Никаких там полчаса... может, пять минут.

— Хорошо. Получи один час ареста за то, что обливал водой в коридоре, и один час ареста за то, что споришь, когда на самом деле считаешь себя виноватым.

Филька хмурит брови. Но сила солому ломит, и Филька, не поднимая бровей, поднимает руку.

— Есть час ареста и еще час ареста.

В этой сложной формуле Захаров улавливает осуждение своих действий, но улыбается по-прежнему:

— Можешь идти.

Филька не спеша, разочарованно поворачивается и очень медленно бредет к дверям. Захаров еще раз может видеть, что Филька не признает его справедливости.

В выходной день или в свободный вечер Филька вручает свой узенький черный пояс дежурному бригадиру и останавливается перед столом Захарова:

— Под арест прибыл.

У Фильки брови нахмурены, губы чуть-чуть вздрагивают, но в глазах улыбка. Захаров говорит:

— Пожалуйста.

Филька усаживается на диване и берет в руки очередной номер «Огонька». Он очень жалеет, что нет близко кинооператора и никто не снимет замечательный кадр: «Филька под арестом». Но это сожаление чисто артистическое, а на самом деле Филька очень любит старую колонистскую традицию, по которой считается неприличным после того, как наложено наказание и сказано в ответ «есть», заводить какие-нибудь споры или выпрашивать прощение. Захаров тоже почитает эту традицию и никогда не предложит Фильке свободу на час раньше. Он не хочет, чтобы Фильку обвиняли товарищи в том, что он «выпросился».

Таким образом Филька и заведующий в момент выполнения приговора находятся в единодушном настроении. Они могут в полном согласии провести вместе два часа. Их мирным отношениям вполне соответствует правило, запрещающее арестованному разговаривать с кем-нибудь, кроме заведующего. Они и разговаривают между собой о том о сем — о литейном цехе, о Соломоне Давидовиче, о новом здании, о бригадных делах, а также и о международном положении. Сидя на диване, положив ногу на ногу, перелистывая журнал, Филька высказывает свои мнения по всем этим вопросам; острых вопросов, касающихся его лично, он не поднимает. А такие вопросы есть, в них не всегда Филькино мнение сходится с мнением Захарова. Например, драматический кружок. Откуда-то набираются актеры, разные Чернявины и Зорины, которые играют партизан и поручиков, и Фильке иногда предлагают роль пионера, а большею частью и

ничего не предлагают, а просто говорят: подрасти Он должен подрастать, он, Филька Шарий, который еще два года назад ездил в Москву без разрешения к директору кинофабрики. Правда, директор тоже сказал «подрасти»! Кроме того, по возвращении Фильке пришлось стоять на середине, и Алеша Зырянский решительно возражал против его принятия в колонию. Но все-таки... все-таки Филька действительно играет, а не просто ходит по сцене и вякает за суфлером.

С Ваней Филька сдружился и потому, что учил Ваню шишельному делу, и потому, что Ваня — новенький и признает Филькин авторитет, и колонистский и артистический. Филька снисходительно простил ему выступление в роли собаки; для новенького... что ж... и эта роль хороша Попробовали бы предложить эту роль Фильке!

В литейном цехе продолжается борьба с дымом. Соломон Давидович, как ни вертелся, довел-таки это дело до скандала. На совете бригадиров, собравшемся экстренно в обед, Зырянский сказал:

— Постановить: раз нет вентиляции — пацанов в литейной с работы снять. И больше ничего!

Соломон Давидович закричал:

— Как снять? Как снять? Что вы говорите? А кто будет делать шишки?

— Все равно снять. Пускай там Нестеренко, и Синицын, и Руксов страдают, а пацанов снять.

И как ни убеждал, как ни обещал, как ни обижался Соломон Давидович, а совет бригадиров постановил: малышей из литейного цеха снять немедленно. Соломон Давидович прибежал в кабинет Захарова, терпеливо переждал, пока разойдутся посетители, и, оставшись наедине, спросил с укором:

— Как же вы так молчите? Вот они взяли и постановили. Ну, а теперь что?

— Я и сейчас молчу, Соломон Давидович.

— Ну и что?

— Ну и ничего.

— Конечно, слово — серебро, а молчание — золото, но нельзя же молчать, если какие-то мальчишки разрушают целое большое дело.

Вошел Витя Торский с листом бумаги:

— Приказ о снятии шишельников.

Захаров молча подписал. Витя подмигнул Соломону Давидовичу и вышел. Соломон Давидович закричал:

— Вы подписали?

— Подписал.

— Снятие шишельников?

Он не дождался ответа — выбежал. Быстро, задыхаясь, пробежал мимо часового, по дорожке цветников, мимо «стадиона» и кузницы, хлопнул окованной дверью механического цеха и вторгся в деревянную конторку Волончука:

— Товарищ Волончук, где же труба?

— Какая труба?

— Как какая? Вентиляция, черт бы ее побрал!

— Так железа же нет!

— Железа нет? Я должен принести вам железо?

— Я и сам принесу! Так его нету!

Соломон Давидович запрыгал перед Волончуком, разгневался:

— Нету? Нету? Идем! Идем, я покажу вам железо.

Волончук удивленно поднял скучные глаза.

— Идем! — кричал на него Соломон Давидович.

Соломон Давидович со скоростью ветра пролетел через двор. Волончук делал за ним двухметровые шаги и не успевал. На углу машинного цеха отвалился нижний конец водосточной трубы. Соломон Давидович на ходу оборотился к Волончуку, показал пальцем:

— Это вам железо?

Пока медлительный Волончук посмотрел на железо, пока собрался посмотреть на Соломона Давидовича, тот был уже далеко. Волончук снова начал делать шаги длиною в два метра.

У крыши старого сарая давно отвернуло бурей лист железа. И на этот лист показал Соломон Давидович и закричал гневно:

— Это вам железо?

И на это железо так же медленно посмотрел Волончук и ничего не возразил, потому что это действительно было железо.

Наконец Соломон Давидович подлетел к куче всякого хлама. Наверху кучи лежала прогоревшая, проржавевшая, выброшенная печка-буржуйка. И в сторону буржуйки ткнул пальцем Соломон Давидович и сказал саркастически:

— Может, вы скажете, что это не железо?

Волончук поднял глаза на буржуйку да так и остался стоять. Разгневанный Соломон Давидович давно скрылся в недрах стадиона, а Волончук все стоял и смотрел. Потом он глянул в ту сторону, куда убежал начальник, злобно плюнул и опять вперил взгляд в буржуйку. В таком положении и застал его Виктор Торский, проходящий мимо, и спросил:

— Товарищ Волончук, чего вы здесь стоите?

Не оборачиваясь, Волончук мотнул головой и ухмыльнулся пессимистически:

— Это, говорит, вам железо.

Витя Торский засмеялся и пошел дальше.

Соломон Давидович пролетел сборный цех, потом машинный цех, потом швейный цех, потом другие цехи, везде отдавал нужные распоряжения, спорил, огрызался, доказывал, но был весел, остроумен и напорист. Такой же жизнерадостный, сделав полный круг, он влетел в комнату совета бригадиров, потный и задыхающийся, упал на диван, положил руки на живот и сказал Вите Торскому:

— Можете ваш приказ отменить. Что у нас за люди, объясните мне, пожалуйста? Вдруг сегодня такие разговоры: для вентиляции нету железа. Так я им сейчас показал столько железа, что его хватит на сто вентиляций.

Витя Торский поднял одну бровь, но Соломон Давидович уже улетел.

К вечеру у него было хорошее настроение. Он деятельно занимался в своей конторке, перебирал ордера, наряды, что-то подсчитывал. Вошел мастер литейного цеха Баньковский, стал у дверей. Соломон Давидович спросил энергично:

— Сколько сегодня отливка?

— Четыреста масленок.

— Почему так мало?

— Завтра совсем не будет

— Как это не будет?

— Шишельники сегодня ушли. Говорят — приказ. И завтра, сказали, не придут.

— Какие шишельники? Вот эти самые Гальченки разные, Мальченки! Так они же пацаны. Что вы, не можете с ними поговорить!

— Да, с ними поговоришь! А на завтра ни одной шишки.

— А вы не можете сами сделать?

— Все сам да сам Я и начальник цеха, и мастер, и литейщик . . и шишельник. Спасибо вам И барабан мои.

— Барабану вы можете спокойно сказать: ауфвидерзейн.

— Как это так?

— А так: завтра оценю барабан как представляющий по качеству лом. И заплачу вам пятнадцать процентов

— Соломон Давидович!

— Отоприте литейную! Сейчас придут шишельники.

Соломон Давидович знал, куда нужно обращаться: он отправился прямо в четвертую бригаду Там в спальне он нашел Фильку и сказал ему:

— Ты же понимаешь, это ваши деньги и ваше производство. Это не мое производство. Может, ты воображаешь, что ты какой-нибудь паршивый шишельник? Так это неверно Вы сегодня ушли, завтра не будет отливки, и будут стоять литейщики, токаря, никелировщики и упаковщики. И мы не выпустим тысячу масленок, легко сказать: тысяча машин без масленок, а мы теряем пятьсот рублей чистой прибыли. Разве ты не понимаешь?

— Я понимаю.

— Ну вот: ты — хороший мальчик. Возьми этого Петьку, Кирюшку, Ваньку, Семена и так далее и приходи в литейную.

— Так... приказ.

— Что такое приказ?.. Сейчас же литья нет, дыма нет, никого нет До сигнала «спать» успеете сделать тысячу шишек.

— Все равно... приказ.

— Ах, какой ты...

И уговорил Соломон Давидович Фильку Через полчаса открылась дверь в пустую литейную и в нее вошли: Соломон Давидович, Филька, Ваня Гальченко, Петька Кравчук и Кирюша Новак Остальных Филька не нашел. В литейной Соломон Давидович тихо спросил:

— Вас никто не видел?

— Нет, никто,— так же шепотом ответил Филька.

Шишельники немедленно приступили к работе. Глухо застучали по песку деревянные молотки, больше никаких звуков не было, никто не разговаривал, не делился впечатлениями. Но через час дверь в литейную распахнулась, и голоногий Володька вытянулся на пороге:

— Товарищи колонисты! Распоряжение заведующего колонией!

Блюм скривил лицо, замахал на Володю руками:

— Какие там еще распоряжения? Потом скажешь. Видишь, люди работают!

Володя завертел головой:

— Эге. Это дело серьезное. Всем товарищам: Шарию, Гальченко, Кравчуку и Новаку немедленно отправиться под арест в обычном порядке!

Филька замер на месте:

— Ох, ты черт! На сколько часов?

— Не на сколько часов, а до общего собрания.

Все четверо застыли. Кто-то выронил молоток. Филька косо посмотрел на Соломона Давидовича:

— Я говорил!

Володя Бегунок, уступая дорогу, сказал серьезно:

— Пожалуйте, товарищи.

Четверо молча, гуськом вышли. Бегунок на пороге прищурился на Соломона Давидовича и тоже убежал. Соломон Давидович сказал:

— Какой испорченный мальчик!

15. ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ОБОРОТОВ

Это было дело серьезное: четверо обвиняемых стояли на середине без поясов — они считались арестованными.

Перед этим они два тяжелых часа просидели в кабинете Захарова. Дежурный бригадир Нестеренко входил и выходил, что-то негромко сообщал Алексею Степановичу,— на арестованных даже не глянул. Обычно эти часы от ужина до рапортов — самые людные часы и в кабинете, и в комнате совета бригадиров. А сейчас как сговорились: никто в кабинет не заходит, а если и заходит, то строго по делу. И сам Алексей сегодня «не такой»: он что-то там записывает, перелистывает, считает, на входящих еле-еле подымает глаза и говорит сквозь зубы:

— Хорошо!

— Все! Можешь идти!

Арестованным за все это время он не сказал ни слова. Володе он сказал:

— Блюма! Срочно!

И Володя как-то особенно отвечает «есть» шепотом.

Блюм пришел подавленный, краснолицый, на арестованных не посмотрел, сел и сразу вытащил из кармана огромный платок — пот его одолевал. Захаров заговорил с ним сухо:

— Товарищ Блюм. Литейную я закрываю на неделю. Заказ на десять тысяч масленок литья из нашего сырья и по нашим моделям я уже передал Кустпромсоюзу

Соломон Давидович хрипло спросил:

— Боже мой! По какой же цене?

— Цена с нашей доставкой — два рубля стан.

— Боже мой! Боже мой! — Соломон Давидович встал и подошел к столу: — Какой же убыток! Нам обходится в шестьдесят копеек!

— Я дал распоряжение кладовщику сейчас начать отправку в город моделей и сырья.

— Но вентиляцию можно поставить за два дня! А вы закрыли на неделю!

— Я так и считаю: первые три дня вентиляцию будете ставить вы; я уверен, что она будет сделана плохо, я ее не приму. После этого четыре дня вентиляцию будет ставить инженер, которого я приглашу из города.

— В таком случае, Алексей Степанович, я ухожу.

— Куда уходите?

— Совсем ухожу.

— Я всегда этого боялся, но теперь перестал бояться.

Соломон Давидович перестал вытирать пот, и рука его с огромным платком застыла над лысиной. И вдруг он оскорбился, забегал по кабинету, захрипел:

— Ага! Вы хотите сказать, что Блюм может убираться к черту и тогда все будет хорошо? По вашему мнению, Блюм не может управлять таким паршивым производством. А если у Блюма на текущем счету триста тысяч, так это, по-вашему, не стоит ломаного яйца Вы пригласите инженера, который все спустит на разные вентиляции и фигели-мигели. Я не против вентиляции, хотя сколько людей работали без вентиляции, пока ваш Колька не придумал литейную лихорадку. Очень бы я хотел посмотреть кого здесь в колонии лихорадило, кроме этого Кольки-доктора. А теперь будем ставить вентиляцию, а через год все равно эту литейную развалим.

Он еще говорил долго. Захаров слушал, склонив голову к бумагам, слушал до тех пор, пока Соломон Давидович не уморился.

А после этого он сказал:

— Соломон Давидович, я знаю, вы преданы интересам колонии, и вы хороший человек. А поэтому извольте принять мои распоряжения к исполнению. Все!

Соломон Давидович развел короткими руками:

— Это, конечно, все, но нельзя сказать, чтобы это было мало для такого старика, как я.

— Это советская норма,— сказал Захаров и кивнул головой.

— Хорошенькая норма! — Блюм, за неимением других свидетелей, обернулся к дивану.

На диване, вытянувшись, сидели четверо арестованных. Из них только Филька взирал на Захарова с выражением пристального осуждения. Остальные тоже смотрели на Захарова, но смотрели просто потому, что были загипнотизированы всем случившимся и с грустной покорностью ожидали дальнейших событий. У Петьки спиральный чубик на лбу стоял сейчас дыбом. У Кирюши Новака круглое глазастое лицо блестело в слезном горе. Все они были в спецовках, в том костюме, в каком застала их катастрофа. Блюм ушел печальный. Уходя, сказал:

— Я надеюсь, я могу не быть на этом... общем собрании.

— Можете не быть.

В дверь заглянул Нестеренко:

— Даю на рапорта, Алексей Степанович!

— Давай!

Через полминуты за окнами прозвучал короткий, из трех звуков, сигнал. Одиннадцать бригадиров и ДЧСК собрались еще через минуту. Все выстроились в шеренгу против стола Захарова. Филька потянул за рукав Ваню, арестованные тоже встали. Один за другим подходили бригадиры к Захарову, говорили, салютуя:

— В первой бригаде все благополучно!

— Во второй бригаде все благополучно!

Но этого не мог сказать Алеша Зырянский. В шеренге он стоял расстроенный и суровый, такой же подошел к Захарову:

— В четвертой бригаде серьезное нарушение дисциплины: колонисты Шарий, Кравчук и Новак и воспитанник Гальченко не подчинились приказу по колонии и вечером вышли работать в литейный цех. Вашим распоряжением передаются общему собранию.

Захаров выслушал его рапорт так же спокойно, как и рапорты других, так же поднял руку, так же тих сказал:

— Есть.

Рапорт Зырянского дословно повторил дежурный бригадир Нестеренко.

Приняв рапорты, Захаров сказал:

— Давайте собрание!

Володя Бегунок со своей трубой выбежал из кабинета. Бригадиры вышли вслед за ним.

Сигнал на общее собрание всегда игрался три раза: у главного здания, на производственном дворе и в парке. После трех раз Бегунок возвращался снова к главному зданию и здесь играл уже не целый сигнал, а только его последнюю фразу. Во время этой фразы Витя Торский обыкновенно открывал собрание. Поэтому в колонии было принято на общее собрание собираться бегом, чтобы не остаться за дверью в коридоре. Большинство колонистов приходило в тихий клуб до сигнала.

Ваня Гальченко и его товарищи, сидя на диване в кабинете, горестно вслушивались в привычное чередование звуков: слышали шум шагов в коридоре, молчаливыми, грустными глазами проводили Алексея Степановича, который тоже ушел на собрание. Они не имели права сейчас войти в тихий клуб, занять место среди товарищей — их должен привести дежурный бригадир.

Стало тихо. Очевидно, Витя открыл собрание. Петька вздохнул:

— Влопались!

Ему никто не ответил. Кирюша быстро вытащил платок, высморкался и посмотрел на потолок.

Еще прошло пять минут. Из тихого клуба донесся взрыв смеха. Филька метнул взглядом в сторону тихого клуба: в этом смехе таилась какая-то надежда. Только через десять минут в дверь заглянул Нестеренко:

— Прошу вас...

Филька взглянул на его лицо: ничего, вежливый, официальный камень.

Гуськом вошли в тихий клуб. Нестеренко повел их прямо на середину. В общей тишине сказал кто-то один:

— Рабочий народ! В спецовках!

Смех пробежал, быстрый, легкий. В нем не столько шуму, сколько дыхания. И снова стало тихо, и Филька понял, что придется плохо.

Витя Торский начал мучительно спокойно:

— Колонисты Шарий, Кравчук и Новак и воспитанник Гальченко, дайте объяснение, почему вы не подчинились приказу и пошли работать в цех. Только нечего рассказывать, как Соломон Давидович уговорил и как вы уши развесили. Это мы знаем. А вот по главному вопросу: как вы посмели не подчиниться приказу колонии? Приказ, как у нас полагается,

вы слушали стоя. Ты, Филя, старый колонист, одиннадцатый по списку, давай объяснения первым.

Но раньше чем Филя открыл рот, попросил слово Владимир Колос

— Товарищи, я считаю, тут кое-что нужно выяснить. Невыполнение приказа через час после объявления, да не в одиночку, а целой группой — большое дело, и это все понимают. Самое меньшее, что им грозит,— это лишение звания колониста, перевод в воспитанники. А раньше за такие дела мы из колонии выставляли. Так?

Большинство из собрания ответило:

— Так. .

— А как же?

Колос продолжал:

— Только вопрос: кто должен отвечать? Здесь стоит воспитанник Ваня Гальченко, который в колонии всего два месяца. Он отвечать не может. Его нужно немедленно отпустить и не считать его вины никак. С ним были три колониста, из них Филька самый старый. Но нужно еще вызвать на середину бригадира четвертой Алексея Зырянского, моего друга, между прочим.

Владимир Колос сел на место. Его речь произвела впечатление ошеломляющее. Стало так тихо в зале, что слышно было, как дышат пацаны на середине. Зырянский сидел у самой трибуны на ступеньках, низко опустив голову. Председатель не знал, как поступить с предложением Колоса. Он оглядел зал, бросил тревожный взгляд на Захарова и, очевидно, оттягивая время, сказал:

— Насчет Вани Гальченко вопрос поставлен правильно. Его нужно немедленно отпустить. Есть возражения?

Никто не сказал ни слова. Ваня Гальченко сейчас никого не волновал: что там — новенький малыш!

— Товарищ Нестеренко! Ваня Гальченко может уходить. Иди, Ваня!

Ваня понял, что с него обвинение снято, но странно было, что это его не обрадовало. Уходя, он оглянулся на середину. Там оставались три его товарища. Он вспомнил, что звание колониста получит только через два месяца. Но пока он оглядывался, Лида Таликова потянула его за руку:

— Ваня, уходи, пока цел!

Она усадила его рядом с собой. Ваня помнил ее со знаменательного дня своего приема, и он улыбнулся ей благодарно. Потом его глаза снова устремились на середину: говорил Филька, говорил громко, обиженно:

— Неправильное предложение сделал Колос. Неправильно! Алеша не может отвечать на середине. Алеша пускай отдувается в совете или с своего места, а на середину ему нельзя выходить. Я сам за себя отвечаю, и Новак, и Кравчук. А мы виноваты, только смотря как. Другое бы дело — пошли для своего интереса. А мы пошли для колонии. Потому — на завтра не было ни одной шишки. А приказ мы не разобрали, думали, это когда дым, а вечером не было дыма, думали, что ж, можно пойти. .

Фильку слушали серьезно, но ни одного звука одобрения никто не произнес. Он закончил речь, нахмурился, провел взглядом вокруг и вздохнул.

Не такой народ колонисты, чтобы их можно было запутать на слове. И Филька в этом убедился немедленно. Брали слово и старшие,

и помоложе, и бригадиры, и просто колонисты. Филька вдруг услышал много такого, о чем он думал только сам с собой по строгому секрету:

— Сейчас на общем собрании Филька ведет себя безобразно. Да, безобразно, нечего на меня посматривать. Самое главное — врет, вы понимаете, врет общему собранию: он живет в колонии пять лет, а тут не разобрал приказа. А почему тайно пошли работать? Почему об этом не сказали дежурному бригадиру? Когда у нас такое было, чтоб малыши работали по вечерам?

— Филька — единоличник. Давно это знаем. А только он умеет: туда-сюда, хвостом вильнет, смотришь, обошел всех. И Алексей Степанович к нему имеет слабость: под арестом часто держит, а на общее собрание вот за два года первый раз.

— На Фильку посмотреть внимательно: киноартист, как же! А собаку играть— куда тебе, такая знаменитость будет собаку играть! Ему давай большевика самого главного. А какой он большевик? Он приказа не понял. И пускай Жан Гриф скажет, как он в оркестре. Пускай скажет.

И Жан Гриф говорил. Он действительно похож на француза, хотя в колонии все знают, что раньше его звали Иван Грибов, только доказательств никаких нет,— Жан Гриф, и все. Он смуглый, тонкий, изящный — будущий дирижер.

— Филя дисциплину в оркестре не нарушает, но бывает так, что такое наблюдается — не слышно первых корнетов? А это, видите ли, Филя обиделся, не дали ему соло, а Фомину дали. Извольте догадаться. А он сидит, держит корнет и даже, представьте, щеки надувает. А бывают такие эпизоды. Приходим играть концерт в медицинском институте. Филя заявляет: у меня болит в груди,— грудь у него такая больная сделалась,— играть не могу! А заменить его некем: у него одна фраза, помните, такая — в «Веснянке» Лысенко. Болит в груди. Доктора, что ли звать? Хорошо, что я догадался, пересадил его на другой стул. Спрашиваю: будешь играть? Ничего, говорит, как-нибудь потерплю,— и даже лицо сделал такое жалобное. А на самом деле просто место ему не понравилось, не видно из публики, какой он красивый.

Филя смотрел куда-то в глубь паркета, шевелил пальцами опущенных рук, немного щурился: не ожидал он от Жана Грифа такой речи,— очень нужна ему, Филе, публика!

Поднялся Марк Грингауз — секретарь комсомольской ячейки:

— Я не думаю, что можно поставить Зырянского под люстрой. Зырянский хороший бригадир и колонист. Если в бригаде бывают случаи, он может раньше ответить перед советом бригадиров или перед комсомольской организацией, а нельзя бригадира по всякому случаю вытаскивать на середину. Это Владимир загнул; а такого у нас никогда не бывало. Выходили и бригадиры, но только за личную вину.

Витя спросил:

— По вопросу о Зырянском больше никто не скажет? Я голосую.

Только две руки поднялись за выход Зырянского. Филя вздохнул громко — самая большая опасность прошла.

А потом говорил Захаров. Он встал на своем месте, положив руки на спинку стула, на котором сидел Бегунок. В его словах была убедительная теплота, даже когда он произносил суровые слова. Филя повернул к нему

лицо и смотрел, не отрываясь, до самого конца его речи: сегодня был не такой вечер, чтобы можно было не соглашаться со словами Захарова. И некоторые места этой речи Филе безусловно понравились. Например, такие:

— ...Колония Первого Мая заканчивает седьмой год. Я горжусь нашей колонией, и вы гордитесь. В нашем коллективе есть большая сила и большой, хороший разум. Впереди у нас радостно и светло. Сейчас у нас на текущем счету триста тысяч рублей. Государство нам поможет, потому что мы заслужили помощь; мы любим наше государство и честно делаем то, что нашей стране нужно: учимся правильно, по-советски жить. Скоро мы начнем строить новый завод.

...Я всегда горжусь тем, что мы с вами гордо пережили тяжелые времена, когда у нас не хватало хлеба, когда у нас бывали вши, когда мы не умели правильно жить. Пережили с честью потому, что верили друг другу, и потому, что у нас была дисциплина... Среди нас есть люди, которые считают: дисциплина — это очень хорошо, это приятная вещь. Но так только до тех пор, пока все приятно и благополучно. Чушь! Не бывает такой дисциплины! Приятное дело может делать всякий болван. Надо уметь делать неприятные вещи, тяжелые, трудные. Сколько у вас таких найдется, настоящих людей?

Захаров остановился, требуя ответа. И кто-то не выдержал, ответил горячо:

— Много таких найдется, Алексей Степанович!

Захаров не удержался в суровом напряжении, улыбнулся детской своей улыбкой, посмотрел на голос:

— Ну, конечно, это правильно: у нас много таких найдется, а... вот,— он обратился к середине,— вот стоят. Как о них сказать? Хорошие они люди или плохие? Кирюша, Кравчук и Шарий. Здесь их чересчур сильно ругали, даже называли единоличниками. Это не так. Филя не единоличник, справедливый человек, трудящийся, колонии нашей предан, а в чем беда? Беда в том, что колонисты начали шутить с дисциплиной. Дисциплина, они думают, это такая веселая игра: хочу — играю, хочу — не играю,— выслушали приказ, наплевали и пошли в цех. Скажите, пожалуйста, товарищи колонисты: можно ли шутить с токарным станком?

— Кто-то крикнул:

— Ого!

— Нельзя шутить! Нельзя вместо детали нос или руки подложить под резец. Значит, нельзя. А пускай из машинного скажут: можно шутить с ленточной пилой или циркулярной? Или с шипорезным, на котором работает Руслан Горохов? Руслан, как по-твоему?

Прыщеватое лицо Руслана покраснело, он застеснялся, но был доволен вопросом:

— Хорошие шутки: четыре тысячи оборотов шпинделя!

— Нельзя! А с дисциплиной, значит, можно? Ошибка! Дисциплина у нас должна быть железная, серьезная <...> Согласны с этим?

Колонисты вдруг зааплодировали, улыбались, смотрели на Захарова воодушевленными глазами,— для них не было сомнения в том, какая у них была дисциплина.

Захаров продолжал:

— Дисциплина нужна нашей стране потому, что у нас мировая героическая работа, потому, что мы окружены врагами, нам придется драться, обязательно придется. Вы должны выйти из колонии закаленными людьми, которые знают, как нужно дорожить своей дисциплиной... А Филька? Я очень хорошо отношусь к Фильке, хотя он все норовит со мной поспорить. Ну, так это я, у меня все-таки нет четырех тысяч оборотов в минуту.

Снова кто-то сказал вполголоса:

— Ого!

Зал вдруг закатисто рассмеялся. Даже те, которые стояли на середине, не могли удержаться от улыбки. Захаров поправил пенсне.

— Общее собрание — это серьезное дело Шутить нельзя, товарищ Шарий, и товарищ Кравчук, и товарищ Новак. Это вы должны хорошо запомнить

Виктор Торский приступил к голосованию:

— У нас есть только одно предложение: снять с них звание колониста Только на какое время? Я предлагаю — на три месяца. Тебе последнее слово, товарищ Шарий.

Филька сказал:

— Алексей Степанович правильно говорил: с дисциплиной так нельзя обращаться И я так больше никогда не буду, вот увидите. Как там ни будет хоть накажете, хоть не накажете — все равно. А мое такое мнение, что можно и без наказания. Я не какой-нибудь новенький. Тут не в том дело, на сколько месяцев значок снимете. А что ж? Я пять лет колонистом Мое такое мнение.

— А ты как думаешь, товарищ Новак?

— И мое такое мнение

Петька Кравчук все собрание стоял, опустив глаза, вздрагивая ресницами, изредка поглядывая на председателя и незаметно вздыхая. У него было выражение разумной философской покорности: душой он целиком на стороне собрания, но обстоятельства поставили его на середину, и он до конца готов мужественно нести испытание. Петька сказал:

— Как постановите, так и будет

— Значит, есть только одно предложение.

— Есть второе предложение

— Пожалуйста.

Встал Илья Руднев, бригадир десятой, самый молодой бригадир в колонии.

— Для такого старого колониста, как Филя, снять значок — очень тяжелая вещь Его проступок большой, но позорного он ничего не сделал. Однако оставить без наказания нельзя. И для Фильки опасно и для других всех пацанов. Пацаны, они... так .. любят, когда им гайку подкручивают Я и сам недавно был таким И, кроме того, это не пустяк — невыполнение приказа. Я живу в колонии три года, и такого случая ни разу не было. И виноваты не только Филька, а и Кирюшка, и Петро, чего там, не маленькие, по тринадцать лет, и все — колонисты. Всех нужно взгреть как следует Я предлагаю: выговор перед строем.

Руднев говорил, немного краснея, он еще не привык к своему бригадирскому авторитету. Говорил тихо, очень культурно, смягчая улыбкой самые

решительные свои слова. Его речь была поддержана возгласами одобрения

Витя поставил на голосование первым такой вопрос: наказывать или не наказывать? Единодушно все подняли руки за наказание. Второй вопрос: наказывать одинаково или по-разному? Единогласно постановили: одинаково. Потом голосовали предложение о снятии звания колониста, оно собрало только 65 голосов. И, наконец, за предложение Руднева подняло руки 122 человека, в том числе и Захаров.

Расходились с собрания серьезные, чуть-чуть взволнованные. Ваня Гальченко догнал Петьку в коридоре, Петька был расстроен.

В спальне четвертой бригады было печально, все сошлись, ожидали Зырянского Но он пришел, как всегда, веселый, бодрый, деловой:

— Подкачала наша бригада! Но... никакой паники. Наша бригада все-таки хорошая. А это вам урок. Теперь держись!

А еще через час все перестали вспоминать о тягостных событиях вечера. Были и другие новости — уже веселые. Ремонт кинобудки был закончен, и завтра пойдет картина. Петров 2-й говорил, что будет «Потомок Чингисхана».

Эту картину давно ожидали, давно слышали о ней хорошие отзывы знатоков.

И действительно, на другой день Петров 2-й привез из города «Потомка Чингисхана». Правда, Петров 2-й уже теперь не киномеханик, а только помощник киномеханика, но это даже к лучшему.

— Даже лучше,— говорил Петров 2-й,— я теперь под руководством Мишки еще скорее экзамен выдержу.

Таким образом, как ни поворачивали разные бюрократы судьбу Петрова 2-го, она все же благоволила не к ним, а к Петрову 2-му.

Четвертая бригада залезла в зал задолго до начала сеанса, еще и распорядители в голубых повязках не стояли у дверей. Уселись все в один ряд, и Зырянский кое-что вспомнил о Чингисхане Потом сошлась вся колония, прошел между рядами Захаров с дежурным бригадиром и сказал:

— Начинайте, я буду в кабинете.

Свет потух, застрекотало сзади в аппаратной, заструился над головами широкий туманный луч, на экране родились события. И все члены четвертой бригады совершенно забыли о неприятных историях, о четырех тысячах оборотов шпинделя. Они жили там, в далеких степях, они переживали борьбу, которая там шла и которая им предстоит в жизни .

После перерыва пошла вторая часть, потом третья, самая захватывающая. И как раз в середине третьей части, в тишине и сумраке зала, раздался голос дежурного бригадира Похожая:

— Четвертая бригада в полном составе с бригадиром срочно к заведующему в кабинет!

Зырянский шепнул:

— Спокойно! Быстренько!

Они прошмыгнули в проходе, на них оглянулись, кто-то спросил у Похожая:

— Что случилось?

— Ничего особенного! Смотрите дальше!

В кабинет они вбежали, как набегает теплая волна на берег. Захаров взял в руки фуражку:

— Четвертая? Все здесь?

— Все!

— Горит стружка за сборным цехом. Я думаю — управимся без пожарной. Ведра взять на кухне. Без паники и шума! Я тоже туда иду.

Зырянский поднял руку:

— Кравчук, бери вот этих четырех — и за ведрами, остальные — за мной.

Они бегом выскочили из здания в прохладу вечера. Повернули за угол и увидели зарево: на поверхности старой, слежавшейся стружки расползался приземистый, тихонький, коварный огонь. Было тихо. Четвертая бригада с Захаровым во главе долго поливала огонь из ведер, копошилась в глубинах стружки лопатами и вилами. Когда все было кончено, Захаров сказал:

— Спасибо, товарищи!

Все, радостные, побежали в зал. Шла последняя часть. Четвертая бригада шепотом рассказывала, как она потушила пожар, и ей все завидовали.

16. ОТДЫХ

Соломон Давидович стоически перенес остановку литейного цеха на три дня. Правда, он немного похудел за эти дни. По колонии ходили даже слухи, что Соломон Давидович болен, хотя этим слухам и не сильно верили. Но слухи имели основание. Однажды Соломон Давидович, набегавшись по своим цехам и накружившись вокруг молчаливого литейного цеха, забежал в больничку к Кольке-доктору. Этот визит, конечно, доказывал, что Соломон Давидович болен: хотя он как будто и не обладал способностью ненавидеть, но его чувства в отношении к Кольке-доктору скорее всего напоминали ненависть, так как именно Колька-доктор придумал литейную лихорадку. Из больнички Соломон Давидович вышел с душой умиротворенной, но со здоровьем еще более расстроенным. Он говорил старшим колонистам в комнате совета бригадиров:

— Николай Флорович сказал: сердце! И не волноваться — в противном случае у вас будут чреватые последствия.

Несмотря на все это, через три дня на крыше литейного стояла высокая труба, сделанная из нового железа. Колонисты посматривали на трубу с сомнением. Санчо Зорин говорил:

— Она все равно упадет. Будет первая буря, и она упадет.

Соломон Давидович презрительно выпячивал в сторону Зорина нижнюю губу:

— Скажите, пожалуйста! Упадет! От бури упадет! Подумаешь, какой Атлантический океан!

Но в этот же день Волончук укрепил трубу четырьмя длинными проволоками, и после этого колонисты ничего уже не говорили, и Соломон

Давидович нарочно пришел в комнату совета бригадиров посмеяться над колонистами:

— Где же ваши штормы? Почему они замолчали? Теперь уже ваш барометр не предсказывает бурю?

Ванда Стадницкая, проходя по двору, тоже поглядывала на трубу и слабо улыбалась: в пятой бригаде девочки умели пошутить, вспоминая Соломона Давидовича и его вентиляцию И в жизни Ванды вопрос о литейной лихорадке уже приобрел некоторое значение: на общем собрании Ванда чуть не плакала, увидев на середине Ваню Гальченко.

Когда Ванда пришла в первый раз на работу на стадион, мальчики встретили ее очень приветливо, уступили ей лучший верстак у окна, наперебой показывали, как нужно держать рашпиль, как убирать станок, выписывать наряд, как обращаться с контролем.

Сначала Ванда зачищала верхние планки для спинок, а потом Штевель обратил внимание на ее аккуратную, внимательную работу и поручил ей более ответственное дело. В готовых комплектах перед самой полировкой обнаруживались трещинки, занозинки, впадинки. Из клея и мелких дубовых опилок Ванда составляла тугую смесь и деревянной тоненькой лопаточкой накладывала ее в дефектные места, а потом протирала шлифером. После полировки эти места совершенно сравнивались с остальной поверхностью. Работа эта не давала никакой квалификации, но о ней Ванда никогда и не думала. Было очень приятно сдавать приемщику совершенно готовый к полировке комплект и знать, что это она сделала его таким.

К колонистам Ванда относилась ласково, сдержанно, была молчалива. Она еще не успела хорошо рассмотреть, что такое колония, и не вполне еще поверила, что колония вошла в ее жизнь. Ванда хорошо видела, что колония совсем не похожа на то, что было у нее раньше, но что было раньше, крепко помнилось и снилось каждую ночь. Иногда даже Ванде казалось, что ночью идет настоящая жизнь, а с утра начинается какой-то сон. Это не тревожило ее, раздумывать над этим было просто лень. Она любила утро в колонии — дружное, быстрое, наполненное движением, шумом, звонкими сигналами, встревоженной торопливостью уборки, шуткой и смехом. И Ванда в этом утреннем вихре любила что нибудь делать: помочь дежурному по бригаде, исполнить поручение бригадира. И еще любила вдруг наступавшую в колонии тишину, всегда ошеломляющий и неожиданный блеск дежурства и строгой бодростью украшенный привет:

— Здравствуйте, товарищи!

Любила Ванда и белоснежную чистоту столовой, и цветы на столах, и цветы во дворе, и короткий перерыв под солнцем у крыльца, перед самым сигналом на работу. А вечером любила тишину в спальне, парк, короткий, захватывающий интерес общих собраний.

Но людей Ванда еще не научилась любить. Мальчики были деликатны, внимательны, но Ванда подозрительно ожидала, что эта деликатность вдруг с них спадет и все они окажутся теми самыми молодыми людьми, которые преследовали ее на «воле». Да и сейчас в толпе этих мальчиков нет-нет и промелькнет лицо Рыжикова. Одним из самых опасных казался ей в первые дни Гонтарь, низколобый, с губами немного

влажными Но когда она узнала, что Гонтарь влюблен в Оксану, она сразу увидела, что, напротив, у Гонтаря очень доброе и хорошее лицо.

И девчонки были подозрительны Это были не просто девочки, а у каждой было свое лицо, свои глазки, бровки, губки, и каждая казалась Ванде чистюлькой, себе на уме, кокеткой по секрету, в каждой она чуяла женщину — и никому из них не доверяла. У девчонок в шкафах было коекакое добро: материя, белье, коробочки с катушками, ленточки, туфельки. А у Ванды ничего не было, и на кровати лежала только одна подушка, в то время когда у других девочек было почему-то по две-три подушки. Все это вызывало и зависть и подозрение, и очень хотелось найти у девчонок побольше недостатков.

По своему характеру Ванда не имела склонности к ссорам, и поэтому ее подозрительность выражалась только в молчаливости и в одиноких улыбках. Но она могла и взорваться, и сама с тревогой ожидала какого-нибудь взрыва и не хотела его.

Однажды Захаров спросил у Клавы:

— Как Ванда?

— Ванда? Она все отделяется... Послушная... так... но все думает одна.

— Подружилась с кем-нибудь?

— Ни с кем не подружилась Очень медленно привыкает.

— Это хорошо,— сказал Захаров.— Быстрее и не нужно. Вы ей не мешайте и не торопите. Пускай отдохнет.

— Я знаю.

— Умница.

И незаметно для себя Ванда действительно отдохнула. Реже стала вспоминать бури своей жизни, а сниться ей начали то сборный цех, то общее собрание, а то вдруг взяла и приснилась Оксана.

Ванда иногда встречала Оксану в парке или на кино, но стеснялась подойти к ней и познакомиться, да и Оксана держалась в сторонке, тоже, вероятно, из застенчивости. Ванда знала, что Оксана — батрачка, прислуга, что в нее влюблен Гонтарь и что Игорь Чернявин поцеловал ее в парке, а потом ходил просить прощения. При встрече Ванда всматривалась в лицо Оксаны. В этом лице, в смуглом румянце, в несмелых карих глазах, в осторожном взгляде, который она успевала поймать, Ванда умела видеть отражение настоящих человеческих страданий: Оксана была батрачка.

17. СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Игорь Чернявин часто начал поглядывать на себя в зеркало. Он получил уже парадный костюм, хотя еще и без вензеля. Обнаружилось, что у него стройные ноги и тонкая талия. Ему казалось, что он смотрит на себя в зеркало для того, чтобы посмеяться: какой благонравный колонист, работает в сборном цехе, зачищает проножки, поцеловал девушку — попало! Извинился, как полагается джентльмену. Через неделю он безусловно выдержит экзамен в восьмой класс, а еще через месяц должен по-

-лучить звание колониста. Похвальное поведение,— никогда не мог подумать. И вот что странно. от этого было даже приятно

С каждым днем начинал Игорь ощущать в себе какую-то новую силу. Друзей у него еще не было, да, пожалуй, они не особенно были ему нужны. Зато со всеми у него приятельские отношения, со всеми он может пошутить, и все отвечают ему улыбками. Он уже приобрел славу знаменитого читателя. Когда он приходит в библиотеку, Шура Мятникова встречает его как почтенного заказчика, аппетитно поглядывает на полки, чертовски красивым движением взлетает на лестницу и говорит оттуда.

— Я тебе предложу Шекспира Как ты думаешь?

Она смотрит на него сверху лукаво и завлекающе Очень уж ей хочется улучшить библиотечный паспорт Шекспира, до сего времени сравнительно бедный И Игорь радуется, может быть, оттого, что его отличают как читателя, может быть, ему импонирует Шекспир, а может быть, и оттого, что Шура Мятникова на верхней ступеньке лестнички кажется ему сестрой,— разве такая сестра плохой подарок судьбы?

Игорь уносит под мышкой огромный том Шекспира, на него по дороге с уважением смотрят пацаны,— им ни за что не дадут такую большую, красивую книгу,— а Владимир Колос, повстречавшись с ним, говорит:

— Покажи! Шекспира читаешь? Хвалю. Молодец, Чернявин. Довольно, понимаешь, тащиться шагом. .

Владимир Колос — высокая марка, он создал колонию, и он будет потом учиться в Московском авиационном институте. Игорь с настоящим увлечением открывает в спальне Шекспира, и оказывается — совсем неплохо. Он читает «Отелло» и хохочет. Отелло страшно напоминает Гонтаря.

— Михайло! Про тебя написано!

— Как это про меня?

— А вот тут описан один такой ревнивец

— Рассказывай, описан!

— Точь-в-точь — ты!

— Ты напрасно воображаешь, Чернявин, что я ревнивец. Ты ничего не понимаешь. Тебе только целоваться нужно.

Гонтарь хитрый. Он уверен, что Игорю нужно только целоваться. А что нужно самому Гонтарю — неизвестно. Однако в восьмой бригаде хорошо знают, куда метит Миша Гонтарь: зимою он поступит на шоферские курсы, получит где-нибудь машину и будет ездить. Захаров обещал устроить для него квартиру, и тогда Миша женится на Оксане Об этом адском плане знала вся колония, даже пацаны четвертой бригады, но Гонтарь таинственно улыбался — пускай себе болтают. Гонтарь делал такой вид, будто его планы гораздо величественнее. Ребята с ним не спорили. Миша — хороший человек. Планы Гонтаря были известны всей колонии, до некоторой степени были известны, конечно, и самому Гонтарю.. но планы Оксаны никому не были известны, и кажется, не были известны и самому Гонтарю У колонистов были острые глаза, гораздо острее, чем у Миши. Оксана приходила на киносеансы, днем она появлялась с корзинкой — за щепками. Перед вечером, когда на пруду наступал «женский час», приходила купаться. Достаточно для того, чтоб опытный

глаз мог увидеть: собирается она быть женой шофера Гонтаря или не собирается

Все хорошо знали, что Оксана — батрачка, все знали, что ее эксплуатирует какой-то адвокат, которого ни разу в колонии не видели, все сочувствовали Оксане, но в то же время заметили и многое другое: особенную, спокойную бодрость Оксаны, молчаливое достоинство, неторопливую улыбку и умный взгляд. От нее никогда не слышали ни одной жалобы. А самое главное: никогда не видели ее вдвоем с Мишей в прогулке, имеющей, так сказать, любовную окраску: ведь всегда видно, любовная эта прогулка или так. Что-то такое было у этой девушки свое, никому еще не известное, о чем Гонтарь не имел никакого представления.

В конце августа, в выходной день, под вечер, в спальне, по случайному совпадению, Игорь и Гонтарь одновременно занялись туалетом. Миша долго причесывал свои волосы. Игорь начистил ботинки. Миша поглядывал подозрительно на сверкающие ботинки Игоря, на новую складку на брюках, но молчал. Игорь же, как более разговорчивый, спросил:

— Куда это ты собираешься, любопытно знать?

— А ты за мной проследи, если такой любопытный.

— Прослежу.

Помолчали.

Потом Игорь снова:

— Парадную гимнастерку ты не имеешь права надевать.

— А может, я иду в город. Сейчас подойду к дежурному бригадиру: так и так, имею отпуск.

— Ах, ты в город? Хорошо!

— А на парадную я только посмотрел,— может, измялась.

— Как будто нет...

— Как будто нет.

Снова помолчали. Но Гонтарь хорошо разобрал, как старательно Игорь расправил носовой платок в грудном кармане. Не утерпел и тоже спросил:

— А ты куда собираешься?

— Я? Так... пройтись. Люблю, понимаешь, свежий воздух.

— Скажите, пожалуйста, свежий воздух! В колонии везде свежий воздух.

— Не скажите, милорд. Все-таки эта самая литейная... такой, знаешь, отвратительный дым...

Игорь пренебрежительно махал рукой возле носа. Это аристократическое движение возмутило Гонтаря:

— Напрасно задаешься! Сегодня выходной день, и литейная не работает.

— Сэр! У меня такое тонкое обоняние, что и вчерашний дым... не могу выносить

Таким образом, Гонтарь убедился, что Игорь настойчиво хочет как можно дальше уйти от литейной. И, убедившись, Гонтарь оставил шутливо-подозрительный тон и сказал значительно:

— Знаешь что, Чернявин? Я все-таки тебе не советую!

— Ты, Миша, не волнуйся.

Из спальни вышли вместе. Вместе прошли парк и подошли к плотине. Гонтарь спросил:

— Куда ты все-таки идешь?

— Я гуляю по колонии. Имею право?

— Имеешь.

Гонтарь был человек справедливый. Поэтому он молчал до тех пор, пока они не перешли плотину. А когда перешли, Гонтарь уже ни [redacted] чем не спрашивал:

— Ты дальше не пойдешь!

— Почему?

— Потому. Ты куда направляешься?

— Гулять.

— По колонии?

— Нет, около колонии. Имею право?

— Имеешь, [redacted] только...

— Что?

— Чернявин! Я тебе морду набью!

— Какие могут быть разговоры о морде в такой прекрасный майский вечер!

— Чернявин! Не трепись про майский вечер. Теперь нет никакого мая, и ты думаешь, я ничего не понимаю. Дальше ты все равно не пойдешь.

— Миша, [redacted] знаю японский удар! Страшно действует!

— Японский. А русский, ты думаешь, хуже?

Миша Гонтарь решительно стал на дороге, [redacted] пальцы его правой руки действительно стали складываться по-русски.

— Миша, неловко как-то без секундантов.

— На чертей мне твои секунданты! Я тебе говорю: не ходи!

— Ты — настоящий Отелло. Я все равно пойду. Но первый [redacted] не нанесу удара. Я не имею никакой охоты стоять на середине да еще по такому делу: самозащита от кровожадного Отелло.

Упоминание о середине взволновало Гонтаря. Он оглянулся и... увидел Оксану в сопровождении довольно пожилого гражданина [redacted] широких домашних брюках и [redacted] длинной косоворотке. На голове у гражданина ничего не было, даже и волос, лицо было бритое, сухое и довольно симпатичное. Игорь [redacted] Гонтарь поняли, что это [redacted] есть «эксплуататор», поэтому его лицо сразу перестало казаться симпатичным. Оксана шла рядом с ним. На ее ногах были сегодня белые тапочки, [redacted] в косе белая лента. Не могло быть сомнений, что сегодня она прелестней, чем когда-либо. Колонисты пропустили их [redacted] плотине. Гонтарь сумрачно поднял руку для приветствия, отсалютовал и Игорь. Оксана опустила глаза. Лысый решил, что почести относятся к нему, и тоже поднял руку, потом спросил:

— Товарищи колонисты! Скажите, Захаров у себя?

Гонтарь ответил с достоинством:

— Алексей Степанович всегда у себя.

Оксана прошла вперед, на плотину. Мужчины двинулись вслед за ней. Лысый гражданин сказал:

— Хорошо вы живете [redacted] колонии! Такая досада, что мне не пятнадцать лет. Эх!

Он действительно с досадой махнул рукой.

Гонтарь недоверчиво повел на него хитрым глазом: здорово представляется эксплуататор!

До самых дверей главного здания они так и шли втроем за Оксаной и разговаривали о колонии. Гонтарь держался как человек, которого не проведешь, отвечал вежливо, с дипломатической улыбкой, но вообще не увлекался, старался не выдать ни одного секрета и скрыл даже, сколько масленок делают в день, сказал:

— Это бухгалтерия знает.

А за спиной гражданина подмигнул Игорю.

Впрочем, Гонтарь охотно вызвал дежурного бригадира:

— Вот они — к заведующему.

Целых полчаса Игорь и Гонтарь мирно гуляли в пустом коридоре. Гонтарь не выдержал:

— Интересно, чего это они пришли?

Володя Бегунок куда-то помчался стремглав и возвратился с Клавой Кашириной. Потом лысый гражданин прошел мимо них и вежливо поклонился:

— До свидания, товарищи.

Игорь и Гонтарь переглянулись, но никто не высказал никакого мнения.

Наконец из кабинета вышли Клава и Оксана. Оксана шла впереди и немного испуганно глянула на юношей. Но Клава сияла радостью. Она с шутливой манерностью поклонилась и сказала своим замечательным серебряным голосом:

— Познакомьтесь: новая колонистка, Оксана Литовченко.

Они еще долго смотрели вслед девушкам, а потом глянули друг на друга. Игорь сказал:

— Милорд, могу я теперь пойти подышать свежим воздухом?

Но теперь и Гонтарь был в ударе:

— Чудак, я же тебе русским языком говорил, что по всей колонии воздух хороший!

Они захохотали на весь коридор. Часовой посмотрел на них строго, а они смеялись до самой спальни, и только в спальне Гонтарь заявил серьезно:

— Ты, конечно, понимаешь, Чернявин, что теперь всякие романы кончены.

— Я-то понимаю, а вот понимаете ли вы?

Но Гонтарь посмотрел на него высокомерно:

— Дорогой товарищ! Я по списку колонистов четвертый!

18. ВОТ ЭТО — ДА!

В спальне пятой бригады сидит на стуле Оксана, до самой шеи закутанная простыней. Вокруг нее ходит Ванда с ножницами, стоят девочки и улыбаются. У Оксаны хорошие, волнистые волосы с ясным каштановым отливом.

— Я тебе сделаю две косы. У тебя хорошие будут косы, ты знаешь, какие замечательные будут косы! Вы ничего, девочки, не понимаете: разве можно стричь такие косы? Надо только . подрезать, тогда будут расти.

Глаза у Ванды горят отвагой. Она закусывает нижнюю губу и осторожно подрезывает кончики распущенных волос. Оксана сидит тихонько, только краснеет густо.

Ванда квалифицированным жестом парикмахера сдергивает с нее простыню. Оксана несмело подымается со стула:

— Спасибо.

Ванда бросила простыню на пол, вдруг обняла Оксану, затормошила ее.

— Ах ты, моя миленькая! Ты, моя родненькая! Ты моя батрачечка!

Девочки взволнованно засмеялись, Оксана подняла на них карие глаза, улыбнулась немного лукаво. Клава сказала:

— Довольно вам нежничать! Идем к Алексею.

Ванда спросила задорно:

— Чего к Алексею?

— Поговорить ему нужно.

— И я пойду.

— Идем.

Были часы «пик», когда у Торского и у Захарова народу собиралось множество. Только у Торского можно сидеть сколько угодно на бесконечном диване, сколько угодно говорить и как угодно смеяться, а в кабинете Захарова можно все это проделывать вполголоса, чтобы не мешать ему работать. Впрочем, бывали и здесь отступления от правила в ту или другую сторону: то сам Захаров заговорится с ребятами, смеется и шутит, а то вдруг скажет сурово:

— Прошу очистить территорию на пятьдесят процентов.

Он никогда не позволял себе просто выдворить гостей.

Девочки вошли в комнату совета бригадиров. Их встретило общее изумление. Оксана в колонистском костюме! Какая новость! Только Володю Бегунка никогда нельзя было изумить. Он открыл дверь кабинета и вытянулся с жестом милиционера, регулирующего движение:

— Пожалуйте!

Захаров встал за столом, гости его тоже притихли, пораженные.

— Ну что же . хорошая колонистка. Ты училась в школе?

— Училась, в седьмом классе.

— Хорошо училась?

— Хорошо.

Игорь Чернявин, сидящий на диване, сказал весело:

— Только ты, Оксана, посмелее будь. А то ты какая. . деревенская.

Ванда оглянулась на него оскорбленно:

— Смотри ты, городской какой!

Захаров поправил пенсне:

— Хорошо училась? Если умножить двенадцать на двенадцать, сколько будет, Чернявин?

— А?

— Двенадцать на двенадцать умножить, сколько?

Игорь поднял глаза и быстро сообразил:

— Сто четыре!

— Это по городскому счету или по деревенскому?

За Игорем следило много возбужденных глаз. Головы гостей склонились друг к другу, уста их шептали не вполне уверенные предположения, но Игорь еще раз посмотрел на потолок и отважно подтвердил:

— Сто четыре!

Захаров печально вздохнул:

— Видишь, Оксана милая? Так и живем! Придет к нам такой молодой человек из города и гордится перед нами, говорит. сто четыре. А того не знает, что недавно один американский ученый сделал такое открытие: двенадцать на двенадцать будет не сто четыре.

Девушки смотрели на Игоря с насмешкой, ребята заливались на диване, но Игорь еще раз проверил и, наконец, догадался, что Захаров просто «покупает» его. И в присутствии Оксаны Игорь захотел показать настойчивость души, которую нельзя так легко сбить разными «покупками». Правда, Ваня Гальченко, сидящий рядом, толкал его в бок, и этот толчок имел явный математический характер, но Игорь не хотел замечать этого:

— Американцы тоже могут ошибаться, Алексей Степанович. Бывает так, что русские сто очков вперед американцам дают.

— Оксана, видишь? Самый худший пример искажения национальной гордости. Игорь дает американцам сто четыре очка.

Оксана не выдержала и рассмеялась. И тут обнаружилось, что она вовсе не стесняется, что она умеет смеяться свободно, не закрываясь и не жеманясь. Потом она обратилась к Игорю с простым вопросом:

— А как ты считаешь?

Игорь почувствовал, что почва под ним как будто начала колебаться, но не сдавался.

— Да как считают: десять на десять — сто, дважды два — четыре, сто четыре.

Оксана изумленно посмотрела на Захарова. Захаров развел руками:

— Ничего не скажешь! Правильно! Сто да четыре будет сто четыре. Признаем себя побежденными, правда, Оксана?

Захарова перебил общий возбужденный крик. Колонисты покинули теплые места на диване, воздевали руки и кричали разными голосами:

— Да он неправильно сказал! Неправильно! Алексей Степанович! Тоже считает! Кто же так считает, Чернявин? Сто четыре!

Старшие мудро ухмылялись. Захаров расхохотался:

— Что такое, Игорь? И русские против тебя? Хорошо! Это вы там на свободе разберете. Клава, кто будет шефом у Оксаны?

— Я хотела назначить Марусю, но вот Ванда... А Ванда еще не колонистка.

Ванда выступила вперед, стала рядом с Оксаной, сказала серьезно:

— Алексей Степанович! Я не колонистка! Только...

Захаров внимательно посмотрел в ее глаза. Гости притихли и вытянули шеи.

— Так .. Это очень важно! Значит, ты хочешь быть ее шефом?

— Хочу.

— Наступило общее молчание. Ванда оглянулась на всех, встряхнула головой:

— И пускай все знают: я ее защищаю.
Захаров встал, протянул Ванде руку:
— Спасибо, Ванда, хороший ты человек.
— И вы тоже!
Теперь только ребята дали волю своим чувствам. Они бросились к Оксане, окружили ее, кто-то протянул звонко:
— Вот это — да!
Поздно вечером, когда уже все спали, Захаров прибрал на столе, взял в руки фуражку и спросил у Вити Торского:
— Да, Витя, откуда ребята взяли, что Оксана батрачка.
— Все колонисты так говорят.
— Почему?
— Говорят — батрачка, у адвоката прислуга. Только такая прислуга, на огороде. А разве нет?
— Оксана Литовченко — дочь рабочего-коммуниста. Он умер этой зимой, а мать еще раньше умерла. Оксану и взял к себе товарищ Черный, не адвокат вовсе, а профессор советского права; они вместе с отцом Оксаны были на фронте.
— А почему она в огороде работала?
— А что же тут такого, работать в огороде? Она сама и огород завела, значит, любит работать. Разве только батраки работают?
Торский хлопнул себя по бокам:
— Ну, что ты скажешь! А у нас такого наговорили: эксплуататор.
— Наши могут... фантазеры!
— Надо на собрании разъяснить.
Захаров надел фуражку, улыбнулся:
— Нет, пока не надо. Никому не говори. Само разъяснится.
— Есть никому не говорить.
Захаров вышел в коридор. В вестибюле горела дежурная лампочка. Часовой поднялся со стула и стал «смирно».
— До свиданья, Юрий!
— До свиданья, Алексей Степанович!
Захаров направился по дорожке мимо литеры Б. Во всех окнах было уже темно, только в одном склонилась голова девушки. Голос Ванды сказал оттуда:
— Спокойной ночи, Алексей Степанович!
— Почему ты не спишь, Ванда?
— Не хочется.
— А что ты делаешь?
— А так... смотрю.
— Немедленно спать, слышишь!
— А если не хочется?
— Как это не хочется, если я тебе приказываю?
Ванда ответила смеясь:
— Есть немедленно спать!
Из-за ее плеча голова Клавы:
— С кем ты разговариваешь, Ванда? Алексей Степанович, вы скажите ей, чтобы она не мечтала по ночам. Сидит и мечтает. С какой стати!

— Я не мечтаю вовсе. Я просто смотрю. А только я больше не буду, Алексей Степанович.

— Клава, тащи ее в постель!

Девушки завозились, пискнули, скрылись. И это окно стало таким же, как и все остальные.

19. СЧАСТЛИВЫЙ МЕСЯЦ АВГУСТ

Было сделано по секрету: вдруг Зырянский приказал четвертой бригаде надеть после ужина парадные костюмы. Удивительно было, что никто в бригаде не спросил, почему. О чем-то перешептывались и пересмеивались, и Ваня по этой причине шепотом спросил у Фильки:

— А зачем? Скажи, зачем?

И Филька ему шепотом ответил:

— Одно дело будет... Стррашно интересно!

А когда проиграли сигнал на общее собрание, Алеша Зырянский построил всех в одну шеренгу и гуськом повел в зал. В вестибюле их ожидал Володя Бегунок со своей трубой и тоже занял место в шеренге впереди всех, рядом с Зырянским. В тихом клубе их встретили улыбками, зааплодировали. И четвертая бригада не расселась на диване, а построилась перед бюстом Сталина, лицом к собранию. Потом пришли вдвоем и весело о чем-то между собой разговаривали, лукаво посмотрели на четвертую бригаду Захаров и Витя Торский. Витя открыл собрание и сказал:

— Слово предоставляется бригадиру четвертой бригады товарищу Зырянскому.

Зырянский стал впереди своей шеренги и громко скомандовал:

— Четвертая бригада, смирно!

И сказал такую речь:

— Товарищи колонисты, собрание колонистов четвертой бригады в составе четырнадцати человек единогласно постановило просить общее собрание дать нашему воспитаннику Ивану Гальченко звание колониста. Иван Гальченко — хороший товарищ, честный работник и веселый человек. Подробно о нем скажет его шеф колонист Владимир Бегунок. Гальченко, пять шагов вперед!

Ваня, смущенный и краснеющий, стал рядом с бригадиром. Володя тоже вышел вперед и очень сдержанно, официальным голосом рассказал кое-что о Ване. Ваня живет в бригаде только три месяца, но за это время можно все увидеть. Ваня ни с кем никогда не ссорится, никогда нигде не опоздал, всякую работу делает хорошо, быстро и всегда веселый. Он ни к кому не подлизывается, ни к бригадиру, ни к дежурному бригадиру, ни к старшим колонистам. Теперь в один рабочий день он делает восемьдесят шишек, и все довольны. Каждый день читает «Пионерскую правду», знает про Октябрьскую революцию, про Ленина и Сталина и также хорошо знает, как побили Деникина, Юденича и Колчака. Еще знает про Днепрострой, про коллективизацию, про кулаков. Это он все хорошо знает. Он говорит — когда выйдет из коммуны, так сделается летчиком в Красной Армии; только он не хочет быть бомбардировщиком, а хочет быть истребителем. Это он так говорит, а, конечно, это еще будет видно. Коло-

нию Ваня очень любит. Знает все правила и законы колонии, уже выучил строй и хочет играть в оркестре. Вот он... какой! И я был его шефом, а только мне было совсем не трудно

Потом взял слово Марк Грингауз и сказал, что комсомольская организация поддерживает просьбу четвертой бригады. Ваня за три месяца доказал, что он заслужил первомайский вензель. И очень стыдно тем бригадам, где есть воспитанники старше, чем по четыре месяца

Сказали короткие слова другие колонисты. Все подтвердили, что Ваня Гальченко заслужил почетное звание Клава Каширина прибавила:

— Хороший колонист! Ваня всегда в исправности, очень вежливый, все у него в порядке и безусловно наш человек, трудящийся.

И Алексей Степанович поднялся, подумал и развел руками:

— Моя обязанность, вы знаете, и привычка тоже — придираться все. А вот к Ване... не могу придраться. Только боюсь, четвертая бригада, вы там его не перехвалите, не забалуйте. И ты, Ваня, если тебя хвалят, старайся не очень верить... все-таки... больше от себя самого требуй. Знаешь, нет хуже захваленного человека. Понял?

Ваня был как в тумане, но ясно видел, чего хочет Захаров, и кивнул задумчиво.

Когда высказались все ораторы, Витя Торский сказал:

— Голосуют только колонисты! Кто за то, чтобы Ване Гальченко дать звание колониста, прошу поднять руки!

Целый лес рук поднялся вверх. Ваня стоял рядом с бригадиром и радовался и удивлялся.

— Принято единогласно! Прошу встать!

Еще более удивленный, Ваня увидел, как все встали, в дальнем углу дивана отделился и через блестящий паркет направился к четвертой бригаде Владимир Колос, первый колонист по списку.

Владимир Колос держал в руках бархатный ромбик, на котором нашиты золотом и серебром буквы вензеля.

— Ваня Гальченко! Вот тебе значок колониста. Теперь ты будешь полноправным членом нашего коллектива. Интересы колонии и всего Советского государства ты будешь ставить впереди своих личных интересов. А если тебе потом придется стать на защиту нашего государства от врагов, ты будешь смелым, разумным и терпеливым бойцом. Поздравляю тебя!

Он пожал Ване руку и вручил ему значок. Весь зал зааплодировал, Алеша Зырянский взял Ваню за плечи. В это время Торский закрыл общее собрание, и все окружили нового колониста, пожимали ему руки и поздравляли И Алексей Степанович тоже пожал руку и сказал:

— Ну, Ваня, теперь держись! Покажи значок! Лида, я по глазам вижу, ты ему пришить хочешь.

— Очень хочу!

Золотая голова Лиды склонилась к Ване.

— Идем к нам!

В первый раз зашел Ваня в спальню одиннадцатой бригады. Девочки окружили его, усадили на диван, угощали шоколадом, расспрашивали, смеялись, потом он снял блузу, и Лида Таликова собственноручно пришила значок на левый рукав. Когда он снова нарядился, девочки завертели

его перед зеркалом. Шура Мятникова наклонилась из-за его плеча к зеркалу и засмеялась, зубы у нее белые, большие и ровные.

— Смотри, какие мы красивые!

А когда прощались, все кричали:

— Ваня, приходи в гости, приходи!

Шура Мятникова растолкала всех:

— Честное слово, в его в библиотечный кружок запишу! Мне такой нужен деловой человек. Пойдешь ко мне в кружок, пойдешь?

Ваня поднял глаза. Он не был смущен, но не был задавлен гордостью, нет, он был просто испуган и очарован счастьем, которое свалилось на него в этот вечер, а он был все же очень слабо подготовлен к этому и не знал еще, какой величины счастье может выдержать человек. У этих девочек были замечательные лица, они казались недоступно прелестными, в их оживлении, в их чудесных голосах, в чистоте и аромате их комнаты, даже в шоколаде, которым они угостили Ваню, было что-то такое трогательное, высокое, чего никакой человеческий ум понять не может. Ваня ничего и не понимал. Он дал обещание работать в библиотечном кружке.

А ведь это был только один из вечеров этого счастливого месяца августа Сколько же было еще таких дней и вечеров!

Вдруг стало известно, что Колька-доктор остался очень недоволен сделанной вентиляцией и потребовал немедленного перевода всех малышей-шишельников в другой цех. В кабинете Захарова Соломон Давидович произнес речь, в которой обращал внимание Кольки-доктора на свое старое сердце:

— Вы, как доктор, хорошо понимаете: если мне будут ежедневные неприятности с этой самой трубой, то даже самое здоровое сердце не может выдержать...

Колька-доктор сердито поморгал глазами на Соломона Давидовича:

— Ерунда! Сердце здесь ни при чем!

Вся эта лечебно-литейная история кончилась тем, что совет бригадиров поставил на эту работу старших колонистов, в том числе и Рыжикова, а малышей перевел в токарный цех. Столь необыкновенное и непредвиденное благоволение судьбы так потрясло четвертую бригаду, что она вся целиком охрипла на несколько дней.

Токарь! В каких сказках, в каких легендах рассказано о токаре? Пожалуйста: и баба-яга костяная нога, и золотое блюдечко, и наливное яблочко, и разговорчивый колобок, и добрые зайцы, и доброжелательные лисички, и Мойдодыр, и Айболит — вся эта компания предлагает свои услуги. Хорошим вечером можно широко открыть глаза и унестись воображением в глубину сказочного леса, в переплеты нехоженых дорожек, в просторы тридесятых стран. Это можно, это допустимо, этого никому не жалко, и взрослые люди всегда очень довольны и щедры на рассказы. А попробуйте попросить у них обыкновенный токарный станок, не будем уже говорить, коломенский или московский, а самый обыкновенный — самарский! И сразу увидите, что это еще более невозможная радость, чем шапка-невидимка. Куда тебе: токарный станок! Шишки — пожалуйста, шлифовка планок в сборном цехе — тоже можно, а токарный станок по металлу — нет, никогда никто не предложит.

И вдруг: Филька — токарь, Кирюшка — токарь, Петька Кравчук — токарь [redacted] Ваня Гальченко, еще так недавно знавший только технологию черного гуталина,— тоже токарь! Токарь по металлу! Слова и звуки, говорящие об этом, чарующей музыкой расходятся по телу, и становится мужественным голос, и походка делается спокойнее, [redacted] в голове родятся [redacted] немедленно тут же разрешаются важнейшие вопросы жизни. И глаза по-новому видят, [redacted] мозги по-новому работают. Швейный цех — тоже цех, скажите, пожалуйста! Или сборный стадион! Только теперь стало понятным, как жалки и несчастны люди, работающие [redacted] стадионе и называющиеся «деревообделочниками».

Впрочем, были [redacted] такие слова, которых новые токари старались не слышать. Например, когда привезли самарские станки, Остапчин Александр, помощник бригадира восьмой, сказал при всех:

— Где вы этих одров насобирали, Соломон Давидович? Это станки эпохи первого Лжедмитрия.

Соломон Давидович, как и раньше бывало, презрительно выпятил губы:

— Какие все стали образованные, прямо ужас: теперь всем подавай эпоху модерн! Пускай себе и Дмитрия, и Ефима, [redacted] мы на этих станках еще хорошо заработаем.

И слова Соломона Давидовича были понятны пацанам, [redacted] слова Остапчина проходили просто мимо и терялись.

Наступил полный славы [redacted] торжества день, когда четвертая бригада расположилась у токарных станков и впервые правые руки новых токарей взялись за ручки суппоров. Ноги чуть задрожали от волнения, глаза вонзились [redacted] масленки, зажатые в патронах. Соломон Давидович стоял рядом, [redacted] сердце его, старое, больное сердце, было утешено:

— Хэ! Чем плохие токаря? А то зазнается народ! Давай им эрликоны, давай калиброванную работу [30]. А это по-ихнему — обдирка!

Кто там зазнается, что такое эрликоны, какой смысл [redacted] калиброванной работе — ни Филька, ни Кирюша, ни Ваня не интересовались. По их воле работали или останавливались настоящие, роскошные, чудесные токарные станки, из-под резца курчавилась настоящая медная стружка, стопки настоящих масленок ожидали механической обработки, тех масленок, которых с таким нетерпением ждут все советские заводы.

В том же самом августе произошли [redacted] другие события, не менее замечательные. Начала работать школа, Ваня Гальченко сел на первой парте в пятом классе. В этом классе размещалась почти вся четвертая бригада, она же токарный цех. Но в том же классе на последней парте сел и Миша Гонтарь. Еще в начале августа он выражал пренебрежение к школе:

— На чертей мне этот пятый класс, когда я все равно поступаю на шоферские курсы!

Рядом с Мишей Гонтарем сидел Петров 2-й. И для него пятый класс был не нужен: что в пятом классе могут сказать о киноаппарате или, допустим, об умформере? [redacted] Но Алексей Степанович сказал на общем собрании:

— Предупреждаю — чтобы я не слышал таких разговоров: «Зачем мне школа, я и так ученый». Кто не хочет учиться добровольно, того, так [redacted] знайте, буду выводить на середину. Если же кто мечтает о курсах

шоферов или киномехаников, все равно с двойками ни на какие курсы не пущу, забудьте об этом и думать... А вообще имейте в виду: кто не хочет учиться, значит плохой советский гражданин, с такими нам не по дороге.

Миша Гонтарь, хмурый, сидит на последней парте и морщит лоб. Кожа на лбу все собирается и собирается в горизонтальные складки, и они дружно подымаются до самой прически. Но когда входит учитель и начинается урок, складки на Мишином лбу делаются вертикальными. Когда пятый класс единогласно выбрал Мишу старостой, он вышел перед классом и сказал.

— Предупреждаю: раз выбрали, чтоб потом не плакали! Так и знайте — за малейшее буду выводить на середину. Кто не хочет учиться добровольно, того будем заставлять. Как постоит голубчик «смирно» да похлопает глазами, он тогда узнает, за что учителя жалованье получают. Имейте это в виду, я не такой человек, который будет шутить.

В пятом классе хорошо знали биографию Миши Гонтаря, в особенности были известны его прошлые неудачи в школе. Но сейчас перед классом стоял уже не Миша Гонтарь, а староста. Поэтому ни у кого не возникло сомнения в его правоте, да и физиономия у Миши выражала совершенно искреннее и при этом неподкупное негодование.

В восьмом классе Игорь Чернявин. Хочется ему учиться или не хочется, он еще хорошо не знает, но впереди него сидят рядом Ванда и Оксана, и потому классная комната делается уютней и лицо молодого учителя симпатичней.

20. КРЕЙЦЕР

Сентябрь начался блестяще. В юношеский день — первого сентября — Ваня первый раз стал в строй колонистов. В парадных костюмах, сверкая вензелями, белыми воротниками и тюбетейками, выстроились колонисты в одну линию, а справа поместился оркестр. Ваня знал, что по строю он считается в шестом взводе, в котором были все малыши. Взводный командир шестого взвода, белокурый, тоненький Семен Касаткин, которого Ваня иногда видел на поверке в повязке ДЧСК и привык считать обыкновенным колонистом, оказался вдруг совсем необыкновенным. Когда проиграли сигнал, называвшийся «по взводам», и когда все сбежались к широкой площадке против цветника, у этого Семена Касаткина откуда-то взялись и строгий взгляд, и громкий голос, и боевая осанка. Он стал лицом к своему взводу и сказал с уверенной силой:

— Довольно языками работать! Гайдовский!

И стало тихо, и все смотрели на командира внимательными глазами, смотрел и Гайдовский.

— Равняйтесь!

Ваня уже знал, что после сигнала «по взводам» только власть дежурного бригадира остается в силе, все остальное исчезает, нет ни бригадиров, ни совета бригадиров, а есть строй, то есть шесть взводов и седьмой музвзвод, а во главе их командиры, которых никто не выбирает, а назначает Захаров. И с этими командирами разговоры коротки — нужно слушать команду, а все

Ваня стоял третьим с правого фланга, таким он пришелся по своему росту в шестом взводе. Равняясь и посматривая на строгого командира, Ваня видел, как вышел Захаров в такой же колонистской форме, с вензелем, только не в тюбетейке, а в фуражке. Он стал, прямой и строгий, перед фронтом, медленно провел глазами от оркестра до последнего пацана на левом фланге шестого взвода, и фронт замер в ожидании. Голосом непривычно резким, повелительным Захаров подал команду:

— Отряд!.. Под знамя .. Смирно!

Он обернулся спиной к фронту, замер впереди него с поднятой рукой. И все колонисты вдруг выпрямились и взбросили вверх руки. В оркестре взорвалось что-то новое, торжественное и очень знакомое. Ваня не успел сообразить, что это такое играют. Он тоже держал руку у лба и смотрел туда, куда смотрели все. Из главных дверей, маршируя в такт музыке, вышла группа. Впереди с поднятой в салюте рукой дежурный бригадир Лида Таликова, за нею в ряд трое: Владимир Колос, первый колонист, несет знамя, а по сторонам два колониста с винтовками на ремнях. Знамя колонии имени Первого Мая Ваня видел первый раз, но кое-что о нем знал. Знаменщик Колос и его два ассистента не входили ни в одну из бригад колонии, а составляли особую «знаменную бригаду»[32], которая жила в отдельной комнате. Это была единственная комната в колонии, которая всегда запиралась на ключ, если из нее все уходили В этой комнате знамя стояло на маленьком помосте у затянутой бархатом стены, и над ним был сделан такой же бархатный балдахин.

Колос нес знамя с изумительной легкостью, как будто оно ничего не весило. Золотая верхушка знамени почти не вздрагивала над головой знаменщика, тяжелая, нарядная, украшенная золотом волна алого бархата падала прямо на плечо Колоса.

Знаменная бригада прошла по всему торжественному, застывшему в салюте фронту и замерла на правом фланге. В наступившей тишине Захаров сказал:

— Колонисты Шарий, Кравчук, Новак,— пять шагов вперед!

Вот когда наступил момент возмездия за сверхурочную работу на шишках! Серьезный Виктор Торский вышел вперед с листом бумаги и прочитал, что такому-то и такому-то за нарушение дисциплины колонии объявляется выговор. Филька стоял как раз впереди Вани, и Ваня видел, как пламенели его уши. Церемония кончилась, Захаров приказал провинившимся идти на места, Филька стал в строй и устремил глаза куда-то, вероятно, в те места, где находилась в его воображении справедливость.

Но Захаров уже подал какую-то новую, очень сложную команду, и вдруг ударил марш, и что-то произошло с фронтом. В нескольких местах фронт переломился, Ваня опомнился только тогда, когда колонна по восьми в ряд уже маршировала по дороге. Ваня сообразил, что он идет в первом ряду своего взвода. Перед ними одинокий командир Семен Касаткин, а дальше — море золотых тюбетеек и далеко-далеко — золотая верхушка знамени. Касаткин, не изменяя шага, оглянулся и сказал сердито:

— Гальченко, ногу!

Пока дошли до первых домиков Хорошиловки, Ваня совершенно освоился в строю. Он очень легко управлялся с «ногой» и еще легче держал

равнение в длинном ряду. Все это было не только легко, но и увлекательно. На тротуарах Хорошиловки собирались люди и любовались колонистами. А когда вышли на главную улицу города, оркестр зазвучал громче и веселее. Колонна проходила между густыми толпами публики, и теперь только Ваня понял, до чего красив строй первомайцев. А потом они вошли в нарядную линию демонстрации, встретили полк Красной Армии и отсалютовали ему, прошли мимо девушек в голубых костюмах, мимо физкультурников с голыми руками, мимо большой колонны разноцветных, оживленных школьников. На колонистов все смотрели с радостью, приветствовали их, улыбались, удивлялись богатому оркестру, а женщинам больше всего нравился шестой взвод, самый молодой и самый серьезный.

Вечером на общее собрание приехал Крейцер. Он редко приезжал в колонию. У него широкое бритое лицо, улыбающиеся глаза и рассыпающаяся на лбу прическа. Крейцера колонисты любили. То, что он председатель облисполкома, имело большое значение, но имело значение и то, что Крейцер ничуть не задавался, разговаривал простым голосом и смеялся всегда охотно, если было действительно смешно. И сегодня он пришел на собрание, когда его никто не ожидал. Колонисты только на одну секунду, пока отдавали салют, посерьезнели, а потом заулыбались, заулыбался и Крейцер:

— У вас весело, товарищи!

— А что ж... Весело!

Он широкими шагами направился к трибуне, но не дошел, хитро прищурился, остановился на той самой середине, которая многим уже причинила столько неприятностей:

— А вы знаете что? Я приехал вас похвалить. У вас дела пошли, говорят.

Ему ответили с разных концов тихого клуба:

— Дела идут!.. А вы подробно скажите!

— Могу и подробнее. Вас со сметы сняли. Вы знаете, что это значит? Это значит, что вы живете теперь не на казенный счет, а на свой собственный — сами на себя зарабатываете. По-моему, это здорово.

Колонисты ответили аплодисментами.

— Поздравляю вас, поздравляю! Только этого мало!

— Мало!

— Мало! Надо идти дальше! Правда?

— Правда!

— Производство у вас плохое, сараи.

Одинокий голос подтвердил:

— Стадион!

— Вот именно, стадион,— радостно согласился Крейцер и сейчас же нашел глазами Соломона Давидовича,— слышите, слышите, Соломон Давидович?

— Я уже давно слышу.

— Вот... и станки...

— Не станки, а козы!

— Козы! Правильно!

Он уселся между пацанами на ступеньках помоста и вдруг посмотрел на собрание серьезно:

— А знаете что? Давайте мы настоящий завод сделаем. А?

— Как же это? — спросил Торский.

Крейцер надул губы:

— Смотри ты, не понимает, как же! Построим, станки купим!

— А пети-мети?

— А у вас есть пети-мети — триста тысяч! Есть?

— Мало!

— Мало! Нужно... нужно. . миллион нужно! Маловато... это верно.

Филька крикнул:

— А вы нам одолжите...

— Вам? Одолжить? Невыгодно, понимаете: вам нужно одолжить семьсот тысяч, а у вас своих только триста! А знаете что? Ребята! Стойте.

Он по-молодому вскочил на ноги:

— Дело есть! Факт! Есть дело! Слушайте! Я вам дам четыреста тысяч, а вы сами заработайте триста. Соломон Давидович, сколько нужно времени, чтобы у вас еще триста прибавилось?

Соломон Давидович выдвинулся вперед, пошевелил пальцами, пожевал губами:

— С такими колонистами, как у нас,— очень хорошие люди, я вам прямо скажу,— нужно не так много — один год!

— Всего?

— Один год, а может, и меньше.

Крейцер глянул на сдержанно улыбающегося Захарова:

— Алексей Степанович, давайте!

Захаров откровенно почесал в затылке:

— Давно об этом думаем. Только за год не заработаем: оборудование у нас, нечего скрывать, дохлое, еле держится.

Соломон Давидович, кряхтя, поднялся со стула:

— Оно, разумеется, держится на ладане, как говорится, но я думаю, как-нибудь протянем.

— Вот я скажу, вот я скажу.

Это вытягивал вперед руку Санчо Зорин.

— Вот я скажу: что мы заработаем триста тысяч за год — это считайте, как дома. И все ребята скажут так.

— Заработаем,— подтвердили с дивана.

— А если вы нам поможете — будет новый завод. Только какой завод, вот вопрос. Но это отдельно. А только я предлагаю так: если мы так заработаем, да еще вы нам поможете, так это через год будет, а потом еще строиться целый год, значит, два года пройдет,— жалко. Теперь смотрите, везде пятилетку делают за три года, а то и за два с половиной, а нам чего ж? Правда? А я предлагаю: давайте прямо сейчас начинать, сколько там у нас есть денег, начинать же можно, а чего они будут лежать? А вы тоже... знаете... как бы это сказать...

— Тоже сейчас дать?

— Ну, не сейчас... а вообще!

Санчо так умильно посмотрел на Крейцера, что никто не мог уже удержаться от смеха, да и другие смотрели на Крейцера умильно, а он закричал Захарову, показывая пальцем:

— Смотрят, смотрят как! Ах, чтоб вас!.. Есть! Есть, пацаны! Сегодня даю четыреста тысяч!

Захаров вскочил, размахнулся рукой, что-то крикнул, Крейцер принял его рукопожатие с таким же молодым восторгом, кругом кричали, смеялись, все сорвались с дивана. Торский закричал.

— К порядку, товарищи!

Но Крейцер безнадежно махнул рукой:

— Какой там порядок! Завод строим, Витька!

Но Витька и сам понимал, что сегодня можно и не заботиться о слишком образцовом порядке.

21. МЕХАНИЧЕСКИЕ СЛЕЗЫ

Новый завод, о котором пока мало можно было сказать, вскружил голову всей колонии Но удивительно было то, что даже этот подарок не исчерпал богатых карманов судьбы.

Во время обеда в столовую влетел Виктор Торский.

Секретарь совета бригадиров, член бюро комсомольской организации, он обладал очень солидным характером, но тут он вбежал взлохмаченный, возбужденный, и заорал, воздевая руки:

— Ребята! Такая новость! И сказать не могу!

Он действительно задыхался, и было видно, что говорить ему трудно.

Все вскочили с мест, все поняли: произошло что-то совершенно особенное — сам Витя Торский кричит, себя не помня.

— Что такое? Да говори! Витька!

— Крейцер.. подарил нам... полуторку... новую полуторку! Автомобиль!

— Врешь!

— Да уже пришла! Во дворе! И шофер есть!

Витя Торский еще раз махнул рукой и выбежал. Все бросились в дверь, на столах остались тарелки с супом, по ступеням загремели ноги; те, кто не успел к двери, кинулись в радостной панике к окнам.

На хозяйственном дворе действительно стояла новая полуторка. Колонисты облепили ее со всех сторон, часть четвертой бригады полезла в ящик. Гонтарь, человек богатырского здоровья, и тот держался за сердце У кабинки стоял черномазый тоненький человек и застенчиво смотрел темным глазом на колонистов Зырянский закричал на него:

— Ты механик?

— Шофер

— Фамилия?

— Воробьев

— Имя?

— Имя? Петр.

— Ребята! Шофера Петра Воробьева .. кача-ать!!

Это было замечательно придумано На Воробьева прыгнули и сверху, из ящика, и снизу, с земли Заверещали что-то похожее на «ура». Воробьев успел испуганно трепыхнуться, успел побледнеть, но не успел даже рта открыть Через мгновение его худые ноги в широких сапогах замель-

кали над толпой. Когда поставили его на землю, он даже не поправил костюма, а оглянулся удивленно и спросил:

— Что вы за народ?

Гонтарь ответил ему с наивысшей экспрессией, приседая почему-то и рассекая ладонью воздух:

— Мы, понимаешь, товарищ Воробьев, народ советский, настоящий народ... наш... и ты будь покоен!

Члены четвертой бригады и вместе с ними Ваня Гальченко не придавали большого значения переговорам и выражениям чувств. Осмотрев ящик, они полезли к мотору, установили систему, марку, чуть поспорили о других системах, но единогласно заключили, что машина новая, что в сравнении с ней все станковое богатство Соломона Давидовича, в том числе и токарные самарские станки, никуда не годится. Идеальный новый завод и реальная новая полуторка сильно понизили их уважение к токарным станкам. Недавний их восторг по поводу приобщения к великой работе металлистов повернулся по-новому. Даже Ваня Гальченко, человек весьма сдержанный и далеко не капризный, недавно пришел в кабинет Захарова в рабочее время. Он старался говорить по-деловому, удерживать слезы — и все-таки плакал.

— Смотрите, Алексей Степанович! Что же это такое?.. Шкив испорчен... Я говорил, говорил...

— Чего ты так волнуешься? Шкив нужно исправить.

— Не исправляют. А он говорит: работай! Так нельзя работать.

— Идем.

Переполненный горем, Ваня прошел через двор за Захаровым. Ваня уже не плакал. Войдя в механический цех, он обогнал Алексея Степановича и подбежал к своему станку:

— Вот, смотрите.

Ваня вскочил на подставку и пустил станок. Потом отвел вправо приводную ручку шкива — деревянную палку, свисающую с потолка. Станок остановился.

— Я смотрю, но ничего не вижу.

Вдруг станок завертелся, зашипел, застонал, как все станки в механическом цехе. Захаров поднял голову: палка уже опустилась, передвинулась влево — шкив включен.

Захаров засмеялся, глядя на Ваню:

— Да, брат...

— Как же я могу работать? Остановишь, станешь вставлять масленку в патрон, а он взял и пошел. Руку может оторвать...

За спиной Захарова уже стоял Соломон Давидович. Захаров сказал:

— Соломон Давидович! Это уже... свыше меры...

— Ну, что такое? Я же сделал тебе приспособление!

Ваня полез под станок и достал оттуда кусок ржавой проволоки:

— Разве это такое приспособление!

На концах проволоки две петли. Ваня одну надел на приводную палку, а другую зацепил за угол станины. Станок остановился. Ваня снял петлю со станины, станок снова завертелся, но петля висела перед самыми глазами. Сзади голос Поршнева сказал:

— Последнее слово техники!

Соломон Давидович оглянулся агрессивно на голос, но Поршнев добродушно улыбается, его глаза под густыми черными бровями смотрят на Соломона Давидовича с теплой лаской, и он говорит:

— Это, честное слово, не годится, Соломон Давидович.

— Почему не годится? Это не последнее слово техники, но работать можно

— Работать? Ему станок нужно останавливать раз пять в минуту, когда же ему привязывать, отвязывать... А тут петля болтается, лезет в суппорт.

Соломон Давидович мог сказать только одно:

— Конечно! Если поставить английские станки...

Откуда-то крикнули:

— А это какие?

С другого конца ответили:

— Это не станки. Это называется коза!

Захаров грустно покачал головой:

— Все-таки... Соломон Давидович! Это производит впечатление... отвратительное.

— Да что за вопрос! Сделаем капитальный ремонт!

Захаров круто повернулся [redacted] вышел. Соломон Давидович посмотрел на Ваню с укоризной:

— Тебе нужно ходить жаловаться. Как будто Волончук не может сделать ремонт.

Но из-под руки Соломона Давидовича уже показалась смуглая физиономия Фильки:

— Когда же будет капитальный ремонт?

— Нельзя же всем капитальный ремонт! По-вашему, капитальный ремонт — это пустяк какой-нибудь? Капитальный ремонт — это капитальный ремонт.

— А если нужно!

— Тебе нужно точить масленку. Что ж ты пристал с капитальным ремонтом? Волончук возьмет гаечку и навинтит.

— Как гаечку? Здесь все шатается, суппорт испорчен!

— Ты не один в цеху. Волончук поставит гаечку, [redacted] он будет работать.

Действительно, через пять минут Волончук приведен был [redacted] действие. Он приблизился [redacted] Фильке с деревянным ящиком в руках, [redacted] в этом ящике всегда много чудесных лекарств для всех станков. Филька удовлетворенно вздохнул. Но Соломон Давидович недолго наслаждался благополучием. Уже через минуту он налетел на Бориса Яновского:

— Стоишь?

Борис Яновский не отвечает, обиженно отворачивается.

Есть такие вещи, которые могут вывести из терпения даже Соломона Давидовича. Он гневно кричит Волончуку:

— Это безобразие, товарищ Волончук! Чего вы там возитесь с какой-то гайкой? Разве вы не видите, что у Яновского шкив не работает? По-вашему, шкив будет стоять, Яновский будет стоять, а [redacted] вам буду платить жалованье?

Продолжая рыться [redacted] своем чудесном ящике, Волончук отвечает хмуро:

— Этот шкив давно нужно выбросить.

— Как это выбросить! Выбросить такой шкив? Какие вы богатые все, черт бы вас побрал! Этот шкив будет работать еще десять лет, к вашему сведению! Полезьте сейчас же и поставьте шпоночку!

— Да он все равно болтает.

— Это вы болтаете! Сию же минуту поставьте шпоночку!

Волончук задирает голову, чешет за ухом, не спеша приставляет лестницу и лезет к шкиву:

— Вчера уже ставили...

— То было вчера, а то сегодня. Вы вчера получали ваше жалованье и сегодня получаете.

Соломон Давидович тоже задирает голову. Но его дергает за рукав Филька:

— Так как же?

— Я же сказал: тебе поставят гаечку.

— Так он же туда полез...

— Подождешь...

И вдруг из самого дальнего угла отчаянный крик Садовничего:

— Опять пас лопнул! Черт его знает, не могут пригласить мастера!

И Соломон Давидович, по-прежнему мудрый и знающий, по-прежнему энергичный, уже стоит возле Садовничего.

— Был же шорник. Я говорил — исправить все пасы. Где вы тогда были?

— Он зашивал, а сегодня в другом месте порвалось. Надо иметь постоянного шорника!

— Очень нужно! Шорники вам нужны, а назавтра вам смазчик понадобится, а потом подавай убиральницу.

Садовничий швыряет на подоконник ключ и отходит.

— Куда же ты пошел?

— А что же мне делать? Буду ждать шорника.

— Это такое трудное дело — сшить пас? Ты сам не можешь?

Все-таки развеселил Соломон Давидович механический цех И Садовничий смеялся:

— Соломон Давидович! Это же пас! Это же не ботинок!

Садовничий имел право так сказать, потому что он когда-то работал у сапожника.

22. СЛОВО

Какой будет новый завод, не знал даже Захаров. Но все знали, что нужно за год заработать триста тысяч «чистеньких». А это было не так легко сделать, потому что колонию «сняли со сметы», приходилось все расходы покрывать из заработков производства Соломона Давидовича. Неожиданно для себя самого Соломон Давидович сделался единственным источником, который мог дать деньги. Раньше других пострадал от этого Колька-доктор, которому так и не удалось приобрести синий свет. Потом девочки пятой и одиннадцатой бригад, давно запроектировавшие новые шерстяные юбки, вдруг поняли, что шерстяных юбок не будет. В библиотеке сотни книг связали в пачки, приготовив для переплета, а потом взяли

и эти пачки развязали. Петр Васильевич Маленький просил на гребной автомобиль сто рублей, Захаров сказал:

— Подождем с гребным автомобилем.

На общем собрании Захаров объяснил коротко:

— Товарищи! Надо подтянуть животы, приготовьтесь.

Все были согласны подтянуть животы, и ни у кого это не вызвало возражений. Даже в спальнях о подтягивании животов говорили мало. В четвертой бригаде преимущественное внимание уделяли делам механического цеха. Теперь нужно было зарабатывать триста тысяч, а станки плохие — вот основная тема, которую деятельно разбирали в четвертой бригаде. И в других бригадах страшно беспокоились: на чем, собственно говоря, можно заработать триста тысяч? Выходило так, что не на чем заработать, а между тем оказалось, что уже на другой день после приезда Крейцера выпуск масленок увеличился в полтора раза. Как это произошло, не понял и Соломон Давидович. Он несколько раз проверил цифры, выходило правильно: в полтора раза. Даже Захарову он не сообщил о своем открытии, подождал еще день, другой выпуск все подымался и подымался. Но подымался и крик в цехе против всяких неполадок, а потом не стало хватать литья. Ясно было, что нужно увеличить число опок. На общем собрании об этом говорили несколько раз во все более повышенных тонах: наконец разразился и скандал. Зырянский начал как будто спокойно:

— А теперь с опоками. Опоки старые, дырявые, и не хватает их. Тысячу раз, тысячу раз обещал Соломон Давидович: завтра, через неделю, через две недели. А посмотрите, что утром делается? Токари не успели кончить завтрак, а некоторые даже и не завтракают, а бегом в литейную. Каждый захватывает себе масленки, а кто придет позже, тому ничего не остается, жди утренней отливки, жди, пока остынет. Какая это техника?

И вот еще новость: Зорин, вовсе и не металлист, а деревообделочник, тоже взял слово:

— Соломону Давидовичу жалко истратить на опоки тысячу рублей. А если план трещит, так что?

Соломон Давидович потерял терпение:

— Дай же слово. Что это такое, в самом деле! С опоками этими, что я сам не понимаю, что ли? Опоки будут скоро. Сделаем.

С места крикнули:

— Когда? Срок!

— Через две недели.

Зырянский хитро прищурился:

— Значит, будут к пятнадцатому октября?

— Я говорю: через две недели, значит, будут к первому октября.

— Значит, к пятнадцатому октября обязательно?

— Да, к первому октября обязательно.

В зале начали улыбаться. Тогда Соломон Давидович стал в позу, протянул вперед руку:

— К первому октября, ручаюсь моим словом!

В зале вдруг прокатился смех, даже Захаров улыбнулся. Соломон Давидович покраснел, надулся, он уже стоит на середине зала:

— Вы меня оскорбляете! Вы имеете право оскорблять меня, старика? Вы! Мальчишки!

Стало тихо, неловко. Что будет дальше? Но Зырянский тоже придвинулся к середине и, повернув к Соломону Давидовичу серьезное лицо, сдвинул брови

— Никто вас не хочет оскорблять, Соломон Давидович. Вы утверждаете, что опоки будут готовы к первому октября А я утверждаю, что они не будут готовы и к пятнадцатому октября

Он остановился перед Блюмом, не опуская глаз. Соломон Давидович покрасневшими глазами оглядел собрание, вдруг повернулся и вышел из зала. В наступившей тишине Марк Грингауз возмущенно сказал.

— Нельзя, Алексей! Разве так можно с человеком? Он ручается словом.

Теперь покраснели глаза и у Зырянского. Он резко взмахнул кулаком:

— И я ручаюсь словом! Если я окажусь неправ, выгоните меня из колонии.

— А все-таки ты неправ,— неожиданно прозвучал голос Воленко.

— Это еще будет видно

— А я тебе говорю: ты все равно неправ И нечего тут спорить, мы все хорошо знаем — опоки не будут готовы к первому октября.

— Вот видишь!

— И ничего не вижу. А сейчас Соломон Давидович верит, понимаешь, верит, что они будут готовы. И он старается: это не то что он врет. А ты, Алеша, сейчас же... нá тебе! Взял и обидел! Такого старика.

— Я не обидел, а я с ним спорю.

— Спорить — одно дело, а обижать — другое дело. И я не допускаю, чтобы ты нарочно...

— Да брось ты, Воленко. У нас идет вопрос об опоках, о деле, а ты все со своей добротой. У тебя все хорошие, и никого нельзя обижать А по-моему иначе: нужны опоки — давай опоки, говори дело: когда будут готовы, а зачем морочить голову всей колонии? Зачем?

Собрание с большим интересом следило за этим разговором. По выражениям лиц трудно было разобрать, на чьей стороне колонисты. Выходило так, что и Зырянский прав, и обижать нельзя, в самом деле. Игорь Чернявин сидел на диване между Нестеренко и Зориным, и ему хотелось тоже взять слово и высказать свою точку зрения. Но он еще не привык говорить на собраниях, а кроме того, ему не вполне было ясно, какая у него точка зрения. Ему всегда было жалко Соломона Давидовича, на которого все нападали, у которого все требовали и который с самого утра до сигнала «спать» «парился» в колонии, но, с другой стороны, Игорь до конца понимал постоянную, придирчивую воркотню колонистов по адресу «производства» Соломона Давидовича. В самом деле, если даже взять сборочный цех: сейчас весь двор завален лесом, но какой это лес? Где-то достал Соломон Давидович, по дешевке конечно, несколько грузовиков дубовых обрезков. Это безусловно последний сорт: дуб сучковатый, с прослоями, на каждой проножке трещинка. Эти трещинки и дырочки от сучков нужно просто обходить еще в машинном отделении, но Руслан Горохов ругался и рассказывал, что, наоборот, Соломон Давидович требовал, чтобы никаких обрезков не было. А на кого надежда в таком случае? На Ванду. Ванда все замажет своим чудесным составом, но нельзя же, в самом деле, чтобы все кресло состояло из Вандиной смеси. Игорь

Чернявин вдруг решился и протянул руку. Торский дал ему слово, удивленные глаза со всех сторон воззрились на Игоря: он еще воспитанник, а уже просит слова!

Игорь храбро поднялся, но как только открыл рот, так и почувствовал, какое это трудное дело — говорить на общем собрании!

— Товарищи! Разве это правильно, скажите, пожалуйста: берет Ванда Стадницкая просто опилки, будьте добры... не угодно ли вам получить театральное кресло? Попробуйте взять в руки, например, проножку, посмотрите, пожалуйста. .

— Говори по вопросу,— остановил Торский.

— А?

— Что ты нам о проножках, ты говори по вопросу о выступлении Зырянского.

— Ну да! Я же и говорю. Надо войти все-таки в положение. Войдите в положение, будьте добры.

— В чье положение? — спросил с места Зорин.

Игорь мельком поймал его вредный взгляд и храбро взмахнул рукой. Черт его знает, жест вышел такой неуклюжий, какой бывал у Миши Гонтаря: рука прошлась, правда, очень энергично, но как будто не в ту сторону, куда следует, а потом остановилась где-то против живота и с самым дурацким видом торчала в неудобном, деревянном положении. Игорь даже посмотрел на нее, но тут же, хоть и мельком, увидел чью-то коварную девичью улыбку. Во всяком случае, нельзя же просто молчать! В этот момент почему-то вспотел его лоб, Игорь вытер его рукавом и неожиданно для себя довольно громко вздохнул. Легкий-легкий, еле слышный смех быстро прошумел и улетел куда-то за стены тихого клуба. Игорь поднял глаза, прислушался, еще раз вздохнул и... сел на место.

Теперь все рассмеялись громко, Игорь рассердился. Он снова вскочил и закричал:

— Да чего тут смеяться! Пристали к человеку: опоки, опоки! Думаете, ему легко, Соломону Давидовичу? Сами говорите — триста тысяч заработать за год, а без Соломона Давидовича черта с два заработаете! Вы еще чай пьете ..

— А вы? — крикнул кто-то.

— Да и я, а что ж? Мы еще чай пьем, а он уже в город бежит, а прибежит обратно, так на него со всех сторон... скажите, будьте добры, разве это жизнь? А я уважаю Соломона Давидовича, честное слово, уважаю!

И удивительное дело, вдруг колонисты захлопали. В первый момент Игорь даже не поверил своим ушам: ворвались в его речь непривычные посторонние звуки, оглянулся: аплодируют, аплодируют ему, Игорю Чернявину, хотя лица улыбаются по-прежнему иронически. Игорь залился краской, махнул рукой, захотелось куда-нибудь спрятаться от смущения, но тяжелая рука Нестеренко легла на колено:

— Молодец, Игорь, молодец, ты хороший человек!

Игорь услышал голос Захарова. Захаров сразу начал с его фамилии.

— Чернявин сказал то, что все мы думаем. Опоки — важная вещь, Зырянский прав. А человек еще важнее, друзья! Воленко, я уважаю тебя за то, что ты выступил на защиту старика. Я думаю, что пришла пора по-

говорить о Соломоне Давидовиче как следует. Только то, что я скажу, прошу держать в секрете. Вы это можете?

Захаров, улыбаясь, оглядел собрание: все лица утверждали одно: разумеется, они могут, эти двести колонистов, они способны что угодно сохранить в секрете. Кто-то подозрительно посмотрел на девочек, но кто-то из девочек ответил решительным протестом:

— Ты чего смотришь? Я вот за твой язык не ручаюсь...

— Мой язык? Ого!

Захаров понял, что в секрете он может быть уверен.

— Я вижу: вы не расскажете Соломону Давидовичу, это очень хорошо. Так вот: давайте договоримся. Мы должны требовать от него порядка, мы должны добиваться и капитального ремонта, и хорошего качества продукции, и новых опок. Это мы должны. Но давайте договоримся. Мы все это будем делать в дружеском тоне, во всяком случае, совершенно вежливо. Имейте в виду: вежливость — для некоторых трудная вещь, нужно учиться быть вежливым. Не нужно так думать: если человек вежливый, значит — он шляпа. Ничего подобного. Вот, например, можно закричать, замахать руками, засверкать глазами: «Убирайся вон, такой-сякой, подлец!», а можно очень вежливо сказать: «Будьте добры, уходите отсюда».

Последнюю фразу Захаров сказал действительно с чрезвычайной вежливостью, даже поклонился чуть-чуть, но непреклонный нажим этой просьбы был так убедителен и так уверен, что общее собрание не выдержало: зашумело, засмеялось, кто-то сказал:

— Так это, если свои!

— Совершенно верно. Я про своих и говорю. А если чужие — тоже дело не в ругательстве, а в силе. Винтовка лучше всякой ругани. Но ведь Соломон Давидович человек свой, это мы хорошо знаем, и Чернявин хорошо сказал. Наше производство старенькое, кустарное, и работать на нем трудно, и управлять им тоже нелегко. Все понятно, ребята?

Собственно говоря, все было понятно. Только Зырянский уходил из тихого клуба с недовольным лицом и все повторял:

— Вот посмотрим, как он к первому октябрю сделает!

Зато Чернявин взлетел по лестнице радостный: он сказал довольно хорошую речь, первую речь в колонии, и Захаров с ним согласился. А то они, в самом деле, думают, что Чернявин обыкновенный новенький. Пожалуйста, воспитанник Чернявин? Давно уже было не по себе Чернявину. Ваня Гальченко хороший пацан, но он пришел в колонию через месяц после Игоря, а ему уже дали значок. В восьмой же бригаде никто не подымал вопроса о Чернявине. К нему относились хорошо, признавали его начитанность, признавали справедливость его суждений по многим вопросам жизни, но ни одна душа не заикнулась о том, чтобы Чернявина представить на общее собрание и сказать: так и так, ничего себе человек: живет, работает, учится. Неужели все помнили несчастный поцелуй в парке перед спектаклем? Или отказ от работы в самые первые дни?

И — удивительное дело — не успел Чернявин об этом подумать, как Нестеренко сказал:

— Я так полагаю, хлопцы, что довольно Чернявину ходить воспитанником. Может, конечно, у него и есть разные фантазии, но я так думаю,

что это само пройдет. А чего в нашей бригаде воспитанники будут торчать? Какое твое мнение, Санчо?

А Санчо, тоже хитрая тварь, закричал удивленным голосом:

— Да я давно так думаю! Чего, в самом деле!

23. В ЖИЗНИ ВСЕ БЫВАЕТ

Крейцер приехал вместе с толстым человеком, водил его по колонии, все показывал, а больше всего показывал пацанов и говорил:

— А вот этот... Вы такого видели? Кирюшка, а ну, иди сюда.. как живешь?

Кирюшка мог бы кое-что рассказать о своей жизни, но посмотрел на толстяка, и охота у него пропала. У толстяка было бритое, выразительное лицо, только в данный момент оно ничего не выражало, кроме брезгливости, да и то сдержанной.

— Вы еще, дорогой, ничего не понимаете,— сказал Крейцер.

Толстяк ответил стариковским басом:

— Я — инженер, Михаил Осипович, и не обязан понимать всякую романтику.

— Хэ,— коротко засмеялся Крейцер,— ты, Кирюша, оказывается, существо романтическое?

Кирюша моргнул в знак согласия и убежал. Володя трубил совет бригадиров, а потом спросил у Кирилла:

— Чего он тебе говорил, старый?

— Непонятное что-то! Говорит — я инженер!

В комнате совета бригадиров еле-еле поместились. Каким-то ветром разнеслось по колонии, что приехавший инженер будет говорить о новом заводе. И Ваня Гальченко одним из первых занял место на диване. Было много и взрослых: пришли учителя, мастера, даже Волончук залез в угол и оттуда поглядывал скучно и недоверчиво.

Крейцер прищуренным глазом оглядел колонистов, перемигнулся с Захаровым и сказал:

— Так вот, ребята. Дело у нас начинается. Познакомьтесь — это инженер Петр Петрович Воргунов. Насчет нового завода у нас с ним есть план, интересный план, очень интересный, у нас там, в городе, этот план понравился, будем делать такой завод — завод электроинструмента. Петр Петрович, пожалуйста.

Инженер Воргунов занял весь стол Вити Торского. Он не посмотрел на колонистов, не ответил взглядом Крейцеру; вид у него был тяжеловато-хмурый. Большая голова с редкими серыми волосами поворачивалась медленно. Он открыл небольшой чемоданчик и достал из него хитрую блестящую машинку, похожую на большой револьвер. С некоторым трудом он взвесил ее на руках и начал говорить голосом негромким, отчужденным, видимо, что по обязанности:

— Это — электросверлилка, значит, работает электричеством. Вот шнур, включается в обыкновенный штепсель..

Он включил, сверлилка в его руках вдруг зажужжала, но движение вследствие быстроты не было видно и лишь угадывалось.

— Как видите, она работает прямо в руках, и это очень удобно, можно сверлить дырки в любом направлении. Чрезвычайно важный инструмент, в особенности при постройке аэропланов, в саперных работах, в кораблестроении. Но она может работать и как стационар, на штативе, штатива я с собой не привез. Если вы немного понимаете в электричестве, вы догадаетесь, что в ней, внутри, должен быть электроякорь, я потом его покажу. Бывают и другие электроинструменты, которые тоже нужно делать на будущем заводе... э... в этой колонии: электрошлифовалки, электропилы, электрорубанки. До сих пор электроинструмент у нас в Союзе не делался, приходилось покупать в Австрии или в Америке. У меня в руках австрийская.

Потом Воргунов очень легко, как будто даже без усилий, разобрал электросверлилку и показал отдельные ее части, коротко перечислил станки, на которых эти части нужно делать, и названия станков были все новые, среди них упоминались и токарные. Закончил так:

— Цеха будут: литейный, механический, сборный и инструментальный. Если что-нибудь непонятно, задавайте вопросы.

Он опустил сверлилку на стол, а на сверлилку опустил глаза и терпеливо ждал вопросов. Сделанное им сообщение было слишком ошеломительно, слишком захватило дух у присутствующих, трудно было задавать еще какие-либо вопросы. Однако Воленко спросил:

— Наша литейная не годится?

Вопрос этот имел характер совершенно неприличный; все присутствующие укоризненно посмотрели на Воленко. Воргунов, не подымая глаз, ответил:

— Нет!

Зырянского это не смутило:

— Вот вы сказали... точность... точность при обработке. Какая точность?

— Одна сотая миллиметра.

Зырянский сел на место и приложил руку к щеке:

— Ой-ой-ой!

Все засмеялись, даже Захаров, даже Волончук, не засмеялся только один Воргунов, он начал укладывать сверлилку в чемоданчик.

— А мы .. сможем... это сделать?

Воргунов сжал губы, посмотрел куда-то через головы и ответил сухо:

— Не знаю.

Глаза у колонистов странно закосили, неловко было смотреть друг на друга. Но встал Захаров, сделал шаг вперед — и тоже опустил глаза: видно было, что он зол.

— А я знаю! И товарищ Крейцер знает! И вы знаете, колонисты. Эти сверлилки нужны нашей стране, нашей Красной Армии, нашему воздушному флоту. Товарищ Воргунов, какой выпуск запроектирован?

— Норма — пятьдесят штук в день.

— Значит, мы будем делать сто штук в день. И будем делать лучше австрийцев.

Он с вызывающим лицом повернулся к инженеру, но инженер по-прежнему холодно смотрел на свой чемоданчик. Чей-то звонкий голос раздался из самой гущи, расположившейся у дверей:

— Будем делать!

Михаил Гонтарь сделал лицо добродетельное, серьезное, какое бывает у мудро поживших стариков:

— Я читал недавно в одной книжке, люди такое придумали — по телеграфной проволоке будут портреты посылать. А сверлилку, наверное, легче все-таки сделать. Или, скажем, комбайн — и то делают, я сам видел в Ростове. И я так думаю: если хорошо взяться, так почему не сделать? Конечно, чтобы литейная была хорошая.

На Воргунове все эти правильные мысли никак не отразились. Витя Торский, удивленно разглядывая его, закрыл совет.

Через несколько минут Воргунов стоял посреди кабинета Захарова, наклонив голову, точно бодаться собрался:

— Я не понимаю этих нежностей. Я не ангел и не институтка, и никакие дети меня не умиляют, раз дело идет о производстве. Нет, не умиляют. Я говорю прямо: стройте завод — дело хорошее, а только рабочих придется искать

Крейцер удивленно округлил глаза:

— Да постойте, Петр Петрович. А эти .. ребята... по-вашему

Воргунов пожал плечами:

— Михаил Осипович! Портачей и без них довольно.

Соломон Давидович протянул возмущенные руки:

— Вы их еще не знаете! Они работают... как звери, работают!

— Ну, вот видите: как звери! Мне нужны не звери, а знающие люди.

Он надел шляпу, взял в руки чемодан:

— Так я воспользуюсь вашей машиной, Михаил Осипович. До свиданья.— И вышел.

Все смотрели ему вслед. Крейцер сказал с увлечением:

— Вы видите? Это же прелесть! Замечательный человек!

Но Соломон Давидович Блюм, кажется, не заметил этого восхищения:

— Как вам это нравится? Он зверей не любит. Вы видели что-нибудь подобное?

Захаров смеялся громко, как мальчик

А в это время в спальне четвертой бригады большинство ребят уже спало. Только Зырянский читал в постели книгу, да Володя и Ваня на соседних кроватях посматривали еще друг на друга. Ваня вдруг приподнялся на локте:

— Одна сотая миллиметра! Володька! Это не может быть, правда?

Володя ответил задумчиво:

— В жизни все бывает.

Зырянский повернул к ним лицо:

— Пацаны, спать!

Пацаны, балуясь, пожмурились друг на друга и заснули.

24. ВСПОМНИМ СТАРИНУ...

Воргунов увез с собой австрийскую сверлилку, но ее увлекательный образ остался в памяти.

По правде сказать, колонисты не умели разговаривать на подобные

темы. Спорили о том, останется ли швейная мастерская или не останется, пригодятся ли для нового завода самарские токарные или не пригодятся, нужно ли разваливать стадион или не нужно. Несколько девочек обратились в совет бригадиров с просьбой перевести их в механический цех. В совете бригадиров горячо приветствовали это начинание, но в четвертой бригаде отнеслись к нему с завистливым недоверием. Петька Кравчук воинственно поводил своим чубиком и говорил:

— Ой, и хитрые же девчата! Конечно, потом скажут: вот девчата — такая редкость, скажите, пожалуйста, работали на токарных станках, давайте их поставим на самые лучшие станки, а про нас скажут: эти еще маленькие, пускай себе шишки делают. Особенно если дыма не будет.

В четвертой бригаде с Петькой соглашались: казалось, что вторжение взрослых девочек в механический цех сильно может понизить токарные заслуги пацанов. Но это беспокоило только до тех пор, пока у токарных станков рядом с пацанами не стали девочки.

Перешли работать в механический цех и Ванда с Оксаной. На совете бригадиров Соломон Давидович заикнулся было, что в важной роли составителя опилочной смеси в сборном цехе Ванда незаменима. Ванда заявила, что она хочет работать вместе с Оксаной. Подобный аргумент, высказанный всяким другим, вызвал бы только смех, но так как речь шла об Оксане и Ванде — никто не смеялся, и, наоборот, именно этот аргумент решил дело.

Дружба Оксаны и Ванды была замечена всей колонией, и все молчаливо признали, что в этой дружбе есть что-то особенное. Толком никто не знал, в чем состоит это особенное, да и секреты их дружбы нигде не были оглашены. Подруг привыкли видеть всегда вместе: в столовой, в школе, а теперь и на производстве. И часы отдыха они посвящали друг другу. В парке, в театре, на площадке они всегда показывались рядом, создавая чрезвычайное неудобство для всех желающих оказать особое внимание одной из них. И Михаил Гонтарь, и Игорь Чернявин, каждый в отдельности и каждый про себя, весьма осуждали такую дружбу и оправдывали ее только в те моменты, когда замечали расстроенную физиономию соперника. Что было особенно возмутительно, так это то, что Ванда и Оксана на глазах у других почти никогда даже не разговаривали друг с другом. Было видно, что простая, молчаливая и немного серьезная близость совершенно их удовлетворяет, но было видно и другое: в другой, таинственной обстановке, может быть, в спальне, может быть, в глухом уголке парка, эти девочки находили, о чем поговорить, и все вопросы у них разрешены, и все для них ясно. Поэтому они могут с горделивым спокойствием в присутствии посторонних помалкивать. У Оксаны лицо было оживленнее и внимательнее к окружающему, чем у Ванды. Сохраняя свою дружескую преданность, она умела оглянуться по сторонам, посмотреть лукаво или внимательно прислушаться к тому, что происходит рядом. Ванда, напротив, не интересовалась окружающим: в ее душе всегда проходила какая-то своя занятная жизнь, и только к ней она присматривалась, чуть-чуть напрягая брови.

Колония все больше и больше нравилась Ванде. Все понятнее становились в ее глазах люди, но приближаться к ним в простом и искреннем порыве она еще не привыкла. Все секреты колонии постепенно раскрылись

перед ней Одним из первых раскрылось, почему у девочек много подушек. Этот секрет оказался очень простым и даже веселым Зиали о нем почему-то только девочки, мальчики всегда склонны были становиться в тупик перед этим замечательным явлением и даже подозревать хозяйственную часть в несправедливости. Секрет заключался в следующем один раз в шестидневку происходила перемена постельного белья, при этом мальчики, снимая наволочку, совершенно не обращали внимания на несколько пушинок, приставших к наволочке Пушинки летали в комнате, падали на пол и выметались дежурным в коридор. Дежурные по коридорам должны были вымести дальше. Но им никогда не приходилось это делать Рано утром, еще до первого сигнала, девочки собирали эти пушинки. Вот по этой причине подушки у девочек все полнели и полнели, и наступал момент, когда нарождалась новая подушка. У мальчиков, наоборот, подушки все худели и худели, и наступал момент, когда завхоз с недовольным видом констатировал это необъяснимое явление и приходил к заключению, что нужно снова покупать перо для набивки подушек. А так как мальчиков было гораздо больше, чем девочек, то этот процесс имел довольно бурный характер. Скоро и у Ванды образовался небольшой запас перьев и пушинок, который она бережно хранила в носовом платке в своей тумбочке. Это было обыкновенное житейское дело, и если можно было кого презирать, то исключительно мальчишеский народ, не способный справиться с таким пустяком, как подушка.

В тумбочке Ванды тоже начало кое-что заводиться. Как и все колонисты, она получала на заводе зарплату. Ее заработок в месяц к концу октября достигал ста двадцати рублей. Большая часть этих денег оставалась в колонии в восстановление расходов на пищу, десять процентов передавалось в фонд совета бригадиров, который имел специальное назначение — помощь выпускаемым и бывшим колонистам. На руки приходилось получать рублей двадцать — двадцать пять — огромная сумма, которую трудно было истратить, пока у Ванды мало было желаний. Но с приходом Оксаны и для этих денег нашлись пути. Захотелось вдруг сладкого, потом привлекательными показались шелковые чулки, затем так радостно было сделать Оксане подарок. И в тумбочке Ванды тоже появились отрезок батиста, коробочка с разной мелочью, а впереди замаячили ручные часики, такие, как были у Клавы Кашириной. Часики, впрочем, отодвигались все дальше и дальше, ибо находились расходы более неотложные и посильные, а в вестибюле все равно висели большие часы, по которым всегда можно было узнать время, если нет терпения ожидать трубного сигнала.

В конце октября, в выходной день, Ванда получила отпуск Оксана в это время уже увлеклась биологическим кружком и все толковала о каком-то африканском циклозоне В биологическом кружке работал и Игорь Чернявин. Собственно говоря, африканский циклозон мало его интересовал, еще меньше занимали его морские свинки и многочисленные птичьи клетки, но в этом кружке почему-то симпатично и весело, и было много оснований для остроумного слова и много простой «черной» работы, которую Игорь производил с особенной радостью, если его работу наблюдала Оксана Во всяком случае, биологический кружок имел то преимущество, что никакого прямого отношения он не имел к устройству автомоби-

ля и к правилам уличного движения,— появление Миши Гонтаря в этом кружке было абсолютно невозможно.

Оксана осталась работать в кружке, а Ванда одна отправилась в город. Пройдя по лесной просеке, она села в трамвай и доехала до главной улицы. На дворе стоял ясный октябрьский день. В форменном черном пальто, со значком на берете, Ванда гордо пошла по улице: люди посматривали на нее с уважением — эта красивая белокурая девушка была членом славной Первомайской колонии! Главная улица начиналась бульваром, на нем происходило неспешное праздничное движение. Ванда со строгой точностью обходила длинные ряды прогуливающихся, и ей было приятно видеть, как в этих рядах вспыхивали любопытные, завистливые взгляды, как молодые люди старались уступить ей дорогу. Иногда, обойдя ряд, она слушала произнесенное шепотом слово:

— А все-таки... молодцы эти первомайцы: и походка у них особенная.

Здесь, на праздничной улице, было даже приятнее, чем в колонии. Здесь ни одна душа ничего не знала о Ванде Стадницкой. Она несла на своих плечах, на белокурых вьющихся волосах всю чистоту и гордость своей молодости, всю чистоту и гордость своей колонии, и поэтому она легко и четко ставила черную туфельку на асфальт тротуара, было приятно ощущать, как свободно и ловко ступает сильная нога, как в таком же сильном покое дышит грудь, как уверенно смотрят глаза.

— Наше вам...

Это сказали сзади, как будто нагло, коварно и сильно ударили палкой по голове. Она ощутила, как что-то бесформенное и безобразно-отвратительное проснулось во всем ее теле.

Перед ней стоял колонист: такая же черная шинель, и значок в петлице, и даже выправка чем-то напоминает колонию, но эти немигающие зеленые глаза...

— Ты куда? — спросил Рыжиков.

Ванда с трудом проглотила воздух, застрявший в горле, на короткий срок проснулась в ней прежняя неукротимая злоба, глаза блеснули... но она вспомнила, что вокруг нее движется улица, что она такая же колонистка, как он:

— Я? Купить кое-что... для себя и для Оксаны. А ты?

— А я так... погулять...

Он пошел рядом с ней, и вид у него сегодня, честное слово... приличный: шинель застегнута на все пуговицы, черная кепка сидит с уверенной строгостью.

— Теперь ты... в токарном работаешь?

— В токарном.

— Не бабское дело.

— А какое бабское?

— У вас свое дело... все равно... ничего не выйдет...

Он передернул губами, и колонист куда-то слетел с него, как будто Рыжиков мгновенно переоделся на ее глазах.

Ванда все-таки помнила, что она на улице, и поэтому сказала шепотом, не меняя ничего в лице:

— Уходи от меня... уходи!

— Да ты не сердись. Чего ты? Уже и пошутить нельзя. А знаешь что?

— Ну?

— Зайдем в ресторан

Она ничего не ответила, ноги с разгону несли ее в одном направлении с ним.

Он сделал молча несколько шагов, потом опустил глаза и сказал тихо:

— Выпьем. .

Она спросила с нескрываемой силой презрения:

— А... потом что?

Он засмеялся беззвучно, передернул плечами — старым блатным манером:

— А потом... А потом видно будет. Может, вспомним старину... А?

Они долго молчали, идя рядом. На перекрестке он показал глазами на вход в подвальный ресторан и прошептал просительно:

— Зайдем, вспомним старину...

Ванда оглянулась по улице и, чуть склонившись к нему, прошептала с силой, глядя прямо в глаза:

— Дурак! Заткнись со своей стариной. Идиот.

Он отскочил в сторону и изогнулся в привычной нахальной позе:

— Чего ты? Чего ты задаешься? А то смотри: узнают в колонии! Кто-то неподалеку оглянулся на его крик. Ванда густо покраснела и быстро ушла в переулок; Рыжиков замер у входа в ресторан.

25. НИЧЕГО ПЛОХОГО

Рыжиков чувствовал себя в колонии в общем прекрасно. Большею частью был весел, разговорчив, всегда встревал в беседы бригадного актива о колонистских делах и высказывался довольно умно. В литейном цехе он завоевал одно из самых первых мест и в последнее время работал на формовке Мастер Баньковский высоко ценил его способности и энергию. Небольшое столкновение было у Рыжикова с Нестеренко, который в самой категорической форме потребовал, чтобы Рыжиков не употреблял матерных выражений. Авторитета Нестеренко Рыжиков не признал и ответил ему:

— Много вас тут ходит... еще ты будешь меня учить

— Хорошо. Поговоришь об этом с бригадиром.

— И поговорю; подумаешь, испугал!

Вечером Воленко действительно спросил у него:

— Рыжиков, Нестеренко рассказывал...

Рыжиков страдательно скривился:

— Воленко! Ничего там такого не было. Конечно, когда опок не хватает, конечно, зло берет, понимаешь, ну, я и сказал.

— У нас этого нельзя, Рыжиков, я тебе несколько раз говорил.

— Я понимаю. Думаешь, я не понимаю? Привычка такая у меня, привык...

— Так отвыкай. Разве трудно отвыкнуть?

— А ты думаешь, легко? Если бы на свободном времени, а когда зло берет с этими опоками: сколько раз говорил — углы испорчены, проволокой связаны, как же не того .. не выругаться?

— Вот ты дай мне обещание, что будешь сдерживаться.

— Воленко, я тебе даю обещание, а иногда, понимаешь, зло такое берет.

Воленко нажимал на Рыжикова, но понимал, что тому трудно отвыкнуть от старых привычек. Вообще Рыжиков дисциплину держал хорошо, а самое главное — считался одним из передовых ударников литейного цеха. Он уже и зарабатывал: в последнюю получку у него чистых осталось на руках до пятидесяти рублей. Он показал эти деньги Воленко и спросил у него:

— Как ты думаешь, что купить на эти деньги?

— Зачем тебе покупать? У тебя все есть. А ты лучше положи их в сберкассу. Будешь выходить из колонии — пригодятся.

Только в школе у Рыжикова дела шли плохо Он сидел в четвертой группе, на уроках спал, домашних заданий не выполнял и с учителем только потому не ссорился, что побаивался старосты, сурового, непреклонного Харитона Савченко.

Прибавилось у Рыжикова и приятелей. Правда, Руслан Горохов делал такой вид, что ему некогда погулять и поговорить о том о сем, а кроме того, Руслан учился в шестом классе, к нему приходили другие шестиклассники делать уроки. Рыжиков готов был с подозрением отнестись к разным урокам, но не мог не признать, что шестой класс нечто весьма почетное и, может быть, там действительно нужно учить уроки. С Русланом Гороховым спешить было нечего, это был человек свой. Находились и другие. Левитин Севка, например, был даже удобнее для дружбы, чем Горохов, так как был моложе Рыжикова года на два и признавал его авторитет с некоторым даже любовным подобострастием. Левитин отличался грамотностью, очень много читал и любил рассказывать разные истории, вычитанные в книгах. Иногда он из города приносил какие-то особенные книги о приключениях, прятал их в тумбочке и показывал только Рыжикову. Главной отличительной особенностью Севки была его ненависть к колонии. Даже Рыжиков не мог понять, за что Севка так злобится на колонию, но любил выслушать его жалобы и намеки. У Севки полное лицо и толстые губы, и когда он говорит, и лицо и губы становятся влажными, от этого его слова кажутся еще более злобными. Севка презирал все колонистские порядки: дисциплину, форму колонистов, чистоту в колонии, работу на производстве. Он был уверен, что Блюм накрал десятки тысяч рублей и теперь хочет накрасть еще больше на постройке завода. А Захаров старается потому, что хочет получить орден, и, конечно, получит, раз на него работает больше двухсот колонистов. Севка знал, какие учительницы с какими учителями «гуляют», и рассказывал самые жуткие подробности об этих делах. Один раз Рыжиков не утерпел и возразил Севке:

— А ты врешь... Этот... Захаров, чего там, просто воображает. А красть в колонии — не думай, что так легко. Бухгалтерия есть, и проверки бывают разные.

Но Левитин только рукой отмахнулся с презрением. Он побывал во многих детских домах, так в одном доме все открылось, а заведующий под суд пошел. А в другом доме все крали. А его, Левитина, отец до сих пор в тюрьме сидит, кассиром был, и тоже все считали: вот честный человек,

а потом как засыпался — тридцать тысяч тю-тю! Напрасно Рыжиков воображает, что дураков на свете много. Если можно украсть, так каждый украдет, [illegible] только стараются вид такой делать, что они честные.

Рыжиков не мог вполне согласиться с Севкой. Он лучше знал жизнь и лучше понимал людей. Конечно, украсть каждый может, и каждому приятно ни за что, даром, заиметь деньги или барахло. А только разная шпана все равно так [illegible] жизнь проживет в бедности, а красть не пойдет, потому что боится. Они думают так: лучше черный хлеб есть, [illegible] не попасть в тюрьму. А крадут только самые смелые люди, которые ничего не боятся [illegible] которым на тюрьму наплевать. И Рыжиков, как умел, гордился своей исключительностью и бесстрашием. С легким презрением он думал, что и Левитин — шпана и украсть не способен, а только разговаривает. Тем не менее с ним поговорить было почему-то приятно.

Однажды Рыжиков и Севка остались в спальне вдвоем. Севка сказал по обыкновению обиженным голосом:

— Это справедливо? Ванда здесь живет два месяца, так ей уже станок дали. А [illegible] в столярной. Справедливо это?

Рыжиков ухмыльнулся.

— Мало что Ванда! Значит, умеет понравиться!

— А почему я не могу понравиться?

Рыжиков расхохотался:

— Ты, куда тебе? Ты знаешь, чем Ванда занималась до колонии?

— Ну?

Хотя и никого не было в спальне, кроме них, [illegible] Рыжиков наклонился к Севкину уху и зашептал.

— Врешь!

— Честное слово! Я ж ее знаю!

— Вот так история! Ха!

Севка очень обрадовался секрету, но Рыжиков невыразительно [illegible] скучно пожал плечами:

— Только что ж тут такого? Тут ничего такого нет. Мало ли что...

— А смотри .. прикинулась. Никто [illegible] не думает!

— Ничего плохого нет,— повторил Рыжиков.

26. ТЕХНОЛОГИЯ ГНЕВА

В начале ноября в колонии шла напряженная подготовка к празднику. А готовиться было и некогда, рабочие дни загружены были до отказа. Каждый дорожил минутой, [illegible] каждая минута имела значение. В один из вечеров Люба Ротштейн из одиннадцатой бригады нашла записку. Эта записка лежала в книге, которую Люба только что принесла из библиотеки. Люба быстро прочла записку [illegible] вскрикнула:

— Ой, девочки! Ой, какая гадость! Лида!

Лида Таликова взяла из ее рук листок бумаги. Написано было аккуратным курсивом:

«Надо спросить Ванду Стадницкую, чем она занималась до колонии и как зарабатывала деньги».

В это время в нижнем коридоре возвращался из библиотеки Семен Гайдовский. Название книги, которую он только что получил, было настолько завлекательно, что хотя он и наметил основательно книгу эту читать во время праздников, но уже сейчас он медленно бредет по коридору и рассматривает картинки Из книги выпала бумажка, Гайдовский не заметил этого и побрел дальше. Записку поднял Олег Рогов и прочитал:

«Хлопцы! За дешевую цену можете поухаживать за Вандой Стадницкой, опытная барышня!»

— Где ты взял это?

— Чего?

— Записку эту?

— Я не знаю... какую записку?

— Обронил... ты обронил.

— Может, из книги?

— А книга откуда?

— Это я сейчас взял в библиотеке. А что там написано?

Рогов не ответил и бросился в комнату совета бригадиров.

— Смотри, что у нас делается!

Виктор Торский сидел за столом, и перед ним лежало несколько таких же записок.

— Я уже полчаса смотрю. Это четвертая записка.

Через некоторое время Торский поставил у дверей Володю Бегунка и засел с Зырянским и Марком Грингаузом. Зырянский, впрочем, недолго заседал. Он быстро пробежал все записки и сказал уверенно:

— Это Левитин писал.

Марк спросил:

— Ты хорошо знаешь?

— Это Левитин. Он со мной на одной парте. Его почерк. И помнишь, он на Марусю в уборной написал? Помнишь?

— Да как же он подложил?

— А как же? Очень просто: член библиотечного кружка.

Виктор ничего не сказал, послал Володю позвать Левитина. Севка пришел, скользнул взглядом по запискам, разложенным на столе, ловко не заметил внимательных, суровых глаз Торского, спросил с умеренной почтительностью:

— Ты меня звал?

— Твоя работа? — Торский кивнул на стол.

— А что такое?

— Ты не видишь?

— А что такое?

Левитин наклонился над столом. Зырянский круто повернул его за плечо:

— Читать еще будешь?

— Вы говорите — моя работа, так я должен прочитать?

— Должен! Ты и писать должен, ты и читать должен? На одного много работы!

— Не писал я это.

7 5-1102

— Не ты?

— Нет.

Зырянский горячо взглянул через стол — словно выстрелил в Левитина Тот с трудом отвел глаза; было видно, как дрожали у него ресницы от напряжения. Зырянский прошептал что-то уничтожающее и резко обернулся к Виктору:

— Давай совет, Виктор!

— Сейчас будет и совет.

Прошло не больше трех минут, пока Витя побывал у Захарова. В течение этих трех минут никто ни слова не сказал в комнате совета бригадиров. Марк Грингауз отвернулся к окну, Зырянский опустил глаза, чтобы не давать своей ненависти простора. Левитин прямо стоял против стола, немного побледнел и смотрел в угол. Захаров вошел серьезный, молча пробежал одну записку за другой, последнюю оставил в руке и холодно-внимательно присмотрелся к Левитину.

— Хорошо,— сказал он очень тихо и ушел к себе. Левитин побледнел еще сильнее.

Витя крикнул к дверям:

— Бегунок!

— Есть!

— Сбор бригадиров!

— Есть!

В спальне пятой бригады Ванда Стадницкая рыдала, уткнувшись в подушку. Девочки собрались у стола и перешептывались растерянно. В спальню вбежала Клава Каширина. Ни лица ее, ни голоса нельзя было узнать:

— Совет играют! Я его удавлю! Своими руками! Если его не выгонят... Идем, Ванда!

Ванда подняла голову:

— Я не пойду!

— Что! Сдаваться Левитину? Как ты смеешь? А что твоя подшефная скажет?

Ванда села на кровати, быстро вытерла слезы, нахмурила брови:

— Оксана, ты скажи: идти разве?

Оксана вдруг улыбнулась, улыбнулась просто и весело, как улыбаются девушки, когда у них на душе хорошо:

— Пойдем. А почему не пойти! Посмотрим, какой там гадик. Пойдем.

Правая бровь Ванды удивленнно изогнулась. Кто-то из девочек сказал:

— Умойся только. Пусть не воображает, что ты плакала.

В совете бригадиров было сегодня необычно. Во-первых, Торский безжалостно выставил всех пацанов, и они большой кучей стояли в коридоре и по выражению выходящих и входящих старались понять, что такое происходит в совете. Володя Бегунок стоял у дверей и никого не впускал, кроме бригадиров. Только перед Вандой и Оксаной он отступил, и пацаны поняли, что Бегунок кое-что знает. Но когда дверь окончательно закрылась и они спросили Володю о причинах тревоги, Володя серьезно ответил:

— Нельзя говорить.

Через несколько минут выглянул Виктор [redacted] приказал:

— Бегунок, Рыжикова!

Володя поставил у дверей Ваню Гальченко, [redacted] сам побежал за Рыжиковым. Рыжиков прошел в дверь быстро, не глядя на пацанов.

В это время в совете гудело общее возмущение. Многие даже не могли сидеть на диване, а стояли у председательского стола тесной кучкой. Слова никто не брал, [redacted] Виктор не следил за порядком прений. Зырянский держал руку на собственном горле, он почти задыхался:

— Не могу! Видеть не могу! Ты еще запираешься! Какое это имеет значение? Выгоним, все равно выгоним! И признаешься — выгоним, [redacted] не признаешься — выгоним!

Левитин стоял не на середине, а в углу, и никто не требовал, чтобы он стал «смирно». Ноги у Левитина сделались слабыми, одной рукой он неудобно держался за спинку дивана. Смотрел вбок, [redacted] стену. Зырянский не находил слов, только [redacted] глазах мобилизовалась вся его ненавидящая душа. Воленко спросил Левитина:

— А откуда ты знал? Кто тебе сказал?

Левитин пошевелил толстыми губами, но слов никаких не вышло. Тогда он широко открыл рот, зевнул, как рыба, выброшенная на берег, [redacted] с трудом, неясно произнес:

— Я ничего не знал, [redacted] я ничего... не писал.

Ванда сидела между девочками в противоположном углу. Она покраснела, сказала хрипло:

— Витя, дай слово!

Все обернулись к ней, подошли ближе. Она сделала несколько шагов вперед, не отрываясь взглядом от Левитина, и остановилась прямо против него, заложив руки за спину. Левитину было неудобно, он крепче оперся на диван, еще больше отвернулся к стене. Ванда сказала тихо, с трудом выбирая слова, с трудом преодолевая гнев:

— Ты! Слышишь? Моя жизнь... как ты написал! Ты написал... ну и что же? Все равно, пускай знают! Здесь товарищи! Пускай знают! А только в другом... дело. Кто меня довел до такой жизни?! Такие люди... понимаешь... такие, как ты! Такие, как ты... такие, как ты...

Последние слова Ванда произнесла в забытьи, уже оглядываясь по сторонам, с трудом подавляя рыдания. Потом она бросилась [redacted] дверям, но Нестеренко сильной рукой перехватил ее по дороге, и она, не разбирая, заплакала на его плече. Ее слезы никого не испугали [redacted] не удивили. Нестеренко спокойно сказал Левитину:

— Слыхал, паскуда? Ванда замечательно сказала. Ты написал, [redacted] мы Ванду теперь еще больше уважаем. Она наша сестра, понимаешь ты, гад! А тебя мы выгоним. Будь покоен, выгоним и через полчаса забудем, как тебя звали.

Зырянский перебил его:

— Сейчас! После совета! Я сам тебя выведу на дорогу. Ты со мной еще глаз на глаз поговоришь!

Лида Таликова стояла рядом с Зырянским, говорила задумчиво, как будто для себя:

— Никогда так не голосовала, [redacted] сейчас буду голосовать: выгнать! Ты в нашу жизнь... Тебя нужно раздавить... башмаком.

Зырянский не мог больше выносить прений. Он подошел вплотную к Левитину:

— Довольно! Противно! Ты не писал? Скажи еще раз!

Левитин молчал. И молчали все бригадиры. Хорошенький Илья Руднев беспомощно оглянулся на Захарова — нужно было что-то делать. Но неожиданно раздался голос Рыжикова:

— Я скажу.. Торский..

— Да, да, я для того тебя и позвал.

— Я скажу: конечно, Левитина нужно выгнать. Конечно: сидит и пишет Ему нужно чужую жизнь заедать!

Левитин с силой повернулся в углу:

— Да ты же мне и сказал!

— Ага! — крикнул кто-то один, но все лица поддержали этот возглас

Рыжикова он не смутил, Рыжиков знал жизнь и умел разговаривать с людьми. Только выражение лица Игоря Чернявина немного смущало его, но Игорь Чернявин — потом. Рыжиков даже добродетельно улыбнулся.

— Я тебе сказал как товарищу. И я тебе сказал, что тут ничего плохого нет. Говорил?

— Да.. ты это говорил.

— Я тебе как товарищу.. А ты.. нагадить тебе нужно! Я тебе сам говорил: ничего плохого нет! Два раза говорил...

Рыжиков разошелся. Рыжиков благородно вскрывал событие. Но откуда-то вдруг появилось против его лица перекошенное лицо Игоря:

— Брось! Помнишь, я тебе сказал: утоплю. Забыл? Забыл?

Рыжиков отступил, испуганный; Чернявин шел на него. Кто-то взял Игоря за локоть, но он нетерпеливо сбросил чужую руку:

— Здесь совет, тебя не судят А только я тебе этого не прощу! Никогда! Я тебя все равно... ты свое получишь.— Игорь в знак еще большего подтверждения кивнул головой и вышел из комнаты.

Рыжиков посмотрел на всех, но все смотрели на него отчужденно. Он сел на диван. Торский сказал:

— Тебе здесь нечего рассиживаться, убирайся!

Рыжиков спешно прошел к двери, Ванда брезгливо посторонилась. Когда дверь закрылась за ним, Нестеренко протянул:

— Да-а! Все понятно!

Торский поставил вопрос:

— Так что будем делать с этим.. с Левитиным?

Зырянский бросил на Левитина небрежный взгляд, махнул рукой:

— Да ну его к черту! Стоит о нем говорить! Я предлагаю наказание: оставить без обеда завтра Он и то будет плакать и клянчить: дайте пообедать!

В совете рассмеялись Захаров сказал серьезно:

— Нельзя так издеваться над человеком! Я решительно протестую. Выгнать — это другое дело! А что вы в самом деле: оставить без обеда. У Левитина есть тоже свое достоинство. Иногда наказать человека — значит выразить уважение к нему.

Сумрачный бригадир третьей Брацан не понял Захарова:

— Не бойтесь, Алексей Степанович! Никто его без обеда не оставит. Ты не волнуйся, Левитин: будешь обедать. И выгонять его не следует, пускай живет, и кормить его, конечно, нужно. А только я об одном прошу: Левитин, сделай для меня одолжение: когда будем идти на демонстрацию седьмого ноября, не становись с нами в строй, посиди дома. И для тебя спокойнее, и нам будет как-то... приятнее. Потому мы идем под знаменем, а тебе... какое тебе дело до нашего знамени?

Поршнев сказал, как всегда, добродушно и тепло:

— Я дежурю седьмого. Куда-нибудь... я его пристрою. Дежурным по кухне, хочешь, Левитин?

Это был последний удар презрения, который свалил Левитина на диван. Он забился в мягкий его угол и заплакал негромко, заплакал для себя, не обращая внимания на то, что происходит в совете. На его склоненную фигуру посмотрели с секунду, и Виктор Торский объявил:

— Все! Можно расходиться. Объявляю заседание совета бригадиров закрытым.

Все двинулись к дверям, но Левитин вскочил с дивана и, обливаясь слезами, заорал:

— Товарищи! Накажите как-нибудь! Товарищи, нельзя же так! Товарищи! Алексей Степанович! Накажите как-нибудь!

Никто на него не посмотрел. Только пацаны из коридора вторглись в комнату и, удивленные, окружили Левитина. Он снова упал на диван и зарыдал отчаянно громко, приговаривая что-то.

Захаров прикрикнул на пацанов:

— Марш отсюда! До чего народ любопытный!

Они исчезли мгновенно. Захаров положил руку на плечо Левитина:

— Идем! Не нужно так убиваться! Иди сюда, я тебе назначу наказание.

Левитин перестал рыдать и, всхлипывая, побрел за Захаровым в кабинет.

27. КТО ЧТО ЛЮБИТ

На второй день праздника Захаров в тишине работал в кабинете. Пришли в кабинет Володя Бегунок и Ваня Гальченко и сели тихонько на диване. Захаров посмотрел на них, ничего не сказал, что-то подсчитывал на большом листе.

Володя наклонился к уху приятеля:

— Все равно не скажешь...

— Нет, скажу.

— Слабò тебе сказать.

— Нет, не слабò.

— А чего ж ты сидишь и не говоришь?

— А я еще скажу.

— Посидишь и уйдешь.

Ваня быстро поднялся, подошел к столу Захарова. Захаров не обратил на него внимания. Ваня подошел ближе, коснулся стола животом и руки положил на его край. Потом вкось посмотрел на Володю, покраснел. Захаров, не прекращая работы, спросил:

— Ну?

— Алексей Степанович? Тот... сегодня ж восьмое ноября?

— Восьмое.

— А новых опок еще не сделали.

Захаров улыбнулся, посмотрел на Ваню:

— Не сделали.

— Значит, Алеша правду говорил?

— Выходит, так...

Ваня что-то еще хотел сказать, но... не выдержал, бросился к двери. Володя снялся с якоря на диване, в дверях Ваня обернулся:

— Значит, Соломон Давидович не сдержал слово?

Захаров покачал головой. Мальчики захлопнули дверь.

Авторитетное подтверждение Захарова было необходимо ввиду крайне противоречивых толкований, распространенных в четвертой бригаде. Находились такие, вроде Кирюшки Новака, которые утверждали, что вопрос о слове, данном Соломоном Давидовичем в свое время, снят с очереди. Этому оппортунистическому течению в четвертой бригаде способствовало то обстоятельство, что на призводстве почему-то стало очень мирно. Станки по-прежнему хрипели и останавливались, пасы и шкивы по-прежнему выходили из строя по нескольку раз в день, но колонисты заявляли об этом Соломону Давидовичу вежливо, терпеливо выслушивали его обещания. Нужно, впрочем, сказать, что Соломон Давидович теперь не столько обещал, сколько разводил руками и говорил нежно:

— Вы же понимаете, дорогие товарищи!

Намечались и другие линии примирения между колонистами и Соломоном Давидовичем. В конце декабря предстоял годовой праздник — день открытия колонии. Теперь, после годовщины Октября, началась развернутая подготовка к этому празднику. Петр Васильевич Маленький напомнил как-то на общем собрании, что по старой колонистской традиции все к этому празднику должно быть сделано руками колонистов. Выходило так, что без Соломона Давидовича обойтись будет трудно. Работала уже праздничная комиссия, составленная из представителей всех бригад. От восьмой бригады в эту комиссию вошел Игорь Чернявин, от четвертой бригады Ваня Гальченко, от пятой Оксана. Ваня в это время играл уже в оркестре, правда, только во втором, учебном, составе. Ему был поручен второй корнет. Но не было никаких надежд, что к празднику он успеет пройти всю учебную программу второго корнета. Поэтому Ваня значительную часть души мог отдать подготовке к празднику.

На первом же заседании комиссии выяснилось, что без помощи Соломона Давидовича вечер самодеятельности устроить будет трудно. И комиссия постановила: выделить для переговоров наиболее искушенных в дипломатии товарищей. Таковыми оказались, по общему признанию, Игорь Чернявин и Шура Мятникова, которая даже в библиотеке умела каждому выбрать книгу по вкусу.

У Соломона Давидовича Игорь начал:

— У нас будет вечер самодеятельности...

Соломон Давидович перебил его:

— Вам нужно сделать декорации? Я уже согласен. Так, чтобы не испортить доски, пожалуйста! А когда будет вечер?

— Через полтора месяца.

— Это очень хорошее дело. Очень хорошее начинание. Я сам с удовольствием принял бы участие.

— Соломон Давидович! Давайте! Давайте — и все!

— Я и декламировать могу. И танцевать. Давайте я вам такой гопак станцую, пальчики оближете, хэ-хэ! Я вам покажу молодость, черт возьми!

— С Оксаной?

— А что же вы думаете: если Оксана, так я испугался?

— По рукам!

— По рукам!

Соломон Давидович рассмеялся весело, а Игорь побежал порадовать комиссию. Маленький очень одобрил результаты его посольства:

— Во-первых, это будет оригинально: Соломон Давидович тоже участвует, а во-вторых — мы получим и доски, и фанеру, и бязь, и бумагу, и лампочки, и всякие сценические эффекты.

Еще через неделю Игорь предложил в комиссии более подробный план участия Соломона Давидовича. Его проект был встречен взрывами хохота. Маленький с горящими глазами слушал подробности:

— Шикарно! Только... догадается.

— Ни за что на свете!

Ваня сказал:

— Убиться можно!

Оксана была смущена смелостью проекта:

— Игорь, не нужно так делать.

— Оксана! Это будет замечательно. Замечательно! И Соломон Давидович доволен будет. Очень будет доволен.

Маленький подтвердил:

— Будет доволен! Эт-то... шикарно!

Когда Игорь отправился к Соломону Давидовичу, Ваня увязался с ним, только Игорь предупредил его:

— Глаза! Глаза у тебя — прямо невозможно! Спрячь глаза.

Ваня спрятал глаза, как умел, то есть в разговоре с Соломоном Давидовичем прикрывал их рукой. Другого способа спрятать глаза Ваня еще не знал.

Предложению Игоря Соломон Давидович обрадовался:

— Монолог Бориса Годунова?

— Пушкина!

— Нет, вы говорите ясно: Бориса Годунова или Пушкина? Нельзя же смешивать!

— «Борис Годунов» — сочинение Пушкина.

— Так и нужно говорить во избежание недоразумений. Так это я должен объявить: «Борис Годунов» — сочинение Пушкина?

— Нет, вы не беспокойтесь, это конферансье объявит.

— Тем лучше. Борис Годунов — это такой полководец?

— Царь.

— Допустим, не царь, а бывший царь. Я что то такое помню. Его кто-то зарезал такой.

— Нет, это он зарезал.. царевича Димитрия.

— Ну, я же знаю. Какие-то у него были там неприятности... Хорошо, я прочитаю

— И гопак.

— С Оксаной?

— С Оксаной.

— Только . нужно ходить на репетицию. Разве у меня есть время ходить?

— Не нужно, Соломон Давидович, на репетиции. Мы хотим, чтобы это было для всех сюрпризом, понимаете, для всех... Мы так... потихоньку... прорепетируем.

— Будьте покойны!

— Так вот мы вам принесли.

— Что это такое?

— А это слова!

— Ага, слова! Так чистенько написано! Кто это такой так хорошо пишет?

— А это Ваня Гальченко.

— Это ты так хорошо написал? А почему ты все улыбаешься? У тебя такой веселый характер?

— У него всегда такой характер, Соломон Давидович,— сказал Игорь и ущипнул Ваню за ногу. Ваня несколько изменил характер.

— Будьте покойны,— сказал Соломон Давидович на прощание.— Я не подведу. А то вы думаете: Соломон Давидович — это давай сырье, давай станки, давай опоки, давай ремонт, все давай, давай! Вот вы увидите

Подготовка к празднику пошла полным ходом. Но полным ходом пошли и другие дела. В один из выходных дней состоялась закладка нового завода. На краю площадки, против цветников, уже несколько дней копали котлованы. Колхозные подводы свозили кирпич и складывали его аккуратными стопками. На закладку приехал Крейцер, а с ним еще много людей, между ними был и толстый инженер Воргунов. Крейцер всем показывал колонию, только Воргунов ничего не захотел смотреть, сидел в кабинете Захарова и говорил:

— Закладка — это еще не дело. Это марафет. Наши вообще не могут без марафета.

— Кто это «наши», Петр Петрович?

— Наши — русские!

— Вы не любите русских?

— Я люблю борщ с чесноком, а с русскими я предпочел бы работать как следует.

— Вот и хорошо: поработаем вместе.

— Посмотрим. Только .. товарищ Захаров, неужели и вы серьезно думаете, что ваши .. мальчики способны будут справиться с таким заводом?

— Совершенно серьезно.

— Так .. Ну, хорошо, пока нужно торжествовать ..

Колонисты в парадных костюмах выстроились на площадке и вынесли

знамя с обычным торжеством. Воргунов стоял возле котлована и ухмылялся. Крейцер спросил у него:

— Понравилось все-таки?

— Да, понравилось. Это их дело, хорошо! Музыка, стройно, красиво. А только при чем здесь завод электроинструмента? Нельзя смешивать!

— Смешиваем, Петр Петрович. Музыку с заводом, и вас еще прибавим полную порцию!

Воргунов снова надул губы:

— Нет, уж увольте: я стар для таких забав, Михаил Осипович!

На дне котлована, на кирпичном ложе, уложили большую грамоту, в которой было написано, когда и кем закладывается новый завод. Укладывали эту грамоту, придавили ее кирпичом и закрыли известкой два человека. Самый старый и самый младший представители Советской власти в колонии: Крейцер и Ваня Гальченко.

В этот день Ваня Гальченко был дневальным от десяти до двенадцати вечера. Он стал на пост в момент сигнала «спать». Еще через полчаса затихло движение на лестнице. Ваня потушил свет в коридорах, крепче стянул пояс на шинели и заходил по вестибюлю, переставляя винтовку, широким шагом. В половине двенадцатого Захаров окончил работу. Проходя мимо Вани, он спросил:

— Спать не очень хочешь?

— Хоть до утра стоять,— ответил Ваня.

— Ну, молодец! Спокойной ночи! Ты кому сдаешь дневальство?

— Володе Бегунку.

— А сигналы кто завтра?

— Сигналы Петька будет.

— Хорошо...

Захаров ушел. Когда до смены оставалось десять минут, тихо открылась дверь и рыжая голова просунулась в щель, зеленые глаза смотрели на Ваню подозрительно.

— А я... из города. Погулял ... немного.

Зацепив за дверь, Рыжиков пролез в вестибюль, пошатнулся перед Ваней, бессильно взмахнул рукой.

— Отметь... пожалуйста ... в рапорте. Отметь! Все равно, так и отметь: Рыжиков опоздал на три часа. Опоздал, ну так что ж!

Он полез по лестнице, именно полез, потому что часто спотыкался и хватался рукой за ступени. Ваня испуганно смотрел ему вслед.

Когда прибежал сверху Володя, в шинели, туго стянутой в талии, Ваня зашептал страстно:

— Рыжиков... пьяный пришел, понимаешь!

— Рыжиков! Да ну!

— Пьяный, совсем пьяный, так шатается и падает все.

— Попадет! Его все равно выгонят ..

— А если он скажет: кто видел?

— Ты завтра должен сдать рапорт дежурному бригадиру.

— А если он скажет: вранье?

— Против рапорта не поспорит!

28. ПЛАКАТ-ПЛАН

В конце ноября выпал снег. Малыши долго отмечали это событие радостными кликами и воздеваниями рук. В парке перебрасывались снежками и строили крепость, но потом оказалось, что строительного материала для крепости еще очень мало, это был первый слабенький снежок, он мало подходил для постройки крепости. Поэтому малыши перенесли свое внимание на пруд: он должен замерзнуть, и тогда в колонии будет каток. Миша Гонтарь в эту эпоху приобрел большое значение для пацанов: он прекрасно делал пластинки для коньков. Другие слесари тоже умели делать такие пластинки, но они были завалены заказами из других бригад, а Миша Гонтарь, в качестве старосты пятого класса, специализировался на пацанах из четвертой бригады. Коньки были выданы по три пары на бригаду, но четвертой бригаде повезло: все маленькие номера перешли к ней, другие бригадиры все были большеногие. Кроме этих общественных коньков, были еще и собственные у отдельных старожилов, а у Фильки даже две пары. Алеша Зырянский предложил все коньки обратить в бригадные, указывал на то обстоятельство, что ноги у пацанов растут быстро и прошлогодние коньки все равно не подходят. Таким образом, в четвертой бригаде оказалось около десятка пар коньков,— такое количество с избытком покрывало потребность. Но, к сожалению, пруд не замерзал Берега пруда покрыты снегом, а поверхность пруда дышит свободной водой и по-летнему отражает в себе облака. Знатоки уверяли, что раньше льда должно появиться «масло», но сколько пацаны ни смотрели, «масла» никакого не появлялось.

День в колонии сделался «вечерним»: вставали, завтракали, начинали работу при электричестве, только обедали при солнце, а потом снова зажигались фонари и лампочки. Утром стало труднее просыпаться, появились охотники спать до «без пяти минут поверка». Особенно страдали старшие, которым до завтрака нужно было еще и побриться. Гладко выбритые и пахнущие одеколоном, они приходили в столовую с виноватым видом и старались не смотреть в глаза дежурному бригадиру. Все это были ветераны колонии, и дежурные бригадиры ограничивались нахмуренными бровями. Конечно, в дежурство Алеши Зырянского приходилось бриться до поверки, но Алеша дежурил два раза в месяц, и казалось, что при таких условиях жить вообще можно. Конец такой сносной жизни наступил неожиданно, в дежурство Илюши Руднева. Не теряя своего постоянно милого, расположенно-внимательного выражения, Руднев во время поверки произвел демонстративную атаку: приказал ДЧСК отметить в рапорте всех небритых. Это мероприятие, исключительное по своей новизне, произвело очень сильное впечатление, и, как только окончилась поверка, очень многие забегали по коридорам с мыльницами в руках. Игорь Чернявин с того дня, как получил звание колониста, также считал для себя обязательным уничтожение бороды и усов. Очень возможно, что с этим делом можно было и подождать, но, во-первых, бритва — это солидно, во-вторых, в детской колонии как-то неудобно показывать щетину, в-третьих, щетина у Игоря была рыжеватая, а после первого бритья она приобрела совершенно несимпатичный вид. Напуганный действиями Руднева, Игорь тоже захватил бритву, полотенце и мыльницу и полетел в

умывальную. Внизу играли сигнал на завтрак. В литере Б, в умывальных и в спальнях раздавался бритвенный скрип и обильно текла молодая кровь — результат неопытности и быстроты темпов. Руднев — самый молодой бригадир, и опоздать на завтрак в его дежурство, хотя бы и на пятнадцать минут, до сих пор не считалось предприятием невыполнимым. Но сегодня он показал крепкие зубы на поверке, трудно было предсказать, какие зубы он покажет во время завтрака. Успокаивало одно: не решится этот пацан оставить без завтрака около трех десятков «стариков». Действительность оказалась и печальнее и хитрее. Руднев, правда, не решился на прямое нападение, но о чем-то быстро переговорил в кабинете Захарова. Во всяком случае, Захарову пришло в голову изучить плакат-план первого квартала, висящий в вестибюле, при самом входе в столовую. Изучение этого плаката Захаров начал ровно через пять минут после сигнала на завтрак. Он стоял перед плакатом, заложив руки за спину, и внимательно читал его цифры, которые даже пацаны четвертой бригады давно знали на память. Минут через десять по ступеням лестницы зашумели быстрые шаги ветеранов колонии, успевших к этому моменту уничтожить не только щетину, но и следы крови на лицах. Ни одной секунды замешательства или растерянности они себе не позволили. Ловкие ноги направили их не в столовую, а в выходную дверь, ловкие руки подскочили в салюте:

— Здравствуйте, Алексей Степанович!

— Здравствуйте, Алексей Степанович!

— Здравствуйте, Алексей Степанович!

Захаров поневоле должен был отвернуться от плаката, чтобы отвечать на приветствия. Игорь Чернявин с верхней площадки еще видел, как поток колонистов уносился в выходную дверь, но, когда он сам поравнялся с Захаровым, сказал слово приветствия, ни один мускул не потянул его к столовой: было совершенно очевидно, что путь имеется только на выход и дальше — в цех. Во дворе он влетел в веселую толпу товарищей, которым теперь оставалось единственное наслаждение: встречать последних опаздывающих, наблюдать сложную игру на их лицах и хохотать вместе с ними. Потом вышел на крыльцо Захаров и сказал:

— Хороший будет день .. теплый .. Где это ты обрезался, Михаил?

Миша Гонтарь стрельнул глазами на толпу колонистов и ответил с достоинством:

— Бриться приходится, Алексей Степанович.

— А ты безопасную заведи. И удобнее и скорее.

На крыльцо выходили и закончившие завтрак. Вышел и Нестеренко, Захарова не заметил:

— Мишка, а почему ты не .. Здравствуйте, Алексей Степанович. А почему ты не... не того... не подождал меня?

Миша Гонтарь не умел так быстро отвечать на некоторые вопросы. Захаров поправил пенсне и ушел в здание.

Игорь Чернявин тоже стоял в толпе колонистов и сочувствовал Нестеренко, который чуть-чуть не влопался со своим вопросом. Но Нестеренко уже освоился с положением:

— Вот какое дело! Постойте, и я буду дежурить, я тоже... придумаю вам, панычи.

А когда на крыльцо вышел дежурный бригадир Илья Руднев, у него было такое выражение, как будто он в этом деле никакого участия не принимал. Удивленным голосом он спрашивал:

— Не завтракали? А почему?

В следующие дни даже самые почтенные «старики» спешили на завтрак вместе с пацанами и, проходя мимо плаката-плана, поневоле оглядывались на его цифры.

Цифры были такие:

План первого квартала

Металлисты:

Масленки	235000 штук
	235 000 рублей

Деревообделочники:

Столы аудиторные	1 400 штук
Столы чертежные	1 250 »
Стулья	1 450 »
Табуретки чертежные	1 450 »
	180 000 рублей

Швейный цех:

Трусики	25 500 штук
Шаровары	8 870 »
Юнгштурмы	3 350 »
Ковбойки	4 700 »
	70 000 рублей

Всего 485 000 рублей

План был очень трудный, и колонисты восторгались:

— Вот это план, так план!

«Старики» одни знали, что восторгаться можно только до первого января, а потом придется плохо. Но четвертая бригада была уверена, что и после первого января будет интересно. В комсомольской ячейке заседали по вечерам и приставали к Соломону Давидовичу с разными вопросами. Но теперь Соломон Давидович не «парился», а старался подробнее рассказать, как обеспечено выполнение плана. Это была эпоха мирных отношений Недавно на общем собрании Соломон Давидович сказал:

— Ваше желание, товарищи первомайцы, выполнено: сегодня сданы новые опоки.

Одинокий голос спросил:

— А какое сегодня число?

И другие голоса охотно ответили:

— Третье декабря

— Какое это имеет значение? — сказал Соломон Давидович — Важно, что у вас есть опоки, а всякие формальности не имеют значения.

Колонисты смеялись и шумно аплодировали Соломону Давидовичу. Многие хохотали, спрятавшись за спины товарищей. Глаза четвертой бригады тревожно устремились на Алешу Зырянского: может быть, он что-нибудь скажет на тему о справедливости данного слова? Но Алеша Зырянский тоже аплодировал и смеялся. Соломон Давидович был растроган аплодисментами Он высоко поднял руку и произнес звонко:

— Видите: что можно сделать для производства, я всегда сделаю.

Эти слова вызвали новый взрыв оваций и уже совершенно откровенный общий хохот. Смеялся и Захаров, смеялся и сам Соломон Давидович. Даже Рыжиков смеялся и аплодировал Рыжиков был доволен, что все так мирно кончается, а кроме того, он был формовщик, и опоки для него имели большое значение. Правда, в прошлом месяце было много неприятностей у Рыжикова,— после случая с Левитиным даже Руслан Горохов однажды зарычал на него с глазу на глаз:

— Ты от меня отстань, слышишь? Отстань! Я и без тебя проживу

А потом пришлось похлопать глазами на совете бригадиров после рапорта дневального Вани Гальченко. Но и это прошло Было неприятно, что бригадиры как-то неохотно высказывались о Рыжикове, и Зырянский выразил, вероятно, общую мысль:

— Темный человек и плохой — Рыжиков. Однако подождем И не из такого дерьма людей делали. У нас впереди завод, триста тысяч, у нас впереди большая жизнь, а он в городе водку пьет и пьяный приходит в колонию. Какой это человек? Только и того, что говорить умеет! Так и попугая можно выучить. Только попугай водки пить не будет Посмотрим. Но . Рыжиков, имей в виду: настанет момент — костей не соберешь!

Рыжиков вертелся на середине, прикладывая руки к груди, обещал и каялся, старался делать серьезное и убедительное лицо. И Воленко снова выступил на его защиту:

— Надо все-таки понимать: Рыжиков привык к такой жизни, сразу отвыкнуть не может. Надо подождать, товарищи. Наказывать его нет смысла, он еще ничего в наказании не понимает А вот вы увидите, вот увидите!

В общем совет бригадиров ничего не постановил, а так и отпустили Рыжикова со словами: «Посмотрим».

Рыжиков после этого ходил скучным шагом, ни с кем не заговаривал, но в литейной работал «как зверь». Соломон Давидович очень хвалил Рыжикова:

— Если бы все работали так, как Рыжиков, у нас было бы не триста тысяч накоплений, а по меньшей мере полмиллиона. Золотые руки!

29. БОРИС ГОДУНОВ

Праздник прошел великолепно. Было много гостей, был устроен великолепный ужин, в колонии было тепло, приветливо и счастливо До трамвайной остановки, через всю просеку, прошла линия костров, которыми заведовал Данила Горовой. Между кострами гости проезжали на машинах и проходили пешком. В дверях их встречали дежурные, вручали билет в театр и приглашение к столу от имени какой-либо бригады.

Колонисты показывали гостям свои спальни, клубы, классы, показывали [redacted] объясняли плакат-план первого квартала, но цехов не показывали. А гвоздем вечера был сложный веселый дивертисмент. Выступали и певцы, [redacted] чтецы, и акробаты. Малыши показали свою постановку, которая называлась: «Путешествие первомайцев по Европе».

В этой постановке участвовал и Ваня Гальченко, но главная роль принадлежала Фильке Шарию. Филька изображал Макдональда. Это было чрезвычайно интересное представление. И гости и колонисты много аплодировали, когда малыши выстроились один за другим гуськом, свет на сцене потух, а в руках у актеров зажглись электрические фонарики. Оркестр заиграл «Поезд». Под звуки этой музыки малыши-первомайцы уехали в свое путешествие. Они [redacted] пути имели любопытные встречи с Пилсудским, с Муссолини, с Макдональдом и другими «деятелями». Каждый хвастал перед ними своими делами, но первомайцев обмануть трудно: они прекрасно умели рассмотреть, что делается в Западной Европе.

Большое впечатление произвело выступление Соломона Давидовича. Он вышел на сцену [redacted] новом коричневом костюме.

Конферансье, Санчо Зорин, объявил:

— Соломон Давидович прочитает отрывок из «Бориса Годунова» Пушкина, под редакцией Игоря Чернявина.

Крейцер, сидящий [redacted] первом ряду, наклонился к уху Захарова:

— Как это Пушкин под редакцией Чернявина?

— Каверза, конечно.

Соломон Давидович нахмурил брови [redacted] произнес выразительно:

Достиг [redacted] высшей власти,
Шестой уж месяц царствую спокойно.

Крейцер произнес сквозь зубы:

— Подлецы!

Соломон Давидович читал:

Мне счастья нет. Я думал свой народ
[redacted] цехах на производстве успокоить...

Многие колонисты встали. На их лицах еще молчаливый, но нескрываемый восторг. Сидящая рядом с Захаровым учительница Надежда Васильевна улыбалась мечтательно. Захаров опустил веки и внимательно слушал. У Крейцера блестели глаза, он даже шею вытянул, наблюдая, что происходит на сцене. Соломон Давидович с большой трагической экспрессией очень громко читал:

Я им навез станков, я им сыскал работу.
Они ж меня, беснуясь, проклинали!

Колонисты не выдержали: редко кто остался на месте, они приветствовали чтеца оглушительными аплодисментами, их лица выражали настоящий эстетический пафос.

Соломон Давидович не мог не улыбнуться, и его улыбка еще усилила восхищение слушателей. С нарастающим чувством он продолжал, и зал затих [redacted] предвидении новых эстетических наслаждений:

Кто ни умрет, [redacted] всех убийца тайный:
Ускорил я трансмиссии кончину,
Я отравил литейщиков смиренных!

Трудно стало что-нибудь разобрать в наступившей овации: громкий смех потонул в бешеных аплодисментах, что-то кричали колонисты. Крейцер хохотал больше всех, но сказал Захарову:

— Надо этих редакторов взгреть все-таки! Разве так можно?

Соломон Давидович, сияя покрасневшим лицом, радостной лысиной и новым костюмом, протянул руку к залу:

— Дайте же кончить!

Колонисты закусили губы. Соломон Давидович сделал шаг вперед, положил руку на сердце, закатил глаза:

И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики нахальные в глазах.
И рад бежать, да некуда. Ужасно!
Да, жалок тот, у кого денег нет!

Он кончил и скромно опустил глаза. Но такую сдержанную, хотя и актерскую, позу недолго можно было выдержать. В ответ на буйный восторг публики Соломон Давидович тоже расцвел улыбкой, потом гордо выпрямился, поднял вверх палец и только после этого начал кланяться, ибо публика все продолжала кричать и аплодировать. Наконец закрылся занавес.

В антракте Соломон Давидович пробрался к первому ряду, гордо отвечал на приветствия колонистов, улыбаясь снисходительно, пожал руку Крейцеру:

— Ну, как? Какие овации!

— Слушайте, Соломон Давидович! Вас надули эти подлецы!

— Как надули?

— Они вам подсунули другие слова.

— Другие слова! Не может быть. Вот же у меня слова...

— Ай, ай, ай! Вот... прохвосты! Смотрите, этот самый Борис Годунов говорит исключительно о производственных делах колонии имени Первого Мая.

— В самом деле?

— А как же: «Я им навез станков, я отравил литейщиков». Это не Борис Годунов, это вы, Соломон Давидович! И нахальные мальчики...

— А Пушкин, значит, не так написал?

— Я думаю: у Пушкина мальчики кровавые, а здесь нахальные.

— А вы знаете: они-таки действительно нахальные! А как у Пушкина про литейщиков?

— Про ваших литейщиков? Какое ему дело? Он же умер сто лет назад.

Соломон Давидович искренне возмутился:

— Ах, какое нахальство! Я сейчас пойду! Я им скажу!

Соломон Давидович бросился за кулисы. Кое-кто попытался убежать от него, но он поймал Игоря Чернявина, главного редактора.

— Как же вам не стыдно, товарищ Чернявин!

— А что такое?

— Пушкин совсем не так написал.

— Мало ли чего? А вы знаете, что Мейерхольд делает?

— Какой Мейерхольд?

— Московский.
— У него тоже производство?
— И еще какое! У нас хоть немного похоже на Пушкина, а у него так совсем непохоже. Такая мода!
— Мода, конечно, это неплохо, но при чем здесь литейщики?
— А как же! Вы думаете, при Борисе Годунове литейщиков не было? А кто ружья делал, как вы думаете?
— Они ружья могли делать, но, может быть, у них такого дыма не было?
— Какой там — не было! Разве они знали, что такое вентиляция!
— Они могли и не знать.
— Хорошо получилось, Соломон Давидович! Вы смотрите, как всем понравилось. Скоро вам танцевать.
— Я боюсь теперь танцевать. Написано — гопак, а может — это тоже как Мейерхольд.
— Честное слово, гопак!
Соломон Давидович рассмеялся, взмахнул кулаком:
— А черт его дери! Давайте гопак.
Соломон Давидович возвратился к Крейцеру и успокоил его:
— Я их поругал, но они говорят, теперь все так делают. Мейерхольд какой-то из Москвы, так он тоже так делает. Такая мода как будто.
Крейцер обнял Соломона Давидовича, усадил рядом с собой:
— Верно! А в общем хорошо!
Через четверть часа Соломон Давидович в украинском казачьем костюме, в широченных штанах и в сивой шапке по-настоящему «садил» гопака на сцене. Легкая, тоненькая Оксана еле успевала удирать от его подкованных сапог. Теперь колонисты аплодировали без всякой каверзы: не могло быть сомнений, что Соломон Давидович классный танцор. В его стариковской удали, в размашистой, смелой присядке было много вполне уместного юмора и любви к жизни. Колька-доктор после танца прыгнул на сцену и сказал громко:
— Видели? Пусть теперь ко мне не ходит с сердцем!
Соломон Давидович засмеялся грустно:
— Он не хочет понимать разницу: запорожцы эти самые умели танцевать гопак до самой смерти, и у них ничего не делалось с сердцем. А вы назначьте их заведовать производством,— и вы увидите, сколько у вас прибавится пациентов!

30. КРАЖА

Через день после праздника Игорь Чернявин утром сбежал вниз, в раздевалку, чтобы взять свое пальто. Колышек № 205 встретил его неожиданной пустотой: пальто не было. Рядом натягивал свое пальто Миша Гонтарь.
— Миша, моего пальто нет.
— Как это «нет»?
— Вот мой номер пустой.
— Перепутал кто-нибудь. Ты поищи.

Игорь в обеденный перерыв пересмотрел все пальто: на изнанке воротника в каждом пальто был вышит номер, но двести пятого не было. Он сказал об этом дежурному бригадиру Брацану. Дежурный посмотрел на него с досадой:

— Что же, по-твоему, украли или как?

— Я обыскал всю вешалку.

— Надо еще раз посмотреть. Куда оно может деться?

Брацан отвернулся от него, недовольный. Но после работы он сам нашел Игоря и спросил его сумрачно:

— Нет пальто?

— Нет.

— У Новака тоже нет из четвертой бригады.

— Украли?

Брацан ничего не сказал, видно было, что это слово ему не нравилось.

Вечером Игорь пошел на рапорты бригадиров, Брацан рапортовал:

— Товарищ заведующий! Прошлой ночью с вешалки украдено два пальто — Чернявина и Новака.

Захаров, как всегда, спокойно поднял руку, ответил: «Есть». И все присутствующие салютовали рапорту дежурного бригадира «в обычном порядке». Но что-то такое было особенное в сегодняшней процедуре рапортов: в лицах не было веселой бодрости, чувствовалось, что последний рапорт не восстановит дружеской непритязательности отношений, колония не перейдет к обычному вечернему настроению, никто не улыбнется и не будет острить. Действительно, приняв последний рапорт, Захаров быстро опустился на стул, выдернул из папки какую-то бумажку, подперев голову рукой, стал читать, читать внимательно, как будто бы один остался в кабинете. А в кабинете стояли три десятка колонистов, и, не шевелясь и молча, смотрели на него. Нестеренко шепотом спросил Брацана:

— Какие у тебя подозрения?

К вопросу Нестеренко прислушивались, но все знали, что пальто исчезли и похититель следов не оставил. Брацан, однако, был дежурным, он обязан был отвечать за свой день и, следовательно, обязан ответить на вопрос Нестеренко. Брацан это понимал, и он ответил громко:

— От двенадцати до восьми дневалило четыре человека, все колонисты, конечно, из них подозревать никого нельзя. Лобойко, Грачев, Соловьев и Толенко — все из моей бригады. Я за них ручаюсь: не уйдет, не заснет никто. А теперь другое: из раздевалки нельзя пройти иначе, как мимо дневального. Значит, в окно, в форточку. А как? Форточки там очень маленькие, пальто трудно продвинуть, очень трудно, я сегодня пробовал. Специалист делал.

— Как ночевали сегодня? — спросил Захаров, не подымая глаз от бумаги.

— Проверял. Ночевали в порядке. И дневальные говорят: никто ночью не выходил из здания, а последний пришел из города Зырянский, в одиннадцать часов, был в командировке, по вашему распоряжению. Такое дело... если бы пропало одно пальто, сказали бы... обязательно сказали: забыл где-нибудь. А то два пальто, из разных бригад. Чернявин Новака мало знает.

— Торский! Секретный совет, сейчас, здесь у меня.

— Есть.

В кабинете остались только бригадиры. Когда ушел последний колонист, Захаров откинулся на спинку кресла:

— Так... Говорите, что думаете.

Торский первый развел руками, сидя на диване [redacted] гуще других:

— Говорить трудно. И подозревать опасно, никаких оснований. Я составил сегодня список, за кого нельзя еще ручаться. Что ж... выходит девятнадцать человек... не стоит [redacted] объявлять: два пальто того не стоят. Один вор, [redacted] восемнадцать на всю жизнь обидеть можно. Просто беда... ни одного вопроса никому нельзя задать. Например, спросить, не выходил ли куда-нибудь ночью...

— Нельзя никого спрашивать,— подтвердил Захаров недовольно.

— Нельзя, [redacted] и говорю.

— Вот я скажу,— Зырянский придвинулся на край дивана.— Вот я скажу. Первое: пальто украдены не ночью, а утром, когда все одевались. Это человек нахальный сделал. Просто взял [redacted] надел чужое пальто, при всех, может, [redacted] Чернявин его встретил, когда в раздевалку входил. А если бы попался — отговорка легкая: по ошибке надел, ничего такого.

— Так не одно пальто, [redacted] два.

— Два. Только моего Новака пальто три дня висело, он его не надевал, в цех без пальто перебегал, мои пацаны любят так делать. Значит, Новака раньше, может, еще позавчера, украли, а никто и не знал.

— Ты отчасти прав,— начал Нестеренко, но Зырянский сурово на него оглянулся:

— Постой, я не кончил. Второе: пальто это и сейчас в колонии, у кого-нибудь на квартире или [redacted] деревне, только [redacted] думаю, что не [redacted] деревне, [redacted] здесь, у служащих, а может, из строительных кто-нибудь за каина работает. Это не иначе. В город пальто не понесешь: [redacted] видно будет, [redacted] время требуется, [redacted] рабочий день нельзя, а [redacted] выходной наших много бывает на дороге в город. Оба пальто здесь и сейчас, на нашей территории.

Все молчали. Зырянский был, пожалуй, совершенно прав. Только Нестеренко выразил маленькое сомнение:

— Ты отчасти прав, Алексей, [redacted] только у Чернявина пальто с правого фланга, [redacted] у Новака, наоборот, с левого. Ты говоришь: надел и вышел, это может быть: надел и вышел, а возвратился без пальто, у нас многие без пальто бегают, тут не разберешь. А только... как же с размерами? Одно дело — Чернявина надеть пальто, а другое дело — Новака. Выходит так, что работало двое.

— Двое не может быть,— сказал тихо Воленко.

— Почему не может быть?

— Не может быть. У нас таких компаний нет. Одиночек можно подозревать, а таких компаний, чтобы вдвоем крали, у нас нет.

— Воленко правильно говорит,— согласился Торский.— Это один. А как он вынес, черт его знает, а только безусловно вроде как Зырянский говорит. Воленко, как ты думаешь насчет твоего Рыжикова?

Была названа первая фамилия. У бригадиров лица стали внимательнее Воленко на минуту задумался:

— Из моей бригады можно кого-нибудь другого подозревать, Горохова, [redacted] примеру, или Левитина. Только Левитин [redacted] последнее время другим занят; Алексей Степанович наложил на него наказание за те записки,

помните, [redacted] течение месяца расчищать дорожки в саду. Он этим делом очень увлекается, хочет, чтобы его простили, старается здорово, он красть не пойдет. Горохов как будто больше всего думает о своем шипорезном, а теперь план новый повесили, так у него в голове только [redacted] стоит косой шип, прямой шип, да еще какое-то приспособление делает, чтобы сразу больше концов запускать в машину. Скажите, разве в таком положении человек может украсть? Не может.

— Горохов не украдет,— сказал просто Торский.

— А Рыжиков? Рыжиков — пожалуйста, у Рыжикова совести, как у воробья. Но зато Рыжикову не нужно. Он сейчас зарабатывает больше всех в колонии. В последнюю получку у него осталось чистых семьдесят рублей. Он положил [redacted] сберкассу пятьдесят, [redacted] книжку мне отдал, чтобы не растратить. Он только об одном и думает, как бы заработать больше.. Для чего ему красть? Да Рыжиков еще и новый, никого не знает, а без каина обойтись невозможно.

— Будь покоен,— сказал Брацан.— Это ты не знаешь, а Рыжиков знает, что́ ему нужно.

— Да нет, рано ему знать,— протянул Нестеренко.

— Хорошо, это по первой бригаде. А у тебя, Левка?

Бригадир второй, Поршнев, счастливый был человек, может быть, самый счастливый [redacted] колонии. У него всегда добродушно-красивое настроение, всегда он доволен жизнью, никогда еще не «парился», и за какое дело ни возьмется, дело у него в руках тоже начинает улыбаться. И сейчас он только плечами пошевелил:

— Да... откуда ж у меня? У меня все народ... верный.

— За всех ручаешся?

— Да... чего за них ручаться? Они сами .. поручиться за кого угодно... могут. Вы же знаете.

Поршнева все любили [redacted] колонии особой, добродушной, спокойной любовью. Приятно было на него смотреть и следить за ленивой волной радости, которая всегда играла [redacted] его неторопливом взгляде, [redacted] движении черных, тенистых бровей, [redacted] улыбчивом подрагивании полных, хорошо напряженных губ. А глядя на Поршнева, вспоминали и вторую бригаду: семнадцать мальчиков, как будто нарочно собравшихся в бригаде. Им всем по шестнадцать лет, все они одного роста, все более или менее хороши собой [redacted] постоянно заняты делом и делом этим оживлены. Почти вся вторая бригада работала [redacted] машинном цехе, на фуговальных, рейсмусных и других станках. И производство у них говорливое, задорное и [redacted] то же время понастоящему деловое.

— Да,— сказал Нестеренко.— Во второй бригаде некому.

По остальным бригадам были кандидаты на подозрение, но тот чтением увлекается, у того первый корнет занимает половину души, у третьего — модельный кружок, у четвертого — дружба с Маленьким, у пятого — дружба с Колькой-доктором, у шестого — пятерки по географии. Пятая же и одиннадцатая бригады даже не позволили вспоминать о них по такому оскорбительному поводу.

И когда закончили просмотр последней, десятой бригады, просмотр очень короткий, потому что Руднев согласился подозревать только себя и помощника бригадира, [redacted] совете стало тепло [redacted] радушно, [redacted] Захаров сказал:

— Черт возьми! Какие люди у нас хорошие, просто прелесть, а не люди!

Бригадиры обрадовались, засмеялись, теснее уселись на диване, как будто до утра собирались просидеть здесь, в кабинете. Нестеренко потирал руки от удовольствия:

— У нас люди, Алексей Степанович, мировые.

Захаров встал за столом, швырнул на окно какую-то бумажку, придавил ее рукой и задумался:

— Значит, так: один человек... завелся! Один Я думаю, не нужно его искать Две шинели — это пустяк Посмотрим, что будет дальше. Может быть это его последняя кража. Прошу вас об этой краже не говорить в бригадах Сделайте такой вид, будто кражи никакой не было Согласны?

— Согласны, Алексей Степанович.

— Просто привык человек.— Захаров снисходительно улыбнулся.— Витька, распорядись, чтобы завтра же были выданы шинели Чернявину и Новаку.

В бригадах не спал ни один человек, все ожидали возвращения бригадиров Воленко пришел в спальню серьезный.

— Ну как, нашли? — спросил Садовничий.

— Мы... о других делах... больше.

— Не нашли?

— Да как же ты найдешь? Кто-то один...

— Один... черт бы его побрал. Ох, поймать бы!

Рыжиков стоял посреди спальни, заложив руки в карманы, весело пыхнул улыбкой:

— Это все зарплата виновата.

— Почему? — заинтересовался Садовничий.

— Я вот много зарабатываю, а другому завидно.

Руслан Горохов внимательно посмотрел на Рыжикова:

— А кто тебе завидует?

— Да есть такие, что и на столовую не зарабатывают: Горленко, Толенко, Васильев и эти самые Гальченки, Бегунки...

Горохов прищурился:

— Ты на Бегунка думаешь?

Рыжиков не любил таких пристальных взглядов:

— Да нет, я не думаю.

Он не спеша отправился к своей постели. Руслан перевернулся на месте, провожая его взглядом.

— Чего смотришь? — вдруг оглянулся Рыжиков.

— Очень ты мне нравишься! — пробурчал Руслан.— Хороший ты человек!

Воленко опустил глаза, поднял, посмотрел внимательно на Рыжикова, на Руслана, что-то тревожное дрогнуло у него в губах.

31. «ДЮБЕК»

В четвертой бригаде были души впечатлительные и непреклонные: они не могли допустить, чтобы два пальто остались неотомщенными.

Никто в колонии не знал, какие совещания состоялись в недрах четвертой бригады, никто не заметил ее операций, кроме... Захарова; дежур-

ные бригадиры, может быть, и заметили, но исключительно с точки зрения своих дежурных (державных) интересов Раньше члены этой славной «непобедимой» бригады щеголяли двумя особенностями. С одной стороны, их глотки отличались самой неумеренной склонностю к forte. Даже секретные разговоры они проводили так оглушительно, что трудно было разобрать, о чем говорит каждый. Иногда они напрягали глаза до самой таинственной конспиративной выразительности, но глотки их все равно удержать было невозможно. Люди постарше, если им нужно кого-нибудь позвать, сначала оглядываются, имеется ли поблизости нужное лицо. Пацаны были против такой безрассудной траты дорогой зрительной энергии и не менее дорогого времени, тем более, что в их распоряжении всегда находится этот оглушительно-универсальный инструмент — глотка. И поэтому приглашение нужного лица совершалось очень просто: нужно выйти на площадку лестницы или на центральную дорожку парка и благим матом заорать, прищуривая глаза и даже приседая от напряжения:

— Володька-а-а!!

Потом прислушаться и, если никто не отвечает, снова закричать еще более противно:

— Воло-о-одька!

Вблизи этот призыв воспринимался довольно ясно: зовут какого-то Володьку. Но как раз вблизи звуки призыва не имели практической цели, данный Володька должен находиться где-то далеко в таких местностях, куда призыв доносился в самой неопределенной форме:

— О-о-а-а!

И тем не менее эти почти условные звуки производили всегда самое полезное действие. В колонии было десять или пятнадцать Володек, но узнавал свое имя только один, тот самый, которого в эту минуту звали Остальные, находившиеся в данный момент на территории колонии, только морщились. Дежурные бригадиры очень преследовали подобную форму связи, особенно если она употреблялась в коридорах или на площадках лестницы.

Это — с одной стороны. С другой стороны, пацаны всегда были склонны к некоторому сепаратизму. Дежурные бригадиры имели основания относиться к этому явлению подозрительно. Излишний сепаратизм всегда грозил окончиться либо разбитым стеклом в оранжерее, либо изорванным костюмом, либо другой какой-либо каверзой. Для дежурного было ясно. что в основании сепаратных действий лежит всегда сущий пустяк: муравьиная куча, соловьиное гнездо, брошенное кучером где-нибудь на заднем дворе старое колесо, обнаруженная свалка консервных коробок. Подобные причины вызывали бешеную деятельность пацанов, крики в разных концах двора, ветровые взметы целых десятков ног. Возбужденные глаза, настороженные уши, открытые рты, предельные скорости, визгливые протесты и долгие восторженные крики где-нибудь за углом — все это не могло не тревожить дежурных бригадиров. Вся колония помнит, как в начале прошлой весны бригадир седьмой Вася Клюшнев отсидел пять часов под арестом за невнимательное дежурство. У Захарова в кабинете Вася не отрицал, что среди пацанов еще с утра наблюдалась какая-то ажиотация, после обеда они много кричали и переносились от одного дома к другому и вокруг домов с такой быстротой, что невозможно было разобрать,

кто, собственно, участвует в этой тревоге. Но Вася подумал, что это обычный пустяк, вроде муравьиной кучи, а потом оказалось, что дело было гораздо серьезнее: вся операция была крикливой до тех пор, пока протекала ее земная стадия. А когда все ее участники полезли на крышу, их неугомонные глотки каким-то чудом были приведены к молчанию. В полной тишине, почти не делясь впечатлениями, пацаны сбросили с крыши жилого дома для служащих, с высоты трех этажей, кошку конторщика Семенова, кошку дорогую — сибирскую. Этот акт не был вызван ни жестокостью, ни мстительностью, ни пустым любопытством — в основе его лежала научная экспертиза: из салфетки был сделан довольно добротный парашют, кошка поместилась в двух уютных петлях, из них она, конечно, не могла выпасть. Вечером все участники этого опыта стояли перед Захаровым с виноватыми лицами, но в глубине души не разделяя его возмущения. Захаров смотрел на них сердитыми глазами. Он сказал:

— Я решительно не могу допустить такого дежурства. Это безобразие, это раззявство, это полная неспособность держать в руках день! Товарищ Клюшнев, я не ожидал от тебя такой беспомощности! Получи пять часов ареста!

На глазах у «парашютистов» расстроенный Вася Клюшнев принял пять часов ареста, поднял руку и сказал «есть». Тогда Семен Гайдовский сделал слабую попытку правильно осветить событие. Он произнес отчаянным дискантом:

— Алексей Степанович! Так салфетка нашлась! Она уже нашлась! И мы выстираем.

Захаров, однако, нисколько не обрадовался тому, что салфетка нашлась. Он как будто даже забыл, что салфетка была тайно взята на кухне — обстоятельство, считавшееся самым опасным во время проектирования операции. Нет, Захаров на салфетку не обратил внимания:

— Что это такое? Целый десяток колонистов прется на крышу трехэтажного дома! Для чего? Какая цель? Сбросить оттуда эту несчастную кошку!

У пацанов радостно загорелись глаза: Алексей Степанович преувеличивает несчастье! Какое несчастье?! Семен Гайдовский закричал на весь кабинет:

— Да Алексей Степанович! Алексей Степанович! Вы не знаете! Она ничего! Она благополучно приземлилась!

И все пацаны закричали:

— Приземлилась!! Она даже не мявчала! Разве она падала? Она ничуть не падала! Она же на парашюте! Она приземлилась на четыре ноги... и тут... побежала... взяла и побежала!

Все предполагали, что лицо Захарова просияет при этом радостном известии, все смотрели с ожиданием на его лицо, но... оно не просияло. Этот человек не способен был упиваться достижениями парашютизма. Он поправил пенсне и спросил в упор:

— У кошки был парашют. А у вас был? Кто из вас был с парашютом? Кто?

Только в этот момент пацаны поняли, какое преступление они совершили: полезли на крышу, не вооружившись парашютами. Оказывается, Захаров кое-что понимает в парашютизме. К сожалению, он не принял во

внимание, что для человека требуется парашют очень большой, салфетки для этого дела не подходят.

Конечно, после этого случая никто больше не влезал на крышу, но всегда подвертывались другие случаи. Дежурные бригадиры именно к этим случаям и относились подозрительно и поэтому терпеть не могли сепаратных начинаний четвертой бригады.

В последние дни в колонии вдруг стало тихо, никто не звал оглушительным дискантом Володьку, нигде не собирались стайки пацанов и никуда с тревожным щебетанием не перелетали. И каток успел замерзнуть, на катке сияли электрические фонари. Колонисты скользили на коньках то по стремительной прямой, то по кругу, то взявшись за руки, то в одиночку. Даже дежурные бригадиры иногда становились на коньки, их красные повязки далеко были видны и по-прежнему внушали уважение.

А четвертой бригаде было некогда. Володя Бегунок при всяком удобном случае вылетал из кабинета и обязательно встречал недалеко кого-нибудь из четвертой бригады. Говорили они при встрече или не говорили, может быть, только как муравьи шевелили невидимыми усиками, этого никто не знал, но после встречи расходились не спеша в разные стороны с задумчивыми глазами, расходились не спеша, чуть-чуть шевеля бровями. Со стороны казалось, что ничто в жизни их особенно не интересует, что они живут самоуглубленной жизнью. Но на всех путях колонии они торчали по двое, по трое, тихонько совещались и еще тише присматривались к чему-то. На вешалке, особенно по утрам, всегда чьи-нибудь глаза рыскали между одевающимися. Давно забыто было обыкновение перебегать в цех без пальто. Напротив, четвертая бригада усвоила привычку без конца одеваться и раздеваться, и дневальные, кто постарше, недовольно говорили:

— И чего вы шныряете взад и вперед? Оделся — и гуляй себе

Захаров, может быть, заметил нечто таинственное в четвертой бригаде, а может быть, и не заметил, а иначе как-нибудь узнал, но и у него откуда-то появилась привычка прогуливаться по двору, по коридорам, заходить в раздевалку, и почти каждый раз приходилось ему встречаться с тем или другим представителем четвертой бригады. Он отвечал на салют сдержанным движением руки и проходил дальше. Его провожали серьезные, внимательные взгляды.

Ваня Гальченко и Филька вечером не пошли на каток, а прохаживались на главной дорожке парка и поглядывали в сторону колонии, как будто поджидали кого-нибудь. Мимо них пробегали колонистки и колонисты с коньками, легкомысленный народ, жадный на развлечения. Не спеша проходили старшие. Лида Таликова по-приятельски положила руку на плечо Вани и спросила:

— Чего ты такой скучный, Ваня?

Трудно было не улыбнуться Лиде, но и улыбка вышла у Вани деловая:

— Ничего не скучный. Это мы гуляем.

Оживились глаза и у Фильки и у Вани, когда из-за угла литеры Б показался Рыжиков. Он даже похорошел, этот Рыжиков: есть особый шик в том, как он идет в новом белом свитере, без шапки. Его ноги ступают широко, и он весь немного покачивается; это походка человека,

довольного жизнью. Рыжие волосы подстрижены коротко, от этого голова Рыжикова кажется более элегантной, и лицо у него теперь стало чистое. Рыжиков не спешит, он закуривает папиросу. Филька и Ванька без всякой торопливости направились на боковую дорожку, Рыжиков их не заметил. Он прошел вниз и небрежно швырнул в сугробик большую белую коробку. Когда он скрылся за деревьями, Филька поднял коробку, Ваня тоже устремил на нее глаза:

— Это — папиросы. Написано как?

— «Дюбек».

— Хорошая какая коробка.

Через полчаса в клубе они нашли Маленького. Филька, играя коробкой в руках, спросил небрежно:

— А сколько стоит такая коробка?

— О, это очень дорогие папиросы! Эта коробка стоит пять рублей!

Ваня не мог выдержать, закричал на весь клуб:

— Пять рублей! За одну коробку?

Филька был человек бывалый, он не закричал:

— А что ж ты думаешь? «Дюбек» — это, ты думаешь, пустяк?

— Ой-ой-ой!

Маленький ушел в библиотеку. Ваня сказал:

— Он! Это он — и все!

— Украл?

— Украл и продал.

— А если он больше всех зарабатывает?

— Больше всех? А сколько он получает? Тридцать рублей? Да? Тридцать рублей?

— Тридцать, и может, и сорок.

— Так все равно, а папиросы одни стоят пять.

— А вот давай узнаем. Давай узнаем: он в первой бригаде?

— В первой.

— А ты спроси, ты всех знаешь, ты спроси: какие папиросы курит Рыжиков?

— А зачем?

— А если никто не знает, значит, Рыжиков прячет и никому не говорит. Он так... потихоньку... курит и не хвастается. А ты спроси.

Филька в тот же вечер выяснил: никто в первой бригаде не знает, какие папиросы курит Рыжиков. Филька, как хороший актер, спрашивал умеючи. Просто ему интересно было выяснить, какие папиросы любят в первой бригаде. После ужина Ваня выслушал рассказ Фильки и зашептал громко:

— Видал? И никто не знает. А хочешь, я покажу тебе представление?

— Представление? Где?

— А... где-нибудь.

Они долго ходили по колонии и Ваня никак не мог показать представление. Коробка лежала у него в кармане так же терпеливо, как терпеливо Филька ожидал представления.

Перед общим собранием в тихом клубе начал собираться народ. Рыжиков пришел один и сел на диван, вытянув ноги. Ваня толкнул локтем Фильку. Друзья раза два прошли мимо Рыжикова, он не обратил на них

внимания, рассматривал свои ноги и чуть-чуть насвистывал. Филька и Ваня сели рядом с ним. Рыжиков глянул на них косо и подогнул ноги под диван: в руках Вани была коробка с надписью «Дюбек». Ваня повертел ее в руках и прищурил глаза. Потом открыл и выжидающе замер над ней, внутри коробки крупно синим карандашом написано.

«А МЫ ЗНАЕМ»

Рыжиков сверкнул зелеными глазами, встал, крепко надавил рукой на Ванино плечо, толкнул его к спинке и ушел в дверь, заложив руки в карманы. Ваня ухватился за плечо и скривился:

— Больно... черт!

Филькино лицо загорелось.

— Это он! Ваня, ты знаешь, это он! Идем! Идем к Алексею...

Они побежали в кабинет. Но в кабинете было много людей, бригадиры собирались к рапортам. Захаров был весел, шутил, сказал Торскому:

— Ты сегодня не волынь с общим собранием. Вечер хороший.

А на общем собрании Торский прочитал приказ:

— Объявляется благодарность воспитаннику Рыжикову за образцовую ударную работу в литейном цеху».

И Филька и Ваня расстроились, покраснели. Они смотрели на Рыжикова и не узнавали его: он сиял гордостью и смущением, улыбался с достоинством, и не было в нем ничего нахального,— это был товарищ, заслуживший благодарность в приказе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. БОЕВАЯ СВОДКА

Зима прошла.

В комсомольском бюро и в совете бригадиров до полуночи засиживались и думали. Марк Грингауз говорил речь:

— Вы представляете себе: мы делаем сверлилки! Вы видели, какие сверлилки? Сверху у них полированный алюминий, а в середине у них точность до одной сотой миллиметра. И притом это же импорт! Вы понимаете, импорт! Это разве легко сказать — выпрашивать у австрийцев сверлилки для наших авиазаводов, для наших саперных и инженерных частей! Вы представляете, как это получается, если саперам нужно делать переправу, а у них нет электрической сверлилки. Или, допустим, нужно строить танк, а у нас в руках черт знает что вместо сверлилки! А теперь возьмите аэропланы. Я видел аэроплан, так я знаю, сколько там нужно провертеть дырок, и неужели нужно вертеть австрийской сверлилкой, когда можно вертеть нашей, первомайской! Надо войти в положение наших рабочих! Надо понимать — вот это и называется нуждой, о которой без слез и говорить невозможно. До чего обидно покупать сверлилки у австрийцев, да еще за такую неприятность платить настоящим золотом! Вот это — нужда, это и я понимаю, и вы понимаете!

Разумеется, это все понимали. И поэтому в словах Воленко, сказанных на бюро, были слова всех одиннадцати бригад:

— Мы не должны беспокоиться, что колонисты не поймут. У нас семьдесят девять комсомольцев и сто девяносто имеющих значок колониста! Как же они могут не понять? У нас два ужина — в пять часов и в восемь часов. Давно уже все недовольны: с какой стати два ужина, прямо времени не хватает ужинать. Допустим, первый ужин больше похож на простой чай. Все равно, а сколько хлеба съедают за этим чаем? И все колонисты очень недовольны. Нужно уничтожить первый ужин и не отнимать времени у колонистов. Потом мясо. Это давно уже доказано, что мясо вредно для здоровья, если его много есть, от этого бывает подагра, и Колька так говорит. И я считаю — достаточно три раза в неделю мясо, а в другие дни — вредно. И не нужно к маю шить новые парадные. Самое главное — у нас хороший строй, красивый, если и старые парадные надеть, все равно всем понравится. Износились белые воротники, новые сшить — нужно сто пятьдесят рублей. Ну что же? Давайте без белых воротников.

форма и так останется, главное — вензель. И ботинки новые не нужно покупать, а можно купить всем «спортсменки», гораздо дешевле и куда легче.

И еще много таких нашлось предметов в колонистской смете, уничтожение которых было и для красоты хорошо и для здоровья.

Захаров утвердил все сокращения расходов, предложенные комсомольцами, и даже первый ужин, к общему удовольствию, был уничтожен. Колонисты были глубоко уверены в том, что к концу года они еще соберут не триста тысяч, а гораздо больше.

В вестибюле, при входе в столовую, половина стены была еще с середины зимы занята огромной диаграммой, изготовленной Маленьким и художественным кружком. Возле диаграммы целый день толпился народ, потому что она забирала за живое.

На диаграмме был изображен фронт, настоящий боевой фронт. Наступление шло снизу. Там красная узкая лента изображала могучие силы колонистских цехов, разделенные на три армии: центр — металлисты, левый фланг — деревообделочники и правый фланг — девочки в швейном цехе. Каждая армия занимала по фронту больший или меньший участок, в полном соответствии с величиной годового плана.

Центр — металлисты, конечно, составляли главные силы: годовой план производства масленок выражался очень солидной цифрой — миллион штук — миллион рублей. На левом фланге участок был меньше — деревообделочники должны были за год выпустить продукции на 750 тысяч рублей, а швейный цех, значительно обессиленный отливом людей к токарным станкам, имел план только в 300 тысяч. Таким образом, правый фланг занимал сравнительно небольшой участок фронта.

Наступление на диаграмме направлялось кверху Вверху во всю ширину ватманского листа нарисован был чудесный город: вздымались к небу трубы и башни, и, чтобы уже никаких сомнений не было, по верхнему краю листа протянулась надпись:

ПЕРВЫЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
ТРУДОВОЙ КОЛОНИИ ИМЕНИ 1 МАЯ

Узкая красная лента проходила довольно низко, а чудесный город стоял высоко, добраться к нему было нелегко: нужно было пройти огромные пространства ватмана, а по ним справа налево, как ступени трудного года, расположились прямые горизонтали дней. Ох, как много этих дней в году и как медленно нужно преодолевать их бесконечную череду! И каждый день имел свое название, названия были красивой славянской вязью выписаны слева и справа, подымаясь узкими колонками. На уровне чудесного города было написано:

31 ДЕКАБРЯ!!!

Да, так было написано — с тремя восклицательными знаками. Легко сказать: 31 декабря, когда сейчас только конец марта и между мартом и декабрем каких только нет месяцев!

Когда эта замечательная диаграмма, украшенная рамкой из золота и кармина, первый раз появилась в вестибюле, колонисты были поражены ее сложностью и годовым размахом. В общем понимали, что нужно

добраться до чудесного города и кто первый доберется, тот и поставит первый флаг на одной из башен города. Другие подробности были не вполне понятны. Через несколько дней с диаграммой освоились как следует и научились переживать дневные изменения в ней. Фронт, изображенный узкой красной лентой, медленно подвигался кверху. Каждый день рядом с ватманом появлялся на кнопках небольшой листик бумаги, в нем содержалась боевая сводка на сегодняшнее число.

Продвигался на диаграмме не только боевой фронт коммунаров. Синим шнурком изображен был и враждебный фронт: все хорошо знали, что главный враг колонистов — это медленное течение времени. Положили бы на сутки сто рабочих часов, вот тогда было бы дело! А кроме того, находились и другие враги: плохой материал, плохие станки, плохой инструмент

25 марта боевая сводка гласила:

> «Вчера наблюдалось затишье. Центр выпустил продукции на 3300 рублей и вышел на линию 29 марта, находясь впереди черты сегодняшнего дня на четыре перехода. Левый фланг — столяры — по-прежнему стоят на линии 15 марта, с этого дня они не выпустили продукции ни на одну копейку. Зато правый фланг продолжает преследование разбитого противника: девочки ведут упорные бои на позициях 18 апреля, обходя синих с фланга. На этом участке синие в беспорядке отступают, захвачено за один день 1800 настоящих рублей...
>
> Наши постоянные успехи на правом фланге, несмотря на отставание столяров, вынудили противника по всему фронту отвести свои войска на линию 26 марта — это значит, что вся колония по выполнению плана идет на один день впереди».

Ваня Гальченко и другие металлисты четвертой бригады любили по вечерам постоять перед диаграммой и полюбоваться успехами центра. Видно было, что синим плохо приходится под ударами литейщиков и токарей. Правда, у девчат было нестерпимо завидное положение: на правом фланге красная лента далеко вылезла вперед, в самом деле — на линию 18 апреля, когда сегодня только 25 марта! Девочки не останавливались перед диаграммой, а поглядывали на нее быстренько, пробегая мимо,— они стеснялись любоваться своими головокружительными достижениями. Пацаны оглядывались на девочек с деланным равнодушием. Лена Иванова и Люба Ротштейн остановились только для того, чтобы посмотреть, как мучаются от зависти металлисты. Ваня сказал:

— Девчонкам хорошо,— что там... трусики!

Лена подняла перчатку:

— Как ты смеешь говорить: «девчонки»!

— Я ничего не говорю, я только... вообще трусики!

— Скажите, пожалуйста: «вообще»! А ты умеешь шить трусики?

Ваня Гальченко оглянулся на товарищей: в присутствии мужчин ему задают такой оскорбительный вопрос.

— Ха! Я буду шить трусики!

Ваня покраснел, потому что действительно разговаривать с ними труд-

но: с одной стороны, они все-таки девчонки и шьют трусики, с другой стороны, даже эти тринадцатилетние Лена и Люба стоят себе и посмеиваются, а в прическах у них ленточки, нарочно привязали, чтобы быть красивее. И черные чулки, и черные туфельки, и глаза, блестящие и хитрые, все у них не такое, и все у них задается. Ваня пробурчал дополнительно:

— Трусики шить — это... ваше дело!

— Скажите, пожалуйста: наше дело! Просто ты не умеешь. А Ванда и Оксана все равно на токарном станке умеют, видишь?

Ваня отвернулся от диаграммы, захотелось выбежать во двор и там поискать менее волнующих впечатлений. Ванда и Оксана делали за четыре часа по сто двадцать масленок, так почему? Соломон Давидович дал им самые лучшие станки, и ремонт у них делают всегда в первую очередь, и резцы у них лучше, и другие несправедливости. А только разговаривать о них не стоит, уже один раз разговаривали, и потом пришлось стоять перед Захаровым и молча помаргивать глазами, когда он говорил:

— Удивительное дело, откуда берется такое хамство? Чем вы можете гордиться перед девочками? Носы вытираете рукавом? Или еще чем? Сплетнями занимаетесь? Пересудами? Как сороки, соберетесь — и языки в ход: у девочек станки лучше, у девочек резцы лучше... Раньше говорили: женщины занимаются сплетнями, а теперь выходит — мужчины!

Тогда незаметно вздыхали и соглашались с Захаровым. А потом все равно: как просил Петька Кравчук исправить патрон, разве исправили? А как поплакала Ванда над смятым своим ключом, так ей через час Волончук новый ключ нашел. И Ваня с расстроенным видом направляется к выходу, но навстречу ему громкий спор старших: Чернявин и Поршнев.

— Масленка! Ну что такое масленка, синьор? Кусок плохой меди, у которого вы обдираете бока.

Поршнев улыбается ласково:

— Ты читал сводку? Три тысячи триста таких кусков! План! А у вас что? Стоите на линии пятнадцатого марта! Ужас! На линии пятнадцатого марта!

— Стоим! Чертежный стол, ты имеешь какое-нибудь понятие о чертежном столе? Это масленка? Масленку вставил в патрон — она сама делается,— через минуту взял выбросил — готовую,— вообще дрянь! А стол нужно делать неделю, да не один человек, а пять, шесть. Вот выпустим партию, что вы запоете?

И Ваня снова стоит перед диаграммой. Ваня не может выслушивать подобную чепуху: сама делается! И Ваня поет перед диаграммой:

— «Не выпустили продукции ни на одну копейку»...

Игорь слышит это пение. Ванька Гальченко — его друг закадычный, и тот допекает!

Игорь говорит:

— Хочешь пари, Поршнев, что через неделю мы будем впереди вас?

— Нет,— спокойно говорит Поршнев,— не будете.

— Хочешь пари?

— Пари нельзя: будете волноваться, спешить, браку наделаете!

Ваня громко хохочет: сильный удар нанес Поршнев, очень сильный. В прошлом месяце целую партию аудиторных столов забраковала

контрольная комиссия, тогда сам Штевель отдувался на общем собрании, [redacted] Чернявин сидел и помалкивал. И поэтому сейчас Игорь смущенно поводит плечами и говорит неуверенно:

— Конечно, это не масленка!

2. ОТКАЗАТЬ

Еще в начале зимы Игорь катался на лыжах с Ваней. В лесу их догнал Рыжиков. Ваня убежал вперед. Игорь сказал с каким-то намеком:

— Тебе опять благодарность в приказе?

Рыжиков ответил:

— Нужна мне благодарность, подумаешь!

Рыжиков не хотел разговаривать с Игорем. Что такое Игорь Чернявин, в самом деле? Рыжиков побежал вперед, обгоняя Ваню, он ловко зацепил его лыжей и опрокинул в снег. Ваня забарахтался в сугробе, Рыжиков стоит над ним и смеется. Ваня как будто даже не обиделся, сказал тихо:

— Ты меня не цепляй, тут дорог много.

Но Игорь налетел разгневанный, ни слова не сказал, [redacted] вцепился в горло, Рыжиков вверх ногами полетел в снег и в полете слышал:

— Я тебя, кажется, предупредил? [redacted] следующий раз я на тебе живого места не оставлю!

Рыжиков был так ошеломлен, что даже не поднялся из снежного праха, злыми глазами смотрел на Игоря. Игорь поклонился:

— Извините, сэр, я, кажется, вас побеспокоил?

Он побежал дальше, Ваня устремился за ним, потом приостановился.

— Ты, Рыжиков, будь покоен. Я за это не сержусь. Пожалуйста! Есть другие дела.

— Какие там дела? — спросил Рыжиков с угрозой.

Игорь ожидал, оглянувшись, и Ваня никого не боялся:

— Такие дела!

— Какие. такие?

— А потом увидишь!

Рыжиков повернулся и укатил в глубь леса. Никаких дел... таких... и никакого права у них нет. Рыжиков [redacted] последнее время царем сделался в литейном цехе, Баньковский, отлучаясь куда-нибудь, доверял ему барабан. Нестеренко ушел в механический цех, [redacted] формовочную машинку передали Рыжикову Воленко часто похлопывал Рыжикова по плечу и хвалил:

— Хорошо, Рыжиков, хорошо! Мастер из тебя выйдет замечательный, человеком будешь! А вот только [redacted] школе...

— Да поздно уже мне, Воленко, учиться.

И Воленко и вся первая бригада уверяли Рыжикова, что учиться не поздно. И Рыжиков начал было сидеть над уроками по вечерам, симпатии первой бригады он не хотел терять. В первой бригаде были собраны заслуженные колонисты: Радченко Спиридон — могучий, большой, разумный, помощник мастера машинного цеха, Садовничий — худощавый, высокий, начитанный и образованный, Бломберг Моисей — лучший ученик десятого класса, Колесников Иван — правая комсомольская рука Марка Грингауза. редактор стенгазеты и художник,— все это были виднейшие комсомольцы в колонии. Были в первой бригаде [redacted] подростки, только что

вышедшие из бурного пацаньего века, начинающие уже солидную колонистскую карьеру, с серьезными выражениями лиц, с прекрасными прическами: Касаткин, Хроменко, Гроссман, Иванов 5-й, Петров 1-й. Даже Самуил Ножик начинал выходить в ряды актива и очень важную роль играл в литературном и модельном кружках. В колонии не было обычая давать прозвища товарищам, но Ножика все-таки чаще называли по прозвищу, а не по имени. Давно уже, года два назад, Ножик пришел в колонию и с первого дня всех поразил добродушно-веселой формой протеста. Он ничего и никого не боялся и после того, как отказался дежурить по бригаде, ответил на письменную просьбу Захарова широкой, размашистой косой резолюцией: «Отказать».

Захаров хохотал на весь кабинет, читая эту резолюцию, потом позвал Ножика и еще хохотал, сжимая руками его плечи:

— Какая ты все-таки прелесть, товарищ Ножик!

Ножик был действительно прелесть: всегда улыбающийся, свободный.

— Ну хорошо,— сказал Захаров, отсмеявшись — Ты, конечно, прелесть, а только два наряда получи за такую резолюцию.

И Ножик хитро нахмурился и сказал «есть».

И после того много еще у Ножика бывало всяких остроумных проказ, они сильно портили настроение у бригадиров первой, но не вызывали неприязни к Ножику. А потом и Ножик привык к колонии, сдружился с ребятами и остроумие свое обычно рассыпал в каком-нибудь общем деле. Все-таки прозвище «Отказать» осталось за ним надолго.

В первые дни своего пребывания в колонии Рыжиков пытался подружиться с Ножиком, но встретил увертливо-ласковое сопротивление.

— Ты что, за колонию все стоишь, да? — спрашивал Рыжиков.

Ножик заложил руку между колен, поеживался плечами:

— Я ни за кого не стою, я за себя стою.

— Так чего ж ты?

— Что «я»?

— Чего ты стараешься?

— А мне понравилось...

— И Захаров понравился?

— О! Захаров очень понравился!

— За что ж он тебе так понравился?

— А за то... за одно дело.

— За какое дело?

Хитрые большие глаза Ножика обратились в щелочки, когда он рассказывал, чуть-чуть поматывая круглой головой:

— Одно такое было дело, прямо чудо, а не дело Он мне тогда и понравился. У нас свет потух, во всей колонии потух, во всем городе даже, там что-то такое на станции случилось. А мы пришли в кабинет и сидим — много пацанов на всех диванах и на полу сидели. И все рассказывали про войну. Захаров рассказывал, и еще был тот... Маленький, тоже рассказывал. А потом Алексей Степанович и говорит:

«До чего это надоело! Работать нужно, а тут света нет! Что это за такое безобразие!»

А потом посидел, посидел и говорит:

«Мне нужен свет, черт побери!»

А мы смеемся. А он взял и сказал, громко так:

«Сейчас будет свет! Ну! Раз, два, три!»

И как только сказал «три», так сразу свет! Кругом засветилось! Ой, мы тогда и смеялись, и хлопали, [redacted] Захаров смеялся и говорит:

«Это нужно уметь, [redacted] вы, пацаны, не умеете!»

Ножик это рассказал с хитрым выражением, [redacted] потом прибавил, открыв глаза во всю ширь:

— Видишь?

— Что ж тут видеть? — спросил пренебрежительно Рыжиков.— Что ж, по-твоему, он может светом командовать!

— Нет,— протянул весело Ножик.— Зачем командовать? Это просто так сошлось. А только... другой бы так не сделал.

— И другой бы так сделал.

— Нет, не сделал. Другой бы побоялся. Он так подумал бы: [redacted] скажу — раз, два, три, [redacted] света не будет. Что тогда? И пацаны будут смеяться. А, видишь, он сказал. И еще... как тебе сказать: он везучий! Ему повезло — [redacted] свет сразу. А [redacted] люблю, если человеку везет.

Рыжиков с удивлением прислушался к этому хитрому лепетанью и не мог разобрать, шутит Ножик или серьезно говорит. И Рыжиков остался недоволен этой беседой:

— Подумаешь, везет! А тебе какое дело?

— А мне такое дело: ему везет, и мне с ним тоже везет. Хорошо! Это [redacted] люблю.

Последние слова Ножик произнес даже с некоторым причмоком.

Теперь и Ножик сделался видной фигурой в колонии, [redacted] Ножик вместе с другими членами первой бригады относился к Рыжикову хорошо. Только один Левитин избегал разговаривать с Рыжиковым и смотрел на него недружелюбно. Ну и пускай себе, что такое из себя представляет Левитин? Левитин такая же шпана, как и Ваня Гальченко. А Чернявин... Чернявин — еще посмотрим.

Зимой же, только позднее, Рыжикову еще раз пришлось поговорить с Чернявиным. Это произошло на дороге в город, куда Рыжиков отправился погулять. В конце просеки он догнал Игоря с Ваней Гальченко, и в тот же момент всем троим пришлось посторониться: из города шла полуторка. Рядом с шофером [redacted] кабинке сидела Ванда. Она высунулась из окна, весело кивнула головой. Ваня крикнул:

— Ванда, откуда это ты?

— Мы за досками ездили,— ответила Ванда.

Из-за ее плеча выглядывало смуглое остроносое лицо шофера Воробьева. Они проехали в колонию. Рыжиков проводил их взглядом:

— Напрасно это дозволяют! Чего она с ним ездит?

И Ваня спросил:

— А чего нельзя?

— А хорошо это — девочке с шофером путаться!

— Она не путается,— сказал Ваня с обидой.— Она ничуть не путается.

— Много ты понимаешь!

— Он больше тебя понимает,— сказал Игорь строго, и Рыжиков предпочел отодвинуться от Игоря подальше.

— Какой ты все-таки... смердючий,— продолжал Игорь,— я тебе советую уходить из колонии.

Рыжиков тогда ничего не сказал, поспешил в город. Но сейчас, к концу зимы, Игорь, пожалуй, не скажет, что Рыжиков смердючий. Симпатии Ванды к шоферу были замечены всей колонией. Шофер Петр Воробьев пользовался общей любовью. Он был молчалив, много читал. Вся кабинка у Петра Воробьева наполнена книжками. Они лежат и на сиденье, и вверху, в карманах на потолке и в карманах боковых. Воробьев читал и в кабинке и в свободное время где-нибудь на стуле, даже Игоря Чернявина перегнал в читательской славе. И этот самый Петр Воробьев, такой читатель, такой серьезный, такой худой и черномазый человек, безусловно влюбился в Ванду. Они часто сидели рядом в тихом клубе, Ванда в свободное время ездила в кабинке полуторки, а потом Петр Воробьев вздумал даже на коньках кататься. И он катался с Вандой и по обыкновению помалкивал. Рыжиков мог торжествовать — все колонистское общество забеспокоилось по поводу этой любви, неожиданно свалившейся на колонию

Михаил Гонтарь сказал однажды Игорю:

— А я говорю: Ванда влюблена в Воробьева!

— Неправда!

— Правда! Меня не обманешь! О! Я сразу вижу!

И действительно, один раз Игорь, разбежавшись на коньках, поравнялся с парочкой. Они не заметили его приближения, и Игорь услышал:

— Ты его боишься, Ванда?

— Зырянского? А кто же его не боится?

Ванда имела основания бояться Зырянского Через несколько дней Игорь катался вместе с Зырянским, и Зырянский сказал:

— Не могу я больше на это смотреть!

Он издали увидел парочку и побежал к ней. Игорь не отстал. Ванда круто повернула и улетела от своего друга, оставив его одного разговаривать с Зырянским. Воробьев, на что уже человек серьезный, и тот смутился, очутившись перед гневными глазами Алеши.

— Петро! Я тебе говорю. брось!

— Да в чем дело? — растерянно сказал шофер и опустил глаза.

— Брось, говорю! Нечего девочке голову морочить! Если еще раз увижу вдвоем, вытащу на общее собрание.

Воробьев пожал плечами, быстро глянул на Алешу, снова опустил глаза:

— Я не колонист...

— Я тебе покажу, кто ты такой. Если ты работаешь в колонии, ты не имеешь права мешать нашей работе. Я тебе серьезно говорю.

— Я ничего такого не делаю...

— Мы разберем, ты не сомневайся! Ты влюблен в нее?

— Да откуда вы взяли, что я влюблен?

— А раз не влюблен, так какое ты имеешь право приставать к ней?

Петр Воробьев повозил правым коньком по льду и спросил с некоторой иронией:

— Ну, хорошо... а если того... допустим, влюблен?

Зырянский даже присел от негодования:

— Ага! Допустим, влюблен! Мы тебя как захватим с твоей любовью, в зеркале себя не узнаешь!

Петр Воробьев комично повел удивленным пальцем справа налево и опять направо:

— Значит: влюблен — нельзя, не влюблен — тоже нельзя! А как же?

Зырянский опешил на самое короткое мгновение: надо было указать Воробьеву точное место, все равно, какие чувства и в каких размерах помещаются в его шоферской душе.

— Не подходи! Близко не подходи! Ванда — не твое дело!

Петр Воробьев задумался:

— Не подходить?

— Не подходи ..

— А к кому можно подходить?

— Можешь... ко мне подходить.

Трудно угадать, как отнесся Петр Воробьев к проекту такой замены Ванды Алексеем Зырянским. Во всяком случае, он еще подумал и сказал:

— Странно у вас как-то... товарищи!

И все-таки, сколько ни смотрели потом пацаны, а не видели Ванды рядом с шофером: ни в клубе, ни в кабинке, ни на катке. Беспокоило их только одно: почему Ванда ходит такая веселая, даже поет, даже в цехе поет? И Петр Воробьев как будто повеселел, разговорчивее сделался, может быть, даже румянее.

3. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

В апреле пришло много каменщиков и стали быстро строить новый завод. Не успели ребята опомниться, как уже под второй этаж начали подбираться леса на постройке. Здание строилось громадное, с разными поворотами, вокруг постройки моментально образовался целый город непривычно запутанных вещей: сараев, бараков, кладовок, бочек, складов, ям и всякого строительного мусора. Старшие колонисты приходили сюда по вечерам и молча наблюдали работу, а четвертая бригада не могла так спокойно наблюдать: тянуло на леса, на стены, на переходы, нужно было поговорить с каждым каменщиком и посмотреть, как он делает свое дело. Каменщики охотно разговаривали и показывали секреты своего искусства. Но чем выше росли леса, тем меньше становилось разговоров: все темы были в известной мере исчерпаны, зато на постройке образовалось так много интереснейших уголков! И теперь каменщики были недовольны:

— И чего это вас тут носит нелегкая! Свалишься — и кончено!

— Не свалюсь.

— Свалишься и костей не соберешь.

— Соберу ..

— Убьешься, плакать по тебе будут.

— Никто не будет плакать.

— Родные будут...

— О! Родные!

— Товарищи жалеть будут.

— Товарищи не будут плакать, дядя, марш похоронный сыграют, а чего плакать?

— Ну и народ же . Марш отсюда, пока я тебя лопатой не огрел!

— Лопатой — это, дяденька, брось! А я и так уйду. Думаешь, очень интересно?

Уходить нужно было не столько потому, что прогоняли, сколько по другим причинам: много дела и в других местах, и нужно наведаться к диаграмме. не повесили ли новую боевую сводку?

«ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ НА 15 АПРЕЛЯ

Правый фланг — девочки, выполняя ежедневно программу на 170—180 процентов, с боем прошли линию 17 мая и ведут дальнейшее наступление на отступающего в беспорядке противника. Боевой штаб фронта постановил: отметить героическую борьбу правого фланга за новый завод и поставить на этом фланге красный революционный флаг.

Центр продолжает нажимать на синих и сегодня вышел на линию 21 апреля, идя впереди сегодняшнего дня на шесть переходов.

Только на левом фланге продолжается позорное затишье, столяры по-прежнему стоят на линии 15 марта, отставая от сегодняшнего дня на целый месяц.

Несмотря на это, под напором центра, в особенности правого фланга, противник перевел свои силы даже и на левом фланге на линию 20 апреля: общий план колонии идет с перевыполнением на четыре дня.

Девчата впереди! Привет девчатам! Поздравляем пятую и одиннадцатую бригады!»

У диаграммы толпа, трудно пробиться к стене, приходится подскакивать или нырять под локтями. Ваня закричал:

— Столяры! Ужас!

Бегунок поддержал в таком же стиле:

— Убиться можно!

Игорь Чернявин лучше бы не подходил — другие столяры ведь не подходят. Он подошел только потому, что состоял при боевом штабе в качестве редактора боевой сводки, и ему всегда интересно было прочитать свой собственный текст. Все-таки приходилось защищаться, хотя и старыми методами, давно уже опороченными:

— Что вы понимаете, синьоры? Тоже — токари! Ты сделай чертежный стол!

Ваня взялся руками за уши:

— Кошмар — и все! Так и написано: «отставая от сегодняшнего дня на целый месяц».

Горохов из-за спин обиженно загудел:

— Да ты посуди: ведь стол за один день не сделаешь! Чего ты пристал?

— Убиться можно, — повторил Бегунок. — Страшно смотреть на этот левый фланг! Левый фланг! А вот девчата молодцы, правда, Ванда?

— Я не девчонка. Я металлист.

Даже новенький, недавно прибывший в шестую бригаду, красноухий, веснушчатый Подвесько, и тот смотрит на диаграмму и, может быть, завидует правому флангу, на котором так изящно стоит маленький красный флажок. А может быть, он и не завидует: бригадир шестой Шура Желтухин очень недоволен своим пополнением и говорил в совете:

— Ох, и чадо мне дали, Подвесько этот, придется повозиться!

Апрельский день куда больше, и сумерки до чего приятные. Вчера как будто была еще зима, и пальто висели на вешалке, и окна были закрыты, а сегодня в цветниках старый садовник даже пиджак сбросил и работает в одном жилете, и в парке расчищают дорожки сводные бригады, по одному от каждой постоянной, и на подоконниках сидят целые компании и заглядывают вниз, на просыхающую землю.

А все-таки и в апреле бывают неприятности. Казалось, все благополучно в колонии и можно забыть таинственно исчезнувшее пальто, как вдруг в один день: в шестой бригаде у самого бригадира украдены десять рублей, прямо с кошельком, ночью, из брючного кармана, а в театральном зале исчез большой суконный занавес, стоимость которого несколько сот рублей. Захаров ходил, как ночь, угрюмый и неприветливый, и, говорят, сказал кому-то:

— Честное слово, собаку вызову!

Пацаны этому поверили и с особенным вниманием осматривали каждую собаку, пробегающую через территорию колонии. Но Захаров собаки не вызвал, а поставил вопрос на общем собрании. Колонисты сидели на собрании опечаленные и молчаливые и даже слова не просили. Один Марк Грингауз говорил речь:

— Стыдно и обидно, товарищи! Стыдно в городе сказать кому-нибудь, что в колонии имени Первого Мая можно безнаказанно украсть занавес со сцены. Надо обязательно выяснить этот вопрос, надо всем смотреть. А мы ушами хлопаем, у нас из-под носа скоро денежный ящик сопрут.

Зырянский не выдержал:

— Денежный ящик не сопрут, он стоит в вестибюле, а там часовой день и ночь ходит. Разве в том дело? Что же нам, бросить работу и всем стать часовыми возле каждой тряпки? Вы подумайте, какая это продажная гадина действует! Она не хочет рыскать по городу, потому что там везде все заперто и везде сторожа ходят и милиция. Она сюда прилезла, товарищем прикинулась, все ходы и выходы знает, с нами за одним столом ест, работает, спит, разве от нее убережешься? Разве можно смотреть? За кем? Что же теперь, каждого колониста подозревать, замки повесить, часовых поставить? Я не умею смотреть, не умею, но говорю: вот этими руками, вот этими самыми руками, а эту гадину когда-нибудь...

Зырянский не мог докончить, слов у него не находилось, чтобы рассказать, что он сделает «этими руками».

Потом попросил слова Рыжиков. На прошлой неделе ему дали звание колониста. Рыжиков, впрочем, не потому взял слово, что он колонист, а потому, что он кое-что знает. Он так и начал:

— Я, товарищи, кое-что заметил. Вчера возвращаюсь из города, в отпуске был, вижу, этот пацан новенький идет через лес и все оглядывается. Я его и остановил: покажи, говорю, карманы. Он, хэ, туда-сюда, да и его

сгреб и все из карманов... как бы это сказать... вытрусил Вот все здесь у меня, смотрите.

Рыжиков из своего кармана выгрузил много всякого добра: полплитки шоколада, карандашик-автомат, альбомчик «крымские виды», билет в кинотеатр [redacted] два медовых пряника. Подвесько вытащили немедленно на середину. Уши Подвесько от этого отяжелели и сделались больше.

— Что? Так что? Я взял, да? Я взял?

— Ты это купил? — спросил Торский.

— Конечно, купил.

— А деньги откуда?

— А мне сестра прислала... в письме... все видели.

И тут со всех сторон подтвердили: действительно, на днях Подвесько [redacted] письме получил три рубля. Подвесько стоял на середине [redacted] показывал всем свое добродетельное лицо Торский уже махнул рукой в знак того, что он может покинуть середину, но Захаров вмешался:

— Подвесько, [redacted] ты воду пил в городе? С сиропом?

— Пил...

— Два стакана?

— Ну, два.

— Два, а пряников .. вот этих... ты сколько съел? Четыре?

Подвесько отвернулся от Захарова и что-то прошептал.

— Что ты там шепчешь? Сколько ты съел пряников?

— И не четыре совсем.

— А сколько?

— Три.

— А какая цена такому прянику?

— Двадцать копеек.

— Ты в город [redacted] трамвае ехал?

— На трамвае.

— И билет покупал?

— А как же!

— И обратно?

— И обратно.

— А сколько стоит альбомчик?

Подвесько задумался:

— Я забыл: или сорок пять или пятьдесят пять.

Несколько голосов с дивана немедленно закричали:

— Сорок пять копеек!

— А шоколад?

— Я уже забыл... кажется...

И снова несколько голосов закричали:

— Восемьдесят копеек! Такой шоколад «Тройка» — восемьдесят копеек!

И дальше Захаров обратился уже [redacted] дивану.

— Карандашик?

— Сорок копеек! Такой карандашик — сорок копеек!

— Так. А на билете [redacted] кино написано: тридцать пять копеек. Правильно, Подвесько?

Подвесько без особого оживления сказал:

— Правильно!

— Выходит, что ты истратил три рубля тридцать пять копеек. Правильно?

— Правильно.

— У тебя было три рубля, где же ты еще взял тридцать пять копеек?

— Я нигде не брал тридцать пять копеек. Я истратил три рубля, которые сестра прислала.

— А тридцать пять копеек?

— Я этих не тратил.

— А сколько ты купил конфет?

— Конфет? Каких конфет?

— А тех... в бумажках? Ты купил четыреста грамм?

Подвесько снова отвернулся и зашептал. Руднев подскочил к середине, наставил ухо к шепчущим устам Подвесько.

— Он говорит: двести грамм.

— Что-то у тебя денег много получается,— улыбнулся Захаров.

Подвесько энергично потянул носом, провел рукавом по губам и засмотрелся на потолок. Руднев, стоя рядом, стал ласково его уговаривать:

— Ты прямо скажи, голубок: где ты набрал столько денег? А?

— Я нигде не набирал. Было три рубля.

— Так покупок у тебя больше выходит. Больше, понимаешь?

Подвесько этого не хотел понимать. У него было три рубля, все видели, как он получил их в конверте, Подвесько не хотел покидать эту крепкую позицию.

— Может, ты меньше покупал?

Подвесько кивнул с готовностью. В самом деле, он мог сделать меньше покупок, ровно на три рубля, это его в совершенстве устраивало.

— Может, ты не покупал целого шоколада? Может, ты половинку купил? Там же половинка осталась?

— Угу.

— Половинку купил?

Подвесько снова кивнул.

Общее собрание рассмеялось, этот человек не представлял никаких загадок. И таким же ласковым голосом Руднев спросил:

— Ты прямо ночью полез в карман, взял кошелек, правда?

И теперь Подвесько с готовностью кивнул, потому что ему, собственно говоря, понравилась намечающаяся ясность положения.

Торский почесал за ухом, посмотрел, улыбаясь, на Захарова.

— Иди на место, Подвесько! Ты еще, наверное, красть будешь.

Подвесько вдруг заострил глаза. В словах Торского ему почудился какой-то обидный намек. Торский повторил:

— Красть еще будешь, правда?

Подвесько вдруг просиял:

— Честное слово, нет Это последний раз.

— Почему же последний?

— Не хочется.

— Угу. Ну, добре. Будем наказывать, товарищи?

Подвесько затоптался на середине,— очень уж весело смотрели на него колонисты. Воленко поднялся на своем месте:

— Да бросьте возиться с этим... чудаком! Это хорошо Рыжиков сделал, что проверил у него карманы, а то на других думали бы. Подвесько обязательно еще раза два сопрет что-нибудь, за ним смотреть нужно...

Подвесько приложил кулачок к груди и вытянул шею к Воленко:

— Товарищ Воленко! Честное слово, больше никогда не буду!

— Посмотрим, а только отпусти его, Виктор, чего он середину протирает. Десять рублей — не занавес. Да и Подвесько, что такое,— лежало плохо десять рублей, не заперто, он и стащил. Он думает, если замка нет, значит, возьми и купи себе шоколаду. А занавес — другое дело! Когда мы теперь соберем на занавес? Вот Первого мая праздник, а у нас и сцену закрыть нечем. Тут не Подвесько орудовал. Тут, понимаете, настоящий враг, да и не один. Такой занавес на руках в город не отнесешь, да и продать нелегко. В этом случае серьезный человек работал, большая сволочь! Вот кого найти нужно.

Прения по этому вопросу затянулись. Никто не высказывал никаких подозрений, но сходились в общем гневном утверждении: нужно найти врага и уничтожить. Все чувствовали, что враг этот и сейчас, вероятно, сидит на диване и слушает, при нем приходится решать вопрос о том, что нужно предпринимать. И поэтому всем показалось приятным предположение, высказанное Брацаном: не может быть, чтобы колонист пошел на такое дело, а у нас теперь живет в колонии двести человек строительных рабочих, и какой там народ, никто хорошо не знает. Они ходят в кино, они видели занавес, наверное, у них есть такая шпана. Залезли, хоть бы и через окно, и стащили. Им и продать легче, а может быть, просто поделили, костюмы сошьют. На собрании сидел и строительный техник Дем, очень похожий на кота, усы у него торчком и все шевелятся. Дем попросил слова и сказал:

— Очень может быть, товарищи колонисты, очень может быть. Народ со всех сторон пришел. Я всех еще хорошо не знаю. Каменщики, конечно, не возьмут, за них я, можно сказать, ручаюсь. А вот чернорабочие, кто его знает, можно сказать, не могу ручаться.

Все это так было похоже на правду, что даже Захаров задумался и с надеждой посмотрел на Дема.

4. ПЕРВОЕ МАЯ

Все шло в колонии прежним строгим порядком. В шесть часов утра играл Володя Бегунок побудку:

Ночь прошла, вставайте, братья,
Наступает новый день.
Бросьте лень,
За мотор,
За верстак и за топор!
Нам
Встать пора к трудам!

И уже при весеннем утреннем солнце просыпается колония, шумит в спальнях и коридорах, затихает на поверку, наводняет вдруг столовую и потом разбегается по цехам и классам; чуть-чуть звенит рабочая тишина

дня. В обед снова слышится смех, снова жизнь кажется искристой и шумной. И так до вечера, когда в классах собираются кружки, в парке отдыхающие, пацаны носятся, долетают звуки оркестра — сыгровка. И деловые, и дружеские, и серьезные, и зубоскальные движения как будто тонкими ниточками соединяются в руках строгого, подтянутого дежурства, которое все знает, все видит, всему дает направление и размах. И может быть, в душе дежурного бригадира всегда отражается и та глубоко спрятанная молчаливая тревога, которая у каждого возникает, когда он вспоминает ограбленный театр колонии. Может быть, потому о занавесе не говорят и не вспоминают, как не говорит о нем и дежурный, проверяя уборку в театре каждое утро.

Счастливым, душевным, ясным торжеством пролетели дни Первого мая. В городе колония прошла мимо трибуны вслед за войсками, прошла прекрасной взводной колонной с общим салютом, и оркестр играл «Военный марш» Шуберта. На трибуне радовались привету первомайцев, каждому взводу сказали отдельное приветствие, и видно было по выражению лица Крейцера, что он гордится своей колонией.

Ваня играл уже в оркестре. Второй корнет, на котором все приходится выделывать «эс-та-та», его, конечно, не удовлетворял, было завидно, что другие играют на первых корнетах и кларнетах, у них интересные, сложные «фразы», а у Вани никаких фраз, только «эс-та-та». Но такова уж судьба всех музыкантов: сначала они играют на вторых корнетах, а потом на первых.

Второго мая в колонию приехала целая группа военных — все командиры, а один даже с ромбом. Они осматривали колонию, ужинали с колонистами, а вечером были на спектакле. Перед спектаклем было общее собрание; бюст Сталина стоял на сцене, украшенный цветами. Когда оркестр проиграл на балконе три марша, Захаров подал команду, и знаменная бригада внесла знамя. Пока шло торжественное общее собрание, знамя стояло рядом с бюстом Сталина и возле знамени два часовых с винтовками. Ваня ходил стоять к знамени вместе с Бегунком, стоять было и сладко и страшновато: а вдруг у Вани что-нибудь не так выходит? Главный командир сделал доклад о международном положении, а в конце доклада сказал:

— Мы приветствуем вашу колонию еще и потому, что она поднимает на свои молодые плечи замечательное дело: завод электроинструмента. Красная Армия с гордостью примет вашу продукцию: она будет гордиться тем, что вашими руками сделаны эти машины, которые мы сейчас импортируем из-за границы, конечно, в недостаточном числе, и платим за них золотом. Это прекрасно, что ваши молодые руки будут производить эти машинки, которые так нужны для обороны страны и которые избавят нас от импорта! А потом ваши руки возьмут винтовки, вы тоже будете в Красной Армии, будете стоять на защите нашей великой страны. И прямо вам скажу, думаю, что со мной согласны и все мои товарищи, присутствующие здесь: нам нравится, как вы живете, у вас счастливая дисциплина, красивая дисциплина, у вас замечательный почет красному нашему знамени, у вас все делается вовремя, с полным сознанием. Это правильно, и мы вас за это благодарим.

Ване приятно было слушать эти слова, и он воображал, как придет и его время и он тоже будет в Красной Армии, и у него будет в руках винтовка — пусть попробует кто-нибудь подумать, что Ваня не сумеет защищать свою страну.

Он так заслушался командира, что забыл даже пораньше пройти [redacted] артистическую уборную. Дежурный бригадир шепнул ему:

— Тебя Маленький ищет.

Ваня побежал в уборную, моментально оделся, Маленький его намазал, привязал к плечам крылышки и дал [redacted] руки пальмовую ветку. Пьеса была написана Захаровым и называлась «Рэд Арми», что значит по-английски — «Красная Армия», Ваня играл роль «Мира». У него была трудная роль. Еще труднее была роль у Фильки Шария, который доказал-таки, что никто лучше его не сможет сыграть японского генерала.

На сцене было много всяких буржуйских генералов, они увешаны были оружием с ног до головы и все ссорились, то из-за угля, то из-за денег, а бедный «Мир» ходил между ними и просил:

— Дядя, дайте копеечку.

Генералы издевались над «Миром» и морили его голодом, [redacted] только во время драк прятались за него и кричали:

— Мы за мир!

Потом «Мир» окончательно изнемог и решил, что нужно как-нибудь заработать себе на хлеб. У него появляются ящик для чистки обуви и щетки. Публика в зале сильно хохотала, когда Ваня начинал чистить сапоги разным генералам [redacted] спрашивал их предварительно: «Вам черной?» Ваня эту фразу вставил по собственному почину, [redacted] Захарову она очень понравилась. Все-таки и работа по чистке генеральской обуви не поправила жизни «Мира». А в это время за пограничным столбом росла и росла сила Красной Армии, все прибавлялось и прибавлялось страха у фашистов. И тогда «Мир», радостный, перебрался через границу. Наступила для «Мира» хорошая жизнь, его приодели в новую рубашку и научили стрелять из пулемета. И только тогда стало тихо на сцене [redacted] фашисты притихли [redacted] скалили зубы на красноармейцев.

Ваня очень удачно изображал «Мир». Он умел [redacted] громко плакать, и хорошо чистить ботинки, [redacted] с радостным оживлением защищать себя рядом с Красной Армией. После спектакля его познакомили со старшим командиром, тот поставил его между колен и сказал:

— Ваня Гальченко! Молодец! Это вы правильно показали: только Красная Армия защищает мир, это правильно. А эти все вояки только [redacted] думают, как бы пограбить. Знаете что? А нельзя ли так устроить, чтобы вы к нам приехали, показали вашу пьесу! А?

Ваня даже сомлел на секунду от этих слов, побежал за кулисы и рассказал всем, какое предложение сделал ему командир. А потом и Захаров пришел за кулисы, и командиры. Было решено, что [redacted] ближайший выходной день драмкружок поставит свою пьесу в Доме Красной Армии.

И действительно, через неделю приехали автобусы и повезли оркестр [redacted] драмкружок в Дом Красной Армии. Всем зрителям очень понравилась пьеса. Оркестр играл вторую рапсодию Листа, и «Фауста», [redacted] «Кармен», [redacted] «Кавказские этюды», и «Гопак» Мусоргского, и еще одну вещь, которая

всех развеселила — «Забастовка музыкантов». Она состояла в следующем.

Виктор Денисович, дирижер, подымает палочку, а музыканты начинают галдеть: не желаем играть, уморились, до каких пор играть! Так как действительно сыграли уже много, публика поверила искренности протеста, многие, конечно, и смутились таким поведением музыкантов, но раздались и отдельные возгласы:

— Отпустите детей, надо же им отдохнуть! В самом деле замучили!

В первом ряду сидел тот самый командир с ромбом и улыбался. Виктор Денисович сказал публике:

— Вы не обращайте внимания! У них действительно плохая дисциплина, но я их хорошо держу в руках. Пожалуйста: я буду дирижировать, стоя к ним спиной, а они будут играть, как тепленькие, и ни одной ошибки не сделают.

Публика притихла перед таким оригинальным состязанием дирижера и оркестра. Но один голос все-таки крикнул:

— Отпустите ребят, не нужно их мучить!

— Они привыкли,— сказал Виктор Денисович.

Командир с ромбом громко захохотал Виктор Денисович обратился к волнующемуся оркестру и сказал свирепым голосом:

— Марш «Походный»!

Музыканты, подавленные такой строгостью, заворчали, но подняли трубы В публике даже привстали, чтобы лучше рассмотреть, как дирижер усмиряет своих музыкантов. Виктор Денисович повернулся к оркестру спиной и поднял палочку. И действительно, все замерло и в зале и на сцене. Дирижер взмахнул палочкой, и загремел веселый «Походный марш». Палочка бодро ходила над плечом дирижера, а его лицо гордо смотрело на публику. Но Филька Шарий первый встал со стула, махнул рукой, дескать, не буду больше играть, и ушел за кулисы. За ним с таким же протестующим жестом ушел Жан Гриф, потом Данило Горовой со своим басом. Музыканты уходили один за другим, но марш продолжался, и Виктор Денисович делал умильное лицо, наслаждаясь музыкой. Такое же лицо было у него и тогда, когда на сцене остались трое: Ваня, выделывающий «эс-та-та», завывающий тромбон и большой барабан. Публика до слез хохотала над дирижером, и совсем изнемогла, когда ему пришлось дирижировать одним барабаном. Только теперь все поняли, в чем состоял секрет номера. Виктор Денисович оглянулся в панике и тоже бросился удирать.

Собственно говоря, этот номер не имел музыкального значения, но именно он окончательно сроднил публику с колонистами. Все смеялись, вызывали музыкантов, и потом со смехом повели их и актеров ужинать. Только поздней ночью были поданы автобусы, и, тепло провожаемые хозяевами, колонисты уехали домой. В эту ночь пришлось мало спать, рабочий день все равно начинался в шесть часов.

5. ШТЫКОВОЙ БОЙ

«ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ НА 10 МАЯ»

Наш краснознаменный правый фланг энергично преследует разбитого противника. Сегодня девочки вышли на линию 30 июня, закончив план второго квартала.

В центре продолжается нажим металлистов. Выполняя и перевыполняя программу, металлисты вышли на линию 25 мая, идя впереди сегодняшнего дня на 15 переходов.

Левый фланг стоит на месте — на линии 15 марта. Но получены сведения из самых авторитетных источников (от Соломона Давидовича), что на левом фланге готовится решительная атака.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ НА 12 МАЯ

Правый фланг, выполняя программу третьего квартала, вышел на линию 3 июля. Центр продолжает давление на синих, сегодня бои идут на семнадцать переходов впереди сегодняшнего дня, на линии 29 мая.

На левом фланге сегодня не прекращается пушечная пальба — столяры полируют партию мебели.

ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ НА 14 МАЯ

После кровопролитного штыкового боя наш славный левый фланг наголову разгромил синих, прорвал их фронт и бешено преследует. Взято в плен: 700 штук аудиторных столов, 500 чертежных столов, 870 стульев. Все пленные отполированы и сданы заказчику. Синие бегут, славные наши столяры сегодня вышли на линию 20 мая, идя впереди сегодняшнего дня на шесть переходов. Этот исторический бой имеет важнейшее значение: деморализованный противник по всему фронту находится очень далеко, наши части не могут его догнать! Колонисты, поздравляем вас с победой».

Какие изменения произошли на диаграмме! Далеко-далеко отошла синяя линия врагов. У девочек она уже приближается к чудесному городу. Ваня Гальченко сегодня не может гордиться только своим «центром». Его захватывают общий успех колонии и красота кровопролитного штыкового боя у столяров. Ваня мечтательно всматривается в линию фронта, и его глаза ясно видят, как под синим шнурком прячутся японские и другие генералы, как оттуда смотрят их злые глаза. Ваня громко смеется:

— Ага! Побежали, смотрите!

Сегодня у диаграммы много столяров. Правда, их фланг еще отстает от других, но какой бой! В стадионе не помещается мебель, огромная площадь вокруг стадиона заставлена столами и стульями. Пока они не были собраны, легко было разместить их в стадионе. А когда собрали, они распухли и вылезли из стадиона.

Первый раз остановился перед диаграммой и Соломон Давидович. До сих пор он несколько презирал эту забаву мальчишек и высказывался так:

— Что там они... пускай себе играются. Какой-нибудь Борис Годунов!

Но сейчас и он стоит перед ватманом и внимательно слушает объяснения Игоря Чернявина. Потом спрашивает:

— Если я правильно понимаю, здесь имеются какие-то враги. Что им здесь нужно, в колонии?

— Они мешают нам работать, Соломон Давидович, прямо под руки лезут.

— Что вы скажете! Кто же это такие нахалы? Это, наверное, новенькие!

— Есть и старые, есть и новые. Кто спер занавес, неизвестно, но я думаю, что это из старых.

— А какое отношение имеет занавес к производственной части?

— А плохой лес? Если бы у нас был хороший лес, мы вышли бы по меньшей мере на линию десятого июня, видите?

Соломон Давидович подумал:

— Если бы у вас был хороший лес... с хорошим лесом каждый дурак выйдет на какую угодно линию и будет кричать, как болван. Но, во-первых, кто вам даст хороший лес, если вы не состоите на плановом снабжении, а во-вторых, потребителю все равно, из какого леса кресло, лишь бы оно было хорошее кресло и имело вид приличный. Какие же еще у вас враги?

— Станки плохие...

— Тоже называется — враг!

— А как же! На хорошем станке...

— Что вы мне рассказываете: на хорошем станке! А кто будет работать на плохих станках? По-вашему, их нужно выбросить?

— Выбросить.

— Если такие станки выбрасывать, вам амортизация обойдется в копеечку, к вашему сведению. А где вы возьмете триста тысяч?

— Амортизация? А что это за зверь?

— Это, я вам скажу, зверь, который лопает деньги. Это тоже враг!

Появление на арене спора нового зверя, конечно, смутило Игоря. Но Соломона Давидовича уже окружили комсомольцы. Владимир Колос не испугался амортизации:

— Это еще неизвестно, кто больше лопает, амортизация или плохое оборудование. Я считаю, что за две смены мы теряем ежедневно из восьми рабочих часов три часа на разные неполадки.

— Правильно,— подтвердил Садовничий.

— Больше теряем,— сказал Рогов.

— Плохое оборудование — это выжимание соков,— с демонстративным видом заявил Санчо Зорин.

Соломон Давидович вертелся между юношами и не успевал в каждого говорящего стрельнуть возмущенным взглядом.

— Как они все хорошо понимают! Какие соки? При чем здесь соки? Из вас кто-нибудь выжал сок? Где этот сок, покажите мне, я хочу тоже посмотреть, может, этот сок для чего-нибудь пригодится!

— Щели замазывать!

Санчо Зорин смеялся в глаза, но у него не было неприязни к Соломону Давидовичу. Он даже ласково завертел в руках пуговицу старого пиджака Соломона Давидовича и сказал:

— Не из меня сок, а вообще. Вот я вам объясню, вот я вам объясню, вот послушайте.

— Ну, хорошо, послушаю.

— Вы знаете генеральную линию партии?

— Любопытно было бы посмотреть, как я не знаю генеральной линии партии...

— Что партия говорит? Что? Из кожи вылезти, и создать металлургию, понимаете, металлургию, тяжелую промышленность! Средства производства! А не то, как разные там оппортунисты говорят: потухающая кривая и разные такие глупости. Из кожи вылезти, и давайте средства производства — металл, станки, машины. Вот!

— При чем здесь соки!

— Вы лучше нас знаете, Соломон Давидович. Старая Россия не имела средств производства, а работали разве мало? Мало, да?

— Порядочно-таки работали!

— А жили как нищие, правда? А почему? Были плохие средства производства. Соки выжимали, а штанов не было. А когда будут хорошие машины, так куда легче. Хорошо будем жить! А на что это похоже: вы работаете от шести утра до двенадцати ночи. Видите? Не мои соки, а ваши...

Соломон Давидович задумался, губу выпятил на Зорина. Потом вздохнул, улыбнулся грустно:

— Это, конечно, вы правильно говорите, товарищ Зорин, но только я уже не дождусь, когда будут хорошие средства производства. Потухающая кривая — это, конечно, гадость, как я понимаю. Я боюсь, что моей кривой не хватит до металлургии.

Санчо с размаху обнял Соломона Давидовича:

— Соломон Давидович! Хватит! Честное слово, хватит! Вы посмотрите, вы только посмотрите!

У Соломона Давидовича пробежала по морщинистой щеке слеза. Он улыбнулся и с досадой смахнул ее пальцем.

— Чертовая слабость, между нами говоря!

— Ничего, а вы посмотрите на фронт. Штыковой бой, легко сказать! А вот этот... новый завод! Чепуха осталась! «И враг бежит, бежит, бежит!»

— Может быть, он и бежит, а только посмотрим, куда еще мы выйдем с этим самым новым заводом. Расходы большие, ах, какие расходы! Сто каменщиков, легко сказать!

— Выйдем! Знаете, куда выйдем? Ой, я вам сейчас, как скажу, так вы умрете, Соломон Давидович!

— Это уже и лишнее, товарищ Зорин!

— Нет, нет, не умрете! Мы выйдем на генеральную линию! Во!

— Что вы говорите? Каким образом мы так далеко выйдем?

— А что мы будем делать? Что? Электроинструмент!

Комсомольцы вдруг закричали все, захлопали Зорина и Соломона Давидовича по плечам:

— Санчо молодец! Электроинструмент — это и есть средства производства!

— А трусики?

— А ковбойки?

— А стулья?

Но Соломон Давидович тоже воспрянул духом:

— Не думайте, товарищи, что я ничего не понимаю в политике! И не морочьте мне головы! Стулья! Конечно, если сидеть на стуле и объясняться в любви, так это никакого отношения не имеет к производству и даже мешает. Ну, а если человек сядет на стул и будет что-нибудь шить, так это уже производство. А чертежный стол? А масленки? Мы не такие уж оппортунисты, как некоторые думают. Но только и без штанов нельзя.

— Нельзя?

— Без штанов если человек, так вы знаете, как он называется?

— Нищий.

— Нет, хуже. Он называется прогульщик!

Шумной, галдящей, веселой толпой они вышли на крыльцо. Соломон Давидович погрозил пальцем:

— Вы хитрые со стариком разговаривать, а цветочки, цветочки любите

Колонисты хохотали и обнимали Соломона Давидовича:

— Дело не в цветочках, дело в плане. Цветочкам свое место, а металлургии свое.

6. ЛАГЕРИ

15 мая начали строить лагери. Когда это слово «лагери» первый раз прокатилось в колонии, оно даже не произвело особенного впечатления, так мало ему поверили: легко сказать, лагери! Самые легковерные люди говорили:

— Ты что-то съел сегодня за завтраком?

Однако в совете бригадиров Захаров, как будто нечаянно, произнес:

— Да! Я и забыл, нам еще нужно поговорить по одному вопросику, мы получаем двадцать палаток, так вот...

Потом Захаров посмотрел на бригадиров и увидел, что они задохнулись от неожиданности удара. Он замолчал и позволил Нестеренко издать первый звук:

— Лаг... Черт... Да не может быть!

Палатки подарил тот самый военный с ромбом, которому так понравилась игра Вани Гальченко. Палатки были старенькие, выбракованные, пришлось даже заплаты положить кое-где, но... какие все-таки красивые палатки! Некоторые знатоки из четвертой бригады утверждали, что это палатки командирские, и им с удовольствием верили, другие, тоже из четвертой бригады, пытались утверждать, что это не палатки, а «шатры», но к такому утверждению все относились с сомнением.

Было намечено за парком красивое место для лагеря. Двадцать палаток решили ставить в одну линию, а какой бригаде на каком месте строиться, должен был решить жребий. На столе у Торского лежат одиннадцать билетов: Торский предложил бригадирам подходить по порядку номеров и тянуть свое счастье. Клава Каширина попросила слова:

— Пятая и одиннадцатая бригады просят дать им крайние места.
— Это почему такое? Каждому крайнее место приятно.
— А чем для тебя приятно?
— Раз для вас приятно, значит и для нас приятно.
— Девочкам нужны крайние места.
— Да почему?
— Нам неудобно между мальчишками.
Раздались недовольные голоса:
— Это капризы! С какой стати: как девочка, так и всякие фокусы!
Клава серьезно нажимала:
— Мы просим крайние места.
Санчо Зорин не пропускал ни одного совета. Он и сейчас ввязался:
— Я предлагаю из принципа не давать им крайних мест.
— Из какого принципа?
— А из какого принципа вам нужны крайние места? Это значит, ты боишься: мальчики вас покусают.
— Не покусают, а девочки любят чистоту.
Тут и другие бригадиры возмутились. С каких это пор монополия на чистоту принадлежит девочкам? Клава рассердилась:
— Вам что, неряхам? В каких трусиках в цех идете, в таких и спите.
— Как там мы ни спим, а палатки вам по жребию!
— Мы тогда останемся в спальнях,— сказала Клава.
— В спальнях? — кто-то грузно подвинулся на диване.— В спальнях?
— А что же вы думаете? В спальнях и останемся. Если нам нужно переодеваться или еще что, так мы будем между мальчишками?
— Здесь нет мальчишек,— сказал хмуро Зырянский.— Есть колонисты — и все! И нечего разные тайны заводить в колонии. По жребию.
Ничего не могли поделать девчата, пришлось тянуть жребий. Может быть, надеялись на счастливый жребий,— не повезло: вытянули третье и восьмое места.
Завхоз выдал каждой бригаде крохотную порцию бракованного леса — для «ящиков». Мальчики возмущались:
— Степан Иванович, как же так без арифметики? Габариты какие? Четырнадцать метров на четырнадцать метров, и нары нужно из чего-нибудь сделать?
— Управитесь.
— Вы нас толкаете на преступление, Степан Иванович!
— Ничего, рискую! Посмотрим, какие вы сделаете преступления? У меня вы ничего не сопрете, предупреждаю.
— Хорошо, мы построим одни ящики, и спать будем прямо на земле, воспаление легких, чахотка, вам же хуже!
— Я потерплю. Думаешь, чахотке приятно иметь с тобою дело?
— Заболеем!
— Хорошо, рискую!
Совет бригадиров постановил: каждая бригада обязана лагери сдать семнадцатого. А время для работы по лагерям оставалось только вечером. Поэтому перед ужином на лагерной площадке, как на базаре: двести с лишним человек, с топорами, пилами, веревками. Беспокойства, шума, заботы видимо-невидимо, но все же бросилось в глаза: девочки строятся

на крайних десятом и одиннадцатом местах, и никто им не препятствует. Бригадир девятой Похожай на что уже веселый человек, а и тот возмутился. Спрашивает:

— На каком основании вы здесь строитесь?

Девочки тоже плотничают, хохочут, дело у них с трудом ладится, но Похожаю ответили:

— Любопытный стал, товарищ Похожай. Иди себе ..

— Я официально спрашиваю.

— Официально спроси у дежурного бригадира.

Похожай не поленился, нашел дежурного бригадира Руднева:

— Как это вышло? Почему девчата на крайнем месте строятся?

— А это очень просто. Они поменялись местами с четвертой и восьмой бригадами

— Поменялись? С четвертой?

Побежал Похожай к Зырянскому:

— Почему ты поменялся с девчатами?

Зырянский поднял лицо от шершавой доски, которую прилаживал для полочки в палатке·

— По добровольному соглашению.

— А что ты говорил в совете?

— А в совете я говорил, чтобы они жребий тянули.

— А теперь, ты выходит, соглашатель.

— Нет, Шура, я настоял на том, чтобы они тянули жребий. Они и тянули. А то они вообразят такое! Подумаешь, девчата! Они девчата, давай им крайние места. Принципиально!

— Как же так, принципиально? А зачем же ты поменялся?

— А по добровольному соглашению. Хочешь, я и с тобой поменяюсь. Хочешь, у меня теперь третье место, у тебя пятое. Могу поменяться, с девочками, с мальчиками, все равно, с товарищем меняюсь, здесь ничего соглашательского нет.

Похожай махнул на Алексея рукой, но захотел еще проверить, как Нестеренко себя чувствует. Нестеренко ничего особенного в вопросе Похожая не увидел, ответил с замедленной своей обстоятельностью:

— Ага, я, конечно, поменялся, потому что они просили, да и нам с краю не хочется.

— А на совете?

— Чудак, так то ж совсем другое дело! Там вопрос был, понимаешь, насчет равноправия. А поменяться? Почему ж? Вон Брацан с Поршневым тоже поменялся. Дело вкуса.

Похожай очень расстроился, отошел к парку, почесал за ухом, а потом улыбнулся и сказал вслух:

— Сукины сыны! А может... может, и правильно! Ну, что ты скажешь!

Вечером к Захарову пришел строительный техник Дем и сказал:

— Там колонисты досточки... строительные досточки берут для лагеря, кто пять, кто десять... Так вы бы сказали, что так нехорошо делать. Досточек, правда, не жалко, а учет нужен. Колонисты, знаете, хорошие мальчики, а все-таки учет необходим.

Молодой завхоз Степан Иванович прикинулся возмущенным:

— Душа из них вон, отнимите!

Дем замурлыкал, улыбаясь одними усами:

— Да как же [redacted] отниму, обижаться будут.

— Посмотрите, Степан Иванович,— распорядился Захаров.

Степан Иванович отправился в карательную экспедицию и возвратился с победой и с пленником.

— Хоть бы кто тащил, а то Зырянский! Другие бригады взяли по пять-шесть досточек, а этот целый воз!

Захаров сказал коротко:

— Алексей,— объяснение...

— Объясню: это не кража. Лагери снимем — доски возвратим. Записано, сколько взяли, можно проверить.

— А почему так много?

— Так... для четвертой бригады и для одиннадцатой.

— Угу...

— Нельзя, надо помогать беднейшему крестьянству. Вы нам дали малую пайку, Степан Иванович, так пацаны достанут, а девочки стесняются.

— Стесняются?

— Да... что ж... Они еще не догнали мужчин в этом отношении.

Захаров серьезно кивнул головой:

— Вопрос исчерпан. Запишите, товарищ Дем, [redacted] подпишу. Осенью возвратим.

Вечером семнадцатого Захаров с дежурным бригадиром принял постройку лагерей. Он не забраковал ни одной палатки. Палатки стояли [redacted] один ряд, и на каждой трепыхался маленький флажок. Отдельно возле парка стояла палатка совета бригадиров, [redacted] которую переселился и Захаров. Михаил Гонтарь заканчивал проводку электричества. Проиграли сигнал «спать», никто спать не захотел, все ожидали, когда загорится свет. И Захаров ходил из палатки в палатку, и везде ему нравилось. Потом вдруг все палатки осветились, колонисты закричали «ура» и бросились качать Мишу Гонтаря. Хотели качать [redacted] Захарова, но он погрозил пальцем. Тогда решили качать бригадиров. Перекачали всех, кроме Клавы и Лиды, [redacted] девочки сказали:

— Мы сами своих бригадиров, не лезьте!

Девочки долго хохотали, потом завесили палатку, там по секрету что-то кричали и еще хохотали и пищали невыносимо, выскочили оттуда красные. Пацаны четвертой бригады долго стояли возле этой палатки и так [redacted] могли выяснить, качали девочки своих бригадиров или нет. Филька высказал предположение:

— Они не качали. Они не подняли их, [redacted] может, и подняли, так потом положили на землю и разбежались.

Эта гипотеза очень понравилась всей четвертой бригаде. Успокоились и пошли посмотреть, что делается [redacted] палатке Захарова. Там стоял стол, и Захаров работал, сняв гимнастерку. Это было совершенно необычно. Пацаны долго смотрели на Захарова, а потом Петька сказал:

— Алексей Степанович, почему это спать не хочется?

Захаров поднял голову, прищурился на пацанов и ответил:

— Это у вас нервное. Есть такая дамская болезнь — нервы. У вас тоже.

Пацаны задумались, тихонько выбрались из палатки Захарова, побежали к своей палатке. Зырянский недовольным голосом спросил:

— Где вы шляетесь? Что это такое?

Они поспешно полезли под одеяла. Филька поднял голову с подушки и сказал:

— Это, Алеша, нервы — дамская болезнь!

— Еще чего не хватало,— возмутился Зырянский,— дамские болезни! В четвертой бригаде! Спать немедленно!

Он потушил свет. Пацаны свернулись на постелях и смотрели в дверь. Видны были звезды, слышно, как звенят далекие трамваи в городе, а на деревне собаки лают так симпатично! Ваня представил себе Захарова в галифе и в нижней рубашке, и Захаров ему страшно нравился. Ваня подумал еще, какие это нервы, но глаза закрылись, нервы перемешались с собачьими голосами, и куда-то все покатилось в сладком, замирающем, теплом счастье.

7. СЕРДЦЕ ИГОРЯ ЧЕРНЯВИНА

Школа заканчивала год. Колонисты умели, не забывая о напряженных делах производственного фронта, забывать об уставших мускулах. Каждый в свою смену с головой погружался в школьные дела.

В школе было так же щепетильно чисто, как и в спальнях, лежали дорожки, везде стояли цветы, и учителя ходили по школе торжественно и говорили тихими голосами.

Подавляющее большинство колонистов любило учиться и отдавалось этому делу со скромной серьезностью — каждый понимал, что только школа откроет для него настоящую дорогу. Колония успела сделать уже несколько выпусков, в разных городах были студенты-колонисты, и из фонда совета бригадиров студентам выплачивались дополнительные стипендии по пятидесяти рублей[33]. Многие из бывших колонистов были в военных и летних школах.

На праздничные и на летние каникулы студенты и будущие летчики приезжали в колонию. Старшие встречали их с дружеской радостью, младшие — с благоговейным удивлением. И сейчас ожидали их приезда и разговаривали о том, в какой бригаде остановится тот или другой гость. Путь этих старших был соблазнительным и завидным путем, и каждому колонисту хотелось подражать старшим.

Игорь Чернявин школой увлекся нечаянно. Сначала повезло по биологии, а потом открылись в нем какие-то замечательные способности литературные. Новая учительница Надежда Васильевна, очень молодая, комсомолка, прочитала одно сочинение Игоря и сказала при всем классе:

— Игорь Чернявин... очень интересная работа, советую обратить серьезное внимание.

Игорь улыбнулся саркастически: вот еще не было заботы — обращать внимание! Но незаметно для него самого литературные тексты, и свои и чужие — писательские, стали ему нравиться или не нравиться по-новому,

Вдруг так получилось, что над любым заданием по литературе он просиживал до нестеренковского протеста. По другим предметам брел кое-как до тех пор, пока однажды Надежда Васильевна не подсела к нему в клубе:

— Чернявин, почему у вас так плохо стало с учебой?

— По литературе? — удивился Игорь.

— Нет, по литературе отлично. А по другим?

— А мне неинтересно... знаете, Надежда Васильевна.

Она вздернула верхнюю полную губу:

— Если по другим предметам плохо, то вам и литература не нужна.

— А вдруг я буду писателем?

— Никому такой писатель не нужен. О чем вы будете писать?

— Мало ли о чем? О жизни, например.

— О какой же это жизни?

— Понимаете, в жизни...

— О любви?

— А разве плохо о любви?

— Не плохо. Только... о чьей любви?

— Мало ли о чьей...

— Например...

— Ну... человека, любит себе человек, влюблен, понимаете?

— Кто? Кто?

— Какой-нибудь человек...

— Какого-нибудь человека нет. Каждый человек что-нибудь делает, работает где-нибудь, у него всякие радости и неприятности. Чью любовь вы будете описывать?

Игорю стыдно было говорить о любви, но, с другой стороны, вопрос поднят литературный, ничего не поделаешь...

— Я еще не знаю... Ну... мало ли чью. Например, учитель влюбился, бывает так?

— Бывает, учитель... учитель какого предмета?

— Например, математики.

— Видите, математики. Как же будете описывать, если вы математики не знаете? Наконец, не только же любовь тема. Жизнь очень сложная вещь, писатель должен очень много знать. Если вы ничего не будете знать, кроме литературы, то вы ничего и не напишете.

— А вы вот... знаете... только литературу.

— Ошибаетесь. Я знаю даже технологию волокнистых веществ, кроме того, я знаю хорошо химию, я раньше работала на заводе и училась в техникуме. Вы должны быть образованным человеком, Игорь, вы все должны знать. Горький все знает лучше всякого профессора.

Незаметно для себя Игорь заслушался учительницу. Она говорила спокойно, медленно, и от этого еще привлекательнее казалась та уверенная волна культуры, которая окружала ее слова. На другой день Игорь нажал и на всех уроках активно работал. Понравилось даже, прибавилось к себе уважение, Игорь твердо решил учиться. И вот теперь, к маю, он выходил отличником по всем предметам, и только Оксана Литовченко не уступала ему в успехах. Прозевал как-то Игорь тот момент, когда

переменился его характер. Иногда и теперь хотелось позлословить, показаться оригинальным, и, собственно говоря, ничего в нем как будто не изменилось, но слова выходили иные, более солидные, более умные, и юмор в них был уже не такой. И однажды он спросил у Санчо Зорина:

— Санчо, знаешь, надо мне в комсомол вступить.. Давай поговорим.

— Давно пора,— ответил Зорин.— Что ж? У тебя никакой дури не осталось. Мы тебя считаем первым кандидатом. А как у тебя... вот... политическая голова работает?

— Да как будто ничего. Я к ней присматривался — ничего, разбирается.

— Газеты ты читаешь, книги читаешь. Это не то что тебя... натягивать нужно. Пойдем поговорим с Марком.

Игорь начал ходить на комсомольские собрания. Сначала было скучно, казалось, что комсомольцы разговаривают о таких делах, в которых они ничего не понимают. В самом деле, Садовничий делает доклад о Семнадцатом съезде партии! Какой может сделать доклад Садовничий, если он только и знает то, что прочитал в газетах? Садовничий, действительно, начал рябовато, Игорь отмечал для себя неоконченные предложения, смятые мысли, заикание. Но потом почему-то перестал отмечать и незаметно для себя начал слушать. Как-то так получилось, черт его знает: Игорь тоже читал газеты, но кто его знает, решился ли бы Игорь сказать те слова, которые очень решительно произносил Садовничий.

— Конечно, мы не захватили старой жизни, но зато остатки и нам пришлось расхлебать. Царская Россия была самой отсталой страной, а сейчас мы знаем, что Семнадцатый съезд Коммунистической партии подвел итоги. Мы закончили пятилетку в четыре года и не с пустыми руками: Магнитогорск есть? Есть. А Кузбасс есть? Тоже есть. А Днепрогэс? А Харьковский тракторный есть? Есть. А кулак есть? А кулака нет! Наши ребята кулака хорошо знают, многие поработали на кулака, а сейчас кулак уничтожен как класс, а мы построили первое в мире социалистическое земледелие, основанное на тракторном... тракторном парке, а также и комбайны. Мы знаем, как троцкисты говорили и как говорили оппортунисты. Каждый коммунар на своей шкуре их хорошо понимает: если поступать по-ихнему, то тогда все вернется по-старому. А такие пацаны, как мы, опять будем коров пасти у разной сволочи... извините, у разной мелкой буржуазии, которая хочет иметь собственность и всякие лавки и спекуляцию. Колония имени Первого Мая не пойдет на такую провокацию. Конечно, каждый колонист хочет получить образование, а все-таки мы будем делать электроинструмент и развивать металлообрабатывающую промышленность. А что пояс подтянуть придется, так это не жалко, ничего нашему поясу от этого не сделается, потому что мы граждане великой социалистической страны и знаем, что к чему. Вот я вам сейчас расскажу о постановлениях Семнадцатого съезда Коммунистической партии большевиков, и вы сразу увидите, как все делается по-нашему, а не поихнему.

Игорь слушал и все понимал наново. Еще лучше стал он понимать, когда заметил в соседнем ряду Оксану Литовченко. В том, как слушала она, было что-то трогательное: вероятно, Оксана забыла, что она хорошенькая девушка, что многим хочется полюбоваться ее лицом, она сидела,

чуть склонившись вперед, заложив руки между колен, отчего еще теплее собирались складки темной юбки и отчего притягательнее становилась мысль, что Оксана — сестра и товарищ. Так склонившись, она неотрывно, не моргая, смотрела на сцену, слушала оратора Садовничего, а Игорю стало до очевидности ясно, что Оксана лучше понимает то, что говорит Садовничий, и глубже переживает. И Игорь тихонько отвернул от нее лицо и нахмурил брови. Ему страшно захотелось, чтобы он, Игорь Чернявин, всегда был настоящим человеком. Он долго, внимательно и доверчиво слушал Садовничего и, наконец, понял, что Садовничий комсомолец, а Игорь еще нет. И тогда, посмотрев на зал, он подумал, что с такой компанией можно идти очень далеко, идти честно и искренно, так же, как говорит Садовничий, как слушает Оксана.

Часто, оставаясь наедине, Игорь думал о том, что он, безусловно, любит Оксану. Игорю нравилось так думать. Он много прочитал книг за этот год в колонии и научился разбираться в тонкостях любви. Слово «влюблен» казалось уже ему мелким и недостойным словом для выражения его чувства. Нет, Игорь именно любит Оксану. Иногда он сожалел, что эта любовь прячется где-то в груди и сам черт не придумает, как ее оттуда можно вытащить и показать. Ему нравилась история Ромео и Джульетты, он ее прочитал два раза. Те места, в которых высказываются слова любви, он перечитывал и думал о них. Может быть, если бы пришлось, Игорь нашел бы еще более выразительные слова, но ему не хотелось умирать вместе с Оксаной где-нибудь среди мертвецов. С этой стороны «Ромео и Джульетта» ему не нравилась. Он находил много непростительных глупостей в действиях героев трагедии, во всяком случае, было одно несомненно: эти герои были очень плохие организаторы: в самом деле, придумать такой девушке дать снотворное средство, а потом хоронить! Интересно, что такого же мнения был и Санчо Зорин, которого Игорь заставил прочитать «Ромео и Джульетту»:

— Чудаки какие-то... эти... Лоренцо — старый черт, а с таким пустяком не справился, кого-то послал, а того не впустили — на объективные причины сворачивает. Вот если бы он знал, что ему за это отдуваться на общем собрании, так он бы иначе действовал. И Ромео твой шляпа какая-то. Мало ли чего? Кто там в ссоре и кто там не позволяет. Раз ты влюбился, так какое кому дело — женись, и все!

Игорь смотрел на Санчо свысока. Санчо понятия не имеет, что значит влюбиться, нет, не влюбиться, а полюбить. Женись, и все! Дело совсем не в женитьбе, и жениться вовсе не обязательно, Игорю жениться не хотелось. Во-первых, потому, что нужно кончать школу, во-вторых, потому, что даже представить трудно, какой хай поднялся бы в колонии, если бы Игорь обратился в совет бригадиров... Ха!

Игорь никому не говорил о своей любви, и Оксана, может быть, ни о чем не догадывалась. Странное дело: пока Оксана жила у этого самого... адвоката, ничуть не страшно было демонстрировать свое исключительное к ней внимание. С того дня, как она стала колонисткой, Игорь боялся с нею разговаривать даже об африканском циклозоне, с которым она возилась в биологическом кружке и который, между прочим, всем надоел. Потом Оксана вступила в комсомол, и в ее лице появились новые черты — самостоятельности и покоя. От всех девочек она отличалась удиви-

тельно приятным соединением бодрости, быстроты и в то же время мягкой, внимательной тишины. Она несколько раз уже выступала на общих собраниях, и как только она получала слово, в зале все начинали выглядывать из-за соседей, чтобы лучше видеть Оксану. Произнося речь, она умела с особенной мягкой стремительностью поворачивать голову то к одному, то к другому слушателю, смотреть ему в глаза, чуть-чуть улыбаясь, убеждать, внушать ласково, просто уговаривать. И каждый такой объект неизменно заливался краской, а Оксана спешила обратиться к другому. В таком стиле она произнесла однажды речь о необходимости помочь соседнему колхозу в прополке картофеля:

— Мои товарищи! Как же вы не поможете людям, если у них еще не устроено? У них трудное время, они еще коллективно не привыкли робыть, а вы привыкли, так как же вы не поможете? Мы сильные люди, последователи Ленина — Сталина, кажу вам, товарищи, пойдем и поможем, с музыкой пойдем, не в том только дело, сколько мы картошки пройдем прополкой, а в том, что и они глазами побачут, как красиво и богато можно жить при социализме. А потом они к нам придут, может, в чем помогут, а может, и так потанцуют с нами та посмеются. Вот я вам и говорю: дорогие хлопци и девчата, не нужно так говорить, чем мы там поможем, а решайте по-хорошему.

Она красиво говорила, Оксана, в особенности мило выходили у нее украинские редкие срывы и нежное «л» в таких словах, как «прополка» или «хлопци». И хотя никто и не думал возражать против помощи, но всем казалось, что это Оксана их убедила. И потом на колхозном поле все смотрели на Оксану как на хозяйку, радовались ее оживлению, и только пацаны не могли иногда удержаться и докладывали Оксане с серьезными лицами, но с итальянским прононсом:

— Наша славная четвертая бригада уже прополола!

Они бросали на нее проказливые взгляды, но далеко не прочь были с радостью принять от Оксаны ласковую улыбку и ласковий совет:

— От и добре, хлопци!

Игорь не обладал такой смелостью, какая была у пацанов. Он иногда разговаривал с Оксаной о классных и колонистских делах, но, если никого не было третьего, не позволял себе острить и больше всего боялся, как бы Оксана не заметила, что он может покраснеть. Зато, если собиралась целая группа колонистов и колонисток, Игорь острил на полный талант. Он тогда уверял слушателей, что африканского циклозона обязательно украдет Рыжиков, украдет, зажарит и слопает. Бывало, что и Рыжиков стоит тут же и слушает, а потом хохочет вместе со всеми, как и полагается хорошему товарищу. Игорь был доволен вниманием товарищей, но истинной наградой за остроумие могла быть только улыбка Оксаны. Она и улыбалась всегда, но Игорь понимал, что эта улыбка — мелочь, из приличия. Досадно было, что, улыбаясь, Оксана обращалась немедленно с каким-нибудь посторонним вопросом к соседке-подружке. И получалось как-то очень прохладно: остроумие Игоря признавалось как одно из самых обыденных приятных явлений, вроде хорошей погоды. Только один раз Оксана пришла в настоящее восхищение и хотя смеялась недолго, но посмотрела на Игоря взглядом... буквально любовным. Это вышло после того, как все хвалили красоту прошедшего мимо дежурного

бригадира Васи Клюшнева, [redacted] Игорь сказал, воспользовавшись недавними впечатлениями восьмого класса:

— Он похож на Дантеса, хотя с Пушкиным не знаком.

Вася Клюшнев был хороший бригадир, но по литературе у него были очень плохие дела.

8. МЕРТВЫЙ ЧАС

Когда окончились школьные занятия, Захаров сказал на общем собрании:

— Дела наши идут хорошо [34]. Завод строится, скоро начнут прибывать станки, план мы выполняем, а на текущем счету прибавляются деньги. И [redacted] коллективе у нас более или менее благополучно, если не считать печального события с театральным занавесом. Сейчас вы будете отдыхать от школьных работ, но полных каникул [redacted] этом году мы устроить не можем, все колонисты это понимают. Все-таки нужно подумать и о здоровье. Николай Флорович сейчас скажет об этом.

А потом на трибуну вышел Колька-доктор и такого наговорил, что колонисты только шеи вытягивали от удивления. Во-первых, нужно восстановить пятичасовой чай, во-вторых, всеобщий и самый подробный медицинский осмотр, в-третьих, какие-то особые купанья, в-четвертых, мертвый час после обеда, в-пятых, в-шестых, и так далее. Еще Колька-доктор не кончил, [redacted] со всех сторон посыпались возражения: для Кольки новый завод, очевидно, не представляет никакого интереса. Колька хочет, чтобы деньги растрачивались на разные пятичасовые чаи, которые все равно пить некогда, [redacted] потом — что это такое за новость: мертвый час? Что колонисты — больные люди или какие-нибудь отдыхающие, все равно никто на этом самом мертвом часе спать не будет. Сейчас оканчиваем работу [redacted] четыре часа, [redacted] то будем оканчивать в пять, [redacted] потом чай пить, [redacted] когда жить? По Колькиному выходит: спать, чаевать, ходить к доктору, так это называется жизнь? А если в волейбол или еще что, так некогда, потому что Колька будет все лечить и лечить...

Колька все эти возражения слушал с злым лицом — и снова взял слово:

— К-какие некультурные л-люди! Ч-черт его з-знает, ч-чепуху к-какую...

И давай доказывать. Где-то навыдирал цифр разных, выходило по-Колькиному, что уничтожение «первого ужина» не составило никакой экономии: сколько раньше проедали, столько и теперь проедают. И теперь за ужином лопают так, что повар в ужас приходит!

— Ничего подобного!

— К-как ничего подобного? А п-пускай Алексей Степанович с-скажет!

Никогда не бывало, чтобы Захаров смущался, а теперь смутился, посмотрел на Кольку сердито, махнул рукой:

— Да... Николай! Как это никакой экономии? Экономия есть все-таки... все-таки меньше идет на пищу!

Колька даже зарычал:

— Меньше? Меньше? А я скажу: ничуть не меньше. Я в-вот в б-бухгалтерии все в-взял: т-то же с-самое! Сколько ели, столько [redacted] едят. А т-только неправильно, нужно в пять ч-часов чай.

Захаров вдруг рассмеялся, сел на место с таким видом, как будто с этим Колькой вообще разговаривать не стоит. Колонисты бросили вопрос о «первом ужине», и напали на мертвый час. Выходило так, что Колька напрасно затевал все эти фокусы. Зырянский лучше всех сказал:

— Все знают, как мы уважаем дисциплину. А только как ты меня, Николай, можешь заставить спать? Даже и глаза закрою, откуда ты узнаешь, что я сплю? А если мне спать не хочется? Ничего не выйдет.

Но Колька изменил тон, что-то такое начал говорить медицинское, об организме, о нормах сна. И Захаров в этом деле поддержал доктора:

— Ребята! Против мертвого часа даже неприлично как-то возражать. Неужели мы с вами такие некультурные люди, ничего не понимаем? Мертвый час нужно ввести. Это будет очень полезно. Мало ведь спите. Сигнал «спать» играем в десять, а все равно после сигнала еще час проходит, пока заснете, а некоторые читатели, например, Чернявин, так и до двенадцати ухитряются.

После таких разговоров неловко было провалить проект мертвого часа. С ворчанием и с натянутыми лицами подняли руки за мертвый час и уходили с собрания недовольные. Оглядывались и спрашивали:

— Так это с какого дня? Завтра? Вот еще придумали, честное слово!

На другой день в приказе услышали: мертвый час после обеда в обязательном порядке! Колька прошел через столовую с гордым видом: тоже организатор, мертвый час организовал!

После обеда в лагерях Володька Бегунок играл сигнал «спать». Светит жаркое солнце, энергия бурлит в каждом кусочке тела, а Володька играет сигнал «спать». И все смотрели на Володьку с осуждением. Но Захаров пошел по палаткам, и вид у него был такой серьезный, что никто не сказал ни слова

Захаров сидел в своей палатке и прислушивался. Какой же это мертвый час, если по всему лагерю стоит говор, просто лежат в постелях и стараются тихонько разговаривать, а тихонько разговаривать не умеют, смеются же обыкновенно — громко. И у девочек громкий шепот и смех, а в четвертой бригаде возня, сопенье, такое впечатление, как будто там боксом занимаются. Захаров напал на какую-то одну бригаду:

— Постановили? Чего это разошлись? Сказано: мертвый час — значит спи Прекратите разговоры!

Говорил он напористо, вот-вот кому-нибудь наряд или что-нибудь подобное всыплет. Самые разговорчивые люди сомкнули уста. Захаров послушал-послушал — тишина. Он возвратился в палатку, где сидел за столом и что-то записывал дежурный бригадир Воленко.

— Через четверть часа пройдешь, посмотришь,— сказал Захаров.

— Есть!

— Честное слово, придется кого-нибудь из бригадиров под арест посадить...

Воленко ничего не сказал, он тоже разделял общее мнение, что мертвый час плохо придуман. Захаров сидел в палатке и ревниво прислушивался. Тишина стояла изумительная, даже ночью такой тишины не бывало. Захаров тоже вытянулся на постели, расправил плечи, сказал тихо:

— Чудаки! Такое добро, а они еще... топорщатся.

— Времени жалко,— так же тихо ответил Воленко.

— Ничего... А смотри, спят, значит, нужно.

И на это Воленко ничего не ответил, вышел из палатки. Легкий шум его шагов моментально пропал в общей тишине. Возвратился Воленко скоро, присел к столу, у дежурного бригадира всегда найдется дело.

— Спят? — спросил Захаров.

— Спят.

Через несколько минут в палатку заглянул Колька-доктор, хитро подмигнул на лагери и зашептал:

— В-видите? Г-говорил... с-спят, как м-миленькие!

Колька с довольным видом, на носках пошел вдоль палаток. Долго прислушивался возле некоторых, но возвратился счастливый:

— Р-раз для организма н-нужно... организм с-сам з-знает...

Он тоже присел на нары к столу, но говорить боялся, в мертвый час разговаривать не полагается. Он сидел, посматривал на часы-ходики. Захаров шепнул:

— Как медленно время тянется! За работой — другое дело!

Колька кивнул в знак согласия.

За пять минут до конца мертвого часа Воленко вытащил откуда-то Бегунка. Володя пришел свежий и радостный, лукавые его глаза не могли оторваться от Кольки-доктора, но трубу свою он все-таки нашел быстро. Воленко посмотрел на часы и сказал:

— Давай, Володя!

Володя по обыкновению своему салютнул трубой и выскочил на площадку. Высокий и раздольный сигнал побудки вдребезги разнес мертвую тишину, но с первым звуком сигнала в лагерях произошло что-то странное, Захаров испуганно вскочил с кровати: это была ни на что не похожая смесь из криков «ура», аплодисментов, торжествующих воплей, хохота и многих других совершенно невыносимых знаков восторга. Слышно было, что и девочки приняли участие в этой какофонии, Захаров выглянул из палатки даже солидные колонисты кричали «ура» и воздевали руки, пацаны носились по лагерю, как бешеные, Колька-доктор высунул наружу покрасневшее лицо:

— Вот... м-мерзавцы! Они не с-с-спали!

Возле «штабной» палатки моментально собралась толпа. А Володька с самым наивным видом ходит по линии и повторяет сигнал побудки. Захаров поправил пенсне:

— Видите, как хорошо! Отдохнули, поспали, теперь со свежими силами можно и за работу.

Колонисты смеялись откровенно, но никто не возразил против того, что действительно поспать после обеда очень полезно.

На другой день мертвый час начался без инцидентов. Только — через десять минут Захаров поймал Ваню Гальченко и Фильку в разгаре самой увлекательной игры: выкатившись из палатки под задним ее полотнищем, они попеременно придавливали друг друга к земле и торжествовали победу. Никаких слов они в это время, конечно, не произносили, потому что был мертвый час, но дыхание их и другие какие-то звуки, не то звуки угрозы, не то выражение торжества, разносились по всему лагерю. Захаров укорительно стоял над ними и смотрел. Филька первый заметил опасность, сделал серьезное лицо и недовольно поднялся с Ваньки. У него

было такое выражение, как будто ни для кого не составляло сомнений, что он ни в чем не виноват, а виноваты какие-то зловредные силы, против которых Филька ничего не мог поделать, хотя отрицал их с самого начала. Ваня испугался без всякого притворства, смотрел Захарову в глаза [redacted] в замешательстве ожидал возмездия. Захаров обратился к Фильке:

— Здорово! Будешь оправдываться, конечно?

Этот прозрачный намек Филька пропустил мимо ушей.

— Почему же ты не споришь? — шепотом продолжал Захаров.

Филька таким же шепотом ответил:

— А чего ж оправдываться, все равно [redacted] буду виноват.

— И я так думаю. Вон там стоит дневальный, ему нельзя воспользоваться мертвым часом. Пойди подежурь за него, а он пусть поспит.

Из-за угла палатки был виден Семен Гайдовский, стоявший с винтовкой под деревянным грибом. Филька посмотрел на Семена [redacted] сказал хмуро:

— Семен тоже спать не хочет.

— Откуда ты знаешь?

— Так никто не хочет.

— Но вы больше всех не хотите, я вижу. Стань на дневальство до конца мертвого часа.

— Так не один же я.

— Хорошо, разделите. Одним словом, снимите Семена с дневальства.

И Филька и Ваня одновременно подняли руки и прошептали: «Есть». Захаров ушел к себе, и снова над лагерем повисла сонная тишина. На этот раз многие колонисты действительно спали — при самом большом упрямстве не так долго можно молча пролежать с открытыми глазами.

Ваня стал на дневальство первым. [redacted] первую минуту ему показалось, что жизнью можно наслаждаться и под деревянным грибом, с винтовкой в руках. Но сонный покой лагеря был такой сочный, так единодушно объединялся с жарким солнцем, что Ване скоро стало скучно. Он поднял винтовку одной рукой и потихоньку побрел по границе лагеря. Посмотрев влево, он вдруг заметил, что из-под тыльной части третьей в ряду палатки торчат чьи-то голые ноги. Ваня остановился [redacted] продолжал смотреть. Ноги лежали неподвижно, можно было подумать, что их обладатель тоже предается мертвому часу, но по неуловимому колебанию белого полотнища палатки можно было догадаться, что человек что-то делает. Через минуту и ноги заерзали по траве и вытащили из-под палатки сначала прикрытый трусиками зад, потом голую спину и, наконец, вылезла рыжая голова. Рыжиков смотрел на Ваню сначала пристально, потом сонно-небрежно, потом совсем забыл о нем и стал смотреть на небо. А [redacted] это время его руки снова протянулись по земле и скрылись в палатке. Ваня подошел к нему с винтовкой.

— Чего ты здесь лежишь? — спросил он глухим шепотом.

— А тебе какое дело? — шепотом ответил и Рыжиков.

— Эта палатка десятой бригады, а почему ты здесь лежишь?

Небрежным движением Рыжиков вытащил руки из-под борта [redacted] потянулся сладко:

— А так... люблю на открытом месте... поспать.

— Иди отсюда,— приказал Ваня.

Рыжиков вдруг по-настоящему проснулся. Ослепшими от сна глазами он осмотрелся:

— Смотри ты, куда закатился! От... смотри ты!

Он нехотя поднялся на ноги и побрел к палатке первой бригады, что-то бормоча и оглядываясь во все стороны. Может быть, он надеялся увидеть те таинственные силы, которые незаметно перенесли его к чужой палатке. Ваня удивленно смотрел ему вслед, а когда он скрылся, Ваня быстро присел, поднял борт палатки и заглянул внутрь. В десятой бригаде все спали. На земле у самого борта лежали чьи-то брюки, а рядом с ними черненький с замочком кошелек.

Ваня опустил борт и озабоченно поспешил к своему посту.

9. СЕРДИТЫЙ ДЕД

В четвертой бригаде все прибавлялось и прибавлялось хлопот и впечатлений, не говоря уже о делах, но души не уставали все переживать и перемалывать. Уставали к вечеру только ноги, Филька, впрочем, уверял: это оттого, что босиком.

Каменщики давно закончили стены и перешли к новым делам: гараж, фундаменты для станков, какая-то сложнейшая сушилка в новой большой литейной. На стенах ходили плотники и кровельщики. Дем бегал по колонии расстроенный, каждому встречному жаловался:

— Дефицитное дело, кругом дефицит: плотники — дефицит, бетонщики — дефицит, чернорабочие — тоже, представьте себе, дефицит!

Даже четвертой бригаде Дем рассказал о всеобщем дефиците и еще прибавил:

— Вы понимаете, товарищи колонисты, до чего разбаловался народ. У нас срочное дело, а они все на Турбинстрой! Обязательно им подавай Турбинстрой, все туда хотят, потому... конечно... там и спецовку дают...

Четвертая бригада не успевала зародить в своих душах сочувствие Дему: Турбинстрой — легко сказать —Турбинстрой! Что-то неопределенно торжественное и величественное возникало при этом слове, и пацаны спрашивали Дема:

— А где это?

Дем шевелил пушистыми усами, и круглые его глазки страдальчески щурились на пацанов:

— Да везде: вот сейчас нужно вагранку...

— Нет, где этот... Турбинстрой?

И только в этот момент Дем соображал, что он напрасно разговаривает с мальчишками. Они способны задавать ему глупые вопросы о Турбинстрое, который для Дема имел только одно значение: он отвлекал рабочую силу. И Дем бежал дальше, а пацаны продолжали жить с еще более ошеломленными душами, ибо к Турбинстрою вдруг прибавилась вагранка. Это слово давно мелькало в мире, самое замечательное и самое металлическое слово, оно даже встречалось в стихотворениях, но его роскошь всегда казалась роскошью недоступной. А теперь Дем произнес его с невыносимой будничной миной, он сказал, что нужно... вагранку!

Каждый день прибывают станки. Их привозит Петро Воробьев на своем грузовике, они запакованы в аккуратные ящики. Соломон Давидович, пребывающий обычно в каком-нибудь дальнем производственном захолустье, одним из последних узнает о прибытии грузовика. Поэтому он, испуганный, выбегает из-за угла здания и на бегу в ужасе воздевает руки и кричит:

— Что вы делаете? Что вы делаете?

Он врывается в толпу вокруг полуторки, и некогда ему поднять руку к старому сердцу, некогда перевести дыхание:

— Немедленно слезьте с грузовика! Это вам не какая-нибудь коза, это вам «Вандерер»!

Четвертая бригада всегда прибегает к станкам первая и всегда отвечает Соломону Давидовичу:

— Мы разгрузим, Соломон Давидович, мы разгрузим!

Соломон Давидович выпячивает гордо нижнюю губу:

— Как вы можете такое говорить? Кто это вам позволит разгружать импортное оборудование? А где это старшие подевались?

Но уже и старшее поколение спешит к полуторке: Нестеренко, Колос, Поршнев, Садовничий. И Соломон Давидович обращается к ним почти как к равным:

— Будьте добры, товарищ Нестеренко, вы же понимаете: это универсально-фрезерный «Вандерер», удалите отсюда этих мальчиков.

Нестеренко делает движение бровями, пацаны слетают с грузовика и терпеливо наблюдают, пока на руках старших огромный ящик с «Вандерером» мягко сползает с платформы. Широкая дверь склада с визгом раскрывается, в руках у старших появляются ломы и катки, теперь для всех найдется дело. Когда пацаны бросаются к лому, Нестеренко досадливо морщится, но потом его досада принимает приемлемые формы:

— Да шо вы там сделаете вашими руками! Животами, животами! Наваливайся животами!

И четвертая бригада в полном составе дрыгает ногами, морщит лбы и носы. Сорокапудовый ящик приподымается ровно на столько, чтобы подложить каток.

Нестеренко смеется:

— Сколько на килограмм идет этого пацанья? Наверное, десяток!

Когда ящик с «Вандерером» скрывается в полутемном складе и кладовщик вкусно гремит засовами и замком, четвертая бригада спешит к новым делам и по дороге спорит:

— Это фрезерный!

— Понимаешь ты, фрезерный! Не фрезерный, а универсально-фрезерный!

— Это по-ученому универсально, а так — просто фрезерный!

— Ох! Сказал! Просто! Есть вертикально-фрезерный, и есть горизонтально-фрезерный, а это универсально!

— Вот смотрите! Какой фрезеровщик! Вертикально! А ты и не понимаешь, как это вертикально!

— Вертикально! А что, нет?

— А как это вертикально? Ну, скажи!

— Вертикально — это значит вот так, видишь?

Грязноватый палец торчит перед носами слушателей, потом он торчит в горизонтальном положении.

— А универсально?

— А универсально — это... как-то еще...

— Вот так?

— И не так вовсе...

— А может, так?

— Что ты, Колька, задаешься? Так, так... Я тебе говорю «универсально», а ты пальцем крутишь. Не веришь, так спроси у Соломона Давидовича.

Однако и Соломону Давидовичу некогда, и четвертой бригаде некогда. Не успели поспорить о «Вандерере», как пришли еще более знаменитые станки: «Цинциннати», «Марат», «Рейнекер», «Людвиг Леве» и маленькие, совсем маленькие токарные, которые Соломон Давидович называл «Лерхе и Шмидт», а четвертая бригада считала, что благозвучнее будет называть «Легкий Шмидт». Каждый станок приносил с собой не только странные имена, но и множество новых спорных положений. Вокруг шлифовальных спор разгорелся на целую неделю, и Зырянский однажды вечером закатил выговор всей бригаде:

— Чего вы спорите? С утра кричите, говорить из-за вас нет никакой возможности!

— А чего он говорит: шлифовальный, чтоб блестело! Разве для этого шлифовальный? Это для того, чтобы точность была, а блестит совсем не от этого.

Прибывали и инженеры. Разобраться в них было труднее, чем в станках. Один Воргунов был ясен. Сразу видно, что он — главный инженер. Он тяжелой, немного угрюмой, немного злой поступью проходит мимо пацанов, и кто его знает, нужно с ним здороваться или не нужно? Ни на кого он не смотрит, никому не улыбается, а если и удается послушать его беседу с кем-нибудь, так она всегда с громом и молнией. Недавно он посреди двора поймал молодого пижонистого инженера Григорьева и кричал:

— К чертовой матери, понимаете? Вы сказали — через три дня будут чертежи? Где чертежи?

Григорьев прижимал руки к груди и пискливым голосом оправдывался:

— Петр Петрович, не пришли еще гильдемейстеры! Не пришли, чем я виноват!

А Воргунов наклоняет тяжелую голову, дышит злобно и хрипит:

— Это невыносимо! На кемзе восемнадцать гильдемейстеров! Сейчас же поезжайте и снимите габариты. Чтоб фундаменты были готовы через неделю!

— Петр Петрович!

— Через неделю, слышите?

Последние слова Воргунов произносил таким сердитым рывком, что не только Григорьев пугался, но и пацанам становилось страшно. Они смотрели на Воргунова сложным взглядом, составленным из опасения и неприязни, а он оглядывался на них как на досадные мелочи, попадающиеся под ноги. Витя Торский рассказывал, что в кабинете Захарова по

вечерам часто происходили стычки между Воргуновым и другими. В этих стычках участвовал Соломон Давидович, для которого нашествие инженеров казалось затеей слишком дорогой, и он не всегда мог удержаться от укорительных вздохов:

— Каждую копеечку, каждую копеечку с каким потом, с каким трудом зарабатывали! А теперь приехали на готовое — и пожалуйста: пуффф! пуффф — конструкторское бюро, кондуктора, измерительные приборы, лаборатория, инженеры! Сколько инженеров! Ужас!

Воргунов выслушивал эти слова с миной ленивого презрения и отвечал вполголоса:

— Обыкновенная провинциальная философия! Копить деньги по копеечке — это мы мастера. И, наверное, вы их в чулок прятали, Соломон Давидович?

— Вы получаете наши деньги из Государственного банка, так почему вы говорите про чулок?

— Отстаньте, прошу вас, с вашими деньгами. Я строю завод не для вас, а для государсва.

— Государство — само собой, а колонисты — само собой. Вы строите завод для колонист в, к вашему сведению. И если вам не угодно их замечать ...

— Эх, да ну вас, тут с фундаментами несчастье! Да! Иван Семенович! Где вы этого идиота нашли, черный такой? Вы ему поручили наметить сталь?

Молодой инженер Иван Семенович Комаров поднял к Воргунову встревоженное лицо:

— Да, наметить серой и желтой краской!

— Ну, так он ее выкрасил с одного конца до другого!

Комаров побледнел, вскрикнул что-то и выбежал из кабинета. Воргунов усталыми глазами зарылся в широкой записной книжке, вдруг нахмурился, что-то прошептал свирепо и вышел вслед за Комаровым.

— Какой сердитый дед! — сказал Торский.

Захаров ответил, не прекращая своей работы:

— Он не сердитый, Витя, он страстный!

— К чему у него страсть?

— У него страсть... к идее!

10. ЗДОРОВО КРИЧИТ

«Боевые сводки» по-прежнему выходили ежедневно, и ежедневно Игорь Чернявин находил новые краски, чтобы изобразить в словах боевые подвиги колонистского народа. С тех дней, когда приняли его в комсомол, в «боевых сводках» стали встречаться и такие строки:

> «Наш краснознаменный правый фланг в борьбе за индустриализацию страны и за усиление нашей обороноспособности сегодня нанес новый удар отступающему противнику...»
>
> «Товарищи колонисты! Наши победы на фронте все закрепляются и закрепляются. Сегодня прибыли в колонию токарные «Красные

пролетарии», целых шесть штук. Наши старшие товарищи сделали эти станки, чтобы помочь нам окончательно разбить нашу техническую отсталость!»

«Товарищи бойцы! Видели вчера «Самсон Веркс» — шлифовальные с магнитным столом? В нашей стране еще не умеют делать таких станков, но завтра будут уметь! Догнать и перегнать! Электроинструмент тоже сейчас не делают в Союзе, но завтра будут делать в нашей колонии. Наш враг — наша техническая отсталость — сегодня отступил под напором наших сил на линию 12 августа. Еще одно, два усилия, и мы сделаем смертельный прорыв в рядах противника — мы подорвем его капиталистическое производство, освобождая нашу страну от импорта электроинструмента!»

«Колонисты, читайте газеты! Вы узнаете, какие победы совершаются рабочим классом нашей страны. Наш фронт — только маленький участочек социалистического фронта, но и на маленьком участке очень важно продвигаться вперед. Сегодня левый фланг — столяры — продвинулся вперед на целых 28 дней. Да здравствуют столяры, славные бойцы социалистического наступления!»

Хотя «боевая сводка» выпускалась от имени штаба соревнования, но все колонисты хорошо знали, что душой этого штаба был Игорь Чернявин. И колонисты были очень довольны его работой. Они встречали Игоря улыбкой и говорили: «Здорово!»

Иногда рядом со «сводками» Игорь вывешивал дополнительный лист, на котором были и портреты, и чертежи, и рисунки, и карикатуры. В комсомольском бюро косо посмотрели на это дело:

— Этот материал нужно в стенгазету давать, а не в сводку, а то стенгазета дохнет, а ты все в свою сводку. Нельзя же смотреть только со своей колокольни!

Игорь подчинился, но иногда трудно было удержаться. В девятой бригаде Жан Гриф и Петров 2-й, а в седьмой бригаде Круксов, и раньше страдали некоторым зазнайством, а теперь они объединились в маленькую оппозицию. Круксов был главой, поэтому колонисты все это движение прозвали круксизмом. Круксисты, правда, вполне исправно и добросовестно работали на своих местах, но в вечерних разговорах распространяли такое мнение: завод электроинструмента напрасно затеяли, такие заводы должен строить Наркомтяжпром, а у колонистов другие есть дела: у Петрова 2-го — кино, у Жана Грифа — музыка, а у Круксова — физкультура. Игорь Чернявин целую ночь просидел с Маленьким, а наутро «сводка» появилась в прекрасной рамке.

О круксистах в этом листке ничего не было сказано, но была очень хорошо нарисована заставка, было изображено: стоит чудесный город с башнями, у стен города идет жестокий бой: под красным знаменем идут ряды за рядами и скрываются в дыму взрывов, в свалке штыковой атаки. Нетрудно узнать в этих рядах под красным флагом ряды колонистов, у них белые воротнички и вензеля на рукавах. А сзади, между идиллическими кустиками, стоит обоз. На подводах сидят люди. Один держит в руках киноаппарат, другой — большую трубу, третий — футбольный мяч. Лица

этих людей выписаны чрезвычайно добросовестно, нетрудно узнать и Петрова 2-го, и Жана Грифа, и Круксова.

Конечно, возле листа целый день стояла и хохотала толпа, раздавались более или менее остроумные замечания, вносились дополнительные предложения. На общем собрании вся тройка круксистов заявила решительный протест. Круксов говорил:

— С какой стати Чернявин, как ему захочется, так и пишет? Когда я был в обозе? У меня перевыполнение плана по станку на тридцать процентов, а если иногда скажешь что-нибудь такое, так это слова.

— Тебе за слова и попало,— ответил на это Торский,— а за что ж тебе попало?

— За слова, конечно,— сказал Круксов,— и только нельзя ж так...

Круксов полагал, что ему попало слишком сильно. Но на самом собрании ему и другим попало еще сильнее. Зырянский дорвался по-настоящему:

— За такие слова нужно с работы снимать. Вам не нужен завод? Не нужен? А вы посчитайте, раззявы, сколько у рабочего класса до революции было кинотеатров, а сколько своих оркестров, а сколько физкультуры. Посчитайте, олухи! Вам дали в руки такое добро, а вы не понимаете, кто это вам дал. А если у нас не будет заводов, таких заводов — во каких заводов, так от вашей музыки и физкультуры рожки одни останутся. Я предлагаю — снять с завода, направить на черную работу, пусть попробуют!

Петров 2-й испугался больше всех:

— Товарищи, товарищи! Разве я что-нибудь говорил против завода? Вот увидите, как я буду работать! Вот увидите!

И Круксов каялся и просил все слова ему простить, и еще просил, чтобы перестали колонисты говорить «круксизм», разве можно так оскорблять?

После этого случая авторитет Игоря Чернявина сильно укрепился среди колонистов, да и сам Игорь только теперь понял, какое важное дело он совершает, выпуская свои «боевые сводки».

Производство Соломона Давидовича доживало последние дни. «Стадион» торчал на земле, черный от перенесенной зимы, и во время большого ветра его стены шатались. В механическом цехе беззастенчиво перестали говорить о капитальных и других ремонтах. Трансмиссии стали похожи на свалку железного лома, были перевязаны ржавыми хомутами, и кое-где даже веревками. Токарные «козы» на глазах рассыпались, суппорты перекашивались, патроны вихляли и били. Но колонисты уже не приставали к Соломону Давидовичу ни с какими жалобами. Молча или со смехом кое-как связывали разлагающееся тело станка и снова пускали его в ход. К этому времени руки токарей сделались руками фокусников: даже Волончук, искушенный в разных производственных тонкостях и отвыкший вообще удивляться, и тот иногда, пораженный, столбенел перед каким-нибудь Петькой. В течение четырех часов Петька стоял перед станком, как некоторая туманность, настолько быстро мелькали его руки и ноги, настолько весь его организм вибрировал и колебался в работе. И Волончук говорил, отходя:

— Черт его знает... Шустрые пацаны!

Крейцер однажды приехал в колонию и зашел в механический цех. Он остановился в дверях, широко открыл глаза, потом открыл еще шире, вытянул губы и, наконец, произнес как будто про себя:

— Подлый народ! До чего дошли!

На него оглянулись несколько лиц, сверкнули мгновенными улыбками. Крейцер прошел дальше, поднял голову. Над ним вращалась, вздрагивая, трансмиссия, заплатанные, тысячу раз сшитые ремни хлопали и скрежетали на ней, потолок дрожал вместе со всей этой системой, и с потолка сыпались последние остатки штукатурки. Крейцер показал пальцем и спросил:

— А она не свалится нам на голову?

Он остановил встревоженно-удивленные глаза на Ване Гальченко. Ваня выбросил готовую масленку, вставил новую, дернул приводную палку, между делом повертел головой,— значит, нет, не свалится. Крейцер беспомощно оглянулся. К нему не спеша подходил Волончук.

— Не свалится эта штука?

Волончук не любил давать ответы необоснованные. Он тоже поднял голову и засмотрелся на трансмиссию. Смотрел, смотрел, даже чуть-чуть сбоку заглянул, скривил губы, прищурил глаза и только после этого сказал:

— По прошествии времени свалится. А сейчас ничего... может работать.

— А потолок?

— Потолок? — Волончук и на потолок направил свое неспешное исследовательское око: — Потолок слабый, конечно, а только не видно, чтоб свалился. Это редко бывает, потолок все-таки... он может держать, если, конечно, балки в исправности.

— А вы балки давно смотрели?

— Балки? Нет. Я по механической части.

Крейцер влепился в Волончука влюбленным взглядом, растянул рот:

— Ну?

Пришел Соломон Давидович и объяснил Крейцеру, что можно построить еще десять новых заводов, пока наступит катастрофа, что если даже она наступит, то балка не прямо свалится на голову работающих, а сначала прогнется и даст трещину. Крейцер ничего не сказал и направился в сборочный цех. Здесь не было никакого потолка — работали во дворе. Игорь Чернявин сейчас уже не зачищает проножки, а собирает «козелки» чертежных столов — работа самая трудная и ответственная. Светлые прямые волосы у него растрепались, щека вымазана, но рот по-прежнему выглядит иронически. Цепким движением он берет в руки нужную деталь, быстро бросает на нее критический взгляд, двумя ловкими мазками накладывает клей, моргнул, и уже в его руках не помазок, а деревянный молоточек, а тем временем шип одной части вошел в паз другой, неожиданный сильный удар молотком, и снова в руках деталь, и опять молоток замахивается с угрозой. Руки Игоря ходят точным, уверенным маршем, взгляды еле-еле прикасаются к дубовым заготовкам, но вдруг деталь летит в кучу брака, и Игорь, продолжая работу, кричит Штевелю:

— Синьор! Опять шипорезный половину шипа вырывает! Сегодня две дюжины поперечных планок выбросил. Какого они ангела там зевают?

9 5 1102

Игорь замечает Крейцера и салютует. Крейцер отвечает спокойным движением и спрашивает.

— Как поживает левый фланг?

— Металлистов обогнали, Михаил Осипович!

— Все-таки до конца года не выдержите.

— Мы выдержим! Стадион не выдержит. И металлистам плохо. Они не выдержат. Надо скорее новый завод.

— Скорее! А триста тысяч!

— Мы сейчас на линии девятнадцатого августа. Через три месяца выполним годовой план. А по плану у нас четыреста тысяч прибыли, да еще экономия есть.

Крейцер смотрит на Игоря, как на равного себе делового человека, думает, потом грустно оглядывается, произносит с явным вздохом:

— Три месяца... Боюсь... Не протянете.

— У нас кишки хватит, а у станков не хватит...

— То-то... кишки....

А у четвертой бригады было еще одно дело.

Ваня в тот же вечер рассказал о странном мертвом часе у Рыжикова. Четвертая бригада выслушала его сообщение с остановившимся дыханием. Зырянский хмурил брови и все дергал себя за ухо. В тот вечер постановили шума не подымать, а продолжать наблюдение. Только Володя Бегунок требовал немедленных действий. Он оборачивался загоревшим лицом к членам четвертой бригады.

— Уже наблюдали-наблюдали, и пьяным видели, и коробку папиросную показывали, и сейчас поймали, а теперь опять наблюдать. А он все будет красть и красть. А я говорю: давайте завтра на общем собрании скажем...

— Ну и что? — спрашивал Филька.

— Как что?

— А он скажет: заснул прямо на свежем воздухе, и всё.

— А почему рука была под палаткой?!

— А чем ты докажешь? А он скажет: мало где рука бывает, если человек спит.

— А голова?

— А чем ты докажешь?

— А Ванька видел.

— Ничего Ванька не видел. Ноги отдельно видел, голову отдельно, и кошелек отдельно.

— А тебе нужно все вместе обязательно?

— А конечно! А как же? Надо, чтобы кошелек был вместе, в руках чтобы был.

Зырянский сказал:

— Вы, пацаны, не горячитесь. Так тоже нельзя — бац, на общем собрании: Рыжиков — вор! Мало ли что могло померещиться Ванюшке? А может, он совсем не вор. Хоть раз поймали его? Не поймали. Вот Рыжиков, так он действительно поймал тогда Подвесько, это и я понимаю. Поймал и привел на общее собрание со всеми доказательствами. А вы с чем придете? Скажете, коробку нашли папиросную? А над вами посмеются, скажут, охота вам по сорным кучам лазить и коробки разные собирать. А те-

перь Ваня увидел — спит Рыжиков, и в палатке кошелек лежит. Мало ли что лежит в палатке, так это значит, если кто проходит мимо палатки, значит вор? Да?

Трудно было возражать против этого, и Бегунок уступил.

Но в колонии снова покатилась волна краж, мелких, правда, но достаточно неприятных: то кошелек, то ножик, то новые брюки, то фотоаппарат, то еще что. Все это исчезало тихо, бесшумно, без каких бы то ни было намеков на следы. Вечером дежурный бригадир докладывал Захарову о пропаже, Захаров, не изменяясь в лице, отвечал «есть» и даже не расспрашивал об обстоятельствах дел. И бригадиры расходились без слов, и в спальнях колонисты старались не говорить о кражах. Но и в спальнях и среди прочих забот не забывали колонисты о несчастье в колонии: все чаще и чаще можно было видеть остановившийся, чуть прищуренный взгляд, осторожный поворот головы к товарищу. И Захаров стал шутить реже.

В июне начали пропадать инструменты: дорогие резцы из «победита», штангенциркули, десятки масленок,— масленки медные. Соломон Давидович без всяких предупреждений попросил слова и сказал на общем собрании:

— Я по одному маленькому делу. Удивляет меня, старика: вы такие хорошие работники и советские люди, вы на собраниях говорите о каждой пустяковинке. Интересуюсь очень, почему вы ничего не говорите о кражах? Как же это можно: боевое наступление на фронте, правый фланг теснит противника, строим новый завод, дорогие товарищи, и... вы только представьте себе, на своем заводе крадем инструменты! Вы сколько говорили о плохих резцах, а теперь у нас хорошие резцы, так их крадут. Вот товарищ Зорин сказал: плохие станки — это враги. Допустим, что враги. А тот, кто крадет инструменты, так это кто? Почему вы об этих врагах не говорите?

Соломон Давидович, протягивая руки, оглядел собрание грустными глазами:

— Может быть, вы не знаете, что значит достать «победитовые» резцы?

— Знаем,— ответил кто-то один.

Остальные смотрели по направлению к Соломону Давидовичу, но смотрели на его ботинки, стариковские, истоптанные, покрытые пылью всех цехов и всех дорожек между цехами.

Соломон Давидович замолчал, еще посмотрел удивленными глазами на собрание, пожал плечами, опустился на стул. Что-то хотел сказать Захарову, но Захаров завертел головой, глядя в землю: не хочу слушать! Витя Торский тоже опустил глаза и спросил негромко:

— Товарищи, кто по этому вопросу?

Даже взглядом никто не ответил председателю, кое-кто перешептывался с соседом, девочки притихли в тесной куче и молчали, и краснели; Клава Каширина гневно подняла лицо к подруге, чтобы подруга не мешала ей слушать. Торский похлопывал по руке рапортами и ожидал. И в этот момент, когда его ожидание становилось уже тяжелым и неприличным, Игорь Чернявин быстро поднялся с места:

— Соломон Давидович совершенно правильно сказал! Почему мы молчим?

9*

— Ты про себя скажи, почему ты молчишь?

— Я не молчу.

— Вот и хорошо,— сказал Торский.— Говори, Чернявин.

— Я не знаю, кто вор, но я прошу Рыжикова дать объяснения.

— В чем ты обвиняешь Рыжикова?

Игорь сделал шаг вперед, на одну секунду смутился, но с силой размахнулся кулаком:

— Все равно! Я уверен, что я прав: я обвиняю его в кражах!

Как сидели колонисты, так и остались сидеть, никто не повернул головы к Чернявину, никто не вскрикнул, не обрадовался. В полной тишине Торский спросил:

— Какие у тебя доказательства?

— Есть доказательства у четвертой бригады. Почему молчит четвертая бригада, если она знает?

Четвертая бригада, восседающая, как всегда, у бюста Сталина, взволнованно зашумела. Володя Бегунок поднял трубу:

— Вот я скажу...

— Говори!

Теперь и во всем собрании произошло движение: четвертая бригада — это не один Чернявин, четвертая бригада, наверное, кое-что знает. Володя встал, но Зырянский раньше его сказал свое слово:

— Торский! Здесь есть бригадир четвертой бригады!

— Извиняюсь... Слово Зырянскому! — И Зырянский стал против Игоря, затруднился первым словом, но потом сказал твердо:

— Товарищ Чернявин ошибается: четвертая бригада ничего не знает и ни в чем Рыжикова не обвиняет!

Игорь побледнел, растерялся, но вдруг вспомнил и нашел в себе силы для насмешливого тона:

— Алексей, кажется, Володя Бегунок иначе думает.

— Володя Бегунок тоже ничего не знает и ничего иначе не думает.

— Однако... пусть он сам скажет.

Зырянский пренебрежительно махнул рукой:

— Пожалуйста, спросите.

Володя снова встал, но был так смущен, что не знал, положить ли свою трубу на ступеньку или держать ее в руке. Он что-то шептал и рассматривал пол вокруг себя...

— Говори, Бегунок,— ободрил его Торский,— что ты знаешь?

— Я... Уже... вот... Алеша сказал.

— Значит, ты ничего не знаешь?

— Ничего не знаю,— прошептал Бегунок.

— О чем же ты хотел говорить!

— Я хотел говорить... что я ничего не знаю.

Торский внимательно посмотрел на Володю, внимательно смотрели на него и остальные колонисты. Торский сказал:

— Садись.

Володя опустился на ступеньку и продолжал сгорать от стыда: такого позора он не переживал с самого первого своего дня в колонии.

Игорь продолжал еще стоять у своего места.

— Больше ничего не скажешь, Чернявин? Можешь сесть...

Игорь мельком поймал горячий, встревоженный взгляд Оксаны, сжал губы, дернул плечом:

— Все равно я утверждаю, что Рыжиков в колонии крадет! И всегда буду это говорить! А доказательства я .. потом представлю!

Игорь сел на свое место, уши у него пламенели. Торский сделался серьезным, но недаром он второй год был председателем на общем собрании:

— Такие обвинения мы не можем принимать без доказательства. Ты, Рыжиков, должен считать, что тебя никто ни в чем не обвиняет. А что касается поведения Чернявина, то об этом поговорим в комсомольском бюро. Объявляю общее...

— Дай слово!

Вот теперь собрание взволнованно обернулось в одну сторону. Просил слова Рыжиков. Он стоял прямой и спокойный, и его сильно украшала явно проступающая колонистская выправка. Медленным движением он отбросил назад новую свою прическу — и начал сдержанно:

— Чернявин подозревает меня потому, что знает мои старые дела. А только он ошибается: я в колонии ничего не взял и никогда не возьму. И никаких доказательств у него нет. А если вы хотите знать, кто крадет, так посмотрите в ящике у Левитина. Сегодня у Волончука пропало два французских ключа. Я проходил через механический цех и видел, как Левитин их прятал. Вот и все.

Рыжиков спокойно опустился на диван, но этот момент был началом взрыва. Собрание затянулось надолго. Ключи были принесены, они, действительно, лежали в запертом ящике Левитина, и это были те ключи, которые пропали сегодня у Волончука. Левитин дрожал на середине, плакал горько, клялся, что ключей он не брал. Он так страдал и так убивался, что Захаров потребовал прекратить расспросы и отправил Левитина к Кольке-доктору. Он и ушел в сопровождении маленькой Лены Ивановой — ДЧСК, пронес свое громкое горе по коридору и мимо дневального и по дорожкам цветников.

— Здорово кричит,— сказал на собрании Данило Горовой,— а только напрасно старается.

Данило Горовой так редко высказывался и был такой молчаливый человек, что в колонии склонны были считать его природным голосом эсный бас, на котором он играл в оркестре. И поэтому сейчас короткое слово Горового показалось всем выражением общего мнения. Все улыбнулись. Может быть, стало легче оттого, что хоть один воришка обнаружен в колонии, а может быть, и оттого, что воришка так глубоко страдает: все-таки другим воришкам пример, пусть видят, как дорого человек платит за преступление. И, наконец, можно было улыбаться и еще по одной причине: кто его знает, что там было у Рыжикова в прошлом, но сейчас Рыжиков очень благородно и очень красиво поступил. Он не воспользовался случаем отыграться на ошибке Чернявина, он ответил коротко и с уважением к товарищу. И только он один уже второй раз вскрывает действительные гнойники в коллективе, делает это просто, без фасона, как настоящий товарищ.

Собрание затянулось не для того, чтобы придумывать наказание Левитину. Марк Грингауз в своем слове дал прениям более глубокое направление. Он спросил:

Надо выяснить во что бы то ни стало, почему такие, как Левитин, которые давно живут в колонии и никогда не крали, вдруг на́ тебе: начинают красть? Значит, в нашем коллективе что-то не так организовано? Почему этот самый Левитин украл два французских ключа? Что он будет делать с двумя французскими ключами? Он их будет продавать? Что он может получить за два французских ключа и где он будет их продавать? А скорее всего, тут дело не только в этих двух ключах. Пускай Воленко скажет, он бригадир одной из лучших бригад, в которой столько комсомольцев, пускай скажет: почему так запустили Левитина? Выходит, Левитин не воспитывается у нас, а портится. Пускай Воленко ответит на все эти вопросы.

Воленко встал опечаленный. Он не мог радоваться тому, что Рыжиков невинен. Левитин тоже в первой бригаде. И Воленко стоял с грустным лицом, которое казалось еще более грустным оттого, что это было красивое строгое лицо, которое всем нравилось в колонии. Он был так печален, что больно было смотреть на него, и пацаны четвертой бригады смотрели, страдальчески приподняв щеки.

— Ничего не могу понять, товарищи колонисты. Бригада у нас хорошая, лучшие комсомольцы в бригаде. Кто же у нас плохой? Ножик раньше все шутил, теперь Ножик правильный товарищ, и мы его ни в чем, ни в одном слове, не можем обвинить. Левитин? После того случая, помните, нельзя узнать Левитина. Учебный год Левитин закончил на круглых пятерках, читает много, серьезным стал, аккуратным, в машинном цеху — пускай Горохов скажет — на ленточной пиле никто его заменить не может. Я не понимаю, не могу понять: почему Левитин начал заниматься кражами? Левитин, скажи спокойно, не волнуйся: что с тобой происходит?

Левитин уже возвратился от доктора и стоял у дверей, направив остановившийся взгляд на блестящую паркетную середину. Он не ответил Воленко и все продолжал смотреть в одну точку. Глаза четвертой бригады были переведены с Воленко на Левитина: да, тяжелые события происходят в первой бригаде!

Торский подождал ответа и сказал негромко:

— Ты, Левитин, действительно, не волнуйся. Говори оттуда, где стоишь.

Левитин вяло приподнял лицо, посмотрел на председателя сквозь набегающие слезы, губы его зашевелились:

— Я не брал... этих ключей. И ничего не брал.

Колонисты смотрели на Левитина, а он стоял у дверей и крепко думал о чем-то, снова вперив неподвижный взгляд влажных глаз в пустое пространство паркета. Может быть, вспомнил сейчас Левитин недавний день, когда в «боевой сводке» написано было: «...на нашем левом фланге воспитанник Левитин на ленточной пиле выполнил сегодня свой станковый план на 200 процентов...»

Колонисты смотрели на Левитина с недоуменным осуждением: не жалко ключей,— не пожалел человек самого себя! Игорь Чернявин крепко сдвинул брови, сдвинула брови и четвертая бригада. Воленко, опершись локтем на колено, пощипывал губу, Захаров опустил глаза на обложку книги, которую держал в руке. На Захарова бросали колонисты выжидательные взгляды, но так ничего и не дождались.

Когда колонисты разошлись спать, Захаров сидел у себя и думал, подперев голову рукой. Володя Бегунок проиграл сигнал «спать», просунул голову в дверь и сказал печально:

— Спокойной ночи, Алексей Степанович.

— Подожди, Володя... Знаешь что? Позови ко мне сейчас Левитина, но... понимаешь, так позови, чтобы никто не знал, что он идет ко мне.

И сейчас Володя не мотнул небрежно рукой, как это он всегда делал, а вытянулся, салютнул точно, как будто в строю:

— Есть, чтобы никто не знал!

Левитин пришел с красными глазами, покорно остановился перед столом. Володя спросил:

— Мне уйти?

— Нет... Я прошу тебя остаться, Володя.

Володя плотно закрыл дверь и сел на диване. Захаров улыбнулся Левитину:

— Слушай, Всеволод! Ключей ты не брал и вообще никогда ничего и нигде не украл. Это я хорошо знаю. Я тебя очень уважаю, очень уважаю, и у меня к тебе просьба. Я хочу, чтобы ты был сильным человеком Я тебя прошу: не падай духом. Тебя обвинили, это очень печально, но вот увидишь, это потом откроется, а сейчас, что ж... потерпим. Это даже к лучшему, понимаешь?

У Левитина в глазах сверкнуло что-то похожее на радость, но он так настрадался за сегодняшний вечер, что слезы не держались в его глазах Они покатились тихонько, глаза смотрели на Захарова с благодарной надеждой:

— Понимаю, Алексей Степанович! Спасибо вам... только... все меня вором будут считать...

— Вот и пускай считают! Пускай считают! И ты никому не говори, ни одному человеку не говори, о чем я тебе сказал. Полный секрет. Я знаю, ты знаешь и Володька. Володька, если ты кому-нибудь ляпнешь, я из тебя котлет наделаю!

На эту угрозу Володя ответил только блеском зубов. Левитин вытер слезы, улыбнулся, салютнул и ушел. Володя собрался еще раз сказать: «Спокойной ночи!» — но неслышно открылась дверь, и взлохмаченная голова Руслана Горохова прохрипела:

— Алексей Степанович, можно?

— Заходи.

Руслан в ночной рубашке и сразу размахнулся кулаком. Кажется, он хотел что-то сказать при этом движении, но ничего не сказал, кулак даром прошелся по воздуху. Он снова взмахнул, и опять ничего не вышло. Тогда он обратил прыщеватое суровое лицо к дивану:

— Пусть Володька смоется.

— Ничего .. Володька свой человек.

И теперь поднятый кулак уже не напрасно прошелся сверху вниз:

— Вы понимаете, Алексей Степанович? Это... липа!

Володька громко захохотал на диване. Захаров откинулся назад, тоже смеялся, глядя на удивленного Руслана, потом протянул ему руку:

— Руку, товарищ!

Руслан схватил захаровскую руку шершавыми лапищами и широко оскалил зубы. Захаров поднял палец другой руки:

— Только, Руслан, молчок!

— Понимаю: молчать!

— Секрет!

— Секрет!

— Никому!

— А .. Володька? Он... такой народ...

— Володька? Ты его еще не знаешь. Володька — это могила!

Могила на диване задрала от восторга ноги. Руслан еще раз взмахнул кулаком и сказал:

— Спокойной ночи, Алексей Степанович! Липа, понимаете, липа!

11. РАЗГРОМ

Приняв дежурство по колонии в десять часов вечера, бригадир первой, Воленко, сменил часовых в лагере и в вестибюле, проверил сторожей на производственном дворе и у кладовых, прошел по палаткам для порядка и еще раз заглянул в главное здание, чтобы просмотреть меню на завтрашний день. В вестибюле он мельком глянул на стенные круглые часы и удивился. Они показывали пять минут одиннадцатого.

— В чем дело? — спросил он дневального.

— Остановились. Уже приходил Петров 2-й и лазил туда, сказал — завтра утром исправит.

— А почему не сегодня?

— Он взял запаять что-то...

— А как же завтра с подъемом?

— Не знаю.

Воленко задумался, потом отправился в палатку к Захарову.

— Алексей Степанович, у нас беда — часы испортились.

— Возьми мои.

Захаров протянул карманные часы.

— Ой, серебряные!

— Подумаешь, драгоценность какая — серебро!

— А как же: серебро! Спасибо!

Утро встретило колонистов на удивление свежим солнечным сиянием. Колонисты щурились на солнце и нарочно дышали широко открытыми ртами, а потом все разъяснилось: часы испортились, и Воленко наудачу поднял колонию на полчаса раньше. Воленко был очень расстроен, на поверке приветствовал бригады с каким-то даже усилием, Нестеренко ему сказал:

— Ну, что такое: на полчаса раньше. Это для здоровья совсем не вредно.

Но Воленко не улыбнулся на шутку. После сигнала на завтрак, когда колонисты, оживленные и задорные, пробегали в столовую, он стоял на крыльце и кого-то поджидал, рассматривая входящих рассеяным взглядом. Зырянский пришел из лагеря одним из последних. Воленко кивнул в сторону:

— Алеша, на минутку.

Они отошли в цветник.

— Что такое?

— Часы .. пропали .. Алексея, серебряные.

— У Алексея?

— Он мне на ночь дал... наши стали.

— Украдены? Ну?!

— Нет нигде.

— Из кармана?

— Под подушкой были...

— Ах ты... все в столовой? Сейчас же обыск! Идем!

В кабинете Воленко подошел к столу. Зырянский остался у дверей.

— Алексей Степанович! У меня взяли ваши часы.

— Кто взял? Зачем?

Воленко с трудом выдавил из себя отвратительное слово:

— Украли.

Захаров нахмурил брови, помолчал, сел боком:

— Пошутил кто-нибудь?

— Да нет, какие шутки? Надо обыскать.

В кабинет вошли Зорин и Рыжиков. Рыжиков с разгону начал весело:

— Алексей Степанович, Зорин партию столов в город... Я обратно привезу медь.

Зырянский с досадой остановил его:

— Да брось ты с медью! Никто никуда не поедет.

— Почему?

Захаров встал за столом:

— Часы того не стоят. Нельзя обыск. Кого обыскивать?

Воленко ответил:

— Всех!

— Чепуха. Этого нельзя делать.

— Надо! Алексей Степанович!

Рыжиков испуганно оглянулся:

— А что? Опять кража?

— У меня... часы Алексея Степановича...

Захаров повернулся к окну, задумчиво посмотрел на цветники:

— Если украдены, никто в кармане держать не будет. Зачем всех обижать?

Зорин шагнул вперед, гневно ударил взглядом в заведующего:

— Ничего! Все перевернуть нужно! Всю колонию! Надоело!

— Обыскивать глупо. Бросьте!

Рыжиков закричал, встряхивая лохмами:

— Как это глупо? А часы?

— Часы пустяшные... Пропали, что ж...

Рыжиков с гневом оглянулся на товарищей:

— Как это так глупо? Как это так пропали? Э, нет, значит, он себе бери и продавай, а потом опять будут говорить, что Рыжиков взял, чуть что сейчас же Рыжиков? До каких пор я буду терпеть?

Зырянский неслышно открыл дверь кабинета и вышел. Часовым сегодня стоял Игорь Чернявин. Зырянский приказал:

— Чернявин, стань на дверях столовой, никого не выпускать!

— Почему?

— Это другое дело — почему. Я тебе говорю.

— Ты не дежурный.

— Э, черт!

Он быстро направился к кабинету, ему навстречу вышел Воленко.

— Прикажи ему стать здесь!

— Я не хочу дежурить!

— Не валяй дурака!

— Я не буду дежурить!

— Идем к Алексею!

Воленко снова остановился перед столом Захарова, над белым воротником парадного костюма его побледневшее лицо казалось сейчас синеватым, волосы были в беспорядке, строгие, тонкие губы шевелились без слов. Наконец он произнес глухо:

— Кому сдать дежурство, Алексей Степанович?

— Слушай, Воленко...

— Не могу! Алексей Степанович, не могу!

Захаров присмотрелся к нему, потер рукой колено:

— Хорошо! Сдай Зырянскому!

Воленко отстегнул повязку, и, против всяких правил и обычаев колонии, она закраснела на грязном рукаве Алешиной спецовки. Но, по обычаю, Захаров поднялся за столом и поправил пояс. Воленко вытянулся перед заведующим и поднял руку:

— Первой бригады дежурный бригадир Воленко дежурство по колонии сдал!

Зырянский с таким же строгим салютом:

— Четвертой бригады дежурный бригадир Зырянский дежурство по колонии принял!

Но как только Захаров сказал «есть», Зырянский опрометью бросился из кабинета. Теперь уже с полной властью он еще издали закричал дневальному:

— Дневальный! Стань на дверях, никого из столовой!

Чернявин увидел повязку на рукаве Зырянского:

— Есть, товарищ дежурный бригадир!

На быстром бегу Зырянский круто повернул обратно.

— Алексей Степанович, я приступаю к обыску.

— Я не позволяю.

— Ваши часы? Потому? Да? Я приступаю к обыску.

— Алеша!

— Все равно я отвечаю.

Захаров поднял кулак над столом:

— Что это такое? Товарищ Зырянский!

Но Зырянский закричал с полным правом на гнев и ответственность:

— Товарищ заведующий! Нельзя иначе! Ведь на Воленко скажут!

Захаров опешил, посмотрел на Воленко, сидящего в углу дивана, и махнул рукой:

— Хорошо!

В двери столовой уже билась толпа. Нестеренко стоял против Чернявина и свирепо спрашивал:

— Черт знает что! Почему, отвечай! Кто нас арестовал?

— Не знаю, дежурный бригадир приказал.

— Воленко?

— Не Воленко, Зырянский.

— А где Воленко?

— Не знаю.

— Арестован?

— Не знаю. Кажется, отказался дежурить.

На Зырянского набросились с подобными же вопросами, но Зырянский был не такой человек, чтобы заниматься разговорами. Он вошел в столовую, как настоящий диктатор сегодняшнего дня, поднял руку:

— Колонисты! К порядку!

И в полной тишине он объяснил:

— Товарищи! У Воленко ночью украдены серебряные часы Алексея Степановича. Бегунок!

— Есть!

— Передать в цеха: начало работы откладывается на два часа.

— Есть!

В подавленном, молчаливом отчаянии колонисты смотрели на дежурного бригадира.

Зырянский стал на стул. Было видно по его лицу, что только повязка дежурного спасает Зырянского от безудержного ругательного крика, от ярости и злобы.

— Надо повальный обыск! Ваше согласие! Голосую...

— Какие там голосования!

— О чем спрашивать!

— Скорее!

— Давай! Давай!

— Замолчать! — закричал Зырянский.

— Бригадиры! Сюда! Четвертая бригада, обыскать бригадиров! Остальные, отступить!

Хоть и все согласились на обыск, а краснели и бригадиры, и члены четвертой бригады, когда на глазах у всей колонии зашарили пацаньи руки в карманах, за поясами, в снятых ботинках. Но молча хмурились колонисты, молча подставляли бока; нужно отвечать всем за того, кто, еще не открытый, притаившийся здесь же в столовой, возмущающийся вместе со всеми,— с какой-то черной целью — неужели из-за денег? — регулярно сбрасывал на голову колонии имени Первого Мая целые обвалы горя.

Два часа продолжался позор. Зырянский со свирепой энергией разгромил спальни, кладовые, классы, библиотеку, заглянул во все щели в зданиях и во дворе. В десять часов утра он остановился перед Захаровым, уставший от гнева и работы:

— Нигде нет. Надо в квартирах сотрудников!

— Нельзя!

— Надо!

— Не имеем права, понимаешь ты? Права не имеем!

— А кто имеет право?

— Прокурор. Да все равно, часы уже далеко.

Зырянский закусил губу, но не знал, что дальше делать.

Вечером над разгромленной колонией стояли раздумье ■ тишина. Говорить было не о чем, да, пожалуй, и не с кем. С кем могла говорить колония имени Первого Мая? Ведь в самом теле колонии сидело ненавистное существо предателя.

Колонисты встречались друг с другом, смотрели в глаза, грустно отворачивались. Редко-редко где возникал короткий разговор и терялся в пустоте.

Рыжиков сказал Ножику:

— Это из нашей бригады.

— Из нашей,— ответил Ножик.— А кто?

— А черт его знает!

И ■ восьмой бригаде сказал Миша Гонтарь Зорину:

— А того... Воленко обыскивали?

— Миша! Ты дурак,— ответил Зорин.

— Я не такой дурак, как ты думаешь. Никто ведь не знал, что у Воленко часы.

— Все равно, ты дурак.

Гонтарь не обиделся на Санчо. При таких делах нетрудно и поглупеть человеку.

И в палатке четвертой бригады Володя Бегунок сказал Ване:

— Это не Воленко.

— А кто?

— Это Дюбек.

— Рыжиков? Нет!

— Почему нет? Почему?

— Володя, ты понимаешь? Рыжиков, он вор, ты понимаешь? Он... возьмет и украдет. А это, с часами, нарочно кто-то сделал, понимаешь, нарочно!

* * *

НА ВСЮ ЖИЗНЬ[1]

Игоря здорово проработали на комсомольском бюро. Сначала он топорщился и угрюмо настаивал на своем, но потом принужден был согласиться. он поступил неосмотрительно, ■ подобных случаях нельзя выступать партизаном, не поговоривши ■ бюро, не посоветовавшись с товарищами. Он согласился выступить на общем собрании и сделал это без судорог:

— Я погорячился и обидел товарища необоснованным подозрением. Прошу Рыжикова простить меня.

---

[1] Данная часть главы была опубликована ■ журнале «Красная новь» (1938, № 8), однако в первом отдельном издании повести «Флаги на башнях», вышедшем в свет ■ конце 1939 года уже после смерти А. С. Макаренко, она отсутствовала.

Рыжиков ответил с добродушной миной:

— Ничего. Я не обижаюсь.

Так этот случай разрешился более или менее благополучно. Кражи вдруг прекратились, и многие склонны были объяснить это тем, что Левитин поймался [redacted] теперь уже красть не будет. Колонисты продолжали свое наступление, но все понимали, что первой бригаде нанесен чувствительный удар, от которого она так скоро оправиться не может.

Игорь Чернявин быстро оправлялся от пережитых потрясений, да и жизнь помогала: колонисты уважали его даже больше, чем раньше, фронт колонистского наступления проходил уже на линиях сентября, новый завод был накрыт крышей, и начинали устанавливать станки.

А [redacted] один из выходных дней случилось... случилось счастье! Игорь сидел [redacted] парке на диване [redacted] читал «Двенадцать стульев». О Бендер! Еще год тому назад Бендер мог привести его в восхищение. А сейчас Игорь рассматривал его опытным комсомольским взглядом [redacted] понимал, что Бендер человек несчастный. Он так увлекся чтением, что свободно мог бы не заметить, кто там уселся рядом с ним на диване, мог бы, конечно, не заметить, если бы это не была Оксана. А сейчас он густо обрадовался, бросил книжку на траву, протянул к ней руку. Оксана была в белом выходном платье, она... но разве можно словами описать Оксану? У нее смуглый румянец, [redacted] загар, и краска смущения, [redacted] синевато-золотистый блеск в глазах, [redacted] пушистый ореол каштановых волос... Игорь задохнулся, и что-то [redacted] его душе махнуло рукой, закрыло глаза и бросилось очертя голову... нет, не [redacted] пропасть, а куда-то в глубину неба на раскаленную сковородку солнца, все равно, куда! Игорь вдруг перестал ощущать деревья, кусты [redacted] дорожки парка, за парком здания колонии [redacted] в парках, и [redacted] зданиях милые бригады колонистов — все перестало существовать в мире, потому что на скамье, на краю скамьи сидела в белом платье Оксана,— она — Джульетта, и ей нужно сейчас сказать, все сказать...

Оксана начала было:

— Игорь, [redacted] иду [redacted] город...

Но Игорь не расслышал ее слов.

Город... это что такое город?..

— Оксана! Слушай, Оксана! Ведь [redacted] тебя люблю! Я тебя страшно люблю! Всю жизнь любить буду, всю жизнь, ты слышишь, Оксана?

Он крепко сжал пальцы одной руки, своей руки, а вовсе не руки Оксаны. Он наклонился к ней и старался заглянуть [redacted] глаза. Она не испугалась [redacted] не удивилась. Она так же сидела на краю скамьи в белом платье и неслышно дышала, чуть-чуть приоткрыв губы, в ее глаза заглянуть было невозможно. Игорь до боли выгнул пальцы своей левой руки, но боли не заметил: мир колебался вокруг него и сверкал каждой своей частичкой.

Игорь так мало, так скучно сказал Оксане о своей любви, он хотел еще что-то прибавить, но Оксана вдруг поднялась со скамьи. Было видно, что она хочет бежать, но ее глаза успели еще посмотреть на Игоря. И посмотрели.

Игорь теперь понял, куда он летит: он видел мгновенный взмах ресниц, открывший синевато-золотые просторы и влажное сияние зрачка, и видел благодарную ласку [redacted] набегающую слезу, [redacted] Игорь именно [redacted] этих

глазах утонул и захлебнулся счастьем. Ему на миг показалось, что счастье в том, как Оксана сказала срывающимся голосом:

— Ой, Игорь, милый, не говори так, не говори так...

Оксана закрыла руками лицо, быстро повернулась и исчезла. Убежала она или просто спряталась за соседней группой кустов,— нигде не мелькало ее белое платье. Игорь стоял у скамьи и глядел на брошенную на траву книгу.

Без раздумья и без ощущений он благодарил себя за высказанные слова любви и Оксану благодарил за ласковый взгляд. Потом поднял глаза и крепко сжал губы: мир восстанавливался вокруг него. Небо было синее и далекое, а на земле в летнем могуществе стоял парк, а за парком Игорь чувствовал здания колонии, и в зданиях милые бригады колонистов.

Игорь улыбнулся и поднял книгу. Он сделал это уверенным сильным движением. Он понял, что сегодня началась жизнь, и для жизни впереди цветущие дороги. По ним он пойдет вместе с Оксаной. Они будут идти и улыбаться друг другу, они будут идти, взявшись за руки. Ромео — это, извините, совсем не то...

Вечером, после рапортов, он встретил Оксану в коридоре и сказал просто:

— Ты убежала... А зачем ты убежала? Мне нужно поговорить с тобой.

Оксана улыбнулась так, как будто разговор шел о прочитанной книжке:

— Мне было чего-то стыдно. Я потому и убежала.

В коридоре никого не было. Оксана поставила локти на подоконник и лукаво посмотрела на Игоря:

— Ты все уже сказал, тебе больше нечего говорить?

Игорь и свои локти поставил рядом. Их плечи коснулись. Длинный рот Игоря сделался теперь по-настоящему ироническим. Он сказал с прежним своим насмешливым задором:

— Миледи, вы ошибаетесь. У меня хватит говорить вам... на всю жизнь.

В окно светил яркий фонарь. Лицо Оксаны сделалось серьезным.

— Знаешь что, Игорь, скажи... сейчас, еще раз...

— И скажу: я тебя люблю, Оксана.

— И еще дальше...

— Я тебя страшно люблю.

Оксана, подпирая голову рукой, повернула к нему внимательное лицо. У Игоря дрожала нижняя губа, но рот был по-прежнему ироническим.

— Игорь, знаешь что? Это, может, тебе кажется так?

— Нет, Оксана, я же тебе сказал — на всю жизнь.

Кто-то пробежал сзади них по коридору, они молча смотрели друг на друга.

— Миледи, это несправедливо: я все говорю, а вы ничего не говорите.

— А ты хочешь, чтобы я тебе сказала?

— Ужасно хочу, ужасно, Оксана!

— Ой, какой ты смешной!

— Почему я такой смешной?

— Потому что... потому что... я тебя дуже люблю, и уже давно, давно.

Игорь зажмурил глаза и хотел дальше слушать. Но Оксана ничего больше не сказала, [redacted] когда Игорь открыл глаза, он увидел ее улыбающийся взгляд и руку, протянутую к нему на подоконнике. Он взял эту руку и спросил:

— Оксана, на всю жизнь?

Она кивнула головой. Они стояли и смотрели друг другу [redacted] глаза И, не отрывая взгляда, Оксана сказала:

— Ой, какой же ты, Игорь, тебе, наверное, целоваться хочется!

— Хочется,— прошептал Игорь.

Оксана приблизила к нему плечо и зашептала горячо:

— Нельзя, Игорь, целоваться, нельзя, дорогой мой! Если будем целоваться, стыдно будет [redacted] колонии жить. Колония ж наша, родная ж, наша колония, а мы с тобой, какие мы с тобой, какие мы с тобой люди будем, разве ж можно, чтобы в колонии целовались?

— Один только раз ..

Теперь Оксана держала его руку:

— Ой, не надо, миленький Игорь, [redacted] кто его знает, как с одного раза будет, а может, потом еще больше захочется.

— Ну, [redacted] тебе руку поцелую.

— Поцелуй вот сюда, только один раз, смотри ж, Игорь, один раз...

При фонаре было видно, как она покраснела. Помолчали, дружно глядя [redacted] окно, и Оксана опять зашептала:

— Ты сказал: на всю жизнь, так мы еще успеем, хорошо, мой милый? Хорошо? Давай учиться, давай колонии поможем, нехай будет счастливая наша колония, хорошо? А потом поедем [redacted] Москву, хорошо? В студенты, родненький мой, [redacted] студенты поедем: [redacted] на биологический, а ты на какой? Ты, мабуть, на литературный?

— На каждое ее «хорошо» Игорь отвечал счастливым, глубочайшим движением души, только слов ему не хватало.

12. ПОД ЗНАМЕНЕМ

В июле «старики», окончившие десятый класс, начали готовиться к поступлению [redacted] вузы. Поэтому и Надежда Васильевна не поехала [redacted] отпуск, [redacted] осталась работать со «студентами», как их называли колонисты, несколько предупреждая события. Настоящие студенты, поступившие [redacted] прошлые годы [redacted] разные вузы, человек около тридцати, еще в июне съехались [redacted] колонию [redacted] поставили для себя три палатки, не с того края, где девочки, [redacted] с противоположного. Настоящие студенты хотели работать на производстве, чтобы помочь колонии, но Захаров [redacted] совет бригадиров не согласились на это: у студентов была большая, трудная работа зимой, я теперь им нужно отдохнуть. Захаров каждого рассмотрел, заставлял и юношей и девушек поворачиваться перед ним всеми боками, некоторым говорил:

— Никуда не годится, дохлятина какая-то, [redacted] не студент. Запиши его на усиленное питание!

Студенты возражали:

— Так никогда экономию не сделаете, Алексей Степанович.

— А вот мы тебя откормим, это и будет экономия

Но студенты нашли для себя кое-какую работу. Иногда они дежурили по колонии, и в таких случаях находился для них и парадный костюм. Другие работали у садовника, третьи помогали Соломону Давидовичу по снабжению, а некоторые занимались с будущими студентами, потому что Надежде Васильевне было одной трудно.

Между прочим готовились в вуз и Нестеренко и Клава Каширина. Комсомольское бюро постановило освободить Нестеренко и Клаву от обязанностей бригадиров, чтобы у них оставалось время для подготовки.

На общем собрании должны были состояться выборы новых бригадиров пятой и восьмой бригад И вот тут оказалось, что жизнь вовсе не такая скучная особа, как некоторые думают. Восьмая бригада единогласно выставила своим кандидатом Игоря Чернявина, а пятая бригада — так же единогласно Оксану Литовченко! Игорь никогда не думал, что так близко от него стоит высокий пост бригадира. Когда в восьмой бригаде Нестеренко открыл заседание и предложил называть кандидатов в бригадиры, вся бригада, как будто сговорившись, повернула лицо к Игорю, и Санчо Зорин сказал:

— У нас давно уже решено: больше некому — Игорь Чернявин!

Когда это «давно» было решено, почему об этом Игорь ничего не знал, так и не удалось выяснить Игорь с жаром протестовал, протестовал очень искренно, потому что испугался: бригадиру мороки по горло, а дежурить по колонии — благодарю покорно, Воленко уже додежурился, теперь мрачный ходит, и нужно за ним смотреть. Игорь указал и на Санчо Зорина, и на Всеволода Середина, и на Яновского Бориса, и на старого колониста Михаила Гонтаря, и на Савченко Харитона, и на Данилу Горового, наконец, есть помощник бригадира Александр Остапчин, ему в особенности уместно принять управление восьмой бригадой от Василия.

Нестеренко выслушал слова Игоря спокойно и так же спокойно рассмотрел предложенный им список.

— Санчо горячий очень, ему нельзя быть бригадиром восьмой, он всем нервы испортит, тай годи Александр Остапчин хороший помощник, это верно, а если бригадиром станет, из-под ареста не вылезет,— трепачом был, трепачом и остался. Данило Горовой, конечно, хороший товарищ и колонист, а только, пока от него слова дождешься, там всякое дело сбежит, не поймаешь Яновский будет добрым бригадиром, а только политической установки в нем мало, все больше о своей прическе думает. И Середин будет хорошим бригадиром со временем,— пусть подождет, авторитета в колонии еще не завоевал А что касается Миши Гонтаря, так Миша Гонтарь — шофер, оканчивает курсы завтра и сразу на машину. Его линия уже к концу приходит, и бригадирства с него как с козла молока, хотя дай господи, царица небесная, каждому такого хорошего товарища и такого человека хорошего. Рогов — молокосос. Нет, это правильно решила бригада — Игорь Чернявин бригадир, да и какого вам нужно рожна: и мастер хороший, и комсомолец на «отлично», и общественник. Только ты, Игорь, держи бригаду спокойной рукой, любимчиков чтобы не было, на помощника не особенно полагайся. Бригадир должен быть веселый, и все видеть, и не париться без толку, и не трепаться лишнее. И рука должна быть крепкая, власть — это тебе не пустяк, как там ни говори, а все равно

Советская власть. Скажем, приезжал к нам Эррио — французский министр. А я дежурил по колонии. Вот ты сообрази: я — дежурный по колонии, а за моей спиной кто? Весь Союз! Наври я что-нибудь, не так сделай, никто не скажет — Нестеренко виноват, а скажут: видишь, как у них в Союзе плохо все делается. Я и то заметил — за Эррио этим целая куча ходит, так и смотрят, так и смотрят. Нет, Игорь, власть бригадира должна быть крепкая. А что касается дежурного бригадира, так и говорить нечего. Ты забудь, какой там у тебя природный характер: может, ты добрый, а может, мягкий, а может, ленивый или забывчивый. Нет, если повязку надел, забудь, какой ты там есть: ты отвечаешь за колонию; Воленко, вон на что добрый человек, а в дежурстве у него не покуришь. На что я — старый друг Воленко, пришли в колонию вместе, полтора года спали на одной постели, когда бедно было, а смотри: один раз я подошел к нему и спросил насчет обеда что-то, а он это посмотрел на меня так... прямо, как собака, и голос у него такой... «Товарищ Нестеренко, не умеешь говорить с дежурным бригадиром! Приставь ногу, чего ты танцуешь!» Я сначала даже не понял, а потом и одобрил: правильно, дежурный бригадир служит целой колонии, и баста! Эх, Воленко, Воленко! Хороший какой колонист, а пропал, ни за копейку пропал! И бригада первая — уже не бригада! Видишь, виноват тут, собственно говоря, Воленко: всем верит, все у него хорошие, всех защищает, вот и посадили бригаду. Безусловно, вор в бригаде, а думать не на кого, и сам Воленко ничего не знает.

В комсомольском бюро кандидатуру Игоря поддержали так же единодушно, как и в бригаде. А когда наступило общее собрание, так только и было ответа, что аплодисменты, взял слово один Зырянский:

— Такие бригадиры, как Нестеренко, редко, конечно, встречаются, разве вот из Руднева вырастет такой же. Но и Чернявин хороший материал для бригадира. Вопрос, как его бригада выдержит: чтобы не распустился, не зазнался, не заленился, не заснул. Но восьмая бригада — старая бригада, нужно будет — поможет. А что касается Оксаны Литовченко, так это, прямо скажу,— находка. Предлагаю голосовать за Оксану и Игоря!

Ни одна рука в собрании не поднялась против предложенных бригадами кандидатур. И сейчас же после этого дежурный бригадир подал команду:

— Под знамя встать, смирно! Салют!

Игорь и не видел, что возле бюста Сталина давно уже стоят шесть трубачей и четыре малых барабана. Это они развернули над собранием торжество знаменного салюта, и Ваня Гальченко теперь уже знал, в чем настоящая его прелесть: знаменный салют — это сигнал на работу, оркестрованный старым дирижером Виктором Денисовичем

Когда знаменная бригада выстроилась против бюста Сталина, вышел к знамени Захаров, и Игорь понял, что он должен делать. Рядом с ним стояла Оксана — рядом с ним! Это было счастливое предзнаменование: под нарядным, таинственно священным красным стягом они действительно рядом начинают свой жизненный путь! И как это здорово — они начинают его с трудной и почетной службы славному коллективу первомайцев! Игорь не умел плакать, и поэтому слезы кипели у него в сердце, а у Оксаны,— честное слово, у Оксаны слезы были в глазах, ах, какие

все-таки эти женщины! Да что — женщины, если старый бригадир Нестеренко, и тот чего-то моргает и моргает, а рапорт Захарову отдал тихо и с хрипом:

— Товарищ заведующий! Восьмую бригаду трудовой колонии имени Первого Мая Игорю Чернявину сдал в полном порядке!

О, нет! Игорь Чернявин имеет больше оснований волноваться, чем Нестеренко, но он отдаст рапорт весело и звучно, как и полагается бригадиру. И Игорь показал всем, как нужно рапортовать заведующему. Звонко, со строгим лицом, подняв руку на уровень лба, сказал Игорь Чернявин под знаменем:

— Товарищ заведующий! Восьмую бригаду трудовой колонии имени Первого Мая от колониста Василия Нестеренко принял в полном порядке!

Потом передавали пятую бригаду. Конечно, у этих девочек столько нежности в голосе, у Клавы столько серебра, у Оксаны — столько теплоты и волнения! И все-таки у них, у девчат, это был не настоящий рапорт, а так... разговор по душам с заведующим, уместный больше наедине, в кабинете, чем в торжественном зале под бархатным знаменем, перед двумястами строгих, замерших в салюте колонистов.

13. ДЕЛА СЕРЬЕЗНЫЕ

Только первая бригада продолжала молчаливо корчиться в страданиях. Кто-то в колонии, может быть, нарочно, придумал: часы взяли не колонисты, просто часовой прикорнул перед рассветом, а мало ли народу ходит во дворе. Но этой версии никто не верил, и первая бригада верила меньше всех. В бригаде вдруг стали жить единоличным способом. У каждого находились свое дело и свои интересы: кто в вуз готовится, у кого начинаются матчи, Левитин не выходил из библиотеки, Ножик всегда торчал в четвертой бригаде и, наконец, подал в совет бригадиров заявление о переводе к Зырянскому. Трудно было разбирать такое заявление, и Торский отнесся к делу формально: спросил у Воленко, спросил у Зырянского, получил ответы, что возражений нет, и Ножик в тот же вечер перебрался к Алеше.

Члены первой бригады приходили в палатку поздно и молча лезли под одеяла, а утром встречали дежурство с хмурой серьезностью и сурово отвечали на приветствие дежурного бригадира:

— Здравствуй!

Но так было в первой бригаде. Вся остальная колония жила полной жизнью, и для этой жизни хватало радости. На новом заводе кое-где стояли уже станки на фундаментах, в новой, огромной литейной монтировали вагранку для литья чугуна, а тигель для меди давно уже поместился в кирпичной яме. Многие колонисты начали уже примериваться к новым рабочим местам, в комсомольском бюро шли закрытые заседания по вопросу о кадрах. Говорили, что Воргунов прежнюю гнет линию: «Колонисты не справятся с таким производством». За это на Воргунова злобились, Воргунов с колонистами никогда не вступал в беседу, но колонисты знали каждое его слово, даже не относящееся к заводу.

В колонии жили несколько десятков сотрудников: учителей, учетных работников, мастеров, служащих, теперь к ним прибавились инженеры и техники. Дом ИТР стоял далеко за парком, [redacted] колонисты бывали там редко, но очень хорошо знали жизнь этого дома, прекрасно изучили характер каждой семьи, были осведомлены о ее горестях, радостях, согласиях и ссорах. Молодые инженеры Комаров [redacted] Григорьев еще не сталкивались с колонистами [redacted] деле, но многие особенности их характеров и деловых качеств были уже нанееены на неписаные личные карточки. Комаров был человек серьезный, скупой на слово, большой работяга, человек с достоинством и гонором, но в то же время [redacted] душевный, без пристрастия заинтересовавшийся колонией [redacted] колонистами. Кроме того, он влюбился в учительницу — комсомолку Надежду Васильевну. Григорьев колонистам не мог нравиться. Самая его внешность почему-то вызывала сомнения, хотя, казалось бы, ничего неприятного [redacted] его внешности нельзя было найти: он носил полувоенный костюм, который мог бы очень соответствовать колонистскому стилю [redacted] все-таки не соответствовал. Колонисты на третий день прозвали его так: «Очки, значки [redacted] краги». Действительно, все это у него было, [redacted] значки отнюдь ничего позорного в себе не заключали, обыкновенные значки: осоавиахимовские, мопровские, [redacted] один из значков изображал земной шар, очевидно имеющий какое-то отношение к Григорьеву. Григорьев не любил колонистов, может быть, это он настраивал [redacted] Воргунова, хотя именно у Воргунова он еще ни разу не заслужил доброго слова. В старом здании школы была выделена группа комнат, где до поры до времени помещалось управление новым заводом. Окна [redacted] этих комнатах были открыты, [redacted] колонисты часто слышали, как попадало Григорьеву от Петра Петровича. Кроме того, Григорьев тоже был влюблен в Надежду Васильевну. Еще не было известно, [redacted] кого влюбится Надежда Васильевна, для колонистов было бы приятнее, если бы она влюбилась [redacted] Комарова. Любовь, конечно, дело далеко не простое, [redacted] самой колонии любовь и всякие поцелуи были решительно запрещены. Предание утверждало, что такое запрещение было вынесено когда-то очень давно одним общим собранием. С тех пор прошло много лет, но все хорошо знали, что такое постановление было, всегда свято соблюдалось, значит, и дальше его нужно так же свято соблюдать. Это историческое постановление имело не только практический смысл. В известной мере оно проливало теоретический свет на вопросы любви, лучи этого света невольно падали [redacted] на любовь двух инженеров.

К сожалению, все события в этой сфере не имели определенных форм, о них трудно рассказать. Колонист Самуил Ножик стоял утром в вестибюле на дневальстве, а вечером, в палатке четвертой бригады, когда все уже лежали в постелях и только бригадир Алеша заканчивал дежурство по колонии, Ножик рассказывал:

— Я стою на часах, [redacted] Надежда Васильевна пришла [redacted] давай читать книжку и все меня спрашивает: приходил Соломон Давидович или не приходил? Я говорю: не приходил еще, [redacted] скоро, наверное, придет. Она сидит и все читает и читает. А потом пришел Комаров. Здравствуйте, здравствуйте! А чего он пришел, кто его знает. А потом говорит Надежде Васильевне: мне нужно с вами поговорить. Понимаете, ему нужно! А Надежда Васильевна сказала: поговорите раньше с западным вокзалом,

узнайте, когда из Москвы приходит вечерний поезд. Он звонил, звонил, ■ она все недовольна ■ недовольна. А потом он перестал звонить, сел на диван и опять начал: мне нужно с вами поговорить. Она и спрашивает: о чем? А он и отвечает: об одной вещи, ха, да, об одной вещи! И надо ж вам такое дело: тут Воргунов как войдет, ой, ой, ой! А Надежда Васильевна — о, она храбрая — сейчас же к нему: Петр Петрович, Петр Петрович, вы знаете, сегодня колонисты на культпоход идут. А он говорит: ■ вы знаете, сверлильные поставили черт знает где? Ох! И строгий же, черт! А Надежда Васильевна ничуть не испугалась, мне, говорит, дела никакого нет до ваших сверлильных, ■ он говорит, ■ мне никакого дела нет до ваших нежностей. О! А потом взял и давай Комарова есть: нечего вам тут разговаривать об одной вещи, так и сказал, об одной вещи, ■ идите ■ поправляйте, потому что это животное — так ■ сказал: животное — сверлильные сволок на фундаменты для шлифовальных! Это он про Григорьева. И он потащил Комарова, не успел тот, понимаете, об одной вещи. И только они ушли, тут на̀ тебе: «Значки, очки и краги» пришел ■ так это к Надежде Васильевне: здрасьте, здрасьте, я вам билет достал, какой-то там театр приезжает, ■ вам билет достал, ■ еще так сказал: на «Федора Ивановича» какого-то. Только он это с билетом, как опять Воргунов! Во! Вот была полировка, так да! Григорьев это виль-виль, туда-сюда, да куда ж ему отвертеться? — Почему опаздываете? Почему сверлильные сволокли на шлифовальные?! Это вредительство! Это идиотство! Черт бы вас побрал! А Григорьев, что ему делать: при Надежде Васильевне такие слова! Он говорит: Петр Петрович, нельзя же, нельзя так ругаться при посторонних. А Петр Петрович ка-ак закричит: к чертовой матери посторонних! Вас ожидают на заводе, ■ вы здесь с посторонними! Так «значки» как дернут, только пыль столбом! Во! Прогнал! Прогнал и говорит Надежде Васильевне, только так говорит, вежливо: вы меня простите, вы меня, пожалуйста, извините, ■ только через вас все молодые инженеры испортились. Через вас испортились. О! Надежда Васильевна будто ■ не понимает: разве испортились, да не может быть! А что ж теперь делать? А Воргунов: как что делать, вы сами должны знать, что делать! Надежда Васильевна и сказала на это: ■ уже догадалась, догадалась: их нужно пересыпать нафталином. Ой-й-й! (Ой-й-й! — закричала, конечно, вся четвертая бригада, ноги ее задрались высоко над одеялами.)

— А дальше? — спросил кто-то, когда овация закончилась.

— А дальше, Воргунов видит, что не его берет, так он рядом сел, вытер свою лысину и так даже печально говорит: у нас, у русских, неправильно, ■ надо так правильно: чтобы было видно — здесь любовь, а здесь дело, говорит, чтобы было разделение, понимаете, разделение. Это у русских, ■ еще говорит: дело нужно делать, а они любви намешают, намешают и на свидание бегают, а дело, говорит, дохнет. Вычита̀л, вычита̀л. Надежда Васильевна обещала: теперь не буду с инженерами о любви говорить, ■ только буду про фрезы, про болванки, про вагранку.

— И все?

— Нет, не все. Воргунов на это не согласился. Даже обиделся немного: не нужно про болванку, не нужно! Разговаривайте про соловьев и про воробьев, а про болванку не нужно, не ваше дело. Он был все недоволен.

— И все?

— Это все. А дальше уже неинтересно. Пришел Соломон Давидович, а Надежда Васильевна сказала ему: хотите билеты на «Федора Ивановича»? А Соломон Давидович сказал: не нужно таких билетов, я и так знаю, он зарезал царевича Димитрия, а я не люблю такого: с какой, говорит, стати, взять и зарезать мальчика, это, говорит, если человек серьезный, так он никогда такого не сделает, чтоб мальчика зарезать. Производство, говорит,— это другое дело. И он не захотел билетов.

Любовь захватывала колонию и с другого края. Шофер Петька Воробьев и Ванда снова начали попадаться на скамейках парка в трогательном, хотя и молчаливом уединении. Молчаливость, впрочем, не была в характере Ванды. Ванда сильно выросла и похорошела в колонии и целый день где-нибудь щебетала, то в цехе, то в спальне, то в столовой. А когда в колонию приехала в гости группа польских коммунистов, вырученных советской властью из тюрем Польши, Ванда выпросила у бюро, чтобы ей поручили организовать ужин для гостей и колонистов, и с этой задачей блестяще справилась: ужин был богатый, вкусный, блестел чистотой и цветами, и гости, очень тепло принятые колонистами, в особенности благодарили хозяйку ужина Ванду Стадницкую. А Ванда сказала им:

— Я — полька, а смотрите, как мне хорошо здесь. У нас всем хорошо, и русским, и украинцам, и евреям, у нас и немец есть, и киргиз, и татарин. Видите?

Когда же гости уехали, Ванде пришлось утешать младших девочек — Любу, Лену и других. Они выбрали из гостей самого худого, очень за ним ухаживали, старались получше угостить, а потом они узнали, что этот самый худой — член местного городского Мопра, и были очень расстроены, даже плакали в спальнях. Ванда сумела их утешить и объяснить, что дело вовсе не в худобе. Ванду любили в колонии и девочки и мальчики, и всем было очень не по себе, когда все чаще и чаще начали встречать ее с Петром Воробьевым. Зырянский уже хотел поговорить с Петром, но события в колонии были так серьезны, что Алеше некогда было думать о Петре Воробьеве. В заседании совета бригадиров Торский развернул бумажку и сказал:

— Есть заявление: «В совет бригадиров. Прошу меня отпустить домой, так как мать моя, в Самаре, очень нуждается и просит меня приехать. В о л е н к о».

В совете тишина. Головы опущены. Воленко стал у дверей, тонкий и строгий. Торский подождал и спросил тихо:

— Кто по этому вопросу?

Захаров сказал:

— Я хочу несколько вопросов Воленко. Что с матерью?

— Она... нуждается.

— Ты раньше получал от нее письма?

— Получал.

— Раньше ее положение было лучше?

— Да.

— А что теперь случилось?

— Ничего особенного не случилось... но мне нужно к ней поехать.

— Но ведь ты перешел в десятый класс.

— Что ж... придется отложить.

Воленко отвечает сухо, только из вежливости подымает голову, смотрит на одного Захарова и снова чуть-чуть склоняет ее.

И снова тишина, и снова Торский безнадежно предлагает говорить. Наконец услышали Филькин ленивый дискант:

— А письмо от матери он может показать?

Воленко вкось взглянул на Фильку:

— Что я, малыш или новенький? Письмо я буду показывать!

— Бывает разное...— начинает Филька, но Воленко перебивает его. Немножко громче, чем следует, но совершенно спокойно, совершенно уверенно и совершенно недружелюбно он говорит совету бригадиров:

— Чего вы от меня хотите? Я вас прошу отпустить меня домой, потому что мне нужно. Разрешение бюро имеется.

Марк подтвердил:

— Бюро не возражает.

Торский еще осмотрел совет. Сжалился над ним Илья Руднев, по молодости, наверное:

— Странно все-таки, чего тебе домой приспичило. Дом какой-то завелся, то не было этого самого дома...

Воленко с последним усилием сдержал себя:

— Голосуй уже, Торский!

— Дай слово!

— Говори!

И Зырянский сказал хорошие слова, но сказал, избегая встречаться взглядом с Воленко:

— Чего ж тут думать? Воленко хороший колонист и товарищ. Не верить ему нельзя. Если он говорит, значит, нужно. Мать нельзя бросать. Пускай едет, надо его выпустить, как полагается для самого заслуженного колониста: полное приданое, костюмы, белье, из фонда совета бригадиров выдать по высшей ставке — пятьсот рублей.

И больше никто звука не проронил в совете, даже Зорин, даже Нестеренко, старый друг Воленко.

Торский сделался суровым, нахмурил брови.

— Голосую. Кто за предложение Зырянского?

Подняли руки все, только Филька, хоть и не имел права голоса в совете, и сказал сердито:

— Пусть покажет письмо.

Воленко быстро поднял руку в салюте, сказал очень тихо «спасибо» и вышел. В совете стало еще тише. Зырянский положил руки на раздвинутые колени, смотрел пристально в угол, и у него еле заметно шевелились мускулы рта, оттого что он крепко сжал зубы. Нестеренко склонил лицо к самым ногам, может быть, у него развязалась шнуровка на ботинке. Руднев покусывал нижнюю губу, Оксана и Лида Таликова забились в самый угол и царапали пальцами одну и ту же точку на диванной обивке. Один Чернявин, новый бригадир восьмой, оглядывал всех немного удивленным взглядом, хотел что-то сказать, но подумал и увидел, что сказать ничего нельзя. Вечером Захаров вызвал к себе Воленко. Он пришел такой же отчужденный и вежливый. Захаров усадил его на диван рядом с собой, помолчал, потом с досадой махнул рукой:

— Нехорошо получается, Воленко. Куда ты поедешь?

Воленко смотрел в сторону. На его лице постепенно исчезала суровая вежливость, он опустил голову, произнес тихо:

— Куда-нибудь поеду... Союз большой.

Он вдруг решительно повернул лицо к Захарову:

— Алексей Степанович!

— Говори!

— Алексей Степанович! Нехорошо получается, вот это самое главное. Думаете, я ничего не понимаю? Я все понимаю: пускай там говорят: а может, сам Воленко часы взял! Пускай говорят! Я знаю «старики» так не думают... а может и думают, это все равно. А только... почему в моей бригаде... такая гадость! Почему? Первая бригада! У нас... в колонии... такое время... такая работа! И везде... везде люди как теперь работают! А что ж получилось? Или Левитин, или Рыжиков, а может и Воленко, а может Горохов, а может вся бригада из воров состоит... И все в моей бригаде, все в моей бригаде. Думаете, этого ребята не видят? Да? Все видят. Я дежурю, а на меня смотрят... и думают: тоже дежурит, а у самого в бригаде что делается! Не могу. Я значит, виноват...

Воленко говорил тихо, с трудом, каждое слово произносил с отвращением, страдал и морщился еле заметно.

— Нельзя... нельзя мне оставаться. Товарищи, конечно, ничего не скажут и не упрекнут, потому что... и сами не знают... А понимаете.... чувство, такое чувство! Вы не бойтесь, Алексей Степанович, не бойтесь. Я не пропаду. А может, иначе буду теперь... смотреть. Вы не бойтесь...

Захаров молча сжал руку Воленко выше локтя и поднялся с дивана. Подошел к стулу, погладил его лакированную боковинку:

— Так... я за тебя не боюсь. В общем правильно. Человек должен уметь отвечать за себя. Ты умеешь. Правильно. Это... очень правильно. В общем, ты молодец, Воленко. Только не нужно мучиться, не нужно... Все!

На другой день Воленко пришел проститься к Захарову. Он уже был в пальто, с деревянной некрашеной коробочкой под мышкой.

— Прощайте, Алексей Степанович, спасибо вам за все.

— Хорошо. Счастливо тебе, Воленко, пиши, не забывай колонию.

Захаров пожал руку колониста. По-прежнему стройный и гордый, Воленко глянул в глаза Захарова и вдруг заплакал. Отвернулся в угол, достал носовой платок и долго молча приводил себя в порядок. Захаров отвернулся к окну, уважая мужество этого мальчика. Неожиданно Воленко вышел, сверкнув в дверях последний раз некрашеной деревянной коробкой.

Его никто не провожал. Он шел по дороге один. Только, когда он подходил к лесу, за ним стремглав полетел Ваня Гальченко. Он нагнал Воленко уже в просеке и закричал:

— Воленко! Воленко!

Воленко остановился, оглянулся недовольно:

— Ну?

— Слушай, Воленко, слушай! Ты не обижайся. Только вот что: дай нам твой адрес, только настоящий адрес!

— Кому это нужно?

— Нам, понимаешь, нужно, нам, четвертой бригаде, всей четвертой бригаде. И еще Чернявину, и еще другим.

— Зачем?

— Очень нужно! Дай адрес. Дай! Вот увидишь!

Воленко внимательно посмотрел в глаза Вани и слабо улыбнулся:

— Ну хорошо.

Он полез в карман, чтобы найти, на чем написать адрес. Но Ваня закричал:

— Вот, все готово! Пиши!

У Вани в руках бумажка и карандаш.

Через минуту Воленко пошел через просеку к трамваю, а Ваня быстро побежал в колонию. В парке его поджидала вся четвертая бригада.

— Ну, что? Дал?

— Дал. Только он не в Самару поехал. Не в Самару. Он в Полтаву поехал... В Полтаву — и все!

14. МЕЩАНСТВО

Вестибюль — это не просто преддверие главных помещений колонии. В вестибюле было очень просторно, нарядно, и украшали его цветы, и украшал его часовой в парадном костюме. В вестибюле стояли мягкие диванчики, и на них хорошо было посидеть, подождать приятеля. Для этого лучшего места не было, так как в вестибюле пересекались все пути колонистов. Через него шли дороги к Захарову, в совет бригадиров, в комсомольское бюро, в столовую, в клубные комнаты и в театр. И раньше, чем попасть туда, каждый хоть на минутку задерживался в вестибюле, чтобы поговорить со встречным, а поговорить всегда было о чем.

В таком случайном порядке однажды утром собрались в вестибюле Торский, Зырянский и Соломон Давидович. Последним пришел шофер Петро Воробьев и сказал:

— Здравствуйте.

Зырянский кивнул в ответ, но слова произнес, не имеющие никакого отношения к приветствию:

— Слушай, Петро, я с тобой уже разговаривал, а ты, кажется, наплевал на мои слова.

В этот момент вбежал в вестибюль бригадир девятой Похожай. Похожай страшный охотник до всяких веселых историй, и поэтому его заинтересовали слова Зырянского:

— Это кто наплевал на твои слова? Петька? Это интересно!

— Он наплевал, как будто я ему шутки говорил. Чего ты пристал к девочке?

Воробьев начал оправдываться:

— Да как же я пристал?

— Ты здесь шофер, и знай свою машину. Рулем крути сколько хочешь, а голову девчатам крутить — это не твоя квалификация. А то я тебя скоро на солнышке развешу.

Соломон Давидович с мудростью, вполне естественной в его возрасте, попытался урезонить Зырянского:

— Послушайте, товарищи! Вы же должны понимать, что они влюблены.

— Кто влюблен? — заорал Зырянский.

— Да они: Воробьев и товарищ Ванда. А почему им не влюбиться, если у них хорошее сердце и взаимная симпатия?

— Как это «влюблены»? Как это «сердце»?! Вот еще новости! Я тоже влюблюсь, и каждому захочется! Ванде нужно школу кончать, а тут этот принц на нее глаза пялит!

Эти соображения Зырянского были так убедительны, что Витя Торский вышел, наконец, из своего нейтралитета:

— Действительно, Петро, ты допрыгаешься до общего собрания.

Перед лицом этой угрозы Воробьев даже побледнел немного, но не сдался:

— Странные у вас, товарищи, какие-то правила. Ванда взрослый человек и комсомолка тоже. Что же, по-вашему, она не имеет права?..

Все, что говорил и мог говорить Воробьев, вызывало у Алеши Зырянского самое искреннее возмущение:

— Как это — взрослый человек! Она колонистка! Правда еще придумал!

Торский более спокойно пояснил влюбленному:

— Выходи из колонии и влюбляйся сколько хочешь. А так мы колонию взорвем в два счета.

Зырянский смотрел на Воробьева, как волк на ягненка в басне.

— Вас много найдется, охотников с правами!

Соломон Давидович слушал, слушал и тоже возмутился:

— Но если бедная девушка полюбила, так это нужно понять!

Зырянский и Соломону Давидовичу объяснил:

— Они только этого и ждут, до чего вредный народ...

— Кто это?

— Да влюбленные! Они только и ждут того, чтобы их поняли. Это вредный народ! Тут у нас завод строится, план какой трудный, с Воленко, смотрите, что получилось, а им что? Они себе целуются по закоулкам. Целуешься, Воробьев? Говори правду!

— Да честное слово...

— Целуются, им наплевать. И до чего нахальство доходит, еще в глаза смотрят, мы их должны понимать! Жалеть! Ах, они влюбились!

Соломон Давидович рассмеялся:

— И они правы, к вашему сведению. Это же довольно трудная операция — если человек влюбится.

Воробьев грустно опустил голову. Зырянский еще раз сказал:

— Так и знай, будете стоять на середине: ты и Ванда.

И убежал вверх по лестнице.

Похожай добродушно положил руку на плечо влюбленного:

— Ты, Петр, с ними все равно не сговоришься. Это, понимаешь ты, не люди, а удавы. Ты лучше умыкни!

— Как это?

— А вот как раньше делалось: умыкни! Раньше это, знаешь, подведут лошадей к задним воротам, красавица это выйдет, а такой вот Петя, который втрескался, в охапку ее и удирать.

— А дальше что? — спросил Торский.

— А дальше.. мы его нагоним, морду набьем, Ванду отнимем. Это очень веселое дело!

Соломон Давидович проект Похожая выслушал с улыбкой:

— Зачем ему на лошадях умыкивать? Это совсем старая мода. У него же машина. И на чем вы его догоните? Другой же машины нету. И они вполне в состоянии прямо в загс! И покажут вам на общем собрании справку, вы еще салютовать будете, как миленькие.

В это время прибыли в вестибюль новые персонажи, и Соломон Давидович произнес более прозаические слова:

— Однако глупости по боку. Едем, товарищ Воробьев, а то плакали наши наряды.

Продолжение этого разговора произошло через неделю. Был выходной день. Вся колония культпоходом ходила на «Гибель эскадры». Возвратились к позднему обеду, часов в пять вечера. Колонистам очень понравилась пьеса, а кроме того, вообще было приятно промаршировать через город со знаменем, с оркестром, в белых костюмах. И Захаров возвратился повеселевшим, и Надежда Васильевна смеялась и шутила, как девочка,— в общем вышел прекрасный выходной день. Когда разошелся строй, все колонисты побежали по спальням переодеваться, умываться, готовиться к обеду. А в вестибюле скучал одинокий дневальный Новак Кирилл, который очень любил театр и которому из-за дневальства пришлось остаться без культпохода. В этот самый момент в открытые двери заглянул Петр Воробьев, испугался строгого вида дневального и грустно отвернулся к цветникам. Только через две минуты из вестибюля вылетел, уже в трусиках, Ваня Гальченко.

— Ваня, голубчик, иди сюда,— позвал Воробьев.

Ваня остановился:

— А тебе чего? Наверное, Ванду позвать?

— Ванюша, дорогой, позови Ванду!

— А покатаешь?

— Ну, а как же, Ваня?

— Есть позвать Ванду!

— Да чего ты кричишь?

— Товарищ Воробьев, все равно все знают. Я позову, позову, не бойся!

Ваня полетел вверх по лестнице, а Петр Воробьев остался рассматривать цветники.

Ванда выбежала в белом платье, румяная, красивая, все как полагается. Воробьев зашептал трагическим голосом:

— Ванда, знаешь что?

Оказалось, впрочем, что, несмотря на свою красоту, Ванда тоже страдает:

— У меня в голове такое делается! Ничего не знаю! Уже все хлопцы догадываются Прямо не знаю, куда и прятаться.

Воробьев сложил руки вместе и приложил их к груди:

— Ванда, едем сейчас ко мне!

— Как это так?

— Прямо ко мне домой!

— Да что ты, Петр!

— Ванда! А завтра [redacted] загс, запишемся, и все будет хорошо!
— А здесь как же? А завод?
— Ванда! Разве ж Захаров тебя бросит или что! Едем!
— Ой! А ребята как?
— Да... черт... никак! Просто едем! Честное слово, хорошо. Мне ребята и посоветовали.
— Ну!
— Это... честное слово.
— Да они ж прибегут за мной!
— Куда там они прибегут! Они даже не знают, где я живу! Едем!
— Вот... как же это? А [redacted] [redacted] белом платье.
— Ванда! Самый раз. На свадьбу всегда [redacted] белом полагается. И мать будет рада, она уже все знает...
Ванда приложила к горячей щеке дрожащие пальцы:
— А знаешь, Петя, верно! Ой, какой ты у меня молодец!
— Чудачка! Ведь шофер первой категории!
— А увидят?
— Вандочка! Ты же понимаешь, на машине, кто там увидит?
— Сейчас ехать?
— Сейчас!
— Ой!
— Ну, скорей, вон машина стоит, садись и...
— Подожди минуточку, [redacted] возьму белье и там еще что...
— Так [redacted] буду ожидать. А ты им записочку оставь. Все-таки знаешь... ребята хорошие.
— Записочку!
— Ну да. Они, как там ни говори, [redacted] смотри, какую красавицу сделали. Напиши так, знаешь: до скорого свидания, [redacted] не забывайте.
— Напишу.
Ванда убежала [redacted] здание, а Воробьев остался в цветнике, и его томление распределилось теперь между несколькими пунктами: между Вандой, которую нужно ожидать, между полуторкой, которая сама ожидала их, и между Зырянским, которого ожидать не следовало, но который [redacted]сегда мог появиться [redacted] самую ответственную минуту.
В это время очень близко, в вестибюле, молодой инженер Иван Семенович Комаров находился также в положении ожидающего. Во всяком случае, Зырянский, выглянувший из столовой, задал такой вопрос:
— Вы кого-нибудь здесь ожидаете? Или позвать можно?
Инженер Комаров ответил в том смысле, что он никого не ожидает и звать никого не нужно, но [redacted] словах Зырянского он почувствовал совершенно излишнюю откровенность и грустно отвернулся [redacted] открытым дверям. В двери было видно, как шофер Воробьев наслаждается цветником, но инженер Комаров не обратил на него внимания. Зато Алеша Зырянский увидел [redacted] шофера Воробьева [redacted] лицо Ванды, вдруг мелькнувшее на верхней площадке лестницы [redacted] немедленно исчезнувшее. И Алеша Зырянский сказал возмущенным голосом:
— О! Влюбленные уже забегали! Никакого спасения!
Инженер Комаров густо покраснел и все-таки нашел [redacted] себе силы обратиться к Зырянскому с холодным вопросом:

— Товарищ колонист! Я вас не понимаю!

Занятый своими наблюдениями, Зырянский ответил с некоторой досадой:

— Влюбленные! Что ж тут непонятного!

Комаров почувствовал самый незначительный озноб от простоты Алешиного объяснения, но Алеша и дальше объяснил:

— Если им волю дать, этим влюбленным, жить нельзя будет. Их обязательно ловить нужно.

Трудно предсказать, чем мог окончиться этот разговор, если бы не вошла в вестибюль Надежда Васильевна. Она тоже разрумянилась в походе и тоже была в белом платье, все как полагается.

— Алеша все влюбленных преследует Если вы влюбитесь, Иван Семенович, старайтесь Алеше на глаза не попадаться. Заест.

Зырянский смущенно улыбнулся и сказал, уходя в столовую:

— Влюбляйтесь, не бойтесь.

— Я вас ожидаю,— сказал Комаров.

Надежда Васильевна села на диванчик и подняла к инженеру лукавое лицо:

— А для чего я вам нужна? Насчет инструментальной стали?

— Как?

— А может быть, вам нужно знать мое мнение об установке диаметрально-фрезерного «Рейнеке-Лис»?

— Вы все шутите,— произнес инженер, очевидно, намекая на то, что есть на свете и серьезные вещи

— Я не шучу. Но я имею разрешение говорить с молодыми инженерами только о воробьях и о соловьях.

— От кого разрешение?

— От вашего Вия

— От Вия? Кто это, позвольте...

— Это у Гоголя, Иван Семенович, в одной производственной повести говорят: «Приведите Вия!» — это значит: пригласите самого высокого специалиста. У вас тоже есть такой Вий.

— Ах, Воргунов!

— Так вот .. Вий распорядился, чтобы с молодыми инженерами я говорила только о разных птичках.

— Распорядился? Не может быть!

— Как «не может быть»? Это потому, что молодые инженеры оказались скоропортящимися Ужасное качество: вас можно перевозить только скорыми поездами вместе с другими скоропортящимися предметами: молоком, сметаной.

Кирилл Новак с большим любопытством слушал этот разговор. Больше всего ему понравилось, что Воргунов похож на Вия. Кирилл Новак недавно прочитал повесть о Вие, и теперь стало ясным, что Воргунов действительно похож на Вия. Кирилл Новак с увлечением представил себе, как он расскажет о таком открытии четвертой бригаде, но в этот момент произошли события, способные дать еще более богатый материал для сообщения четвертой бригаде. Сверху быстро сбежала Ванда с порядочным узелком в руках и, еле-еле выговаривая слова, обратилась к Надежде Васильевне:

— Надежда Васильевна, миленькая, передайте эту записочку Торскому.

— А ты куда это с узелком?

— Ой, Надежда Васильевна, уезжаю!

— Куда!

— Уезжаю! Совсем! Говорить даже стыдно: к Пете уезжаю!

Ванда чмокнула Надежду Васильевну и выбежала из вестибюля. Только теперь Кирилл Новак понял, какое событие разыгралось перед его глазами, и заорал благим матом в столовую:

— Алеша! Алеша! Ванда...

Зырянский вырвался из столовой, но было уже поздно. Он видел, как тронулась в путь полуторка, и мог только сказать:

— Ах ты... уехала, честное слово, уехала! Она с узелком была? Да?

— С узелком. Да вот записка к Торскому.

— Записка? Все как в настоящем романе! Вот мещане! Ах, ты черт! «Торский, я люблю Петю и уезжаю к нему, и выхожу замуж. Спасибо колонистам за все. До скорого свидания».

15. БРИГАДИР ПЕРВОЙ

Заметно или незаметно, а пришел август, такой самый август, как и в прошлом году. Уже холодно стало спать в палатках, но Захаров тоже спал, и неудобно было подымать вопрос о переходе в здание, а то Захаров еще скажет, как это было раньше в подобных случаях:

— Если холодно, можно ватой вас обложить, тогда будет теплее...

В прошлом году август был счастливым месяцем, и в этом году все было еще лучше приспособлено для счастья, если бы не первая бригада.

Первая бригада! Первая бригада выбрала вместо Воленко бригадиром Рыжикова! Они думали, в первой бригаде: вот они выберут Рыжикова, а никто ничего не заметит. Как же это можно не заметить, если каждый вечер только и разговору было в четвертой бригаде, что об этих самых выборах! Разговаривали больше пацаны. Алеша Зырянский слушал с хмурым выражением, задумывался. Было о чем задумываться. Что такое сделалось с колонистами, что случилось в комсомоле, почему Захаров все соглашается и соглашается? Почему первая бригада выдвигает Рыжикова, а комсомольское бюро поддерживает? А Захаров что сказал на общем собрании? Захаров сказал:

— Я не возражаю против кандидатуры Рыжикова. Я надеюсь, что в роли бригадира Рыжиков еще лучше проявит свои способности.

А Марк Грингауз что говорил?

— Все мы знаем, что в первой бригаде тяжелое положение. Пять лучших комсомольцев уходят в вузы, значит, придут пять новеньких, с ними тоже работа нелегкая. Рыжиков показал себя энергичным человеком, мы уверены, что он поставит бригаду на должную высоту. Работник он хороший, бригадир будет энергичный. Все знают, что он и Подвесько вывел на чистую воду и Левитина поймал с ключами...

В это время Левитин закричал с места:

— Я не брал ключей! Не брал!

Марк Грингауз подождал, пока головы снова повернутся к оратору, и продолжал:

— Мы знаем, что в колонии многие против Рыжикова, многие никак не могут простить ему прошлое. А сколько у нас таких товарищей, у которых прошлое, так сказать, подмоченное! Если я начну называть фамилии, так будет очень долго. А теперь они комсомольцы и студенты и кто хотите. Конечно, тут дело доверия. А поэтому бюро разрешает комсомольцам голосовать, как им угодно. Большинство покажет ..

Рыжиков фертом[35] ходил по колонии: куда тебе — знаменитый литейщик! Баньковский, мастер, без Рыжикова и шагу ступить не может, даже свой несчастный барабан начал ему доверять, хотя этому барабану три дня до смерти осталось. Рыжиков — аккуратист, Рыжиков — веселый парень, Рыжиков ворам спуску не дает в колонии. Нет, четвертую бригаду не так легко провести. Может быть, колонистам некогда, у колонистов и новый завод, и фронт, и умирающие станки, и школа опять на носу, и любовные неприятности с разными Петьками и Вандами. Но у четвертой бригады нашлось время, чтобы крепче подумать о Рыжикове. И бригадир четвертой, Алеша Зырянский, встал на собрании и сказал:

— По вопросу о кандидатуре Рыжикова в бригадиры первой наша бригада поручила сказать Володе Бегунку.

Колонисты поняли, почему не бригадир будет говорить, а Бегунок. Все узнали в этом ходе робеспьеровскую руку Алеши. Все помнят, как не так еще давно Володя Бегунок что-то хотел сказать, а дисциплина бригадная треснула тогда Володю по голове, он сидел на ступеньках перед бюстом Сталина и краснел, сжимая в руках свою трубу. И Зырянский хитрый: сейчас все должны понять, что и тогда и теперь он согласен с Володей, что бригада Володю ни в чем не обвинила, что только по причинам дипломатическим четвертая бригада не может поднять настоящий скандал.

Поэтому, когда Володя встал, чтобы говорить, колонисты улыбнулись понимающими улыбками: упрямство четвертой бригады давно известно. Володя сказал, сохраняя на лице выражение холодной вежливости по отношению к Рыжикову и тонкого намека по отношению к собранию:

— Четвертая бригада ничего не имеет против колониста Рыжикова, но считает, что для первой бригады и для колонии можно найти более достойную кандидатуру. Поэтому четвертая бригада будет голосовать против Рыжикова

Торский с удивлением посмотрел на Володю, и этот взгляд был для всех понятен: откуда у Бегунка такие шикарные выражения? Торский спросил:

— Значит, четвертая бригада считает, что Рыжиков недостоин звания бригадира?

Володя чуть-чуть улыбнулся углом рта и ответил Торскому:

— Нет, четвертая бригада вовсе не так считает. Ничего подобного! Он тоже достойный, а только надо еще достойнее. Видишь?

Теперь Володя улыбнулся полностью, что вполне соответствовало одержанной им дипломатической победе. Но Торский не унимался:

— Хорошо. Раз так, то почему четвертая бригада не предложит своего кандидата?

Кто их знает, может быть, четвертая бригада заранее готовилась к вредным вопросам Торского,— Бегунок не долго думал над ответом:

— Мы можем предложить... пожалуйста... кого только угодно... сколько есть колонистов, какого угодно колониста.

— Только не Рыжикова?

— Да, за всех будем «за» голосовать, а за Рыжикова будем «против» голосовать.

Общее собрание было восхищено мудрыми ответами Володи Бегунка, хотя в этих ответах было много и чепухи. Для того чтобы ее обнаружить, Торский задал еще один вопрос:

— Значит, все колонисты могут быть бригадирами, только Рыжиков не может?

Володя обошелся без слов. Он просто задумчиво кивнул.

— И ты можешь быть бригадиром первой или, например, Ваня Гальченко?

У всех загорелись глаза. Хотя и важный вопрос разбирался на собрании, но колонисты всегда любили острые положения. В самом деле, как Бегунок вывернется?

И что ты скажешь, вывернулся! Правда, чмыхнул по-мальчишески, совершенно забыв о своей дипломатической миссии, но сказал громко, и когда начал говорить, то был даже чересчур серьезен:

— Я не говорю, что я буду таким замечательным бригадиром или там Ванька Гальченко, а только... все-таки лучше Рыжикова.

Торский зажмурил глаза и зачесал пальцами у виска, колонисты засмеялись, Брацан сказал хмуро:

— Да довольно с ним... вот затеяли с пацаном представление!

Володя Бегунок услышал, покраснел, обиделся:

— И вовсе не с пацаном, а вся четвертая бригада.

Четвертая бригада сидела на ступеньках у бюста Сталина и посмеивалась довольная: ее представитель здорово сегодня действует! А когда Витя Торский предложил поднять руки, кто за Рыжикова, четвертая бригада, сложив руки на коленях, рассматривала собрание насмешливыми глазами.

— Кто против?

Четырнадцать рук поднялось у бюста Сталина и еще несколько рук в других местах. Против голосовали: Игорь Чернявин, Оксана, Шура Мятникова, Руслан Горохов, Левитин, Илья Руднев, еще несколько человек.

— Против двадцать семь голосов,— сказал Торский.— Только непонятно, как голосуют Чернявин и Руднев. Выходит так, что вы голосуете не со своими бригадами.

Чернявин на это ничего не сказал, а Руднев ответил спокойно:

— Да, меня Бегунок сегодня сагитировал.

Руднев сказал это действительно спокойно. Никто не улыбнулся его словам. И хотя только двадцать семь голосов было против Рыжикова, а впечатление у всех осталось нехорошее. Еще никогда таких выборов в колонии не было. И когда принесли знамя и временный бригадир первой, Садовничий, вытянулся перед Захаровым, было не совсем удобно салютовать этой передаче. В четвертой бригаде Филька шепнул Зырянскому:

— Ой, Рыжикову салютовать?!

Зырянский шепотом же и ответил:

— Не Рыжикову, а общему собранию и знамени.

Так Рыжиков стал бригадиром Через неделю он дежурил по колонии, и Ваня Гальченко, стоя на дневальстве, вытягивался «смирно», когда Рыжиков проходил мимо.

16. СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!

Гораздо приятнее окончилось дело с Вандой. Конечно, ее бегство из колонии было тяжелым ударом, и оставленная Вандой записка помогала мало. Хуже всего, что нашлись философы, которые стали говорить:

— И чего там перепугались? Ну, влюбились, поженились, что ж такого?

Зырянский таким отвечал с пеной у рта:

— Ничего такого? Давайте все переженимся! Давайте!

— Чудак, так влюбиться же нужно. Ты влюбись раньше!

— Ого! Влюбиться! Думаешь, это трудно? Вот увидите, через три месяца все повлюбляются! Вот увидите.

Похожай успокаивал Зырянского:

— И зачем ты, Алеша, такое несоответствующее значение придаешь? Не всякий же имеет полуторку. Без полуторки все равно не выйдет.

И Соломон Давидович успокаивал:

— Вы, товарищ Зырянский, не понимаете жизни: любовь — это же не по карточкам! Вы думаете, так легко влюбиться? Вы думаете, пошел себе и влюбился? А квартира где? А жалованье? А мебель? Это же только идиоты могут влюбляться без мебели. И насколько я понимаю, у колонистов еще не скоро будет сносная мебель.

— Да, вы вот так говорите, а потом возьмете и умыкнете колонистку!

— Товарищ Зырянский! Для чего я буду ее увозить, если своих четыре дочки, не знаешь, как замуж выдать.

Зырянскому не везло или Ванде, но пришла она в колонию в выходной день, а дежурным бригадиром был в этот день... Зырянский. Колонисты жили уже в спальнях. Ванда вошла в вестибюль в послеобеденный час, когда все либо в спальнях сидят, либо в парке прячутся. На дневальстве стоял Вася Клюшнев, похожий, как известно, на Дантеса. Ванда оглянулась и сказала несмело:

— Здравствуй, Вася!

Клюшнев обрадовался:

— О, Ванда, здравствуй!

— Пришла проведать. К девочкам некого послать?

— Да ты иди прямо в спальню. Там все.

— А кто дежурный сегодня?

— Зырянский.

Ванда повалилась на диванчик, даже побледнела:

— Ой, как не повезло!

— Да ты не бойся, иди, что он тебе сделает?

Но в этот момент Зырянский вышел из столовой вместе с Бегунком:

— А! Вы чего пожаловали?

— Нужно мне,— с трудом ответила Ванда.

— Скажите, пожалуйста, «нужно»! Убежала из колонии — значит никаких «нужно».

Из столовой выбежали две девочки и запищали в восторге. Потом на этот писк выбежали еще две и тоже запищали, вырвалась оттуда же Оксана и, конечно, с объятиями:

— Ванда! Ой! Вандочка, миленькая!

Зырянский пришел в себя и крикнул:

— Я вас всех арестую! Она убежала из колонии!

Оксана удивленно посмотрела на Зырянского:

— Убежала! Что ты выдумываешь! Не убежала, а замуж вышла!

Володя Бегунок смотрел, смотрел и тоже бросился к Ванде на шею:

— Вандочка! Ах, милая, ах, какая радость! Она замуж вышла!

— Убирайся вон, чертенок! — закричали на Володю девушки.

Зырянский все-таки был в повязке.

— Колонисты, к порядку!

Это был привычный призыв дежурного бригадира, и девочки смущенно смолкли.

— Нечего ей здесь околачиваться! Я ее не пущу никуда. Раз убежала из колонии, кончено! Из-за чего? Из-за романа!

Ванда, наконец, тоже подняла голос:

— Как это убежала? Что я, беспризорная, что ли? Я целый год в колонии!

— Год в колонии! Тем хуже, что ушла, как... по-свински, одним словом! Для тебя донжуаны лучше колонистов?

— Какие донжуаны?

— Петька твой — донжуан!

И Володя Бегунок пропел со своей стороны:

— Дон-Кихот Ламанчский.

— Какой он донжуан? Мы с ним в загсе записались!

— В загс тебе не стыдно было пойти, а в совет бригадиров стыдно! Убежала и целый месяц носа не показывала! Товарищ Клюшнев! Я не разрешаю пропускать ее в спальни.

Клюшнев приставил винтовку к ноге:

— Есть не пропускать в спальни!

Зырянский гневно повернулся и ушел в столовую. Бегунок побежал в кабинет.

— Вот ирод! — сказала Оксана.— Что же теперь делать? Вася, ты не пропустишь?

Вася грустно улыбнулся:

— Что вы! Приказание дежурного не только для меня, а и для вас обязательно.

Но в этот момент в коридор вышел Захаров, девочки бросились к нему:

— Алексей Степанович! Вот пришла Ванда, а Зырянский не пропускает ее в спальни!

Захаров обрадовался Ванде не меньше девочек. Он поцеловался с нею, пригладил ей прическу:

— Как это можно? Такой дорогой гость! Алеша!

Зырянский стал в дверях столовой.

— Алеша! Как же тебе не стыдно!

— Наш старый обычай — беглецов в колонию не впускать!

— Какие там беглецы? Пропусти.

Зырянский нахмурил брови, принял официальный вид:

— Есть, товарищ заведующий! Товарищ Клюшнев, пропусти ее по приказанию заведующего колонией!

Захаров засмеялся, повертел головой, обнял Ванду за плечи, шутя, галантным жестом показал девочкам дорогу, и все они отправились в кабинет. Сидели они там долго, и Володя Бегунок потом рассказывал в четвертой бригаде:

— Там одни девчата, понимаете, собрались, так они все по-своему, все по-своему. И Алексей Степанович ничего такого... не ругал, а только все спрашивал, какая квартира, да какая там старуха, да какой Петька. А Ванда все одно и то же отвечает: ах, какой замечательный Петя, и какая замечательная старуха, и какая замечательная квартира! А потом, понимаете, прямо подошла так... к Алексею Степановичу и давай обнимать... за шею, все обнимает, и обнимает, и ревет. Потеха! Все замечательное, все замечательное, а на весь кабинет плачет. И она плачет, и другие девочки слезы вытирают, потеха...

— А дальше?

— А дальше Алексей Степанович говорит: Володька, убирайся отсюда, до чего ты распустился! Я и ушел.

— А за что?

— Я... честное слово, я так просто смотрел... больше ничего.

— А чего ж она плакала?!

— А разве их разберешь? Она все благодарила, благодарила. А потом так стала посредине кабинета и как скажет: «За жизнь! Спасибо за жизнь!»

Филька смотрел серьезными своими глазищами и сказал:

— Это она правильно: спасибо Алексею есть за что, это правильно. А только вот непонятно: почему сейчас же реветь? Если «спасибо», так при чем тут слезы? Он, наверное, выговаривал ей за что-нибудь?

— Нет, ни чуточки не выговаривал. Он так... знаете... совсем такой добрый был, ничуть не сердитый.

Вечером был совет бригадиров. На совет пришел и Петя Воробьев и много пацанов сбежались из четвертой бригады, и удивило всех присутствие Воргунова. Он сел на диване рядом с колонистами и слушал внимательно. Торский дал слово Ванде; Ванда осмотрела всех особенно взволнованным взглядом, слезы дрожали у нее в голосе, когда она говорила:

— Дорогие колонисты! Я у вас только год пожила, а я вам по правде скажу: нет у меня другой жизни, только этот год и есть. И я всю жизнь буду вас вспоминать и все буду вам спасибо говорить и советской власти, аж пока не помру. И вы простите мне, что я полюбила Петю, а вам ничего не сказала, я боялась, и стыдно было. Вы простите, и Петю простите, он же тоже как колонист все равно. И выпустите меня, как колонистку, с честью, и работать чтоб можно было мне на новом заводе, хоть токарем, а может, и еще чем.

И Петро Воробьев сказал, несмело, правда, и все краснел и поглядывал на Зырянского...

— Я вот... не оратор. Тут не в словах дело, а в человеке. Вы не думайте, я все понимаю и не обижаюсь. Это, конечно, хорошо, что у вас строго, я понимаю, оттого и Ванда... такая хорошая...

— Понравилась? — спросил Зырянский.

— А как же! Я люблю Ванду, прямо здесь говорю, и вы не беспокойтесь, я на всю жизнь люблю...

— Как хорошо! — прошептала Оксана, наклонившись к уху Лиды Таликовой. Лида сочувственно кивнула головой.

Зырянский все-таки попросил слова:

— Ванда и Петро поступили нехорошо. Может, там они и действительно на всю жизнь, а только кто их знает? А другим, может, на короткое время захочется, а откуда мы знаем? Так тоже нельзя допускать. Дисциплина где будет, если всем таким влюбленным волю дать? Должны были в совет бригадиров заявить, а мы посмотрели бы, комиссию выбрали бы, проверить, как и что. А то взяли, сели в грузовик и поехали. Это верно, что так у древних делали. Я предлагаю за то, что вышла замуж без...

И вот тут Воргунов сказал первое слово к колонистам:

— Без благословения родителей...

Не только Зырянский, все колонисты опешили от этого неожиданного нападения, все повернули лица к Воргунову, а он сидел между ними, массивный и как будто недовольный, и смотрел прямо на Зырянского:

— Я говорю: без благословения того... совета бригадиров. Но это все равно. За такие дела родители раньше проклинали.

Зырянский обрадовался человеческому голосу Воргунова.

— Проклинать не будем, а под арест посадить Ванду и Петра... часов на десять следует.

Филька крикнул откуда-то из дальнего угла:

— Правильно!

Воргунов нашел Фильку взглядом, перегнулся в его сторону всей тяжелой своей фигурой:

— Это ты говоришь «правильно», а откуда ты знаешь?

— Так и так видно!

— А мне вот не видно.

— Мало ли чего,— сказал Филька возможно более низким голосом,— вы еще недавно в колонии.

И вот тут увидели колонисты, что Воргунов умеет смеяться, да еще как! У него и живот смеется и плечи, а рот он открывает широко и смеется басом. А потом он спросил Фильку, но уже строгим голосом:

— Ты думаешь, я сделаюсь таким кровожадным зверем, как Зырянский?

— А как же? Если у нас поживете... А только, может, вы убежите раньше.

Воргунов опять хохотал, ему нравился Филька. Колонисты торжествовали по другому поводу: просто было приятно, что, наконец, этот отчужденный главный инженер заговорил и даже засмеялся.

Совет бригадиров окончился весело. Правда, Зырянский не снял своего предложения, но за него поднялись только две руки, да и то одна рука

была Филькина, который не имел права голоса, потому что не был еще бригадиром. Совет бригадиров постановил выпустить Ванду с честью: дать приданое, выбрать комиссию, оставить на работе токарем, а ■ следующий выходной день всем советом пойти к Воробьеву и посмотреть, как он живет, может, чем-нибудь и помочь придется. Ванда уходила из совета счастливая, даже о своем Пете забыла, так тесно окружили ее девочки.

А вечером Ванда зашла проститься с четвертой бригадой. Зырянский встретил ее приветливо, усадил на стул, спросил.

— Ты на меня не сердишься?

— Ой, милые мои мальчики, мне с вами так трудно расставаться, что и сердиться некогда. Живите хорошо, не забывайте про меня. И спасибо вам, что были товарищами, спасибо.

Володя Бегунок внимательно и серьезно слушал Ванду, но успел посмотреть и на Фильку. У Фильки в глазу что-то блеснуло подозрительно, ■ Володя воспрянул каверзным своим духом Но Филька нахмурил брови и сказал довольно важно, самым обыкновенным, ничуть не растроганным голосом:

— Мы.. что ж... мы и будем хорошими товарищами. Это ты не беспокойся, Ванда. А только ты напрасно слезы.. чего ж тут плакать?

Ванда вытерла глаза, улыбнулась и набросилась на Ваню Гальченко. Она расцеловала его при всех, ■ Ваня испуганно смотрел на нее, а потом только опомнился:

— Да что ж ты меня одного целуешь? Ты тогда и со всеми попрощайся.

И после этого вся четвертая бригада загалдела и полезла целоваться. Пожимали Ванде руки и говорили:

— Ты к нам приходи... ■ гости... В четвертую бригаду... приходи.

И Ванда перестала проливать слезы, а смеялась ■ обещала приходить. Может, потом и плакала где-нибудь, но четвертая бригада того не видела. А в самой четвертой бригаде все попрощались с Вандой весело, ■ ни один колонист и не подумал плакать.

17. ФЛАГИ НА БАШНЯХ

Постройка корпусов завода была закончена, и как всегда это бывает, именно теперь скопилась такая масса работы, что, казалось, ее невозможно когда-нибудь переделать. Кое-где стояли на фундаментах станки, другие станки еще прибывали и прибывали, и ставить их было негде: то фундамент не готов, то подсыпка не сделана. Колонистский двор, как ни берегли его, обратился все-таки в хаос. На новых зданиях стоят леса, везде разбросаны бараки, сараи, остатки досок, щебень, просто обломки кирпича, зияют известковые ямы, валяются разбитые носилки, куски фанеры, куски рогожи, и все это присыпано вездесущим строительным прахом, от которого нет спасения уже и в главном здании.

А рядом с новым заводом, «возникающим в хаосе» стройки, умирает старое производство Соломона Давидовича, и вокруг него распространяется такой же хаос, только это — хаос умирания.

В конце августа наступающие цепи колонистов вышли на линию 1 ноября, это в среднем по колонии; правый фланг, девочки, «теснили от-

ступающего в панике противника» на линиях двадцатых чисел декабря, но все равно: завод Соломона Давидовича умирал. Токарные «козы» выбывали из строя одна за другой, в машинном отделении деревообделочного цеха было не лучше. Стадион, заваленный хламом обрезков, бракованных деталей, массой дополнительной приблудной дряни, представлял настолько отвратительное зрелище, что Захаров категорически запретил с наступлением холодов возвращаться в стадион для работы. Раза два в стадионе почему-то начинались пожары. Их легко тушили, оставались черные пятна обугленных участков, от этого стадион казался еще печальнее. Соломон Давидович говорил колонистам:

— Можно все перенести: можно перенести производственные неполадки, можно перенести новый завод, но нельзя переносить еще и пожары. Разве можно для моего сердца такие нагрузки? С какой стати?

Колонисты утешали Соломона Давидовича:

— Он все равно сгорит — стадион. Так и знайте, Соломон Давидович, он все равно сгорит.

— Откуда вы так хорошо знаете, что он сгорит?

— А это все колонисты говорят.

— Мне очень нравится: все колонисты говорят! Разве они не могут говорить что-нибудь другое?

— Про стадион? А что ж про него говорить? Это старый мир, Соломон Давидович! Его все равно нужно подпалить.

Соломон Давидович и обижался, и тревожился. Теперь он выдумал для себя моду приходить по вечерам к Захарову и дремать на диване. Захаров спрашивал его.

— Почему вы не спите, Соломон Давидович?

— Новое дело, хвороба его забрала б!

— Какое дело?

— Очень смешное, конечно, дело: пожара ожидаю.

— В стадионе?

— Ну, а где же?

— Так почему вы думаете, что пожар случится в то время, когда вы не спите? Ведь загореться может и под утро?

— Это совсем другое дело: под утро! Никто не скажет: «Стадион загорелся, а Соломон Давидович спозаранку спать лег». А если я лягу в двенадцать часов, так это будет прилично, как вы думаете?

— Это будет прилично.

— Ну вот, я и посижу у вас до двенадцати.

В конце августа приехал Крейцер, пробежал по цехам Соломона Давидовича, зашел к Захарову и сказал:

— Скажите этому вашему Володьке, пускай играет сбор бригадиров.

— Да ведь рабочее время.

— Все равно. Предлагаю немедленно прекратить работу. По-вашему, можно еще работать в этом самом механическом и в стадионе?

— Совсем нельзя.

— Давайте совет бригадиров!

— Даем!

Удивленные бригадиры и все колонисты в самый разгар рабочего времени услышали «сбор бригадиров». Никому не пришло в голову, что этот

короткий, из трех звуков, сигнал наносит последний удар старому производству Соломона Давидовича.

Заседание продолжалось недолго. Крейцер предложил все силы колонистских бригад перебросить на строительство, чтобы скорее привести в порядок новый завод и начать в нем работу. Колонисты встретили это предложение овацией. Воргунов и предложение и овацию выслушал с недоверчивой тревогой, присматривался к ребятам и задал только один вопрос:

— И леса они будут разбирать?

Бригадиры ответили недоуменными взглядами: они не поняли, в чем сущность вопроса, а Воргунов смотрел на них и не понимал их недоуменных взглядов Соломон Давидович с осуждением пыхнул губами:

— Пхи! Леса разбирать! Если вы им предложите разобрать самого черта, так они разберут, к вашему сведению, и все сложат в порядке: лапы отдельно, копыта отдельно, и рожки и хвостик тоже отдельно. Вы можете спокойно произвести инвентаризацию.

Воргунов повернул к нему голову и произнес с сарказмом.

— Черта мне не приходилось, но думаю, что это все-таки легче, чем леса.

— Ошибаетесь Черт, вы думаете, он себе будет сидеть и смотреть, как его разбирают? Он же будет кусаться!

Этот оригинальный спор разрешил Захаров:

— И Соломон Давидович и Петр Петрович запоздали с проблемой: и бог и черт давно разобраны и сложены в музеях. А леса мы разберем, Петр Петрович!

Воргунов сделал движение всем телом, которое обозначало, что он посмотрит, как колонисты разберут леса.

На другой день у диаграммы штаба соревнования особенно толпился народ. «Боевая сводка» гласила:

«ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ НА 29 АВГУСТА

Вчера наш краснознаменный правый фланг нанес последний удар противнику: годовой план швейного цеха выполнен полностью, девочки после короткого штурма взяли правые башни города, на башнях развевается красный флаг СССР.

Враг, потерявший всякую надежду на победу, приступил к эвакуации города. Надеемся, что завтра, несмотря на выходной, наши части левого фланга и центра вступят также в город!»

На диаграмме действительно было видно: на правой башне развевается красный флаг. Это замечательное событие так долго ожидалось, что просто глазам не верилось, когда оно наступило. Четвертая бригада в продолжение целого дня ходила смотреть на диаграмму: действительно, на башнях стоит маленький, узенький красный флаг, и на нем написано: СССР. И на диаграмме было еще видно, как из города разбегаются враги: они были совсем не синие, они оказались черненькие, мелкие, довольно противные. Петр Васильевич Маленький нарисовал их тушью, и, вид-

но, много времени ушло на эту работу, потому что врагов было очень много.

За ужином прочитали приказ. Было коротко сказано: «Пятой и одиннадцатой бригадам прибыть на общее собрание в строевом порядке. Оркестру и знаменной бригаде быть в распоряжении дежурного бригадира».

И вечером на общем собрании состоялось торжество. Девочки вошли в парадных костюмах, их встретили знаменным салютом, а потом поздравляли и вообще хвалили. Конечно, у девочек не было таких «коз» и такого леса, как у мальчиков, но все-таки нельзя было отрицать, что они здорово поработали, и поэтому никто из мальчиков им не завидовал, а, напротив, все радовались и смотрели на девочек сияющими глазами.

На поздравление отвечала Оксана Литовченко. Игорь с гордостью слушал ее речь. Он гордился тем, что только он один любил Оксану, только он один понимал, какая это прелесть — Оксана! Никто другой не мог так хорошо сказать, как сказала Оксана:

— Вот что я вам скажу, дорогие мои товарищи! Кто ж это и когда мог думать, что придут девчата в такую красивую комнату, а сорок хлопцев на серебряных трубах заиграют тем девчатам почет? А сами те хлопцы, которые играли и которые под знаменем нашим стоят, они вместе с нами и Соломоном Давидовичем, и с новым нашим главным инженером Петром Петровичем, и с другими людьми, а самое главное, с Алексеем Степановичем и с другими, которых здесь нет, а которые сейчас на работе, и с учителями нашими, и с мастерами, и с рабочими — все как один человек послухали, что нам сказала партия большевистская, и что говорил нам Ленин. <...> И послухали и работали как герои, а не как наймиты, и сделали сколько тысяч и сотен тысяч столов, и стульев, и масленок, и чертежных столов, и трусиков, и ковбоек; сделали и людям послали на потребу. И вот сейчас мы завоевали для себя и для нашей страны новый завод. Будем делать машинки, будем делать для Красной Армии, бо Красная Армия теперь должна не только пулями, а и машинами побивать врагов. И не для одной Красной Армии, а и для тех, кто мосты строит, и для тех, кто дома строит и дороги, и для всех трудящихся. И никто из колонистов, ни один человек не ховался в обозе, как говорит товарищ Киров, а только один, может быть, гад и до сегодняшнего дня живет между нами, и еще не покарала его наша рука. И вчера еще пропадали инструменты на заводе. Видели, как черненькие разбегаются из нашего города, которых нарисовал штаб соревнования? Такой же черненький и между нами живет. И девчата просят вас, товарищи колонисты: не нужно нам покоя и не нужно нам никакой радости, пока не найдем его и не... не арестуем. И девчата еще просят, чтоб такое торжество устроить тогда, когда найдем его, какого еще торжества не было у нас!

Вот какую речь сказала Оксана, и все слушали ее и забыли, кто на каких станках работал, кто на правом, а кто на левом фланге, а кто в центре. Сразу вспомнили и театральный занавес, и часы, серебряные часы Захарова и прошлогодние пальто, и много всякого инструмента и добра, пропавшего в колонии. И вспомнили Воленко. И все согласились с ней, что когда они найдут этого гада — такой нужно праздник устроить в колонии, какого еще никогда не было. А когда она кончила, все

подумали, что ничего отвечать не нужно на такую речь — все понятно, и все одинаково думают. Но только взял слово для ответа... Воргунов. С каких это пор Воргунов просит слова на общем собрании? Что такое сделалось с Воргуновым?

Воргунов, кряхтя, полез на ступеньки к бюсту Сталина. Он не хотел говорить просто с места, он хотел говорить по-настоящему. И колонисты с большим интересом смотрели, что будет дальше делать Воргунов. А он стал прямо против знаменной бригады, сразу поднял палец.

— Оксана Литовченко — так зовут эту девушку, которая вот говорила,— бригадир пятой бригады! Так вот я, старик, старый инженер, кланяюсь низко и говорю: молодец Оксана Литовченко! Она говорила о самом главном: черненькие гадики ползают у нас под руками на каждом шагу и мешают работать. Я вам правду скажу: ехал я к вам и думал: э, что там, балуются с ребятами, какой там завод! Я не люблю подлизываться, и к вам не подлизывался, и не буду подлизываться. А теперь присмотрелся, прямо говорю: с вами и мне по дороге Скорее давайте приведем в порядок новый завод и скорее давайте работать Черненьких всяких будем кипятком вываривать, вместе будем, хорошо?

Колонисты с радостью аплодировали старому инженеру: прибавилась еще подмога на боевых участках их фронта. А Воргунов продолжал:

— А только на работе я человек строгий. Не скажу: страшно строгий, но так. . не полегче Алексея Степановича!

— Подходяще! — закричали колонисты.

— Подходяще? Тогда по рукам. И вы будете меня слушаться.

— А вы нас?

— Вас слушаться? Да что ж, пожалуй, иногда и придется.

Воргунов смеялся, стоя возле бюста Сталина, а колонисты смеялись, стоя вдоль дивана. Смеялись и в оркестре, и знаменная бригада, и четыре строевых шеренги девочек.

На другой день «боевая сводка» объявила:

> «Враг покинул стены нового города Наши части по всему фронту вступили в город. Наши красные флаги развеваются на всех башнях. Последние силы врага залезли на территорию строительства и прячутся между бочками и ящиками в лесах и в кучах мусора. Часть засела в старом стадионе. Постановлением совета бригадиров решено в течение сентября месяца выбить их из последнего убежища, чтобы к празднику 7 ноября не осталось в колонии ни одного врага»

18. ЧТО ТАКОЕ ЭНТУЗИАЗМ

Воргунов считал: как раз будет хорошо назначить один месяц для приведения в порядок территории строительства, старых и новых зданий. Воргунов, вероятно, правильно рассчитал, что энергия одиннадцати бригад чего-нибудь стоит. Но уже 31 августа общее собрание постановило:

«1. При таком положении заниматься в школе все равно невоз можно. Начало учебных занятий перенести на 15 сентября, с тем чтобы зимних вакаций не устраивать.

2. Работать без сигнала «кончай работу», а сколько влезет.

3. Работать по ответственным бригадным участкам.

4. Закончить работу к 15 сентября».

1 сентября все бригады вышли на работу сразу после завтрака — в одну смену. Этого Воргунов не ожидал, Он рассчитывал на 100 человеко-дней в сутки да еще сбрасывал 35 процентов на «детскую поправку». Но уже в конце первого дня увидел, что в его распоряжении полных восьмичасовых двести человеко-дней, а что касается поправки на малолетство, то здесь вообще трудно было что-нибудь разобрать. Во многих местах работа имела безусловно детский характер.

Строительная площадка вдруг приобрела новый вид. И раньше на ней работало до двухсот строителей: плотников, столяров, маляров, штукатуров, рабочих. И сейчас они были на своей работе, строительный организм остался тот же. А колонисты как будто даже и не изменили ничего существенно. Эти мальчики и девочки и меньше знают, и меньше у них физической силы, но зато они как кровь в организме. Как кровь, они стремительны и вездесущи. Они пропитывают своим участием, словом, смехом, требованием и уверенностью каждый участок работы, везде копошатся их подвижные фигурки, что-то тянут, кряхтят, кричат, потом забеспокоятся вдруг, как воробьи, целой стаей срываются и уносятся на новую линию, где требуется помощь.

В самом корпусе, там, где почва идет под уклон, работают девочки. Их бригадам выпала трудная работа: высыпка. Сюда нужно поднести тысячи носилок земли, и пока это не будет сделано, нельзя настилать полы, нельзя устанавливать фундаменты для станков.

Где-то, на каком-то секретном совещании, девочки постановили работать бегом. В первый день этот способ всех поразил, но ребята говорили: упарятся, куда ж там!

Но бегом девочки работали и на другой день, и на третий, а потом уже стало ясно: они не только не умариваются, а, пожалуй, просто привыкают работать бегом. И тогда между ребятами пошли другие разговоры:

— Смотри ты: и с пустыми носилками бегом и с полными бегом!

Воргунова эти детские темпы начали уже и тревожить. Он все чаще и чаще заходит в здание и смотрит. Мимо него пролетает пара за парой и хохочут:

— Здрасьте, Петр Петрович! Как мальчишки там, не гуляют?

Вместе с колонистами работают и учителя и инструкторы. Пожилая инструкторша швейного цеха тоже бегает за девочками и застенчиво и счастливо протестует:

— Меня, старуху, загоняли, подлые девки. Им, понимаешь, это удобно: легкие они, а мне куда там за ними. Правда, они все-таки придерживают, когда со мной.

На готовой уже площадке, у почти сложенного фундамента сидит на земле старик каменщик и смеется беззубым ртом:

— В жизни ничего такого не видел: это я тебе вот что скажу — до чего упорный народ! И все смеются, все цокотят. Смотришь, смотришь, аж зло берет; эх, коли мне помолодеть бы! Уж я пробежался ба, смотри, какую и перегнал ба! Ох!

Он вдруг вскакивает и бросается вдогонку за Леной Ивановой и Любой Ротштейн.

Четвертой бригаде поручена работа специальная: они бьют щебень для бетона. Кирпичные остатки рассеяны по всей территории строительства, и они исчезают под молотками пацанов, как огонь под струей из брандспойта. Не успеешь оглянуться, а пацаны уже на новом месте сидят на корточках, постукивают молотками и по обыкновению спорят:

— Строгальный, если постель ходит, а если резец ходит, так это называется шепинг! Ох, там шепинг один стоит маленький, называется «Кейстон»!

— Шепинг — это тоже строгальный.

— Нет, строгальный — это если постель ходит.

— О! Постель! Какая постель?

— А так говорится!

— А потом ты еще скажешь: одеяло ходит! А потом скажешь: простыня ходит!

— Вечно спорите,— говорит Брацан, поглядывая на набитый щебень.— Давайте щебень на площадку.

— А чем будем давать? В руках, да?

— А носилки где?

— Девчата забрали, у них не хватает.

— Так беги, возьми у девчат.

— Ох, возьми, так они тебе и дадут! А с ними спорить — все равно в рапорт попадешь, а они, конечно, правы! И вчера набрехали, я даже ничего не говорил, а они сказали: грубиян!

Бригада Брацана на одном из самых почетных мест: асфальтовые тротуары! Раза три в день к колонии подъезжает автомобиль с котлом, в котором варится асфальт. По всей территории колонии протянулись сотни метров широкой дорожки. Сейчас она кое-где уже готова. В других местах только выкопаны земляные ящики, и бригада Брацана засыпает их щебнем и бетонирует.

У главного заводского корпуса бригада Похожая убирает леса. Разборка лесов — такая приятная работа, что из-за нее чуть не поссорились в совете бригадиры, пришлось тянуть жребий. А когда счастливый удел разбирать леса выпал девятой бригаде, Похожай прямо с совета побежал к главному корпусу, и за ним побежала вся бригада. Воргунов больше всего беспокоился о девятой бригаде. Он стоит внизу и кряхтит от беспокойства. Сегодня разбирают леса в том месте, где здание делает поворот и где примостки и переходы чрезвычайно перепутаны. Двадцатиметровое бревно застряло и торчит в паутине лесов почти вертикально. Колонисты облепили его своими телами и стараются вытащить. Жан Гриф стоит на самой верхней доске и размахивает кузнечным молотом. На этот молот

и поглядывает Воргунов, он еще не слышал никогда, чтобы леса разбирали при помощи кузнечного молота. Жан Гриф с оглушительным звоном пускает молот на соседний участок примостков, оттуда срывается несколько досок, и сам Жан пошатывается на своем узком основании. Сидящие пониже прячут головы, чтобы пролетающие вниз предметы их не зацепили. Воргунов переходит на «ты»:

— Что ты делаешь? Что ты делаешь, безобразник?

— А что? — удивленно спрашивает Жан Гриф и заглядывает вниз. И вся девятая бригада смотрит сверху на Воргунова и старается понять, чего ему нужно.

Но Воргунов уже забыл о сокрушительном молоте Жана Грифа. Его внимание привлек маленький Синицын: по вертикально торчащему бревну он ползет вверх и держит в зубах веревку. Воргунов поднял обе руки и закричал, насколько позволял ему кричать низкий, хрипящий голос:

— Куда ты полез? Куда тебя черт несет?

Синицын тоже смотрит сверху на Воргунова и тоже спрашивает:

— А что?

— Слезай сейчас же. Слезай, такой-сякой, тебе говорю!

Бригадир девятой — Похожай — тоже сидит на верхних примостках и бузит:

— Пускай лезет! А то мы здесь до вечера провозимся. Он веревку привяжет и больше ничего.

— Да ведь бревно не укреплено! Бревно не укреплено!

— А куда ему падать? — спрашивает Похожай.— Мы, двенадцать человек, дергали, и то не падает.

Но спор не имеет значения. Синицын уже на верхушке бревна и привязывает веревку. Воргунов следит за ним немигающими глазами.

— Идемте, идемте, скажите что-нибудь! У меня волосы дыбом! Что они делают! Что они делают!

Губы у Дема дрожат, и смешно шевелятся пушистые усы. Воргунов посмотрел по направлению его руки и увидел картину, действительно волнующую: на деревянной крыше сарая стоят человек пятнадцать и поют:

— И туда! И сюда! И туда! И сюда!

Они ритмически раскачиваются, и вместе с ними раскачивается на слабых ногах вся конструкция сарая. Раскачивается все больше и больше, трещат ее кости, начинают выпирать сквозь деревянные бока какие-то колья и концы досок. Воргунов побежал и что-то закричал колонистам. Но поздно: здание сарая рухнуло, тучи пыли и древесного пороха взлетели вверх, раздался страшный сложный треск, и в этом порохе и в этом треске провалились, кажется, провалились сквозь землю, все пятнадцать колонистов.

На секунду затихли их голоса, потом раздается смех, визг, обыкновенная возня мальчиков. Сарая нет, а на земле лежит плоская груда всякого деревянного хлама, и из-под нее один за другим вылезают колонисты. Дем схватился за голову, убежал. Воргунов остановился, достал носовой платок, вытер лысину. Мальчики все вылезли из-под обломков и все начали смотреть на следующий сарай. Маленький ушастый Коротак закричал

что-то и выбежал вперед. Вот она уже на крыше сарая и торжествует Воргунов теперь уже не кричит. У него спокойные басовые нотки приказа:

— Эй, на сараях! Какая бригада?

— Десятая,— отвечает несколько голосов.

— Где бригадир?

— Есть бригадир, товарищ Воргунов!

Перед Воргуновым стоит Илья Руднев, невинными глазами смотрит на главного инженера и ожидает распоряжений. Тем же спокойным басом Воргунов говорит:

— Черт бы вас побрал, что это такое, в самом деле!

— А что?

— Вы бригадир десятой? Ваша фамилия?

— Руднев.

— В качестве заместителя заведующего я, кажется, имею право вас арестовать

Глаза Руднева удивленно настораживаются:

— За что?

— Кто это вам показал такой способ разборки?

— А чем плохой способ? Уже третий сарай повалили. Еще два осталось.

— Я решительно запрещаю, понимаете, запрещаю!

Руднев умильно смотрит в глаза Воргунова:

— Товарищ Воргунов! Давайте уже и эти два повалим! Все равно.

— Я не разрешаю.

— Что там... два сарая!

— Вы еще возражаете? Отправляйтесь на один час под арест! Немедленно!

— Есть один час под арест,— салютует Руднев и, обернувшись к своей бригаде, кричит:

— Перлов, прими бригаду, я выбыл из строя!

Коренастый, широкоплечий Перлов тоже салютует:

— Есть принять бригаду!

Он немедленно отдает распоряжение по десятой бригаде.

— Некогда ворон ловить! Бери его штурмом!

Десятая бригада полезла на крышу. И Воргунов сдался: он положил руку на плечо Руднева и произнес жалобно:

— Руднев, голубчик, прекратите! Нельзя такой способ!

— А как?

— Руднев, прекратите, немедленно, они же шатаются, уже шатаются!

— Да вы не обращайте внимания!

Но Воргунов, наконец, взбеленился Он кричал, ругался, приказывал и добился-таки своего: десятая бригада слезла с сарая. Потом в совете бригадиров Руднев в порядке самокритики говорил.

— Конечно, у нас наблюдалась непроизводительная трата энергии, два сарая разбирали два дня, когда можно было повалить их за пятнадцать минут, если применить рационализацию

В конце площадки восьмая бригада валит лишние деревья, чтобы рас-

ширить цветники перед новыми зданиями. Здесь тоже рационализация: Игорь и Санчо распиливают толстый ствол поваленного дуба, а Данило Горовой сидит на стволе и благодушествует. К работающим подошел Захаров, и Данило покраснел и обратился к нему с жалобой:

— Вот новый бригадир, Алексей Степанович! Работать не дает.

Игорь оставляет пилу и дает объяснение заведующему:

— Абсолютно необходимая мера, Алексей Степанович! В данной обстановке Данилу нельзя рассматривать как двигатель! Ни в коем случае. Данилу нужно рассматривать как пресс, принимая во внимание его вес и спокойный характер. Другой колонист не мог бы усидеть на месте, пока мы пилим, а Данило усидит.

— Угу,— Захаров кивает головой.— Правильно. А как вы используете другие качества Данилы?

— Следующее качество: вес. Видите, Данило сидит на этом конце. Данило, улыбнись! Нам легче пилить, потому что этот дуб такой проклятый, как схватит пилу, ничего иначе не выходит.

— А может быть, выгоднеее было бы товарища Горового использовать как дополнительную силу, тогда двое бы из вас пилили, а третий отдыхал.

— Абсолютно невыгодно. Пробовали: коэффициент полезного действия катастрофически падает.

Данило Горовой послушал-послушал и начал сползать со ствола.

— Ох, Алексей Степанович! Видите, внесли разложение в нашу трудовую семью!

Захаров засмеялся и ушел. Издали оглянулся и увидел: Игорь и Санчо пилят, а Данило сидит на стволе.

Всех бригад в колонии одиннадцать, и у каждой бригады ответственное поручение. И каждой бригаде должен уделить внимание Воргунов, и везде беспокоят его слишком «детские» темпы. За рабочий день накричится главный инженер, наволнуется, потом бредет к Захарову и говорит:

— Ну его... знаете... удивляюсь вам, как вы можете работать с этим народом!

А вечером Воргунов заскучал. Скучал, скучал, ходил между своими объектами, а потом не вытерпел, отправился в спальни. Пришел в девятую бригаду, сел на стул и сказал:

— Товарищ Похожай, вытащили то бревно?

— Какое бревно?

— А торчало такое... высокое.

— То, которое на углу, или то, которое возле литейного, или то, которое сзади?

Воргунов молча вытер лысину и успокоился:

— Ага... значит, три бревна, ну... бог с ними. А вы хорошо здесь живете. Чистенько и весело, наверное.

А потом они заспорили об энтузиазме. Похожай сказал:

— Вот как возьмемся за новый завод, Петр Петрович, с энтузиазмом возьмемся!

— Это как же... с энтузиазмом?

— А по-комсомольскому!

— Ага!

— А вы в энтузиазм не верите?

— Что это такое верить? Я или знаю что-нибудь или не знаю.

— А энтузиазм вы знаете?

— Энтузиазм знаю, как же. Но вот, например, вы геометрию знаете?

— Знаем.

— Какая формула площади круга?

— Пи эр квадрат.

— Как можно эту формулу изменить при помощи энтузиазма?

— Ну, так это само собой! Энтузиазм совсем не для того, чтобы формулы портить.

— А вот вы сегодня испортили не одну формулу.

— Когда мы испортили?

— А вот когда леса разбирали.

— А какие ж там формулы?

— Там на каждом шагу формулы. Если бревно стоит, оно на что-нибудь опирается. Есть определенные законы сопротивления материалов и так далее. По этим законам есть и советский закон: нельзя так разбирать леса. А вы, как папуасы, полезли, полезли, веревку в зубах потащили. А Руднев со своей бригадой как сараи валил? Сколько он формул испортил? А формулы портить, сами говорите, нельзя.

Девятая бригада закричала, возмутилась, сейчас же нашлись и возражения:

— А на войне как? А если на войне тоже формулы?

— А как же?

— По формулам? На войне?

— Ребятки мои! Война — это дело серьезное: умирать ты обязан за Родину? Вот тебе и первая формула? Правильно? Ага! Замолчали? А глупо умирать ты имеешь право?

— Как это глупо?

— А вот так: вылезешь просто на окоп и начнешь руками размахивать, а тебя и ухлопают! Имеешь право?

— Это если кто захочет...

— Ничего подобного. Никто не имеет права этого хотеть. Ты боец, ты нужен, не имеешь права! Ага? Замолчали. Ну, до свидания. Завтра я вам не позволю формулы портить.

Поднялся и ушел А девятая бригада посмотрела ему вслед, и Похожай сказал:

— Смотри ты, какой? Он против энтузиазма!

— Да нет, он не против!

— Как не против?

— Против.

— Нет, не против.

И пошел из девятой бригады этот вопрос гулять по всей колонии. Все и на работе и во время отдыха старались разрешить его как можно правильнее.

Пока происходили эти теоретические изыскания по вопросу об энтузиазме, работа на строительстве шла в прежних темпах, и Воргунову не

всегда удавалось отстоять свои формулы. К 15 сентября строительную площадку нельзя было узнать: обнажились прекрасные горизонтали зданий, клумбы и дорожки нарядной лентой окружили их; в цехах среди блестящих новизной полов аккуратными рядами строились станки. Кое-где продолжали еще работать штукатуры, и жизнь для них наступила тяжелая. При входе на завод стали часовые с винтовками, и улеглись на полу сухие и влажные тряпки.

— Товарищ, вытирайте ноги.

— Ась?

— Ноги вытирайте.

— Это я?

— Вы. Пожалуйста, вот тряпка.

— Да я — штукатур, дорогой!

— Все равно.

— Да где ж такое видано, чтобы штукатуры вытирали ноги?

— Значит, видано.

Штукатур трет подошвы, привыкшие никогда нигде не вытираться, и, пораженный, рассматривает часового. А потом штукатуры ходили жаловаться к Воргунову и Захарову. Воргунов ответил им:

— И ты вытирал?

— Вытирал.

— И не умер?

— Да чего ж там умереть...

— Ну и хорошо.

А Захаров сказал:

— Ничего не могу поделать. Они и меня заставляют.

— Да ну? И тебя!

Так ничего и не вышло.

15 сентября на общем собрании Воргунов докладывал об окончании работ, очень хвалил все колонистские бригады, а про формулы ничего не сказал. После собрания спросил у него Похожай:

— Все-таки отвечайте: есть энтузиазм или нету?

Воргунов хитро отвернулся:

— Это еще иначе называется, друзья: это честность, это любовь, это душа! Душа у вас есть?

— Душа? Должна быть...

— То-то ж! Вот это и есть энтузиазм.

19. НА НОВОМ ЗАВОДЕ

Еще раньше уехали и старые и новые студенты. Их провожали торжественно, говорили речи под знаменем, эскортировали всем строем до вокзала, и на вокзале кое-кто даже поплакал, конечно, не четвертая бригада.

Плакали больше девочки, которым жалко было расставаться с Клавой Кашириной, но и восьмой бригаде и другим не так легко было проводить и Нестеренко, и Колоса, и Садовничего, и Гроссмана.

А на место уехавших прибыли новые. Были здесь и семейные, и «с воли», и из-под ареста, и мальчики, и девочки. В день их прибытия Игорь Чернявин был дежурным бригадиром. Вспомнил он тот день, когда Воленко принимал его, и радостно стало и грустно: где теперь Воленко?

Новеньким лафа теперь в колонии. Уже замки висят на старых цехах Соломона Давидовича, и осенняя поросль — до чего шустрая! — начала уже прикрывать старые дорожки, протоптанные колонистами. Стадиону так и не удалось сгореть. Пришли рабочие и в несколько дней разбросали это замечательное сооружение. И никто о нем не пожалел, даже Соломон Давидович вздохнул свободно и перестал ожидать пожара.

Соломон Давидович назначен сейчас начальником отдела снабжения и сбыта. В день назначения он благодарил колонистов за боевую и героическую работу на старом производстве, вспоминал, с каким напряжением, с каким страданием заработали они шестьсот тысяч на новый завод, говорил, что он никогда в жизни не забудет этот прекрасный год. И прослезился Соломон Давидович, и не стеснялся слез, и никто не упрекнул его за слезы. А потом воспрянул духом и даже так сказал:

— Раньше я думал, что у меня потухающая кривая. А теперь скажу вам, товарищи колонисты: пока сердце бьется, не может быть потухающей кривой. Правильно сказал Санчо Зорин, что эту кривую оппортунисты выдумали.

Поздно вечером в кабинете Захарова Соломон Давидович уже забыл о старом производстве, а с большим энтузиазмом готовился к новому своему делу: снабжению и сбыту. И сказал Захарову:

— Со щитом или под щитом, а снабжение у нас будет неплохое, к вашему сведению.

Захаров обнял Соломона Давидовича и только незначительное изменение предложил к его боевому кличу.

— Надо говорить «со щитом или на щите», Соломон Давидович. Так греки говорили.

— А «под щитом» они не говорили?

— Нет, не говорили, Соломон Давидович.

— Под щитом, значит, им было без надобности?

— Совершенно верно. Так говорили греки, когда отправлялись на войну. Со щитом вернусь — значит, с победой. На щите — значит, принесут меня убитым. Со щитом или на щите.

Соломон Давидович внимательно прислушался к этой исторической справке и усомнился.

— Если я правильно понимаю, для нас подходит только со щитом, а на щите для нас абсолютно не подходит. Какой же смысл может быть для отдела снабжения на щите?

— Пожалуй.

— Тогда скажем так: со щитом или с двумя щитами! Это вполне приемлемо для отдела снабжения.

С таким исправленным классическим лозунгом Соломон Давидович и ринулся в новый бой. К его услугам скоро появилась легковая машина — «газик», и на «газике» шофер — Миша Гонтарь.

Да, новеньким лафа сейчас в колонии! Они сразу пошли на новый завод, с первого же дня попали в такое место, которое иначе нельзя назвать, как земным раем!

17 сентября двести с лишком колонистов вошли в стены завода. Каждому было выбрано прекрасное место — кому в механическом цехе, кому в литейном, кому в сборочном, кому в инструментальном.

Механический цех помещается в первом этаже. Второго этажа, собственно говоря, нет, но есть балкон второго этажа, который проходит по всем четырем стенам огромного зала и не мешает этому залу освещаться с крыши. В механическом цехе стоит до полусотни прекрасных станков, и советских, и заграничных: токарные, револьверные, шлифовальные, строгальные, зуборезные, фрезерные, сверлильные, долбежные. Каждый станок прекрасен, каждый по-своему наряден: у одного сияют никелированные части, другой солидно скромен в матовых отблесках стали, третий умен и изящен, как дипломат, четвертый красив в неповторимо привлекательных линиях своего черного зеркального тела. Маленький шепинг «Кейстон» еще жирно покрыт маслянистой желтоватой смесью. За ним ухаживают, его обмывают и наряжают Филька Шарий и Ваня Гальченко — новые его владетели.

Первыми завертелись токарные станки «Комсомольцы» и «Красный пролетарий». На них целиком перешли третья и десятая бригады. Через день начали работать револьверные — здесь Зырянский, Поршнев, Садовничий, Яновский и другие ветераны колонии. Скоро заработали тигли в литейной, и в механическом цехе появились блестящие алюминием части кожуха сверлилки: верхний щит, нижний щит, станина. Эти же блестящие детали скоро завертелись и в патронах токарных и револьверных.

На станках теперь требуется точная работа, а колонисты еще не искушены в точности, и поэтому они осторожны, как в лаборатории. Два раза в минуту берет колонист шаблон или штанген и проверяет деталь в работе. Верхний этаж — сборочный цех — почти целиком отдан девочкам и пацанам, здесь больше всего требуются их ловкие руки. До целой сверлилки еще очень далеко, но «узлы» уже начали собираться, и в девичьих руках заходили первые якоря.

После школы в аудиториях и школьных кабинетах занимаются группы, организованные комсомолом для лучшего проникновения в тайны производства. Тайн этих немало, работа каждой детали представляет очень сложную задачу, разрешение которой связано и с характером станка и с комплектом многих приспособлений. В сборке то и дело выясняется, что эту операцию нужно производить не так, а иначе, что многие детали лучше штамповать, чем точить. В электросверлилке целая система шестеренок, а с ними хлопот больше всего. Целую неделю ходил черный, как уголь, угрюмый и неповоротливый инженер Беглов вокруг зуборезного «Марата». Вместе с Семеном Касаткиным они с замиранием сердца ожидали выхода очередной шестеренки, а когда шестеренка родилась,— ее еще теплое тельце дрожит на ладони Беглова,— Касаткин чуть не со слезами смотрит на ладонь инженера и говорит:

— Опять на концах съело...

— Съело.

— А давайте на модуль один попробуем?

Беглов смотрит в лицо Семена, но видит не серые большие глаза, а исписанный цифрами листик бумаги, на котором он ночью высчитывал работу фрезера модуль ноль, семьдесят пять сотых.

— Нет... давай еще разик пройдемся этим чертом.

— Все равно не выйдет,— говорит Семен Касаткин, но покорно пускает свой сложный станок, и снова они стоят над станком и с замиранием сердца ожидают.

По цехам заходили контролеры: Мятникова, Санчо Зорин, Жан Гриф. В руках у них шаблоны, образцы и прочая точная механика. Между колонистами поселилось и прижилось новое слово «сотка». На втором этаже завертелся кругло-шлифовальный «Келенбергер», на который Александр Остапчин и Похожай распространили весь запас любви и заботы, какой только может поместиться в душе колониста. Шлифовка валиков и здесь производилась сначала с ежеминутной проверкой шаблоном. Через две недели Похожай научился слово «сотка» произносить без всякого почтения.

— Что прикажете? Снять на полсотки? Есть, товарищ инструктор...

Похожай пускает станок и чуть-чуть склоняется к нему: его глаза, его нервы, его пятые, шестые и десятые чувства — все сосредоточилось на подсчете бесконечно малых движений станка,— и вот хитрый, удирающий, неуловимый момент пойман. Похожай выключает станок и протягивает инструктору деталь:

— Есть на полсотки, товарищ инструктор! Получайте.

Завод разворачивается: уже в кладовых некоторые полки заполнены деталями, уже стружек стало выметаться из цехов полные ящики, уже в совете бригадиров стали поругивать деревянные модели и просили молодого инженера Комарова дать объяснения. Комаров пришел с розоватым оттенком на обычно бледных ланитах и отбивался:

— Все, что можно было сделать в инструментальном цеху, сделано. Осталось еще сорок приспособлений, они будут готовы через неделю. Лимитирует сталь номер четыре, которую Соломон Давидович обещал...

Колонисты слушают Комарова, верят ему и уважают его, а все-таки спрашивают:

— Почему, когда привезли сталь номер четыре, так она два дня лежала в кладовой, а потом только догадались ее выписать?

— А почему чертежи кондуктора для детали сто тринадцатой с ошибкой?

Комаров краснеет еще больше и посматривает на Воргунова, а Петр Петрович говорит:

— Ага! Что ж вы на меня смотрите? Вы на них смотрите!

Филька Шарий сидит, как обыкновенно, на ковре, и тоже высказывается:

— Это потому все, что Иван Семенович слишком много внимания... это... слишком много внимания Надежде Васильевне...

— Филька,— возмущается Торский,— что это такое, в самом деле! Всегда тебя выгонять нужно из совета!

Филька надувает губы и отворачивает лицо: он еще не помнит, чтобы к нему относились справедливо. Но и у Комарова положение после Филькина выступления — не из легких. Он быстро перебирает в руках инструментальные бумажонки и бормочет:

— Я не могу... такие разговоры... Я назначен работать, а не выслушивать...

Бригадиры дипломатически смотрят на окна, у Оксаны чуть-чуть вздрагивают губы, Захаров поправляет пенсне.

Вечером Комаров пришел к Захарову с заявлением об уходе. Захаров положил заявление перед собой и разглядывает почерк Комарова недоверчивым взглядом:

— Это не нужно, Иван Семенович!

— Как не нужно? Какое они имеют право... в личные дела...

— Да что ж тут такого? В ваших личных делах нет ничего позорного. Все знают, что вы влюблены в Надежду Васильевну, все вам сочувствуют, радуются, а Филька, конечно, ничего не понимает в этих делах.

Комаров после этого случая дней десять ходил по колонии мрачный и старался не встречаться с Надеждой Васильевной. Через десять дней у него опять было столкновение с советом бригадиров, только уже по другому вопросу: совет хотел колониста Редьку перевести в механический цех. Комаров долго возражал против этого, а потом из себя вышел:

— Так и знайте: заберете у меня Редьку — ухожу с завода!

И смотрел после этих слов на бригадиров, злой и бледный. Бригадиры удивились, а Филька произнес.

— А что ж? Он правильно говорит! С какой стати!

Совет бригадиров уступил, а вечером Захаров сказал Комарову:

— Видите, отстояли дело, ваш верх.

Комаров улыбнулся и прямо от Захарова пошел в гости к Надежде Васильевне.

Очень трудно в той части горизонта, где помещается сфера Соломона Давидовича,— там всегда толпятся грозовые тучи. Деньги все истрачены на строительство и оборудование, старый завод закрылся, новый еще не выпускает продукции. И Соломон Давидович «парится».

— Сколько угодно есть предложений Дадут какой угодно аванс, только подпишите договор на сверлилки.

— Сверлилок еще нет,— отвечает Захаров.

— Но будут же, или они никогда не будут?

— Первые сверлилки будут, вероятно, плохие.

— Какое это имеет значение, плохие или хорошие, но их продать можно?

— Их продать нельзя.

— Алексей Степанович, говорите такие слова тому, у кого хорошие нервы, а у меня очень плохие нервы. Как это так: нельзя продать готовую продукцию?

Захаров молчит, и Соломон Давидович страдальчески вздыхает:

— Разве я теперь человек? Я теперь угорелая лошадь!

Новый завод, как и всякое настоящее дело, оказался трудным. Заедало то в одном месте, то в другом месте, таинственные секреты открыва-

лись там, где, казалось, все безоблачно и все предначертано. И не только нервы Соломона Давидовича иногда гуляли, но и в четвертой бригаде начинало дебоширить беспокойство, то самое беспокойство, которое иначе еще называется чувством ответственности. Новый завод колонисты воспринимали как небывалое и невиданное счастье, выпавшее на их долю. Если они знали, что Октябрьская революция принесла людям новую жизнь, то для них эта новая, счастливая жизнь была неотделима от завода электроинструмента. И поэтому так страстно хотелось, чтобы скорее выходили сверлилки, чтобы скорее приехали за ними представители Красной Армии и промышленности, чтобы как можно скорее Советское правительство издало приказ, запрещающий ввоз электросверлилок из-за границы.

Игорь Чернявин получил самый лучший станок на заводе — плоскошлифовальный «Самсон Верке». Он стоит в углу механического цеха рядом с шепингом «Кейстон». Игорь Чернявин рассказывал товарищам:

— Этот станочек — самое симпатичное существо на свете. С ним даже разговаривать можно, такой он симпатичный.

Игорь и в самом деле разговаривал со станком, особенно когда приходил по утрам. Станок действительно у Игоря занятный: плоский предмет, который нужно шлифовать, ничем не прикрепляется к доске, а просто Игорь тронет выключатель сбоку — и деталь пристает к столу, как будто они из одного куска вырезаны.

— Магнитный стол,— говорит Игорь.— Магнитный стол — это вам не какой-нибудь дореволюционный патрон!

И все-таки Игоря постиг удар. В маленьком шкафике, в самом станке, стоял флакон особого, дорогого машинного масла, которое с большим трудом добывал Соломон Давидович исключительно для этого станка. И вот однажды утром пришел Игорь в цех, открыл шкафик, а флакона не увидел. Может быть, Игорь забыл поставить его в шкафик? Игорь обыскал станок, задумался, произнес тревожно:

— Синьор! Я вчера смазывал ваши части и поставил флакон в шкафик! Куда вы его задевали?

Но шлифовальный молчал, и было видно по выражению его лица, что он тоже расстроен происшествием. Рядом на «Кейстоне» работал Филька. Игорь подозрительно посмотрел на Фильку и на шепинг, но у обоих выражение было самое добродетельное. Игорь целый день искал свое масло, так и не нашел. Подобные случаи перестали удивлять колонистов.

Кражи в колонии продолжались. С открытием нового завода они сосредоточились на инструментах. Не было дня, чтобы не пропадало что-нибудь возле того или другого станка: микрометр, штанген, приспособление, ключи, дорогие резцы. Захаров отдал приказ — после конца работы все сдавать в кладовую, кроме необходимых «текущих» вещей, приписанных к данному станку, а такие вещи запирать под замок в тумбочках. Это не помогло, потому что и из тумбочек, из-под замка, вещи все равно пропадали. Заведующий инструментальной кладовой, бывший литейщик Баньковский, только и делал, что составлял акты на пропавшие инструменты, приносил к Воргунову на подпись и говорил:

— Тут... в этой колонии, воров... половина. Вот увидите, они все раскрадут.

Воргунов неохотно, морщась, подписывал акты, отворачивался от Баньковского, а потом шел к Захарову:

— Что делать? Нельзя же работать! Микрометры — ведь дорогая вещь, их не так легко достать.

Захаров молча выслушивал, круто поворачивался на стуле, опирался руками на колени: на одну ногу кулаком, на другую ногу локтем, закусывал нижнюю губу. Воргунов следил за ним и спрашивал:

— Как вы думаете, сколько воришек есть в колонии?

Захаров отвечал не меняя позы:

— Петр Петрович, воришки есть, конечно, но наши воришки — люди с чуеством и сердцем, они на заводе красть не будут

— А кто крадет? Кто? Я сплю и дрожу: если будут украдены фрезы, мы остановимся надолго Таких фрезов во всем городе нет, они никому не нужны, кроме нас, а сделать фрез, вы знаете, что это значит?

Говорят, если у человека на лице родимое пятно, то он к этому привыкает. Кражи в колонии были тоже неприятным родимым пятном, которое искажало светлое человеческое лицо коллектива, но привыкнуть к нему колонисты все-таки не могли. Игорь несколько дней искал свое масло, другие искали свои микрометры и штангены, но думали все уже не о своих обиженных станках, а о большом всеобщем горе, о всеобщем бессилии коллектива.

Игорь еще искал свое место, когда перед обедом в кабинет Захарова пришел дежурный бригадир Рыжиков и забыл даже стать как следует:

— Алексей Степанович, новая кража: все фрезы с зуборезных, до одного!

— Что?

— Ни одного фреза не осталось — восемнадцать штук!

Захаров снял пенсне, положил на стол, крепко прижал пальцы к глазам, потом долго натирал ладонями щеки, наконец сказал:

— Есть!

— Обыск нужно, Алексей Степанович!

— Не нужно... обыска.

Рыжиков вздохнул, молча поднял руку и вышел.

20. ВРАГИ

В пять часов вечера Филька и Ваня Гальченко вышли из кабинета Захарова. Володя Бегунок трубил сбор бригадиров. Рыжиков услышал сигнал и удивился: почему трубят без ведома дежурного бригадира? Он пошел к Захарову.

— Ах да,— сказал Захаров,— ты извини, срочно нужно. Я все равно хотел тебе сказать, ты задержи ужин, потом поужинаем.

Но раньше, чем собрались бригадиры, Игорь Чернявин стал перед Захаровым:

— Я знаю: масло сперли Филька и Ванька. И я прошу: вы их построже допросите.

— Но ведь у тебя нет доказательств?

— Если бы были доказательства, я вас не беспокоил бы, а прямо в совет бригадиров. А вы их хорошенько допросите. Они работают рядом на «Кейстоне» и сперли.

В кабинете сидели Воргунов, Соломон Давидович и Надежда Васильевна. Игорь не стеснялся их присутствия, теперь было все равно, никого нельзя жалеть и ни с кем считаться. Захаров почему-то улыбался и явно не сочувствовал Игорю:

— Что же я могу сделать?

— Их нужно в работу взять, Алексей Степанович. Я их позову.

— Позови.

Звать было недолго. Игорь открыл дверь в комнату совета и сказал:

— Эй вы, ступайте сюда.

Очевидно, обвиняемые прекрасно догадались, кому нужно было «ступать сюда». Филька и Ваня вошли в кабинет, аккуратно салютнули Захарову. Ваня тихонько присел на диване и сразу засмотрелся на потолок. Филька стал перед столом, готовый разговаривать с Захаровым. Захаров поправил пенсне и спросил голосом средней строгости:

— Чернявин вот.. обвиняет вас в том, что вы взяли у него флакон масла.

Филька поднял глаза к Игорю:

— Мы взяли масло? Чудак какой! Ничего мы не брали.

— А я говорю: вы взяли.

У Фильки замечательная мимика: она убедительна, серьезна, пышет здоровьем.

— Ты посуди, Игорь, для чего нам твое масло? У нас свое есть!

— У меня было особенное, дорогое!

— Ах, особенное? Очень жаль! Где оно у тебя стояло?

— Да чего ты прикидываешься? Где стояло! В станке, в шкафике!

Филька даже головой помотал от сильной впечатлительности:

— Воображаю, как тебе жалко!

— Смотрите, он еще воображает! Вы на это масло давно зубы точили.

— Мы и не знали, что оно у тебя есть. Правда же, Ваня, не знали?

Ваню этот разговор, кажется, совсем не интересовал. Ваня больше разглядывал кабинет, это вполне устраивало его, так как избавляло от необходимости встречаться с разными взглядами Соломона Давидовича, Воргунова... Так же, рассматривая кабинет, Ваня завертел головой, значит, действительно они не знали ничего про масло. Игорь закричал:

— Вот распустились! Стоит и брешет: не знали! А сколько вы ко мне приставали: дай помазать! Приставали?

Филька добродушно согласился:

— Ну... приставали.

— И что же?

— Да... ничего... Что же? Не даешь, и не надо.

— А сколько раз вы просили Соломона Давидовича купить вам такого масла? Чуть не со слезами: купите, купите! Что ты теперь скажешь?

Действительно, что теперь скажет Филька? Этот вопрос всех заинтересовал: Захаров даже вперед подался и положил голову на кулаки. Филька повел носом и руку поднял для более убедительного жеста:

— А что ж тут такого? Просили. Ни с какими слезами только, а просили.

— А вот уже четыре дня не просите и не вякаете! А?

Филька отвернулся и прошептал:

— И не вякаем, а что ж?

— А почему это?

— Да до каких же пор приставать? Не покупает — и не надо! Тебе купил, а нам не покупает. Значит, он к тебе особую симпатию имеет!

Блюм не выдержал нейтралитета на своем диване:

— Ах, какой вредный мальчишка!

Ваня не повернул головы, мало ли что могут сказать люди. Но Филька оглянулся и неожиданно для всех подарил Соломона Давидовича очаровательной улыбкой. Соломон Давидович погрозил ему пальцем.

— А мажете вы как? — приставал дальше Игорь

Этого удара Филька, пожалуй, и не ожидал. Ваня тоже вытянулся на диване и навострил уши. Пришлось Фильке снова обиженно отворачиваться:

— Обыкновенно, как...

— Я знаю. Встаете, еще вся колония спит, и в цех. Через окно. Филька мажет, а Ваня на страже стоит. Что, не так?

Захаров теперь не выпускал Филькиных глаз, а это было очень неудобно. Хоть на кого так смотреть все время... И Филька не стал вдаваться в подробности, а ответил коротко:

— Мажем как нам удобнее...

А Ваня Гальченко с дивана поддержал его звонким советом:

— И ты можешь раньше всех вставать и мазать.

Игорь беспомощно развел руками. Соломон Давидович подумал, что нужно зайти с другой стороны:

— Вы такие хорошие мальчики...

Но Захаров перебил его доброе намерение. Не снимая головы с кулаков, он сказал медленно:

— Убирайтесь вон! Нахалы!

Одновременно Филька и Ваня подняли руки. Салют вышел радостный, и только на долю Игоря пришлась самая незначительная порция вредного, дразнящего взгляда. Мальчики, подталкивая друг друга, выбрались из кабинета. Все хохотали громко, только Игорь был недоволен:

— Ну, что ты будешь с ними делать?

Соломон Давидович утешил Игоря:

— Я вам, товарищ Чернявин, еще куплю такого масла. А они пускай уже мажут. Они же влюблены в свой «Кейстон».

Воргунов посмеивался над Игорем:

— Так вы ничего не выяснили с маслом, товарищ Чернявин?

— С ними выяснишь! У меня с ними хорошие отношения, вот они и пользуются. Когда вымажут весь флакон, сами скажут, а теперь — ни за что! Им масла отдавать не хочется. И где они его прячут, интересно знать, я у них уже в спальне смотрел.

— При них?

— А что ж, церемониться с ними буду?

— Да Это... молодцы! Это... Ах, фрезы мне покою не дают ..

В дверь заглянул Баньковский:

— Меня в совет звали, Алексей Степанович?

— Да, очень важный вопрос, прошу присутствовать.

— О фрезах?

— И о фрезах поговорим.

Баньковский скрылся, Воргунов спросил:

— О фрезах совет?

Захаров вышел из-за стола:

— Надеюсь, что фрезы сегодня будут у вас на столе, Петр Петрович.

Володя Бегунок открыл дверь:

— Совет бригадиров собрался, Алексей Степанович.

Торский, несколько удивленный экстренностью совета, открыл заседание.

— Слово Алексею Степановичу.

Захаров оглядел своих бригадиров и обычных гостей:

— У меня слово будет короткое. Я только прошу предоставить слово для доклада Филе Шарию.

— Для доклада? Филька докладчик?

— Да, товарищ Шарий докладчик, и по самому важному вопросу; правда, я не знал, что к этому важному вопросу прибавилось еще и масло товарища Чернявина, но все равно, прошу внимательно выслушать докладчика.

Филька важно поднялся, как полагается докладчику, вышел к столу Торского, заметил слишком веселый взгляд Лиды Таликовой, опустил на одно мгновенье глаза:

— Приходим мы сегодня с Ваней Гальченко в цех, а еще сигнала «вставать» не было...

— «Кейстон» смазывать,— про себя как будто хрипнул Воргунов.

Бригадиры рассмеялись Филька серьезно кивнул:

— Угу. Мы имеем право смазывать наш шепинг?

— Только масло краденое! — сказал Игорь.

Филька повернулся к председателю:

— Витя, я прошу... чтоб меня не оскорбляли.

— Говори, говори,— ответил Витя,— не оскорбляйся.

— Приходим мы с Ваней в цех, давай смазывать, только мы наладились, зашел Рыжиков с Баньковским, из литейной вышли. Мы скорей за Игорин «Самсон Верке» и....

В комнате совета вдруг раздался треск, звук удара, шум неожиданной возни, крик Зырянского:

— Нет! Я смотрю!

От дверей Рыжиков с силой был брошен прямо на середину комнаты. Он упал неудачно — лицом на пол, и, когда поднял лицо, рот у него был в крови. Все вскочили с места. Захаров закричал:

— Колонисты! К порядку! Зырянский, в чем дело? Брацан, подыми этого.

Но Рыжиков и сам поднялся, стоял посреди комнаты и рукавом вытирал окровавленный рот. На руке у него яркая шелковая повязка дежурного бригадира. Зырянский быстро подошел к нему, сильно рванул, повязка осталась у него в руке. Он размахнулся, бросил повязку на пол, зашипел в лицо Рыжикова:

— Даже красную повязку опоганил, сволочь!.. В чем дело? Бежать хотел! Да я за ним с самого утра смотрю. И сел возле дверей, видно, знал, чем пахнет в совете!

— Довольно, Зырянский. Никто ничего еще не знает.— Торский кивнул Фильке. Рыжиков так и остался стоять на середине, трудно было представить себе, чтобы ему кто-нибудь позволил сесть рядом с собой.

Вдруг для всех стало ясно, что Рыжиков — враг, и сам Рыжиков не возражал против этого. Он не сказал ни слова, не протестовал против насилия, он смотрел вниз, в тот самый пол, на котором только что расшиб свой мягкий нос. К Фильке теперь все бригадиры обратили напряженные, острые глаза, кто-то подтолкнул:

— Рассказывай, рассказывай!

— Да, мы спрятались за «Самсон Верке» и сидим. А Баньковский говорит Рыжикову: вчера Беглов с фрезами допоздна возился, они здесь, фрезы. И сейчас же пошли, а отмычек у них... вот сколько. Раз, раз, открыли тумбочку Семена и взяли. А потом Рыжиков и спрашивает: продал штангены? А Баньковский отвечает: нет, не продал, это неважно, так и сказал: это неважно! А Рыжиков еще и смеется: ха, говорит, вот потеха теперь пойдет, без фрезов! А Баньковский ничуть не смеется, а строго так говорит: всякая рвань стала заводы строить. И больше ничего не говорил, а только все время был очень злой. А Рыжиков не злой, смеялся. И ушли. И фрезы понесли, в карманах фрезы понес Баньковский. А мы тогда и шепинг забыли смазать и побежали, Алеше рассказали, а потом и Алексею Степановичу.

Филька кончил и смотрел на Захарова. Захаров взял его за пояс, притянул к себе, и так уже до конца Филька простоял рядом с Захаровым.

Все в совете обратились сейчас к Баньковскому. Он сидел в углу и дрыгал одной ногой, положенной на другую. Торский спросил:

— Что вы можете сказать, Баньковский?

Баньковский поднял лицо, хоть и побледневшее, но вовсе не испуганное:

— Нечего мне говорить, мало ли чего мальчишки набрешут.

Зырянский засмеялся ему в лицо:

— Ему нечего говорить, а нам нечего спрашивать. Надо немедленно произвести обыск у него в комнате.

— А мы имеем право?

— А мы без права. А может, Баньковский разрешит? Вы разрешите, гражданин Баньковский?

И Зырянский спрашивал насмешливо, и насмешливо смотрели на Баньковского колонисты, а все-таки Баньковский ломался:

— Я определенно не возражаю, но только вы и права не имеете. Это, если каждый будет обыскивать...

— Тогда мы без разрешения...

Все вперились взглядами в Захарова, он махнул рукой:

— Нет, этого случая мы не пропустим. Какие там еще разрешения? Вы, Баньковский, пойманы на месте преступления, и с вами мы церемониться не будем.

— А кто поймал? — закричал Баньковский.

— Мы поймали, понимаете, мы? Торский, посылай комиссию для обыска — три человека.

Комиссию сразу наметили: Зырянский, Чернявин, Похожай.

— Отправляйтесь,— сказал Торский,— старшим — Зырянский.

— И Баньковского брать?

— Я никуда не пойду и ключей не дам. И решительно протестую.

Филька воспользовался паузой и произнес басом:

— Иди, Баньковский, не валяй дурака.

Баньковский после этого молча вышел вместе с комиссией.

Только теперь вспомнили все, что на середине стоит с разбитым носом Рыжиков. Захаров негромко сказал:

— Может быть, Рыжиков нам что-нибудь расскажет?

И, к общему удивлению, Рыжиков поднял печальное лицо, из тех лиц, которые просят и молят о понимании и сочувствии. Моргая глазами, страдальчески морщился и .. и очень много интересного рассказал бригадирам. Может быть, он рассчитывал, что его искренность подкупит колонистов, может быть, хотел всю вину свалить на Баньковского, но темных мест после его рассказа не осталось. И пальто, и занавес, и серебряные часы, и множество всякого инструмента перестали быть таинственными. И французские ключи он подбросил Левитину, и два раза поджигал старый стадион. Рассказывал Рыжиков монотонным, страдающим голосом, без увлечения и без подробностей, но не забывал морщиться и моргать.

— Баньковский сказал: если бы на бригадиров думали! Чтоб у них бригадиры в подозрении были!.. А я согласился, а потом взял у Воленко часы и еще хотел подложить что-нибудь Зырянскому, только Баньковский так говорил все, а я говорю ему: не поверят про Зырянского.

Когда он кончил, Захаров спросил:

— Что же ты... из-за денег?

— На что мне деньги! Это все Баньковский говорил. И про моего отца говорил: отец твой хорошо жил, а теперь ты пропадешь через Советскую власть. Ну, а я слушал, конечно, по глупости, и все делал. А мне отец что, я про отца не думаю...

— Так,— произнес Зырянский,— ты меня уже разжалобил. У меня слезы на глазах, видишь?

Рыжиков посмотрел в глаза Зырянского и отвернулся. Ничего он там не увидел, кроме самого беспощадного приговора.

Через час приехал Крейцер, вызванный Захаровым по телефону. Он вошел в комнату, как и раньше всегда входил, бодрый и способный смеяться, но не смеялся, а сказал, отвечая на общий салют:

— Здравствуйте, дорогие! Поймали? Обыск делали? Правильно. Фрезы нашли? И штангены? Хорошо. А давайте-ка я с ними по секрету поговорю. Впрочем, я с одним Баньковским — два слова.

В кабинете Захарова он не больше пяти минут поговорил с Баньковским, вышел оттуда и сказал:

— Это только ниточка. А клубочек НКВД распутает. Надо их отправить в город. Алексей Степанович, хороших хлопцев, чтобы не выпустили, человек шесть!

— Выпустить? О, на что угодно, а на это у наших способностей, кажется, не хватит. Зырянский, конечно.

— Я не пойду с Зырянским,— прохрипел Рыжиков.

— Почему?

— Я не пойду. Он меня... он меня убьет.

Крейцер весело повернулся к Зырянскому:

— В самом деле? Алеша!

Зырянский побледнел и сжал губы:

— Я за себя не могу ручаться.

— Здорово,— сказал Крейцер.— Кто же тогда?

— Чернявин...

— Алексей Степанович, я его не убью, а бить всю дорогу буду. За Воленко и за всю колонию.

Крейцер закричал на весь совет:

— Это что такое? Это что за безобразие! Я приказываю: Зырянский, Чернявин, Похожай, кто еще... Брацан, Поршнев .

— Я,— сказал Филька.

— Подрасти!

— Все подрасти и подрасти!

— Подрасти, ничего... и Клюшнев! Вот, шесть человек. Дам записку, доставите этих, и ни один волос у них с головы не упадет, и пальцем никто не тронет. Поняли?

Все шестеро встали, как один, подняли руки:

— Есть, товарищ Крейцер!

— То-то же! Убийцы какие, подумаешь! Ну, поздравляю вас, ребята, поздравляю, дорогие! А дайте же мне посмотреть на героев, на самых главных.

И Филька и Ваня стали перед Крейцером, смущенные общим вниманием и своими собственными заслугами перед коллективом.

— Вот эти? О! Ваня Гальченко? Мы с тобой работали вместе! На закладке! А Фильку я хорошо знаю, старые приятели! Молодцы! Жму вам руки от имени Советской власти.

И Крейцер крепкой, широкой рукой по-настоящему пожал маленькие руки колонистов.

Когда все кончилось, когда увели арестованных, когда прошло бурное и радостное общее собрание, когда уехал Крейцер, Филька и Ваня принесли в кабинет флакон с остатками дорогого масла. Речь опять говорил Филька:

— Мы только два раза помазали, Алексей Степанович. И пускай Игорь не обижается. Мы и «Самсон Верке» его тоже смазывали, а не только свой шепинг.

Захаров долго и серьезно смотрел в глаза мальчиков и сказал им:

— Вы даже представить себе не можете, какие вы замечательные люди! И вы никогда этого не поймете, и это хорошо, по крайней мере задаваться не будете!

Филя и Ваня не вполне поняли, что сказал Захаров. Они ответили ему, как полагается отвечать заведующему:

— Есть не задаваться!

21. БУДЕМ ПОМНИТЬ

К концу пришла эта маленькая история в маленьком детском коллективе, в скромной колонии имени Первого Мая. Счастливый конец всегда отмечается торжеством, и искренно и открыто торжествовали первомайцы свою победу: действительно, к празднику 7 ноября не осталось врагов в колонии — ни на производстве, ни в бригадах. Открытыми глазами теперь можно смотреть друг другу в глаза, и не стыдно никому видеть утром два узких флага на башнях главного здания.

В конце октября уехал в Ленинградское военно-морское инженерное училище имени Дзержинского секретарь совета бригадиров Виктор Торский. И когда стали выбирать нового секретаря, Илья Руднев сказал:

— Надо выбрать Игоря Чернявина. Он человек с далеким глазом. Он тогда один говорил, что это Рыжиков — враг, а мы ему не поверили, Игорю. Нам нужен только такой секретарь.

И наверное, все так и раньше думали, потому что выбрали Игоря единогласно. Он сдал восьмую бригаду новому бригадиру, Санчо Зорину, и сел рядом с Захаровым, чтобы вместе управлять трудной работой колонии. И первым делом нового секретаря было возвращение Воленко. Адрес его хорошо сохранился в тайниках четвертой бригады. В Полтаву была отправлена делегация из трех колонистов, не пожалел для этого Захаров никаких денег. Делегация повезла Воленко письменное приглашение общего собрания возвратиться в колонию, деньги на дорогу и новый парадный костюм. С полным правом в эту делегацию включили и Ваню Гальченко, который тогда придумал взять у Воленко адрес.

Воленко возвратился на первый день праздника. Удивлялись, наверное, горожане, почему это первомайцы с демонстрации не домой пошли через Хорошиловку, а в противоположную сторону, к вокзалу. На широкой и красивой вокзальной площади они выстроились. Совет бригадиров и Захаров пошли к самому поезду, а когда они вышли на площадь вместе с Воленко, их встретили знаменным салютом. Двести пар глаз смотрели на Воленко, и не было ни одной пары, в которой не кипели бы слезы.

И горожане смотрели на первомайцев и удивлялись: почему это такой стройный отряд мальчиков и девочек под музыку замер в салюте и почему так заметно у них по щекам сбегают слезы? А потом поняли горожане, что это им показалось: когда дал Захаров команду «вольно» и все бросились здороваться с Воленко, а многие и целоваться, поняли горожане, что у колонистов не горе, а радость сегодня.

Воленко прошел по фронту колонистов, тонкие его, строгие губы улыбались и с благодарностью к товарищам и с гордостью за свою колонию. А когда опять стали колонисты в строй, вышел вперед Игорь Чернявин и, не обращая внимания на зрителей, на праздничную и счастливую, нарядную толпу, сказал:

— Дома будем говорить подробнее. А сейчас просим Воленко принять сегодняшнее дежурство по колонии. Нам будет приятно, если в день великого праздника дежурным бригадиром будет бригадир первой.

И тут же на площади Руднев и Воленко вытянулись перед заведующим. Руднев сказал:

— Товарищ заведующий! Дежурство по колонии бригадиру первой бригады Воленко сдал.

И Воленко сказал:

— Товарищ заведующий! Дежурство по колонии от бригадира десятой Руднева принял.

И было так радостно всем колонистам услышать голос Воленко, и казалось многим, что все прошлое было сном, и не было никакого Рыжикова, и не было никакого горя у колонистов. И еще радостнее было возвращаться домой через торжественный город, ставить легкую танцующую ногу под счастливый серебряный марш и видеть краем глаза, как любуются люди на тротуарах колонней первомайцев, и гордиться своей удачей в прошлом и своей удачей в будущем.

Вечером на собрание приехал Крейцер, поздравлял колонистов с праздником, с возвращением Воленко, а потом сказал:

— Дорогие друзья! Только не успокаивайтесь. На своей шкуре вы почувствовали, как трудно бороться с врагом. Разве у вас Рыжиков не был бригадиром первой? Разве вы не тянулись перед ним и не говорили «есть, товарищ дежурный»? А он вовсе был не товарищ, а если и был дежурным, так это был дежурный враг. Смотрите, вы теперь знаете, что такое враг и сколько он зла может принести. Враг никогда не придет к вам сереньким и скучным. Он всегда будет в самые глаза ваши пролезать, в самую душу проникать, он всегда постарается вам понравиться, он захочет кое-что сделать для вас, чтобы вы считали его своим товарищем. А вы смотрите внимательно, вы уже многому научились. Есть у вас такой Подвесько. Слышал я, он провинился перед вами, и вы его даже не наказали. Правильно, потому что провинился по неопытности и по ошибке. Смотрите, и дальше разбирайтесь в этом. И вам это нужно и Советской стране.

Теперь колонисты за каждым словом Крейцера видели сущность вопроса. Они видели, как опасен и скрытен может быть враг, и они готовились встретить его в жизни с неприкрытой, уничтожающей ненавистью, встретить в самом начале его предательства.

Не прошло и месяца, как вместе со всем Союзом они увидели страшный смертельный взмах вражеской руки и на всю жизнь запомнили это видение.

В этот день Захаров вышел из своей квартиры поздно. Ночью он работал и, уходя спать, сказал часовому, что на поверке не будет. Правда, он слышал сигнал побудки, но не спешил. Выйдя во двор, он по привычке остановился у дверей и бросил общий взгляд на колонию. Было еще темно, но уже краснело небо на востоке. На фоне зари он видел флаги на башнях главного корпуса и... что-то странное происходило с флагами. Один из них вдруг начал опускаться. На фоне красной зари он казался черным, спускаясь, он вздрагивал, и его узкий конец подымался. На середине флагштока он остановился, и начал спускаться второй флаг. Захаров с усилием старался вспомнить: второе декабря... нет... что-то случилось! Он побежал к главному зданию. Среди темных кустов цветников на него налетел Игорь.

— Что такое? Почему флаги?

— Киров... Алексей Степанович! Киров... убит!

— Что?.. Откуда знаете?

— По радио сейчас только...

Захаров вбежал в здание. Растрепанная толпа колонистов забила весь вестибюль. Говорили шепотом, чего-то ждали, на диване плакала девочка.

Дежурный бригадир Оксана Литовченко проталкивалась к Захарову:

— Алексей Степанович, не могу дежурить.

— Как это «не могу»?

— Я не могу, Алексей Степанович!

Захаров понял, что от нее толку уже не добьешься. Она упала с рыданиями на диван, повторяя одну и ту же, ставшую уже бессмысленной фразу:

— Ой, не могу, ой, не могу, Алексей Степанович!

Он стал отстегивать ее повязку.

Колонисты смотрели на Оксану с молчаливым испугом, их глаза напрягались в неподатливых поворотах, они хотели быть мужчинами. Захаров отдал повязку Игорю.

— Кому дежурить? — спросил Игорь.

— Дежурить? — Захаров забыл, что он хотел сказать.— Дежурить... Ты о чем меня спросил?

— Кому дежурить?

— Ага ..— Захаров хотел сообразить, и что-то мешало ему. Он, наконец, нашел выход: — Дежурь сам. Понимаешь, сам дежурь. Сейчас... Общее собрание немедленно. Оркестр. Да... креп... пошли ко мне домой... Креп на знамя.

Захаров прошел в кабинет. На всех диванах в комнате совета и в кабинете сидели малыши и молчали, заложив руки между колен. Они сидели тесно и неподвижно. При входе Захарова встали машинально и машинально подняли руки, и потом снова опустились на диван и снова заложили руки между колен. Захаров не обратил на них внимания, сел за стол и задумался. Наконец догадался:

— Расскажите .. подробнее, что передавало радио.

Малыши с большим трудом, помогая друг другу, рассказали ему о том, что слышали. Донеслись сигналы общего сбора и сбора оркестра. Малыши сорвались с дивана и побежали в зал, но и на бегу они сегодня были как бы неподвижны.

Общее собрание началось в подавленном, тяжелом молчании. Встретили знамя, увитое черным крепом, обернулись к Захарову:

— Товарищи! Страшное горе и страшное преступление... Оказывается, мы даже не знали, какие есть подлые враги, сколько еще злобы и ненависти против нас, против нашего государства, против наших вождей. Теперь вы понимаете, что это такое, товарищи колонисты?

— Понимаем! — ответили, как один, двести колонистов, ответили негромко, единодушно задумчивым ропотом.

И сорок трубачей заиграли революционный траурный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой...», потом шопеновский марш, марш торжественной скорби. Увитое горестным крепом бархатное красное знамя склонилось. Вышел вперед секретарь совета Игорь Чернявин и сказал:

— Жизнь наша... и наше счастье, товарищи, в наших руках. Из наших рук его хотят вырвать. Стреляют! Сволочи, они убили Кирова, они думали что? Они думали: одних убить, других запугать, третьих обмануть! Они так думали! А для чего? Для того, чтобы вернулась старая жизнь, которая им нравится, потому что в той жизни они будут хозяевами, а мы будем у них рабочей скотиной! Мы будем рабочей скотиной? Они не знают, гады, они не знают, что мы уже привыкли быть людьми, настоящими людьми, рабочей скотиной мы теперь не сумеем. Так мы и скажем: синьоры, мы не умеем! Колонисты! Скажите, что я правильно говорю: и сейчас, и когда вырастем, и всегда будем помнить товарища Кирова, и всегда будем помнить, кто его убил и для чего! И не простим, и не пощадим, уничтожим каждого, кто станет на нашей дороге. Только я говорю: не нужно ждать момента, не нужно ничего ждать. Каждый день, каждый час думать об этом. Теперь мы еще лучше знаем, для чего наш завод! Наш завод — это вооружение, это борьба, это новые люди и такие люди, которые не подкачают и ничего не простят. Нестеренко поехал в авиастроительный, Колос поехал в университет, Миша Гонтарь сел за машину,— никто в рабы не пойдет. А этот день будем помнить. Я не знаю, что сказать, я хочу, чтобы этот день, как тревога, понимаете, как сигнал тревоги, мы всегда слышали. Я предлагаю: до той минуты, когда будут хоронить товарища Кирова, пусть наше знамя здесь, возле Сталина, стоит, пусть стоит склоненным, и мы станем с винтовками. Каждый колонист будет помнить, как он стоял на страже возле нашего знамени.

И двое суток стояло бархатное знамя колонии имени Первого Мая, и день и ночь через каждые пятнадцать минут сменялись возле знамени парные часовые. Они стояли «смирно» с винтовками в руках, в парадных костюмах, только воротники белые сняли в знак траура. И до поздней ночи сидели на бесконечном диване в тихом клубе колонисты, а пацаны сидели на ступеньках к бюсту Сталина и говорили шепотом.

А когда унесли знамя из тихого клуба и когда поднялись узкие красные флаги к верхушкам флагштоков и развернулись по ветру, с новой страстью, с новой настойчивостью, с новым разумом бросились колонисты к станкам, к школьным столам, к строгому порядку своего коллектива. Они продолжали идти вперед, они смотрели направо и налево и далеко, далеко видели: теряясь в туманных далях краев и границ, шел вместе с ними все вперед и вперед великий фронт социалистического наступления.

Жизнь продолжается, и продолжается борьба. И продолжается радость, уже отвоеванная в жизни, и продолжается любовь. Игорь Чернявин, у которого большой рот выражает теперь не только иронию, но и силу, Игорь Чернявин идет вперед, и в его руке рука Оксаны. И Ванда Стадницкая — мать и жена, ударница на заводе, идет вперед и улыбается всегда, когда вспоминает прошлые свои неудачи. И Ваня Гальченко и вся четвертая бригада — славная, непобедимая четвертая — серебряным маршем звенит по земле, и другие бригады с ними рядом, великие бригады трудящихся СССР — исторические бригады тридцатых годов.



Вынос знамен коммуны нм Ф. Э. Дзержинского



Коммунар-сигнальный.

Здание коммуны им. Ф. Э Дзержинского.

Редколлегия коммунарских газет.



Спальня коммунаров.

Педагогический коллектив коммуны им Ф. Э Дзержинского
А. С. Макаренко второй слева в нижнем ряду. 1932 г.



Цех завода электроинструментов



Коммунар-фрезеровщик.



В швейной мастерской



Заключительный момент
сборки электросверлилок.

Комната выдачи книг коммунарской библиотеки.



Урок немецкого языка.

В клубе коммуны

Драматический кружок и его художественный руководитель А. С. Макаренко
Кружковцы в костюмах действующих лиц политического ревю «Путешествие коммунаров по Европе», 1934.

Коммунары-дзержинцы у стенда «Завод дзержинцев»



Коммунары-дзержннцы у стенда «Военная нгра дзержннцев».



Инструктаж перед соревнованием

Волейбол.

Коммунары в Алупке



Строй коммунаров в Сочи. Впереди слева А. С. Макаренко



Коммунары на пароходе «Абхазия» А С Макаренко на верхней палубе.



Лагерь коммунаров-дзержинцев в Сочи



Коммунары на улицах г Харькова

Корпус завода ФЭД(ов).



Электросверлилка типа ФД-3 и суппортная электро
сверлилка типа ФД-2 — продукция коммунаров



Фотоаппарат ФЭД — продукция коммунаров.

2

трудно не работать в таком саду, в особенности если этот сад ваш. Будьте добры займитесь этим садом: вскапывайте, поливайте, [illegible] [illegible], обрезывайте лишние сучья. [illegible] такое слово одного гениального садовника:

«Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево».

Обратите внимание «плодовое» ~~[illegible]~~ Не только аромат и не только «[illegible]» цветы, плоды вот что должно нас интересовать в особенности. И поэтому не набрасывайтесь на цветы с одними вздохами и поцелуями, возьмите в руки лопату, ножницы, лейку, достаньте лестницу. А когда на вашем [illegible] появится вредитель, возьмите парижскую зелень. Не бойтесь, побрызгайте немножко. Пусть даже цветам будет немножко неприятно, но [illegible]

Страница рукописи «Книги для родителей». Раздел 1-й.



Агафия Николаевна Пенкина, в «Книге для родителей» Анна Семеновна Веткина, с учениками старших классов средней школы № 50, г. Харьков, 1952 г.



Иллюстрации к «Книге для родителей»
художника С Письменного



А С Макаренко с группой коммунаров, закончивших Харьковский юридический институт, 1939 г

КНИГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Текст
(с некоторыми сокращениями
и редакционными правками
печатается по изданию:
Макаренко А. С. Книга для родителей:
Л.: Лениздат, 1981.

«Книга для родителей» написана мною в сотрудничестве с моей женою Галиной Стахиевной Макаренко.

А. Макаренко

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Может быть, книга эта — дерзость?

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны и, значит, и историю мира. Могу ли я на свои плечи поднять величественную тяжесть такой необъятной темы? Имею ли я право, посмею ли я разрешить или развязать хотя бы главные ее вопросы?

К счастью, такая дерзость от меня не требуется. Наша революция имеет свои великие книги, но еще больше у нее великих дел. Книги и дела революции — это уже созданная педагогика нового человека. В каждой мысли, в каждом движении, в каждом дыхании нашей жизни звучит слава нового гражданина мира. Разве можно не услышать этого звучания, разве можно не знать, как мы должны воспитывать наших детей?

Но и в нашей жизни есть будни, и в будни родятся сложные наборы мелочей. В мелочах жизни теряется иногда человек. Наши родители, бывает, в этих мелочах ищут истину, забывая, что у них под руками великая философия революции.

Помочь родителям оглянуться, задуматься, открыть глаза — скромная задача этой книги.

Наша молодежь — это ни с чем не сравнимое мировое явление, величия и значительности которого мы, пожалуй, и постигнуть не способны. Кто ее родил, кто научил, воспитал, поставил к делу революции? Откуда взялись эти десятки миллионов мастеров, инженеров, летчиков, комбайнеров, командиров, ученых? Неужели это мы, старики, создали эту молодежь? Но когда же? Почему мы этого не заметили? Не мы ли сами ругали наши школы и вузы, походя ругали, скучая, привычно; не мы ли считали наши наркомпросы достойными только ворчанья? И семья как будто трещала по всем суставам [1], и любовь как будто не зефиром дышала у нас, а больше сквозняком прохватывала. И ведь некогда было: строились, боролись, снова строились, да и сейчас строимся, с лесов не слезаем.

А смотрите: в непривычно сказочных просторах краматорских цехов, на бесконечных площадях сталинградского тракторного, в сталинских, макеевских, горловских шахтах, и в первый, и во второй, и в третий день творения, на самолетах, на танках, в подводных лодках, в лабораториях, над микроскопами, над пустынями Арктики, у всех возможных штурвалов, кранов, у входов и выходов — везде десятки миллионов новых, молодых и страшно интересных людей.

Они скромны. Они нередко малоизысканны в беседе, у них иногда топорное остроумие...— это верно.

Но они хозяева жизни, они спокойны и уверенны, они, не оглядываясь, без истерики и позы, без бахвальства и без нытья, в темпах, совершенно непредвиденных,— они делают наше дело. А покажите им какое-нибудь такое видение, о котором и мы уже начинаем забывать, ну вот, например: «Машиностроительный завод Н. А Пастухова и С—я»,— и вы увидите, какое тонкое остроумие будет обнаружено ими в каждом их движении!

На фоне этого исторического чуда такими дикими кажутся семейные «катастрофы», в которых гибнут отцовские чувства и счастье матерей, в которых ломаются и взрываются характеры будущих людей СССР.

Никаких детских катастроф, никаких неудач, никаких процентов брака, даже выраженных сотыми единицы, у нас быть не должно! И все-таки в некоторых семьях бывает неблагополучно. Редко — это катастрофа, иногда это открытый конфликт, еще чаще это конфликт тайный: родители не только не видят его, но и не видят и никаких предвестников.

Я получил письмо, написанное матерью:

«Мы имеем одного лишь сына, но лучше бы его не было... Это такое страшное, непередаваемое горе, сделавшее нас раньше времени стариками. Не только тяжело, а и дико смотреть на молодого человека, падающего все глубже и глубже, в то время, когда он мог бы быть в числе лучших людей. Ведь сейчас молодость — это счастье, радость!

Он каждый день убивает нас, убивает настойчиво и упорно всем своим поведением, каждым своим поступком».

Вид у отца малопривлекательный: лицо широкое, небритое, однощекое. Отец этот неряшлив: на рукаве какие-то перья, куриные, что ли, одно перо прицепилось к его пальцу, палец жестикулирует над моей чернильницей, и перо с ним.

— Я работник... понимаете, я работаю... вот... и я его учу... Вы спросите его, что он скажет? Ну, что ты скажешь: я тебя учил или нет?

На стуле у стены мальчик лет тринадцати, красивый, черноглазый, серьезный. Он, не отрываясь, смотрит на отца, прямо ему в глаза. В лице мальчика я не могу прочитать никаких чувств, никаких выражений, кроме спокойно-пристального, холодного внимания.

Отец размахивает кулаком, наливая кровью перекошенное лицо.

— Единственный, а? Ограбил, оставил вот... в чем стою!..

Кулак его метнулся к стене. Мальчик моргнул глазами и снова холодно-серьезно рассматривал отца.

Отец устало опускается на стул, барабанит пальцами, оглядывается; все это в полном замешательстве. Быстро и мелко дрожит у него верхний мускул щеки и ломается в старом шраме.

Он опускает большую голову и разводит руками:

— Возьмите куда-нибудь... что ж... Не вышло. Возьмите...

Он произносит это подавленным просительным голосом, но вдруг снова возбуждается, снова вздымает кулак.

— Ну, как это можно, как? Я партизан. Меня вот... сабля шкуровская... голов мою... разрубила! Для них, для тебя!

Он поворачивается к сыну [redacted] опускает руки [redacted] карманы. И говорит с тем глубочайшим пафосом муки, который бывает только в последнем слове человеческом:

— Миша! Как же это можно?! Единственный сын!

Мишины глаза по-прежнему холодны, но губы вдруг тронулись с места, какая-то мгновенная мысль пробежала по ним [redacted] скрылась,— ничего нельзя разобрать.

Я вижу: это враги, враги надолго,— может быть, на всю жизнь. На каких-то пустяках сшиблись эти характеры, в каких-то темных углах души разыгрались инстинкты, расходились темпераменты Нечаянный взрыв,— обычный финал неосторожного обращения с характером,— этот отец, конечно, взял палку. А сын поднял против отца свободную, гордую голову,— недаром ведь отец рубился со шкуровцами! Так было вначале. Сейчас он извивается [redacted] беспамятстве, а сын?

Я гляжу на Мишу сурово и тихо говорю:

— Поедешь в коммуну Дзержинского! Сегодня!

Мальчик выпрямился на стуле. В его глазах заиграли целые костры радости, осветили всю комнату, [redacted] в комнате стало светлее. Миша ничего не сказал, но откинулся на спинку стула [redacted] направил родившуюся улыбку прямо на шкуровский шрам, на замученные очи батька. И только теперь я прочитал [redacted] его улыбке неприкрытую, решительную ненависть.

Отец печально опустил голову.

Миша ушел с инспектором, [redacted] отец спросил у меня, как у оракула:

— Почему я потерял сына?

Я не ответил. Тогда отец еще спросил:

— Там ему хорошо будет?

Книги, книги, книги до потолка. Дорогие имена на великолепных корешках. Огромный письменный стол. На столе тоже книги, монументальный саркофаг чернильницы, сфинксы, медведи, подсвечники.

[redacted] этом кабинете жизнь кипит, книги не только стоят на полках, [redacted] [redacted] шелестят [redacted] руках, газеты не только валяются между диванными подушками, а [redacted] распластываются перед глазами; здесь события обсуждаются, живут — [redacted] интонациях, украшенных тонким знанием. А между событиями, растворенные в табачном дыме, ходят по кабинету лысины и прически, бритые подбородки, американские усики [redacted] янтарные мундштуки [redacted] [redacted] рамках роговых оправ смотрят глаза, увлажненные росой остроумия.

В просторной столовой чай подается не богатый, не старомодный самоварный чай, не ради насыщения, а чай утонченный, почти символический, украшенный фарфором, кружевными салфетками [redacted] строгим орнаментом аскетического печенья. Чуточку томная, немножко наивная, изысканно рыженькая хозяйка балованными маникюрными пальчиками дирижирует чаем. К чаю прилетают веселым роем имена артистов [redacted] балерин, игриво-проказливые новеллы, легкокрылые жизненные эпизодики. Ну, а если к чаю подадут закуску, и улыбающийся хозяин два-три тура сделает с графинчиком, тогда после чая снова переходят в кабинет, снова закурят, придавят на диване газетные листы, подомнут боками подушечки и, откидывая головы, захохочут над последним анекдотом.

Разве это плохо? Кто его знает, но среди этих людей всегда вертится и заглядывает в глаза двенадцатилетний Володя, мальчик худенький и бледный, но энергичный. Когда очередной анекдот почему-либо запаздывает выходом, папа подает Володю, подает в самой миниатюрной порции. В театральной технике это называется — «антракт».

Папа привлекает Володю к своим коленям, щекочет в Володином затылке и говорит:

— Володька, ты почему не спишь?

Володя отвечает:

— А ты почему не спишь?

Гости в восторге. Володя опускает глаза на папино колено и улыбается смущенно,— гостям так больше нравится.

Папа потрепывает Володю по какому-либо подходящему месту и спрашивает:

— Ты уже прочитал «Гамлета»?

Володя кивает головой.

— Понравилось?

Володя и в этот момент не теряется, но смущение сейчас не у места:

— А, не очень понравилось! Если он влюблен в... эту... в Офелию, так почему они не женятся? Они волынют, а ты читай!

Новый взрыв хохота у гостей. Из угла дивана какой-нибудь уютный бас прибавляет необходимую порцию перца:

— Он, подлец, алиментов платить не хочет!

Теперь и Володя хохочет, смеется и папа, но очередной анекдот уже вышел на сцену:

— А вы знаете, что сказал один поп, когда ему предложили платить алименты:

«Антракт окончен». Володя вообще редко подается в таком программном порядке,— папа понимает, что Володя приятен только в малых дозах. Володе такая дозировка не нравится. Он вертится в толпе, переходит от гостя к гостю, назойливо прислоняется даже к незнакомым людям и напряженно ловит момент, когда можно спартизанить: и себя показать, и гостей развеселить, и родителей возвеличить.

За чаем Володя вдруг вплетает в новеллу свой звонкий голос:

— Это его любовница, правда?

Мать воздевает руки и восклицает:

— Вы слышите, что он говорит? Володя, что ты говоришь?!

Но на лице у мамы вместе с некоторой нарочитой оторопелостью написаны и нечаянные восхищение и гордость: эту мальчишескую развязность она принимает за проявление таланта. В общем списке изящных пустяков талант Володи тоже уместен: японские чашки, ножики для лимона, салфетки и... сын замечательный.

В мелком и глупом тщеславии родители неспособны присмотреться к физиономии сына и прочитать на ней первые буквы будущих семейных неприятностей. У Володи очень сложное выражение глаз. Он старается сделать их невинными детскими глазами,— это по специальному заказу, для родителей, но в этих же глазах поблескивают искорки наглости и привычной фальши,— для себя.

Какой из него может выйти гражданин?

Дорогие родители!

Вы иногда забываете о том, что в вашей семье растет человек, что этот человек на вашей ответственности.

Пусть вас не утешает, что это не больше, как моральная ответственность.

Может настать момент, вы опустите голову и будете разводить руками в недоумении, и будете лепетать, может быть, для усыпления все той же моральной ответственности:

— Володя был такой замечательный мальчик! Просто все восторгались.

Неужели вы так никогда и не поймете, кто виноват?

Впрочем, катастрофы может и не быть.

Наступает момент, когда родители ощущают первое, тихонькое огорчение. Потом второе. А потом они заметят среди уютных ветвей семейного дерева сочные ядовитые плоды. Расстроенные родители некоторое время покорно вкушают их, печально шепчутся в спальне, но на людях сохраняют достоинство, как будто в их производстве нет никакого прорыва. Ничего трагического нет, плоды созрели, их внешний вид достаточно приятен.

Родители поступают так, как поступают все бракоделы: плоды сдаются обществу как готовая продукция...

Когда в вашей семье появляется первая «детская» неурядица, когда глазами вашего ребенка глянет на вас еще маленькая и слабенькая, но уже враждебная зверушка, почему вы не оглядываетесь назад, почему вы не приступаете к ревизии вашего собственного поведения, почему вы малодушно не спрашиваете себя: был ли я в своей семейной жизни большевиком?

Нет, вы обязательно ищете оправданий...

Человек в очках, с рыженькой бородкой, человек румяный и жизнерадостный, вдруг завертел ложечкой в стакане, отставил стакан в сторону и схватил папиросу:

— Вы, педагоги, все упрекаете: методы, методы! Никто не спорит, методы, но разрешите же, друзья, основной конфликт!

— Какой конфликт?

— Ага! Какой конфликт! Вы даже не знаете? Нет, вы его разрешите!

— Ну, хорошо, давайте разрешу, чего вы волнуетесь?

Он вкусно затянулся, пухлыми губками выстрелил колечко дыма и... улыбнулся устало:

— Ничего вы не разрешите. Конфликт из серии неразрешимых. Если вы скажете, тем пожертвовать или этим пожертвовать, какое же тут разрешение? Отписка! А если ни тем, ни этим нельзя пожертвовать?

— Все же интересно, какой такой конфликт?

Мой собеседник повернулся ко мне боком. Поглядывая на меня сквозь дым папиросы, перекидывая ее в пальцах, оттеняя папиросой мельчайшие нюансы своей печали, он сказал:

— С одной стороны — общественная нагрузка, общественный долг, с другой стороны — долг перед своим ребенком, перед семьей. Общество требует от меня целого рабочего дня: утро, день, вечер,— все отдано и

распределено. А ребенок? Это ж математика: подарить время ребенку — значит сесть дома, отойти от жизни, собственно говоря, сделаться мещанином. Надо же поговорить с ребенком, надо же много ему разъяснить, надо же воспитывать его, черт возьми!

Он высокомерно потушил в пепельнице недокуренную нервную папиросу.

Я спросил осторожно:

— У вас мальчик?

— Да, в шестом классе,— тринадцать лет Хороший парень и учится, но он уже босяк. Мать для него прислуга. Груб. Я же его не вижу. И представьте, пришел к нему товарищ, сидят они в соседней комнате, и вдруг слышу: мой Костик ругается. Вы понимаете, не как-нибудь там, а просто кроет матом.

— Вы испугались?

— Позвольте, как это «испугался»? В тринадцать лет он уже все знает, никаких тайн. Я думаю, и анекдоты разные знает, всякую гадость!

— Конечно, знает.

— Вот видите! А где был я? Где был я, отец?

— Вам досадно, что другие люди научили вашего сына ругательным словам и грязным анекдотам, а вы не приняли в этом участия?

— Вы шутите! — закричал мой собеседник.— А шутка не разрешает конфликта!

Он нервно заплатил за чай и убежал.

А я вовсе не шутил. Я просто спрашивал его, а он что-то лепетал в ответ. Он пьет чай в клубе и болтает со мной,— это тоже общественная нагрузка А дай ему время, что он будет делать? Он будет бороться с неприличными анекдотами? Как? Сколько ему было лет, когда он сам начал ругаться? Какая у него программа? Что у него есть, кроме «основного конфликта»? И куда он убежал? Может быть, воспитывать своего сына, а может быть, в другое место, где можно еще поговорить об «основном конфликте»?

«Основной конфликт» — отсутствие времени — наиболее распространенная отговорка родителей-неудачников. Защищенные от ответственности «основным конфликтом», они рисуют в своем воображении целительные разговоры с детьми. Картина благостная: родитель говорит, а ребенок слушает. Говорить речи и поучения собственным детям — задача невероятно трудная. Чтобы такая речь произвела полезное воспитательное действие, требуется счастливое стечение многих обстоятельств Надо, прежде всего, чтобы вами выбрана была интересная тема, затем необходимо, чтобы ваша речь отличалась изобразительностью, сопровождалась хорошей мимикой; кроме того, нужно, чтобы ребенок отличался терпением.

С другой стороны, представьте себе, что ваша речь понравилась ребенку На первый взгляд может показаться, что это хорошо, но на практике иной родитель в таком случае взбеленится. Что это за педагогическая речь, которая имеет целью детскую радость? Хорошо известно, что для радости есть много других путей; «педагогические» речи, напротив, имеют целью огорчить слушателя, допечь его, довести до слез, до нравственного изнеможения.

Дорогие родители!

Не подумайте, пожалуйста, что всякая беседа с ребенком не имеет смысла. Мы предостерегаем вас только от чрезмерных надежд на разговоры.

Как раз те родители, которые плохо воспитывают своих детей, и вообще те люди, которые отличаются полным отсутствием педагогического такта,— все они слишком преувеличивают значение педагогических бесед.

Воспитательную работу они рисуют себе так: воспитатель помещается в некоторой субъективной точке. На расстоянии трех метров находится точка объективная, в которой укрепляется ребенок. Воспитатель действует голосовыми связками, ребенок воспринимает слуховым аппаратом соответствующие волны. Волны через барабанную перепонку проникают в душу ребенка и в ней укладываются в виде особой педагогической соли.

Иногда эта позиция прямого противостояния субъекта и объекта несколько разнообразится, но расстояние в три метра остается прежним. Ребенок, как будто на привязи, кружит вокруг воспитателя и все время подвергается либо действию голосовых связок, либо другим видам непосредственного влияния. Иногда ребенок срывается с привязи и через некоторое время обнаруживается в самой ужасной клоаке жизни. В таком случае воспитатель, отец или мать, протестует дрожащим голосом:

— Отбился от рук! Целый день на улице! Мальчишки! Вы знаете, какие у нас во дворе мальчишки? А кто знает, что они там делают? Там и беспризорные бывают, наверное...

И голос, и глаза оратора просят: поймайте моего сына, освободите его от уличных мальчиков, посадите его снова на педагогическую веревку, позвольте мне продолжать воспитание.

Для такого воспитания, конечно, требуется свободное время, и, конечно, это будет время загубленное. Система бонн и гувернеров, постоянных надсмотрщиков и зудельщиков давно провалилась, не создав в истории ни одной яркой личности. Лучшие, живые дети всегда вырывались из этой системы.

Советский человек не может быть воспитан непосредственным влиянием одной личности, какими бы качествами эта личность ни обладала[2]. Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего — люди. Из них на первом месте — родители и педагоги. Со всем сложнейшим миром окружающей действительности ребенок входит в бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка.

Весь этот «хаос» не поддается как будто никакому учету, тем не менее он создает в каждый данный момент определенные изменения в личности ребенка. Направить это развитие и руководить им — задача воспитателя.

Бессмысленна и безнадежна попытка некоторых родителей извлечь ребенка из-под влияния жизни и подменить социальное воспитание индивидуальной домашней дрессировкой. Все равно это окончится неудачей: либо ребенок вырвется из домашнего застенка, либо вы воспитаете урода.

— Выходит так, что за воспитание ребенка отвечает жизнь? А семья при чем?

— Нет, за воспитание ребенка отвечает семья, или, если хотите, родители. Но педагогика семейного коллектива не может лепить ребенка из ничего. Материалом для будущего человека не может быть ограниченный набор семейных впечатлений или педагогических поучений отцов. Материалом будет советская жизнь во всех ее многообразных проявлениях.

В старое время в зажиточных семьях называли детей «ангельскими душами». В наше время было сказано, что дети — «цветы жизни». Это хорошо. Но скоропалительные в суждениях сентиментальные люди не дали себе труда задуматься над этими прекрасными словами. Если сказано «цветы», значит нужно цветами любоваться, ахать, носиться, нюхать, вздыхать Нужно, пожалуй, самим цветам внушить, что они составляют неприкосновенный «роскошный» букет.

В этом узкоэстетическом и бессмысленном восторге уже заложено его посрамление. «Цветы жизни» надлежит представлять себе не в виде «роскошного» букета в китайской вазе на вашем столе. Сколько бы вы ни восторгались такими цветами, сколько бы ни ахали, эти цветы уже умирают, они уже обречены и они бесплодны. Завтра вы прикажете их просто выбросить. В лучшем случае, если вы неисправимо сентиментальны, вы засушите их в толстой книге, и после этого ваша радость станет еще более сомнительной: сколько угодно предавайтесь воспоминаниям, сколько угодно смотрите на них, перед вами будет только сено, простое сено!

Нет, наши дети вовсе не такие цветы. Наши дети цветут на живом стволе нашей жизни, это не букет, это прекрасный яблоневый сад. И этот сад — наш, здесь право собственности звучит, честное слово, очаровательно! Трудно, конечно, не любоваться таким садом, трудно ему не радоваться, но еще труднее не работать в таком саду. Будьте добры, займитесь этим делом: вскапывайте, поливайте, снимайте гусеницу, обрезайте сухие веточки... Не только аромат, не только «гаммы красок»,— плоды, вот что должно вас интересовать в особенной степени. И поэтому не набрасывайтесь на цветы с одними вздохами и поцелуями, возьмите в руки лопату, ножницы, лейку, достаньте лестницу. А когда в вашем саду появится гусеница, возьмите парижскую зелень. Не бойтесь, побрызгайте немножко, пусть даже цветам будет чуточку неприятно. Между прочим, у хорошего садовника гусеница никогда не появится.

Да, давайте будем садовниками. Это блестящее сравнение позволит нам кое-что выяснить в трудном вопросе: кто воспитывает ребенка — родители или жизнь?

Кто выращивает садовое дерево?

Из земли и воздуха оно берет атомы своего тела, солнце дает ему драгоценную силу горения, ветры и бури воспитывают в нем стойкость в борьбе, соседние братья-деревья спасают его от гибельного одиночества. И в дереве и вокруг него всегда протекают сложнейшие химические процессы.

Что может изменить садовник в этой кропотливой работе жизни? Не должен ли он бессильно и покорно ожидать, пока созреют плоды, чтобы кощунственной и наглой рукой похитителя сорвать их и сожрать?

Так именно и делают дикари где-нибудь в трущобах Огненной Земли. И так делают многие родители.

Но так не делает настоящий садовник.

Человек давно научился осторожно и нежно прикасаться к природе. Он не творит природу и не уничтожает ее, он только вносит в нее свой математически могучий корректив; его прикосновение, в сущности, не что иное, как еле заметная перестановка сил. Там подпорка, там разрыхленная земля, там терпеливый зоркий отбор.

Наше воспитание такой же корректив. И поэтому только и возможно воспитание. Разумно и точно провести ребенка по богатым дорогам жизни, среди ее цветов и сквозь вихри ее бурь может каждый человек, если он действительно захочет это сделать.

Ничто меня так не возмущает, как панический и отвратительный вопль:

— Уличные мальчики!!

— Вы понимаете, все было хорошо, а потом Сережа подружился с разными мальчиками на нашем дворе...

Эти «разные мальчики» разлагают Сережу. Сережа шляется неизвестно где. Сережа из шкафа взял отрез на брюки и продал. Сережа пришел под утро, и от него пахло водкой Сережа оскорбил мать.

Только самый безнадежный простак может поверить, что все это сделали «разные мальчики», «уличные мальчики».

Сережа — вовсе не новая марка. Это обычный, достаточно надоевший стандарт, и выделывается он отнюдь не уличными мальчиками и не «мальчиками на нашем дворе», а ленивыми и бессовестными родителями, выделывается вовсе не молниеносно, а настойчиво и терпеливо, начиная с того времени, когда Сереже было полтора года. Выделывается при помощи очень многих безобразнейших приспособлений: бездумной лени, привольного фантазирования и самодурства, а самое главное — при помощи непростительной безответственности и ничтожного состояния чувства долга.

Сережа и есть в первую очередь «уличный мальчик», но таковым он сделался только в семейном производстве. На вашем дворе, может быть, он действительно встретит таких же, как он, неудачников, они вместе составят обычную стайку ребят, одинаково деморализованных и одинаково «уличных». Но на том же дворе вы найдете десятки детей, для которых семейный коллектив и семейный корректив создали какие-то установки, какие-то традиции, помогающие им осилить влияние уличных мальчиков, не чуждаясь их и не отгораживаясь от жизни семейными стенами.

В успехе семейного воспитания решающим является активное, постоянное, вполне сознательное выполнение родителями их гражданского долга перед советским обществом. Там, где этот долг реально переживается родителями, где он составляет основу ежедневного их самочувствия, там он необходимо направляет и воспитательную работу семьи, и там невозможны никакие провалы и никакие катастрофы.

Но есть, к сожалению, категория родителей, довольно многочисленная, у которых этот закон не действует. Эти люди как будто хорошие граждане, но они страдают либо непоследовательностью мысли, либо слабостью ориентировки, либо малым объемом внимания. И только поэтому чувство долга не включается у них в сферу семейных отношений и, стало быть, и сферу воспитания детей. И только поэтому их постигают более или менее

тяжкие неудачи, и только поэтому они сдают обществу сомнительную человеческую продукцию.

Другие поступают честнее. Они говорят искренним голосом:

— Надо уметь воспитывать. Я, может быть, действительно не так делаю. Надо знать, как воспитывать.

В самом деле: все хотят хорошо воспитывать своих детей, но секрет не всем известен. Кто-то им обладает, кто-то пользуется, а вы во тьме ходите, вам никто не открыл тайны.

В таком случае взоры всех обращаются к педагогическим техникумам и вузам.

Товарищи родители!

Между нами: среди нашей педагогической братии процент семейных бракоделов нисколько не меньше, чем у вас. И, наоборот, прекрасные дети вырастают часто у таких родителей, которые не видели ни парадного, ни черного входа в педагогическую науку.

А педагогическая наука очень мало занимается вопросами семейного воспитания. Поэтому даже самые ученые педагоги хотя и хорошо знают, что от чего происходит, но в воспитании собственных детей стараются больше полагаться на здравый смысл и житейскую мудрость. Пожалуй, они чаще других грешат наивной верой в педагогический «секрет».

Я знал одного такого профессора педагогики. Он к своему единственному сыну всегда подходил с книгами в руках и с глубокими психологическими анализами. Как и многие педагоги, он верил, что в природе должен существовать этакий педагогический трюк, после которого все должны пребывать в полном и благостном удовлетворении: и воспитатель, и ребенок, и принципы,— тишь, и гладь, и божья благодать! Сын за обедом нагрубил матери. Профессор недолго думал и решил воодушевленно:

— Ты, Федя, оскорбил мать, следовательно, ты не дорожишь семейным нашим очагом, ты недостоин находиться за нашим столом. Пожалуйста: с завтрашнего дня я даю тебе ежедневно пять рублей,— обедай где хочешь

Профессор был доволен. По его мнению, он реагировал на грубость сына блестяще. Федя тоже остался доволен. Но трюковой план не был доведен до конца: тишь и гладь получилась, но божья благодать выпала.

Профессор ожидал, что через три-четыре дня Федя бросится к нему на шею и скажет:

— Отец! Я был не прав, не лишай меня семейного очага!

Но случилось не так, вернее, не совсем так. Феде очень понравилось посещение ресторанов и кафе. Его смущала только незначительность ассигнованной суммы. Он внес в дело некоторые поправки: порылся в семейном очаге и проявил инициативу. Утром в шкафу не оказалось профессорских брюк, а вечером сын пришел домой пьяный. Растроганным голосом он изъяснялся в любви к папе и к маме, но о возвращении к семейному столу вопроса не подымал. Профессор снял с себя ремешок и размахивал им перед лицом сына в течение нескольких минут.

Через месяц профессор поднял белый флаг и просил принять сына в трудовую колонию. По его словам, Федю испортили разные товарищи.

— Вы знаете, какие бывают дети?

Некоторые родители, узнав об этой истории, обязательно спросят:

— Хорошо! Ну, и все-таки как же нужно поступать, если сын за обедом нагрубил матери?

Товарищи! Этак, пожалуй, вы меня спросите, как нужно поступить, если утерян кошелек с деньгами? Подумайте хорошенько, и вы сразу найдете ответ: купите себе новый кошелек, заработайте новые деньги и положите их в кошелек.

Если сын оскорбляет мать, никакой фокус не поможет. Это значит, что вы очень плохо воспитывали вашего сына, давно воспитывали плохо, долго. Всю воспитательную работу нужно начинать сначала, нужно многое в вашей семье пересмотреть, о многом подумать и прежде всего самого себя положить под микроскоп. А как поступить немедленно после грубости, нельзя решить вообще,— это случай сугубо индивидуальный. Надо знать, что вы за человек и как вы вели себя в семье. Может быть, вы сами были грубы с вашей женой в присутствии сына. Впрочем, если вы оскорбляли вашу жену, когда сына не было дома,— тоже достойно внимания.

Нет, фокусы в семейном воспитании должны быть решительно отброшены. Рост и воспитание детей — это большое, серьезное и страшно ответственное дело, и это дело, конечно, трудное. Отделаться здесь легким трюком нельзя. Если вы родили ребенка,— это значит на много лет вперед вы отдали ему все напряжение вашей мысли, все ваше внимание и всю вашу волю. Вы должны быть не только отцом и шефом ваших детей, вы должны быть еще и организатором вашей собственной жизни, ибо вне вашей деятельности как гражданина, вне вашего самочувствия как личности не может существовать и воспитатель.

ГЛАВА ВТОРАЯ

> Но что появится нового? Это определится, когда вырастет новое поколение: поколение мужчин, которым никогда в жизни не приходилось покупать женщину за деньги или за другие социальные преимущества, и поколение женщин, которым никогда не приходилось отдаваться мужчине из-за каких-либо других побуждений, кроме подлинной любви, или отказаться отдаться любимому мужчине из боязни экономических последствий [4].
>
> *Ф. Энгельс*

Когда-то в молодости пригласили меня на каникулах готовить к переэкзаменовке не совсем удачного сынка в одной княжеской семье, проводившей лето в своем имении недалеко от нашего губернского города. Я соблазнился хорошим заработком и возможностью познакомиться с княжеским бытом. На пустынной жаркой станции меня ожидал просторный, длинный и блестящий экипаж — коляска. Пара вороных рысаков и спина кучера тоже поразили мое воображение; я почувствовал даже некоторое благоговение перед царством знати, о котором раньше читал только в книгах.

Потертый мой чемоданчик неприлично прыгал на дне коляски, а на душе распространилось уныние: какого дьявола понесло меня в княжеский мир? У них свои законы, коляски, молчаливые кучера, от которых тоже несет аристократическими предками, такими же предками несет и от лошадей .

Я прожил в имении два месяца, и уныние, зародившееся в дороге, не покидало меня до последнего дня. Только на обратном пути, в той же коляске, тот же потертый чемоданчик прыгал уже весело, и не смущало меня ничто: ни коляска, ни кучер, ни весь необъятно богатый, недосягаемо высокий, блестящий княжеский мир.

Мир этот мне не нравился Сам князь, свиты его величества генерал-майор, «работал» где-то при дворе и в имение не приехал ни разу. Здесь проводили лето: высокая, худая, носатая княгиня, двое дочерей-подростков, таких же носатых, и такой же носатый двенадцатилетний кадет, мой, так сказать, воспитанник. Кроме этих лиц ежедневно в столовой бывало человек до двадцати; я так хорошо и не узнал, кто они такие. Часть этого народа проживала в имении, другие приезжали на два-три дня в гости. Это были соседи, между ними попадались особы титулованные; до этого я и представить себе не мог, что в нашей губернии так много гнездится разной дряни.

Вся эта компания сплошь до одного человека поразила меня своим духовным ничтожеством. До сих пор в своей жизни я никогда не встречал такого собрания бесполезных людей. Может быть, поэтому я был не в состоянии заметить у них какие-либо достоинства.

Глядя на них, я не мог не вспоминать моего отца. Он ежедневно, в течение десятков лет, подымался в пять часов утра, по гудку. Через пятнадцать минут он уже шагает вдоль серых заборов песчаной нашей улицы, и в руках у него всегда красный узелок с завтраком. В шесть часов вечера он приходит с завода пыльный и серьезный, и прежде всего выкладывает на табуретку в кухне аккуратно сложенный красный платочек, в котором так давно он носит свой завтрак. Разве могли когда-либо задуматься все эти князья и графы, свиты его величества генерал-майоры, их гости и приживалы над тем, сколько стоит простой ситцевый красный платок, как нужно его беречь, как бережно нужно его стряхивать после завтрака и складывать вчетверо, а потом еще пополам!?

Сейчас я вспоминаю княжескую семью как чудовищную карикатуру: скорее это было преступное сообщество, компания бездельников, объединившихся вокруг главаря. Я с отвращением наблюдал все детали княжеской жизни: и глупую, пустую, никому не нужную чопорность, и обеденное, и ужинное обилие, и хрусталь, и бесконечные ряды вилок и ножей у приборов, и оскорбительные для человека фигуры лакеев.

Я и теперь не понимаю, сколько времени можно жить такой бездеятельной, пресыщенной жизнью и не обратиться в тупое животное? Ну, год, два, ну, пять лет, но не века же?

Но они жили века Они целыми днями болтали о чьих-то успехах, о каких-то интригах, о женитьбах и смертях, о наградах и ошибочных надеждах, о вкусах и странностях таких же бездельников, как они, о покупках и продажах имений.

Мой воспитанник был умственно отсталый мальчик. Кажется, такими

же умственно отсталыми были и его сестры, и мамаша-княгиня. Но не только большое умственное развитие, но и простая арифметика не были для них существенно необходимы. Богатство, титул, принадлежащая им клеточка в придворном мире, давно разработанные, давно омертвевшие бытовые, моральные, эстетические каноны, несложная семейная дрессировка — все это вполне определяло путь будущего князя.

И несмотря на это, истинную сущность их жизни составляло стяжание, неумолчная, постоянная забота о накоплении, самая примитивная, самая некрасивая, отталкивающая жадность, с небольшим успехом прикрываемая этикетом и чопорностью. Им было мало того, что они имели! Где-то строилась железная дорога, где-то составлялась компания фарфоровых заводов, кто-то удачно обернулся с акциями, все их занимало, тревожило, дразнило, всюду их привлекали и пугали возможности и опасности, они страдали от нерешительности и не могли отказаться от этих страданий. И удивительное дело: эта семья даже отказывала себе кое в чем! Княгиня долго и печально толковала о том, что в Париж надо послать письмо с отказом от платьев, потому что деньги нужны князю «для дела», мой же воспитанник так же печально вспоминал, что в прошлом году хотели купить яхту и не купили.

Возвращаясь в свою рабочую семью, я был глубоко убежден, что побывал в мире антиподов, настолько для меня чуждых и отвратительных, что с рабочим миром невозможно никакое сравнение. Мой мир был неизмеримо богаче и ярче. Здесь были действительные создатели человеческой культуры: рабочие, учителя, врачи, инженеры, студенты. Здесь были личности, убеждения, стремления, споры, здесь была борьба. Приятели моего отца, такие же, как он, старые мастеровые, были умнее, острее и человечнее аристократов. Кум моей семьи, маляр Худяков, пришел в воскресенье к батьку, сел против меня, ехидно скривил щербатый рот и сказал:

— А ты спросил, захочу я их компании? А к чертовой матери! Ты мне дармоеда медом обмажь, деньгами обсыпь, а я с ним рюмки водки не выпью. Я вот приду к Семену Григорьевичу, посидим, посчитаем, туда-сюда; без князей можно жить, а без нас, маляров? Черта пухлого! Какая будет жизнь без маляров? Некрашеная жизнь!

Потом, когда я чуточку поумнел и осмотрелся в жизни, и в особенности после Октября, я понял, что в старое время в семье князей и в семьях наших приятелей было нечто и общее.

Я хорошо помню, как выдавал кум Худяков свою дочку замуж. Дочка была у него хорошая, румяная, и страшно хотелось ей пройти жизнь рядом с молодым слесарем Нестеренко. А старый Худяков сказал ей:

— Кто такой Нестеренко? Слесаришко, на тройниках сидит. Какой у него будет заработок? Седым будет — полтора рубля в день! Брось!

Дочка плакала, а старый Худяков говорил:

— Что ты мне голову слезами морочишь? Единственная дочка, и меня, старика, унижаешь! Какой Нестеренко жених?

Дочка еще поплакала, а все-таки вышла за помощника машиниста Сверчкова.

Худяков говорил моему батьку во время воскресного визита:

— Дурная голова! Нестеренко, [redacted] все! У него ус вьется,— тоже причина! Сверчков сейчас помощником на пассажирских, через год-два ему паровоз дадут, хоть бы [redacted] маневровый, скажем, а все ж таки машинист. Даром я работал? Пятьсот рублей приданого валяются или как?

А [redacted] нашем свете машинисты не с каждым маляром водили компанию. Когда мне было лет семь, я на машинистов глядел как на самую высокую аристократию. Кум Худяков был маляр очень высокой квалификации,— каретник, но женитьба Сверчкова на его дочери все же была для жениха явным мезальянсом.

Мой отец не одобрил кума и по этому случаю вообще осудил его политику по отношению к высшим классам.

— Слушай, Василь,— говорил он ему,— не нравится мне, знаешь, что ты все с панами водишься...

— Да где я там водюсь? — смущенно говорил кум и отворачивал жидкую козлиную бороденку от гостеприимной селедки к кустам жасмина за открытым окном.

— Как водишься? Сам ты в прошлое воскресенье с кем рыбу ловил? С этим... с толстобрюхим... с дорожным мастером! А жена твоя где днюет и ночует? У Новака? А?

Худяков пробовал сыграть на оскорблении:

— У Новака? Моя жена? Днюет и ночует? Ты, Семен Григорьевич, это брось! Жил без панов и проживу без панов. А рыбу ловить, так это охота! Рыбу я могу ловить [redacted] с генералом!

Отец хитро кивает на оскорбленного кума:

— Хэ! С генералом! У генерала лодки нет, [redacted] у дорожного мастера лодка! И сало в кошелке!

Отец мой правильно укорял кума Худякова, потому что кум действительно с панами водился. В особенности было непростительно, если его жена и [redacted] самом деле заглядывала к Новаку. Дорожный мастер был просто зажиточный человек, [redacted] обер-кондуктор Новак был представителем настоящего панства, с которым даже машинисты не равнялись.

В нашем поселке никого не было равного Новаку, разве начальник станции. Но начальник станции брал не столько богатством, сколько холодным лицом, блестящим мундиром [redacted] таинственной роскошью казенной квартиры, о числе комнат которой мы, разумеется, не имели никакого понятия.

Новак же был богат. На большом его дворе, отгороженном от остального мира высокими заборами, проходила тоже таинственная для нас жизнь новаковской семьи. Бесформенным кирпичным животом выпирал из этого двора двухэтажный дом. В нижнем его этаже была «торговля бакалейных товаров», тоже принадлежавшая семье Новака. С этой торговлей мы чуточку были знакомы, потому что с раннего детства по поручению родителей покупали здесь керосин, подсолнечное масло и махорку для батька. А из остального богатства доступны были нашим взорам только

тюлевые занавески на окнах. В слове «тюлевые» заключались для меня абсолютно недоступные нормы роскоши.

Обер-кондуктор Новак, худой человек, с холодной, серой со всех сторон, строго обрезанной бородкой, два раза в неделю проезжал мимо наших ворот на рессорной бричке, и рядом с его блестящими сапогами всегда стоял такой же блестящий коричневый саквояж, в котором, по общему мнению, обер-кондуктор складывал деньги, полученные от «зайцев». Пока я был мал, «зайцы» эти тоже представлялись мне таинственными существами, гномами, приносящими счастье.

У Новака были хорошие, аккуратные дети, которыми наши родители кололи нам глаза. Они наряжались в ослепительные гимназические мундиры, потом на их плечах появились вензеля. По нашим улицам они проходили гордые, недоступные, окруженные отпрысками таких же богатых фамилий: поповичами, сыновьями главного бухгалтера, пристава, смотрителя зданий и дорожного мастера.

Несмотря на полную недоступность и таинственность этого панства, именно через него спускались в наши рабочие семьи идеалы и нормы быта, а следовательно, и воспитания, спускались из тех высоких сфер, к которым я случайно прикоснулся во время каникул. От княжеских чертогов до хаты маляра Худякова построена была непрерывная лестница, по которой сходили к нам семейные стили — законы капиталистического общества. Конечно, была не только количественная, но и качественная пропасть между теми и другими — пропасть классовая. Пролетариат жил по другим законам морали и этики, в основе своей глубоко человеческим. Но если носатым княжнам приуготовлены были в наследство титул, имения, бриллианты и мечты о собственной яхте, то и дочь скромного ремесленника Дуня Худякова кое-что получала в наследство: «гардероб», швейную машину, кровать с никелированными шариками и мечты о граммофоне.

Старая семья, в том числе семья ремесленника или мелкого чиновника, по вышеуказанным законам также была организацией накопления. Конечно, и накопление было разное, и результаты различные. Новак зарабатывал на «зайцах», дорожный мастер на бесконтрольных расчетах с рабочими, а маляр Худяков на пятнадцатичасовом рабочем дне. После завода он красил полы у богачей или золотил чугунных христосов для намогильных памятников. Накопления были необходимы и для учебы детей, и для приданого дочерям, и для «покойной старости», и для придания солидности фамильной фирме. Благодаря семейному накоплению пробивались отдельные удачники в тот социальный слой, где не только не грозила нищета, но где были надежды выйти в «настоящие» люди.

Одним из важнейших путей в этом направлении была удачная женитьба. Как в семьях князей, так и у нас браки редко совершались по любви. У нас, конечно, не было той домостроевской или замоскворецкой закваски, когда молодые женились, не видя друг друга, по самодурному решению

отцов. Наши молодые более или менее свободно встречались, знакомились, «гуляли», но зверский закон борьбы за существование действовал почти механически. Материальные соображения при женитьбе были часто решающими. Приданое за дочкой в двести — триста рублей, с одной стороны, было страховкой будущего благополучия, с другой — привлекало солидных женихов. Только самые бедные девушки, выходя замуж, имели возможность руководствоваться такими незначительными аргументами, как красивые глаза, приятный голос, добрая душа и прочее. А если девушка была чуть-чуть побогаче, для нее уже трудно было определить, «на кого вин моргае»:

Чи на тії воли,
Чи на ті корови,
Чи на моє біле личко,
Чи на чорні брови.

И очень слабым утешением в таком случае были дальнейшие слова песни:

Воли та корови
Усі поздихають,
Біле личко, чорні брови
Повік не злиняють.

Женихи как раз прекрасно знали, что в сравнении с волами и коровами «біле личко, чорні брови» являются предметами, ужасно скоро портящимися.

Хозяином в семье был отец. Он управлял материальной борьбой семьи, он руководил ее трудной жизненной интригой, он организовывал накопление, он учитывал копейки, он определял судьбы детей.

Отец! Это центральная фигура истории! Хозяин, начальник, педагог, судья и иногда палач, это он вел семью со ступеньки на ступеньку, это он, собственник, накопитель и деспот, не знавший никаких конституций, кроме божеских, обладал страшной властью, усиленной любовью.

Но у него есть и другое лицо. Это он пронес на своих плечах страшную ответственность за детей, за их нищету, болезни и смерть, за их тягостную жизнь и тягостное вымирание. Эту ответственность десятки веков перекладывали на него хозяева жизни, грабители и насильники, дворяне и рыцари, финансисты, полководцы и заводчики, и он десятками веков нес ее непосильное бремя, усиленное тою же любовью, и стонал, страдал, и проклинал небо, такое же невинное, как и он, но отказаться от ответственности не мог.

И от этого его власть становилась еще священнее и еще деспотичнее. А хозяева жизни были довольны, что всегда к их услугам эта одиозная фигура ответчика за их преступления, фигура отца, отягченная властью и долгом.

Советская семья не может быть отцовской монархией, так как исчезла старая экономическая семейная динамика. Наши браки не совершаются по материальным соображениям, и наши дети ничего материально существенного не наследуют в семейных границах.

Наша семья — это уже не уединенная группа отцовских владений. Члены нашей семьи от отца до вчера родившегося ребенка — члены социалистического общества. Каждый из них несет на себе честь и достоинство этого высокого звания.

И самое главное: для каждого члена семьи определен и обеспечен в великолепном ассортименте, в государственном масштабе выбор путей и возможностей, в победоносное шествие вперед каждого человека теперь зависит больше от него самого, чем от семейной мобилизации.

Но наша семья не есть случайное соединение членов общества. Семья — это естественный коллектив, и, как все естественное, здоровое, нормальное, она должна только расцвести в социалистическом обществе, освободившись от тех самых проклятий, от которых освобождается и все человечество и отдельная личность.

Семья становится естественной первичной ячейкой общества, тем местом, где реализуется прелесть человеческой жизни, куда приходят отдыхать победные силы человека, где растут и живут дети — главная радость жизни.

Наши родители тоже не безвластны, но эта власть — только отражение общественной власти. Долг нашего отца перед детьми — это особая форма его долга перед обществом. Наше общество как будто говорит родителям:

— Вы по доброй, любовной воле соединились, наслаждаетесь вашими детьми и дальше собираетесь радоваться на них. Это дело ваше личное в вашего личного счастья. Но в этом самом счастливом процессе у вас родились новые люди. Настанет момент, когда эти люди перестанут служить только для вашей радости, а выступят как самостоятельные члены общества. Для общества совсем не безразлично, что это будут за люди. Передавая вам некоторую толику общественной власти, советское государство требует от вас правильного воспитания будущего гражданина. Оно в особенности рассчитывает на некоторое обстоятельство, естественно возникающее из вашего союза,— на родительскую любовь.

Если вы желаете родить гражданина и обойтись без родительской любви, то будьте добры, предупредите общество о том, что вы желаете сделать такую гадость. Люди, воспитанные без родительской любви, часто искалеченные люди. И так как такая любовь есть у общества к каждому своему члену, как бы он ни был мал, то ваша ответственность за детей всегда может принять реальные формы.

Родительская власть в советском обществе есть власть, основанная не только на общественном полномочии, но и на всей силе общественной морали, требующей от родителей, по крайней мере, чтобы они не были нравственными уродами.

Вот именно с такой властью и с такой любовью входят родители в семейный коллектив как особые его компоненты, отличные от других компонентов — детей.

Наша семья, как и прежняя, составляет хозяйственную единицу. Но советское семейное хозяйство есть обязательно сумма трудовых заработ-

ков. Даже если они очень велики, даже если они превышают нормальные потребности семьи, даже если они накопляются, это накопление имеет совершенно иной характер, чем накопление в семье капиталистического общества.

Обер-кондуктор Новак, когда мобилизованные им силы природы и техники: «зайцы», знакомства, двухэтажные дома и торговля — достигли желательных размеров, оставил обер-кондукторское поприще и купил недалеко от нашего города имение, в котором было пятьдесят десятин. Новак купил имение у общипанного панка Пчелинцева, который после этого пошел работать в той самой службе движения, из которой только что выбыл новый помещик Новак. Потеря Новака в нашей среде была, таким образом, достойно компенсирована, пожалуй, даже с излишком, ибо мы пополнили свои ряды персоной чистых кровей.

Все поэтому были довольны. Недоволен был только сын Новака, сухой и скрипучий студент Коммерческого института. Он говорил:

— Фатер наш на авантюры пустился! Мало ему было хорошей жизни, захотелось с мужиками возиться.

Но так судит «ветреная младость». Старый Новак судил иначе:

— Этому балбесу что? Он нацепил золотые полеты и думает: устроился! А кончит институт, что будет делать? Служить? Я уже наслужился, довольно каждому прыщу кланяться. А вот он получит от меня тысячи две десятин да крахмальный завод, он тогда разберет, что это получше твоих полетов. Конечно, придется нам пострадать временем,— большие деньги требуются. А ему только одно в голову лезет: на парных извозчиках кататься.

Хозяйство нашей семьи строится в совершенно новых условиях общественной экономики и, следовательно, в новых условиях общественной морали. В наших семейных перспективах нет беспросветной нужды, но зато нет крахмальных заводов и благоприобретенных имений. Поэтому проблема семейной экономической политики в советском государстве выражается в совершенно новых формах. Прежде всего важно, что теперь за семейное благосостояние не может отвечать только отец. Семья, коллектив призваны отвечать за это благосостояние.

Можно представить себе семью и у нас, в которой потребности удовлетворяются с некоторым напряжением, иногда даже большим. Нам приходилось видеть такие семьи, пример некоторых из них может быть для многих весьма поучительным. В следующей главе мы специально остановимся на одной замечательной семье, жизненная борьба которой, несмотря на очень трудные условия, все же оставалась борьбой советского коллектива за лучшую жизнь, ни на минуту не принимая окрасок нищей беспросветности.

Инстинкты накопления, направлявшие старую жизнь, у нас основательно выключены. Трудно даже представить себе, чтобы у кого-нибудь из наших граждан хотя бы в тайных подвалах души зашевелилась старая гадина:

— Эх, жаль, нельзя магазинчик завести!

Инстинкт накопления в старом обществе был постоянно действующим

регулятором потребления. Накопительская жадность достигала иногда таких степеней, что уже сама себя отрицала. Загребистые руки делались такими длинными, что теряли способность обслуживать собственную глотку, а были годны только для грабежа.

В нашей стране только сумасшедший может отказывать себе на том основании, что он решил сбить капитальчик и пустить его в оборот.

Это очень важное политическое, экономическое и моральное обстоятельство. В нашем этическом каталоге навсегда вычеркнута организованная жадность, составляющая мотивационную основу всего капиталистического общества. От потребительской жадности, которая логически допустима и у нас, она отличается очень сложной картиной психологических и перспективных деталей, ибо заключает в себе стремление к власти, и честолюбие, и гонор, и любовь к раболепству, и ту сложнейшую цепь зависимостей, которая необходимо приходит вместе с широкой властью над множеством людей и множеством предметов.

Эта организованная жадность вычеркнута впервые в истории мира Октябрьской революцией, и это коротко отмечено в статье шестой Конституции[5].

«Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием».

Эта статья, несмотря на всю ее простую скромность, является основанием новой морали человечества.

Но в нашей Конституции есть десятая статья, в которой сказано:

«Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом».

В этой статье закреплены права граждан на предметы потребления. Это те права, которые составляют настоящий объект великой борьбы человечества и которые всегда нарушались эксплуатацией человека человеком.

У нас эти права не ограничены законом. Они ограничиваются фактическим состоянием нашего народного богатства, а так как оно растет с каждым днем, то, следовательно, с каждым днем расширяются и потребительские возможности отдельного человека. Наше государство ставит перед собой открытую и ясную цель всеобщего богатства, таким образом и перед каждой семьей у нас широкая цепь возможностей материальных.

Советский семейный коллектив на основании статьи десятой Конституции является полным хозяином своего семейного имущества, которое имеет исключительно трудовое происхождение. Эта хозяйственная арена семейного коллектива становится в значительной мере и ареной педагогической.

Наше общество открыто и сознательно идет к коммунистическому обществу.

У нас моральные требования к человеку должны быть выше среднего уровня человеческого поступка. Мораль требует общего равнения на поведение самое совершенное. Наша мораль уже в настоящее время должна быть моралью коммунистической. Наш моральный кодекс должен идти впереди и нашего хозяйственного уклада и нашего права, отраженного в Конституции, он должен видеть впереди еще более высокие формы общества. В борьбе за коммунизм мы уже сейчас должны воспитывать в себе качества члена коммунистического общества[6]. Только в этом случае мы сохраним ту моральную высоту, которая сейчас так сильно отличает наше общество от всякого другого.

Великий закон коммунизма: «от каждого по способности, каждому по потребности» для многих еще представляется практически неуловимым, многие еще не способны представить такой высокий принцип распределения, предполагающий еще невиданные формы честности, справедливости, точности, разума, доверия, чистоты человеческой нравственной личности.

Глубочайший смысл воспитательной работы и в особенности работы семейного коллектива заключается в отборе и воспитании человеческих потребностей, [redacted] приведении их к той нравственной высоте, которая возможна только [redacted] бесклассовом обществе [redacted] которая только [redacted] может побуждать человека к борьбе за дальнейшее совершенствование.

Нравственно оправданная потребность — это есть потребность коллективиста, то есть человека, связанного со своим коллективом единой целью движения, единством борьбы, живым [redacted] несомненным ощущением своего долга перед обществом.

Потребность у нас есть родная сестра долга, обязанности, способностей, это проявление интересов не потребителя общественных благ, [redacted] деятеля социалистического общества, создателя этих благ.

Пришел ко мне пацан. Лет ему, вероятно, двенадцать, [redacted] может, и меньше. Уселся против меня в кресле, потирает ручонкой бортик стола, собирается говорить [redacted] волнуется. Голова у него круглая, щечки пухленькие, а большие глаза укрыты такой обыкновенной, стандартной слезой. Я вижу белоснежно-чистый воротничок нижней сорочки.

Пацан этот — актер, я таких много видел. На его физиономии хорошо сделано горе, сделано из взятых напрокат, вероятно, в кино, стариковских мимических материалов: брови сдвинуты, нежные мускулы лба сложены [redacted] слабосильную складку. Я посмотрел на него внимательно и предложил:

— Ну, что же? Говори, что тебе нужно. Как зовут?

Пацан шикарно вздохнул, еще раз потянул ладошкой по столу, нарочно отвернул [redacted] сторону лицо и нарочно замогильным голосом сказал:

— Коля. А что говорить? Жить нечем. И кушать нечего.

— Отца нет?

Коля прибавил слезы в глазах и молча повертел головой.

— А мать?

Он заложил сложенные руки между колен, наклонился немного вперед, поднял глаза к окну и великолепно сыграл:

— Ах, мать! Нечего [redacted] говорить! Чего вы хотите, если она служит... на вешалке... в клубе!

Пацан так расстроился, что уже не меняет позы, все смотрит в окно. В глазах перекатывается все та же слеза.

— Та-ак,— сказал я.— Так что тебе нужно?

Он взглядывает на меня и пожимает плечами.

— Что-нибудь нужно сделать. В колонию отправьте.

— В колонию? Нет, ты не подходишь. В колонии тебе будет трудно.

Он подпирает голову горестной рукой и задумчиво говорит:

— Как же я буду жить? Что я буду кушать?

— Как это? Ты же у матери?

— Разве можно жить на пять рублей? И одеться же нужно?

Я решил, что пора перейти в наступление:

— Ты другое скажи: почему ты школу бросил?

Я ожидал, что Коля не выдержит моей стремительной атаки, заплачет [redacted] растеряется. Ничего подобного. Коля повернул ко мне лицо [redacted] деловито удивился:

— Какая может быть школа, если мне кушать нечего?

— Разве ты сегодня не завтракал?

Коля встал с кресла и обнажил шпагу. Он, наконец, понял, что и горестная поза, [redacted] неистощимая слеза в глазах не производят на меня должного впечатления. Против таких скептиков, как я, нужно действовать решительно. Коля выпрямился и сказал:

— Чего вы меня допрашиваете? Вы не хотите мне помочь, я пойду в другое место. И нечего про завтрак. Завтракал, завтракал!

— Ах, вот ты какой? — сказал я.— Ты боевой!

— Конечно, боевой,— шепнул Коля, но глаза опустил.

— Ты — нахал,— сказал [redacted] медленно,— ты — настоящий нахал!

Коля оживился. В его голосе прорвались, наконец, хорошие мальчишеские нотки. И слезы вдруг как не бывало.

— Вы не верите? Вы не верите? Да? Ну прямо скажите, что не верите!

— А что же ты думаешь: и скажу. Не верю, и все ты наврал. И есть нечего, [redacted] надевать нечего! Совсем умираешь, бедный! С голоду!

— Ну и не верьте,— небрежно сказал Коля, направляясь [redacted] выходу.

— Нет, постой,— остановил [redacted] его.— Ты тут сидел, врал, сколько времени пропало! Теперь поедем!

— Куда поедем? — испугался Коля.

— К тебе поедем, к матери.

— Вот! Смотри ты! Никуда я не поеду! Чего [redacted] поеду?

— Как чего? Домой поедешь.

— Мне совсем не нужно домой. Мало ли чего вам захочется.

Я рассердился на пацана:

— Довольно болтать! Говори адрес! Молчишь? Хорошо: садись [redacted] ожидай!

Коля не сказал адреса, но уселся в кресле [redacted] затих. Через пять минут он залез в машину и покорно сказал, куда ехать.

Через просторный двор нового рабочего клуба он прошел впереди меня,

подавленный и расстроенный, но это уже было детское горе, и поэтому в нем активное участие принимали и нос, и щеки, и рукава черной курточки, и другие приспособления для налаживания нервов.

В небольшой чистенькой комнате, в которой были и занавески, и цветы, и украинский пестрый коврик у белой кровати, Коля с места в карьер сел на стул, положил голову на кровать и заревел, что-то приговаривал невнятное и на кого-то обижался, но кепку крепко держал в руке. Мать, молодая, тоже большеглазая и тоже с пухленькими щечками, взяла кепку из его руки и повесила на гвоздик, потом улыбнулась мне:

— Чего он там наделал такого? Вы его привели?

Коля на секунду прекратил рыдания для того, чтобы предупредить возможные с моей стороны каверзы:

— Никто меня не приводил! Я сам его привел! Пристал и пристал: едем и едем! Ну и говорите, пожалуйста...

Он опять ринулся в мягкую постель, но плакал теперь как-то одной стороной, а другой слушал, о чем мы говорили с матерью.

Мать не волновалась:

— Не знаю, что мне с ним делать. Он не был такой, а как пожил у брата,— брат у меня директор совхоза в Черниговской области,— так с ним и сделалось. И вы не думайте: он сам не знает, что ему нужно. А научился: ходит и ходит! Научился просить разное... и школу бросил, а ведь в четвертом классе. Учился бы, а он по начальникам ходит, беспокоит. А спросите его, чего ему не хватает? И одет, и обут, и постель хорошая, и кушанье у нас, не скажу, какие разносолы, и никогда голодным не был. У нас можно из клубной столовой брать, да и дома когда на примусе. А, конечно, у директора лучше: деревня все-таки и совхоз в то же время — хозяйство.

Коля перестал плакать, но лежал головой на кровати, а под стулом водил ногой, видно, о чем-то своем думал, переживал возражения на скромные сентенции матери

Мать удивила меня своим замечательным оптимизмом. Из ее рассказа было ясно, что жить ей с сыном трудно, но у нее все хорошо, и всем она довольна.

— Раньше хуже было: девяносто рублей, подумайте! А сейчас сто двадцать, и утро у меня свободное, я то тем, то сем заработаю. И учусь. Через три месяца перехожу в библиотеку, буду получать сто восемьдесят.

Она улыбнулась с уверенным покоем в глазах. В ней не было даже маленького напряжения, чего-либо такого, что говорило бы о лихорадочной приподнятости, о неполной уверенности в себе. Это была оптимистка до самых далеких глубин души. На фоне ее светлого характера очень диким показался мне бестолковый и неискренний бунт ее сына. Но и в этом бунте мать ничего особенного не находила:

— Пусть побесится! Это ему полезно будет! Я ему так и сказала: не нравится у меня, ищи лучшего. Школу хочешь бросить,— бросай, пожалуйста. Только, смотри, вот здесь, в комнате, я никаких разговоров не хочу слушать. Ищи других, которые с тобой, с дураком, разговаривать захотят. Это его у дяди испортили. Там кино каждый день бесплатное! А я где возьму кино? Сядь, книжку почитай! Ничего, перебесится! Теперь в колонию ему захотелось. Приятели там у него, как же!

Коля уже сидел спокойно на стуле и внимательным теплым взглядом следил за оживленно-улыбчивой мимикой матери. Она заметила его внимание и с притворно-ласковой укоризной кивнула:

— Ишь, сидит, барчук! У матери ему плохо! Ничего не скажу, ищи лучше, попрошайничай там...

Коля откинул голову на спинку стула и повел в сторону лукавым глазом.

— И зачем ты, мама, такое говоришь? Я не попрошайничаю вовсе, а при Советской власти я могу требовать.

— Чего? — спросила мать, улыбаясь.

— Что мне нужно,— еще лукавее ответил он.

Не будем судить, кто виноват в этом конфликте. Суд — трудное дело, когда неизвестны все данные. Мне и сын и мать одинаково понравились. Я большой поклонник оптимизма [7] и очень люблю пацанов, которые настолько доверяют Советской власти, что уже и себя не помнят, и не хотят доверять даже родной матери. Такие пацаны много делают глупостей и много огорчений причиняют нам, старикам, но они всегда прелестны! Они приветливо улыбаются матери, а нам, бюрократам, показывают полную пригоршню потребностей и вякают:

— Отправьте меня в колонию.

— Отправьте меня в летную школу, я хочу быть летчиком.

— Честное слово, я буду работать и учиться!

И все-таки .. Все-таки нехорошо вышло и у Коли, и у его матери. Както так получилось, что потребности сына вырастали по особой кривой, ничего общего не имеющей ни с материнской борьбой, ни с ее успехами и надеждами. Кто в этот виноват? Конечно, не дядя директор. Пребывание у дяди только толкнуло вперед бесформенный клубок плохо воспитанных претензий Коли.

И летняя школа, и колония, и даже кино и хорошая пища — прекрасные вещи. Естественно, к ним может стремиться каждый пацан.

Но совершенно понятно, что мы не имеем права считать потребностью каждую группу свободно возникающих желаний. Это значило бы создать простор для каких угодно индивидуальных припадков, и в таком просторе возможна только индивидуальная борьба со всеми последствиями, печально из нее вытекающими. Главное из этих последствий — уродование личностей и гибель их надежд Это старая история мира, ибо капризы потребностей — это капризы насильников.

Поведение Коли на первый взгляд может показаться поведением советского мальчика, настолько захваченного движением истории, что бег семейной колесницы для него уже скучен. Общий колорит этого случая настолько симпатичен, что невольно хочется оказать Коле помощь и удовлетворить его неясные желания. Многие так и делают. Я много видел таких облагодетельствованных мальчиков. Из этих мальчиков редко получается какой-нибудь толк. Такие, как Коля, прежде всего насильники, пусть в самой малой дозе. Они подавляют своими требованиями сначала отца или мать, потом приступают с ножом к горлу к представителям государственного учреждения и здесь настойчиво ведут свою линию, подкрепляя ее всем, что попадется под руку: жалобой, слезой, игрой и нахальством.

И за советской физиономией Коли и за его детским притворством скрывается нравственная пустота, отсутствие какого бы то ни было коллективного опыта, который в двенадцать лет должен быть у любого ребенка. Такая пустота образуется всегда, если с раннего детства в семье нет единства жизни, быта, стремлений, нет упражнений в коллективных реакциях. В таких случаях у ребенка потребность набухает в уединенной игре воображения, без всякой связи с потребностями других людей. Только в коллективном опыте может вырасти потребность нравственно ценная. Конечно, в двенадцать лет она никогда не будет оформлена в виде яркого желания, потому что корни ее покоятся не в водянистой игре чистой фантазии, а в сложнейшей почве еще неясного коллективного опыта, в сплетении многих образов близких и менее близких людей, в ощущении человеческой помощи и человеческой нужды, в чувствах зависимости, связанности, ответственности и многих других.

Вот почему так важен для первого детства правильно организованный семейный коллектив. У Коли этого коллектива не было, было только соседство с матерью. И каким бы хорошим человеком ни была мать, простое соседство с нею ничего не могло дать положительного. Скорее наоборот: ничего нет опаснее пассивного соседства хорошего человека, ибо это — наилучшая среда для развития эгоизма. В таком случае как раз и разводят руками многие хорошие люди и вопрошают:

— В кого он уродился?

Алеше четырнадцать лет. Он покраснел, надулся:

— Как, вы достали мягкий? Я не поеду в мягком!

Мать смотрит на него со строгим удивлением:

— Почему ты не поедешь в мягком?

— А почему в прошлом году было в международном? А почему теперь в мягком?

— В прошлом году было больше денег...

— Какие там деньги? — говорит Алеша презрительно.— Деньги? Я знаю, в чем тут дело. Просто потому, что это я еду. Меня можно в чем угодно возить!

Мать говорит холодно:

— Думай, как хочешь. Если не нравится в мягком, можно и совсем не ехать.

— Вот видишь? Вот видишь? — обрадовался Алеша.— Могу и совсем не ехать! Все рады будете! Конечно! И даже билет можно продать. Деньги все-таки!

Мать пожимает плечами и уходит. Она должна еще подумать, что дальше делать с такими проклятыми вопросами.

Но Надя, старшая сестра Алеши, не так спокойна и ничего не откладывает. Надя помнит тревогу гражданской войны, теплушки эвакуационных маршрутов, случайные квартиры прифронтовых городов, помнит стиснутые зубы и горячую страсть борьбы, терпкую неуверенность в завтрашнем дне и воодушевленную веру в победу.

Надя с насмешкой смотрит на брата, и Алеша читает в ее прикушенной губе еще и осуждение. Он знает, что через минуту сестра обрушится на него со страшной силой девичьего невыносимого презрения. Алеша вста-

ет со стула и даже напевает песенку,— так он спокоен. Но все напрасно: песенку обрывает короткая оглушительная «очередь»:

— Нет, ты мне объясни, молокосос, когда ты успел привыкнуть к международным?

Алеша оглядывается и находит мальчишеский увертливый ответ:

— Разве [illegible] говорил, что [illegible] привык? Я просто интересуюсь. Каждому интересно, понимаешь...

— А жестким вагоном ты не интересуешься?

— Жестким тоже интересуюсь, но только... это потом... в следующий раз... И потом... какое, собственно говоря, твое дело?

— Мое,— говорит сестра серьезно,— мое дело. Во-первых, ты не имеешь права ехать на курорт. Никакого права! Ты здоровый мальчишка [illegible] ничем не заслужил, ничем, понимаешь, абсолютно! С какой стати разводить таких? С какой стати, говори?

Алеша начинает скептически:

— Вот куда поехала! По-твоему, так [illegible] [illegible] обедать не имею права, тоже не заслужил...

Но он понимает, что стратегическое отступление необходимо. Что будет к вечеру, даже предположить невозможно. Надька способна на всякую гадость, [illegible] перспектива курорта может отодвинуться в далекие эпохи, называемые «взрослыми». Чем кончится сегодняшняя кампания? Хорошо, если только местным пионерским лагерем! Через пятнадцать минут Алеша шутя подымает руки:

— Сдаюсь! Готов ехать в товарном вагоне! Пожалуйста!

Потребность Алеши в международном вагоне не родилась в игре воображения, она выросла в опыте, и тем не менее все понимают, что эта потребность в той или иной мере безнравственна. Понимает это и мать, но она не в силах изменить положение.

Не всякий опыт в нашей стране есть опыт нравственный. Наша семья не является замкнутым коллективом, как семья буржуазная. Она составляет органическую часть советского общества, и всякая ее попытка построить свой опыт независимо от нравственных требований общества обязательно приводит к диспропорции, которая звучит, как тревожный сигнал опасности.

Диспропорция в семье Алеши заключается в том, что потребности отца или матери механически становятся потребностями детей. У отца они вытекают из большого ответственного и напряженного труда, из его трудового значения в советском государстве. А у Алеши они не оправданы никаким коллективным трудовым опытом, [illegible] даны в отцовской щедрости; эти потребности у него — отцовская подачка. Принципиально такая семья есть самая старая, старая отцовская монархия, нечто подобное просвещенному абсолютизму.

У нас приходится, в виде исключения, наблюдать такие семьи. У них словесная советская идеология мирно уживается с опытом старого типа. Дети в такой семье регулярно упражняются в неоправданном удовлетворении. Трагическое будущее таких детей очевидно. Впереди у них тяжелая дилемма: либо пройти стадию естественного роста потребностей сначала в состоянии взрослого, либо подарить обществу такой большой

и такой квалифицированный труд, чтобы заслужить санкцию общества на большие и сложные потребности. Последнее возможно только в исключительных случаях.

Мне приходилось по этому поводу говорить с отдельными товарищами. Некоторые из них рассуждают панически:

— Что же делать? Если я с семьей еду на курорт, как, по-вашему, я должен ехать в одном вагоне, а семья в другом?

Такая паника удостоверяет только одно: нежелание видеть сущность вопроса, отказ от активной мысли, создающей новое. Международный вагон не дороже судьбы детей, но дело не в вагоне. Никакие фокусы не поправят положения, если в семье нет настоящего тона, постоянного правильного опыта.

Проехать с отцом в каком угодно вагоне в отдельном случае нисколько не вредно, если очевидно, что это только приятный случай, вытекающий не из права детей на излишний комфорт, а из их желания быть вместе с отцом. В советском семейном коллективе много найдется других случаев, когда потребности детей не будут связаны с заслугами отца, тогда и у Алеши будет действовать другая логика.

Все это вовсе не значит, что в такой семье к детям нужно применять какую-то особенную дрессировку. Вопрос решается в стиле всей семьи. И если сам отец как гражданин имеет право на дополнительный комфорт, то как член семейного коллектива он тоже должен себя ограничивать. Какие-то нормы скромности обязательны и для него, тем более что в биографиях наших великих людей скромность всегда присутствует <...>

Нравственная глубина и единство семейного коллективного опыта — совершенно необходимое условие советского воспитания. Это относится одинаково и к семьям с достатком и к семьям с недостатком.

В нашей стране только тот человек будет полноценным, потребности и желания которого есть потребности и желания коллективиста. Наша семья представляет собой благодарный институт для воспитания такого коллективизма.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Степан Денисович Веткин познакомился со мной в начале лета 1926 года. Я и сейчас вспоминаю появление его с некоторым смущением: оно было похоже на вторжение неприятельской армии, произведенное неожиданно,— без объявления войны

А между тем ничего военного на деле как будто и не было. Степан Денисович мирно и застенчиво вошел в мой служебный кабинетик, очень вежливо поклонился, держа кепку впереди себя в обеих руках, и сказал:

— Если вы очень заняты, простите за беспокойство,— у меня к вам минимальная просьба.

Даже при слове «минимальная» Степан Денисович не улыбнулся, был сдержанно серьезен и скорее озабочен, чем угрюм.

Он уселся на стуле против меня, и я мог лучше рассмотреть его лицо. У него хорошие усы, прикрывающие рот, под этими усами он часто както особенно мило вытягивал губы, как будто что-то обсасывал, на самом деле у него во рту ничего не было,— это движение выражало тоже оза-

боченность. Рыжая борода Степана Денисовича была немного сбита вправо, вероятно, оттого, что он часто теребил ее правой рукой.

Степан Денисович сказал:

— Да... Видите ли, какое дело! Я, собственно говоря, учитель, здесь недалеко, [redacted] Мотовиловке...

— Очень приятно. Коллега, значит.

Но Степан Денисович не поддержал моего оживления. Он захватил рукой большой участок рыжей своей бороды и суховато объяснил, глядя чуть в сторону:

— Приятно — нельзя сказать. Я, конечно, люблю это дело, но прямо скажу — не выходит. То есть методически выходит, а организационно не выходит.

— В чем же дело?

— Да... не то, что организационно, [redacted] можно сказать, в бытовом отношении. Я у вас прошу сейчас работу... кузнеца.

Я удивился молча. Он мельком взглянул на меня [redacted] продолжал еще более сухо, с особенной симпатичной солидностью, вызывающей большое доверие к его словам:

— Я хороший кузнец. Настоящий кузнец. Мой отец тоже был кузнец. [redacted] ремесленном училище. Я потому [redacted] вышел в учителя. Ну вот. А у вас все-таки заводик, и кузнец хороший нужен. И притом учитель.

— Хорошо,— согласился я.— Вам нужна квартира?

— Да как вам сказать? Комната, конечно, или две комнаты. Семья у меня значительная... Очень значительная.

Степан Денисович засосал губами и задвигался на стуле.

— Учительское дело хорошее, но такую семью невозможно содержать. И кроме того — деревня. Куда они пойдут, детишки?

— Сколько у вас детей?

Он посмотрел на меня и улыбнулся первый раз. В этой улыбке [redacted] увидел наконец настоящего Степана Денисовича. Его озабоченное лицо ничего общего не имело с улыбкой: зубы в ней были веселые, белые, блестящие. С прибавлением улыбки Степан Денисович казался искренне [redacted] добрее.

— Это для меня самый трудный вопрос: отвечать прямо — стыдно, [redacted] часто все-таки приходится, понимаете, отвечать.

Его улыбка еще раз мелькнула [redacted] растаяла за усами, [redacted] на ее месте снова вытянутые озабоченные губы, и снова он отвернулся от меня:

— Тринадцать. Тринадцать детей!

— Тринадцать?! — завопил я в крайнем изумлении.— Да что вы говорите?!

Степан Денисович ничего не ответил, только еще беспокойнее завозился на стуле. И мне стало страшно жаль этого симпатичного человека, [redacted] ощутил крайнюю необходимость ему помочь, но в то же время почувствовал [redacted] озлобление. Такое озлобление всегда бывает, если на ваших глазах кто-нибудь поступает явно неосмотрительно. Все эти мои чувства разрешились [redacted] неожиданном для меня самого восклицании:

— Черт знает что! Да как же... да как же вас угораздило?

Он выслушал мой неприличный возглас с прежним выражением усталости и заботы, улыбаясь только краем уса:

— В семье может быть от одного до восемнадцати детей. Я читал: до восемнадцати бывало. Ну... на мою долю выпало тринадцать.

— Как это «выпало»?

— Ну, и как же? Раз бывает до восемнадцати, значит, где-нибудь и тринадцать окажется. Вот на меня и выпало.

Я быстро договорился со Степаном Денисовичем. Хороший кузнец нам, действительно, был нужен. Степан Денисович рассчитывал, что кузнецом он заработает больше, чем учителем, наша организация могла пойти навстречу его расчетам.

С квартирой было хуже. Насилу-насилу я мог выкроить для него одну комнату, да и для этого пришлось произвести целую серию переселений и перетасовок. Правда, наши рабочие так заинтересовались столь выдающейся семьей, что никто и не думал протестовать. По этому поводу кладовщик Пилипенко сказал:

— А я считаю, что это свинство. Уступить, само собой, нужно, а все-таки человек должен соображение иметь и расчет иметь! Живи, живи, да оглядывайся. Скажем, у тебя трое, четверо, смотришь, пятеро стало! Ну, оглянись же, такой-сякой, посчитай: пятеро, значит сообрази — следующий шестой будет. А то, как дурень с печи,— никакого расчета.

Но товарищ Чуб, старый инструментальщик, у которого было именно шестеро детей, объяснил, что простая арифметика в этом вопросе ничего еще не решает:

— Такое сказал: считай! Думаешь, я не считал? Ого! А что поделаешь: бедность. Бедность — вот кто дела такие делает! У богатого две кровати, богатый себе спит и все. А у бедного одна кровать. Сколько ни считай, а она свое возьмет, и не заметишь, как...

— Просчитаешься,— сказал кладовщик.

— Просчет происходит, а как же! — засмеялся и Чуб, который, впрочем, всегда любил веселый разговор.

Круглый и толстый бухгалтер Пыжов слушал их разговор покровительственно, а потом внес и свою лепту в дело объяснения подобных феноменальных явлений:

— Просчет в таком случае вполне возможен. Главное здесь в дополнительном коэффициенте. Если у тебя один ребенок, а второй, так сказать, в проекте, то ожидается прибавление ста процентов. Расчетливый человек и задумается: сто процентов, сильный коэффициент. Ну а если у тебя пятеро, так шестой, что же, всего двадцать процентов,— пустяковый коэффициент, человек и махнет рукой: была не была, рискую на двадцать процентов!

Слушатели хохотали. Чуба в особенности увлекала причудливая игра коэффициентов, и он потребовал немедленного приложения этой теории к собственному случаю:

— Ох ты, черт! Это значит, если у меня — седьмого подготовить, какой же выйдет... этот...

— Седьмого? — Пыжов только глянул на небо и определил точно:

— В данном положении будет коэффициент шестнадцать и шесть десятых процента.

— Пустяк! — в восторге захрипел Чуб.— Конечно, тут и думать нечего!

— Так и дошел человек до тринадцати? — заливался кладовщик.

— Так и дошел,— подтвердил бухгалтер Пыжов,— тринадцатый — это восемь и три десятых процента.

— Ну, это даже внимания не стоит,— Чуб просто задыхался от последних открытий в этой области.

Так весело и встретили все Степана Денисовича, когда он приехал второй раз посмотреть на квартиру. Степан Денисович не обижался ни на кого, он понимал, что математика обязывает.

Квартиру осмотрели компанией. Комната была средняя, метров на пятнадцать квадратных. Помещалась она в одной из хат, доставшихся нашему заводу еще от старого режима. Степан Денисович все пожевывал и посасывал, осматривая комнату, и как будто про себя, грустно вспоминал:

— Там все-таки у меня две комнаты... Ну, ничего, как-нибудь...

Что я мог сделать? В растерянности я задал Степану Денисовичу глупый вопрос:

— У вас... много мебели?

Веткин с еле заметным укором на меня глянул:

— Мебель? Да разве мне до мебели? И ставить некуда.

Он вдруг очаровательно улыбнулся, как бы поддерживая меня в своем смущении:

— Вообще для предметов неодушевленных свободных мест нет.

Чуб лукаво почесал небритый подбородок и прищурил глаз:

— При таких объективных условиях товарищу не мебели нужны, а стеллажи, вот как у меня в инструментальной. Стеллажи, если начальник не против, можно будет сделать.

Он прикинул глазом высоту комнаты:

— Три яруса. Четвертый дополнительный — на полу.

— Нельзя здесь поместить тринадцать,— сказал опечаленный кладовщик Пилипенко,— какая же здесь кубатура останется для дыхания воздухом? Никакой кубатуры, да у вас же двое.

Веткин поглядывал то на одного консультанта, то на другого, но у него не было растерянного вида. Вероятно, все затронутые обстоятельства у него были давно учтены и сверстаны в общий план операции. Он подтвердил свое прежнее решение:

— Так к десятого перевезу семейство. Нельзя ли конячку какую-нибудь, потому что все-таки барахлишко, и малыши пешком не дойдут от вокзала.

— Конячку? Пожалуйста! Даже две!

— Вот это спасибо. Две, конечно, лучше, потому... семья все-таки... переезжает.

Десятого мая, в воскресенье, совершился въезд семейства Веткиных на территорию нашего завода. Завод был расположен недалеко от города, и к нему была проложена специальная дорога, вымощенная булыжником. Рано утром две заводских «конячки» протащили к городу некоторое подобие экипажей, отчасти похожих на линейки, отчасти на площадки.

К полудню по дороге началось движение публики, чего раньше никогда не бывало. Семейные пары делали вид, будто совершают воскресную прогулку, дышат свежим воздухом и наслаждаются окрестными ландшафтами.

В два часа дня показалась процессия — никакое другое слово к описываемому явлению не подходит. Сидящий на первой подводе трехлетний мальчик держал в руке небольшой игрушечный флаг, и это еще больше придавало всему шествию характер торжественный.

Впереди шли две подводы. На них преобладало «барахлишко», только на первой сидел знаменосец, а на второй двое детей поменьше. «Барахлишко» состояло из вещей малого размера, за исключением шкафика, установленного на первой подводе в самом ее центре, что придавало шкафику некоторую нарочитую торжественность. Это был кухонный шкафик — одно из самых счастливых изобретений человечества,— шкафик, но в то же время и стол. Такие вещи издают всегда замечательный запах: от них пахнет теплом, свежеиспеченным хлебом и детским счастьем. Кроме шкафика выделялись большой самовар, две связки книг и узел с подушками. Все остальное было обыкновенной семейной мелочью: ухваты, веники, ведро, чугунки и так далее.

Рядом со второй подводой шла девушка лет семнадцати, в стареньком потемневшем ситцевом платьице, босиком и с непокрытой головой. Видно было, что она всегда так ходила: несмотря на то, что лето только началось, волосы ее успели сильно выгореть, лицо было покрыто густым красноватым загаром, а на щеках даже шелушилось. И все же оно производило очень приятное впечатление: серьезное, хорошей формы рот. Голубые глаза ясно и спокойно поблескивали под прямыми умными бровками.

За подводами два мальчика, приблизительно одного роста и возраста, несли выварку, чем-то наполненную и прикрытую полосатым куском материи. Этим было лет по тринадцать. За ними шествовала центральная группа детворы от пяти до двенадцати лет, мальчики и девчонки. Двое, самых молодых — девчонки, щекастые и пузатенькие,— шли впереди, взявшись за руки, часто перебирали босыми ножками по чистым, теплым булыжникам мостовой и имели вид очень озабоченный: подводы хоть и медленно двигались по шоссе, но этим пешеходам трудно было управиться с такой скоростью.

Остальные, большие мальчики, заняты были делом: каждый что-нибудь тащил на руках или на плечах, кто зеркало, кто связку рамок, самый старший нес граммофонную трубу.

Вся эта компания произвела на меня неожиданно приятное впечатление головы всех были острижены под машинку, загоревшие мордочки казались чистыми, даже босые ножки были припорошены только сегодняшней пылью. Поясов ни у кого не было, но воротники ситцевых рубашек были аккуратно застегнуты, не было нигде ничего изодранного, только у того, что нес трубу, блестела на колене заплата. Особенно же мне понравилось то, что ни у одного члена процессии не было несимпатичного или отталкивающего выражения: никаких болячек, никакой золотухи, никаких признаков умственной отсталости. Они спокойно поглядывали на нас, не смущались, но и не глазели безразлично, иногда о чем-то между собой переговаривались, не понижая голоса, но и не бравируя своей свободой.

Я расслышал несколько слов такого разговора:

— ...тут сухое место. А это лоза.

— Из нее корзинки можно делать.

— Батько обязательно сделает!

Сам батько, творец и руководитель всей этой армии, шел сзади и бережно нес [redacted] руках граммофонный ящик. Рядом с ним, спустив с черной головы желтый, яркий платок, выступала важно, улыбалась нам влажными большими глазами красивая, румяная женщина. Проходя мимо нас, Степан Денисович расцвел своей замечательной улыбкой и приподнял кепку:

— Приехали! Что хотите делайте, [redacted] приехали! Ваши, смотри, рты разинули! А это моя жена, честь имею: Анна Семеновна.

Анна Семеновна церемонно наклонила голову и протянула руку, потом черными глазами стрельнула вокруг [redacted] сказала солидным низким контральто:

— Вот ему нужно: рты разинули! Привыкнут. Были бы люди хорошие, не злые.

В этот момент среди встречающих произошло движение. Жена инструментальщика Чуба, широкая и важная дама, до сих пор смотревшая на шествие с поджатыми губами, воздела руки и воскликнула:

— Ой, лышенько! Ой, боже ж ты мой! Такие крошки и пешком идут! С вокзала пешком, легко сказать!

Она бросилась к одной из крошек и подхватила ее на руки. Девочка из-за ее плеча выставила такую же, как и раньше, озабоченную мордочку и так же таращила на мир голубые глазенки. Немедленно и другая крошка вознеслась на чьи-то плечи. Встречающие смешались с процессией. К Веткиным подошел бухгалтер Пыжов и сказал, протягивая руку:

— С приездом! И самое главное, не робейте! Это, понимаете, правильно: кадры!

Пользуясь летним временем, Степан Денисович решил основную часть своей армии поместить на свежем воздухе. Для этого он устроил возле своей хаты нечто вроде веранды. Для такого дела нашлось в разных концах нашего двора много бросового материала: обрезки, куски реек, ящики. Воспользовавшись моим разрешением, Степан Денисович назначил для доставки этого материала резервные силы армии, [redacted] то время когда основные силы занялись самой постройкой.

Еще семья Веткиных не прибыла [redacted] нам, [redacted] меня заинтересовал важный педагогический вопрос: имеется ли в этой семье какая-либо организационная структура, или семья представляет из себя, так сказать, аморфную массу? Я прямо спросил об этом Степана Денисовича, когда он зашел ко мне по делу.

Веткин не удивился моему вопросу [redacted] одобрительно улыбнулся:

— Вы правы, это очень важный вопрос, структура, как вы говорите. Конечно, есть структура, хоть и трудный вопрос. Тут могут прийти в голову разные неправильные принципы...

— Например?

— Да вот я вам объясню. Можно, допустим, по возрасту, тогда для дела хорошо будет, а для воспитания неправильно, малыши и одичать

могут. В этом вопросе — нужно по-разному. Для хозяйства у меня будет главная бригада-четверка: Ванька, Витька, Семен и опять же Ванюшка. Старшему Ваньке пятнадцать лет, Ванюшке десять, но он тоже шустрый, может то-другое делать.

— Как это у вас два Вани вышло?

— Вышло так в беспорядке. Старший Ванька правильный, я люблю это имя, а то теперь в моду вошли Игори да Олеги. Ну, а второй родился в шестнадцатом году,— война, то, се. Я, как учитель, освобождался, да черт их разберет, потащили и меня к воинскому начальнику и продержали две недели. А жинка в это время с прибавлением. Хлопоты, нужда, волнение, а кумовья попались неотесанные, деревня! Батюшка, видно, спешил куда, заглянул в святцы, какого святого? Ивана-мученика. Ну, и бултых в воду с этим мучеником, так и осталось. Да ничего страшного, может, потом будут путаться, а сейчас ничего: то Ванька, а то — Ванюша, они так уже и знают. Ванька белый, а Ванюшка черный, в мать.

— Так это у вас хозяйственная бригада?

— Ого! Хозяйственная. И в школу ходят, и дома, если что сделать, всегда компанией. Работники будут. И к тому же мальчишки. Вот вам и структура. Потом есть еще бригада, хэ, хэ! Васька — восемь лет, осенью в школу, подходит к старшим, а пока гуляет. А кроме него: Люба — семь годков, а Кольке — шесть. В хозяйстве с них какой толк, а все-таки приучаются: принести что, отнести, в кооператив сбегать. Читать умеют и счет в пределах двух десятков — удовлетворительно.

— Это они сейчас материал стаскивают?

— Они. Васька, Люба и Колька, это их дело. Ну, а под ними, конечно, мелочь: Марусе только пять, а другим меньше: Вера и Гришка. А Катя и Петька самые малые — близнецы, в позапрошлом году только появились.

— Старше всех дочка?

— Оксана, как же! Оксана вне конкуренции. Во-первых, невеста, во-вторых — она все умеет, и матери, пожалуй, не уступит в хозяйстве. Это особая статья, и тут подумать нужно. Из Оксаны хороший человек выйдет и учиться хочет,— в рабфаке. Вот посмотрю осенью.

Первая бригада Ваньки-старшего неустанно работала по постройке веранды. Сам Степан Денисович мало ей помогал, так как приступил уже к работе в нашей кузнице, и только после четырех часов его взлохмаченная голова торчала над готовым каркасом веранды, занятая больше всего вопросом о конструкции крыши. Но даже и в эти вечерние часы распорядительная власть принадлежала Ваньке. Однажды при мне он сказал отцу:

— Ты туда не лазь. Утром мы сами сделаем. А ты лучше гвоздей достань. Этих гвоздей мало.

В распоряжении бригады были только те гвозди, которые Ванюшка-младший вытаскивал из старых досок. Он целые дни просиживал за этим делом, в его распоряжении были для этого клещи и особый молоток с раздвоенным узким концом. Ванюшкина продукция «лимитировала» постройку, и Ванька-старший отдал приказание резерву, доставляющему материал:

— Вы не бросайте где попало. Если с гвоздиком, несите к Ванюшке, а если без гвоздика, давайте мне.

Начальник резерва, восьмилетний Васька, человек лобастый, коренастый и серьезный, не пошел, однако, на усложнение работы по доставке материала, а мобилизовал представительницу «мелочи», пятилетнюю Марусю — существо необыкновенно радостное и краснощекое. Маруся с любопытством рассматривала каждую дощечку, придиралась к каждому подозрительному пятнышку и, надувая и без того полные щечки, откладывала дощечку в ту или иную сторону. Во время работы она нежно приговаривала:

— С гвоздиком... Без гвоздика... С гвоздиком... Три гвоздика... А эта... без гвоздика... А эта... с гвоздиком...

Только изредка она с испугом всматривалась в какой-нибудь подозрительный обрывок проволоки, прилипившейся к дощечке, и озабоченно топала к Ваньке или к Витьке с трагическим вопросом:

— Это тоже гвоздик? Или это другое?.. Это ровалка? Какая ровалка? Это не нужно с гвоздиком?

Молодые Веткины поражали окружающих удивительным спокойствием своих характеров. В этом переполненном семействе почти не слышно было плача. Даже самые младшие Веткины, близнецы Катя и Петька, никогда не задавали таких оглушительных концертов, какие случались, например, в семействе Чуба. У Чуба дети были веселые, боевые, очень подвижные и предприимчивые. Они много играли, были организаторами всей детворы нашего двора, много проказничали и веселились, их голоса слышались то в том, то в другом конце. Очень часто эти голоса приобретали подчеркнуто минорный характер, а иногда приобретали форму рева, настойчивого, упорного, вредного, с причитаниями и обидами, с неожиданными повышениями до «крика под ножом убийцы». Чубы-родители деятельно боролись с подобными излишествами, сами кричали, ругались и даже проклинали свое потомство, а в случаях с наибольшей экспрессией размахивались затрещинами и подзатыльниками и другими видами непосредственного воздействия. Такое оформление часто сообщало семье Чубов характер классической трагедии вроде «Ричарда III», в которой, как известно, детей убивают пачками. На деле, конечно, ничего трагического не было.

Молодые чубенки, накричавшись до хрипа и получив все, что им полагалось по обычаям педагогики, вытирали слезы и немедленно забывали все обиды и неприятности, в том числе и собственные домогательства, послужившие ближайшим поводом к конфликту, и отправлялись с веселыми выражениями лиц продолжать свою счастливую детскую жизнь в другом конце двора. Старые Чубы тоже не предавались никакой грусти. Напротив, сознание исполненного родительского долга повышало их жизнедеятельность, необходимую для выполнения стоящих перед ними семейных задач.

Ничего подобного не было у Веткиных. Даже Катя и Петька в самых пессимистических случаях ограничивались коротким хныканьем, имеющим, главным образом, символическое значение. Более старшие элементы веткинского потомства даже и не хныкали никогда. Конфликты этой семьи

не выносились на общественную арену, а, может, конфликтов и вовсе не было.

Наше заводское общество рано обратило внимание на эту особенность Веткиных; все старались как-нибудь объяснить ее. Никто при этом не упоминал о педагогических талантах родителей.

Чуб говорил:

— Характеры такие. Это от природы. И тут ничего хорошего нет, если вообще посмотреть. Человек должен все уметь. Какой же это человек будет, если ему все равно, хоть блин, хоть г...о. Человек, если что — кричать должен, сердце у него должно быть И плакать в детском положении следует по закону: живой человек, а не кукла. У своего батька я первый скандалист был, и попадало, правда, то аршином, а то и кулаком. А теперь живу без скандалов, хотя, если кто налезет, пожалуйста, я тоже покричать могу, а как же иначе?

Бухгалтер Пыжов был другого мнения:

— Не в том дело, товарищ Чуб, не в характере дело, а в экономической базе. Когда у тебя один или два, увидят что,— дай! На! Дай этого! На! Дай того! Ну, надоест, нельзя! Начинается крик, конечно, потому что раньше давали, а теперь не дают. А у Веткина — тринадцать, крути не верти, а все равно постоянный недостаток и дефицит. Тут никому и голову не придет кричать: дай! Как это «дай»? Откуда дать? Я и то удивляюсь, как это Степан Денисович управляется без счетовода? Тут, что ни попадет в общий котел, подумай да подумай, по скольку граммов приходится на персону, да ведь не просто раздели, а по дифференциальному методу, старшему одно, а младшему другое. Вот почему и характеры спокойные: каждый сидит и ожидает своего пайка, криком все равно не поможешь.

— Ну, это вы по-ученому придумали, товарищ Пыжов, а только не так,— возразил Чуб.— У меня тоже шестеро. По какому хочешь методу, все равно мало приходится на одного. А, однако, орет, понимаешь, хоть ты ему кол на голове теши: дай — и все! И такой результат: кто больше кричит, так тому больше и дается. А не выкричит, так силой отнимет у другого У меня Володька такой — напористый!

Веткин выслушал эти философские новеллы со сдержанной улыбкой превосходства и ответил так:

— Если человек напористый, это еще вопрос — нужно или не нужно. Один напористый нарвется на другого напористого и за ножи хватаются или просто в драку! Надо, чтобы компания была хорошая, тогда все и сделается, а то «напористый»! А что дети плачут и кричат, так это просто от нервов. Вы думаете, у вас только нервы? У них тоже. На вид он хороший мальчишка, и веселый, и все, а на самом деле у него нервы испорчены, как у барыни-сударыни. Он и кричит. Если ему нервы не портить с первого года, чего он будет кричать?

— У моих нервы? — поразился Чуб.— Ого!

— Чего там «ого»? — сказал Веткин и развел усы, прикрывая рукой улыбку. —У тебя у самого нервы бракованные.

Снабдить пищей свою семью Веткину было трудно. Правда, мы отвели для его нужд значительный участок огорода, и на нем скоро заработали Анна Семеновна и Оксана. Помогли Веткину еще кое-чем: лошадь, плуг, се-

мена и особенно важная вещь — картофель. Но пока что огород требовал только труда и расходов.

Степан Денисович не жаловался, но и не скрывал своего положения:

— Я не падаю духом. Сейчас главное — хлеб. Для начала, если будет хлеб, хорошо. Но все-таки: самое минимальное — полпуда хлеба, это, значит, по пятьсот грамм на едока, в сущности, даже маловато. Каждый день полпуда!

Мы все понимали, что от Веткиных требовалась змеиная мудрость. Сам Веткин эту мудрость реализовал на работе. Он был и в самом деле хороший кузнец: в этом деле ему здорово помогала учительская культура. Заработок его поэтому был гораздо выше среднего заработка нашего рабочего.

Но [redacted] был очень удивлен, когда на мое предложение о вечерней сверхурочной работе Веткин ответил:

— Если нужно для завода, я не откажусь,— это другое дело. Ну, а если это вы как бы в поддержку мне, так такого не нужно делать, потому что с таким принципом можно сильно напутать.

Он смущенно улыбнулся [redacted] потом уже не смог спрятать улыбку, хотя и старался изо всех сил запихнуть ее за густую занавеску усов,— это значит, он чувствовал какую-то неловкость.

— Человек должен работать семь часов, [redacted] если больше — значит, неправильная амортизация. Я этого не понимаю: народил детей [redacted] умри. Это вот, забыл уже, насекомое такое или бабочка, так она живет один день. Положила яички [redacted] до свидания: больше ей делать нечего. Может, для бабочки [redacted] правильно, потому что ей [redacted] в самом деле нечего делать, а у человека много дела. Я вот хочу видеть, как Советская власть пойдет, и как перегоним этих... Фордов разных и Эдисонов. И японцы, и Днепрострой, мало ли чего? Семь часов кузнечной работы — это для меня не легко.

— Но вы только что сказали,— отозвался я,— что если нужно для завода...

— Это другое дело. Для завода нужно — и все. А для детей моих не нужно. Надо, чтобы отец у них как человек был, [redacted] не то, как [redacted] наблюдал, не человек, а просто лошадь: взгляд тупой, спина забитая, нервы ни к черту, [redacted] души — как кот наплакал. К чему такой отец, спрашивается? Для хлеба только. Да лучше такому отцу сразу [redacted] могилу, [redacted] детей и государство прокормит,— хлеба не пожалеет. Я таких отцов видел: тянет через силу, ничего не соображает — свалился, издох, дети — сироты; [redacted] если не сироты, так идиоты, потому что [redacted] семье должна быть радость, [redacted] не то что одно горе. А еще [redacted] хвалятся люди: я, говорит, все отдал для детей! Ну и дурак: ты отдал все, [redacted] дети получили шиш. У меня хоть и не богатая пища, зато [redacted] семье есть компания, [redacted] здоровый, мать веселая, душа есть у каждого.

Признаюсь, что [redacted] то время такие рассуждения Степана Денисовича не то что не понравились мне, [redacted] упали как-то не на благоприятную почву. Логически с ним трудно было не согласиться, но трудно было представить себе ту границу, которая могла бы точно отделить подобную философию от эгоизма или простой лени. Я привык считать, что чувство долга только

тогда будет действенным и нравственно высоким, когда оно не находится в очень близком родстве с арифметикой или аптекой.

Мне захотелось ближе посмотреть, как вся эта теория выглядит в практической линии Степана Денисовича. Но зайти к Веткиным у меня все не выбиралось времени, тем более что положение их постепенно улучшалось. В другой половине хаты Веткина жили две девушки-обмотчицы. Они по собственному почину уступили свою комнату Веткиным, а сами перебрались к подруге, в другую хату. Степан деятельно занялся реорганизацией своего обиталища.

Как-то я и инструментальщик Чуб уже в августе месяце пробирались в город. Шли по узкой кривой тропинке в молодых дубовых зарослях. Чуб по своему обыкновению говорил о людях:

— Веткин сына на экзамен отправил,— Ваньку-старшего. А будет жить у дяди в городе. И сейчас там. Дай мне такого дядю, так я тебе не только тринадцать,— тридцать детей наготовлю. Людям везет по-разному: у одного голова, у другого борода красивая, у третьего — дядя!

— Что там за дядя такой?

— Ого! Не дядя, а масло! Председатель ГРК[8], легко сказать! Четыре комнаты, рояль, диваны, ну, мануфактуры разной, продовольствия, как у царя!

— Крадет, что ли?

— Чего крадет? Покупает, хэ! В своих магазинах всегда можно купить. Если бы, допустим, у меня свои магазины были, разве я не покупал бы? Нэп называется! Бывает и нэп, а бывает и «хэп», «хап»! При «хапе» и для племянников хватит. А вы спросите Степана Денисовича, почему он к дяде пристроился? Ну и отдал бы Ваньку в наш фабзавуч. Так нет, к дяде нужно, потому что там нэп этот самый!

В этот момент из-за дубовых зарослей по той же кривой дорожке вышли Степан Денисович и Ванька. Ванька брел сзади, щелкал прутиком по встречным стволам молодых деревьев и имел то сложное выражение, которое бывает только у мальчиков, когда они из уважения и любви к старшим покоряются их решениям, но в глубине души крепко стоят на какой-то своей принципиальной позиции, и это ясно видно по еле заметной, но все же настойчивой и иронической улыбке и в легком налете такого же иронического лака на грустных глазах.

— Выдержал? — крикнул Чуб еще издали.

Степан Денисович даже не улыбнулся, сердито глянул назад на сына и, направляясь мимо нас, буркнул холодно:

— Выдержал.

Но потом вдруг остановился и сказал, глядя в землю:

— Вы слышали о дворянской гордости? Пожалуйста: вот вам дворянская гордость!

Несколько театральным жестом Веткин показал на Ваньку. Сей представитель дворянства в одной руке держал ботинки, а в другой прутик, которым царапал землю у своих босых ног, рассматривая исцарапанное место прежним сложным взглядом, состоящим из двух лучиков: один грустный и расстроенный, а другой лукавый и вредный. Последний лучик, может быть, как раз и отражал идею, безусловно, дворянскую.

Степан Денисович старался пронзить Ваньку сердитым взглядом, но не пронзил: Ванька оказался твердым, как самшит. Тогда Степан Денисович обратился [redacted] нам с жалобой на сына:

— Яблоки! Яблоки он признает, если натаскает из совхозного сада. А если они на столе у человека, так он их не признает!

Такое возмутительное отношение к яблокам, конечно, не могло быть изображено никакими словами. Степан Денисович снова воззрился на Ваньку.

Ванька совершил головой неразборчивое движение, состоящее из поматывания [redacted] нескольких направлениях, и сказал:

— Разве только яблоки? Не [redacted] яблоках дело, [redacted] вообще... я там жить не буду.

Степан Денисович снова обернулся к нам, чтобы подчеркнуть развратный характер Ванькиных слов, но Ванька продолжал:

— На что мне ихние яблоки? И конфеты? И этот... балык!

Ванька вдруг пыхнул смехом и отвернул покрасневшее лицо, прошептав несколько смущенно:

— Балык...

Воспоминание об этом деликатесе смешило Ваньку недолго, [redacted] тому же это был горький смех сарказма. Ванька повернул этот сарказм к нам его серьезной стороной и сказал с настоящим осуждающим выражением:

— У нас дома ничего такого нет, [redacted] я не хочу! Не хочу — и все!

Кажется, [redacted] этих словах заключалось окончательное утверждение Ваньки, потому что, сказав их, Ванька выпрямился, крепко хлопнул прутиком по ноге, как будто это не был прутик, [redacted] стэк, и глянул на батька. В этот момент в выражении Ванькиной фигуры было действительно что-то аристократическое.

Степан Денисович под правым усом что-то такое сделал, как будто начал улыбаться, но бросил эту затею и сказал пренебрежительно:

— Гордец какой! Подумаешь!

Он круто повернулся и зашагал по направлению к заводу. Ванька быстро сверкнул взглядом по нашим лицам, будто хотел поймать их на месте преступления, и спокойно тронулся за батьком.

Чуб задержал теплый взгляд на уходящем мальчике, кашлянул [redacted] полез [redacted] карман за махоркой. Он долго расправлял пальцами измятый листик папиросной бумаги, долго насыпал и распределял на нем табак и все посматривал задумчиво в сторону скрывшегося уже Ваньки. Только заклеив смоченную языком цигарку [redacted] взяв ее [redacted] рот, он зашарил [redacted] глубоком кармане грязного пиджака и сказал хрипло:

— Да-да, мальчишка... А как вы скажете, правильно или неправильно?

— Я думаю, что правильно.

— Правильно?

Чуб стал искать спички [redacted] другом кармане, потом [redacted] штанах, потом где-то за подкладкой и улыбнулся:

— На свете все легко решается. Вот вы сразу сказали: правильно. А может, [redacted] неправильно. Спички вот, и то все бока расцарапаешь, пока найдешь, [redacted] тут тебе жизнь, жизненная правда! Как же так, правильно? Вам хорошо говорить, [redacted] у Веткина тринадцать. Имеет право этот босяк

задаваться? Яблоки, балык, смотри ты! А если у батька и картошки не хватает?

— Постойте, Чуб, вы только сейчас осуждали Веткина...

— Осуждал, а как же! А что ж тут хорошего? Дядя тот сукин сын, а Веткин к нему мостится.

— Ну?

— Так это другое дело. Это к старику придирка, а мальчишке какое дело? Мальчишка должен понимать, что отцу трудно, отец и думает, как лучше. Нашел-таки спички, смотри, куда залезли! Теперь детвора стала такая: все сама, и делает сама, и понимает сама, а ты за нее отвечай!

Ванька настоял на своем и поступил в наш фабзавуч. Городской дядя, таким образом, был оставлен в потенциальном состоянии.

Описанный случай меня заинтересовал в нескольких разрезах. Хотелось увидеть поближе всю мотивационную натуру Ваньки, нужно было выяснить и другое: как такие натуры делаются? Для нашего брата, педагога, второй вопрос представляет настолько важное значение, что мне не стыдно было поучиться кое-чему у такой кустарной педагогической организации, как семья Веткиных. При этом мне не могло прийти в голову, что Ванькина натура дана от природы, что она не является результатом хорошей воспитательной работы.

Среди так называемой широкой публики у нас широко распространено знание того, что теория Ломброзо[9] ошибочна, что хорошее воспитание из любого сырого материала может выковать интересный и здоровый характер.

Это правильное и симпатичное убеждение, но, к сожалению, у нас оно не всегда приводит к практическим результатам. Это происходит потому, что значительная часть наших педагогов исповедует пренебрежение к Ломброзо только в теоретических разговорах, в докладах и речах, на диспутах и конференциях. В этих случаях они решительно высказываются против Ломброзо, но на деле, в будничной практической сфере, эти противники Ломброзо, не умеют точно и целесообразно работать над созданием характера и всегда имеют склонность в трудных случаях потихоньку смыться и оставить природное сырье в первоначальном виде.

Эта линия положила начало многим завирательным писаниям и теориям. Отсюда «стала есть» и педология, отсюда, в порядке хитроумного непротивления, пошла и теория свободного воспитания, а еще естественнее — пошли отсюда же обыкновенные житейские умывания рук, воздевание тех же конечностей, отмахивание теми же конечностями, сопровождаемые обычными словечками:

— Ужасный мальчик!

— Безнадежный тип!

— Мы бессильны!

— Неисправим!

— Мы на него махнули рукой!

— Нужен специальный режим!

Уничтожение педологии, всенародный провал «свободного воспитания» произошли на наших глазах. Но неудачникам-педагогам стало от этого еще труднее, ибо теперь ничем теоретическим нельзя прикрыть их прак-

тическую немощь, и если говорить без обиняков и реверансов — их непобедимую лень.

Ломброзо можно смешать с грязью только единственным способом — большой практической работой над воспитанием характера. А эта работа вовсе не такая легкая, она требует напряжения, терпения и настойчивости. Многие же наши деятели чистосердечно думают, что достаточно чуточку поплясать над поверженным Ломброзо и изречь несколько анафем, и долг их выполнен.

Вся эта «практическая» печаль состоит, впрочем, не из одной лени. В большинстве случаев здесь присутствует настоящее, искреннее и тайное убеждение, что, на самом деле, если человек зародился бандитом, то бандитом и издохнет, что горбатого могила исправит, что яблочко от яблони недалеко падает.

Я исповедую бесконечную, бесшабашную и безоглядную уверенность в неограниченном могуществе воспитательной работы, в особенности в общественных условиях Советского Союза. Я не знаю ни одного случая, когда бы полноценный характер возник без здоровой воспитательной обстановки, или, наоборот, когда характер исковерканный получился бы, несмотря на правильную воспитательную работу. И поэтому я не усомнился в том, что благородство Ванькиной натуры должно привести меня к естественному его источнику — к глубокой и разумной семейной педагогике.

А с Ванькой-старшим я поговорил при первом удобном случае, который произошел в том же лесу, только в самой его глубине, подальше от извилистых дорожек в город. В выходной день я просто бродил в этом месте, соблазненный возможностью побыть одному и подумать над разными жизненными вопросами. Ванька собирал грибы. Еще раньше Степан Денисович говорил мне:

— Грибы — это хорошо придумано. Когда у человека денег нету, можно пойти и насобирать грибов. Хорошая приправа и даром! Ягода — в том же духе. Еще крапива, молодая только.

Ванька ходил по лесу с большой кошелкой и собирал именно грибы — маслята. Из кошелки они уже выглядывали влажной аппетитной верхушкой, и Ванька из подола рубахи соорудил нечто вроде мешка и складывал туда последние экземпляры. Он поздоровался со мной и сказал:

— Батько грибы страшно любит. И жареные и соленые. Только здесь белых грибов нет, а он больше всего белые любит.

Я сел на пень и закурил. Ванька расположился против меня на травке и поставил кошелку к дереву. Я спросил у него прямо:

— Ваня, меня интересует один вопрос. Ты отказался жить у дяди из гордости... Отец твой правильно сказал, так же?

— Не из гордости,— ответил Ваня и ясно на меня глянул голубыми спокойными глазами.— Чего из гордости? Просто не хочу, на что мне этот дядя?

— Но ведь у дяди лучше? И семье твоей облегчение.

Я это сказал и сразу же почувствовал угрызения совести, даже виновато улыбнулся, но синева Ванькиных глаз была по-прежнему спокойна:

— Батьку это правда, что трудно, [redacted] только... чего ж нам расходиться? Тогда еще труднее будет.

Вероятно, мое лицо в этот момент приобрело какое-то особенно глупое выражение, потому что Ванька весело расхохотался, даже его босые ноги насмешливо подпрыгнули на травке:

— Вы думаете что? Вы думаете, батько для чего меня к дяде отправил? Думаете, чтобы нас меньше осталось? Н-нет! Батько у нас такой хитрый... прямо, как тот... как муха! Это он хотел, чтобы мне лучше было! Видите, какой он!

— И тебе было бы легче, и ему было бы легче,— настаивал [redacted] на своем.

— Н-нет,— продолжал Ваня по-прежнему весело.— Разве ему один человек — что? Ему ничего. А теперь [redacted] ФЗУ двадцать восемь рублей зaробляю, видите? Это он для меня хотел.

— А ты отказался от лучшего?

— Да чего там лучшего? — сказал Ваня уже серьезно.— Это разве хорошо, батька бросать? Хорошо, да? А там ничего лучшего, [redacted] все хуже. Только там едят, ну, [redacted] все. А у нас дома лучше. Как сядут, во! Весело! И батько у нас веселый, и мать! У нас, конечно, нет балыка. А вы думаете, балык вкусный?

— Вкусный.

— Ой, какой там вкусный! Гадость! А картошка с грибами, вы думаете, как? Целый чугун! А батько еще [redacted] приговаривает что-нибудь. И пацаны у нас хорошие, и девчата. Чего [redacted] там не видел?

Так я ничего и не выяснил в этом разговоре. Ваня не признавал никакой гордости, [redacted] уверял меня, что дома лучше. Когда мы прощались, он сказал мне ласково и [redacted] то же время как-то особенно задорно:

— А вы приходите сегодня [redacted] нам ужинать. Картошку с грибами. Вы думаете, не хватит? Ого! Вы приходите.

— А что же, [redacted] приду!

— Честное слово, приходите! В семь часов. Хорошо?

В семь часов я отправился к Веткиным. На веранде сидел у стола Степан Денисович [redacted] читал газету. У летней кухни, построенной [redacted] сторонке, хозяйничали Анна Семеновна и Оксана. Оксана глянула на меня, не отрывая рук от сковороды, и ласково улыбнулась, сказав что-то матери. Анна Семеновна оглянулась, подхватила фартук, завертела им вокруг пальцев [redacted] пошла мне навстречу:

— Вот как хорошо, что пришли! Ванька говорил, что придете. Степан, ну, принимай же гостя, довольно тебе политикой заниматься.

Степан Денисович снял очки [redacted] положил их на газету. Потом ухватил бороду и засосал губами, но это была озабоченность гостеприимная [redacted] чуточку ироническая. [redacted] дверях хаты стоял Ванька-старший, ухватился обеими руками за притолоку [redacted] улыбнулся. Под одной его рукой прошмыгнул [redacted] хату Васька, [redacted] из-под другой руки, опершись на колени ручонками, выглядывала румяная Маруся [redacted] щурила на меня глазенки.

Через пять минут мы расположились за большим столом на лавках. На столе не было скатерти, но стол блестел чистотой натурального дерева. Залезая за стол, [redacted] не мог удержаться [redacted] любовно провел рукой по его приятной белизне. Степан Денисович заметил это движение и сказал:

— Вам нравится? Я тоже люблю некрашеный стол. Это настоящее дело, природное, тут никого нельзя надуть. А скатерть, бывает и так, нарочно покупают серенькую, чтобы не видно было, если припачкается. А здесь чистота без всяких разговоров.

Дома Степан Денисович был новый, более уверенный и веселый, лицо у него вольнее играло мускулами, и он почти не сосал свой таинственный леденец. Возле печи, занавешенной белой занавеской, стояли Ванька-старший, Витька, Семен и Ванюшка,— вся первая бригада, и, улыбаясь, слушали отца.

В комнату шумно влетела семилетняя Люба,— самая смуглая из Веткиных,— у нее лицо почти оливкового оттенка. В отличие от прочих ее шея украшена ожерельем из красных ягод растения, называемого в наших местах глодом. Люба вскрикнула:

— Ой, опоздала, опоздала! Ванюшка, давай!

Кареглазый, суровый Ванюшка присел у нижней полки шкафика и размеренно начал подавать Любе сначала корзинку с нарезанным хлебом, потом глубокие тарелки, потом несколько ножей, две солонки и алюминиевые чайные ложки. Сестра отвечала неприступному спокойствию Ванюшки самым горячим движением вокруг стола, отчего по комнате прошел какой-то особенно милый и теплый ветерок.

Пока Люба и Ванюшка накрывали на стол, Ванька-старший и Витька вытащили из-под спального помоста два маленьких «козлика» и уложили на них широкую доску, такую же чистую, как стол. Рядом с помостом, таким образом, протянулся длинный походный столик и на нем немедленно стали тарелки, принесенные бурным вихрем оливковой Любы. Не успел я оглянуться, как за этим столиком собралась компания: Маруся, Вера, Гриша, Катя и Петька — вся семейная «мелочь» в полном составе. Каждый из них приволок с собой и мебель. Маруся выкатила из-под помоста круглый чурбачок. Близнецы Катя и Петька, кажется, пришли из другой комнаты. Они вошли серьезные и даже озабоченные, и оба прижимали к седалищным местам крошечные сосновые табуреточки. Эти явились в совершенно оборудованном состоянии. Так, не отрывая от собственных тел табуреточек, они и протискались за импровизированный стол и, как только уселись, затихли в серьезном ожидании.

Четырехлетняя Вера, напротив, отличалась веселым характером. Она была очень похожа на Марусю, такая же краснощекая и живая, только у Маруси уже отросли косы, а Вера стрижена под машинку. Она, как только уселась за стол, ухватила алюминиевую ложку и о чем-то загримасничала, ни к кому, впрочем, не обращаясь, просто в яркое, летнее, солнечное окно, а ложкой застучала по столу. Ванюшка от шкафика оглянулся на нее и сердито нахмурил брови, намекая на ложку. Вера загримасничала на Ванюшку, лукаво заиграла щечками и высоко замахнулась ложкой, угрожая с треском опустить ее на тарелку. У нее готов был сорваться закатистый громкий смех, но Ванька-старший поймал ее ручонку вместе с ложкой. Вера подняла на него прекрасные большие глаза и улыбнулась нежно и трогательно. Ванька, не выпуская ее руки, что-то зашептал ей, наклонившись, и Вера слушала его внимательно, скосив глазки, и шептала тем срывающимся на звон шепотом, который бывает только у четырехлетних:

— Ага... ага... не буду... не буду...

Я залюбовался этой игрой [redacted] пропустил самый торжественный момент: [redacted] на нашем столе и на примостке «мелочи» появились чугунки с картофелем, у нас побольше, у «мелочи» поменьше, [redacted] Анна Семеновна уже была не в темном кухонном фартуке, [redacted] [redacted] свежем, ярком, розовом. Оксана [redacted] Семен принесли две глубокие миски с жареными грибами и поставили их на стол Семья спокойно рассаживалась. К моему удивлению, Ванька-старший уселся не за нашим столом, [redacted] за примостком, с узкого конца, рядом с Марусей. Он весело нахмурил лицо и приподнял крышку над чугунком. Из чугунка повалил густой, ароматный пар. Маруся надула щечки, заглянула в чугунок, радостно обожглась горячим его дыханием [redacted] неожиданно громко запела и захлопала [redacted] ладошки, оглядывая всю свою компанию:

— Картошка [redacted] одежке! Картошка [redacted] одежке!

Наш стол сочувственно оглянулся на малышей, но они на нас не обратили внимания. Вера тоже захлопала [redacted] тоже запела, хотя она картошки еще и не видела. Катя и Петька по-прежнему сидели серьезные [redacted] недоступные никаким соблазнам мира, на чугунок даже не посмотрели.

Степан Денисович сказал:

— У Веры будет контральто. Слышите, она вторит? Только чуточку диезит, чуточку диезит[10].

Ванька-старший уже накладывал картофель [redacted] тарелку Веры и сказал ей с шутливой угрозой

— Верка, ты чего диезишь?

Вера прекратила пение [redacted] потерялась между картошкой на тарелке и вопросом брата:

— А?

— Диезишь чего?

Вера переспросила:

— Едишь? — но [redacted] этот момент картошка уже производила на нее более сильное впечатление, и она забыла о брате.

Анна Семеновна положила на тарелку мне, мужу и себе [redacted] передала бразды правления Оксане. Все занялись раздеванием картошки. Но Ванька-старший вдруг вскочил из-за примостка [redacted] вскрикнул панически:

— Селедку ж забыли!

Все громко засмеялись. Только Степан Денисович укорительно глянул в сторону Ваньки:

— Ах, чудак! Так и ужин мог без селедки пройти.

Ванька выбежал из хаты и возвратился, запыхавшись, держа в обеих руках глубокие тарелки, наполненные нарезанной селедкой, перемешанной с луком.

— Селедка,— это его инициатива,— сказал Степан Денисович,— ах ты, чудак, чуть не забыл!

Я тоже улыбнулся забывчивости Ваньки. И вообще мне хотелось улыбаться [redacted] этой приятной компании. Мне и раньше случалось бывать [redacted] гостях, и не помню случая, чтобы меня принимали вот такой единодушной семьей Обыкновенно детей удаляли [redacted] какие-то семейные закоулки, [redacted] пиршество происходило только между взрослыми. Занимали меня [redacted] многие

другие детали ужина. Мне очень понравилось, например, что ребята умели [redacted] каждый момент объединить [redacted] интерес ко мне, как к гостю, [redacted] интерес к еде, и память о каких-то своих обязанностях, [redacted] в то же время не забывали и о собственных мелких делишках. Они радостно блестели глазами и деятельно ориентировались в происходящем за столом, но [redacted] интервалах умели вспомнить о таинственных для меня «потусторонних» темах, потому что я ловил ухом такие отрывки:

— Где? На речке?

Или:

— Не «Динамо», [redacted] «Металлист»...

Или:

— Володька брешет, он не видел...

Володька упоминался, конечно, чубовский. Существовали какие-то соседние области, на территории которых этот Володька «брехал».

Все эти обстоятельства и занимали меня, и радовали, но одновременно с этими переживаниями я почувствовал самый неприкрашенный, нахальный аппетит: страшно захотелось вдруг картошки с грибами. А здесь еще была и селедка. Она не была уложена [redacted] парадной шеренге на узенькой специальной тарелочке, и кружочки лука не обрамляли ее нежным почетным эскортом, вообще в ней не было ничего манерного. Здесь она красовалась в буйном изобилии до самых краев глубокой тарелки с красным ободком. И белые сегменты лука были перемешаны с ней в дружном единении, облитом подсолнечным маслом.

За ужином шел разговор о новой и старой жизни:

— Мы с жинкой и раньше ничего не боялись,— говорил Степан Денисович,— а на самом деле много было таких предметов, что нужно было бояться: во-первых, нужда, во-вторых, урядник, в-третьих, скучная была жизнь. Скучная жизнь для меня самое противное.

— Вы теперь больше веселитесь? — спросил я.

— Смотря как веселиться,— улыбнулся Степан Денисович, заглядывая в чугунок с картошкой.— Вот Оксана поступила на рабфак. Как ни считай, [redacted] через восемь лет будет, это легко сказать,— инженер-строитель! Моему батьку за шестьдесят лет жизни приснилось, если так посчитать, до двадцати тысяч снов. Ну, и что ему там снилось, всякая ерунда и фантазия. А [redacted] гарантирую, не могло ему такое присниться, чтобы его дочка — инженер-строитель! Не могло даже, допустим, [redacted] пьяном виде.

— А тебе снилось? — спросила, стрельнув глазами, Анна Семеновна.

— А что же ты думаешь? Даже вот вчера приснилось, будто Оксана приехала и дает мне подарок, шубу, [redacted] во сне и не разобрал, какой это мех. Я и говорю ей: для чего мне такая шуба, мне [redacted] кузнице [redacted] такой шубе неудобно. А она отвечает: это не для кузницы, [redacted] поедем на стройку, я, говорит, радиостанцию на Северной Земле строю. И сама она будто [redacted] такой громадной шубе, как боярин какой!

Оксана рядом со мной нахмурила умные аккуратные бровки [redacted] покраснела не столько от сообщения отца, сколько от всеобщего внимания, всем приятно было посмотреть на будущего строителя радиостанции на Северной Земле. Васька сказал Оксане:

— Оксана! И я [redacted] батьком к тебе поеду. Ты мне валенки привези.

За столом засмеялись, [redacted] посыпались такие же деловые предложения. Ванька-старший спросил, не скрывая улыбки:

— А я тебе не снился, батько, это очень для меня важно!

— И ты снился! — Степан Денисович с шутливой уверенностью мотнул бородой над тарелкой.— Как же, снился, да только нехороший сон. Пошел будто бы ты [redacted] гости [redacted] дяде, а тут бегут ко мне люди и кричат: скорее, скорее, у Ваньки вашего живот заболел, яблоко у дяди скушал! Яблоком отравился!

Все закатились смехом, [redacted] Витька даже закричал через весь стол:

— И балыком! И балыком каким-то ихним!

Теперь все смотрели счастливыми, веселыми глазами на Ваньку, [redacted] он стоял у своего примостка и, не смущаясь, тоже смеялся, глядя на отца. И спросил громко-весело:

— Ну, [redacted] что же? Умер... от отравления?

— Нет,— ответил Веткин.— Не умер. Сбежались люди, карета «скорой помощи» приехала. Отходили!

Когда картошка со всем своим штабом была съедена, сам Степан Денисович внес большущий начищенный самовар, [redacted] мы приступили к чаепитию. Оно было оборудовано просто [redacted] оригинально. На больших блюдах из тонкой лозы принесены были два коржа, диаметром каждый не меньше полуметра. Я [redacted] раньше встречал такие коржи, [redacted] всегда они потрясали меня своим великолепием. Очень возможно, что они задевали нежные национальные струны моей украинской души. Это были знаменитые «коржі з салом», о которых сказано [redacted] народной мудрости: «Навчить біда з салом коржі їсти».

Сало вкрапляется в тело коржа редкими кубиками, [redacted] вокруг них образуется самое приятное, влажное и солоноватое гнездышко, наткнуться на которое и раскусить составляет истинную сущность гастрономического наслаждения. Верхняя поверхность коржа представляет необозримую равнину, кое-где белого, кое-где розового цвета, [redacted] на равнине там [redacted] сям разбросаны нежные холмики, сделанные из сухой тонкой корочки. Корж «з салом» нельзя почему-то резать ножом, [redacted] нужно разламывать, [redacted] его горячие, слоистые изломы составляют тоже одну из неповторимых его особенностей.

Семья Веткиных встретила коржи возгласами восхищения. За столом «мелочи» устроена была настоящая овация, даже близнецы Катя и Петька оставили свое стоическое равнодушие [redacted] разразились звонкими капельками неуверенного, неопытного смеха.

За нашим столом Семен и Витька, очевидно, не предупрежденные о появлении коржа, удивленно на него воззрились и, как будто сговорившись, закричали вместе:

— У-ю-юй! Ко-орж!

Сам Степан Денисович приветствовал корж сиянием рыжего лица и потирал руки:

— Это [redacted] я скажу: достижение! Культура здесь, будем прямо говорить, кулацкая, но съесть его не только можно, но [redacted] полезно.

С этого ужина началось мое близкое знакомство с семьей Веткиных. И до самых последних дней [redacted] оставался другом этой семьи, хотя, приз-

наюсь, в моей дружбе было немало и утилитарных элементов: многому можно поучиться у Веткиных, а самое главное — над многим задуматься.

Семейная педагогика Степана Денисовича, может быть, во многих местах не отличается техническим совершенством, но она трогает самые чувствительные струны советской педагогической мысли: в ней хорошего наполнения коллективный тон, много великолепного творческого оптимизма и есть то чуткое прислушивание к деталям и пустякам, без которого настоящая воспитательная работа совершенно невозможна. Такое прислушивание — дело очень трудное, оно требует не только внимания, но постоянной осторожно-терпеливой мысли. Пустяки звучат неуловимо, пустяков этих много, и их звучания перепутываются в сложнейший узел мелких шорохов, шелестов, шумов, еле слышных писков и звонов. Во всей этой дребедени нужно не только разобраться, но и проектировать из них важные будущие события, выходящие далеко за пределы семьи.

Да, самодельными способами сбивал Степан Денисович свою семью в коллектив, но сбивал упорно и терпеливо. У него, конечно, были и недостатки, и ошибки. Его детвора, может быть, слишком была упорядочена, спокойна, даже «мелочь» отдавала какой-то солидностью. В нашем детском дворовом обществе дети Веткина выступали всегда как представители мира, они были веселы, оживлены, активны и изобретательны, но решительно избегали ссор и конфликтов.

Один раз на волейбольной площадке Володька Чуб, скуластый огневой пацан лет четырнадцати, отказался смениться с места подавальщика. Его партия не протестовала, так как Володька действительно хорошо подавал. У противной партии капитаном ходил Семен Веткин. Игра была домашняя, без судьи. Семен задержал мяч в руках и сказал:

— Это неправильно.

Володька закричал:

— Не ваше дело, поставьте и себе постоянного!

Всякий другой мальчик непременно в таком случае устроил бы скандал или бросил игру, ибо никакая Фемида не умеет так точно разбираться в вопросах справедливости, как пацаны. Но Семен, улыбаясь, пустил мяч в игру:

— Пускай! Это они от слабости! Надо же им как-нибудь выиграть.

Володькина партия все-таки проиграла. Тогда раздраженный горячий Володька приступил к Семену с требованием сатисфакции:

— Бери свои слова обратно! Какая у нас слабость!

Володька держал руки в карманах, выдвинул вперед одно плечо,— верный признак агрессии. И Семен, так же спокойно улыбаясь, дал Володьке полное удовлетворение:

— Беру свои слова обратно! У вас очень сильная команда. Прямо такая!

Для иллюстрации Семен даже руку поднял к небесам. Володька, гордый моральной победой, сказал:

— То-то ж! Давай еще одну сыграем! Вот посмотришь!

И Семен согласился, и на этот раз проиграл, и все-таки ушел с площадки с такой же спокойной улыбкой. Только на прощанье сказал Володьке:

— Только я тебе не советую. У нас товарищеский матч, это другое дело. А [redacted] серьезной игре судья все равно тебя с поля выведет!

Но Володька сейчас торжествовал победу и принял Семеново заявление без запарки:

— Ну и пусть, [redacted] все-таки мы выиграли!

В этом случае, как и во многих других случаях, выступала наружу довольно запутанная борьба педагогических принципов. Отчасти мне даже нравился горячий, «несправедливый» напор Володьки [redacted] его страсть к победе, а приправленная юмором уступчивость Семена могла казаться сомнительной Об этом я прямо сказал Степану Денисовичу и был очень удивлен, услышав от него определенный, точный ответ, доказывающий, что [redacted] эта проблема не только занимала его, но и была разрешена до конца.

— Я считаю, что это правильно,— сказал Степан Денисович,— Семен у меня умный, очень правильно поступил.

— Да как же правильно? Володька нахальничал и добивался своего. В борьбе так нельзя!

— Ничего он не добился. Лишний мяч чепуха. И само собой, у Володьки слабость, а у Семена сила. И большая сила, вы не думайте. Смотря [redacted] чем борьба. Тут не одна борьба, [redacted] две борьбы. Одна за мяч, [redacted] другая поважнее,— за людское согласие. Вот вы сами рассказали: не подрались, не поссорились, даже лишнюю игру сыграли. Это очень хорошо.

— А я сомневаюсь, Степан Денисович, все-таки такая уступчивость...

— Смотря когда,— задумчиво сказал Веткин,— я считаю, теперь нужно отвыкать от разной грызни. Раньше люди действительно как звери жили. Вцепился другому в горло — живешь, выпустил — [redacted] тебя вцепятся. Для нас это не годится. Должны быть товарищи. Если товарищ нахальничает, сказать нужно, организация есть для этого. Судьи не было, плохая организация, ну, что же? Из-за этого нечего за горло хватать.

— А если Семену придется с настоящим врагом встретиться?

— Это другое дело. То так и будет: настоящий враг. Будьте уверены, Семен, если придется, [redacted] так полагаю, что должно прийтись, будьте покойны: и [redacted] горло вцепится, [redacted] тут... не выпустит!

Я подумал над словами Степана Денисовича, вспомнил лицо Семена, и для меня стало ясно, что в одном Степан Денисович прав: настоящего врага Семен, действительно, не выпустит.

С тех пор прошло много лет. Коллектив Веткиных на моих глазах жил, развивался и богател. Никогда не исчезала у них крепкая связь друг с другом, и никогда не было в этой семье ни растерянных выражений, ни выражений нужды, хотя нужда всегда стучалась [redacted] их ворота.

Но [redacted] нужда постепенно уменьшалась. Вырастали дети и начинали помогать отцу Сначала они приносили в семейный котел свои рабфаковские и фабзайцевские стипендии, а потом стали приносить [redacted] заработки. Оксана вышла действительно [redacted] инженеры-строители, вышли хорошими советскими людьми и другие Веткины.

Веткиных у нас на заводе любили и гордились ими. Степан Денисович имел глубоко общественную натуру, умел отозваться на каждое дело [redacted] на каждый вопрос и везде вносил свою мысль и спокойную улыбающу-

юся веру. Наша партийная организация с настоящим торжеством приняла его в свои ряды в 1930 году.

Педагогический стиль семьи Веткиных до последних дней оставался предметом моего внимания и изучения, но учились у них и другие. В значительной мере под влиянием Веткиных совершенствовалась и семья Чуба. И сама по себе это была неплохая семья. У Чубов было больше беспорядка, случайности, самотека, многое не доводилось до конца. Но у них было много хорошей советской страсти и какого-то художественного творчества. Сам Чуб в своей семье меньше всего выступал как отец-самодержец. Это был хороший и горячий гражданский характер, поэтому в его семье на каждом шагу возникал жизнерадостный и боевой коллектив.

Чубы несколько завидовали количественному великолепию Веткиных. Когда у Чубов родился седьмой ребенок,— сын, сам Чуб бурлил и радовался и устроил пир на весь мир, во время которого, в присутствии гостей и потомства, говорил такие речи:

— Седьмой сын — это особая статья. Я тоже был седьмым у батька. А бабы мне говорили: седьмой сын — счастливый сын. Если седьмой сын возьмет яйцо-сносок, бывают такие,— сноски, да... возьмет и положит подмышку да проносит сорок дней и сорок ночей, обязательно чертик вылупится, маленький такой,— для собственного хозяйства. Что ему ни скажи,— сделает. Сколько я этих яиц перепортил, батько даже бил меня за это, а не высидел чертика: до вечера проносишь, а вечером или выпустишь, или раздавишь. Это дело трудное — своего черта высидеть.

Бухгалтер Пыжов сказал:

— Сколько тысяч лет с этими чертями возились, говорят, к каждому человеку был приставлен, а если так посмотреть, на жизненном балансе это слабо отражалось, и производительность у этих чертей была, собственно говоря, заниженная.

Степан Денисович разгладил усы и улыбнулся:

— У тебя, Чуб, и теперь еще чертики водятся. Если поискать где-нибудь под кроватью,— наверное, сидит.

— Не,— засмеялся Чуб,— нету! При Советской власти без надобности. Ну! Выпьем! Догнать и перегнать Веткина!

Мы весело чокнулись, потому что это был не такой плохой тост.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Деньги! Изо всех изобретений человечества — это изобретение ближе всех стояло к дьяволу. Ни в чем другом не было такого простора для приложения подлости и обмана, и поэтому ни в какой другой области не было такой благодатной почвы для произрастания ханжества.

Казалось бы, в советской действительности для ханжества нет места. Однако его бактерии то там, то сям попадаются, мы не имеем права забывать об этом, как нельзя забывать о возбудителях гриппа, малярии, тифа и других подобных гадостях.

Какова формула ханжества? Эгоизм плюс цинизм, плюс водянистая среда идеалистической глупости, плюс нищенская эстетика показного

смирения. Ни один из этих элементов не может содержаться в советской жизни. Другое дело там, где и бог и черт вмешиваются в человеческую жизнь и претендуют на руководство. У ханжи в одном кармане — деньги, в другом молитвенник, ханжа служит и богу и черту, обманывает и того и другого.

В старом мире каждый накопитель не мог не быть ханжой в большей или меньшей степени. Для этого вовсе не нужно было на каждом шагу играть Тартюфа, в последнем счете и для ханжества были найдены приличные формы, очищенные от примитивной позы и комической простоты. Самые матерые эксплуататоры научились пожимать рабочие руки, умели поговорить с пролетарием о разных делах, похлопать по плечу и пошутить, а навыки благотворительности и меценатства сопровождать солидно-уверенной скромностью и еле заметным покраснением ланит. Получалась в высшей степени милая и привлекательная картина. Не только не спешили славословить господа-бога, но даже делали вид, что о господе-боге и речи быть не может, вообще не нужно ни благодарности на земле, ни благодарности на небесах. Это была замечательно мудрая политика. Какой-нибудь Тартюф из кожи лез вон, чтобы понравиться господу, его подхалимство было активное, напористое, неудержимое, но именно поэтому от такого Тартюфа за десять километров несло запахом черта, который, между прочим, даже и не прятался, а тут же рядом помещался в старом кресле, курил махорку и, скучая, ожидал своего выхода.

Это была грубейшая форма ханжества, нечто напоминающее по технике паровоз Стефенсона. У современных западных ханжей все обставлено с завидной обстоятельностью,— никакого господа, никаких святых, но зато и чертом не пахнет, и вообще ничем не пахнет, кроме духов. Любителям этой темы рекомендуем познакомиться с классическим образчиком ханжества — с сочинением Андре Жида «Путешествие в Конго».

Но вся эта чистота — только эстетическая техника, не больше. Как только редеет толпа, как только папаша с мамашей останутся в интимном семейном кругу, как только встанут перед ними вопросы воспитания детей, так немедленно появляются на сцену и оба приятеля: и аккуратный, чисто выбритый, благостный и сияющий бог, и неряшливый, с гнилыми зубами, нахально ухмыляющийся — дьявол. Первый приносит «идеалы», у второго в кармане звенят деньги — вещь не менее приятная, чем «идеалы».

Здесь, в семье, где не нужно было никакой «общественной» тактики, где властвовали всемогущие зоологические инстинкты и беспокойство, где на глазах копошились живые, неоспоримые потомки, здесь именно несправедливый, кровожадный и бессовестный строй, отвратительное лицо которого нельзя было прикрыть никаким гримом, выступал почти с хулиганской бесцеремонностью. И его моральные противоречия, его практический деловой цинизм казались оскорбительными для детской ясной сущности.

И поэтому именно здесь, в буржуазной семье, настойчиво старались загнать дьявола в какой-нибудь дальний угол, вместе с его деньгами и другими бесовскими выдумками.

Только поэтому в буржуазном обществе старались в тайне хранить финансовые источники семейного богатства, в этом обществе родились потуги отделить детство от денег, именно здесь делались глупые и безна-

дежные попытки воспитания «высоконравственной личности» эксплуататоров. [redacted] этих попытках — проекты идеалистического альтруизма, какой-то мифической «доброты» [redacted] нестяжания были, [redacted] сущности, школой того же утонченного ханжества.

Николай Николаевич Бабич — человек как будто веселый. Он очень часто прибавляет к деловой речи странные [redacted] ненужные словечки, которые должны показать его оживление и бодрый характер: «дери его за ногу» или «мать пресвятая богородица». Он любит по случаю вспомнить какой-нибудь анекдот, рассказывает его очень громко и надоедливо. Лицо у него круглое, но [redacted] этой округленности нет добродушия, нет мягкости очертаний, его линии малоэластичны и застыли [redacted] постоянном мимическом каркасе. Лоб большой, выпуклый, расчерченный правильной штриховкой слишком одинаковых параллельных складок, которые если [redacted] приходят в движение, то все вместе, как по команде.

В нашем учреждении Николай Николаевич работал в качестве начальника канцелярии.

Мы с Николаем Николаевичем жили [redacted] одном доме, выстроенном на краю города в те времена, когда у нас процветала мода на коттеджи. В нашем коттедже — четыре квартиры, все они принадлежат нашему учреждению. В остальных квартирах жили Никита Константинович Лысенко — главный инженер [redacted] Иван Прокофьевич Пыжов — главный бухгалтер,— оба старые мои сослуживцы, сохранившиеся в моей судьбе еще с тех времен, когда мы познакомились с Веткиным.

В стенах этого коттеджа протекали наши семейные дела, которые всем нам были взаимно известны. Здесь [redacted] окончательно уяснил для себя денежную проблему [redacted] семейном коллективе. В области этой проблемы особенно различались мои соседи.

Николай Николаевич Бабич с первых дней нашего знакомства поразил меня добротной хмуростью своей семейной обстановки. В его квартире все опиралось на толстые, малоподвижные ноги; [redacted] стол, у стулья, и даже кровати — все было покрыто налетом серьезности и неприветливости. И даже в те моменты, когда хозяин расцветал улыбкой, стены и вещи его квартиры, казалось, еще более нахмуривали брови и относились с осуждением к самому хозяину. Потому улыбки Николая Николаевича никогда не вызывали оживления у собеседника, да [redacted] хозяин об этом не беспокоился.

Как только приходилось ему обратиться к сыну или к дочери, его улыбка исчезала удивительно бесследно, как будто она никогда не существовала, а вместо нее появлялось выражение особого сорта усталой, привычной добродетели.

Дети его были почти погодки, было им от тринадцати до пятнадцати лет. В их лицах начинала показываться такая же круглая [redacted] такая же неподвижная твердоватось, как и у отца.

Мне не так часто приходилось заглядывать к Бабичу, но почти всегда [redacted] бывал свидетелем такой беседы:

— Папа, дайте двадцать копеек.

— Зачем тебе?

— Тетрадку нужно купить.

— Какую тетрадку?

— По арифметике.
— Разве уже исписалась?
— Там на один урок осталось...
— Я завтра куплю тебе две тетрадки.

Или такой беседы:

— Папа, мы пойдем в кино с Надей.
— Ну, идите.
— Так деньги!
— Почем билеты?
— По восемьдесят пять копеек.
— Кажется, по восемьдесят.
— Нет, по восемьдесят пять.

Николай Николаевич подходит к шкафику, достает из кармана ключи, отпирает замок ящика, что-то перебирает и перекладывает, запирает ящик и кладет на стол ровно один рубль семьдесят копеек.

Сын пересчитывает деньги, зажимает их в кулаке, говорит «спасибо» и уходит. Вся эта операция продолжается минуты три, и за это время лицо мальчика успевает постепенно налиться кровью, которая к концу операции захватывает даже кончики ушей. Я заметил, что количество крови находится в обратной пропорции к величине испрашиваемой суммы и достигает максимума, когда сын просит:

— Папа, дайте десять копеек.
— На трамвай?
— На трамвай.

Происходит то же священнодействие у ящика, и на стол выкладывается два пятака. Сын, краснея, зажимает их в кулаке, говорит «спасибо» и уходит.

Однажды сын попросил не десять копеек, а двадцать и объяснил, что вторые десять копеек нужны на трамвай для Нади.

Николай Николаевич двинулся было к шкафику и опустил руку в карман за ключами, но вдруг остановился и обратился к сыну:

— Нехорошо, Толя, что ты за сестру просишь. Имеет же она язык?

У Толи прилив крови достиг предела раньше конца операции.

— Она уроки учит.

— Нет, Толя, это нехорошо. Нужны ей деньги, можно сказать. А то выходит, ты какой-то кассир. К чему это? Может, тебе кошелек купить, будешь деньги держать? Это никуда не годится. Другое дело: будешь зарабатывать. Вот тебе десять копеек, а Надя и сама может сказать.

Через пять минут Надя стала на пороге комнаты, и уши у нее уже пламенели до отказа. Она не сразу выговорила ходатайство, а сначала соорудила довольно неудачную улыбку. Николай Николаевич с укором посмотрел на нее, и улыбка моментально трансформировалась в дополнительную порцию смущения: у Нади даже и глаза покраснели.

— Папа, дайте на трамвай.

Николай Николаевич не задал никаких вопросов. Я ожидал, что он вынет из кармана заранее заготовленные десять копеек и отдаст Наде. Нет, он снова направился к шкафику, снова достал из кармана ключи и так далее. Надя взяла на столе десять копеек, прошептала «спасибо» и вышла.

Николай Николаевич проводил ее скучным добродетельным взглядом, подождал, пока закроется дверь, и просиял:

— Толька уже разбаловался где-то, едят его мухи! Еще бы, товарищи все! Да и соседи. У Лысенко, знаете, какие порядки? Мать честная, пресвятая богородица! У них дети до того развратились, спасите мою душу! А у Пыжова так просто руками разведешь! — все мудрит Иван Прокофьевич, дуй его в хвост и в гриву! Понимаете, детей невозможно воспитывать — примерчики, примерчики, прямо хоть караул кричи! Но дочка у меня скромница, видели? Куда тебе! Калина, малина, красная смородина! Эта нет, это нетронутая душа! Конечно, вырастет, ничего не поделаешь, но чистота душевная должна с детства закладываться. А то безобразие кругом: на улице везде ходят эти мальчишки, деньгами в карманах звенят. Родители все, душа из них вон!

Главный инженер, Никита Константинович Лысенко, имел добродушное лицо. Он был высок и суховат, но на лице его была организована диктатура добродушия, которое настолько привыкло жить на этом лице, что даже в моменты катастрофических прорывов на нашем заводе не покидало насиженного места и только наблюдало за тем, как все остальные силы души тушили опасный пожар.

У Никиты Константиновича порядки диаметрально противоположные порядкам Бабича. Сначала я думал, что они были заведены персонально самим добродушием Никиты Константиновича, без участия его воли и без потуг на теоретическое творчество, но потом увидел свою ошибку. Правда, добродушие тоже принимало какое-то участие, не столько, впрочем, активное, сколько пассивное,— в виде некоторого молчаливого одобрения, а может быть, и умиления.

Но главным педагогическим творцом в семье Лысенко была мать, Евдокия Ивановна, женщина начитанная и энергичная. Евдокию Ивановну очень редко можно было увидеть без книжки в руках, вся ее жизнь была принесена в жертву чтению, но это вовсе не была пустая и бесплодная страсть. К сожалению, она читала все какие-то старые книги с пожелтевшей бумагой, в шершавых и пятнистых переплетах; любимым ее автором был Шеллер-Михайлов. Если бы она читала новые книги, из нее, может быть, и вышла бы хорошая советская женщина. А теперь это была просто мыслящая дама, довольно неряшливая, с целым ассортиментом идеалов, материалом для которых послужили исключительно различные виды «добра».

Нужно признать, что советский гражданин несколько отвык от этой штуки, а наша молодежь, наверное, и вовсе о нем не слышала.

В дни нашей молодости нас призывали к добру батюшки, о добре писали философы, Владимир Соловьев посвятил добру толстую книгу. Несмотря на такое внимание к этой теме, добро не успело сделаться привычным для людей, обыденным предметом и, собственно говоря, было только помехой и хорошей работе, и хорошему настроению. Там, где добро осеняло мир своими мягкими крыльями, потухали улыбки, умирала энергия, останавливалась борьба, и у всех начинало сосать под ложечкой, а лица принимали скучно-кислое выражение. В мире наступал беспорядок.

Такой же беспорядок был и [redacted] семье Лысенко. Евдокия Ивановна не замечала его, ибо, по странному недоразумению, ни порядок, ни беспорядок не значились ни в номенклатуре добра, ни [redacted] номенклатуре зла.

Евдокия Ивановна строго следовала официальному списку добродетелей и интересовалась другими вопросами:

— Митя, лгать нехорошо! Ты должен всегда говорить правду. Человек, который лжет, не имеет в своей душе ничего святого. Правда дороже всего на свете, [redacted] ты рассказал Пыжовым, что у нас серебряный чайник, когда он не серебряный, а никелированный.

Веснушчатый и безбровый, с большими розовыми ушами, Митя дует на чай в блюдечке и не спешит реагировать на поучение матери. Только опорожнив блюдечко, он говорит:

— Ты всегда прибавляешь, мама. В принципе [redacted] не говорил, что он серебряный, а вовсе что он серебряного цвета. А Павлушка Пыжов говорит, что не бывает серебряного цвета. А [redacted] сказал: [redacted] какой бывает? А он говорит: вовсе никелированный цвет. Он ничего не понимает: никелированный цвет! Это чайник никелированный, а цвет серебряный вовсе.

Мать, скучая, слушает Митю. В игре серебряных и никелированных цветов она не находит никаких признаков моральной проблемы. Митя вообще — странный; где у него начало добра, где начало зла, невозможно разобрать. Еще вчера вечером она говорила мужу:

— Теперь дети растут какие-то аморальные!

Сейчас она присматривается к детям. Старший, Константин, ученик десятого класса, имеет очень приличный вид. Он в сером коротком пиджачке и галстуке, аккуратен, молчалив и солиден. В семейных разговорах Константин никогда не принимает участия, у него имеются свои дела, свои взгляды, но о них он не находит нужным сообщать другим.

Мите двенадцать лет. Из всех членов семьи Лысенко он кажется наиболее беспринципным, может быть, потому, что очень болтлив [redacted] [redacted] болтовне высказывает в самом деле аморальную свободу. Недавно Евдокия Ивановна хотела побудить сына на доброе дело: навестить больного дядю, ее брата. Но Митя сказал, улыбаясь:

— Мама, ты посуди, какой толк от этого? Дяде пятьдесят лет, [redacted] потом у него рак. С такой болезнью и доктор ничего не сделает, а [redacted] не доктор. Он все равно умрет, и не нужно вмешиваться.

Лена еще маленькая, только через год ей идти [redacted] школу. Она похожа на отца в обилии ленивого равнодушия, щедро написанного на ее физиономии. Именно поэтому мать ожидает, что [redacted] будущем Лена будет более активной представительницей идеи добра, чем мальчишки.

Лена оставила стакан и побрела по комнате. Мать проводила ее любовным взглядом и обратилась [redacted] книжке.

Комната у Лысенко до отказа заставлена пыльными вещами, завалена старыми газетами, книгами, засохшими цветами, ненужной, изломанной [redacted] тоже пыльной мелочью: кувшинами и кувшинчиками, мраморными и фарфоровыми собачками, обезьянами, пастушками, пепельницами и тарелочками.

Лена остановилась у буфетного шкафа и, поднявшись на цыпочки, заглянула в открытый ящик:

— А где подевались деньги? — пропела она, оборачивая к матери чуть-чуть оживившееся лицо.

Митя с грохотом отбросил стул и ринулся к ящику. Он зашарил рукой в сложном хламе его содержимого, нырнул туда другой рукой, сердито оглядел Лену и тоже обернулся к матери:

— Ты уже все деньги потратила? Да? А если мне нужно на экскурсию?

У матери перед глазами томик Григоровича и судьба Антона-горемыки. Она не сразу понимает, чего от нее хотят:

— На экскурсию? Ну возьми, чего ты кричишь?

— Так нету! — орет Митя и показывает рукой на ящик.

— Митя, нехорошо так кричать...

— А если мне нужно на экскурсию?!

Евдокия Ивановна тупо смотрит на возбужденное лицо Мити и наконец соображает:

— Нету? Не может быть! Неужели Аннушка истратила? А ты спроси у Аннушки.

Митя бросается на кухню, Лена стоит у открытого ящика и о чем-то мечтает. Мать перелистывает страницу «Антона-горемыки». Из кухни вбегает Митя и панически вопит:

— Она говорит, осталось тридцать рублей! А нету!

Евдокия Ивановна за столом, заваленным остатками завтрака, живет еще в третьей четверти девятнадцатого века. Ей не хочется прерывать приятную историю страданий и перескакивать на полвека вперед, ей не хочется переключаться на вопрос о тридцати рублях. И ей повезло сегодня. Серьезный, недоступный Константин говорит холодно.

— Чего ты крик поднял? Тридцать рублей я взял, мне нужно.

— И ничего не оставил. Это, по-твоему, правильно?! — протягивает к нему горячее лицо Митя.

Константин ничего не отвечает. Он подходит к своему столику и начинает заниматься своими делами. Как ни возмущен Митя, он не может не любоваться уверенной грацией старшего брата. Митя знает, у Константина есть большой бумажник из коричневой кожи, и в этом бумажнике протекает таинственная для Мити интересная жизнь: в бумажнике есть деньги и какие-то записки, и билеты в театр. Константин никогда не говорит о солидных тайнах этого бумажника, но Мите случается наблюдать, как старший брат наводит в нем порядок.

Митя отрывается от этого соблазнительного образа и печально вспоминает:

— А если мне нужно на экскурсию?

Ему никто не отвечает. Лена у спинки кровати раскрыла мамину сумку. На дне сумки лежат два рубля и мелочь. Лене немного нужно: в детском саду ничего нельзя купить, но на углу улицы продают эскимо, это стоит ровно пятьдесят копеек. Закусив нижнюю губу, Лена выбирает мелочь. Финансовый кризис у нее разрешен до конца, теперь ей не о чем говорить со взрослыми, и только что пролетевший скандал Лена уже не вспоминает. На ее ладони лежат три двугривенных. Но вдруг и это благополучие летит в бездну. Нахальная рука Мити молниеносно цапнула с руки Лены серебро. Лена подняла глаза, протянула к Мите пустую ладошку и сказала спокойно-безмятежно:

— Там еще есть. Это на эскимо.

Митя заглянул в сумочку и швырнул на кровать мелочь. Лена не торопясь собрала деньги с оранжевого одеяла и прошла мимо матери в переднюю. Митя также не поделился с матерью своей удачей и даже не закрыл сумочку. Все стало на место, и комната затихла в пыльном своем беспорядке. На неубранном столе завтракают мухи. Константин ушел последним, аккуратно щелкнув замком в своем ящике. Евдокия Ивановна, не отрываясь от страницы, перешла на диван, заваленный подушками.

Поздно вечером Никита Константинович тоже посмотрел в буфетный ящик, подумал над ним, оглянулся и сказал:

— Слушай, Дуся, денег уже нет?.. А до получки еще пять дней? Как же?

— Деньги дети взяли!.. Им нужно было.

Никита Константинович еще подумал над ящиком, потом полез в боковой карман, вытащил потертый бумажник, взглянул в него и остановился перед читающей женой:

— Все-таки, Дуся, надо завести какой-нибудь... учет или еще что-нибудь... такое. Вот теперь пять дней... до получки.

Евдокия Ивановна подняла на мужа глаза, вооруженные старомодным золотым пенсне:

— Я не понимаю... Какой учет?

— Ну.. какой учет... все-таки деньги...

— Ах, Никита, ты говоришь «деньги» таким тоном, как будто это главный принцип. Ну, не хватило денег. Из-за этого не нужно пересматривать принципы.

Никита Константинович снимает пиджак и прикрывает дверь в комнату, в которой спят дети. Жена с настороженным, готовым к бою взглядом следит за ним, но Никита Константинович и не собирается спорить. Он давно исповедует веру в принципы жены, и не принципы его сейчас беспокоят. Его затрудняет задача, где достать денег до получки.

Евдокия Ивановна все же находит необходимым закрепить моральную сферу мужа:

— Не надо, чтобы дети приучались с этих лет к разным денежным учетам. Довольно и того, что и взрослые только и знают, что считают: деньги, деньги, деньги! Наши дети должны воспитываться подальше от таких принципов: деньги! И это хорошо, что наши дети не имеют жадности к деньгам, они очень честные и берут, сколько им нужно. Какой ужас, ты представляешь: в двенадцать лет считать и рассчитывать! Эта меркантильность и так отравила цивилизацию, ты не находишь?

Никита Константинович мало интересуется судьбой цивилизации. Он считает, что его долг заключается в хорошем руководстве советским заводом. Что касается цивилизации, то Никита Константинович способен равнодушно не заметить ее безвременной гибели вследствие отравления меркантильностью. Но он очень любит своих детей, и в словах супруги есть что-то утешительное и приятное. В самом деле, она права: для чего детям меркантильность? Поэтому Никита Константинович благодушно заснул в атмосфере добра, организованной словами Евдокии Ивановны. Засыпая, он решил попросить завтра пятьдесят рублей взаймы у главного бухгалтера Пыжова.

Сон уже прикоснулся к Никите Константиновичу, когда в его сознании [redacted] последний раз мелькнул жизнерадостный образ Пыжова и где-то в сторонке в последних остатках яви блеснула мысль, что Пыжов человек меркантильный, и все у него в расчете: и деньги, и дети... и самая жизнерадостность... улыбки тоже... прибыль [redacted] убыток улыбок...

Но это уже начинался сон.

Утром Никита Константинович ушел на работу, как всегда, без завтрака. А Евдокия Ивановна через час зашла [redacted] комнату детей и сказала:

— Костя, у тебя есть деньги?

Костя повернул к ней на подушке припухшее лицо и деловито спросил:

— Тебе много нужно?

— Да нет... рублей двадцать...

— А когда отдашь?

— В получку... через пять дней...

Костя, приподнявшись на локте, вытащил из брюк новенький бумажник из коричневой кожи и молча протянул матери две десятирублевки.

Мать взяла деньги [redacted] только на пороге вздохнула: ей показалось, что у сына начинается нечто, напоминающее меркантильность.

Иван Прокофьевич Пыжов отличался непомерной толщиной, по совести говоря, таких толстяков [redacted] в своей жизни больше не встречал. Наверное, у него было самое нездоровое ожирение, но Иван Прокофьевич никогда на него не жаловался, вид имел цветущий, был подвижен [redacted] неутомим, как юноша. Он редко смеялся, но на его мягкой физиономии столько разложено было радости и хорошего сдержанного юмора, что ему [redacted] смеяться было не нужно. Вместо смеха по лицу Ивана Прокофьевича то [redacted] дело перебегали с места на место веселые живчики; они рассказывали собеседнику гораздо больше, чем язык Ивана Прокофьевича, хотя и язык у него был довольно выразительный.

У Пыжова была сложная семья. Кроме него и жены, тонкой большеглазой женщины, она состояла из двух сыновей девяти и четырнадцати лет, племянницы, хорошенькой девушки, высокой и полной, казавшейся гораздо старше своих шестнадцати лет, и приемной дочери, десятилетней Варюши, оставшейся Ивану Прокофьевичу [redacted] наследство от друга.

Была еще [redacted] бабушка, существо полуразрушенное, но обладающее замечательно веселым нравом, хлопотунья [redacted] мастерица на прибаутки.

У Пыжовых всегда было весело. За двенадцать лет моего знакомства с ними [redacted] не помню такого дня, чтобы у них не звучал смех, не искрились шутки. Они все любили подшутить друг над другом, умели стремиться к шутке активно, искать ее, и часто у них бывало такое выражение, как будто каждый из них сидел в засаде и коварно поджидал, какая еще неприятность случится с соседом, чтобы порадоваться вволю. Такой обычай должен был бы привести ко всеобщей злостности и раздражению, однако этого у них [redacted] помине не было. Напротив, такое «коварство» как бы нарочно было придумано, чтобы в зародыше уничтожить разные неприятности и жизненные горести. Может быть, поэтому [redacted] их семье никогда не было горя и слез, ссор [redacted] конфликтов, пониженного тона [redacted] упадочных

настроений. В этом отношении они сильно напоминали семью Веткиных, но у тех было меньше открытой радости, смеха, веселой каверзы.

Пыжовы почти не болели. Я помню только один случай, когда сам Иван Прокофьевич слег [redacted] гриппе. Мне сообщил об этом старший мальчик Павлуша. Он влетел ко мне оживленный и сияющий, направил на меня ироническую улыбку, а всевидящий глаз скосил на группку деталей на столе.

— Отец у нас сегодня подкачал! Грипп! Доктора звали! Лежит и коньяк пьет! А на работу он не может прийти и вам сказать... Видите? А говорил: [redacted] никогда не болею. Это он просто задавался!

— Это доктор сказал, что у него грипп?

— Доктор. Грипп — это не опасно, правда? Подкачал. Вы не зайдете?

Иван Прокофьевич лежал на кровати, а на столике рядом стояла бутылка коньяку и несколько рюмок. В дверях спальни, прислонившись к дверной раме, стояли младший Севка и Варюша [redacted] бросали на отца вредные взгляды. Видно было, что Иван Прокофьевич только что удачно отразил какое-то нападение этой пары, потому что живчики на его лице бегали с торжествующим видом, а губы были поджаты [redacted] довольной гримасе.

Увидев меня, Севка подпрыгнул и громко засмеялся:

— Он говорит, что коньяк — это лекарство. А доктор пил, пил, [redacted] потом говорит: ну вас к черту, напоили! Разве такое бывает лекарство?

Варюша, покачивая половинку белой двери, сказала с самой въедливой тихонькой иронией:

— Он говорил: кто первый заболеет — пустяковый человек! А теперь взял [redacted] заболел...

Иван Прокофьевич презрительно прищурился на Варюшу:

— Бесстыдница! Кто заболел первый? Я?

— А кто?

— Пустяковый человек — это Варюша Пыжова...

Пыжов скорчил жалобную рожу и пропел из «Князя Игоря»:

Ох, мои батюшки,
Ох, мои матушки!

Варюша смотрела на него удивленно:

— Когда? Когда? А когда [redacted] так пела?

— А когда у тебя живот болел?

Пыжов схватился за живот [redacted] закачал головой. Варюша громко засмеялась [redacted] отчаянии бросилась на диван. Пыжов улыбнулся, довольный победой, взял [redacted] руки бутылку и обратился ко мне с просьбой:

— Уберите куда-нибудь этого несчастного мальчишку. Он привык касторкой лечиться и меня подбивает.

Сева даже ахнул от неожиданности удара и открыл рот, не находя ничего для ответа. Пыжов растянул рот [redacted] улыбке:

— Ага!

Потом предложил:

— Выпьете рюмочку?

Я удивился:

— Вы больны? Или шутите? Почему пить?

— Ну а как же! Вы подумайте: восемь лет не болел. До того приятно, как будто годовой отчет сдал. И коньяк можно пить, и книги читать, лежишь, все тебе подносят, люди приходят. Праздник! Хотите рюмочку?

Откуда-то вползла бабушка и захлопотала вокруг больного, приговаривая:

— Где это такое видать, летом болеть? Летом и нищий со светом, а зимою и царь с потьмою. Придумали гриппы какие-то. Почему у нас таких болезней не было? Осенью, бывало,— простуда, лихорадка, прострел. Правда, и те болезни водкой лечили, мой отец других лекарств и не видел. И в середину нальет и снаружи натрет, больной не больной, а видно, что хмельной.

Сева и Варюша теперь сидели рядышком на диване и любовно-ироически следили за веселой бабушкой. Из кухни пришла красавица Феня — племянница, заложила руки назад, покачала русой головой и улыбнулась ясными серыми глазами:

— Разве это лекарство и здоровым помогает?

В наших руках ей молча ответили рюмки с золотым напитком. Иван Прокофьевич склонил голову набок:

— Феничка, умница моя, скажи еще что-нибудь такое же остроумное!

Феня покраснела, попыталась сохранить улыбку, но ничего не вышло, пришлось ей убежать в кухню. Зрители на диване что-то закричали и замахали руками.

Закончив такие выражения торжества, Сева сказал мне оживленно:

— Сегодня он всех бьет, потому больной. А когда здоровый — нет, тогда ему никто не спустит!

Сева, показывая зубы, затормозил улыбку в самом ее разгоне и воззрился на отца, интересуясь произведенным впечатлением.

Отец сощурил глаза и зачесал шею пятерней:

— Ишь? Ну что ты ему скажешь? Это он, называется, больному спускает. Конечно, больной, а то поймал бы его за ногу...

В этой веселой семье тем не менее была самая строгая дисциплина. Пыжовы обладали редким искусством сделать дисциплину приятной и жизнерадостной штукой, нимало не уменьшая ее суровой обязательности. В живых лицах ребят я всегда читал и внимательную готовность к действию, и чуткую ориентировку по сторонам, без чего дисциплина вообще невозможна.

В особенности привлекала меня финансовая организация пыжовской семьи. Она имела вид законченной системы, давно проверенной на опыте и украшенной старыми привычными традициями.

Иван Прокофьевич отклонял от себя честь автора этой системы. Он говорил:

— Ничего я не придумывал! Семья — это дело и хозяйство, разумеется. Деньги поступают и расходуются, это не я придумал. А раз деньги — должен быть порядок. Деньги тратить в беспорядке можно только, если ты их украл. А раз есть дебет и кредит, значит, есть и порядок. Чего тут придумывать? А кроме того, такое обстоятельство: дети. А когда же их учить? Теперь самое и учить.

Больше всего удивляло меня то обстоятельство, что Иван Прокофьевич не завел у себя никакой бухгалтерии. Он ничего не записывал и детей к этому не приучал. По его словам, в семье это лишнее:

— Запись нужна для контроля. А нас семь человек, сами себе и контроль. А приучи к записи, бюрократами и вырастут — тоже опасность. Вы знаете, из нашего брата, бухгалтера, больше всего бюрократов выходит. Работа такая, ну ее!

Веселый глаз Ивана Прокофьевича умел видеть все подробности финансовых операций членов семьи, не прибегая к бухгалтерским записям.

Иван Прокофьевич выдавал карманные деньги накануне выходного дня в довольно торжественной обстановке. В этот день после обеда из-за стола не расходились. Феня убирала посуду и сама присаживалась рядом с Иваном Прокофьевичем. Иван Прокофьевич раскладывал на столе бумажник и спрашивал:

— Ну, Севка, хватило тебе на неделю?

У Севки в руках измазанный кошелек, сделанный из бумаги. В кошельке множество отделений, и в развернутом виде он похож на ряд ковшей в землечерпалке. Севка встряхивает эти ковши над столом, из них падают двугривенный и пятак.

— Вот, еще и осталось,— говорит Севка,— двадцать пять копеек.

Варюша свой кошелек, такой же сложный и хитрый, держит в металлической коробочке из-под монпасье, кошелек у нее чистенький, незапятнанный. На его подозрительную полноту иронически косится Севка:

— Варюшка опять деньги посолила.

— Опять посолила? — расширяет глаза Иван Прокофьевич.— Ужас! Чем это может кончиться? Сколько у тебя денег?

— Денег? — Варюша серьезно рассматривает внутренность кошелька.— Вот это рубль и это рубль... и это... тоже рубль.

Она безгрешным ясным взглядом смотрит на Ивана Прокофьевича и раскладывает рядом с кошельком несколько монет и два новеньких рубля.

— Ой-ой-ой,— подымается на стуле Севка.

Старшие наблюдают отчетную кампанию с дружеской симпатией, своих кошельков не достают и денег не показывают.

— Это Варюша собирает на курорт,— улыбается Павлуша.

— И не на курорт, а на другое, на другое! На посуду и на столик, и на лампу для куклы.

— Пожалуйста, пожалуйста,— говорит Иван Прокофьевич.

Меня всегда удивляло, что Иван Прокофьевич никогда не расспрашивает ребят о произведенных расходах и о расходах предстоящих. Потом я понял, что расспрашивать и не нужно, потому что никаких секретов в семье не было.

Иван Прокофьевич вынимает из бумажника серебряную мелочь и передает малышам:

— Вот тебе рубль и тебе рубль. Потеряется, не отвечаю. Проверяйте деньги, не отходя от кассы.

Севка и Варюша аккуратно проверяют деньги. Варюша два раза передвигала гривенники с места на место, лукаво блеснула глазами на Ивана Прокофьевича и засмеялась:

— Ишь ты какой, давай еще один!

— Да не может быть. Там десять.

— Смотри: один, два, три...

Иван Прокофьевич загребает деньги к себе и напористо, быстро считает:

— Один, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. Что же ты, а?

Смущенная Варюша повыше взбирается на стул и снова начинает одним пальчиком передвигать гривенники. Но Севка громко хохочет:

— Ха! А как он считал? Он неправильно считал. Пять, а потом сразу семь, а нужно шесть.

Иван Прокофьевич говорит серьезно:

— Ну, положим, ты проверь.

Сбив головы в кучу, все начинают снова считать гривенники. Оказывается, что их действительно десять. Иван Прокофьевич хохочет, откидывая массивное тело. Только Феня прикрыла рот и блестит глазами на дядю: она видела, как он метнул из-под бумажника дополнительный гривенник.

Малыши начинают раскладывать мелочь в свои сложные деньгохранилища.

Наступает очередь старших. Павлуша получает три рубля в шестидневку. Феня — пять рублей. Выдавая им деньги, Иван Прокофьевич спрашивает:

— Вам хватает?

Старшие кивают: хватает.

— Пусть хватает. До первого января ставки изменению не подлежат. Вот если нам прибавят жалованья, тогда посмотрим, правда?

На прибавку надеются не только Иван Прокофьевич, но и Феня с Павлушей. Павлуша учится в ФЗУ, Феня в техникуме. Свои стипендии они отдают целиком в семейную кассу; это непреложный закон, в правильности которого ни у кого нет сомнений. После получки Иван Прокофьевич иногда говорит в семейном совете:

— Приход: мое жалованье четыреста семьдесят пять, Павлушкино — сорок, Фени — шестьдесят пять, итого пятьсот восемьдесят. Теперь так: матери на хозяйство двести семьдесят, ваши карманные пятьдесят, так? Во: триста двадцать, остается двести шестьдесят. Дальше?

Бабушка в сторонке хрипит:

— Я знаю, чего им хочется: навязло в зубах — радио, радио, четырехламповое какое-то. В прошлом месяце все толковали про это радио. Говорят, двести рублей. Купить и купить!

— Купить,— смеется Павлуша,— радио — это тебе культура или как?

— Какая это культура? Кричит, хрипит, свистит, а деньги плати. Если культура не дура, купи себе ботинки и ходи, как картинка. А какие у Фени туфли?

— Я подожду,— говорит Феня,— давайте купим радио.

— И на ботинки хватит,— отзывается Иван Прокофьевич.

— Верно,— орет Севка,— радио и ботинки, видишь, бабушка. И ходи, как картинка.

Такие бюджетные совещания бывают у Пыжовых редко. Подобные проблемы затрагиваются у них по мере возникновения и решаются почти

незаметно для глаза. Иван Прокофьевич признает такой способ наилучшим:

— Тот скажет, другой прискажет, смотришь, у кого-нибудь [redacted] правильно! А народ все понимающий — бухгалтерские дети.

У Пыжовых было то хорошо, что они не стеснялись высказывать даже самые далекие желания и мечты, о немедленном удовлетворении которых нельзя было [redacted] думать. Четырехламповый приемник появился раньше всего [redacted] такой мечте. В такой же проекции возникли [redacted] санки для Севы, [redacted] другие предметы. О вещах более прозаических не нужно было и мечтать. Однажды Феня, возвратившись из техникума, просто сказала Павлуше:

— Уже последние чулки. Штопала, штопала, больше нельзя. Надо покупать, понимаешь?

И вечером так же просто обратилась к Ивану Прокофьевичу:

— Давай на чулки.

— До получки не дотянешь?

— Не дотяну.

— На.

Чулки не входили в сметы карманных денег. Они назначались на мыло, порошок и другие санитарные детали, на кино, конфеты, мороженое и на перья, тетрадки, карандаши.

Меня всегда радовала эта веселая семья и ее строгий денежный порядок. Здесь деньги не пахли ни благостным богом, ни коварным дьяволом. Это было то обычное удобство жизни, которое не требует никаких моральных напряжений. Пыжовы смотрели на деньги как на будничную [redacted] полезную деталь. Именно поэтому деньги у них не валялись по ящикам и не прятались [redacted] накопительской судорогой. Они хранились у Ивана Прокофьевича [redacted] простой [redacted] убедительной серьезностью, как всякая нужная вещь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В сказках и былинах, в чудесных балладах [redacted] поэмах часто повествуется о счастливых королях [redacted] королевах, которым бог послал единственного сына или единственную дочь. Эти принцы или принцессы, царевичи или царевны всегда приносят с собой очарование красоты и счастья. Даже самые опасные приключения, не свободные от интервенции нечистой силы, предсказанные заранее какой-нибудь своенравной волшебницей, [redacted] этих повествованиях происходят только для того, чтобы подчеркнуть фатальную удачу избранного существа. Даже смерть,— казалось бы, фигура непобедимой мрачности и предельного постоянства,— даже она остается [redacted] дураках при встрече с таким принцем: находятся [redacted] добрые волшебники, [redacted] услужливые поставщики живой [redacted] мертвой воды, и не менее добрые [redacted] услужливые составители оперных и балетных либретто.

Для читателя [redacted] зрителя [redacted] этих счастливых героях есть какая-то оптимистическая прелесть. В чем эта прелесть? Она заключается не [redacted] деятельности, не в уме, не в таланте, не даже [redacted] хитрости. Она предопределена в самой теме: принц — единственный сын короля. Для этой темы не требуется

другой логики, кроме логики удачи и молодости. Принцу положено от века и величие власти, и богатство, и пышность почета, и блеск красоты, и людская любовь. Ему сопутствует и неоспоримая надежность будущего, и право на счастье, право, не ограниченное соперниками и препятствиями.

Лучезарная тема принца вовсе не так бестелесна, как может показаться с первого взгляда, и вовсе не так далека от нашей жизни. Такие принцы не только игра воображения. Многие зрители и читатели, папаши и мамаши, держат у себя дома, в скромной семье, таких же принцев и принцесс, таких же счастливых, единственных претендентов на удачу и так же верят, что для этой удачи они специально рождены.

Советская семья должна быть только коллективом. Теряя признаки коллектива, семья теряет большую часть своего значения как организация воспитания и счастья. Потеря признаков коллектива происходит различными способами. Одним из самых распространенных является так называемая «система единственного ребенка».

Даже в самых лучших, самых счастливых случаях, даже в руках талантливых и внимательных родителей воспитание единственного ребенка представляет исключительно трудную задачу.

Петр Александрович Кетов работает в одном из центральных учреждений Наркомзема. Судьба назначила ему счастливую долю, и это вовсе не сделано из милости. Петр Александрович сильный человек, он и самой судьбе мог бы назначить долю, если бы судьба попалась ему в руки.

У Петра Александровича хороший ум — большой мастер анализа, но Петр Александрович никогда не тонет и не захлебывается в его продуктах. Перед ним всегда стоит будущее. Вглядываясь в его великолепные перспективы, он в то же время всегда умеет радоваться, смеяться и мечтать, как мальчик, умеет сохранять свежий вид, спокойный поворот умного глаза и вдумчиво-убедительную речь. Он видит людей, ощущает дыхание каждой встречной жизни. Между людьми он проходит с таким же точным анализом, иным уступает дорогу, других приветливо провожает, рядом с третьим разделяет строгий колонный марш, четвертых деловито берет за горло и требует объяснений.

В его доме привлекают крепкий порядок дисциплинированного комфорта, несколько рядов целой жизнью прочитанных книг, чистый потертый ковер на полу и бюст Бетховена на пианино.

И свою семейную жизнь Петр Александрович устроил разумно и радостно. В дни молодости он умным любовным взглядом измерил прелесть встречных красавиц, прикоснулся к ним своим точным, веселым анализом и выбрал Нину Васильевну, девушку с серыми глазами и спокойной, чуть-чуть насмешливой душой. Он сознательно дал волю чувствам и влюбился основательно и надолго, украсив любовь дружбой, тонким и рыцарским превосходством мужчины. Нина Васильевна с той же милой насмешливостью признала это превосходство и доверчиво полюбила мужественную силу Петра Александровича и его бодрую мудрость.

Когда родился Виктор, Петр Александрович сказал жене:

— Спасибо. Это еще сырье, но мы воспитаем из него большого гражданина.

Нина Васильевна улыбнулась, счастливо и ласково возразила:

— Милый, раз это твой сын, значит, он будет и хорошим человеком.

Но Петр Александрович не был склонен преувеличивать доблести своих предков и гарантии крови, он свято верил в могущество воспитания. Он был убежден, что вообще люди воспитываются небрежно и кое-как, что люди не умеют заниматься делом воспитания по-настоящему: глубоко, последовательно, настойчиво. Впереди он видел большое родительское творчество.

Виктору было два года, когда Нина Васильевна, ласкаясь, спросила:

— Ну, вот, теперь твой гражданин уже ходит и разговаривает. Ты доволен сыном?

Петр Александрович не отказал себе в удовольствии лишний раз полюбоваться Витей. Мальчик был большой, румяный, веселый И Петр Александрович ответил:

— Я доволен сыном. Ты его прекрасно выкормила. Можно считать, что первый период нашей работы закончен А теперь мы за тебя возьмемся!

Он привлек Витю к себе, поставил между колен и еще раз пригрозил с отцовской лаской:

— Возьмемся! Правда?

— Плавда,— сказал Витя,— а как ты измесся?

От Вити исходили запахи счастья и неги, безоблачной жизни и уверенности в ней. У этого будущего гражданина все было так здорово и чисто, такой мирный, ясный взгляд, такой обещающий отцовский лоб и материнская легкая усмешка в серых глазах, что родители могли и гордиться, и ожидать прекрасного будущего.

Нина Васильевна с каждым днем наблюдала, как на ее глазах вырастает большой материнский успех: все более красивым, ласковым и обаятельным становился сын, быстро и изящно развивается его речь, с уверенной детской грацией он ходит и бегает, с неописуемой привлекательностью он умеет шутить, смеяться, спрашивать. В этом мальчике так много настоящей живучей прелести, что даже будущий гражданин отходил несколько в сторону.

Сегодняшний день Нины Васильевны был так прекрасен, что о завтрашнем дне не хотелось думать. Хотелось просто жить рядом с этой созданной ею жизнью, любоваться ею и гордиться своей высокой материнской удачей. Она встречала многих чужих детей, внимательно присматривалась к ним, и приятно было для нее ощущение редкой человеческой свободы: она никому не завидовала.

И вдруг ей страшно захотелось создать еще одну такую же прекрасную детскую жизнь. Она представила себе рядом с Витей девочку, белокурую и сероглазую, с умным лбом и смеющимся взглядом, девочку, которую можно назвать... Лидой. У нее поразительное сходство с Витей и в то же время что-то свое, еще небывалое, единственное в мире, что так трудно представить, потому что его никогда еще не было, оно только может быть создано материнским счастьем Нины Васильевны.

— Петрусь! Я хочу девочку.

— Как девочку? — удивился Петр Александрович.

— Я хочу иметь дочь

— Тебе хочется пережить материнство?

— Нет, я хочу, чтобы она жила Девочка, понимаешь? Будущая девочка

— Позволь, Нина, откуда ты знаешь, что будет обязательно девочка. А вдруг сын?

Нина Васильевна задумалась на один короткий миг. Второй сын? Несомненно, что это не менее прекрасно, чем дочь. И наконец... дочь может быть третьей. Какая очаровательная компания.

Она затормошила мужа в приливе радости и стыдливого женского волнения:

— Послушай, Петрусь, какой ты бюрократ, ужас! Сын, такой, как Виктор, понимаешь? И в то же время не такой, свой, ты пойми, дорогой, особенный. А дочь и потом можно! Какая будет семья! Ты представляешь, какая семья!

Петр Александрович поцеловал руку жены и улыбнулся с тем самым превосходством, которое допущено было с самого начала.

— Нина, это вопрос серьезный, давай поговорим.

— Ну, давай, давай поговорим.

Нина Васильевна была уверена, что картина красивой семьи, такая ясная в ее воображении, будет и для него соблазнительна, он оставит свое холодное превосходство. Но когда она заговорила, то почувствовала, что вместо живого великолепия жизни получаются ряды обыкновенных слов, восклицания, беспомощная мимика пальцев, получается бледная дамская болтовня. Муж смотрел на нее любовно-снисходительно, и она умолкла почти со стоном.

— Нина, нельзя же давать свободу такому первоначальному инстинкту!

— Какому инстинкту? Я тебе говорю о людях, о будущих людях...

— Тебе так кажется, а говорит инстинкт...

— Петр!

— Подожди, голубка, подожди! В этом нет ничего постыдного. Это прекрасный инстинкт, я понимаю тебя, я сам переживаю то же. Красивая семья, о которой ты говоришь, могла бы и меня увлечь, но есть цель еще более благородная, более прекрасная. Вот послушай.

Она покорно положила голову на его плечо, а он поглаживал ее руку и говорил, вглядываясь в стеклянную стенку книжного шкафа, как будто за ее призрачным блеском действительно видел благородные дали.

Он говорил о том, что в большой семье можно воспитать только среднюю личность; так и воспитываются массы обыкновенных людей, так редки поэтому великие человеческие характеры, счастливое исключение из серой толпы. Он убежден, что средний тип человека может быть гораздо выше. Воспитать большого человека можно только тогда, если подарить ему свою любовь, весь разум, все способности отца и матери. Нужно отбросить обычное стадное представление о семье: семья — толпа детей, беспорядочная забота о них, забота о первичных потребностях, накормить, одеть, кое-как выучить. Нет, нужна глубокая работа над сыном, филигранная, тонкая работа воспитания. Нельзя делить это творчество между многими детьми. Надо отвечать за качество. А качество возможно только в концентрации творчества.

— Ты представь себе, Нина, мы дадим только одного человека, но это не будет стандарт, это будет умница, украшение жизни...

Закрыв глаза, Нина Васильевна слушала мужа, ощущала легкое движение его плеча, когда он подымал руку, видела кончик мягкого, нежного уса, и картина красивой детской компании закрывалась туманом, а на месте ее возникал рисунок блестящего юноши, мужественного, прекрасного, утонченно воспитанного, большого деятеля и большого человека в будущем. Этот образ возникал как-то бестелесно и бескровно, как образ далекой сказки, как рисунок на экране. Вчерашние ее мечты были живее и любовнее, но эта нарисованная сказка, и голос мужа, и его повороты мысли, до сих пор еще непривычно сильные и смелые, и вековая привычка женщины верить этой мужской силе,— все это было так согласно между собою и так цельно, что Нина Васильевна не захотела сопротивляться. С крепко спрятанной грустью она простилась с своей материнской мечтой и сказала:

— Хорошо, милый, хорошо. Ты дальше видишь. Пусть будет по-твоему. Но... значит .. у нас никогда не будет больше детей?

— Нина! Не должно быть. Никогда.

С этого дня началось что-то новое в жизни Нины Васильевны. Все кругом стало серьезнее, сама жизнь сделалась умнее и ответственнее, как будто только теперь окончательно умерли куклы, и навсегда ушла ее девичья безмятежность. Как ни странно, но, отказавшись от материнского творчества, она только теперь почувствовала всю величину материнской страды.

И Виктор теперь иначе радовал ее. И раньше он был бесценной величиной в ее душе, и она даже подумать не могла об его исчезновении, но раньше от его живой прелести родилась вся прелесть жизни, как будто от него исходили особенные животворящие и красивые лучи. Теперь был только он, по-прежнему дорогой и прекрасный, но кроме него как будто ничего уж нет, нет ни мечты, ни жизни. От этого Виктор становился еще дороже и привлекательнее, но рядом с любовью поселилась и захватывала душу тревога. Сначала Нина Васильевна даже не отдавала себе отчета в том, что это за тревога, насколько она разумна и нужна. Она просто невольно присматривалась к личику сына, она находила в нем то подозрительную бледность, то вялость мускулов, то мутность глаза. Она ревниво следила за его настроением, за аппетитом, в каждом пустяке ей начинали чудиться предвестники беды.

Это сначала было остро. Потом прошло. Виктор вырастал и развивался, и ее страх стал другим. Он не просыпался вдруг, не холодил сердце, не затемнял сознание, он обратился в страх деловой, будничный, обыкновенный, необходимо привычный.

Петр Александрович не замечал ничего особенного в жизни жены. Исчезла ее милая насмешливость, спокойные мягкие линии лица перешли в строгий красивый каркас, серые глаза потеряли блеск и влажность и стали более чистыми и прозрачными. Он задумался над этим и нашел объяснение: жизнь протекает, и уходит молодость, а с нею уходят красота и нежность линий. Но все прекрасно, впереди новые богатства жизни, кто знает, может быть, более совершенные, чем богатства молодости. Он заметил рождение новой тревоги жены, но решил, что и это — благо: может быть, в тревоге и заключается истинное счастье матери.

Сам он не чувствовал никакого страха. Он сурово разделил свою личность между работой и сыном; и в том и в другом отделе было много настоящего человеческого напряжения. Виктор с каждым днем обнаруживал все более блестящие возможности. А Петр Александрович как будто открывал новую страну, полную природных даров и неожиданной красоты. Он показывал всю эту роскошь жене, и она соглашалась с ним. Он говорил ей:

— Смотри, как много мы делаем в этом человеке.

И жена улыбалась ему, и в ее прозрачных строгих глазах он видел улыбку радости, тем более прекрасную, что в этих глазах ее не всегда можно было увидеть.

Виктор быстро уходил вперед. В пять лет он правильно говорил по-русски и по-немецки, в десять начал знакомство с классиками, в двенадцать читал Шиллера в подлиннике и увлекался им. Петр Александрович шел рядом с сыном и сам поражался его быстрому шагу. Сын ослеплял его неутомимым сверканием умственной силы, бездонной глубиной талантов и свободой, с которой он усваивал самые трудные и самые тонкие изгибы мысли и сочетания слов.

Чем больше развивался Виктор, тем определеннее становился его характер. Его глаза рано потеряли блеск первичной человеческой непосредственности, в них все чаще можно было читать разумное и сдержанное внимание и оценку. Петр Александрович с радостью увидел в этом следы своего славного анализа. Виктор никогда не капризничал, был ласков и удобен в общежитии, но в движениях рта появлялась у него понимающая усмешка «про себя», что-то похожее на улыбку матери в молодости, но более холодное и обособленное.

Понимающая улыбка относилась не только ко всему окружающему, она имела отношение и к родителям. Их старательная самоотверженная работа, их родительская радость и торжество были оценены Виктором по достоинству. Он хорошо понимал, что родители готовят ему исключительный путь, и чувствовал себя в силах быть исключительным. Он видел и понимал материнский страх за себя, видел всю бедную неосновательность этого страха и улыбался той же понимающей улыбкой. Окруженный любовью, заботой и верой родителей, которые никто не разделял с ним, Виктор не мог ошибиться: он был центром семьи, ее единственным принципом, ее религией. С той же силой рано проснувшегося анализа, с уже воспитанной логикой взрослого, он признал законность событий: родители вращаются вокруг него, как безвольные спутники. Это стало удобной привычкой и приятной эстетикой. Родителям это доставляло удовольствие, сын со сдержанной деликатностью готов был им не противоречить.

В школе он учился отлично и на глазах у всех перерастал школу. Товарищи были слабее его не только в способностях, но и в жизненной позе. Это были обыкновенные дети, болтливые, легко возбудимые, находящие радость в примитиве игры, в искусственной и пустой борьбе на площадке. Виктор свободно проходил свой школьный путь, не тратил энергию на мелкие столкновения, не разбрасывался в случайных симпатиях.

Жизнь семьи Кетовых протекала счастливо. Нина Васильевна признала правоту мужа: у них вырастал замечательный сын. Она не жалела о своих прошлых мечтах. Та глубокая нежность, которая когда-то рисо-

вала в воображении большую, веселую семью, теперь переключилась на заботу о Викторе. За этой заботой мать не видела зародившейся холодной сдержанности сына, которая казалась ей признаком силы. Она не заметила и того, что в их семье поселилась рациональная упорядоченность чувств, избыток словесных выражений. И она и муж не могли заметить, что начался обратный процесс: сын начал формировать личность родителей. Он делал это бессознательно, без теорий и цели, руководствуясь текущими дневными желаниями.

По почину учителей Виктор «перепрыгнул» через девятый класс и победоносно пошел к вузу. Родители затаили дыхание и преклонились перед звоном победы. С этого времени мать начала служить сыну, как рабыня. Перегруппировка сил в семье Кетовых совершалась теперь с невиданной быстротой, и филигранная работа по воспитанию сына закончилась сама собой, без торжественных актов. Отец еще позволял себе иногда поговорить с сыном о разных проблемах, но ему уже не хватало прежнего уверенного превосходства, а самое главное, перед ним не было объекта, который нуждался бы в воспитании.

Виктор механически выбыл из комсомола. Петр Александрович узнал это в случайном разговоре и позволил себе удивиться:

— Ты выбыл из комсомола? Я не понимаю, Виктор...

Виктор смотрел мимо отца, и на его чуть-чуть припухлом лице не изменилась улыбка, которую он носил теперь всегда как униформу, улыбка, выражающая вежливое оживление и безразличие к окружающему.

— Не выбыл, а механически выбыл,— негромко сказал он,— самая законная операция.

— Но, значит, ты теперь не в комсомоле?

— Ты, отец, сделал удивительно правильное заключение. Если выбыл,— значит не в комсомоле.

— Но почему?

— Знаешь что, папа? Я понимаю, что ты можешь прийти в отчаяние от этого важного события. Для вашего поколения все это имело значение...

— А для вашего?

— У нас своя дорога.

Виктор с той же улыбкой о чем-то задумался и, кажется, забыл об отце. Петр Александрович кашлянул и начал перелистывать лежавшую перед ним служебную папку. Перелистывая, он прислушивался к себе и не обнаружил в себе ни паники, ни крайнего удивления. Мелькнула служебная мысль о сыне его заместителя, который никогда не вступал в комсомол, потом такая же служебная справка о диалектике. Каждое новое поколение, действительно, отличается от предшествующего. Очень возможно, что комсомол не удовлетворяет Виктора, особенно если принять во внимание, что в последнее время определились совершенно исключительные способности его в математике.

Семнадцати лет Виктор по особому ходатайству был принят на математический факультет и скоро начал поражать профессоров блеском своего дарования, эрудицией и мощным устремлением в самую глубь математической науки. Почти незаметно для себя Петр Александрович уступил ему свой кабинет, обращенный теперь в алтарь, где пребывало высшее су-

щество, Виктор Кетов — будущий светоч математики, представитель нового поколения, которое, без сомнения, с курьерской быстротой погонит вперед историю человечества. В тайных размышлениях Петр Александрович предвидел, что дела [redacted] марши этого поколения будут действительно потрясающими, недаром он [redacted] его сверстники расчистили для него дорогу, [redacted] [redacted] особенности он сам мудрым решением о концентрации качества определил путь такого гения, как Виктор. [redacted] душе Петра Александровича проснулась новая отцовская гордость, но внешнее его поведение в это время не лишено было признаков зависимости. Слово «Виктор» он начал произносить [redacted] оттенком почти мистического уважения. Теперь, возвращаясь с работы, он не бросает вокруг задорных взглядов, не шутит и не улыбается, а молча кивает головой жене [redacted] вполголоса спрашивает, посматривая на закрытую белую дверь комнаты сына:

— Виктор дома?

— Занимается,— тихо отвечает Нина Васильевна.

Петр Александрович где-то научился приподымать свое тело на носки. Балансируя руками, он тихонько подходит к двери и осторожно приоткрывает ее.

— К тебе можно? — спрашивает он, просовывая [redacted] комнату одну голову.

От сына он выходит торжественно-просветленный и приглушенно говорит:

— Хорошо идет Виктор, замечательно идет. Его уже наметили оставить для подготовки к профессорскому званию.

Нина Васильевна покорно улыбается:

— Как это интересно! Но знаешь, что меня беспокоит? У него какая-то нездоровая полнота. Он много работает, [redacted] боюсь за его сердце.

Петр Александрович испуганно смотрит на жену:

— Ты думаешь — порок?

— Я не знаю, [redacted] просто боюсь...

И вот родились новые переживания и новый страх. В течение нескольких дней они вглядываются в лицо сына, [redacted] [redacted] их душах восхищение [redacted] преданность перемешиваются с тревогой. Потом приходят новые восторги [redacted] новые опасения, заполняют жизнь, как волны прибоя заливают берег, за ними не видно мелких событий жизни. Не видно, что сын давно перестал быть ласковым, что теперь не бывает у него приветливых слов, что у него два новых костюма в то время, когда у отца один поношенный, что мать готовит для него ванну и убирает за ним, [redacted] никогда сын не говорит ей «спасибо». Не видно и надвигающейся старости родителей [redacted] действительно тревожных признаков тяжелой болезни.

Виктор не пошел на похороны товарища-однокурсника, читал дома книгу. Петр Александрович обратил на это удивленное внимание:

— Ты не был на похоронах?

— Не был,— ответил Виктор, не бросая книги.

Петр Александрович внимательно присмотрелся к сыну, даже встряхнул головой,— настолько беспокойно и холодно стало у него на душе. Но и это впечатление пролетело бесследно и скоро забылось, как забывается ненастный день среди благодатных дней лета.

Не услышали родители и громкого звучания нового мотива: как ни блестяще учился Виктор, он не отказывал себе в удовольствиях, часто отлучался из дому, иногда от него попахивало вином и чужими духами, а в его несмываемой улыбке бродили воспоминания, но никогда ни одним словом он не посвятил отца и мать в эту новую свою жизнь.

К переходу сына на четвертый курс у Петра Александровича обнаружилась язва желудка. Он побледнел, похудел, осунулся. Врачи требовали хирургического вмешательства и уверяли, что оно принесет полное выздоровление, а Нина Васильевна теряла сознание при одной мысли о том, что мужу могут вырезать кусок желудка и перешить с места на место какую-то кишку. Виктор по-прежнему жил особой жизнью и сидел у себя в комнате или был вне дома.

Вопрос об операции никак не мог разрешиться. Старый приятель Петра Александровича, известный врач-хирург, сидел у кресла больного и злился. Нина Васильевна не могла опомниться от свалившегося несчастья.

Виктор вошел к ним расфранченный, пахнущий духами. Не меняя своей улыбки, не усиливая и не снижая выражения, Виктор пожал руку врачу и сказал:

— А вы все у одра больного? Что нового?

Петр Александрович смотрел на сына с восхищением:

— Да вот думаем насчет операции. Он все уговаривает.

Глядя на отца с прежней улыбкой, Виктор перебил его:

— Да, папа, не найдется ли у тебя пять рублей? У меня билет на «Спящую красавицу»... На всякий случай. А я обанкротился...

— Хорошо,— ответил Петр Александрович.— У тебя есть, Нина? Он убеждает скорее делать, а Нина все боится. А я сам и не знаю как...»

— Чего ж там бояться? Нашлось? — сказал Виктор, принимая от матери пятерку.— А то без денег в театре... как-то...

— Ты с кем идешь? — спросил Петр Александрович, забыв о своей язве.

— Да кое-кто есть,— уклончиво ответил сын, тоже забыв о язве.— Я возьму ключ, мама, может быть, задержусь.

Он внимательно склонился перед хирургом в прощальном улыбчивом поклоне и вышел.

А у родителей было такое выражение, как будто ничего особенного не произошло.

Через несколько дней у Петра Александровича случился тяжелый приступ болезни. Приятель-хирург застал его в постели и поднял скандал:

— Вы кто? Вы культурные люди или вы дикари?

Он засучил рукава, смотрел, слушал, кряхтел и ругался. Нина Васильевна сбегала в аптеку, заказала лекарство, возвратившись, краснела и бледнела от страха и все спрашивала:

— Ну что?

Она все время посматривала на часы и с нетерпением ожидала восьми — в восемь лекарство будет готово. То и дело выскакивала в кухню и приносила оттуда лед.

Из своей комнаты вышел Виктор [redacted] направился [redacted] выходу. Мать налетела на него по дороге из кухни и дрожащим, уставшим голосом заговорила:

— Витя, может, ты зайдешь [redacted] аптеку? Лекарство уже готово и... уплачено Обязательно нужно... сказал...

Повернув на подушке взлохмаченную голову, Петр Александрович смотрел на сына [redacted] улыбался через силу. Вид взрослого, талантливого сына приятен даже при язве желудка. Виктор смотрел на мать и тоже улыбался:

— Нет, я не могу. Меня ждут. Я ключ возьму с собой

Хирург вскочил с места [redacted] бросился [redacted] ним. Неизвестно, что он хотел делать, но у него побледнело лицо. Впрочем, сказал он горячо и просто:

— Да зачем же ему беспокоиться? Неужели [redacted] не могу принести лекарство? Это же такой пустяк!

Он выхватил квитанцию из рук Нины Васильевны. У дверей поджидал его Виктор.

— Вам, наверное, в другую сторону? — сказал он.— А я [redacted] центру.

— Конечно, в другую,— ответил хирург, сбегая с лестницы.

Когда он возвратился с лекарством, Петр Александрович по-прежнему лежал, повернув на подушке взлохмаченную голову, и смотрел сухим острым взглядом на дверь комнаты Виктора. Он забыл поблагодарить приятеля за услугу [redacted] вообще помалкивал весь вечер. И только когда приятель прощался, сказал решительно:

— Делайте операцию.. Все равно.

Нина Васильевна опустилась на кресло: в ее жизни так трудно стало разбирать, где кончается радость [redacted] начинается горе. Между горем [redacted] радостью появился неожиданный и непривычный знак равенства.

Впрочем, операция прошла благополучно.

Я рассказал одну из печальных историй с участием единственного сына-царевича. Таких историй бывает много. Пусть не посетуют на меня родители единственных детей, [redacted] вовсе не хочу их запугивать, [redacted] только рассказываю то, чему был свидетелем в жизни.

Бывают и счастливые случаи [redacted] таких семьях. Бывает сверхнормальная чуткость родителей, позволяющая им и найти правильный тон и организовать товарищеское окружение сына, в известной мере заменяющее братьев и сестер. Особенно часто приходилось мне наблюдать у нас прекрасные характеры единственных детей при одинокой матери или овдовевшем отце. В этом случае тяжелая потеря или несомненная страда одиночества с большой силой мобилизуют и любовь и заботу детей и тормозят развитие эгоизма. Но эти случаи родятся в обстановке горя, они сами по себе болезненны и ни в какой мере не снимают проблемы единственного ребенка. Концентрация родительской любви на одном ребенке — страшное заблуждение.

Миллионы примеров — именно миллионы — можно привести, утверждающих огромные успехи детей из большой семьи. И наоборот, успехи единственных детей страшно эфемерная вещь. Лично мне если и приходилось встречаться с самым разнузданным эгоизмом, разрушающим не только родительское счастье, но [redacted] успехи детей, то это были почти исключительно единственные сыновья [redacted] дочери.

В буржуазной семье единственный ребенок не представляет такой общественной опасности, как у нас, ибо там самый характер общества не противоречит качествам, воспитанным в единственном отпрыске. Холодная жестокость характера, прикрытая формальной вежливостью, слабые эмоции симпатии, привычка единоличного эгоизма, прямолинейный карьеризм и моральная увертливость, и безразличие ко всему человечеству — все это естественно в буржуазном обществе и патологично и вредно в обществе советском.

В советской семье единственный ребенок становится недопустимым центром человеческой ячейки. Родители, если бы даже хотели, не могут избавиться от вредного центростремительного угодничества. В подобных случаях только противоестественная слабость родительской «любви» может несколько уменьшить опасность. Но если эта любовь имеет только нормальные размеры, дело уже опасно: в этом самом единственном ребенке заключаются все перспективы родительского счастья, потерять его — значит потерять все.

В многодетной семье смерть ребенка составляет глубокое горе, но это никогда не катастрофа, ибо оставшиеся дети требуют по-прежнему и заботы, и любви, они как бы страхуют семейный коллектив от гибели. И конечно, нет ничего более горестного, чем отец и мать, оставшиеся круглыми сиротами в пустых комнатах, на каждом шагу напоминающих об умершем ребенке. Его единственность поэтому неизбежно приводит к концентрации беспокойства, слепой любви, страха, паники.

И в то же время в такой семье нет ничего, что могло бы в том же естественном порядке этому противополагаться. Нет братьев и сестер — ни старших, ни младших,— нет, следовательно, ни опыта заботы, ни опыта игры, любви и помощи, ни подражания, ни уважения, нет, наконец, опыта распределения, общей радости и общего напряжения,— просто ничего нет, даже обыкновенного соседства.

В очень редких случаях товарищеский школьный коллектив успевает восстановить естественные тормоза для развития индивидуализма. Для школьного коллектива это очень трудная задача, так как семейные традиции продолжают действовать в прежнем направлении. Для закрытого детского учреждения типа коммуны имени Дзержинского это больше по силам, и обыкновенно коммуна очень легко справлялась с задачей. Но, разумеется, лучше всего находить такие тормоза в самой семье.

Опасный путь воспитания единственного ребенка в советской семье в последнем счете сводится к потере семьей качеств коллектива. В системе «единственного ребенка» потеря качества коллектива носит определенный механический характер: в семье просто недостаточно физических элементов коллектива, отец, мать и сын и количественно, и по разнообразию типа способны составить настолько легкую постройку, что она разрушается при первом явлении диспропорции, и такой диспропорцией всегда становится центральное положение ребенка.

Семейный коллектив может подвергаться другим ударам подобного же «механического» типа. Смерть одного из родителей может быть указана, как самый возможный пример такого «механического» удара. В подавляющем большинстве случаев даже такой страшный удар не приводит

к катастрофе и распылению коллектива; обычно оставшиеся члены семьи способны поддержать ее целость. Вообще удары, которые мы условно называем «механическими», не являются самыми разрушительными.

Гораздо тяжелее семейный коллектив переносит разрушительные влияния, связанные с длительными процессами разложения. Эти явления так же условно можно назвать «химическими». Я уже указывал, что «механический» тип «единственного ребенка» только потому должен приводить к неудаче, что он необходимо вызывает «химическую» реакцию в виде гипертрофии родительской любви.

«Химические» реакции в семье являются наиболее страшными Можно назвать несколько форм такой реакции, но я хочу остановиться особо на одной, самой тяжелейшей и вредной.

Русские и иностранные писатели глубоко заглянули в самые мрачные пропасти человеческой психологии. Художественная литература, как известно, лучше разработала тему преступной личности или вообще личности неполноценной, чем тему нормального, обыкновенного или положительного нравственного явления. Психология убийцы, вора, предателя, мошенника, мелкого пакостника и негодяя известна нам во многих литературных вариантах. Самые омерзительные задворки человеческой души не представляют теперь для нас ничего таинственного. Все то, что естественно отгнивало в старом обществе, привлекало внимание таких прозорливцев, как Достоевский, Мопассан, Салтыков, Золя, не говоря уже о Шекспире.

Нужно отдать справедливость великим художникам слова: они никогда не были жестокими по отношению к своим падшим героям, всегда эти авторы выступали как представители исторического гуманизма, составляющего безусловно одно из достижений и украшений человечества. Из всех видов преступления, кажется, одно предательство не нашло для себя никакого снисхождения в литературе, если не считать «Иуды из Кариота» Леонида Андреева, да и эта защита была чрезмерно слабой и натянутой. Во всех остальных случаях в темной душе преступника или пакостника всегда находился тот светлый уголок, оазис, благодаря которому самый последний человек оставался все же человеком.

Очень часто этим уголком была любовь к детям, своим или чужим. Дети — одна из органических частей гуманитарной идеи, в детстве как будто проходит граница, ниже которой не может пасть человек. Преступление против детей стоит уже ниже этой границы человечности, а любовь к детям — это некоторое оправдание для самого мизерного существа. Детский пряник в кармане раздавленного на улице Мармеладова («Преступление и наказание» Достоевского) воспринимается нами, как ходатайство об амнистии.

Но есть основания и для претензии к художественной литературе. Есть преступление, которое она не затронула своей разработкой, и как раз такое, в котором обижены дети.

Я не могу вспомнить сейчас ни одного произведения, где была бы изображена психология отца или матери, отказавшихся от родительских обязанностей по отношению к малым детям, бросивших детей на произвол

судьбы в нужде и смятении. Есть, правда, старый Карамазов, но его дети все-таки обеспечены. Встречаются в литературе брошенные незаконные дети, но в таком случае даже самые гуманные писатели больше видели проблему социальную, чем родительскую. Собственно говоря, они правильно отражали историю. Барин, бросивший крестьянскую девушку с ребенком, вовсе и не считал себя отцом, для него не только эта девушка и этот ребенок, но и миллионы всех остальных крестьян были тем «быдлом», по отношению к которому он не был связан никакой моралью. Он не переживал отцовской или супружеской коллизии просто потому, что «низший класс» помещался за границами каких бы то ни было коллизий. Агитация Л. Н. Толстого за перенесение и на «низший класс» господской «нравственности» была бесполезна, ибо классовое общество органически не способно было на такое «просветление».

Отец, бросивший своих детей, иногда даже без средств к существованию, мог бы рассматриваться нами тоже как механическое явление, и это позволило бы нам более оптимистически смотреть на положение семьи, понесшей такой большой ущерб. Бросил и бросил, ничего не поделаешь, в семье исчезла фигура отца, вопрос ясен: семейный коллектив должен существовать без отца, стараясь как можно лучше мобилизовать силы для дальнейшей борьбы. В таком случае семейная драма объективно ничем не отличалась бы от семейного сиротства вследствие отцовской смерти.

В подавляющем большинстве случаев положение брошенных детей сложнее и опаснее, чем положение сирот.

Еще так недавно жизнь Евгении Алексеевны была хорошей жизнью. Еще живо и безмятежно вспоминалась любовь, прошумевшая в юности. От нее остался покойный след в виде большого жизненного дела — семьи, от нее родилось крепкое ощущение, что жизнь проходит честно, мудро и красиво, так, как нужно. Пусть прошла весна, пусть с такой же серьезной закономерностью проходит тихое, теплое лето. А впереди еще много тепла, много солнца и радости.

В семье рядом с Евгенией Алексеевной стоял муж,— Жуков, человек, не так давно обменявшийся с нею словами любви. От любви сохранились нежность, милое чувство товарищеской благодарности и дружеская простота. У Жукова длинное лицо и седловатый нос. Жизнь на каждом шагу предлагает выбор более коротких лиц и более красивых носов, но с ними не связаны ни воспоминания любви, ни пройденные пути счастья, ни будущие радости, и Евгения Алексеевна не соблазнялась выбором. Жуков — хороший, заботливый муж, любящий отец и джентльмен.

Жизнь эта рушилась неожиданно и нагло. Однажды вечером Жуков не возвратился с работы, а наутро Евгения Алексеевна получила короткую записку:

«Женя! Не хочу дальше тебя обманывать. Ты поймешь,— хочу быть честным до конца. Я люблю Анну Николаевну и теперь живу с нею. На детей буду посылать ежемесячно двести рублей. Прости. Спасибо за все. Н.»

Прочитав записку, Евгения Алексеевна поняла только, что случилось что-то страшное, но в чем оно заключалось — она никак не могла сообразить. Она прочитала второй раз, третий. Каждая прочитанная строчка по-

степенно открывала свою тайну, и каждая тайна так мало была похожа на написанную строчку.

Евгения Алексеевна беспомощно оглянулась, сдавила пальцами виски и снова набросилась на записку, как будто в ней не все еще было прочитано. Глаза ее поймали действительно что-то новое: «хочу быть честным до конца». Тень неясной надежды промелькнула мгновенно, и снова с тем же ужасом ощутила катастрофу.

И сразу же с обидной бесцеремонностью набежали и засуетились вокруг непрошенные мелкие мысли: двести рублей, дорогая квартира, лица знакомых, книги, мужские костюмы Евгения Алексеевна встряхнула головой, сдвинула брови и вдруг увидела самое страшное, самое настоящее безобразие: брошенная жена! Как, неужели брошенная жена?! И дети?! Она в ужасе оглянулась: вещи стояли на месте, в спальне чем-то шелестела пятилетняя Оля, в соседней квартире что-то глухо стукнуло. У Евгении Алексеевны вдруг возникло невыносимое ощущение: как будто ее, Игоря, Ольгу кто-то небрежно завернул в старую газету и выбросил в сорный ящик.

Несколько дней прошли как будто во сне. Минутами явь приходила трезвая, серьезная, рассудительная, тогда Евгения Алексеевна усаживалась в кресло у письменного стола, подпирала голову кулачками, поставленными один на другой, и думала. Сначала мысли складывались в порядке: и обида, и горе, и трудности впереди, и какие-то остатки любви к Жукову старательно и послушно размещались перед ней, как будто и они хотели, чтобы она внимательно их рассмотрела и все разрешила.

Но один из кулачков нечаянно разжимается, и вот уже рука прикрывает глаза, и из глаз выбегают слезы, и нет уже никакого порядка в мыслях, а есть только судороги страдания и невыносимое ощущение брошенности.

Рядом жили, играли, смеялись дети. Евгения Алексевна испуганно оглядывалась на них, быстро приводила себя в порядок, улыбалась и говорила что-нибудь, имеющее смысл. Только выражение страха в глазах она не могла скрыть от них, и дети начинали уже смотреть на нее с удивлением. В первый же день она с остановившимся сердцем вспомнила, что детям нужно объяснить отсутствие отца, и сказала первое, что пришло в голову:

— Отец уехал и скоро не приедет. У него командировка. Далеко, очень далеко!

Но для пятилетней Оли и «скоро» и «далеко» были словами малоубедительными. Она выбегает к двери на каждый звонок и возвращается к матери грустная:

— А когда он приедет?

В этом страшном сне Евгения Алексеевна не заметила, как теплой, мягкой лапой прикоснулась к ней новая привычка: она перестала по утрам просыпаться в ужасе, она начала думать о чем-то практическом, наметила, какие вещи нужно продать в первую очередь, реже стала плакать.

Через восемь дней Жуков прислал незнакомую женщину с запиской без обращения:

«Прошу выдать подательнице сего мое белье и костюмы, а также бритвенный прибор и альбомы, подаренные сотрудниками, и еще зимнее

пальто и связки писем, которые лежат в среднем ящике стола,— в глубине Н.».

Евгения Алексеевна сняла с распорок три костюма и на широком диване разложила несколько газетных листов, чтобы завернуть. Потом вспомнила, что нужно еще белье, прибор и письма, и задумалась. Рядом стоял десятилетний Игорь и внимательно наблюдал за матерью. Увидев ее замешательство, он воспрянул духом и сказал звонко:

— Завернуть, да? Мама, завернуть?

— Ах, господи,— простонала Евгения Алексеевна, села на диван и чуть не заплакала, но заметила молчаливую фигуру пришедшей женщины и раздражительно сказала:

— Ну, как же вы так пришли... с пустыми руками! Как я должна все это запаковать?

Женщина понятливо и сочувственно посмотрела на разложенные на диване газеты и улыбнулась:

— А они мне сказали: там что-нибудь найдут, корзинку или чемодан...

Игорь подпрыгнул и закричал:

— Корзинка? Мама, есть же корзинка! Вот та корзинка... она стоит знаешь где? Там стоит, за шкафом! За шкафом! Принести?

— Какая корзинка? — растерянно спросила Евгения Алексеевна.

— Она стоит за шкафом! За тем шкафом... в передней! Принести?

Евгения Алексеевна глянула в глаза Игоря. В них была написана только бодрая готовность принести корзинку. Покоряясь ей, Евгения Алексеевна улыбнулась:

— Куда там тебе принести! Ты сам меньше корзинки! Дорогой ты мой птенчик!

Евгения Алексеевна привлекла сына к себе и поцеловала в голову. Вырываясь из объятий, Игорь был переполнен все той же корзинкой.

— Она легкая! — кричал он.— Мама! Она совсем легкая! Ты себе представить не можешь!

На шум пришла из спальни Оля и остановилась в дверях с мишкой в руках. Игорь бросился в переднюю, и там что-то затрещало и заскрипело.

— Ах ты господи,— сказала Евгения Алексеевна и попросила женщину: — Помогите, будьте добры, принести эту корзинку.

Общими усилиями корзинка была принесена и поставлена посреди комнаты. Евгения Алексеевна занялась укладыванием костюмов. Она подумала, что будет очень неблагородно уложить костюмы как-нибудь; она внимательно расправляла складки и лацканы пиджаков, брючные карманы, галстуки. Игорь и Оля с деловым интересом смотрели на эту операцию и шевелили губами, если мать затруднялась в укладывании. Потом Евгения Алексеевна уложила в корзину белье. Игорь сказал:

— Навалила, навалила рубашки, а костюмы изомнутся.

Евгения Алексеевна сообразила:

— Да, это верно...

Но вдруг обиделась:

— Да ну их! Пускай разгладят! Какое мне дело?

Игорь поднял на нее удивленные глаза. Она со злостью швырнула в корзинку три пачки писем и предметы бритвенного прибора. Из

красного футляра высыпались на белье ножики в синеньких конвертиках.

— Ой, рассыпала! — крикнул недовольно Игорь и начал собирать ножики.

— Не лезь, пожалуйста, куда тебе не нужно! — закричала на него Евгения Алексеевна, отдернула руку Игоря и с силой захлопнула корзинку.— Несите! — сказала она женщине.

— Записки не будет? — спросила женщина, склонив голову набок.

— Какие там записки?! Какие записки! Идите!

Женщина деликатно поджала губы, подняла корзинку на плечо и вышла, осторожно поворачивая корзинку в дверях, чтобы не зацепить.

Евгения Алексеевна тупо посмотрела ей вслед, села на диван и, склонившись на его валик, заплакала. Дети смотрели на нее с удивлением. Игорь морщил носик и пальцем расширял дырочку в сукне письменного стола, которое когда-то давно Жуков прожег папиросой. Оля прислонилась к двери и посматривала сурово, исподлобья, бросив мишку на пол. Когда мать успокоилась, Оля подошла к матери и сердито спросила:

— А пачему она понесла корзинку? Пачему она понесла? Какая это тетя?

Оля так же сурово перетерпела молчание матери и снова загудела:

— Там папкины куртки и рубашки... пачему она понесла?

Евгения Алексеевна прислушалась к ее гуденью и вдруг вспомнила, что дети еще ничего не знают.

Отправка костюмов даже для Оли была делом подозрительным. Что касается Игоря, то, вероятно, он все знает, ему могли рассказать во дворе. Исчезновение Жукова произвело на всех законное впечатление.

Евгения Алексеевна присмотрелась к Игорю. В его позе, в этом затянувшемся внимании к дырочке что-то такое было загадочное. Игорь глянул на мать и опять опустил глаза к дырочке. Мать отстранила Олю, терпеливо ожидающую ответа, потянула к себе руку Игоря. Он покорно стал против ее колен.

— Ты знаешь что-нибудь? — спросила с тревогой Евгения Алексеевна.

Игорь взмахнул ресницами и улыбнулся:

— Ха! Я и не понимаю даже, как ты говоришь! Чего я знаю?

— Знаешь об отце?

— Об отце?

Он завертел головой, глядя в окно. Оля дернула мать за рукав и прежним сердитым гудением оттенила молчаливую уклончивость Игоря:

— На что ему куртки понесли? Скажи, мама!

Евгения Алексеевна решительно поднялась с дивана и прошлась по комнате.

Она снова глянула на них. Они теперь смотрели друг на друга, и Оля уже игриво щурилась на брата, не ожидая в своей жизни ничего неприятного и не зная, что они брошены отцом. Евгения Алексеевна вдруг вспомнила Анну Николаевну, свою соперницу, ее привлекательную молодую полноту в оболочке черного шелка, ее стриженую голову и чуточку наглый взгляд серых глаз. Она представила себе высокого Жукова рядом с этой красавицей: что же в нем есть, кроме вожделения?

— Когда приедет папа? — спросил неожиданно Игорь тем же простым, доверчивым голосом, каким он спрашивал и вчера.

И он и Оля смотрели на мать. Евгения Алексеевна решилась:

— Он больше не приедет...

Игорь побледнел и замигал глазами. Оля послушала тишину, видно, чего-то не поняла и спросила:

— А когда он вернется? Мама?

Евгения Алексеевна теперь уже строго и холодно произнесла:

— Он никогда не вернется! Никогда! У вас нет отца. Совсем нет, понимаете?

— Он, значит, умер? — сказал Игорь, направив на мать белое неподвижное лицо.

Оля взглянула на брата и повторила как эхо.

— ..умер?

Евгения Алексеевна привлекла детей к себе и заговорила с ними самым нежным, ласковым голосом, отчего в ее глазах сразу забили прибои слез, и в голосе нежность перемешивалась с горем.

— Отец бросил нас, понимаете? Бросил. Он не хочет жить с нами. Он теперь живет с другой тетей, а мы будем жить без него. Будем жить втроем: я, Игорь и Оля, а больше никого.

— Он женился, значит? — спросил Игорь в мрачной задумчивости.

— Женился.

— А ты тоже женишься? — Игорь смотрел на мать холодным взглядом маленького человека, который честно старается понять непонятные капризы взрослых.

— Я не оставлю вас, родненькие мои,— зарыдала Евгения Алексеевна.— Вы ничего не бойтесь. Все будет хорошо.

Она взяла себя в руки:

— Идите играйте. Оля, вон твой медведь лежит...

Оля молча пошатывалась, отталкиваясь от колен матери, щипала рукой верхнюю губу. Оттолкнувшись последний раз, она побрела в спальню. В дверях она присела возле мишки, подняла его за одну ногу и небрежно потащила в свой угол в спальне. Бросив мишку в кучу игрушек, Оля уселась на маленьком раскрашенном стуле и задумалась. Она понимала, что у матери горе, что матери хочется плакать и поэтому нельзя снова подойти к ней и задать вопрос, который все-таки нужно разрешить во что бы то ни стало:

— А когда он приедет?

В первые дни было больше всего обиды.

Обидно было думать, что и ее жизнь, жизнь молодой, красивой и культурной женщины, и жизнь ее детей, таких милых, спокойных и способных, жизнь всей семьи, ее значение и радость можно так легко, в короткой записке, объявить пустяком, не заслуживающим ни заботы, ни раздумья, ни жалости. Почему? Потому что Жукову нравится разнообразие женщин?

Но скоро из-за обиды протянула свои лапы нужда. Впрочем, и в первых ее схватках Евгения Алексеевна больше чувствовала оскорбление, чем недостаток.

Все двенадцать лет семейной истории были прожиты под знаком полной хозяйственной власти Евгении Алексеевны. Хотя Евгения Алексеевна и не знала всех денежных получений мужа, но он отдавал в ее распоряжение достаточную сумму. Евгения Алексеевна всегда была убеждена, что она и дети имеют право на эти деньги, что семья для Жукова не только развлечение, но и долг. Теперь оказалось другое: эти деньги он уплачивал ей, Евгении Алексеевне, за ее любовь, за общую спальню. Как только она надоела, он ушел в другую спальню, а право Евгении Алексеевны и детей было объявлено пустым звуком, оно было только приложением к любовному счету. Теперь долг и обязанность лежат на одной матери, нужно оплачивать этот долг ее жизнью, молодостью, счастьем.

Теперь особенно оскорбительной казалась подачка в двести рублей. В ночных бессонных раздумьях Евгения Алексеевна краснела на подушке, когда вспоминала короткую строчку: «На детей буду присылать ежемесячно двести рублей». Он самостоятельно назначил цену своим детям. Только двести рублей! Не бесконечные годы заботы, волнений, страха, не тревожное чувство ответственности, не любовь, не живое сердце, не жизнь, а только пачка кредиток в конверте!

Евгения Алексеевна каждую ночь вспоминала, с каким потухшим стыдом она в первый раз приняла эти деньги от посыльного, как аккуратно исполнила его просьбу расписаться на конверте, как после его ухода она побежала в магазины, с какой бессовестной радостью вечером угостила детей пирожным. Она смотрела на них и смеялась, а гордость, человеческое и женское достоинство спрятались где-то далеко, у них хватило силы только на одно: они не позволили ей самой есть пирожное.

С каждым днем жуковские двести рублей становились все более обыденным и привычным событием. Услужливая новая совесть подсказывала и рассудительное оправдание: с какой стати, в самом деле, Жуков будет наслаждаться безмятежным счастьем, пусть хоть в этих деньгах из месяца в месяц приходит к нему беспокойство, пусть платит, пусть отрывает у своей красавицы!

Представление о Жукове сделалось неразборчивым, да, пожалуй, и времени не было, чтобы разобраться в нем. Симпатия к нему давно исчезла, как мужчина и муж он никогда теперь не вставал в воображении. В том, что Жуков негодяй, ограниченный и жадный самец, человек без чувства и чести,— в этом сомнений не было, но и такое осуждение переживалось Евгенией Алексеевной без страсти и желания действовать. Иногда даже она думала, что в этом человеке нет ничего привлекательного, о чем стоило бы жалеть, что, может быть, к лучшему жизнь оборвала путь рядом с этим негодяем!

А когда Евгения Алексеевна получила должность секретаря в значительном тресте и пришло к ней новое дело и зарплата, образ Жукова уплыл куда-то в несомненное прошлое, покрылся дымкой пережитого горя,— она перестала о нем думать. Двести рублей и те теперь мало с ним связывались: это обыкновенные деньги, законный и обжитый ее приход.

Проходили еще недели и месяцы. Они потеряли своеобразие горя, они стали похожими друг на друга, обыкновенными, и на их однообразном фоне все живее просыпалась собственная женская душа, подымала голову молодость.

Евгении Алексеевне всего тридцать три года. Этот «классический» возраст обладает многими трудностями. Уже нет первой молодой свежести. Глаза еще хороши, на фотографическом снимке они кажутся «волшебными», но в натуральном виде им все-таки тридцать три года. Нижнее веко еще умеет кокетливо приподыматься, придавая глазу вызывающий и обещающий задор, но вместе с ним проподымается и предательская штриховка морщинок, и задор получается несмелый и отдающий техникой. В этом возрасте красивое платье, какой-нибудь освежающий воротничок, тонкая наивная прошва, еле уловимое шуршание шелка увеличивает оптимизм жизни.

И Евгения Алексеевна возвратилась к этому женскому миру, к заботе о себе, к зеркалу. Она все же и молода, и хороша, и блестят еще глаза, и многое обещает улыбка.

Евгения Алексеевна держит в руках записку, третью по счету:

«Е. А. Платить каждый месяц двести рублей для меня очень трудно. Сейчас наступают каникулы. Я предлагаю Вам отправить Игоря и Ольгу на лето к моему отцу в Умань. Они проживут там до сентября, отдохнут и поправятся. Отец и мать будут очень рады, я уже с ними списался. Если Вы согласны, сообщите запиской, я все устрою и потом Вам напишу. Н ».

Прочитав записку, Евгения Алексеевна брезгливо бросила ее на стол и хотела сказать посланному, что ответа не будет. Но тут же вспомнила что-то важное. Оно мелькнуло в уме не вполне разборчиво, но похоже было на подтверждение, что детям в Умани будет действительно хорошо. Но уже через несколько мгновений «оно» сбросило с себя детское прикрытие и властно потребовало внимания. Евгения Алексеевна задержалась перед дверью, боком глянула на себя в зеркало и улыбнулась нарочно, чтобы посмотреть, как выходит. В прозрачном тумане зеркала ей ответила яркой улыбкой тонкая дама, с большими черными глазами. Евгения Алексеевна вышла к посланному и попросила передать, что она подумает и ответ даст завтра.

Она усаживалась на диван, ходила по комнате, смотрела на детей и думала. Дети, действительно, лишены радости и развлечений. Побывать на новом месте, на лоне природы, пожить в саду, отдохнуть от волнений и драм — это очень остроумно придумано. Жуков поступил внимательно, предложив им такую поездку.

В последнее время Евгения Алексеевна мало думала о детях. Игорь ходил в школу. Во дворе у него были товарищи, с которыми он часто собирался, но ведь это обычно. Он никогда не вспоминал об отце. Подарки Жукова, книги и игрушки, были в порядке сложены на нижней полке шкафа, но Игорь к ним не прикасался. С матерью он был ласков и прост, но старался избегать душевных разговоров, любил поболтать о разных пустяках, о дворовых происшествиях, о школьных событиях. В то же время по всему было видно, что он за матерью следит, присматривается к ее настроению, прислушивается к разговорам по телефону и всегда интересуется, с кем она говорила. Когда мать возвращалась поздно, он обижался, встречал ее с припухшим и покрасневшим лицом, но если она спрашивала, что с ним, он отмахивался рукой и говорил с плохо сделанным удивлением:

— А что со мной? Ничего со мной!

Оля росла молчальницей. Она добродушно играла, бродила по комнатам с какими-то своими заботами, уходила в детский сад и возвращалась оттуда такая же спокойная не склонная к беседам и улыбкам.

Евгения Алексеевна не могла жаловаться на детей, но какая-то тайная жизнь просвечивала в их поведении, этой тайной жизни мать не знала Но она решила, что и так ясно: перемена обстановки для них будет полезна.

Но Евгения Алексеевна думала не только о детях. Невольно ее мысль сворачивала в сторону и с тихой обидой вспоминала, что в последние шесть месяцев у нее не было никакой жизни. Служба, столовая, дети, примус, починка, штопка и... больше ничего. Телефон в ее квартире звонил все реже и реже, трудно вспомнить, когда он звонил в последний раз. За зиму она ни разу не была в театре. Была на одной вечеринке, на которую отправилась поздно, уложив детей спать и попросив соседку «прислушиваться».

На вечеринке за нею ухаживал веселый круглолицый блондин, гость из Саратова, директор какого-то издательства. Он заставил ее выпить две рюмки вина, после чего говорил уже не о недостатках бумаги, а о том, что со временем советское общество обязательно «нацепит на красивых женщин все драгоценности Урала, в противном случае их все равно девать будет некуда».

Евгения Алексеевна не была жеманной святошей и любила пошутить за ужином. Она ответила гостю:

— Это глупости! Нам не нужны бриллианты! Бриллианты — это спесь для богатых, а наши женщины и без них хороши. Разве вы так не думаете?

Гость тонко улыбнулся:

— Н-нет, почему же. Вообще это неправильно, надеяться, что бриллианты могут украсить безобразие. Как угодно нарядите урода, он станет еще уродливее. На теле красивой женщины сами драгоценности становятся богаче и прелестнее и ее красоту делают прямо... прямо царственной. Вам, к примеру, очень бы пошли топазы.

Евгения Алексеевна рассмеялась:

— Ах, действительно, мне только топазов не хватает!

Саратовский гость, любуясь, смотрел на нее через края рюмки.

— Впрочем, все это к слову, правда же. Вы и так хороши!

— Ну-ну!

— Да нет... я это... по-стариковски, правдиво .. Если не нравится, расскажите в таком случае, как вы живете?

Евгения Алексеевна рассказывала ему о Москве, о театре, о модах и о людях, ей было весело и занятно, но вдруг она вспомнила, что уже двенадцатый час на исходе. Дома одни спят дети. Она заспешила домой, не ожидая конца вечеринки. Хозяева возмущались, блондин обижался, но никто не пошел проводить ее, и она одна пробежала по поздним улицам, стремясь к брошенным детям и убегая от обидной неловкости своего панического ухода.

Вот и этот блондин! Так и прошла бесследно эта встреча, а сколько их еще пройдет незамеченных?

Встал перед нею горький вопрос: неужели кончена, неужели кончена жизнь? Неужели впереди только починка, уборка и... старость?

Наутро Евгения Алексеевна послала Жукову по почте записку с согласием на отправку детей к дедушке. За обедом она рассказала о своем решении детям. Оля выслушала ее сообщение безучастно, поглядывая на своих кукол, а Игорь задал несколько деловых вопросов:

— А чем поедем? Поездом?

— Там можно рыбу ловить?

— Пароходы там есть?

— Аэропланы там летают?

Евгения Алексеевна уверенно ответила только на первый вопрос. Игорь удивленно посмотрел на мать и спросил:

— А что там есть?

— Там есть дедушка и бабушка.

Оля хмуро отозвалась, посматривая на кукол:

— А пачему там дедушка? И бабушка?

Евгения Алексеевна сказала, что дедушка и бабушка очень хорошие люди и там живут. Объяснение не удовлетворило Олю,— она не дослушала его и отправилась к своим куклам.

После обеда Игорь подошел к матери, приник к ее плечу и спросил тихо:

— Знаешь что? Это дедушка тот? Папин? С усами?

— Да.

— Знаешь что? Я не хочу ехать к дедушке.

— Почему?

— Потому что он пахнет. Знаешь... так пахнет!

Игорь рукой потрепал в воздухе.

— Глупости,— сказала Евгения Алексеевна.— Ничего он не пахнет. Все ты выдумываешь...

— Нет, он пахнет,— упрямо повторил Игорь. Он ушел в спальню и сказал оттуда громко, с настойчивой слезой:

— Знаешь что? Я не поеду к дедушке.

Евгения Алексеевна вспомнила своего свекра,— он приезжал прошлым летом в гости к сыну. У него действительно были седые усы с пышными старомодными подусниками. Ему уже было за шестьдесят, но он бодрился, держался прямо, водку глушил стаканами и все вспоминал старое время, когда он работал сидельцем в винной лавке. От дедушки распространялся оригинальный, острый и неприятный запах, присущий неряшливым и давно не мытым старикам, но Евгению Алексеевну больше всего отталкивало его неудержимое стремление острить, сопровождая остроты особого значения кряканьем и смешком. Его звали Кузьмой Петровичем, и, вставая из-за стола, он всегда говорил:

— Спасибо богу да и вам, казал Кузьма и Демьян.

Проговорив это, он продолжительно щурился и закатывался беззвучным смехом.

Евгения Алексеевна подумала, что у этого дедушки детям будет «так себе». Да, с чего они живут? Пенсия? Хата своя. Сад, как будто. Может, сын высылает? А не все ли равно? Пусть об этом думает Жуков.

Что-то тревожное и нерадостное родилось в душе Евгении Алексеевны; подозрительным был и Жуков с его жалобой на затруднительность уплаты двухсот рублей; но в душе продолжали жить и неясные надежды на какие-то перемены, на новые улыбки жизни.

Через несколько дней Жуков прислал записку, в которой подробно описывал, когда и в каком порядке должны дети выехать к дедушке. Он давал до Умани провожатого; этот самый провожатый и принес записку. Это был юноша лет двадцати, чистенький, хорошенький и улыбающийся. У Евгении Алексеевны стало почему-то легче на сердце; оставалось только неприятное впечатление от такого места письма:

«Дорогу провожатого (туда и обратно) я оплачу, а тебя прошу дать рублей шестьдесят на билеты для детей, учитывая, что за Олю нужно четверть билета,— у меня сейчас положение очень тяжелое».

Но Евгения Алексеевна на все махнула рукой. Все больше и больше волновала ее мысль о том, что наконец-то она останется одна на два-три месяца, совершенно одна, в пустой квартире. Она будет спать, читать, гулять, ходить в парк и в гости. Сверх всего этого должно быть еще что-то, могущее решительно изменить ее жизнь и ее будущее,— об этом она боялась даже мечтать, но именно поэтому на душе становилось просторно и радостно.

Дети не омрачали эту радость. Игорь как будто забыл о своем недавнем протесте. Перспектива путешествия и новых мест увлекала их. Они весело познакомились с провожатым.

Оля расспрашивала его:

— Поезд, так это с окнами? И все видно? Поле? Какое поле?

Провожатый в предложенных вопросах не видел ничего существенного и отвечал пустой улыбкой, но Игорь придавал им большое значение и с увлечением рассказывал Оле:

— Там такие окна... не такие, как в комнате, а так задвигаются, вниз задвигаются. Когда смотришь, так ветер, и все бежит и бежит.

— А поле какое?

— Это все земля и земля, и все растет. Трава и деревья и эти, как их, хаты. И коровы ходят и еще овцы. Целые такие кучи!

В этих вопросах Игорь обладал большими познаниями, так как в своей жизни несколько раз путешествовал. Эти разговоры отвлекали его от запахов дедушки. Но когда пришел день отъезда, Игорь с утра расхныкался, сидел в углу и повторял:

— Так и знай, все равно возьму и уеду. Вот увидишь, возьму и уеду. И с какой стати! И почему ты не едешь? Какой отпуск? А тебе все равно будет скучно без нас. Так и знай.

Оля просидела целый день на своем раскрашенном стуле и все о чем-то думала. Когда пришло время собираться на вокзал, она заплакала громко, по-настоящему, дрыгала ногами, отталкивая новые туфли, и все протягивала руки к матери. Только этот жест, сохранившийся у нее с раннего детства, обозначал что-то определенное, потому что слов нельзя было разобрать в ее плаче.

Провожатый был уже здесь и весело старался уговорить Олю:

— Такая хорошая девочка и кричит! Разве так можно?

Оля махала на него мокрой рукой и еще громче завопила.

— Да... мамм,— и больше ничего не разберешь.

С большим трудом, вспоминая вагонные окна, коров и поле за окнами, рассказывая о волшебных садах дедушки и о чудесной реке, по которой ходят белые пароходы и рыбаки проносятся на раздутых парусах, удалось Евгении Алексеевне успокоить детей. Потом до самого отхода поезда она вспоминала жуткий ход, сделанный ею в отчаянии:

— Едем, детки, на вокзал, едем. Вы не грустите, все будет прекрасно. А на вокзале папку увидите, папка будет вас провожать...

Услышав это, Оля радостно взвизгнула, и на мокром ее личике разлилось выражение смеющегося счастья. Игорь как-то недоверчиво морщил носик, но сказал весело:

— Вот это да! Посмотрим, какой теперь папка! Может, он теперь не такой?

На улице их ожидала служебная легковая машина Жукова. За рулем сидел все тот же шофер, всегда небритый и строгий Никифор Иванович. Игорь пришел в полное восхищение:

— Мама! Смотри: Никифор Иванович!

Никифор Иванович повернулся на своем месте, небывало сиял и пожимал всем руки. Он спросил:

— Как поживаешь, Игорь?

— А вы теперь не сердитый, Никифор Иванович! А я поживаю...— Игорь вдруг покраснел и поспешил по другому вопросу: — Сколько теперь тысяч? Двадцать семь! Вот это нацокало...

На вокзале в буфете их ожидал Жуков. Он искусственно и церемонно поклонился Евгении Алексеевне и немедленно был отвлечен протянутыми ручонками Оли. Он поцеловал ее и усадил к себе на колени. Оля в замешательстве ничего не могла сказать, только молча смеялась и поглаживала ладошками лацканы светло-серого пиджака отца. Наконец она сказала нежно, склонив набок головку:

— Это новая куртка? Это пинжак? Да? Новый? А где ты теперь живешь?

Жуков улыбнулся с таким выражением, какое всегда бывает у взрослых, когда их приводит в восторг остроумие малышей. Игорь неловко стоял против отца, смотрел на него, опустив голову, и притопывал одной ногой. Жуков протянул ему руку и спросил так же, как спрашивал Никифор Иванович:

— Ну, как поживаешь, Игорь?

Игорь не успел ответить, он как-то странно поперхнулся, проглотил слюну, залился краской и отвернул лицо в противоположную сторону. Неизвестно откуда в глаз вошла слеза. Игорь так и стоял, отвернувшись от отца, сквозь слезу видел искрящиеся предметы, белые скатерти на столах, большие цветы и золотой шар на буфетной стойке.

Жуков нахохлился, осторожно приподнял Олю и поставил ее на пол. Ее ручонка в последний раз скользнула по серому лацкану нового пиджака и упала. Куда-то упала и ее улыбка, от нее остались на лице только отдельные разорванные кусочки.

Жуков достал бумажник и передал провожатому его билет.

— Смотрите не потеряйте, он — обратный. И письмо. На вокзале вас встретят, а если не встретят, там недалеко.

— Ну до свидания, малыши,— сказал он, весело обращаясь к детям,— вы все по курортам, а меня ждут дела. Ох, эти дела, правда, Игорь?

Возвратившись с вокзала, Евгения Алексеевна почувствовала, что она находится во власти беспорядка. Беспорядок был в комнате — обычный разгром, сопровождающий отъезд, беспорядок был и в душе. Жуков обещал возвратить на вокзал машину, чтобы отвезти ее домой. Она лишние полчаса просидела на вокзале, ожидая машину, и не дождалась, стала в очередь к автобусу. А, впрочем, черт с ним, с этим Жуковым. Кажется, провожатому он дал бесплатный билет.

Евгения Алексеевна занялась уборкой, потом согрела ванну и искупалась. По мере того как вокруг нее все принимало обычный вид, и на душе становилось удобнее. Непривычное одиночество в квартире, тишина, чистота воспринимались почти как праздник. Она как будто впервые заметила свежесть воздуха в открытом окне, тиканье часов и уютную мягкость коврика на полу.

Евгения Алексеевна сделала прическу, вытащила со дна ящика давно забытый шелковый халатик, долго вертелась перед зеркалом, рассматривая интимную прелесть кружев и голубых лент на белье, стройные ноги и выдержанную линию бедер. Сказала задорно-громко:

— Дурак этот Жуков! Ты, Евгения, еще красивая женщина!

Она еще раз повернулась перед зеркалом, потом живо и энергично подскочила к книжному шкафу и выбрала томик Генри. Взобравшись с ногами на диван, она прочитала один рассказ, крепко потянулась, улеглась и принялась мечтать.

Но пришел завтрашний день, потом еще один, потом третий, и стало ясно, что мечты ее кружили в одиночестве и жизнь не хотела мечтать с нею, а трезво катилась в прежнем направлении. На службе были те же бумажки, вызывные звонки управляющего, очередь посетителей и мелкие будничные новости. Через учреждение, как и раньше, ритмически перекатывались волны дела. Деловые люди, как и раньше, вертели соответствующие колесики, а в четыре часа гремели ящиками столов и с посеревшими лицами спешили домой. Что там у них за дома, и куда они спешат? Какие у них, подумаешь, притягательные жены! Они спешили обедать, просто им хотелось есть. Во всяком случае, Евгения Алексеевна шла домой одна,— всем было с ней не по дороге. Дома, как и раньше, она разводила примус и кое-что себе готовила. Шум примуса казался теперь невыносимо оглушительным и однообразным. Таким же однообразно-скучным был и обед.

На работе вокруг нее вертелось до трех десятков мужчин. Они вовсе не были плохие и почти все были чуточку влюблены в своего секретаря. Но все это был семейный народ, было бы в высшей степени гадко отнимать их у жен и детей.

Но и без близкого мужчины было неуютно, особенно после того, как воображение взбудоражилось неожиданной и непривычной свободой. Евгения Алексеевна уже несколько раз поймала себя на рискованно-игривом тоне в разговоре с некоторыми окружающими. В этой игре она сама неприятно ощущала почти деловую сухость и холодное намерение. В ее поведении не было необходимой простоты и свободы. Как будто она водила

на цепочке соскучившуюся женщину и рассчитывала — куда бы ее пристроить?

Вечером Евгения Алексеевна лежала и думала. Господи, нельзя же так! Что это такое? Надо влюбиться, что ли! Как влюбиться? В восемнадцать лет любовь стоит впереди как неизбежная и близкая доля, ее не нужно искать и организовывать. Впереди стоят и любовь, и семья, и дети, впереди стоит жизнь. А теперь, в тридцать три года, любовь нужно сделать, нужно торопиться, нужно не опоздать. И впереди стоит не жизнь, а какой-то ремонт старой жизни; в каком винегрете эта старая жизнь должна быть смешана с новой?

Постепенно падала уверенность духа у Евгении Алексеевны. Прошло всего две недели, а неразборчивость и неприглядность будущего успела стать во весь рост, и снова за ним замаячила корявая фигура старости. Заглядывая в зеркало, Евгения Алексеевна уже не радовалась наряду кружев и бантиков, а искала и находила новые морщинки.

И в это время как раз ангел любви пролетел над нею, и на Евгению Алексеевну упала розовая тень его сияющих крыльев.

Случилось это, как всегда случается, нечаянно. Из Саратова прибыл в командировку тот самый блондин, который любил драгоценные камни. Он приехал шумный и насмешливый, ходил по служебным кабинетам, требовал, ругался и дерзил. Евгения Алексеевна с удовольствием наблюдала за этой веселой энергией и так же энергично старалась отбивать его нападение. Он кривил лицо в жалобной мине и, повышая голос до писка, говорил:

— Красавица! И вы обратились в бюрократа! Кошмар! Скоро нельзя будет найти ни одного свежего человека.

— Но нельзя же иначе, Дмитрий Дмитриевич, правила есть. Как это вы так напишете «просто»?

— А вот так и напишу. Дайте бумажку.

Он схватил первый попавшийся обрывок бумаги и широкими движениями карандаша набросал несколько строк. Евгения Алексеевна прочитала и пришла в радостный ужас: там было написано: «В Управление треста. Дайте три тонны бумаги. Васильев».

— Не годится? — презрительно спросил Дмитрий Дмитриевич.— Скажите, почему не годится? Почему?

— Да кто же так пишет? «Дайте»! Что вы, ребенок?

— А как? А как нужно писать? Как? — действительно с детской настойчивостью спрашивал Дмитрий Дмитриевич.— Надо написать: настоящим ходатайствую об отпуске... на основании... и ввиду... а также принимая во внимание. Так?

Евгения Алексеевна улыбалась с выражением превосходства и на минуту даже забыла, что она женщина.

— Дмитрий Дмитриевич, ну как же так — «дайте»? Надо же основание — для чего, почему?

— Звери! Изверги! Кровопийцы! — запищал Васильев, стоя посреди комнаты и размахивая кулаком.— Третий раз приезжаю! Четыре тонны бумаги исписали, доказывали, объясняли! Все вам известно, все вы хорошо знаете, на память знаете! Н-нет! Довольно!

Он схватил свою дикую бумажку и ринулся [redacted] кабинет управляющего Антона Петровича Вощенко. Через пять минут он вышел оттуда с преувеличенным горем на полном лице и сказал:

— Не дал. Говорит: пришлите плановика, проверим. Такие люди называются [redacted] романах убийцами.

Евгения Алексеевна смеялась, [redacted] он присел [redacted] углу [redacted] как будто заскучал, но скоро подошел к столу [redacted] положил перед ней листик из записной книжки. На нем было написано:

В тресте даже для столицы
Есть хорошенькие лица,
Но ужасно портит тон
Этот Вощенко Антон!!

Евгении Алексеевне стало весело, как давно не было, а он стоял перед ней и улыбался. Потом, осмотревшись, поставил локти на вороха папок [redacted] зашептал:

— Знаете что? Плюнем на все эти бюрократические порядки...

— Ну и что? — спросила она с тайной тревогой.

— А поедем обедать в парк. Там чудесно: есть зеленые деревья, пятьдесят квадратных метров неба и даже,— я вчера видел, вы себе представить не можете,— воробей! Такой, знаете, энергичный и, по-видимому, здоровый воробышек. Наверное, иаш — саратовский!

За обедом Васильев шутил, шутил, [redacted] потом задал вопрос:

— Скажите мне, красавица, вы, значит, есть не что иное, как брошенная жена?

Евгения Алексеевна покраснела, но он перехватил ее обиду, как жонглер:

— Да вы не обижайтесь, дело, видите ли, в том, что я,— он ткнул пальцем [redacted] свою грудь,— я есть брошенный муж.

Евгения Алексеевна поневоле улыбнулась, он и улыбку эту поднял на руки:

— Мы с вами друзья по несчастью. И ведь незаслуженно, правда? И вы красивая, и [redacted] красивый, какого им хрена нужно, не понимаю. До чего плохой народ, привередливый, убиться можно!

Потом они бродили по парку, ели мороженое в каком-то кафе [redacted] под вечер попали на футбольный матч. Смотрели, болели, Дмитрий Дмитриевич вякал:

— До чего это полезная штука: футбол! В особенности для умственного развития! Ну что ж? Я вижу, что они только и будут делать, что гонять мяч... Не поискать ли других острых ощущений? Например, кино?

А через минуту он решительно предложил:

— Нет, отставить кино! В кино жарко, и поэтому мне страшно захотелось чаю. Пойдемте к вам чай пить.

Так началась эта любовь. Евгения Алексеевна не противилась любви, потому что любовь хорошая вещь, а у Васильева все выходило весело [redacted] просто, как будто иначе и быть не могло.

Но через три дня Васильев уезжал. На прощанье он взял ее за плечи [redacted] сказал:

— Вы прекрасны, Евгения Алексеевна, вы замечательны, но я не буду на вас жениться...

— О, нет...

— Я боюсь жениться. У вас двое детей, семья, а я и без детей муж, по всей вероятности, неважный. Мне страшно, просто страшно. Это, знаете, очень тяжело, когда тебя жена бросает. Это удивительно неприятно! Брр! И с тех пор я боюсь. Перепуган. Хочется побыть одному, что далеко не так опасно. Но если вам нужен будет помощник для... какого-нибудь там дела, морду кому-нибудь набить или в этом роде,— я в вашем распоряжении.

Он уехал, а Евгения Алексеевна, отдохнув от неожиданного любовного шквала, грустно почувствовала, что ее жизнь вплотную подошла к безнадежности.

Проходили дни. В душе крепко поместился и занял много места образ Дмитрия Дмитриевича. Нет, это не была случайная греховая шутка. Образ Васильева был милым и притягательным образом, и поэтому так щемило сердце, ибо оно понимало, что Дмитрий Дмитриевич испугался двух детей и сложностей новой семьи. Хотелось нежно сказать ему:

— Милый, не нужно бояться моих детей, они добрые, прекрасные существа, они щедро заплатят за отцовскую ласку.

Дети теперь вспоминались с нестерпимой нежностью. В будущем только они стояли рядом с нею, а капризная прелесть Дмитрия Дмитриевича могла годиться только для игры воображения. Что он такое? Случайный расписной пряник, мгновенный луч земного солнца? Дети... И вот это будущее. И только!

От Игоря было получено одно письмо. В аккуратных ученических строчках его было беспокойство. Игорь писал:

«Мама, мы здесь живем у дедушки и у бабушки. Мы сильно скучаем. Дома жить лучше. Дедушка нам все рассказывает, а бабушка мало рассказывает. Речки здесь никакой нету и пароходов нету. Яблок тоже нету, только есть вишни. На деревья нельзя лазить, а бабушка нам дает вишни, а другие вишни продает на базаре. Я тоже ходил на базар, только вишней не продавал, а смотрел на людей, какие люди. Вчера приехал папа и уехал. Целую тебя тысячу раз.

Любимый твой сын Игорь Жуков».

Евгения Алексеевна задумалась над письмом. Только одна строчка говорила прямо: «Дома жить лучше». Бабушка, по всей вероятности, не очень ласкова с детьми. Вишен для них жалеет. И зачем приезжал папа? Что ему нужно?

Беспокойство Евгении Алексеевны не успело разгореться как следует,— пришло второе письмо:

«Милая наша мамочка, нельзя больше терпеть. Забери нас отсюда. Яблок еще нету, а вишней нам дают мало, все жадничают. Мамочка, забери скорей, приезжай, потому что терпения больше нету.

Любимый твой сын Игорь Жуков».

Евгения Алексеевна в первый момент растерялась. Что нужно делать? Сказать Жукову? Ехать самой? Послать кого-нибудь? Кого послать? Ага, того самого провожатого.

Она бросилась к телефону. После разрыва она первый раз услышала голос мужа в телефонной трубке. Голос был домашний, знакомый. Он теперь казался самодовольным и сытым. Разговор был такой:

— Чепуха! Я был там в командировке. Прекрасно все.

— Но дети не хотят жить.

— Мало ли чего? Чего могут хотеть дети!

— Я не хочу спорить. Вы можете послать того самого молодого человека?

— Нет, не могу.

— Что?

— Не могу я никого посылать. И не хочу.

— Вы не хотите?

— Не хочу.

— Хорошо, я сама поеду. Но вы должны помочь деньгами.

— Благодарю вас, не хочется участвовать в ваших истериках, капризах. И предупреждаю: до сентября я все равно денег вам присылать не буду.

Евгения Алексеевна хотела еще что-то сказать, но трубка упала.

Никогда еще ни один человек в жизни не вызывал у нее такой ненависти. Отправка детей в Умань была для Жукова только выгодным предприятием. Как мог этот жалкий человек обмануть ее? Зачем она малодушно поддалась его предложению? Неужели? Ну, конечно, и она поступила, как жадная тварь, которой мешали дети. Дмитрий Дмитриевич? Ну что ж? И он боится этих несчастных детей. Всем они мешают, у всех стоят на дороге, все хотят столкнуть их куда-нибудь, запрятать.

В полном развернутом гневе действовала Евгения Алексеевна в эти дни. Выхлопотала себе трехдневный отпуск. Продала две бархатные гардины и старые золотые часы, послала телеграмму Игорю. И самое главное: налитыми гневом глазами глянула на телефонную трубку на столе и сказала:

— Вы не будете платить? Посмотрим!

На другое утро она подала заявление в суд. Слово «алименты» мелькало в коридорах суда.

Вечером она выехала в Умань. В ее душе теснились большие чувства: взволнованная и грустная любовь к детям, обиженная нежность к Дмитрию Дмитриевичу и нестерпимая ненависть к Жукову.

У стариков Жуковых она была от поезда до поезда. Там она нашла такую раскаленную атмосферу вражды и такую войну, что задерживаться нельзя было ни на один час, тем более что ее приезд очень усилил детскую сторону. После первых ошеломляющих объятий и слез дети оставили мать и бросились на врага.

У Оли личико сделалось злым и нахмуренным, и на нем было написано только одно: беспощадность. Она входила в комнаты с большой палкой и старалась колотить этой палкой по всему решительно: по столам и стульям, по подоконникам, она только стекло почему-то не била.

Старики старались отнять у нее палку и спрятать. Потеряв оружие, Оля замахивалась ручонкой на деда, закусывала губу и шла искать другую палку, не теряя на лице выражения беспощадности. Дедушка следил за ней настороженным глазом разведчика и говорил:

— Плохих воспитали детей, сударыня! Разве это ребенок? Это моровое поветрие!

Игорь смотрит на дедушку с искренним презрением:

— Это вы моровое поветрие! Вы имеете право бить нас ремешками? Имеете право?

— Не лазьте по деревьям!

— Жаднюги! — с отвращением продолжает Игорь.— Сквалыги! Скупердяи! Он — Кащей, а она — баба-яга!

— Игорь! Что ты говоришь! — останавливает сына мать.

— Ого! Он еще и не так говорил. Скажи, как ты говорил?

— Как я говорил? Отцу они такого наговорили! — Игорь передразнил: — У нас ваши птенчики, как у Христа за пазухой. У Христа! Он сам, как Христос, ха! По десять вишен на обед! За пазухой! А что он про тебя говорил? Говорил: ваша мать за отцом поплакала, поплакала!

В переполненном твердом вагоне, кое-как разместив вещи и детей, Евгения Алексеевна оглянулась с отчаянием, как будто только что выскочила из горящего дома. У Оли и в вагоне оставалось на лице выражение беспощадности, и она не интересовалась ни окнами, ни коровами. Игорь без конца вспоминал отдельные случаи и словечки. Евгения Алексеевна смотрела на детей, и ей хотелось плакать не то от любви, не то от горя.

Снова у Евгении Алексеевны потекли дни, наполненные активностью сердца, заботами и одиночеством. Одиночество пришло новое, независимое от людей и дел. Оно таилось в глубине души, питалось гневом и любовью. Но гнев отодвинул любовь в самый далекий угол. Без рассуждений и доказательств пришла уверенность, что Жуков преступник, человек опасный для общества и людей, самое низкое существо в природе. Досадить ему, оскорбить, убить, мучить могло сделаться мечтой ее жизни.

И поэтому с таким жестким злорадством она выслушала его голос в телефонной трубке после постановления суда, присудившего Жукову уплату алиментов по двести пятьдесят рублей в месяц:

— Я чего угодно мог ожидать от вас, но такой гадости не ожидал...

— Угу!

— Что? Вы обыкновенная жадная баба, для которой благородство непонятная вещь.

— Как вы сказали? Благородство?

— Да, благородство. Я оставил вам полную квартиру добра, библиотеку, картины, вещи...

— Это вы из трусости оставили, из подлости, потому что вы — червяк...

— А теперь вы позорите мое имя, мою семью...

Силы изменили Евгении Алексеевне. Она из всей силы взяла трубку обеими руками, как будто это было горло Жукова, потрясла трубкой и хрипло закричала в нее:

— Мелкая тварь, разве у тебя может быть семья?

Она произносила бранные слова, и они ее не удовлетворяли, и других, более оскорбительных, она не находила. Для нее самой становилась невыносимой эта одинокая ненависть. Нужно было о ней кому-то рассказать, усиливая краски, вызвать у людей такую же ненависть, добиться того, чтобы люди называли Жукова мерзавцем, червяком. Хотелось, чтобы люди презирали Жукова и выражали это презрение с такой же силой, как она. Но ей некого было привлечь в соучастники своей злобы, и она удивленно раздумывала: почему люди не видят всей низости Жукова, почему разговаривают с ним, работают, шутят, подают ему руку?

Но люди не видели отвратительной сущности Жукова и не поступали с ним так, как хотелось Евгении Алексеевне. Только дети видели всю глубину ее горя и раздражения, и с детьми она давно перестала стесняться. Очень часто вспоминала при них о муже, выражала презрительные мысли, произносила оскорбительные слова. С особым торжеством она сообщила им о постановлении суда:

— Ваш милый папенька воображает, что мне нужна его милостыня — двести рублей! Он забыл, что живет в советском государстве. Будет платить по суду, а не заплатит, в тюрьме насидится!

Дети выслушали такие слова молча. Оля при этом хмурилась и сердито задумывалась. Игорь посматривал иронически.

В характере детей после поездки к дедушке произошли изменения. Евгения Алексеевна видела их, но у нее не находилось свободной души, чтобы задуматься над этим. Она останавливала внимание на том или ином детском проявлении, но в ту же минуту на нее стремительно набегали новые заботы и приступы гнева.

У Игоря изменилось даже выражение лица. Раньше на нем всегда была разлита простая и доверчивая ясность, украшенная спокойной и умной бодростью карих глаз. Теперь на этом лице все чаще и чаще стало появляться выражение хитроватой подозрительности и осуждающей насмешки. Он научился посматривать вкось, прищурив глаза, его губы умели теперь неуловимо змеиться, как будто они надолго заряжены были презрением.

У соседей была вечеринка,— конечно, обычное семейное веселье, какое может быть у каждого. Вечером из их квартиры доносятся звуки патефона и шарканье ног по полу — танцуют. Игорь лежит уже в постели. Он налаживает свою высокомерную и всепонимающую гримасу и говорит:

— Накрали советских денег, а теперь танцуют!

Мать удивлена:

— Откуда ты знаешь, что они накрали?

— Конечно, накрали,— с пренебрежительной уверенностью говорит Игорь,— а что им стоит накрасть? Коротков, знаешь, где служит? Он магазином заведует. Взял и накрал.

— Как тебе не стыдно, Игорь, сочинять такие сплетни? Как тебе не стыдно?

— Им не стыдно красть, а чего мне будет стыдно? — так же уверенно говорит Игорь и смотрит на мать с таким выражением, как будто знает, что и она что-то «накрала», ему только не хочется говорить.

Глубокой осенью у Евгении Алексеевны остановилась приехавшая в Москву на несколько дней сестра Надежда Алексеевна Соколова. Она была гораздо старше Евгении и массивнее ее. От нее отдавало тем приятным и убедительным покоем, какой бывает у счастливых, многодетных матерей. Евгения Алексеевна обрадовалась ей и с жаром посвятила во все подробности своей затянувшейся катастрофы. Разговаривали они больше в спальне наедине, но иногда за обедом Евгения Алексеевна не могла удержаться. Отвечая на ее сетования, Надежда как-то сказала:

— Да ты брось нудьгой заниматься! Чего ты ноешь? Выходи замуж второй раз! На них смотришь? На Игоря? Да Игорю мужчина нужнее, чем тебе. Что он у тебя растет в бабской компании? Не кривись, Игорь,— смотри, какой деспотический сын! Он хочет, чтобы мать только и знала, что за ним ходить. Выходи. Ихний брат к чужим детям лучше относится, чем ты. Они шире...

Игорь ничего не сказал на это, только пристально рассматривал тетку немигающими глазами. Но когда Надежда уехала, Игорь не пожалел ее:

— Ездят тут разные... Жила у нас пять дней, все даром, конечно, для нее выгода. На чужой счет... еще бы!

— Игорь, меня начинают раздражать твои разговоры!

— Конечно, тебя раздражают! Она тебе наговорила, наговорила, про мужчин разных! Выходи замуж, выходи замуж, так ты и рада!

— Игорь, перестань!

Евгения Алексеевна крикнула это громко и раздраженно, но Игорь не испугался и не смутился. По его губам пробежала эта самая змейка, и глаза смотрели понимающие и недобрые.

О характере Игоря доходили плохие слухи и из школы. Потом Евгению Алексеевну пригласил директор.

— Скажите, откуда у вашего мальчика такие настроения? Я не допускаю мысли, что это ваше влияние.

— А что такое?

— Да нехорошо, очень нехорошо. Об учителях он не говорит иначе, как с осуждением. Учительнице сказал в глаза: вы такая вредная, потому что жалованье за это получаете! И вообще в классе он составляет ядро... ну... сопротивления.

Директор при Евгении Алексеевне вызвал Игоря и сказал ему:

— Игорь, вот при матери дай обещание, что ты одумаешься.

Игорь быстро глянул на мать и нагло скривил рот. Переступил с ноги на ногу и отвернулся со скучающим видом.

— Ну, что же ты молчишь?

Игорь посмотрел вниз и снова отвернулся.

— Ничего не скажешь?

Игорь поперхнулся смехом — так неожиданно смех набежал на него, но в первый же момент остановил смех и сказал рассеянно:

— Ничего не скажу.

Директор еще несколько секунд смотрел на Игоря и отпустил его:

— Ну иди.

Мать возвратилась домой испуганная. Перед этой мальчишеской злобностью она стояла в полной беспомощности. В ее душе давно все было раз-

бросано в беспорядке, как в неубранной спальне. А у Игоря начинала проглядывать цельная личность, и эту цельность ни понять, ни даже представить Евгения Алексеевна не умела.

Жизнь ее все больше и больше тонула в раздражающих мелочах. На службе произошло несколько конфликтов, виновата в них была, главным образом, ее нервность. Алименты от Жукова поступали неаккуратно, нужно было писать на него жалобы. Жуков уже не звонил ей, но о его жизни и делах доходили отзвуки. У новой жены его родился ребенок, и Жуков поэтому возбудил дело об уменьшении суммы алиментов.

Весной он на улице встретил Игоря, усадил в машину, катал по Ленинградскому шоссе, а на прощанье подарил свой ножик, состоящий из одиннадцати предметов. Игорь возвратился с прогулки в восторженном состоянии, размахивал руками и все рассказывал о новых местах, папиных шутках и папиной машине. Ножик он привязал на шнурок к карману брюк, целый день раскрывал и закрывал его, а вечером достал где-то прутик, долго обстругивал его, насорил во всех комнатах и, наконец, обрезал палец, но никому не сказал об этом и полчаса обмывал палец в умывальнике. Евгения Алексеевна увидела кровь, вскрикнула:

— Ах ты, господи, Игорь, что ты делаешь? Брось свой гадкий нож!

Игорь обернулся к ней озлобленный:

— Ты имеешь право говорить «гадкий нож»? Ты имеешь право? Ты мне его не подарила! А теперь «гадкий нож»! Потому что папка подарил! Так тебе жалко?

Евгения Алексеевна плакала в одиночку, потому что и дома не от кого было ожидать сочувствия. Оля не воевала с матерью и не дерзила ей, но она перестала повиноваться матери, и это выходило у нее замечательно, без оглядки и страха. Целыми днями она пропадала то во дворе, то у соседей, возвращалась домой измазанная, никогда ни о чем не рассказывала и не отзывалась на домашние события. Иногда она останавливалась против матери, закусив нижнюю губу, смотрела на нее сурово и непонятно и так же бессмысленно поворачивалась и уходила. Запрещений матери она никогда не дослушивала до конца,— над ней не было никакой власти. Даже в те минуты, когда мать меняла Оле белье или платье, Оля смотрела в сторону и думала о своем.

Наступали тяжелые дни, полные отчаяния и растерянности. Не такое уже и давнее время счастья перестало даже мелькать в воспоминаниях, да и что хорошего могла принести память, если в памяти нельзя было обойтись без Жукова.

Весной Евгения Алексеевна начала подумывать о смерти. Она еще не вполне ясно представляла, что может произойти, но смерть перестала быть страшной.

От Дмитрия Дмитриевича изредка приходили письма, нежные и уклончивые в одно время. В апреле он приехал снова в командировку, задержал ее руку в своей, и взгляд его не то просил о прощении, не то говорил о любви. Из треста они вышли вместе. Она ускорила шаг, как будто надеялась, что он не догонит ее. Он взял ее за локоть и сказал суровым, серьезным голосом:

— Евгения Алексеевна, нельзя же так.

— А как можно? — Она остановилась на улице и посмотрела [redacted] его глаза. Он ответил ей глубоким взглядом серых глаз, но ничего не сказал. Поднял шляпу и свернул [redacted] переулок.

[redacted] мае произошли события.

В одной из соседних квартир муж сильно избил жену... Муж был журналист, пользовался известностью, считался знатоком [redacted] каких-то специальных вопросах. Все верили, что Горохов талантливый [redacted] хороший человек. Избитая жена переночевала одну ночь у Коротковых. И Коротковы, [redacted] Жуковы, и другие знали, что Горохов с женой обращается плохо, [redacted] она не способна даже подумать о протесте. Все привыкли считать, что это касается Гороховых, это их семейный стиль, рассказывали о них анекдоты, смеялись, но при встрече с Гороховым не высказывали сомнений [redacted] том, что он хороший и талантливый человек.

Узнав о новом скандале, Евгения Алексеевна долго ходила из комнаты в комнату, молча любовалась узором на скатерти, потом нашла в столовой забытую на столе бутылочку с уксусом и долго рассматривала белые фигурные буквы на темно-синем фоне этикетки. Края этикетки были желтые, [redacted] было там написано много разных слов; она увлеклась одним: «мособлпищепромсоюз». [redacted] ее глазах сверкнула даже улыбка иронии; не так легко было перевести это слово на обыкновенный язык: московский областной пище-промышленный союз. А может быть, и не так, пище-промышленный как-то нехорошо. Ее глаза остановились на скромной виньетке, удивились ее простоте.

Осторожно поставив бутылочку на стол, она вышла на лестницу, спустилась вниз [redacted] позвонила к Коротковым. Там выслушала жалкий бабий равнодушный лепет избитой жены, глядела на нее сухими воспаленными глазами и ушла, не чувствуя ни своего тела, ни своей души.

Поднимаясь по лестнице, она неожиданно для себя толкнула дверь Горохова. Ее никто не встретил. В первой комнате сидела девочка лет четырех прямо на голом, грязном полу [redacted] перебирала табачные коробки. Во второй комнате, за письменным столом, она увидела самого Горохова. Это был маленький человечек с узким носиком. Он удивленно поднял голову [redacted] Евгении Алексеевне [redacted] по привычке приветливо улыбнулся, но заметил что-то странное в ее горящих глазах и привстал. Евгения Алексеевна прислонилась плечом к двери [redacted] сказала, не помня себя:

— Знаешь что? Знаешь что, мерзавец? Я сейчас напишу [redacted] газету.

Он смотрел на нее зло и растерянно, потом положил ручку на стол [redacted] отодвинул кресло одной рукой.

Она быстро подалась к нему и крикнула:

— Все напишу, вот увидишь, скотина!

Ей показалось, что он хочет ее ударить. Она бросилась вон из комнаты, но страха у нее не было, ее переполняли гнев [redacted] жажда мести. Влетев в свою комнату, она сразу же открыла ящик письменного стола [redacted] достала бумагу. Игорь сидел на ковре и раскладывал палочки, проверяя их длину. Увидев мать, Игорь бросил работу и подошел к ней:

— Мама, ты получила деньги?

— Какие деньги? — спросила она.

— От отца. Папины деньги получила?

Евгения Алексеевна бросила удивленный взгляд на сына. У него вздрагивала губа. Но Евгения Алексеевна думала все-таки о Горохове.

— Получила, а тебе что нужно?

— Мне нужно купить «конструктор». Это игра. Мне нужно. Стоит тридцать рублей.

— Хорошо... А при чем папины деньги? Деньги все одинаковы.

— Нет, не одинаковы. То твои деньги, а то мои!

Мать, пораженная, смотрела на сына. Все слова куда-то провалились.

— Ты чего на меня смотришь? — сгримасничал Игорь.— Деньги эти папа для нас дает. Они наши, а мне нужно купить «конструктор».. И давай!

Лицо у Игоря было ужасно: это было соединение наглости, глупости и бесстыдства. Евгения Алексеевна побледнела, отвалилась на спинку стула, но увидела приготовленный листик бумаги и... все поняла. В самой глубине души стало тихо. Не делая ни одного лишнего движения, ничего не выражая на белом лице, она из стола достала пачку десяток и положила на стекло. Потом сказала Игорю, вкладывая в каждое слово тот грохот, который только что прокатился в душе:

— Вот деньги, видишь? Говори, видишь?

— Вижу,— сказал тихо испуганный Игорь, не трогаясь с места, как будто его ноги приклеились к полу.

— Смотри!

Евгения Алексеевна на том же заготовленном листке бумаги написала несколько строк.

— Слушай, что я написала:

«Гражданину Жукову.

Возвращаю поступившие от вас деньги. Больше присылать не трудитесь. Лучше голодать, чем принимать помощь от такого, как вы. Е.».

Не отрываясь взглядом от лица сына, она запечатала деньги и записку в конверт. У Игоря было прежнее испуганное выражение, но в глазах уже заиграли искорки вдохновенного интереса.

— Этот пакет ты отнесешь этому гражданину, который бросил тебя, а теперь подкупил тебя старым ножиком. Отнесешь к нему на службу. Понял?

Игорь кивнул головой.

— Отнесешь и отдашь швейцару. Никаких разговоров с от.. с Жуковым.

Игорь снова кивнул головой. Он уже разрумянивался на глазах и следил за матерью, как за творящимся чудом.

Евгения Алексеевна вспомнила: что-то еще нужно сделать...

— Ага! Там рядом редакция газеты... Впрочем, это я отправлю по почте.

— А зачем газета? Тоже о... этом... Жу...

— О Горохове. Напишу о Горохове!

— Ой, мамочка! И ногами бил, и линейкой! Ты напишешь?

Она с недоверием присматривалась к Игорю. Мать не хотела верить его сочувствию. Но Игорь серьезно и горячо смотрел ей в глаза.

— Ну иди,— сказала она сдержанно.

Он выбежал из комнаты, не надевая кепки. Евгения Алексеевна подошла к окну и видела, как он быстро перебегал улицу, [redacted] его руке белел конверт, [redacted] котором она возвращала жизни свое унижение. Она открыла окно. На небе происходило оживленное движение: от горизонта шли грозовые тучи. Главные их силы мрачно чернели, [redacted] впереди клубились веселые белые разведчики; далеко еще ворчал гром, от него [redacted] комнату входила прохлада. Евгения Алексеевна глубоко вздохнула и села писать письмо в газету. Гнева [redacted] ней уже не было, но была холодная, уверенная жесткость.

Игорь возвратился через полчаса. Он вошел подтянутый [redacted] бодрый, стал [redacted] дверях и сказал звонко:

— Все сделал, мама!

Мать с непривычной, новой радостью взяла его за плечи. Он отвел было глаза, но сейчас же глянул ей в лицо чистым карим лучом и сказал:

— Знаешь что? Я [redacted] ножик отдал.

Письмо Евгении Алексеевны [redacted] газету имело большой резонанс, ее личность вдруг стала в центре общественного внимания. К ней приезжали познакомиться [redacted] поговорить. Целый день звонил телефон. Она не вполне ясно ощущала все происходящее, было только понятно, что случилось что-то важное и определяющее. Она убедилась в этом, когда поговорила с Жуковым.

— Слушайте, как [redacted] должен принять вашу записку?

Евгения Алексеевна улыбнулась в трубку:

— Примите это как пощечину.

Жуков крякнул в телефон, но она прекратила разговор.

Ей захотелось жить [redacted] быть среди людей. И люди теперь окружили ее вниманием. Игорь ходил за матерью, как паж, [redacted] осматривался вокруг [redacted] гордостью. Никто с ними не говорил об отце, все интересовались Евгенией Алексеевной как автором письма о Горохове. Игорь сказал ей:

— Они все про Горохова, [redacted] про нас с тобой ничего и не знают. Правда?

Мать ответила:

— Правда, Игорь. Только ты еще помоги мне. Займись, пожалуйста, Ольгой, она совсем распустилась.

Игорь немедленно занялся. Он через окно вызвал Ольгу со двора и сказал ей:

— Слушайте, уважаемый товарищ Ольга! Довольно вам дурака валять!

Ольга направилась к двери. Игорь стал [redacted] дверях. Она глянула на Игоря:

— А как?

— Надо слушаться маму.

— А если я не хочу?

— Ну... видишь... теперь [redacted] над тобой начальник. Ты понимаешь?

Ольга кивнула головой и спросила:

— Ты начальник?
— Пойдем к маме...
— А если я не хочу?
— Это не пройдет,— улыбнулся Игорь.
— Не пройдет? — посмотрела на него лукаво.
— Нет.

С тем же безразличным выражением, с каким раньше Оля выходила от матери, сейчас она двинулась в обратном направлении Игорь чувствовал, что над ней еще много работы.

У матери произошел разговор, имеющий директивный характер. Оля слушала невнимательно, но рядом с матерью стоял гордый Игорь, молчаливая фигура которого изображала законность.

Дела вообще пошли интересно. Неожиданно вечером в их квартиру ввалился белокурый полный человек.

— Евгения Алексеевна! Вы такой шум подняли с этим Гороховым .. Все только и говорят о вас. Я вот не утерпел, приехал.

— Ах, милый Дмитрий Дмитриевич, как это вы хорошо сделали,— обрадовалась и похорошела Евгения Алексеевна.— Знакомьтесь, мои дети.

— Угу,— серьезно осклабился Дмитрий Дмитриевич.— Это, значит, Игорь? Симпатичное лицо. А это Оля. У нее тоже лицо симпатичное. А я к вам с серьезным разговором: дело, видите ли, в том, что я хочу жениться на Евгении Алексеевне.

Блондин умолк, стоял посреди комнаты и вопросительно посматривал на ребят.

— Дмитрий Дмитриевич,— смущенно сказала Евгения Алексеевна,— надо было со мной раньше поговорить...

— С вами мы всегда согласуем, а вот они,— сказал Дмитрий Дмитриевич.

— Господи, вы нахал!
— Нахал! — протяжно рассмеялась Ольга.
— Ну, так как, Игорь?

Игорь спросил:

— А какой вы?

— Я? Вот так вопрос! Я — человек верный, веселый. Мать вашу очень люблю. И вы мне нравитесь. Только на детей я стрррогий,— заурчал он басом.

— Ой,— запищала радостно Оля

— Видите, она уже кричит, а ты еще держишься. Это потому, что ты мужчина. Ну, так как, Игорь, я тебе нравлюсь?

Игорь без улыбки ответил:

— Нравитесь. Только... вы нас бросать не будете?

— Вы меня не бросайте, голубчики! — прижал руку к груди Дмитрий Дмитриевич.— Вы меня не бросайте, круглого сироту!

Оля громко засмеялась:

— Сироту!

— Товарищи! Что это такое, в самом деле! Надо же меня спросить,— взмолилась Евгения Алексеевна.— А вдруг я не захочу.

Игорь возмутился:

— Мама! Ну какая ты странная! Он же все рассказал. Нельзя же так относиться к человеку!

— Верно,— подтвердил Дмитрий Дмитриевич.— Отношение [redacted] человеку должно быть чуткое!

— Вот видишь? Мамочка, выходи за него, все равно вы давно сговорились. И по глазам видно. Ой, [redacted] хитрые!

Дмитрий Дмитриевич пришел в крайний восторг:

— Это же... гениальные дети! А я, дурень, боялся!

История Евгении Алексеевны, конечно, не самая горестная. Встречаются [redacted] такие отцы, которые умеют не только бросить детей, но и ограбить их, перетащив на новое место отдельные соломинки семейного гнезда.

Подавляющее большинство наших отцов умеет не поддаваться впечатлениям первых семейных недоразумений, способно пренебречь притягательной прелестью новой любви [redacted] сохранить в чистоте договор с женой, не придираясь [redacted] отдельным ее недостаткам, обнаруженным с запозданием. В этом случае и долг перед детьми выполняется более совершенно, [redacted] таких людей можно считать образцами.

Но еще есть «благородные» и неблагородные донжуаны, которые с безобразной слабостью рыскают по семейным очагам, разбрасывая повсюду стайки полусирот, которые, [redacted] одной стороны, всегда готовы изображать ревнителей свободы человеческой любви, с другой — готовы показать свое внимание к брошенным детям, с третьей стороны, просто ничего не стоят как люди и не заслуживают никакой милости.

Обиженные [redacted] оскорбленные матери и дети при всякой возможности должны обращать «химическую» фигуру такого алиментщика [redacted] «механический» и простой нуль. Не нужно позволять этим людям кокетничать с брошенными ими детьми.

И во всяком случае необходимо рекомендовать особую деликатность [redacted] вопросе об алиментах, чтобы эти деньги не вносили в семью никакого разложения.

Целость и единство семейного коллектива — необходимое условие хорошего воспитания. Оно разрушается не только алиментщиками [redacted] «единственными принцами», но [redacted] ссорами родителей, [redacted] деспотической жестокостью отца, [redacted] легкомысленной слабостью матери.

Кто хочет действительно правильно воспитать своих детей, тот должен беречь это единство. Оно необходимо не только для детей, но и для родителей.

Как же быть, если остался только один ребенок, [redacted] другого почему-либо вы родить не можете?

Очень просто: возьмите [redacted] вашу семью чужого ребенка, возьмите из детского дома или сироту, потерявшего родителей. Полюбите его, как собственного, забудьте о том, что не вы его родили, и, самое главное, не воображайте, что вы его облагодетельствовали. Это он пришел на помощь вашей «косой» семье, избавив ее от опасного крена. Сделайте это обязательно, как бы ни затруднительно было ваше материальное положение.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Перед нами целый круг вопросов: это вопросы об авторитете, дисциплине и свободе в семейном коллективе.

В старое время вопросы эти разрешались при помощи пятой заповеди: «Чти отца твоего и матерь твою, и благо ти будет, и долголетен будеши на земли».

Заповедь правильно отражала отношения в семье. Почитание родителей действительно сопровождалось получением положительных благ,— разумеется, если родители сами обладали такими благами. А если не обладали, то в запасе оставалось царствие небесное. В царствии небесном блага были эфемернее, но зато лучше по качеству. На всякий же случай пятая заповедь допускала получение благ иного порядка,— благ со знаком минус. На уроках закона божия батюшки особенно подчеркивали этот вариант, который звучал приблизительно так: «Чти отца твоего и матерь твою, а если не будешь чтить, за последствия не отвечаем».

Последствия приходили в виде ремешка, палки и других отрицательных величин. Батюшки приводили исторические примеры, из которых было видно, что в случае непочтения к родителям или к старшим господь-бог не склонен к мягкотелости. Хам за непочтение к отцу поплатился очень серьезно за счет всех своих потомков, а группа детей, посмеявшихся над пророком Елисеем, была растерзана волчицей. Рассказывая о таком ярком проявлении господней справедливости, батюшки заканчивали:

— Видите, дети, как наказывает господь-бог тех детей, которые непочтительно ведут себя по отношению к родителям или старшим.

Мы, дети, видели. Божеский террор нас не очень смущал: господь-бог, конечно, был способен на все, но что волчица приняла такое активное участие в расправе,— нам как-то не верилось. Вообще, поскольку пророки Елисеи и другие важные лица встречались с нами редко, мы не могли бояться небесного возмездия. Но и на земле было достаточно охотников с нами расправляться. И для нас пятая заповедь, освященная богом и его угодниками, была все-таки фактом.

Так из господней заповеди вытекал родительский авторитет.

В современной семье иначе. Нет пятой заповеди, никаких благ никто не обещает ни со знаком плюс, ни со знаком минус. А если отец в порядке пережитка и возьмется за ремешок, то это будет все-таки простой ремешок, с ним не связана никакая благодать, и объекты порки ничего не слышали ни о непочтительном Хаме, ни о волчице, уполномоченной господом.

Что такое авторитет? По этому вопросу многие путают, но вообще склонны думать, что авторитет дается от природы. А так как в семье авторитет каждому нужен, то значительная часть родителей вместо настоящего «природного» авторитета пользуется суррогатами собственного изготовления. Эти суррогаты часто можно видеть в наших семьях. Общее их свойство в том, что они изготовляются специально для педагогических целей. Считается, что авторитет нужен для детей, и, в зависимости от различных точек зрения на детей, изготовляются и различные виды суррогатов.

В педагогической относительности и заключается главная ошибка таких родителей. Авторитет, сделанный специально для детей, существовать

не может. Такой авторитет будет всегда суррогатом и всегда бесполезным.

Авторитет должен заключаться в самих родителях, независимо от их отношения к детям, но авторитет вовсе не специальный талант. Его корни находятся всего в одном месте: [redacted] поведении родителей, включая сюда все отделы поведения, иначе говоря, всю отцовскую [redacted] материнскую жизнь — работу, мысль, привычки, чувства, стремления.

Невозможно дать транспарант такого поведения [redacted] коротком виде, но все дело сводится к требованию: родители сами должны жить полной, сознательной, нравственной жизнью гражданина Советской страны. А это значит, что и по отношению к детям они должны быть на какой-то высоте, но высоте естественной, человеческой, [redacted] не созданной искусственно для детского потребления.

Поэтому все вопросы авторитета, свободы и дисциплины [redacted] семейном коллективе не могут разрешаться ни [redacted] каких искусственно придуманных приемах, способах и методах. Воспитательный процесс есть процесс постоянно длящийся, [redacted] отдельные детали его разрешаются [redacted] о б щ е м т о н е семьи, а общий тон нельзя придумать и искусственно поддерживать. Общий тон, дорогие родители, создается вашей собственной жизнью и вашим собственным поведением. Самые правильные, разумные, продуманные педагогические методы не принесут никакой пользы, если общий тон вашей жизни плох. И наоборот, только правильный общий тон подскажет вам и правильные методы обращения с ребенком, [redacted] прежде всего правильные формы дисциплины, труда, свободы, игры и... авторитета.

Отец приходит с работы в пять часов. Он — электромонтер на заводе. Пока он стаскивает тяжелые, пыльные и масленые сапоги, четырехлетний Вася уже сидит на корточках перед отцовской кроватью, кряхтит по-стариковски и пялит в темную площадку пола озабоченные серые глазенки. Под кроватью почему-то ничего нет. Вася беспокойно летит на кухню, быстро топает в столовой вокруг большого стола [redacted] цепляется ножками за разостланную [redacted] комнате дорожку. Через полминуты он спокойной деловой побежкой возвращается к отцу, размахивает парой ботинок и гримасничает на отца милыми чистыми щечками. Отец говорит:

— Спасибо, сынок, [redacted] дорожку все-таки поправь.

Еще один рейс такой же деловой побежки, и порядок в комнате восстановлен.

— Вот это ты правильно,— говорит отец и направляется [redacted] кухню умываться.

Сын с трудом тащит за ним тяжелые сапоги и с напряжением поглядывает на встречную дорожку. Но ничего, это препятствие миновали благополучно. Вася ускоряет бег, догоняет отца и спрашивает:

— А трубу принес? Для паровоза трубу принес?

— А как же! — говорит отец.— После обеда начнем.

Васе повезло в жизни: родился он [redacted] послеоктябрьское время, отец попался ему красивый,— во всяком случае, Васе он очень нравится: глаза у него такие же, как и у Васи,— серые, спокойные, немножко насмешливые, [redacted] рот серьезный, и усы приятные: хорошо провести по ним одним пальцем, тогда каждый раз неожиданно обнаруживается, что они шелковистые [redacted] мягкие, а чуть отведешь палец, они прыгают, как пружинки, [redacted]

снова кажутся сердитыми и колючими. Мать у Васи тоже красивая, красивее, чем другие матери. У нее теплые и нежные щеки и губы. Иногда она как будто хочет что-то Васе сказать, посмотрит на Васю, и губы ее чуть-чуть шевельнутся. И не разберешь, улыбнулась мать или не улыбнулась. В такие минуты жизнь кажется Васе в особенности прекрасной!

Есть еще в семье Назаровых Наташа, но ей только пять месяцев.

Надевать утром ботинки — самое трудное дело. Продеть шнурок в дырочку Вася умеет давно, но когда шнурок прошел уже все дырочки, Вася видит, что получилось неладно. Вася переделывает, и, смотришь — получилось правильно. Тогда Вася с симпатией посматривает на башмак и говорит матери:

— Завязазай!

Если дело сделано верно, мать завязывает, а если неверно, она говорит:

— Не так. Что же ты?

Вася бросает удивленный взгляд на башмак и вдруг видит, что действительно не так. Он сжимает губы, смотрит на башмак сердито и снова принимается за работу. Спорить с матерью Васе не приходит в голову, он не знает, как это делается.

— Тепей так? Завязазай!

Мать становится на колени и завязывает, а Вася хитро посматривает на другой башмак и видит ту первую дырочку, в которую он сейчас наладит конец шнурка.

Умываться Вася умеет, умеет и зубы чистить, но и эти работы требуют массу энергии и пристального внимания. Сначала Вася измазывается мылом и зубным порошком до самого затылка, потом начинает создавать лодочку из маленьких неловких рук. Лодочку ему удается сделать, удается набрать в нее воды, но пока он поднесет лодочку к лицу, ладони выпрямляются раньше времени, и вода выливается на грудь и живот. Вася не смывает мыло и зубной порошок, а размазывает их мокрыми ладонями. После каждого такого приема Вася некоторое время рассматривает руки и потом снова начинает строить лодочку. Он старается натереть мокрыми ладонями все подозрительные места.

Мать подходит, без лишних слов овладевает ручонками Васи, ласково, но сильно наклоняет его голову над чашкой умывальника и бесцеремонно действует на всей территории Васиной мордочки. Руки у матери теплые, мягкие, пахучие, они сильно радуют Васю, все же продолжает его беспокоить неосвоенная техника умывания. Из этого положения есть много оригинальных выходов: можно и покапризничать, — по-мужски запротестовать: «Я сам!» Можно и молчанием обойти инцидент, но лучше всего засмеяться и, высвободившись из рук матери, весело поблескивать на нее мокрыми глазами. В семье Назаровых последний способ самый употребительный, потому что люди они веселые. Ведь капризы тоже не от бога приходят, а добываются житейским опытом.

Пересмеявшись, Вася начинает мыть зубную щетку. Это самая приятная работа: просто поливаешь щетку водой, теребишь ее щетину, и она сама становится чистая.

На сером сукне в углу столовой расположилось игрушечное царство Васи. Пока Вася надевает башмаки, умывается, завтракает, в игрушечном царстве царит тишина и порядок. Паровозы, пароходы и автомобили стоят у стены и все смотрят в одну сторону. Пробегая мимо них по делам, Вася на секунду задерживается и проверяет дисциплину в игрушечном царстве. За ночь ничего не случилось, никто не убежал, не обидел соседа, не насорил. Это потому, что на сторожевом посту всю ночь простоял деревянный раскрашенный Ванька-Встанька. У Встаньки широкощекое, лупоглазое лицо и вечная улыбка. Встанька давно назначен охранять игрушечное царство и выполняет эту работу честно. Вася как-то спросил у отца:

— Он не может спать?

А отец ответил:

— Как же ему спать, когда он сторож? Если он честный сторож, должен сторожить, а не спать. А то он заснет, а у него автомобиль выведут.

Вася тогда с опаской посмотрел на автомобиль и с благодарностью на сторожа и с тех пор регулярно ставит его на посту, когда сам уходит спать.

В настоящее время Вася не столько боится за автомобиль, сколько за дорогой набор очень важных вещей, сложенных в деревянной коробке. Все эти вещи назначены для постройки главного дома в игрушечном царстве. Здесь есть много деревянных кубиков и брусочков, «серебряная» бумага для покрытия крыши, несколько пластинок целлулоида для окон, маленький красивый болтик с гаечкой, назначение которого еще не установлено. Кроме того, проволока разная, шайбы, крючочки, трубки и несколько штук оконных переплетов, вырезанных из картона с помощью матери.

Сегодня у Васи план: перевезти строительные материалы к месту постройки — в противоположный угол комнаты. Еще с вечера он был обеспокоен недостатком транспорта. Нельзя ли использовать пароход? Отец этот вопрос проконсультировал:

— Речка нужна для парохода. Ты же видел летом?

Вася что-то такое помнит; действительно, пароходы плавают по речке. У него мелькнула идея провести речку в комнате, но Вася только вздохнул: мама ни за что не позволит. Недавно она весьма отрицательно отнеслась к проекту устроить для парохода пристань. Сама же дала Васе жестяную коробку, а когда он налил в нее воды, осудила:

— Твоя пристань протекает. Смотри, грязь какую завел!

Теперь коробка наполнена песком и предназначается для парка. Саженцы уже на месте,— целую ветку сосны принес для этого отец.

Вася спешит завтракать: работы, заботы столько, что некогда чашку кофе выпить, и лицо Васи все поворачивается к игрушечному царству. Мать спрашивает:

— Будешь дом строить сегодня?

— Нет! Буду ездить! Возить буду! Туда!

Вася показывает на строительную площадку и прибавляет:

— Только не запачкаю, ты не бойся!

Собственно говоря, не столько боится мать, сколько сам Вася,— строительство очень грязное дело.

— Ну, если напачкаешь — уберешь,— говорит мать.

Такой неожиданный поворот [redacted] условиях строительства переполняет Васю энергией. Он забывает о завтраке и начинает сползать со стула.

— Вася, чего это ты? Допивай кофе, нельзя оставлять [redacted] чашке!

Это верно, что нельзя. Вася быстрыми глотками приканчивает чашку. Мать следит за ним [redacted] улыбается:

— Не успеешь, что ли? Куда тебе спешить?

— Надо спешить,— шепчет Вася.

Он уже в игрушечном царстве. Прежде всего он снимает [redacted] поста Ваньку-Встаньку. Давно мать сказала ему:

— Твой сторож день и ночь на ногах. Куда это годится? Он тоже отдыхать должен. Ты ведь каждую ночь спишь?

Действительно, как это Вася выпустил из виду охрану труда? Но это упущение было давно. Сейчас Вася запихивает Встаньку [redacted] старый картонный домик и придавливает его голову каким-то строительным материалом. Встанька топорщится и вырывается из рук, но мало ли чего, первое дело — дисциплина! А [redacted] выходной день, когда отец дома, Встанька целые сутки дрыхнет [redacted] домике, а на посту стоит фарфоровый человечек [redacted] розовой тирольке. Этот парень, хоть [redacted] мамин подарок, [redacted] работник плохой, все с ног валится. Недаром отец сказал о нем:

— В шляпе который — лодырь, видно!

Вася поэтому его не любит и старается обойтись без его работы.

Первой общественной нагрузкой Васи были отцовские сапоги и ботинки. Родители дают Васе и другие поручения: принести спички, поставить стул на место, поправить скатерть, поднять бумажку, но это все случайные кампании, [redacted] сапоги [redacted] ботинки — это постоянная работа, долг, о котором нельзя забыть.

Один только раз, когда в игрушечном царстве произошла катастрофа,— отвалилась труба от паровоза,— Вася встретил отца с аварийным паровозом в руках и был настолько расстроен, что забыл об отцовских ботинках. Отец рассмотрел паровоз, покачал головой, причмокнул и до конца понял Васино горе.

— Капитальный ремонт,— сказал он.

Эти слова еще больше потрясли Васю. Он прошел за отцом в спальню и там грустно всматривался [redacted] паровоз, боком улегшийся на кровати. Но вдруг его поразила непривычная тишина [redacted] спальне, [redacted] [redacted] тот же момент он услышал насмешливый голос отца:

— Паровоз, выходит, без трубы, [redacted] [redacted] без ботинок.

Вася глянул на его ноги, залился краской и мгновенно забыл о паровозе. Он бросился на кухню, [redacted] скоро положение было восстановлено. Отец, улыбаясь как-то особенно, посматривал на Васю. Вася потащил [redacted] кухню его сапоги и вспомнил о паровозе только тогда, когда отец сказал:

— Я тебе другую трубу принесу, крепкую!

Когда Васе исполнилось шесть лет, отец подарил ему большую коробку, наполненную кубиками, брусками, кирпичиками, балками и другими материалами для постройки. Из этого можно было строить настоящие дворцы. В коробке была [redacted] тетрадка с рисунками дворцов, которые нужно было строить. Из уважения к отцу [redacted] его заботе Вася уделил коробке большое внимание. Он добросовестно рассматривал каждый рисунок [redacted]

терпеливо, вытягивая губы, разыскивал нужные детали, чтобы сложить здание по данному проекту. Отец что-то заметил и спросил:

— Тебе не нравится?

Васе не хотелось сказать, что ему не нравится работа, но и сказать противное правде он не умел. Он молча хмурился над постройкой.

Отец сказал:

— Ты не хмурься, а говори: не нравится?

Вася посмотрел на отца, потом на постройку и ответил:

— Много домов. Этот дом построить, а потом поломать, а потом другой построить, а потом поломать, а того уже нету... Так все строишь и строишь... аж голова болит...

Отец рассмеялся.

— Га! Ты правильно говоришь! Действительно, строишь, строишь, а ничего нет. Это не строительство, а вредительство.

Вася перестал строить и оживленно глянул на отца:

— Вредительство? Это — какое?

— А вот такое, как у тебя,— вредное. Есть такие сволочи...

— Сволочи? — повторил Вася.

— Да, сволочи,— сказал отец настойчиво,— нарочно так строят, а потом хоть поджечь, хоть поломать, никуда не годится.

— А потом можно другое построить,— обратился Вася к рисункам.— И такое можно, и такое можно ..

Вася разобрал постройку и решил начать новую, более сложную, чтобы хоть немного порадовать отца.

Отец молча наблюдал за его работой.

— Выходит хорошо. Только что ж? Все это у тебя на честном слове держится: его толкни, а оно рассыплется .

Вася засмеялся, размахнулся и ударил рукой по постройке.

Вместо затейливого дворца на полу валялись аккуратные его части.

— Взял и развалил?

— А его все равно разваливать нужно, потому что другой можно еще...

— Вот видишь, ничего и нет.

— И нет,— сказал Вася, разводя руками.

— Это не годится.

— Угу,— подтвердил Вася, отчужденно и безжалостно глядя на разбросанные детали.

— Вот подожди,— улыбнулся отец и направился к своему ящику. Он возвратился с целым богатством в руках В деревянной коробке лежали гвозди, гвоздики, шурупы, болтики, отрезки проволоки, стальные и медные пластинки и прочая мелочь, сопровождающая в жизни каждого порядочного металлиста. Отдельно в руках отец держал какие-то прутики, подскакивающие при движении, как на качелях.

— Эти твои дома мы оставим,— сказал отец,— а давай построим что-нибудь крепкое. Только не знаю — что.

— Надо построить мост. Только речки нету.

— Нету речки, так нужно сделать.

— А разве так бывает?

— До сих пор не было, а теперь бывает. Вон большевики взяли, да и провели Волгу в самую Москву.

— Какую Волгу?

— Речку Волгу. Где текла? Вон где! А они взяли да и провели по чистому месту.

— И что? — спросил Вася, не отрываясь взглядом от отца

— Потекла, как миленькая,— ответил тот, выкладывая на пол принесенное добро.

— Давай [redacted] мы проведем... Волгу...

— Да и я вот думаю.

— А потом мост построим.

Но Вася вдруг вспомнил когда-то раньше возникший вопрос о речке и увял. Он сидел на корточках перед отцовским ящиком и чувствовал, что у него не хватит сил бороться с препятствиями.

— Нельзя, папа, речку строить, мама не позволит.

Отец внимательно поднял брови и тоже опустился на корточки·

— Мама? Да-а, вопрос серьезный.

Вася посмотрел на лицо отца с надеждой: [redacted] вдруг отец найдет средство против мамы. Но отец глядел на сына с неуверенным выражением; Вася уточнил положение:

— Она скажет: поналиваете.

— Скажет. В том-то и дело, что обязательно скажет. И [redacted] самом же деле поналиваем.

Вася улыбнулся отцовской наивности:

— Ну, [redacted] как же ты хотел? И речку провести и чтобы сухо было?

— Так ты пойми, речка, она как течет? В одном месте течет, а кругом сухо, берега должны быть. А потом сообрази, если речку прямо по полу провести, она вся в нижний этаж пройдет. Люди живут, [redacted] на них вода сверху,— откуда такая беда? А это мы с тобой речку проводим.

— А [redacted] Москве не лилась вода?

— Почему [redacted] Москве?

— А когда эту... Волгу проводили?

— Ну, брат, там это сделали по-настоящему, там берега сделали.

— Из чего?

— Там придумали. Из камня сделали. Из бетона.

— Папа, слушай! Вот слушай! Мы тоже давай сделаем . берега!

Так родился проект великого строительства у Васи Назарова. Проект оказался сложным и требовал большой предварительной работы Ближайшим последствием его рождения была полная ликвидация строительства временных дворцов. Отец и Вася так и решили, что дворцов они больше строить не будут, ввиду полной их непрактичности. Содержимое коробки решили употребить на мост. Возник вопрос, как использовать тетрадку с рисунками. Для Васи она потеряла интерес, отец тоже отозвался о ней с пренебрежением:

— Да какой же с нее толк? Выбросить жалко, [redacted] ты подари ее какому-нибудь малышу.

— А на что ему?

— Да на что... посмотрит...

Вася скептически встретил это предложение, но на следующее утро, выходя во двор, он захватил с собою и тетрадку.

Это не был городской двор, обставленный кирпичными стенами. Он представлял из себя широкую площадь, щедро накрытую небом. С одной стороны площади стоял длинный двухэтажный дом, выходящий во двор целой полудюжиной высоких деревянных крылец. Со всех остальных сторон протянулся невысокий деревянный забор, за которым пошла к горизонту холмистая песчаная местность, называемая в наших местах «кучугурами», привольная и малоисследованная земля, привлекавшая мальчиков своим простором и тайнами. Только за домом и стоящими рядом с ним добротными воротами начинался первый переулок города.

В доме живут рабочие и служащие вагонного завода, народ солидный и многосемейный. Детей во дворе видимо-невидимо. Вася только недавно начал близко знакомиться с дворовым обществом. Может быть, и прошлым летом были завязаны кое-какие отношения, но в памяти от них осталось очень мало, а зимой Вася почти не бывал во дворе, так как болел корью.

В настоящее время Вася был знаком почти исключительно с мальчиками. Были во дворе и девчонки, но они держались по отношению к Васе сдержанно, потому что были старше его на пять-шесть лет,— в том возрасте, когда появляется у них гордая походка и привычка напевать на ходу с недоступным видом. А малышки двух-трех лет, само собой, для Васи не могли составить компанию.

Тетрадь с проектами дворцов сразу же вызвала интерес в обществе. Васин ровесник Митя Кандыбин увидел тетрадь и закричал:

— Где ты взял альбом? Где ты взял?

— Это мое,— ответил Вася.

— Где ты взял?

— Я нигде не взял. Это папа купил.

— Это он для тебя купил?

Митя не нравился Васе, потому что он был слишком энергичен, юркий и нахальный. Его светлые маленькие глазенки без устали бегали и тыкались во все стороны, и это смущало Васю.

— Это он для тебя купил? Для тебя?

Вася заложил руки с тетрадкой за спину.

— Для меня.

— А ну, покажи! А ну, покажи!

Васе не хотелось показывать. Не жаль было тетрадки, но было желание сопротивляться сильному Митиному напору. А Митя уж и на месте стоять не мог от волнения и начал заходить сбоку.

— Тебе жалко показать?

Митя недалек был от того, чтобы броситься отнимать тетрадку, хотя был слабее и мельче Васи, но на его крик в этот момент подошел Левик.

Левик принадлежал к старшему поколению и был в первом классе 34-й школы. Он весело воззрился на агрессивного Митю и крикнул еще издали:

— Крику много, а драки нет! Бей его!

— А чего он! Скупердяга! Показать жалко!

Митя с презрением повернул к Васе голое плечо, перекрытое полотняной тесемкой детских помочей.

— А ну, покажи! — Левик с веселой властностью протянул руку, и Вася вручил ему тетрадку.

— Слушай! — обрадовался Левик.— Ты знаешь что? Ой! А у меня такая потерялась. Все есть, а альбомчик потерялся. Вот здорово! Давай меняться! Давай!

Вася в своей жизни никогда еще не менялся и сейчас не знал, как ответить Левику. Во всяком случае, было очевидно, что начинается какая-то интересная история. Вася с любопытством смотрел на веселого Левика. Левик быстро перелистывал тетрадь:

— Здорово! Пойдем к нам...

— А зачем? — спросил Вася.

— Вот чудак: зачем? Надо же посмотреть, на что меняться.

— И я пойду,— хмуро сказал Митя, еще не вполне покинувший свою вызывающую позу.

— Пойдем, пойдем... Ты будешь как свидетель, понимаешь. Меняться всегда нужно, чтобы был свидетель...

Они направились к Левиному крыльцу. Уже взбираясь на высокое крыльцо, Левик оглянулся:

— Только вы на сестру, на Ляльку, не обращайте внимания!

Он толкнул широкую серую дверь. В сенях их придушил запах погреба и борща. Когда Левик закрыл за ними дверь, Вася даже испугался. темнота в соединении с запахами была неприятна. Но открылась вторая дверь: мальчики увидели кухню. Видно было мало: в кухне стоял дым, и в дыму перед самыми глазами стеной висели какие-то полотнища: белые, розовые, голубые,— наверное, простыни и одеяла. Два из этих полотнищ раздвинулись, и из-за них выглянуло румяное скуластое лицо с красивыми глазами.

— Левка, ты опять навел своих мальчишек? Варька, ты хоть обижайся, хоть не обижайся, а я их бить буду.

Из-за развешенных полотнищ слабый женский голос ответил:

— Ляля, ну чего ты злишься, чего они тебе сделают?

Ляля пристально и злостно смотрела на мальчиков и, не меняя выражения лица, говорила быстро-быстро:

— Чего сделают? Они везде лазают, у них ноги грязные, у них головы грязные, из них песок сыплется...

Она ткнула пальцем в лохматую голову Мити и поднесла палец к глазам:

— О! Тебе голову воробьи засидели, ты! А этот откуда? Смотри, глазищи какие!

Девочке было лет пятнадцать, но она производила громовое впечатление, и Вася попятился назад. Но Левик уже закрыл дверь в сени и смело сказал товарищам:

— Не обращайте внимания! Идем!

Мальчики пролезли под развешенными вещами и вошли в комнату. Комната была небольшая, набитая вещами, книгами, гардинами, цветами. Оставался маленький проход, в котором один за другим и остановились вошедшие. Левик толкнул в грудь каждого из своих гостей:

— Вы сидите на диване, а то тут и не пройдешь.

Вася и Митя повалились на диван. У Назаровых не было такого дивана. На нем было приятно сидеть, но теснота и загруженность комнаты пугали Васю. Здесь было много странных вещей, комната казалась очень богатой и непонятной: пианино, много портретов в овальных рамках, желтые подсвечники, книги, ноты, вертящийся табурет. На этом табурете перед ними вертелся Левик и говорил:

— Если хочешь, дам тебе четыре колечка от ключей, а если хочешь — ласточкино гнездо. Потом... кошелек, смотри, какой кошелек!

Левик вскочил с вертящегося табурета и выдвинул ящик маленького письменного стола. Он поставил ящик на колени. В первую очередь предстал перед Васей маленький кошелек зеленого цвета, он закрывался одной пуговичкой. Левик несколько раз хлопнул пуговичкой, возбуждая интерес Васи. Но в этот момент Вася увидел нечто более интересное, чем кошелек, во всю длину ящика вкось протянулась узкая, в три пальца, металлическая коробка черного цвета.

— О! — вскрикнул Вася и показал на коробку пальцем.

— Коробка? — спросил Левик и перестал хлопать пуговичкой кошелька.— Да... только... ну, еще и лучше.

Митя вскочил с дивана и наклонился над ящиком.

— Это мне нужно,— кивнул Вася на коробку. Он поднял на Левика большие глаза, честные, убедительно спокойные серые глаза. А Левик смотрел на Васю бывалыми, карими хитроватыми гляделками:

— Значит, ты мне альбом, а я тебе коробку, так? При свидетеле, так?

Вася серьезно кивнул головой, глядя на Левика. Левик вытащил коробку из ящика и повертел в руках:

— Твоя коробка!

Вася обрадовался удаче. Он держал коробку в руках и заглядывал на ее дно. Дно было крепко вделано, не сквозили в нем щели, и, значит, в нижнем этаже воды не будет. Это будет длинная, настоящая речка! А берега он обложит песком, вот на столько обложит, и сделает на берегах лес. Речка течет в лесу. А потом мост.

— Показать тебе ласточкино гнездо? У меня есть ласточкино гнездо,— предложил хозяин.— Вот я тебе покажу.

Он ушел в третью комнату, Вася бережно положил коробку на диван и стал в дверях. В комнате стояло несколько кроватей, аквариум и деревянные полки с разными вещами. Левик достал с полки ласточкино гнездо.

— Это не нашей ласточки, это японской. Видишь, как сделано?

Вася осторожно принял в ладошки темный легкий шарик с трубкой.

— Хочешь вместо коробки ласточкино гнездо?

— А для чего оно?

— Ну, как «для чего»? Это для коллекции, чудак!

— А что это «коллекция»?

— Ну, коллекция! Еще такое достанешь. Или другое. И будет коллекция.

— А у тебя есть коллекция?

— Мало чего у меня есть. И у тебя будет. А то простая коробка!

Но Вася завертел головой:

— Мне коробка нужная, а это не нужное.

Вася любовно вспомнил о коробке и обратился к дивану. Но на диване коробки не было. Он оглянулся в комнате, посмотрел на крышку пианино, на стопку книг. Коробки не было.

— А где она? — обратился он к Левику.

— Кто? Ласточка? — спросил Левик из другой комнаты.

— Нет, коробка где?

— Да я ж тебе дал. Я ж тебе в руки дал!

Вася растерянно посмотрел на диван.

— Она тут лежала.

Левик тоже посмотрел на диван, тоже оглянулся по комнате, выдвинул ящик.

— Стой! А Митька? Это он украл.

— Как украл?

— Ну, как украл? Спер коробку и смылся.

— Ушел?

— Смылся! Да что ты, не понимаешь? Нету ж Митьки!

Вася грустно сел на диван, потом встал. Коробку было очень жаль.

— Спер? — машинально переспросил он Левика.

— Мы с тобой честно поменялись,— напрягая лицо, заговорил Левик.— Честно. Я тебе в руки отдал, при свидетеле.

— При каком свидетеле?

— Да при Митьке ж! Ой, и свидетель! Потеха! Вот так свидетель!

Левик громко рассмеялся:

— Смотри, какой свидетель! А ты что же? Ты теперь с пустыми руками. Мы честно!

В дверях стояла скуластая Ляля, удивленно смотрела чуть-чуть раскосыми темными глазами на веселого брата и вдруг бросилась в комнату. Вася испуганно встал с дивана.

— Ты зачем мой кошелек брал?

Левик перестал хохотать и двинулся к дверям, обходя Васю.

— А я его брал?

— А чего он на столе лежит? Чего?

— И пускай лежит! Какое мне дело!

Ляля быстро дернула ящик, уставилась в него острым взглядом и закричала:

— Отдай! Сейчас же отдай! Свинья!

Левик уже стоял в дверях, готовый удирать дальше Ляля бросилась к нему и налетела на растерявшегося, подавленного шквалом событий Васю. Она толкнула его на диван, и он сильно опрокинулся, мелькнув ножками, а она с разгону ударилась в дверь, которую перед самым ее носом сильно захлопнул Левик. Слышно было, как хлопнула вторая дверь и третья, наружная. Двери еще стучали, пока Ляля металась между ними, догоняя брата. Наконец, она с такой же стремительностью ворвалась в комнату, еще раз дернула ящик, с шумом порылась в нем и громко заплакала, склонившись на стол. Вася продолжал смотреть на нее с удивлением и испугом. Он начал догадываться, что рыдания Ляли относятся к коробке, только что исчезнувшей на его глазах. Вася хотел уже что-то сказать, но Ляля, не прекращая плакать, попятилась и бросила свое узкое тело на диван, рядом с ним. Плечи ее вздрагивали у Васиных ног.

Вася еще больше расширил глаза, оперся ручонками на диван и склонился над рыдающей девочкой.

— Ты чего плачешь? — спросил он звонко.— Ты, может, за коробкой плачешь?

Ляля вдруг перестала рыдать, подняла голову и вонзилась в Васю злыми глазами. Вася тоже смотрел на нее, видел капельки слез на желобках ресниц.

— Ты за коробкой плачешь? — повторил он вопрос, догадливо кивнув головой.

— За коробкой? Ага-а! — крикнула Ляля.— Говори, где коробка?

— Кто, коробка? — спросил Вася, несколько удивленный ненавидящими нотками Ляли.

Ляля толкнула его рукой в плечо и еще громче закричала:

— Говори! Говори, где? Чего ты молчишь?! Куда ты ее дел? Куда дел пенал?

— Пенал?

Вася чего-то не понял. Мелькнула мысль, что дело касается чего-то другого, не коробки. Но он честно хотел помочь этой расстроенной девочке с красивыми, чуть косо разрезанными глазами:

— Как ты говоришь? Пенал?

— Ну, пускай коробка! Коробка! Куда вы ее дели?

Вася оживленно показал на ящик:

— Она там лежала?

— Да не морочь мне головы! Говори, куда вы ее дели?

Вася вздохнул и начал трудный рассказ:

— Левик говорит: дай твою тетрадку, а я тебе дам кошелек. И еще говорил: кольца, и еще говорил: ласточкино гнездо, только потом, а раньше дал коробку. Черненькую. И дно... дно там крепкое. А я сказал: хорошо. А он говорит: при свидетелях, в руки... И дал мне в руки. А я...

— Ах, так это ты взял? Ты!

Вася не успел ответить. Он вдруг увидел, как вздрогнули темно-коричневые глаза Ляли, и в тот же момент его голова мягко стукнулась о спинку дивана, и на щеке остро вспыхнуло незнакомое и неприятное ощущение. Вася с трудом сообразил, что Ляля его ударила. В своей жизни Вася никогда не испытывал побоев и не знал, что это оскорбительно. И все же в глазах Васи заволновались слезы. Он вскочил с дивана и взялся рукой за щеку.

— Отдавай сейчас же! — крикнула Ляля, подымаясь против него.

Теперь уже Вася понимал, что она может ударить второй раз, и не хотел этого, но по-настоящему его занимало другое: как это она не соображает, что коробки нет. Он спешил растолковать ей, в каком положении находится дело в этот момент.

— Ну? Где она?

— Так ее нету! Понимаешь, нету!

— Как «нету»?

— Митя ее взял.

— Взял?

— Ну да! Он... тот... спер... спер коробку.— Вася был рад, что вспомнил это слово, возможно, что так она скорее поймет.

— Это тот белобрысый? Ты ему отдал? Говори.

Ляля двинулась к нему. Вася оглянулся. Только между пианино и столом оставался узкий закоулок, но он не успел туда отступить. Ляля сильно толкнула его к окну, по дороге больно ударила по голове, и ее рука снова взлетела в воздух. Но неожиданно и для нее и для Васи его кулачок описал дугу сверху вниз и стукнулся по ее острому розовому подбородку. Вслед за ним вступил в дело и второй кулачок, за ним снова первый. Наморщив лицо и показывая зубки, Вася молотил перед собою по чему попало, не больше промахиваясь. Ляля несколько отступила, скорее от неожиданности, чем от ударов, но и в лице ее и в позе не было ничего хорошего. Бой должен был еще продолжаться, но в дверях комнаты появилась худая, длиннолицая женщина в очках.

— Лялька, что здесь происходит? Чей это мальчик?

— А кто его знает, чей он,— оглянулась Ляля.— Это Левка привел. Они мой пенал украли! Смотри, какой стоит!

Коричневые глаза Ляли вдруг улыбнулись чуть-чуть, но теперь Васю больше интересовала ориентация женщины. Наверное, это мать Ляли,— они сейчас будут бить его вдвоем.

— Вы здесь подрались, что ли? Лялька!

— Пускай отдает коробку! Я ему еще дам! Чего ты смотришь?

Ляля подошла ближе. Вася продвинулся ближе к столу. Глаза у Ляли стали добрее, да и слова женщины его успокаивали, но недавний опыт еще не забылся.

— Лялька, перестань его запугивать! Какой хороший мальчик!

Ляля закричала:

— Брось, Варька, не вмешивайся! Хороший мальчик. У тебя все хороше, добрая душа! Давай коробку, ты!

Но в этот момент подошло еще подкрепление: в тех же дверях стал невысокий мужчина и дергал узкую, черную бороденку.

— Гришка! — сказала уже веселее девочка.— Смотри, она его защищает! Этот забрался в дом, куда-то девал мою коробку, а Варька его защищает!

— Ну, Варька всегда защищает,— улыбнулся мужчина.— А чей это мальчик?

— Чей ты? Как тебя зовут? — спросила с улыбкой Ляля.

Вася ясно оглядел всех. Сказал серьезно-приветливо:

— Меня зовут Вася Назаров.

— Ах, Назаров! — вскрикнула девочка.

Она уже совсем ласково подошла к нему.

— Вася Назаров? Ну, хорошо. Так вот теперь по-хорошему обещай мне найти коробку. Понимаешь?

Вася понял мало: что значит «по-хорошему» — непонятно. Что значит «найти» — тоже непонятно.

— Ее взял Митя,— сказал он уверенно.

— Я не могу больше,— прервала женщина, которую звали Варькой,— она побила его.

— Лялька! — сказал мужчина с укором.

— Ой! Гришка! Этот тон действует мне на нервы! — она повернулась с недовольным лицом.— А ты тоже, добрая душа!

Девочка вздернула носиком в сторону Варьки и быстро вышла из комнаты.

— Иди, Вася, и ни о какой коробке не думай,— сказала Варька,— иди!

Вася посмотрел Варьке в лицо, и оно ему понравилось. Он прошел мимо ухмыляющегося Гришки и вышел на крыльцо.

Возле крыльца стоял Левик и смеялся:

— Ну, что? Попало тебе?

Вася улыбнулся смущенно. Он еще не совсем пришел в себя после страшных событий и не думал о них. В сущности, его интересовали только отдельные места. Коробка не выходила у него из головы: такая хорошая была бы река! Он уже с крыльца оглядывал двор и искал глазами Митю. Кроме того, нужно было как-нибудь узнать, что это за люди Варька и Гришка. И еще один вопрос: где папа и мама Левика?

Он спустился с крыльца:

— Левик, а где твой папа?

— Папа? А разве ты не видел?

— Нет, не видел.

— А он пришел. С бородой...

— С бородой? Так это Гришка.

— Ну, Гришка, папа,— все равно

— Нет, папа — это... еще говорят: отец. А то Гришка.

— Ты думаешь, если папа, так уж и имени у него нет? Твоего папу как зовут?

— Моего? Ага, это, как мама говорит? Мама говорит «Федя».

— Ну, у тебя отец Федя, а у нас Гриша.

— Гриша? Так это твоя мама так говорит, да?

— Ой, и глупый же ты! Мама! И мама, и все. Гришка, а мама — Варька.

Вася так ничего и не понял, но расспрашивать уже не хотелось. Да и Левик побежал вверх, а Вася вспомнил, что нужно возвращаться домой.

Взобравшись на свое крыльцо и открыв дверь, он столкнулся с матерью Она внимательно на него посмотрела и не пошла за водой, как собиралась, а возвратилась в квартиру.

— Ну, рассказывай. Чего ты сегодня не такой какой-то?

Не спеша и не волнуясь, Вася рассказал о своих приключениях. Только в одном месте ему не хватило слов, и он больше показывал и изображал в мимике:

— Она как посмотрит! Как посмотрит!

— Ну?

— А потом как ударит .. Вот сюда.

— Ну, и что?

— Ха! И сюда... Потом .. я пошел, а она опять. Я тоже как ударю! А потом Варька пришла.

— Какая еще Варька?

— Кто его знает какая В очках. И Гришка. Это у них так называется, как ты папу называешь Федя, так и они: Гришка и Варька. А Варька сказала: хороший мальчик, иди.

— Дела у тебя, Васенька, серьезные.

— Серьезные дела,— подтвердил Вася, мотнул головой перед матерью и улыбнулся.

Отец сказал:

— Так! Видишь, как Волгу строить! Что же ты дальше будешь делать?

Вася сидел на своем коврике возле игрушек и думал. Он понимал, что отец хитрит, не хочет помогать ему в его сложнейшей жизни. Но отец был для Васи образцом знания и мудрости, и Вася хотел знать его мнение:

— А почему ты не говоришь? Я еще маленький!

— Ты маленький, однако ты не спрашивал меня, когда пошел меняться? Не спрашивал.

— Левик говорит: давай меняться. Я посмотрел, а там коробка.

— Дальше смотри: поменялся ты, а где твоя коробка? Где?

Вася засмеялся иронически над самим собою и развел руками.

— Коробки нету... Митя... спер.

— Что это за слово «спер»? По-русски говорят: украл.

— А это по-какому?

— А черт его знает по-какому! Это так воры говорят.

— И Левик тоже так говорит.

— А ты на Левика не смотри. А сестра у него в художественном техникуме учится, так у нее эта коробка для кисточек. Видишь, какая история? А сестра тебя отколошматила, и правильно...

— Это виноваты Левик и Митя.

— Нет, друг, виноват один мальчик. Вася Назаров.

— Ха! — засмеялся Вася.— Папа, ты неправильно говоришь, я вовсе не виноватый

— Вася поверил Левику, человеку незнакомому, новому, чужому. Вася ничего не думал, развесил уши, коробку взял, да и второй раз уши развесил и рот открыл, как ворона на крыше. А тут еще Митя Кандыбин подвернулся. И коробки нету, и Васю побили. Кто виноват, спрашивается?

По мере того как отец говорил, Вася краснел все больше и больше, и все больше понимал, что виноват он. В этом его больше всего убеждали даже не слова, а тот тон, которым они произносились. Вася ощущал, что отец им действительно недоволен, а значит виноват действительно Вася. Кроме того, и слова кое-что значили. В семье Назаровых часто употреблялось выражение «развесить уши». Еще недавно отец рассказывал, как на заводе инструктор группы токарных, отец Мити Кандыбина, «развесил уши» и как по этой причине «запороли» сто тридцать деталей! Вася сейчас слово в слово вспомнил этот отцовский рассказ.

Он отвернулся, еще больше покраснел, потом несмело глянул на отца и улыбнулся слабо, грустно и смущенно. Отец сидел на стуле, поставив локти на колени и смеялся, глядя на Васю. Сейчас он показался Васе особенно родным и милым,— так мягко шевелились его нежные усы и так ласково смотрели глаза.

Вася так ничего и не сказал. Он вдруг вспомнил, что маленькие гвоздики, подаренные отцом для постройки моста, некуда сложить. Они лежат просто на сукне неприятной бесформенной кучкой. Опершись на локоть, Вася рассмотрел хорошо эту кучку и сказал:

— А гвоздики некуда девать... Мама обещала коробочку... и забыла... потом...

— Идем, дам тебе коробочку,— сказала мать.

Вася побежал за матерью, а когда возвратился, отец уже сидел в спальне, читал газету и громко смеялся:

— Маруся, иди посмотри, какой Муссолини перевязанный, бедный! Это после Гвадалахары его перевязали...

Вася уже не раз слышал это странное, длинное слово «Муссолини» и понимал только, что это что-то плохое и отцу не нравится. Но тут он вспомнил Митю Кандыбина. И нужно эту коробку у него взять.

После завтрака Вася поспешил во двор. Был выходной день. Отец с матерью собрались за покупками в город, Вася любил ходить с ними, но сегодня не пошел. Они взяли с собой на руки Наташу, а Васе отец сказал:

— У тебя здесь дела?

Вася ничего не ответил, так как в словах отца услышал намек,— значит он все и так знает. Кроме того, на душе у Васи было нехорошо,— у него не было точного плана действий.

Вышли из квартиры все вместе. У ворот отец отдал Васе ключ от квартиры.

— Ты погуляй. И ключ не потеряй, и не меняйся ни с кем.

Вася выслушал это распоряжение серьезно, даже не покраснел, потому что ключ в самом деле вещь серьезная и меняться им нельзя.

Возвратившись во двор, Вася увидел много мальчиков. Затевалась серьезная война на «кучугурах». Об этой войне давно уже были разговоры, она висела в воздухе. Кажется, сегодня должна разразиться военная гроза.

Вася несколько раз бывал на «кучугурах» с отцом, но всех тайн этой чудесной местности еще не знал.

«Кучугуры» представляли обширную незастроенную и не тронутую человеком территорию, которая тянулась, начиная от последних домов города, куда-то далеко, километра на три, а вправо и влево даже больше. Вся эта местность состояла из многих песчаных холмов, довольно высоких, имеющих иногда форму настоящих горных цепей. Кое-где они заросли лозой, иногда расползалась по ним сухая, приземистая травка. В центре «кучугур» помещалась настоящая гора, которую ребята называли Мухиной горой, потому что на этой горе человек казался таким маленьким, как муха. Мухина гора только издали казалась монументальным целым, на деле же в ней было несколько вершин, крутых склонов, подернутых песчаной рябью. Под ними располагались пропасти и ущелья, заросшие кустарником. Вокруг Мухиной горы, сколько видит глаз, до самой деревни Корчаги, чуть заметной на ярко-зеленом фоне, разбросаны были горы поменьше, снабженные такими же пропастями и ущельями.

Вася видел, как некоторые мальчики бесстрашно скатывались по крутым склонам на самое дно пропасти. Они быстро вертелись, за ними вздымались вихри, а после них на гладкой поверхности ската оставался рыхлый, далеко видный след. Вероятно, это было большое наслаждение прокатиться по такому склону, а потом победоносно стоять на дне ущелья и посматривать на вершину склона, постепенно высыпая песок из одежды, носа и ушей. В присутствии отца Вася стеснялся предпринять такое низвержение в бездну, но втайне мечтал о нем.

Впрочем, сейчас «кучугуры» уже не могли быть использованы для подобных мирных развлечений. Их территория была отравлена семенами войны. Вася до сих пор не принимал участия в коллективных выступлениях местных молодых сил, но он уже подходил к «призывному возрасту», и военные дела его занимали. Среди мальчишеской общественности уже в течение нескольких дней происходили горячие дебаты по поводу напряженного положения на «кучугурах». Война должна была начаться не сегодня-завтра. Признанным главнокомандующим во дворе был Сережа Скальковский, ученик пятого класса, сын приемщика вагонов. Старик Скальковский крепко держал свою большую семью, но человек он был веселый, разговорчивый и насмешливый. Он имел орден Красного Знамени, много помнил о партизанских временах, но никогда не хвастал своими партизанскими успехами, а напротив, любил поговорить о военной технике и организации. Поэтому и Сережа Скальковский был противником беспорядочной военной возни на «кучугурах» и требовал порядка.

Враг помещался в большом трехэтажном доме, подошедшем к «кучугурам» в полукилометре от двора Васи. Мальчики этого дома давно освоили «кучугуры» с своей стороны и их поиски шли также в направлении к Мухиной горе. В ущельях этой горы и произошли первые столкновения. Сначала это были одиночные стычки, потом групповые. В одной из недавних стычек целый отряд под командой самого Сережи Скальковского был низвергнут противником в одну из пропастей, а победители с торжественными песнями пошли домой по гребням гор. Но вчера к вечеру Сереже удалось смыть позор: перед самым заходом солнца он захватил в «восточном секторе» группу противника. Произошло сражение, противник отступил, но главный смысл победы заключался в том, что у одного из пленников была отобрана незаконченная карта всей территории «кучугур» — явное доказательство захватнических намерений противника. Вася оказался во дворе как раз в тот момент, когда Сережа Скальковский говорил:

— Видите, они уже карту составляют. А мы только ходим без всякого толку. И смотрите, они нарисовали наш дом и надпись сделали: «Центр расположения синих».

— Ого! — крикнул кто-то звонко.— Мы, по-ихнему, синие?

— Синие!

— А они красные?

— Выходит так.

— И на карте так написали,— крикнул другой голос.

— А кто им дал право?

— Подумаешь, красные!

— А теперь карта у нас, можно переписать!

Все были очень возмущены, заглядывали в карту и фыркали. Вася тоже протеснился к карте и хотя читать еще не умел, но ясно увидел, что их двору нанесена обида, и у него не было никаких сомнений, что красными могут называться только Сережины воины.

Вася серьезно слушал, посматривал то на то, то на другое лицо, и вдруг увидел по другую сторону толпы настойчивые, быстрые глазки Мити Кандыбина. В душе Васи военный пожар сразу потух и возникла

проблема коробки. Он обошел толпу и взял Митю за локоть. Митя оглянулся и быстро отодвинулся в сторону.

— Митя, ты вчера взял ту... коробку?

— Взял. Ну, так что? И взял! А что ты мне сделаешь?

Хотя Митя и держался вызывающе, однако отодвигался дальше и, видимо, готов был убежать. Такое поведение страшно удивило Васю. Он сделал шаг вперед и сказал уверенно:

— Так ты отдай!

— Ох, какой ты скорый,— презрительно скривился Митя.— Отдай! Какой ты скорый!

— Значит, ты не хочешь отдавать? Украл и не хочешь отдавать? Да?

Вася произнес это возбужденно-громко, с маленьким гневом.

В ответ Митя скорчил вредную и отвратительную гримасу. Что произошло дальше, никто не мог рассказать, даже и сам Вася. Во всяком случае военный совет принужден был прекратить обсуждение стратегических вопросов. Его участники расступились и с увлечением смотрели на любопытное зрелище. Митя лежал на земле лицом вниз, а на нем верхом сидел Вася и спрашивал:

— Отдашь? Ну, скажи, отдашь?

Митя на этот вопрос не давал никакого ответа, и старался выбраться на свободу. Лицо Мити было испачкано в песке, оно быстро показывалось то с той, то с другой стороны, и на соответствующую сторону старался заглянуть Вася и спрашивал:

— Ну, скажи, отдашь?

Участники военного совета хохотали. Особенно было смешно то, что в лице Васи не было ничего ни злобного, ни воинственного, ни возбужденного. В его больших глазах выражалась только заинтересованность — отдаст Митя или не отдаст? Этот вопрос он задавал без какой бы то ни было угрозы, обыкновенный деловой вопрос. В то же время Вася изредка придавливал своего противника к земле и чуточку прижимал его голову.

Вася, наконец, заметил всеобщее внимание и хохот и поднял голову. Сережа Скальковский взял Васю за плечи и осторожно поставил на ноги. Вася улыбнулся и сказал Сереже:

— Я его давил, давил, а он молчит.

— За что ты его давил?

— Он взял мою коробку.

— Какую коробку?

— Такая большая... железная.

Митя стоял рядом и вытирал рукой лицо, отчего оно, впрочем, не делалось чище.

Сережа спросил:

— Почему ты не отдаешь ему коробку?

Митя дернул носом, посмотрел в сторону и сказал нудным, неприветливым басом:

— Я отдал бы, так отец у меня взял.

— А коробка его?

Митя так же бесстрастно кивнул головою.

Красивый, с прической, сильный, белокурый Сережа задумался:

— Ну, что же? Пускай отец отдает. Ведь не его коробка? Он отнял у тебя?

— Он не отнял. Он вчера то... украл.

Мальчики засмеялись. Засмеялся и Левик. Вася увидел Левика и крикнул:

— Вон Левик все знает.

Левик отвернулся, напуская серьезность:

— Ничего я не знаю. Какое мне дело, что он у тебя украл!

Сережа строго, как настоящий главнокомандующий, крикнул на Митю:

— Ты украл? Говори!

— Взял. Чего там украл?!

— Хорошо,— сказал Сережа.— Мы сейчас кончим, а вы оба тут подождите. Тебя как зовут?

— Вася.

— Так ты, Вася, за ним смотри. Он под арестом. Арестован.

Вася вскось посмотрел на Митю и улыбнулся. Ему очень понравилось распоряжение Сережи, хотя он и не понимал, что ему, собственно говоря, нравится. Васю увлекала уверенная сила Сережи и сила мальчишеской организации, стоявшая за ним.

Вася искоса поглядывал на Митю, но последний и не думал удирать,— может быть, потому, что не сомневался в цепких руках часового, а может быть, ему тоже понравилось быть арестованным самим главнокомандующим. Оба противника поэтому в полном порядке стояли и переглядывались и так увлеклись этим делом, что даже не слышали разговоров о военном совещании.

В совещании участвовало около десятка мальчиков, насчитывая таких допризывников, как Вася и Митя, которые не могли надеяться на ответственные посты, но инстинктивно чувствовали, что в наступающих боях никто не помешает им проявить свою энергию. Условия войны их поэтому мало интересовали. Но судьба их оказалась счастливее, чем они предполагали. Из центра совещания вдруг раздался голос Сережи Скальковского:

— Нет, главные силы мы не будем трогать. У нас есть такие разведчики, что ого! Вот этот пацан, который сегодня победитель, ага, Вася! Смотрите, боевой! Он и будет начальником разведки.

— Нет, начальником нужно большого,— сказал кто-то.

— Ну, хорошо, а он будет помощником. Чем плохой?

Все смотрели на Васю и улыбались. Вася быстро сообразил, какая карьера перед ним открывается, так как отец не раз рассказывал ему о разведках. Он покраснел от внутренней гордости, но ни одним движением не выдал своего волнения, напротив, он еще пристальней стал посматривать на Митю. Митя презрительно вытянул губы и сказал тихо:

— Тоже, разведчик!

Это было сказано из зависти, но в этот момент Сережа, выйдя из круга, осмотрелся и начал за рукава и за плечи стаскивать разведчиков в одну кучу к Васе. Их оказалось восемь человек, и первым сюда попал, конечно, Митя. Они были все довольны, хотя и держались без уверенности, свойственной разведчикам.

Сережа произнес речь:

— Вот вы, значит, разведчики, поняли? Только смотрите, чтобы была дисциплина, а не как кому хочется. Вашим начальником будет Костя Вареник, [redacted] помощником вот этот Вася. Поняли?

Разведчики закивали головами [redacted] обратились лицами к Косте. Костя Вареник был тонкий мальчик лет тринадцати. У него был веселый большой рот и насмешливые глаза. Он заложил руки [redacted] карманы, осмотрел свою команду и поднял кулак:

— Разведка должна показать... во! Только кто будет изменником или струсит... расстрел!

Разведчики напружили глаза и поперхнулись от удовольствия.

— Идем организовываться! — приказал Костя.

— А арестованный? — спросил Вася.

— Ага, сейчас! Товарищ главком! Арестованного отпустить?

— Что вы! — возмутился Сережа.— Сейчас поведем!

Сережа вышел вперед и хотел куда-то вести их, но в этот момент отворилась тяжелая калитка ворот и пропустила трех мальчиков лет 11—13. Один из них нес на палочке белую тряпицу.

— Ой! Парламентеры! — закричал Сережа [redacted] крайнем волнении.

— Они сдаются! — крикнул кто-то сзади.

— Смирно! Никаких разговоров! — свирепо приказал главнокомандующий.

Все испуганно примолкли [redacted] ждали, что будет дальше. Главком [redacted] другие покрылись холодным потом, увидев, до чего организован противник: у одного белый флаг, у другого пионерская труба, у третьего на старой кепке золотистое перо из петушиного хвоста,— это какой-то начальник. Не успели ребята перевести дух после первого потрясения, как противник показал себя еще с более блестящей стороны: парламентеры выровнялись в одну линию, трубач поднял трубу и что-то заиграл. Даже у Сережи захватило дух от зависти, но он раньше других пришел [redacted] себя, выступил вперед, отсалютовал рукой и сказал:

— Я главнокомандующий Сергей Скальковский. Мы не знали, что вы придете, [redacted] поэтому не приготовили почетного караула. Просим нас извинить.

У мальчиков отлегло от сердца, [redacted] они еще раз увидели, что их главнокомандующий понимает дело.

Начальник парламентеров тоже выступил вперед и произнес следующую речь:

— Мы не успели вам сказать, потому что мало времени. Красное командование объявляет войну синим, только нужно составить правила, и чтобы вы отдали наш план, [redacted] вы отняли его не по правилам, войны еще не было. Нужно составить правила, когда воевать [redacted] какие знамена у красных [redacted] у синих.

Кто-то из толпы обиженно крикнул:

— Мы не синие! Смотри ты, придумали, синие!

— Цыть! — распорядился главнокомандующий, но и сам прибавил.— Давайте составим правила, только это вы напрасно говорите, что вы — красные. Так нельзя: вы сами... как захотели...

— Мы первые,— сказал парламентер.

— Нет, мы первые,— снова крикнули из рядов.

Сережа сообразил, что война может начаться до составления правил, и поспешил внести успокоение:

— Постойте, чего кричите, давайте сядем и поговорим.

Парламентеры согласились, и все расселись на куче бревен у забора.

Вася сказал арестованному:

— Пойдем туда.

Арестованный согласился и побежал к забору. Вася еле успел догнать его. Они расположились вместе с другими разведчиками на песке.

После получасового спора было достигнуто полное соглашение между сторонами. Решено было войну проводить от десяти часов утра до гудка на заводе [redacted] четыре часа. В другое время территория «кучугур» считается нейтральной, можно гулять, делать что угодно [redacted] никого нельзя брать [redacted] плен. Победителем будет тот, чей флаг три дня простоит на Мухиной горе. Флаги у обеих сторон красные, только у Сережиной армии светлее, [redacted] у противников темнее. И те [redacted] другие называются красными, только одна сторона будет называться северной, [redacted] другая — южной. В плен можно уводить, если кормить, а если не кормить, так отпускать пленников [redacted] четыре часа на все четыре стороны, потому что войска вообще мало, [redacted] если брать пленных, так и совсем не останется. Захваченный северными план отдать южным.

Парламентеры удалились с прежней церемонией. Они шли по улице, размахивая белым флагом и играя на трубе. Северные только в этот момент поняли, что война началась, что противник очень организован и силен, нужно принимать немедленные меры. Сережа отправил несколько мальчиков по квартирам производить мобилизацию — уговаривать домоседов [redacted] тихонь записываться [redacted] северную армию.

— У нас на территории армии тридцать три хороших пацана, да разведчиков сколько, а они сидят возле маминых юбок!

Вася услышал эти слова и с тоской подумал о неразрешимых противоречиях жизни, потому что его мать все-таки лучше всех, а вот Сережа говорит... Конечно, у других мам и юбки не такие...

Через пять минут к мальчикам подошла одна из матерей, и Вася обратил внимание на ее юбку. Нет, это была неплохая юбка, легкая и блестящая, вообще эта мать пахнула духами и была добрая... Она пришла вместе с сыном, семилетним Олегом Куриловским. Даже Васе привелось слышать о семье Куриловских кое-какие рассказы.

Семен Павлович Куриловский работал на заводе начальником планового отдела. На территории северной армии не было никого, кто мог бы по значительности равняться с Семеном Павловичем Куриловским. Этот основной факт, впрочем, больше всего беспокоил самого Куриловского, [redacted] отец Васи говорил о нем так:

— Начальник планового отдела! Конечно, важная птица! Но все-таки на свете есть [redacted] поважнее!

Как раз в последнем Куриловский, кажется, сомневался. В его важности было что-то такое, чего не могли понять другие люди. Но так было на заводе. А [redacted] семье Куриловских все понимали [redacted] не представляли себе жизни, не растворенной в величии Семена Павловича. Помещались источники этого величия [redacted] плановой работе или [redacted] педагогических убеждениях Семена Павловича, сказать трудно. Но некоторым товарищам,

которых удостоил беседой Семен Павлович, удалось слышать такие слова:

— Отец должен иметь авторитет! Отец должен стоять выше! Отец — это все! Без авторитета какое может быть воспитание?

Семен Павлович, действительно, стоял «выше». Дома у него отдельный кабинет, в который может заходить только жена. Все свободное время Семен Павлович проводит в кабинете. Из домашних никто не знает, что он там делает, да и не может знать, не может даже знать о своем незнании, потому что есть вещи более обыкновенные, чем кабинет, но и их имена произносятся с трепетом: папина кровать, папин шкаф, папины штаны.

Возвращаясь со службы, папа не проходит по комнатам, а шествует, неся в руках коричневый двойной портфель, чтобы поместить его в кабинетном алтаре. Обедает папа один, хмурый и загазеченный, а дети это время пересиживают в каком-нибудь дальнем семейном переулке. Хотя у Семена Павловича и нет собственной «прикрепленной» машины, но часто его «подбрасывает» заводской «газик». «Газик» с усилием ныряет в волнах песчаной улицы, его шум далеко разносится в окрестностях, нервничают собаки во всех прилежащих дворах, отовсюду выбегают на улицу дети. Вся природа смотрит на «газик» пораженными глазами, смотрит на сердитого шофера, на Семена Павловича Куриловского, похожего на графа С. Ю. Витте[11]. Конечно, «газик» составляет одну из самых существенных частей отцовского авторитета: это в особенности хорошо знают Куриловский Олег — семи лет, Куриловская Елена — пяти лет и Куриловский Всеволод — трех лет.

Семен Павлович редко спускается со своей вышины для педагогического действия, но в семье все совершается от его имени или от имени его будущего недовольства. Именно недовольства, а не гнева, потому что и недовольство папино — вещь ужасная, папин же гнев просто невозможно представить. Мама часто говорит:

— Папа будет недоволен.

— Папа узнает.

— Придется рассказать папе.

Папа редко входит в непосредственное соприкосновение с подчиненными. Иногда он разделяет трапезу за общим столом, иногда бросает величественную шутку, на которую все обязаны отвечать восторженными улыбками. Иногда он ущипнет Куриловскую Елену за подбородок и скажет:

— Ну?!

Но большей частью папа передает свои впечатления и директивы через маму после ее доклада. Тогда мама говорит:

— Папа согласен.

— Папа не согласен.

— Папа узнал и очень сердится.

Сейчас жена Семена Павловича вышла во двор вместе с Олегом, чтобы выяснить, что это за северяне и может ли Олег принять участие в их действиях, вообще выяснить идеологию северян и их практику для доклада папе.

Олег Куриловский — сытый мальчик с двойным подбородком. Он стоит рядом с матерью и с большим интересом слушает объяснения Сережи.

— У нас война с южными, они живут в том доме.. Надо поставить флаг на Мухиной горе.

Сережа кивнул на Мухину гору, светло желтая вершина которой видна над забором.

— Как это война? — спросила Куриловская, оглядывая толпу мальчиков, обступившую ее.— Ваши родители знают об этом?

Сережа улыбнулся.

— Да что ж тут знать? Мы в секрете не держим. А только мало каких игр есть? Разве про всякую спрашивать?

— Ну да, «про всякую». Это у вас не просто игра, а война.

— Война. Только это игра! Как всякая игра!

— А если вы раните кого-нибудь?

— Да чем же мы раним? Что у нас, ножи или револьверы?

— А вон сабли!

— Так это деревянные сабли!

— Все-таки, если ударить!

Сережа перестал отвечать. Ему был неприятен этот разговор, срывающий кровавые одежды с войны между северными и южными. Он уже со злостью смотрел на Олега Куриловского и не прочь был причинить ему на самом деле какие-нибудь неприятности. Но Куриловская хотела до конца выяснить, что это за война.

— Но все-таки: как вы будете воевать?

Сережа рассердился. Он не мог допустить дальнейшего развенчивания военного дела:

— Если вы за Олега боитесь, так и не нужно. Потому что мы и не ручаемся: может, в сражении его кто-нибудь и треснет. А он побежит вам жаловаться! Все ж таки война! У нас вон какие, и то не боятся! Ты не боишься? — спросил он у Васи, положив руку на его плечо.

— Не боюсь,— улыбнулся Вася.

— Ну, вот видите? — сказала Куриловская с тревогой, снова оглядывая всех мальчиков, как будто в надежде узнать, кто треснет Олега Куриловского и насколько это будет опасно.

— Ты не бойся, Олег! — сказал сзади добродушно-иронический голос.— У нас и красный крест есть. Если тебе руку или голову оторвет бомбой, сейчас же перевязку сделают. Для этого девчата имеются.

Мальчики громко рассмеялись. Оживился, улыбнулся, порозовел Олег. И для него перевязка на месте оторванной руки или... головы казалась сейчас привлекательной.

— Господи! — прошептала мать и направилась к дому. Олег побрел за ней. Мальчики смотрели им вслед, прищурив глаза и показывая белые зубы.

— Да! — вспомнил Сережа.— А где твой арестованный?

— Я здесь.

— Идем!

Митя наклонил голову.

— Только он все равно не отдаст!

— Посмотрим!

— О! Ты еще не знаешь моего отца!

— Интересно! — сказал Сережа и покачал красивой белокурой причесанной головой.

Расположение квартиры Кандыбина было такое, как и у Назаровых, они жили в нижнем этаже, но Вася не мог найти ничего общего между своим жилищем и этим. Пол, видно, не подметался несколько дней. Стены были покрыты пятнами. На непокрытом столе трудно сказать, чего больше: объедков или мух. Стулья, табуретки в беспорядке: разбросаны везде. Во второй комнате неубранные постели и желтоватые грязные подушки. На буфете навалены грязные тарелки и стаканы. Даже ящики комода почему-то были выдвинуты и так оставлены. Вошедший первым Сережа сразу попал в какую-то лужу и чуть не упал.

— Осторожнее, молодой человек, стыдно падать на ровном месте,— сказал краснолицый бритый человек.

Отец Мити сидел возле стола и держал между ногами подошвой кверху сапог. На углу стола, рядом с ним, стояла та самая черная железная коробка. Только теперь она была разделена диктовыми перегородками, и в отдельных помещениях насыпаны были деревянные сапожные гвозди.

— Чем могу служить? — спросил Кандыбин, достав изо рта новый гвоздик и вкладывая его в дырочку, просверленную в подошве. Вася увидел между губами Кандыбина еще несколько гвоздиков и понял, почему он так странно говорит. Сережа легонько толкнул Васю и спросил шепотом:

— Эта?

Вася поднял глаза и так же конспиративно кивнул головой.

— Что же вы пришли в чужую хату и шепчетесь? — с трудом прогнусавил Кандыбин.

— Они за коробкой пришли,— прогудел Митя и спрятался за спину товарищей.

Кандыбин ударил молотком по сапогу, вытащил изо рта последний гвоздь и только теперь получил возможность говорить полным голосом.

— А! За коробкой? За коробкой нечего ко мне приходить. Это пускай к тебе приходят.

Выпрямившись на стуле, Кандыбин сердито смотрел на мальчиков, а в руке держал молоток, как будто для удара. Красное лицо Кандыбина было еще молодо, но брови были белые-белые, как у старика. Из-под этих бровей смотрели жесткие, холодные глаза.

— Митя признался, что коробку он взял, вроде как бы... ну, украл. А у него вы взяли. А это Васи Назарова коробка.

Сережа стоял у стола и спокойно смотрел на вытянутую фигуру Кандыбина.

Отец перевел глаза на сына:

— Ага! Украл?

Митя выступил из-за спины Сережи и заговорил громко, напористо, с маленьким взвизгиванием:

— Да не украл! «Украл», «украл»! Она там лежала, при всех, все видели! Я и взял. А что они говорят, так брешут, брешут и все!

Вася оглянулся пораженный. Он никогда в жизни еще не слышал такой откровенной лжи, высказанной таким искренним и страдальческим голосом.

Кандыбин снова перевел взгляд на Сережу:

— Так не годится, товарищи! Пришли и давай: «украл», «украл»! За такие слова можно и отвечать, знаете.

В волнении Кандыбин начал рыться пальцами в железной коробке, сначала в одном отделении, потом в другом. Сережа не сдавался:

— Ну, хорошо, пускай и не украл. Но только коробка эта Васи... а не ваша. Значит, вы отдадите ему?

— Кому, ему? Нет, не отдам. Пришли бы по-хорошему, может, и отдал бы. А теперь не отдам. «Украл», «украл»! Взяли и из человека вора сделали! Идите!

Сережа попробовал еще один ход:

— Пускай! Это я говорил, а Вася ничего не говорил. Так что... нужно ему отдать...

Кандыбин еще сильнее вытянул свое тело над сапогом:

— Ну! Молодой ты еще меня учить! И по какому праву ты сюда пришел? Влез в мою хату и разговариваешь тут? Что у тебя отец партизан? Ну, так это еще вопрос. Вижу: одна компания! Идите! Марш отсюда!

Мальчики двинулись к дверям.

— А ты, Митька, куда? — крикнул отец.— Нет, ты оставайся!

Сережа снова чуть не упал на пороге. Из кухни смотрела на них равнодушными глазами худая старая женщина. Вышли во двор.

— Вот, понимаешь, жлоб! — раздраженно сказал Сережа.— Не-ет! Мы эту коробку у него выдерем!

Вася не успел ответить, ибо в этот момент колеса истории завертелись, как сумасшедшие. К Сереже стремительно бежали несколько мальчиков. Они что-то кричали, перебивая друг друга и размахивая руками. Один из них, наконец, перекричал товарищей:

— Сережка! Да смотри ж! Они уж флаг...

Сережа глянул и побледнел. На вершине Мухиной горы развевался темно-красный флаг, казавшийся отсюда черным. Сережа опустился на ступени крыльца, он не мог найти слов. В душе у Васи тоже что-то трепыхнулось, извечное мальчишеское отвращение к противнику.

Мальчики сбегались к ставке главнокомандующего, и каждый из них сообщал все то же известие, и каждый требовал немедленного наступления и расправы с наглым врагом. Они кричали неистовыми дискантами, с широко открытыми глазами, грязными руками показывали своему вождю нестерпимо позорный вид Мухиной горы.

— Чего мы сидим? Чего мы сидим, а они там задаются. Сейчас идем!

— В наступление! В наступление!

Сабли и кинжалы начали кружиться в воздухе.

Но главнокомандующий северной славной армии знал свое дело. Он влез на вторую ступеньку крыльца и поднял руку, показывая, что хочет говорить. Все смолкло.

— Чего вы кричите? Горлопанят, никакой дисциплины! Куда мы пойдем, когда у нас еще и знамени нету! Пойдем с голыми руками, да? И разведка не сделана! Кричат, кричат! Знамя я сам сделаю, мама обещала! Назначаю атаку Мухиной горы завтра, в двенадцать часов. Только держать в секрете. А где начальник разведки?

Все северяне бросились искать начальника разведки:

— Костя!

— Костя-а!

— Вареник!

Догадались побежать на квартиру. Возвратившись, доложили:

— Его мать говорит: он обедает и не лезьте!

— Так помощник есть!

— Ах, да,— вспомнил Сережа,— Назаров!

Вася Назаров стоял здесь перед главнокомандующим, готовый выполнить свой долг. Только далеко где-то зудела беспокойная мысль: как отнесутся к его деятельности разведчика родители?

— Разведке завтра выступить, в одиннадцать часов. Узнать, где противник, и доложить!

Вася кивал головой и оглядывался на своих разведчиков. Все они были здесь, только Митю Кандыбина задержали семейные дела.

Но в этот момент послышался и голос Мити. Он раздавался из его квартиры и отличался выразительностью и силой звука:

— Ой, папа, ой, папочка! О-ой! Ой, не буду! Ой, не буду, последний раз!

Другой голос гремел более самостоятельным тоном:

— Красть? Коробка тебе нужна? Позорррить... у... рыжая твоя морда!

Северяне замерли, многие побледнели, в том числе и Вася. Один из бойцов северной армии тут рядом, в двух шагах, подвергался мучениям, а они принуждены были молча слушать.

Митя еще раз отчаянно заорал, и вдруг открылась дверь, и он, как ядро, вылетел из квартиры, заряженной гневом его родителя, и попал прямо в расположение северян. Руки его были судорожно прижаты к тем местам, через которые по старой традиции входит в пацана все доброе. Очутившись среди своих, Митя молниеносно повернулся лицом к месту пыток. Отец его выглянул в дверь и, потрясая поясом, заявил:

— Будешь помнить, сукин сын.

Митя молча выслушал это предсказание, а когда отец скрылся, он упал на ступеньку у самых ног главнокомандующего и горько заплакал. Северная армия молча смотрела на его страдания. Когда он перестал плакать, Сережа сказал:

— Ты не горюй! Это что! Это личная неприятность! А ты глянь, что на Мухиной горе делается!

Митя вскочил и воззрился своими активными, а в настоящую минуту заплаканными глазами на вершину Мухиной горы:

— Флаг? Это ихний?

— А чей же! Пока тебя били, они заняли Мухину гору. А за что это тебя?

— За коробку.

— Ты признался?

— Не, а он говорит: позоришь.

Вася тронул Митю за штанину.

— Митя, завтра на разведку в одиннадцать часов.. идти... Ты пойдешь?

Митя с готовностью кивнул и произнес еще с некоторым оттенком страдания:

— Хорошо.

Отец сказал Васе:

— Это хорошо, что ты начальник разведки. А вот что ты побил Митю — это плохо. И отец его побил. Бедный хлопчик!

— Я его не бил, папа, я его только повалил. И давил. Я ему говорю: отдай, а он молчит.

— Это пускай и так, а только из-за такого пустяка не стоит: коробка! Ты этого Митю приведи к нам и помирись.

— А как? — спросил Вася по обыкновению.

— Да так и скажи: Митя, пойдем к нам. Да ведь он тоже разведчик?

— Угу... А как же коробка?

— Кандыбин не отдает? И сына побил, и коробку присвоил? Странный человек! И токарь хороший, и сапожник, и уже инструктор, зарабатывает здорово, а человек несознательный. Грязно у них?

Вася наморщил лицо:

— Грязно-грязно! И на полу и везде! А как же коробка?

— Что-нибудь другое придумаем.

Мать слушала их и сказала:

— Только ты, разведчик, смотри там, глаз не выколи.

— Ты другое скажи,— прибавил отец,— в плен не попадись, вот что.

На другой день Вася проснулся рано, еще отец не успел на работу уйти, и спросил:

— Сколько уже часов?

Отец ответил:

— Что тебе часы, если на Мухиной горе чужое знамя стоит. Хороший разведчик давно на горе был бы. А ты спишь!

Сказал и ушел на завод,— значит, семь часов. Его слова внесли в душу Васи новую проблему. В самом деле, почему нельзя сейчас отправиться на разведку? Вася быстро оделся, ботинок теперь надевать не нужно, а короткие штанишки натягиваются моментально. Вася бросился к умывальнику. Здесь его действия отличались такой вихревой стремительностью, что мать обратила внимание.

— Э, нет! Война или что, а ты умывайся как следует. А щетка почему сухая? Ты что это?

— Мамочка, я потом.

— Что это за разговоры! Ты мне никогда таких разговоров не заводи! И куда ты торопишься? Еще и завтрак не готов.

— Мамочка, я только посмотрю.

— Да на что смотреть? Ну посмотри в окно.

Действительно, в окно было все видно. На Мухиной горе по-прежнему реял флаг, казавшийся черным, а во дворе не было ни одного бойца северной армии.

Вася понял, что и в жизни разведчика есть закономерность, и покорно приступил к завтраку. О существе работы разведчика он еще не думал, знал только, что это дело ответственное и опасное. Воображение слабо рисовало некоторые возможные осложнения. Вася попадает в плен. Враги допрашивают Васю о расположении северной армии, а Вася молчит или отвечает: «Сколько ни мучьте, ни за что не скажу!» О таких подвигах партизан, попавших в плен, иногда рассказывал и Сережа Скаль-

ковский и читал отец [redacted] книгах. Но Вася не только мечтатель. Он еще и реалист. Поэтому за завтраком ему приходят иронические мысли, [redacted] он спрашивает у матери:

— А если они будут спрашивать, где наши, так они и так знают, потому что сами вчера в наш двор пришли. И с трубой, и с флагом.

Мать ответила:

— Раз они знают, так [redacted] спрашивать не будут об этом, а о чем-нибудь другом спросят.

— А как они спросят?

— Они спросят, сколько у вас войска, сколько разведчиков, сколько пушек.

— Ха! У нас пушек ни одной нету. Только есть сабли. А про сабли тоже будут спрашивать?

— Наверное, будут. Только ведь ты не попадешься [redacted] плен?

— Тогда надо бежать! А то попадешься, и тогда будут спрашивать. А как они будут мучить?

— Да смотря какие враги! Ведь эти самые южные не фашисты?

— Нет, они не фашисты. Они вчера приходили [redacted] нам: такие самые, как мы, все такое самое. И флаг у них тоже красный, [redacted] они называются красные, только южные.

— Ну, значит, не фашисты, тогда они мучить не должны.

— У них нету этого... Му...

— Муссолини?

— Угу... У них нету.

Таким образом, первая разведка была сделана Васей еще дома.

Когда Вася вышел во двор, там уже было некоторое военное движение. На крыльце у Сережи Скальковского стояло ярко-красное знамя, [redacted] вокруг него торчали бойцы [redacted] разведчики, пораженные его торжественностью. Сам Сережа, Левик, Костя и еще несколько старших обсуждали план атаки. Тут же во дворе вертелся Олег Куриловский [redacted] прислушивался к разговорам с завистью. Сережа спросил у него:

— Ну что, тебе разрешили?

Олег опустил глаза.

— Не разрешили. Отец сказал: можно смотреть, но [redacted] драку не лезь!

— А ты к нам в разведчики.

Олег посмотрел на окна своей квартиры [redacted] отрицательно завертел головой.

Костя Вареник начал собирать своих разведчиков. Митя Кандыбин сидел на бревнах рядом с Васей [redacted] был настроен грустно. Вася вспомнил совет отца помириться с ним [redacted] теперь внимательно рассматривал его лицо. Митины светлые глазки по привычке бросались то [redacted] ту, то в другую сторону, но личико у него было бледное и грязное, [redacted] рыжеватые волосенки склеились [redacted] отдельные плотные пучки [redacted] торчали на голове, как бурьян.

Вася сказал:

— Митя, давай мириться.

Митя ничего не выразил на лице, но ответил:

— Давай!

— [redacted] будем вместе.

— Как вместе?

— И играть вместе, [redacted] воевать. А ты ко мне придешь?

— Куда это?

— Ко мне домой.

Митя смотрел куда-то вперед [redacted] так же бесстрастно ответил:

— Приду.

— А тебя папа сильно побил? Вчера?

— Нет,— сказал Митя и скорчил свою обычную презрительную гримасу.— Он махает своим поясом, [redacted] [redacted] тоже знаю: надо [redacted] сюда, [redacted] туда, а он хлопает, хлопает, а только даром.

Митя чуточку оживился и даже начал поглядывать на собеседника.

— А мама тебя не бьет?

— А ей чего бить? Какое ей дело?

Прибежал Костя, пересчитал разведчиков, присел возле них на корточки и зашептал:

— Слушай, хлопцы! Видите Мухину гору? Там на горе, наверное, они все сидят, южные. Сережка поведет наших кругом, кругом поведет, в тыл, значит, по ущельям, чтобы они не видели. Они не будут видеть, а Сережа на них нападет сзади. Поняли?

Разведчики подтвердили, что этот стратегический план они понимают.

— А мы пойдем прямо на них.

— А они нас увидят,— сказал кто-то.

— И пускай видят. Они подумают, что тут все наши, а назад не будут смотреть.

Митя скептически отнесся к таким надеждам:

— Думаете, они такие глупые? Они сразу узнают.

— А вы не лезьте по чистому месту, а все за кустиками, за кустиками. Они [redacted] будут думать, что это большие. Поняли?

Костя разбил свою команду на две части. Он сам поведет свою колонну левыми дорожками, [redacted] Васе приказал вести своих правыми. Если южане будут наступать, [redacted] бой не идти, а прятаться.

В колонне Васи было пять пацанов, считая и его самого: Митя Кандыбин, Андрюша Горелов, Петя Власенко [redacted] Володя Перцовский. Все эти пацаны отличались самостоятельностью мнений и крикливыми голосами. Они сразу взбунтовались, когда Вася дал приказ:

— Станьте теперь так... [redacted] рядок.

Они кричали:

— Это не нужно. Это разведчики. Надо пригибаться. Надо на животе, на животе! Он сам ничего не понимает!

Но Вася был неумолим:

— На животе не надо. Это если [redacted] разведку, тогда на животе, [redacted] мы будем наступать.

Вася смутно ощущал недостаток военных знаний, но крикливые разведчики вызывали у него сопротивление. Он уже начал хватать разведчиков за рукава [redacted] силой вталкивать [redacted] боевой порядок. Кто-то крикнул:

— Он не имеет права толкаться!

Помощь пришла с неожиданной стороны. Митя Кандыбин первым стал [redacted] строй [redacted] заворчал:

— Довольно кричать. Вася — начальник. Раз он сказал, чего там?

Вася в полном порядке повел свою команду на поле битвы. Впереди колонны он гордо прошел мимо главных сил, собравшихся возле знамени. Сережа Скальковский, пропуская мимо себя колонну, одобрил ее марш.

— Вот это верно! Молодец, Вася! Вы ж там смотрите!

Тогда Вася обернулся к колонне и сказал уже с полной уверенностью командира:

— А я что говорил?

Но разведчики и сами были довольны одобрением главнокомандующего.

Колонна Васи расположилась за кустиками на возвышенности, в непосредственной близости к Мухиной горе. Слева, на соседней возвышенности, лежали на песке разведчики Кости Вареника, и справа внизу мелькало между кустами ярко-красное знамя. Это главные силы под предводительством самого главнокомандующего совершали обходное движение.

Мухина гора была видна хорошо, но главная ее вершина была частью скрыта большим песчаным наметом, поэтому виднелась только верхушка флага. На намете чернела одинокая фигура.

— Это ихний часовой,— сказал Володя Перцовский.

— Эх, если бы бинокль достать! — страстно замечтал Андрюша.

Вася почувствовал, как сжалось от сожаления сердце. Как это он не догадался выпросить у отца бинокль! Ужас, сколько потеряно великолепия, блеска, авторитета, военного удобства!

Но уже и без бинокля было видно, как многочисленное войско южан выдвинулось из-за вершины. Внутри у Васи трепыхнулось что-то штатское при виде такой тучи врагов. Костина колонна поднялась за своими кустами и закричала, подымая руки, тогда и Вася задрал руки вверх и завопил что-то воинственное. Южная армия смотрела на них без слов. Разведчики тоже смолкли. В таком молчании прошло несколько минут. Но вдруг из вражеской армии отделилось три человека и стали быстро взбираться на верхушку намета. Подскочив к одинокой фигуре, три южанина закричали «ура», схватили эту фигуру и потащили к своим. Фигура закричала жалобно и заплакала. Разведчики Васи с открытыми от ужаса глазами наблюдали эту странную драму во враждебном стане: никто не мог понять, что такое происходит. Андрюша несмело высказал догадку:

— Это они своего изменника захватили.

Но Митя Кандыбин, у которого были глаза острее других, сказал весело:

— Ой-ой-ой! Они Олега поволокли! Олега Куриловского!!!

— Он наш? Он наш? — спросило несколько голосов.

— Какой там наш! Он ничей! Ему отец не позволил.

— А чего ж они?

— А почем они знают?

Трое тащили Олега к южной армии. Он упирался и кричал на всю территорию войны, но к разведчикам доносились и звуки смеха, принадлежащие, конечно, южанам. Видно было, как Олега окружали со всех сторон.

— Ха,— сказал Митя,— он пришел посмотреть, а его взяли в плен.

Колонна Кости в это время вышла из-за кустов и стала спускаться вниз, подвигаясь к Мухиной горе. Вася заволновался:

— Идем, идем!

Они тоже начали спускаться с своего холма и забирать вправо к новым кустикам впереди Открылся весь подъем на Мухину гору, стал виден во весь рост неприятельский флаг. По каким-то странным причинам враг не только не пошел навстречу разведчикам, а всей своей массой начал отступать к своему знамени. Вот и подошва Мухиной горы. Осталось только взобраться по крутому и длинному склону и вступить в бой. Но южная армия закричала «ура» и куда-то побежала. Затем она провалилась, как будто ее и не было, уже и криков не слышно. Возле знамени остался только кто-то один,— наверное, часовой, да сидел ближе к разведчикам на песке Олег и, вероятно, плакал с перепугу.

От Кости прибежал Колька Шматов и запищал:

— Я связист, я связист! Сказал Костя, идем прямо, флаг ихний возьмем, флаг возьмем!

Митя крикнул:

— От здорово! — и первый начал взбираться на Мухину гору.

Вася глубоко вздохнул и полез вверх по крутому склону.

Склон был измят и истоптан,— наверное, ногами южан. Шагать в этом песчаном месиве было очень трудно. Босые ноги Васи проваливались в песок до самых колен, а от следов Мити ветерок подымал и сыпал в глаза острые вредные песчинки. Вообще это была очень тяжелая атака. Вася запыхался, но когда поднял глаза и глянул вперед, до неприятельского знамени оставалось так же далеко. Вася заметил, что оставленный у знамени часовой волновался, как-то странно прыгал и панически орал, обернувшись назад.

Костя Вареник, идущий сбоку, крикнул:

— Скорее, скорее!

Вася замесил ножками энергичнее, раза два споткнулся и упал, но все же скоро поравнялся с Митей. Митя был слабее Васи, он падал на каждом шагу и скорее полз на четвереньках, чем шел. Остальные разведчики сопели сзади, и кто-то все время толкался в Васину пятку.

Вася снова поднял глаза и увидел, что находится совсем близко от цели и впереди всех. Южанин, с лицом до странности незнакомым и действительно вражеским, был почти перед носом. Это был маленький пацан, лет шести, но мельче Васи. Он со страхом впился всей своей остренькой мордочкой в Васины глаза и вдруг ухватился ручонками за древко знамени и начал вытаскивать его из песка. Но знамя у южан было большое. Его огромное темно-красное полотнище трепыхало над головой Васи. Вася прибавил энергии, кстати, и бежать стало легче: крутой подъем кончился, началась пологая вершина. Южанин, наконец, выдернул древко и бросился удирать к противоположному склону. Вася что-то крикнул и побежал за ним. Он почти не заметил, как больно стукнула по голове верхушка знамени, которое южанин не в силах был держать в руках, не заметил Олега Куриловского, промелькнувшего рядом. Вася перемахнул вершину и с разгону покатился вниз. Он не испугался и ясно чувствовал, как рядом с ним катится южанин, и через секунду понял, что враг от него отстает. Вася уперся ножками, задержался, поднял глаза, и в тот же

момент южанин со знаменем скатился прямо ему на голову. Вася мелькнул ножками, быстро вывернулся в сторону, и враг поехал мимо: знамя тащилось за ним. Вася животом бросился на древко. Оно немного протянулось по его голому животу, левая рука зарылась в полотнище. Вася почувствовал радость победы и глянул вверх. Один Митя тормозил свое падение рядом с ним. Костя и другие разведчики стояли на вершине и что-то ему кричали и показывали вниз. Вася посмотрел вниз, и стриженые его волосы зашевелились от ужаса. Прямо на него снизу взбирались чужие мальчики. Впереди быстро работал ногами тот самый начальник с петушиным пером, который приходил вчера парламентером. За ним карабкались другие, и у одного в руках было ярко-красное знамя северной армии.

Вася ничего не понял, но услышал грохот катастрофы. Глазами, расширенными от страха, он видел, как прямо в руки врагов скатился Митя Кандыбин. Вася дернулся, чтобы бежать вверх, но чья-то сильная рука ухватила его за ногу и звонкий, победоносный голос закричал:

— Врешь, попался! Ах ты, мышонок! Стой!

Разгром северной армии был полный. Стоя на вершине Мухиной горы, окруженной врагами, Вася слышал шум победы южан и понял все. Рядом с ним щекастый, румяный мальчик с очень приятным, хотя вражеским лицом болтал больше всех:

— Вот здорово! Ой как они покатились! А тот! А тот! Ихний главнокомандующий!

— Спасибо этому, а то они нас хотели перехитрить! — сказал начальник с пером и кивнул на Олега Куриловского.

— Он все рассказал им,— шепнул Васе Митя Кандыбин.

Враги с увлечением рассказывали друг другу о тайнах своей победы. Вася понял, что они от Олега узнали план Сережи и поэтому оставили без прикрытия знамя, а сами пошли навстречу главным силам северян. Они встретили Сережу на краю крутого подъема. Целые груды песку они сбросили на головы наступающим, низвергли их в пропасть и захватили в плен Левика Головина вместе со знаменем. Левик сидел недалеко под кустиком и вытаскивал занозу из руки.

— Эй, пленники! — крикнул начальник с пером.— Вы здесь будете сидеть.

Он показал место рядом с Левиком. Там на песке валялось опозоренное знамя северян. Кроме Левика пленников было трое: Вася, Митя и Олег Куриловский. Они сели на песке и молчали. Левик вытащил занозу, прошелся раза два мимо пленников и бросился в соседнюю пропасть. Он с ужасной быстротой вертелся на ее крутом скате. Потом он стал внизу, снял с головы желтую тюбетейку и приветственно размахивал ею:

— До свиданья! Я иду обедать!

За ним никто не побежал. Все это происходило на глазах Васи, но казалось, что это снится. Вася не мог забыть горе поражения, а впереди он ожидал неведомой расправы жестокого врага. После бегства Левика кто-то из южан предложил:

— Надо их связать, а то они все поубегают!

Другой ответил:

— Верно, давайте свяжем им ноги.

— И руки, и руки!

— Нет, руки не надо.

— А они поразвязываются руками!

В этот момент сидящий рядом с Митей Олег Куриловский взлетел в воздух и пронзительно закричал:

— Ой-ой-ой-ой! Чего ты щипаешься!?

Южане расхохотались, но их начальник напал на Митю:

— Ты не имеешь права щипаться! Ты сам пленный!

Митя не удостоил его взглядом.

Тогда начальник рассердился:

— Связать им руки и ноги!

— И этому? — показали на Олега.

— Этому не нужно.

Южане бросились к пленникам, но сейчас же выяснилось, что связывать нечем. Только у одного южанина был поясок, но он отказался выдать его в распоряжение командования, ссылался на то, что «мамка заругает».

Вася с напряжением смотрел на чужие, страшные лица врагов, и в нем все больше и больше разгоралась ненависть к Олегу, истинному виновнику поражения северян и его, Васиных, страданий. Один из южан достал где-то узкую грязненькую тряпицу и крикнул Васе:

— Давай ноги!

Но на вершине горы кто-то закричал:

— Сюда! Сюда! Они идут! Защищайся!

Южан как ветром снесло. Все они побежали отражать атаку северян. На вершине остались одни пленники. Битва шла рядом, на противоположном склоне, слышны были крики «ура», слова команды, смех. Митя пополз к вершине, но его мало интересовал ход сражения. Поравнявшись с Олегом, он дернул его за ногу. Олег отчаянно закричал и покатился вместе с Митей к кустам. Вася за конец рубахи перехватил Олега и немедленно уселся на нем верхом. Он радостно смеялся, сидя на предателе.

— Давай его бить,— предложил Митя.

Вася не успел ответить. Более взрослый и жирный Олег вывернулся из-под Васи и побежал в сторону. У кустов он снова был опрокинут. Митя схватил его... Олег снова огласил «кучугуры» самым диким воплем.

Вася сказал:

— Ты не щипайся, а давай поведем его к Сереже.

Олег плакал громко и грозил:

— Вот я все расскажу папе.

За это Митя еще раз ущипнул его, после чего Олег растянул рот до самых ушей. Вася смеялся.

— Давай его тащить! Давай! Ты пойдешь сам? — спросил он Олега.

— Никуда я не пойду и чего вы ко мне пристали?

— Давай!

Вдвоем они столкнули Олега с той самой кручи, по которой удрал Левик. С визгом Олег барахтался в песке. Его преследователи сползали рядом, зарываясь ногами. Они почти достигли дна пропасти, когда наверху

раздались победные крики южан. Олег так орал, что сохранить побег в секрете было невозможно. Их легко поймали.

Пришлось снова двум отважным разведчикам взбираться по сыпучему песку в гору. Олег карабкался, не переставая плакать. Митя по дороге ухитрился ущипнуть его в последний раз.

Начальник с пером сказал:

— Это вредные пацаны! Они этого плаксу целый день будут молотить.

— Да и верно,— кто-то поддержал начальника.— Когда нам с ними возиться? Северные опять в атаку пойдут, а они подерутся опять.

— Хорошо,— сказал начальник,— мы вас отпускаем, только дайте честное слово, что вы пойдете домой, а не в ваше войско.

— А завтра?— спросил Вася.

— А завтра, пожалуйста!

Вася глянул на Митю:

— Идем?

Митя молча кивнул, поглядывая на Олега.

Олег отказался:

— Я не пойду с ними. Они будут щипаться. Я никуда не пойду.

Вася стоял против Олега, стройный, красивый и веселый, и в его ясных больших глазах открыто для всех было сказано, что действительно Олег по дороге домой ничего хорошего ожидать не может.

Начальник сердился:

— Так куда тебя девать? Смотри, такой большой!

— Я с вами буду,— прохныкал Олег, поглядывая на разведчиков.

— Да черт с ним, пускай остается, от него никакого вреда.

— Ну, а вы идите,— сказал начальник.

Разведчики улыбнулись и двинулись домой. Они не успели спуститься с Мухиной горы, как в армии южан опять забили тревогу. Вася дернул спутника за рукав. Они остановились и оглянулись. Ясно: южане побежали драться. Вася шепнул:

— Пойдем за кустиками.

Они быстро полезли обратно. Спотыкались, падали, тяжело дышали. За последним кустом ярко горело на солнце брошенное знамя северян. Митя потянул за древко, и красное полотнище сползло к ним.

— Теперь бежим,— шепнул Митя.

— А я то возьму.

— Чего это?

— Ихнее возьму.

— Да ну! А то кто стоит?

— Да то Олег!

Митя обрадовался. Он улыбался нежно, и его лицо сделалось красивым. Он обнял Васю за плечи и зашептал любовно:

— Васятка, знаешь что? Знаешь что? Наше здесь полежит. Ты бери ихнее, а я его столкну. Хорошо?

Вася молча кивнул, и они быстро понеслись в атаку. Олег оглушительно завизжал и покатился в пропасть с предельной скоростью. Вырывая знамя из песка, Вася успел посмотреть вниз: ни своих, ни чужих он не увидел, битва отошла далеко.

Разведчики начали отступление. Они спустились вниз, но там стало труднее. Знамена были очень тяжелые. Догадались свернуть полотнище вокруг палок и легко потащили их между кустами. Они долго шли, не оглядываясь, а когда оглянулись, увидели на вершине Мухиной горы страшное смятение. Южане бегали по всей горе и заглядывали в каждый закоулок.

— Бежим, бежим,— шептал Митя.

Они побежали быстрее Снова оглянулись — на горе никого. Митя затревожился:

— Они все побежали за нами. Все побежали. Теперь, если поймают, отлупят.

— А как?

— Знаешь? Давай туда своротим, там густо-густо! Там ляжем и будем лежать. Хорошо?

Они побежали влево. Действительно, скоро они попали в такие густые заросли, что с трудом пробирались в них. На небольшой прогалине остановились, задвинули древки в кусты, а сами рядом зарылись в песок и притихли. Теперь они ничего не могли видеть, только прислушивались. На заводе раскатисто-победно пропел гудок,— четыре часа. Не скоро донеслись к ним голоса преследователей, сначала неясные, далекие. По мере того, как они приближались, стало возможным слышать и слова:

— Они здесь! Они здесь,— уверял один голос пискливо

— А может, они уже дома,— ответил другой, более солидный.

— Нет, если б домой пошли, видно бы было. Там все видно!

— Ну, давай искать!

— Они сюда, они сюда полезли! Вот следы ихние!

— Да, да.

— Вот, вот они палку тащили.

На полянку выскочили четыре босые ноги. Разведчики и дышать перестали. Босые ноги ходили по линии кустов и осматривали каждый кустик. Митя шепнул в самое ухо Васи:

— Наши идут.

— Где?

— Честное слово, наши!

Вася послушал. Действительно, совсем рядом проходил галдеж десятка голосов, и не могло быть сомнений, что это «наши». Митя вскочил на ноги и заорал раздирающим уши надсадным криком:

— Сережка-а-а!

Двое южан остолбенели сначала, потом обрадовались, бросились к Мите. Но Митя уже не боялся их. Он отбивался кулачками и напористо сверкал глазами.

— И не приставай! И не приставай! Сережка-а-а!!!

Вася выпрыгнул на полянку и спокойно смотрел на врагов Один из них, дочерна загоревший мальчик с яркими губами, улыбнулся:

— Чего ты кричишь? Все равно в плену. Где знамена? Говори, где?— повернулся он к Васе.

Вася развел руками:

— Нету! Понимаешь, нету!

В это время затрещали кусты, зашумели голоса, и враги бросились в другую сторону.

Митя еще раз заорал:

— Сережка-а-а!

— Что тут делается? — спросил Сережа, выходя на полянку. За ним выглядывала вся северная армия.

— Вот, смотрите! — сказал Вася, развертывая вражеское знамя.

— И наше! И наше!

— Какой подвиг! — воскликнул Сережа.— Какой героический подвиг! Ура!

Все закричали «ура». Все расспрашивали героев. Все трепали их по плечам. Сережа поднял Васю на руки, щекотал его и спрашивал:

— Ну, как тебя благодарить? Как тебя наградить?

— И Митя! И Митя! — смеялся Вася, дрыгая ногами.

Ах, какой это был славный, героический, победный день! Как было торжественно на Мухиной горе, куда свободно прошла северная армия и где Сережа сказал:

— Товарищи! Сегодняшний день кончился нашей победой! Мы три раза ходили в атаку, но три раза враг, вооруженный до зубов, отражал наше наступление. Наши потери страшные. Мы уже думали, что разбиты наголову. С поникшими сердцами мы начали отступление, и вот мы узнали, что доблестные наши разведчики Вася Назаров и Митя Кандыбин на западном фронте одержали блестящую победу!..

Кончил Сережа так:

— Так пусть же эти герои своими руками водрузят наше знамя на вершине Мухиной горы! Нате!

Вася и Митя взяли яркое алое знамя и крепко вдвинули его древко в податливый песок. Северяне оглашали воздух кликами победы. Недалеко бродили расстроенные южане. Некоторые из них подошли ближе и сказали:

— Неправильно! Мы имеем право снять!

— Извините! — ответил им Сережа.— Знамя ваше захвачено до четырех часов?

— Ну... до четырех...

— А теперь сколько!? Умойтесь...

Какой это был прекрасный день, звенящий славой и героизмом.

— Нет, пойдем к нам,— решительно сказал Вася.

Митя смутился. Куда девалась его постоянная агрессия!

— Я не хочу,— прошептал он.

— Да пойдем! И обедать будем у нас. А ты скажи маме, что ты пойдешь к нам.

— Да чего я буду говорить...

— А ты так и скажи!

— Ты думаешь, что я боюсь мамы? Мама ничего и не скажет. А так...

— А ты что говорил... еще утром... там ты что говорил?

Митя, наконец, сдался. Когда же они подошли к крыльцу, он остановился:

— Знаешь что? Ты подожди, а я пойду и сейчас же приду.

Не ожидая ответа, он побежал в свою квартиру. Через две минуты он выскочил обратно, держа в руках знаменитую железную коробку. В ней уже не было ни гнезд, ни диктовых перегородок.

— На твою коробку!

Он сиял розовой радостью, но глаза отводил в сторону.

Вася опешил.

— Митя! Тебя отец побьет!

— Ой! Побьет! Ты думаешь, так он меня легко поймает?

Вася двинулся вверх. Он решил, что этот проклятый вопрос с коробкой сможет разрешить единственный человек на свете: мудрый и добрый, всезнающий его отец Федор Назаров.

Мать Васи встретила мальчиков с удивлением:

— А, ты с гостем? Это Митя? Вот хорошо! Но, ужас! На кого вы похожи? Да где вы были? Вы сажу чистили?

— Мы воевали,— сказал Вася.

— Страх какой! Федя, иди на них посмотри!

Отец пришел и закатился смехом:

— Васька! Немедленно мыться!

— Там война, папа! Ты знаешь, мы знамя захватили! С Митей!

— И говорить с тобой не хочу! Военные должны раньше умываться, а потом разговаривать.

Он прикрыл дверь в столовую, высунул оттуда голову и сказал с деланной суровостью:

— И в столовую не пущу. Маруся, бросай их прямо в воду! И этого выстирай, Кандыбина, ишь какой черный! А это та самая коробка? Угу... понимаю! Нет, нет, и с такими шмаровозами не хочу разговаривать!

Митя стоял на месте, перепуганный больше, чем в самой отчаянной битве. С остановившимися в испуге острыми глазами он начал отступление к дверям, но мать Васи взяла его за плечи:

— Не бойся, Митя, не бойся, мы будем мыться простой водой!

Скоро мать вышла из кухни и сказала мужу:

— Может, ты острижешь Митю? Его волосы невозможно отмыть...

— А его родители не будут обижаться за вмешательство?

— Да ну их, пускай обижаются! Бить мальчика они умеют, у него .. все эти места... в синяках.

— Ну, что же, вмешаемся,— сказал весело Назаров и достал из шкафа машинку.

Еще через четверть часа оба разведчика, чистые, розовые и красивые, сидели за столом и... есть не могли столько было чего рассказывать.

Назаров поражался, делал большие глаза, радовался и скорбел, вскрикивал и смеялся,— переживал все случайности военной удачи.

Только что пообедали, прибежал Сережа.

— Где наши герои? Выходите сейчас же, парламентеры придут...

— Парламентеры? — Назаров серьезно оправил рубаху.— А мне можно посмотреть?

Северная армия выстроилась в полном составе для встречи парламентеров. Трубача, правда, своего не было, но зато на вершине Мухиной горы стояло северное знамя!

Но раньше, чем пришли парламентеры, пришла мать Олега и обратилась к северянам:

— Где Олег? Он с вами был?

Сережа уклонился от ответа:

— Вы же не разрешили ему играть.

— Да, но отец позволил ему посмотреть...

— У нас его не было...

— Вы его видели, мальчики?

— Он там торчал,— ответил Левик.— Его в плен взяли.

— Кто взял в плен?

— Да эти... южные...

— Где это? Где он сейчас?

— Он изменник,— сказал Митя.— Он им все рассказал, а теперь боится сюда приходить. И пусть лучше не приходит!

Куриловская с тревогой всматривалась в лицо Мити.

Митя сейчас сиял чистым золотым яблоком головы, и его глазенки, острые и напористые, теперь не казались наглыми, а только живыми и остроумными Назаров с интересом ожидал дальнейших событий, он предчувствовал, что они будут развиваться бешеным темпом. Из своей квартиры, пользуясь хорошим вечером, вышел и Кандыбин. Он недобрым глазом посматривал на нового, остриженного Митю, но почему-то не спешил демонстрировать свои родительские права.

Куриловская в тревоге оглядывалась, подавленная равнодушием окружающих к судьбе Олега. Она встретила любопытный взгляд Назарова и поспешила к нему.

— Товарищ Назаров, скажите, что мне делать? Нет моего Олега. Я прямо сама не своя. Семен Павлович еще ничего не знает.

— Его в плен взяли,— улыбнулся Назаров.

— Ужас какой! В плен! Куда-то потащили мальчика, что-то с ним делают! Он и не играл совсем.

— Вот то и плохо, что не играл. Это напрасно вы ему не позволили.

— Семен Павлович против. Он говорит: такая дикая игра!

— Игра не дикая, а вы сами поставили его в дикое положение. Разве так можно?

— Товарищ Назаров, мало ли мальчишки чего придумают. Нельзя же слепо идти за ними.

— Зачем же слепо? Можно с открытыми глазами. А только у них своя жизнь ..

В это время калитка впустила торжественную тройку парламентеров, а четвертым вошел и Олег Куриловский, измазанный, заплаканный и скучный. Мать ахнула и бросилась к нему. Она повела его домой, он шел рядом и хныкал, показывая пальцем на мальчиков.

Мальчикам было не до Олега. Южная армия выставила ни на что не похожие требования: возвратить знамя и признать, что северяне потерпели поражение. Парламентеры утверждали, что Вася и Митя были отпущены потому, что дали честное слово больше сегодня не воевать, им поверили, а они честное слово не сдержали

— Какие там честные слова,— возмутился Сережа,— война — и все!

— Как? Вы против честного слова? Да? — человек с пером искренне негодовал.

— А может, они нарочно дали честное слово? Они, может, нарочно, чтобы вас обмануть!

— Честное слово?! Ого, какие вы! Честное слово если дал, так уже тот... уже нужно держать...

— А вот если, например, к фашистам попался? К фашистам! Они скажут: дай честное слово! Так что? Так, по-твоему, и носиться с твоим честным словом?

— О! Куда они повели! — начальник рукой протянул по направлению к небу.— К фашистам! А мы как? У нас какой договор? У нас такой договор, и мы красные [redacted] вы красные, и никаких фашистов! Придумали — фашисты!

Сережа был смущен последним доводом [redacted] обернулся к своим:

— Вы давали честное слово?

Митя насмешливо прищурился на человека с пером:

— Мы давали честное слово?

— А то не давали?

— А то давали?

— Давали!

— Нет, не давали!

— А я вам не говорил: дайте честное слово?

— А как ты говорил?

— А как я говорил?

— А ты помнишь, как ты говорил?

— Помню.

— Нет, ты не помнишь.

— Я не помню?

— А ну, скажи как?

— Я скажу. А по-твоему как?

— Нет, как ты говорил, если ты помнишь?..

— Не беспокойся, я помню, [redacted] вот как по-твоему?

— Ага? Как по-моему? Ты сказал: дайте честное слово, что не пойдете к своему войску. Вася, так же он говорил?

— А разве не все равно?

Но карта врагов была бита. Северяне засмеялись и закричали.

— А они пришли! Честное слово! Тоже хитрые!

Кандыбин, на что уж серьезный человек, и тот расхохотался:

— Чертовы пацаны! Обставили! А кто моего так обстрогал?

Назаров не ответил. Кандыбин придвинулся ближе к мальчикам,— их игра начинала его развлекать. Он долго смеялся, когда услышал контрпредложение северян. Смеялся он непосредственно и сильно, как ребенок, наклоняясь и даже приседая.

Северяне предложили: пускай их знамя три дня стоит на Мухиной горе, [redacted] потом они отдадут, тогда начинать новую войну. А если не хотят, значит: «Мухина гора — наша».

Парламентеры смехом ответили на это предложение.

— Пхи! Что мы, не сможем себе новое знамя сделать? Сможем, хоть десять! Вот увидите завтра, чье знамя будет стоять на Мухиной горе!

— Увидим!

— Увидим!

Прощальная церемония была сделана наскоро, кое-как; парламентеры уходили злые, а северяне кричали им вдогонку, уже не придерживаясь никаких правил военного этикета:

— Хоть десять знамен шейте, все у нас будут!

— Ну, завтра держись! — сказал Сережа своим.— Завтра нам трудно придется!

Но им пришлось трудно не завтра, а сейчас.

Из своей квартиры по высокой деревянной лестнице спускался сам начальник планового отдела Семен Павлович Куриловский, спускался массивный, гневный, страшный. За ним, спотыкаясь, прыгал со ступеньки на ступеньку измочаленный жизнью Олег Куриловский.

Семен Павлович поднял руку и сказал высоким властным тенором, который, впрочем, очень мало подходил к его фигуре под графа Витте:

— Мальчишки! Эй, мальчишки! Подождите! Подождите, я вам говорю!

— Что там такое? Чего он кричит? А кто это?

— Ой и злой же! Это Олега...

Семен Павлович еще на нижней ступеньке крыльца закричал.

— Издеваться! Насильничать! Самовольничать! Я вам покажу насильничать!

Он подбежал к мальчикам:

— Кто здесь Назаров? Назаров кто?

Все притихли.

— Я спрашиваю, кто Назаров?

Вася испуганно оглянулся на отца, но отец сделал такой вид, будто все происходящее его не интересует. Вася покраснел, удивленно поднял лицо и сказал звонко и немного протяжно:

— Назаров? Так это я — Назаров!

— Ага, это ты! — закричал Куриловский.— Так это ты истязал моего сына?! А другой? Кандыбин? Где Кандыбин?

Митя напружил глазенки и повернулся плечом к гневному графу Витте:

— А чего вы кричите? Ну, я Кандыбин!

Куриловский подскочил к Мите и дернул его за плечо так сильно, что Митя описал вокруг него некоторую орбиту и попал прямо в руки к Сереже. Сережа быстро передвинул его на новое место сзади себя и подставил Куриловскому свое улыбающееся умное лицо.

— Где он? Чего вы прячете? Вы вместе издевались?

Куриловский так комично заглядывал за спину Сережи, и Митя так остроумно прятался за этой спиной, что все мальчики громко расхохотались. Куриловский налился кровью, оглянулся и понял, что нужно скорее уходить, чтобы не сделаться объектом настоящего посмешища. В следующий момент он, вероятно, убежал бы в свой кабинет и там дал бы полную волю гневу, если бы в это время к нему не подошел отец Мити:

— Вам, собственно, для чего понадобился мой сын? — спросил он, заложив руки за спину, и голову откинул назад, так что на первом плане оказался его острый кадык, обтянутый красной кожей.

— Что? Что вам угодно?

— Да не угодно, а я спрашиваю, для чего вам понадобился мой сын? Может, вы его побить хотите? Я вот — Кандыбин!

— А, это ваш сын?

— Ох, он и стукнет его сейчас! — громко сказал Митя.

Новый взрыв хохота.

Назаров быстро подошел к двум родителям, стоявшим друг перед другом в позициях петушиной дуэли. Вася сейчас не узнал своего отца. Назаров сказал негромко, но голосом таким сердитым, какого Вася еще никогда у отца не слышал:

— Это что за комедия? Немедленно прекратите! Идем ко мне или к вам и поговорим!

Кандыбин не переменил позы, но Куриловский быстро сообразил, что это лучший выход из положения.

— Хорошо,— с деланной резкостью согласился он.— Идем ко мне.

Он направился к своему крыльцу. Кандыбин двинул плечами:

— А пошли вы к...

— Иди! — сказал Назаров.— Иди, лучше будет!

— Тьфу, барыня б вас любила! — Кандыбин двинулся за Куриловским.

Назаров поднялся на крыльцо последним. Он слышал, как в притихшей толпе мальчиков кто-то крикнул:

— Здорово! Вася, это твой папан? Это я понимаю!

В своем кабинете Семен Павлович, конечно, не мог кричать и гневаться: из-за какого-то мальчишки не стоило нарушать единство стиля. Любезным жестом он показал на кресла, сам уселся за письменным столом и улыбнулся:

— Эти мальчишки хоть кого расстроят.

Но улыбка хозяина не вызвала оживления у гостей. Назаров смотрел на него, нахмурив брови:

— Вас расстроили? Вы соображаете что-нибудь?

— Как, я соображаю?

— Орете на ребят, хватаете, дергаете. Чего это? Кто вы такой?

— Я могу защищать своего сына?

Назаров поднялся и презрительно махнул рукой:

— От кого защищать? Что вы его за ручку будете водить? Всю жизнь?

— А как по-вашему?

— Почему вы не позволили ему играть?

Теперь и Куриловский поднял свое тело над столом:

— Товарищ Назаров, мой сын — это мое дело. Не позволил, и все. Мой авторитет еще высоко стоит.

Назаров двинулся к дверям. На выходе он обернулся:

— Только смотрите: из вашего сына вырастет трус и двурушник.

— Сильно сказано.

— Как умею.

Во время этой не вполне выдержанной беседы Кандыбин молча сидел, вытянувшись на стуле. У него не было охоты разбираться в тонкостях педагогики, но и позволить Куриловскому толкать своего сына он тоже не мог. В то же время ему очень понравились слова Куриловского об авторитете. Он даже успел сказать:

— Авторитет — это правильно!

Но отставать от Назарова он принципиально не мог. А внизу на крыльце Назаров сказал ему:

— Слушай, Степан Петрович. Я тебя очень уважаю, и человек ты порядочный, и мастер хороший, а только если ты своего Митьку хоть раз ударишь,— лучше выезжай из города: я тебя в тюрьму упеку. Поверь моему слову большевистскому

— Да ну тебя, чего пугаешь?

— Степан Петрович, посажу.

— Тьфу, морока на мою голову! Чего ты прицепился? Как там я его бью?

— Он у меня купался сегодня Весь в синяках.

— Да ну?

— А мальчик он у тебя славный. Забьешь, испортишь.

— Для авторитета бывает нужно.

— Авторитет, авторитет! Это дурак сказал, а ты повторяешь, а еще стахановец!

— Вот пристал! Федор Иванович, чего ты прицепился? Черт его знает, как с ним нужно!

— Пойдем ко мне, посидим. Есть по рюмке, и вареников жена наварила...

— Разве по такому случаю подходяще?

— Подходяще.

Проблему авторитета в семье Головиных подменило развлечение, организованное вокруг одной навязчивой идеи.

Родители и дети должны быть друзьями.

Это неплохо, если это серьезно. Отец и сын могут быть друзьями, должны быть друзьями. Но отец все же остается отцом, а сын остается сыном, то есть мальчиком, которого нужно воспитывать и которого воспитывает именно отец, приобретающий благодаря этому некоторые признаки, дополнительные к его положению друга. А если дочь и мать не только друзья, но и подруги, а отец и сын не только друзья, а закадычные друзья, почти собутыльники, то дополнительные признаки, признаки педагогические, могут незаметно исчезнуть.

Так они исчезли в семье Головиных. У них трудно разобрать, кто кого воспитывает, во всяком случае сентенции педагогического характера чаще высказываются детьми, ибо родители играют все же честнее, помня золотое правило: играть так играть!

Но игра давно потеряла свою первоначальную прелесть. Раньше было так мило и занимательно:

— Папка — бяка! Мамка — бяка!

Сколько было радости и смеха в семье, когда Ляля первый раз назвала отца Гришкой! Это был расцвет благотворной идеи, это был блеск

педагогического изобретения: родители и дети — друзья! Сам Головин — учитель. Кто лучше него способен познать вкус такой дружбы! И он познал. Он говорил:

— Новое в мире всегда просто, как яблоко Ньютона! Поставить связь поколений на основе дружбы, как это просто, как это прекрасно!

Времена этой радости, к сожалению, миновали. Теперь Головины захлебываются в дружбе, она их душит, но выхода не видно: попробуйте друга привести к повиновению!

Пятнадцатилетняя Ляля говорит отцу:

— Гришка, ты опять вчера глупости молол за ужином у Николаевых!

— Да какие же глупости?

— Как «какие»? Понес, понес свою философию: «Есенин — это красота умиротворения!» — Стыдно было слушать. Это старо. Это для малых ребят. И что ты понимаешь в Есенине? Вам, шкрабам[12], мало ваших Некрасовых да Гоголей, так вы за Есенина беретесь...

Головин не знает: восторгаться ли прямотой и простотой отношений или корчиться от их явной вульгарности? Восторгаться все-таки спокойней. Иногда он даже размышляет над этим вопросом, но он уже отвык размышлять над вопросом другим: кого он воспитывает? Игра в друзей продолжается и по инерции и потому, что больше делать и нечего.

В прошлом году Ляля бросила школу и поступила в художественный техникум. Никаких художественных способностей у нее нет, ее увлекает только шик в самом слове «художник». И Гришка и Варька хорошо это знают. Они пытались даже поговорить с Лялей, но Ляля отклонила их вмешательство:

— Гришка! Я в твои дела не лезу, и ты в мои не лезь! И что вы понимаете в искусстве?

А что получается из Левика? Кто его знает! Во всяком случае, и друг из него получится «так себе».

Жизнь Гришки и Варьки сделалась грустной и бессильной. Гришка старается приукрасить ее остротами, а Варька и этого не умеет делать. Теперь они никогда не говорят о величии педагогической дружбы и с тайной завистью посматривают на чужих детей, вкусивших дружбу с родителями не в такой лошадиной дозе.

С такой же завистью встречают они и Васю Назарова.

Вот и сейчас вошел он в комнату с железной коробкой под мышкой. Головин оторвался от тетрадей и посмотрел на Васю. Приятно было посмотреть на стройного мальчика с привстливо-спокойным серым взглядом.

— Тебе что, мальчик?

— Я принес коробку. Это коробка Лялина. А где Ляля?

— Как же, как же, помню. Ты — Вася Назаров?

— Ага... А вы тот... А вас как зовут?

— Меня... меня зовут Григорий Константинович!

— Григорий Константинович? И еще вас зовут... тот... Гри... ша. Да?

— М-да. Ну, хорошо, садись. Расскажи, как ты живешь?

— У нас теперь война. Там... на Мухиной горе.

— Война? А что это за гора?

— А смотрите: в окошко все видно! И флаг! То наш флаг!

Головин глянул в окно: действительно, гора, а на горе флаг.

— Давно это?

— О! Уже два дня!

— Кто же там воюет?

— А все мальчики. И ваш Левик тоже. Он вчера был в плену.

— Вот как? Даже в плену? Левик!

Из другой комнаты вышла Ляля.

— Левика с утра нет. И не обедал.

— Завоевался, значит? Так! Вот он тебе коробку принес.

— Ах, Вася, принес коробку! Вот умница!

Ляля обняла Васю и посадила рядом с собой.

— А мне эта коробка страшно нужна! Какая ты прелесть! Почему ты такая прелесть? А ты помнишь, как я тебя отлупила?! Помнишь?!

— Ты меня не сильно отлупила. И даже не больно. А ты всех бьешь? И Левика?

— Смотри, Гришка, какой он хороший! Ты смотри!

— Ну, что же, смотрю.

— Вот если бы у вас с Варькой был такой сын.

— Лялька!

— Вы только и умеете: «Лялька!» Если бы у меня такой брат, а то босяк какой-то. Он мой зелененький кошелек сегодня утром продал.

— Ну, что ты, Ляля!

— Продал. Какому-то мальчику, за пятьдесят копеек. А за пятьдесят копеек купил себе вороненка, теперь мучит его под крыльцом. Это вы так воспитали!

— Лялька!

— Ну, посмотри, Вася! Он ничего другого не умеет говорить. Повторяет, как попугай!

— Лялька!!

Вася громко засмеялся и уставился на Гришку действительно, как на заморскую птицу.

Но Головин не оскорбился, не вышел из комнаты и не хлопнул дверью. Он даже улыбнулся покорно:

— Я не только Левика, а и тебя променяю на этого Васю!

— Гришка! О Левике ты можешь говорить, а обо мне прошу в последний раз!

Гришка пожал плечами. Что ему оставалось делать?

И на Васином дворе и на «кучугурах» жизнь продолжалась. С переменным счастьем прошла война между северными и южными. Было много побед, поражений, подвигов. Были и измены. Изменил северянам Левик: он нашел себе новых друзей на стороне противника, а может быть, и не друзей, а что-нибудь другое. Когда он через три дня захотел вернуться в ряды северной армии, Сережа Скальковский назначил над ним военный суд. Левик покорно пошел на суд, но ничего не вышло: суд не захотел простить его измену и отказал в восстановлении его чести. Левик не обиделся и не рассердился, а бросился в новое увлечение. Где-то на краю «кучугур» начал он копать пещеру, рассказывал о ней очень много, описывал, какой в пещере стол и какие полки, но потом об этой пещере все забыли и даже сам Левик.

Война не успела привести к разгрому одного из противников. Когда военные действия были перенесены на крайний юг, там враждующие стороны наткнулись на симпатичное озеро в зеленых берегах, а за озером увидели вишневые сады, стоги соломы, колодезные журавли и хаты — деревня Корчаги.

По почину южан решили срочно прекратить войну и организовать экспедицию для изучения вновь открытой страны. Экспедиция получила большой размах после того, как отец Васи решил принять в ней участие. Вася несколько дней подряд ходил по двору и громко смеялся от радости.

Экспедиция продолжалась от четырех часов утра до позднего вечера. Важнейшим ее достижением было открытие в деревне Корчаги сильнейшей организации, при виде которой Сережа Скальковский воскликнул:

— Вот с кем воевать! Это я понимаю!

У корчагинцев было свое футбольное поле с настоящими воротами. Экспедиция буквально обомлела, увидев такую высокую ступень цивилизации. Корчагинские мальчики предложили товарищеский матч, но экспедиция только покраснела в ответ на любезное приглашение.

Жизнь уходила вперед. Уходил вперед и Вася. В его игрушечном царстве еще стояли автомобили и паровозы, еще жил постаревший и ободранный Ванька-Встанька, в полном порядке были сложены материалы для постройки моста и мелкие гвозди в красивой коробке,— но это все прошлое.

Вася иногда останавливается перед игрушечным царством и задумывается о его судьбе, но с ним уже не связывается никакая горячая мечта. Тянет на двор к мальчикам, где идут войны, где строят качели, где живут новые слова: «правый инсайд» и «хавбек», где уже начали мечтать о зимнем катанье с гор.

Однажды над игрушечным царством сошлись отец и сын, и отец сказал:

— Видно по всему, Вася, будешь строить мост, когда вырастешь,—настоящий мост через настоящую реку.

Вася подумал и сказал серьезно в ответ:

— Это лучше, а только надо учить много... как строить. А теперь как?

— А теперь будем строить санки. Скоро снег выпадет.

— И мне санки, и Мите санки.

— Само собой. Это одно дело. А теперь другое дело: за лето ты чуточку распустился.

— А как?

— На этажерке убираешь редко. Газеты не сложены, цветы не политы. А ты уже большой, надо тебе прибавить нагрузку. Будешь утром подметать комнаты.

— Только ты купи веник хороший,— сказал Вася,— такой, как у Кандыбина.

— Это не веник, а щетка,— поправил отец.

Семья Кандыбиных в это время переживала эпоху возрождения, и символом эпохи сделалась щетка, которую Кандыбин купил на другой день после вареников и рюмки водки. Тогда в беседе с Назаровым он больше

топорщился бы, но как это сделаешь, если на столе графинчик, а в широкой миске сметана, если хозяйка ласково накладывает тебе на тарелку дюжину вареников и говорит:

— Какой у вас милый этот Митя! Мы так рады, что Вася с ним подружился.

И поэтому Кандыбин честно старался быть послушным гостем, и ему нравилось то, что говорил Назаров. А Назаров говорил прямо:

— Ты меня не перебивай! Я культурнее тебя и больше видел, у кого же тебе и научиться, как не у меня? И с сыном нужно по-другому, и по хозяйству иначе. Ты человек умный, стахановец, ты должен нашу большевистскую честь держать. А что это такое: бить такого славного хлопца? Это же, понимаешь, неприлично, как без штанов на улицу выйти. Да ты ешь вареники, смотри, какие мировые! Жаль, что жинки твоей нету... Ну, другим разом.

Кандыбин ел вареники, краснел, поддакивал. А на прощанье сказал Назарову:

— Спасибо тебе, Федор Иванович, что поговорил со мной. А в выходной день приходи, посмотри мою жизнь, моя Поля в отношении вареников тоже достижение.

Повесть о Васе кончена. Она не имела в виду предложить какую-нибудь мораль. Хотелось в ней без лукавства изобразить самый маленький кусочек жизни, один из тех обыденных отрывков, которые сотнями проходят перед нашими глазами и которые немногим из нас кажутся достойными внимания. Нам посчастливилось побыть с Васей в самый ответственный и решающий момент его жизни, когда мальчик из теплого семейного гнезда выходит на широкую дорогу, когда он впервые попадает в коллектив, значит, когда он становится гражданином.

Этого перехода нельзя избежать. Он так же естественно необходим и так же важен, как окончание школы, первый выход на работу, женитьба. Все родители это знают, и в то же время очень многие из них в этот ответственный момент оставляют своего ребенка без помощи и оставляют как раз те, кто наиболее ослеплен либо родительской властью, либо родительской игрой.

Ребенок — это живой человек. Это вовсе не орнамент нашей жизни, это отдельная полнокровная и богатая жизнь. По силе эмоций, по тревожности и глубине впечатлений, по чистоте и красоте волевых напряжений детская жизнь несравненно богаче жизни взрослых. Но ее колебания поэтому не только великолепны, но и опасны. И радости и драмы этой жизни сильнее потрясают личность и скорее способны создавать и мажорные характеры деятелей коллектива и характеры злобных, подозрительных и одиноких людей.

Если вы эту насыщенную, яркую и нежную жизнь видите и знаете, если вы размышляете над ней, если вы в ней участвуете, только тогда становится действенным и полезным ваш родительский авторитет, та сила, которую вы накопили раньше, в собственной личной и общественной жизни.

Но если ваш авторитет, как чучело, раскрашенное и неподвижное, только рядом стоит с этой детской жизнью, если детское лицо, детская мимика, улыбка, раздумье и слезы проходят бесследно мимо вас, если

в отцовском лице не видно лица гражданина — грош цена вашему авторитету, каким бы гневом или ремешком он ни был вооружен.

Если вы бьете вашего ребенка, для него это во всяком случае трагедия, или трагедия боли и обиды, или трагедия привычного безразличия и жестокого детского терпения.

Но трагедия эта — для ребенка. А вы сами — взрослый, сильный человек, личность и гражданин, существо с мозгами и мускулами, вы, наносящий удары по нежному, слабому растущему телу ребенка, что вы такое? Прежде всего вы невыносимо комичны, и, если бы не жаль было вашего ребенка, можно до слез хохотать, наблюдая ваше педагогическое варварство. В самом лучшем случае, в самом лучшем, вы похожи на обезьяну, воспитывающую своих детенышей.

Вы думаете, что это нужно для дисциплины?

У таких родителей никогда не бывает дисциплины Дети просто боятся родителей [redacted] стараются жить подальше от их авторитета и от их власти.

И часто рядом с родительским деспотизмом ухитряется жить и дебоширить детский деспотизм, не менее дикий и разрушительный. Здесь вырастает детский каприз, этот подлинный бич семейного коллектива.

Большей частью каприз родится как естественный протест против родительской деспотии, которая всегда выражается во всяком злоупотреблении властью, во всякой неумеренности: неумеренности любви, строгости, ласки, кормления, раздражения, слепоты и мудрости. А потом каприз уже не протест, а постоянная привычная форма общения между родителями и детьми.

В условиях обоюдного деспотизма погибают последние остатки дисциплины и здорового воспитательного процесса. Действительно важные явления роста, интересные и значительные движения детской личности проваливаются, как в трясине, [redacted] капризной и бестолковой возне, [redacted] самодурном процессе высиживания снобов[13] и эгоистов.

В правильном семейном коллективе, где родительский авторитет не подменяется никаким суррогатом, не чувствуется надобности в безнравственных и некрасивых приемах дисциплинирования. И [redacted] такой семье всегда есть полный порядок и необходимое подчинение и послушание.

Не самодурство, не гнев, не крик, не мольба, не упрашиванье, а спокойное, серьезное и деловое распоряжение — вот что должно внешним образом выражать технику семейной дисциплины. Ни у вас, ни у детей не должно возникать сомнения в том, что вы имеете право на такое распоряжение, как один из старших, уполномоченных членов коллектива. Каждый родитель должен научиться отдавать распоряжение, должен уметь не уклоняться от него, не прятаться от него ни за спиной родительской лени, ни из побуждений семейного пацифизма. И тогда роспоряжение сделается обычной, принятой и традиционной формой, и тогда вы научитесь придавать ему самые неуловимые оттенки тона, начиная от тона директивы и переходя к тонам совета, указания, иронии, сарказма, просьбы и намека. А если вы еще научитесь различать действительные и фиктивные потребности детей, то вы [redacted] сами не заметите, как ваше родительское распоряжение сделается самой милой и приятной формой дружбы между вами [redacted] ребенком.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Тратят и силы к тому же влюбленные в тяжких страданьях,
И протекает их жизнь по капризу [redacted] воле другого.
Все достояние их [redacted] вавилонские ткани уходит,
Долг в небреженье лежит, [redacted] расшатано доброе имя,
На умащенных ногах сикионская обувь сверкает,
Блещут в оправе златой изумруды с зеленым отливом.
Треплется платье у них голубое, подобное волнам,
И постоянно оно пропитано потом Венеры.
Все состоянье отцов, нажитое честно, на ленты
Или на митры идет и заморские ценные ткани.
...Итак, заранее лучше держаться
Настороже, как уж я сказал, [redacted] не быть обольщенным,
Ибо избегнуть тенет любовных и [redacted] сеть не попасться
Легче гораздо, чем, там очутившись, обратно на волю
Выйти, порвавши узы, сплетенные крепко Венерой.

Тит Лукреций Кар «О природе вещей»
(I век до н. э.).

Познакомился я с Любой Гореловой случайно: она зашла ко мне по короткому делу. Пока я писал нужную записку, она тихонько сидела [redacted] кресле [redacted] изредка вздыхала про себя, сложив руки на коленях и поглядывая куда-то с далеким прицелом. Ей было лет девятнадцать и принадлежала она к тем девушкам-аккуратисткам, которые даже в самом тяжелом горе не забывают вовремя разгладить кофточку.

— Чего вы так грустно вздыхаете? — спросил я.— У вас неприятности?

Люба неловко вздернула чистенько причесанной головкой, вздохнула пианиссимо и страдальчески улыбнулась:

— Нет... Ничего особенного. Были неприятности, но уже прошли.

В своей жизни [redacted] достаточно повозился с девичьими неприятностями [redacted] привык о них разговаривать. Поэтому [redacted] спросил дальше:

— Прошли, [redacted] вы вздыхаете?

Люба повела плечами, будто в ознобе, посмотрела на меня. В ее карих честных глазах вспыхнуло оживление:

— Хотите, [redacted] вам расскажу?

— Ну, рассказывайте.

— Только это длинное!

— Ничего...

— Меня муж бросил...

Я [redacted] удивлением на нее глянул: кажется, ее длинный рассказ был окончен, а подробности можно было увидеть [redacted] ее личике: маленький розовый рот дрожит в улыбке, [redacted] в глазах тонкая сверкающая слеза.

— Бросил?
— Угу,— сказала она еле слышно и по-детски кивнула головой.
— Он был хороший? Ваш муж?
— Да... очень! Очень хороший!
— И вы его любили?
— Конечно. А как же? Я и теперь люблю!
— И страдаете?
— Вы знаете... ужасно страдаю!
— Значит, ваши неприятности не совсем прошли?
Люба посмотрела на меня задорно-подозрительно, но мой искренний вид ее успокоил.
— Прошли... Все прошло. Что же делать?
Она так наивно и беспомощно улыбнулась, что и для меня стало интересно: что ей делать?
— В самом деле: что вам делать? Придется забыть вашего мужа и начинать все сначала. Выйдите снова замуж...
Люба надула губки и изобразила презрение.
— За кого выходить? Все такие...
— Позвольте, но ваш муж тоже хорош. Вот же бросил вас Собственно говоря, его и любить не стоит.
— Как не стоит? Вы же его не знаете!
— Почему он бросил вас?
— Другую полюбил.
Люба произнесла это спокойно и даже с некоторым удовольствием.
— Скажите, Люба, ваши родители живы?
— А как же! И папа, и мама! Они меня ругают, ругают: зачем выходила замуж?
— Они правильно вас ругают.
— Нет, неправильно. А чего правильно?
— Да как же: вы еще ребенок, а уже успели и замуж выйти и развестись.
— Ну... чего там! А им что такое?
— Вы не с ними живете?
— У меня своя комната. Муж меня бросил и пошел жить к своей... И комната теперь моя. И я получаю двести рублей... И совсем я не ребенок! Какой же я ребенок?
Люба смотрела на меня с сердитым удивлением, и я видел, что в своей жизненной игре она совершенно серьезна.
Вторая наша встреча произошла в такой же обстановке. Люба сидела в том же самом кресле. Теперь ей было двадцать лет.
— Ну, как ваши семейные дела?
— Вы знаете, так хорошо, что и сказать не умею!
— Вот как! Значит, нашелся человек лучше вашего... этого...
— И ничего подобного. Я вышла замуж за того самого. Второй раз вышла!
— Как же это случилось?
— Случилось. Он пришел ко мне и плакал. И сказал, что я лучше всех. Но это же неправда? Я же не лучше всех?
— Ну... кому что нравится. А чем же вы такая... плохая?

— Вот видите! Значит, он меня любит. А папа и мама сказали, что я делаю глупость. А он говорит: давай все забудем!

— И вы все забыли?

— Угу,— так же тихо и незаметно, как и раньше, сказала Люба и кивнула головой настоящим детским способом. А потом посмотрела на меня с серьезным любопытством, как будто хотела проверить, разбираюсь ли я в ее жизненной игре.

В третий раз я встретил Любу Горелову на улице. Она выскочила из-за угла с какими-то большими книгами в руках и устремилась к трамваю, но увидела меня и вскрикнула:

— Ах! Здравствуйте! Как хорошо, что я вас встретила!

Она была так же молода, так же чистенько причесана, и на ней была такая же свежая, идеально отглаженная блузка. Но в ее карих глазах туманились какие-то полутоны, нечто, похожее на жизненную усталость, а лицо стало бледнее. Ей было двадцать один год.

Она пошла рядом со мной и повторила тихо:

— Как хорошо, что я вас встретила.

— Почему вы так рады? Я вам нужен для чего-нибудь?

— Ага. Мне больше некому рассказывать.

И вздохнула.

— У вас опять жизненные неприятности?

Она заговорила негромко, рассматривая дорогу:

— Были неприятности. Такие неприятности! Я плакала даже. Вы знаете, она подала в суд. И теперь суд присудил, и мы платим сто пятьдесят рублей в месяц. Алименты. Это ничего. Муж получает пятьсот рублей, и я получаю двести пятьдесят. А только жалко. И так, знаете, стыдно! Честное слово! Только это неправильно. Это вовсе не его ребенок, а она выставила свидетелей...

— Слушайте, Люба, прогоните вы его.

— Кого?

— Да этого самого... мужа вашего.

— Ну, что вы! Он теперь в таком тяжелом положении. И квартиры у него нет. И платить нужно, и все...

— Но ведь вы его не любите.

— Не люблю? Что вы говорите? Я его очень люблю. Вы же не знаете, он такой хороший! И папа говорит: он — дрянь! А мама говорит: вы не записывались, так и уходи!

— А вы разве не записывались?

— Нет, мы не записывались. Раньше как-то не записались, а теперь уже нельзя записаться.

— Почему нельзя? Всегда можно.

— Можно. Только нужно развод брать и все такое.

— Мужу? С этой самой, которой алименты?

— Нет, он с той не записывался. С другой.

— С другой? Это что ж... старая жена?

— Нет, почему старая? Он недавно с нею записывался.

Я даже остановился:

— Ну, я ничего не понимаю. Так, выходит, не с другой, а с третьей?

Люба старательно объясняла мне:

— Ну да, если меня считать, так это будет третья.

— Да когда же он успел? Что это такое?

— Он с той недолго жил, с которой алименты.. Он недолго. А потом он ходил, ходил и встретил эту. А у нее комната. Они стали жить. А она говорит: не хочу так, а нужно записаться. Она думала,— так будет лучше. Так он и записался. А после, как записался, так они только десять дней прожили...

— А потом?

— А потом, он как увидел меня в метро... там... с одним товарищем, так ему стало жалко, так стало жалко. Он пришел тогда и давай плакать.

— А может, он все наврал? И ни с кем он не записывался?.

— Нет, он ничего не говорил. А она, эта самая, с которой записался, так она приходила. И все рассказывала...

— И плакала?

— Угу,— негромко сказала Люба и кивнула по-детски. И внимательно на меня посмотрела. Я разозлился и сказал на всю улицу:

— Гоните его в шею, гоните немедленно! Как вам не стыдно?

Люба прижала к себе свои большие книги и отвернулась. В ее глазах, наверное, были слезы. И она сказала, сказала не мне, а другой стороне улицы:

— Разве я могу прогнать? Я его люблю.

В четвертый раз встретил я Любу Горелову в кинотеатре. Она сидела в фойе в углу широкого дивана и прижималась к молодому человеку: красивому и кудрявому. Он над ее плечом что-то тихо говорил и смеялся. Она слушала напряженно-внимательно и вглядывалась куда-то далеко счастливыми карими глазами. Она казалась такой же аккуратной, в ее глазах я не заметил никаких полутонов. Теперь ей было двадцать два года.

Она увидела меня и обрадовалась. Вскочила с дивана, подбежала, уцепилась за мой рукав:

— Познакомьтесь, познакомьтесь с моим мужем!

Молодой человек улыбнулся и пожал мне руку. У него и в самом деле было приятное лицо. Они усадили меня посередине. Люба действительно была рада встрече, все теребила мой рукав и смеялась, как ребенок. Муж с сдержанной мужской мимикой говорил:

— Вы не думайте, я о вас хорошо знаю. Люба говорила, что вы — ее судьба. А сейчас увидела вас и сразу сказала: моя судьба.

Люба закричала на все фойе:

— А разве неправильно? Разве неправильно?

Публика на нее оглядывалась. Она спряталась за мое плечо и с шутливой строгостью сказала мужу:

— Иди! Иди выпей воды! Ну, чего смотришь? Я хочу рассказать, какой ты хороший! Иди, иди!

За моей спиной она подтолкнула его рукой. Он пожал плечами, улыбнулся мне смущенно и ушел к буфету. Люба затормошила оба мои рукава:

— Хороший, говорите, хороший?

— Люба, как я могу сказать, хороший он или плохой?

— Но вы же видите? Разве не видно?

— На вид-то он хороший, ну... если вспомнить все его дела... вы же сами понимаете...

Глаза Любы увеличились в несколько раз:

— Чудак! Да разве это тот? Ничего подобного! Это совсем другой! Это... понимаете... это настоящий! Настоящий, слышите!

Я был поражен.

— Как «настоящий»? А тот? «Любимый»?

— Какой он там любимый! Это такой ужасный человек! Я такая счастливая! Если бы вы знали, какая я счастливая!

— А этого вы любите? Или тоже. . ошибаетесь?

Она молчала, вдруг потеряв свое оживление.

— Любите?

Я ожидал, что она кивнет головой по-детски и скажет: «Угу».

Но она сидела рядом, притихшая и нежная, гладила мой рукав, и ее карие глаза смотрели очень близко,— в глубину души.

Наконец, она сказала тихо:

— Я не знаю, как это сказать: люблю. Я не умею сказать... Это так сильно!

Она посмотрела на меня, и это был взгляд женщины, которая полюбила.

Научить любить, научить узнавать любовь, научить быть счастливым — это значит научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству. Никакие образовательные экскурсии в автономную область Венеры не помогут этому делу. В человеческом обществе, и тем более в обществе социалистическом, половое воспитание не может быть воспитанием физиологии. Половой акт не может быть уединен от всех достижений человеческой культуры, от условий жизни социального человека, от гуманитарного пути истории, от побед эстетики. Если мужчина или женщина не ощущает себя членом общества, если у них нет чувства ответственности за его жизнь, за его красоту и разум, как они могут полюбить? Откуда у них возьмутся уважение к себе, уверенность в какой-то своей ценности, превышающей ценность самца или самки?

Половое воспитание — это прежде всего воспитание культуры социальной личности. И если в буржуазном обществе такое воспитание на каждом шагу встречает препятствие в классовом разделении общества, в нищете, в насилии, в эксплуатации, то в нашем государстве для такого воспитания проложены широкие дороги. В самой скромной советской семье, как только она до конца поймет, какое важное и определяющее участие ей предоставлено в государственной жизни, как только она научится ощущать это свое единство с обществом не только в великих вопросах истории, но и в каждой подробности своего быта, тем самым разрешается проблема полового воспитания, ибо такая семья уже находится в фарватере культурной революции.

Не так еще давно проблема полового воспитания занимала много свободных людей в такой форме: как объяснить детям тайну деторождения? Проблема выступала в либеральных одеждах, и либеральность эту видели в том, что уже не сомневались: тайну деторождения детям нужно обязательно объяснять. С высокомерием посмеивались над старыми возмутительными подходцами, ненавидели аистов и презирали капусту. Были

убеждены в том, что от аистов и от капусты должны происходить разные бедствия и что своевременное объяснение эти бедствия предупредит.

Самые отчаянные и либеральные требовали полного срывания «покровов» и полной свободы в половых разговорах с детьми. На разные лады и различными голосами толковали о том, какими ужасными, извилистыми путями современные дети узнают тайну деторождения. Впечатлительным людям в самом деле могло показаться, что положение ребенка перед тайной деторождения подобно трагической коллизии какого-нибудь царя Эдипа![14] Оставалось только удивляться, почему эти несчастные дети не занимаются массовым самоубийством.

В наше время нет такого стремления объяснить детям тайну деторождения, но в некоторых семьях добросовестные родители и теперь страдают над вопросом: как быть с этой тайной и что отвечать детям, если они спрашивают.

Надо, впрочем, отметить, что в области этой панической проблемы, такой важной и неотложной, было больше разговоров, чем практических мероприятий. Я знаю только один случай, когда отец усадил своего пятилетнего сына наблюдать, как его мать разрешается от бремени. Как и всякий другой случай идиотизма, этот случай заслуживает только внимания психиатров. Гораздо чаще бывало, что честные родители в самом деле приступали к различным «правдивым» процедурам объяснения. И вот в первые же моменты этой полезной правдивости оказывалось, что положение их почти безвыходное.

Во-первых, выступало наружу пронзительное противоречие между родительским либерализмом и родительским идеализмом. Вдруг, кто его знает откуда, с полной очевидностью выяснялось, что половая проблема, несмотря на их героическую правдивость, желает оставаться все-таки половой проблемой, а не проблемой клюквенного киселя или абрикосового варенья. В силу этого она никак не могла обходиться без такой детализации, которая даже по самой либеральной мерке была невыносима и требовала засекречивания. Истина в своем стремлении к свету вылезала в таком виде, что и самые смелые родители ощущали нечто, похожее на обморок. И это чаще всего случалось с теми родителями, которые выдвигались из обыкновенных рядов, которые ближе стояли к «идеалам», которые активно стремились к лучшему и совершенному. В сущности говоря, им хотелось так «объяснить» половую проблему, чтобы она сделалась как бы уже и не половой, а какой-то другой, более чистой, более высокой.

Во-вторых, выяснилось, что при самом добросовестном старании, при самой научной мимике, все-таки родители рассказывали детям то самое, что рассказали бы им и «ужасные мальчишки и девчонки», предупредить которых и должно было родительское объяснение. Выяснилось, что тайна деторождения не имеет двух вариантов.

В конце концов, вспоминали, что с самого сотворения мира не было зарегистрировано ни одного случая, когда вступившие в брак молодые люди не имели бы достаточного представления о тайне деторождения, и как известно... все в том же самом единственном варианте, без каких-нибудь заметных отклонений. Тайна деторождения, кажется, единственная область, где не наблюдалось ни споров, ни ересей, ни темных мест.

Александр Волгин живет на четвертом этаже нового дома. Отец Александра — Тимофей Петрович Волгин работает в НКВД. На рукавах его гимнастерки нашиты две серебряные звезды и две звездочки на малиновых петлицах. В жизни Александра эти звезды имеют значение. Еще важнее револьвер. В кобуре отец носит браунинг номер второй. Александр хорошо знает, что по сравнению с наганом браунинг более усовершенствованное оружие, но он знает также, что в ящике отцовского стола спрятан любимый револьвер отца, и этот «любимчик» — наган — боевой товарищ, о котором он может рассказать много захватывающих историй из тех времен, когда не было еще чистой, уютной квартиры в новом доме, когда не было ни самого Александра, ни Володьки Уварова, ни Кости Нечипоренко. В школе об этом времени рассказывают очень коротко и все по книжкам, и рассказывают учителя, которые сами ничего не видели и ничего не понимают. Вот если бы они послушали, как двадцать человек чекистов, выезжая из города по зимней накатанной дороге, наткнулись на целый отряд бандитов, как чекисты залегли за крайними плетнями города, как четыре часа отстреливались сначала из винтовок, а потом из наганов, как по одному патрону отложили для себя,— вот тогда они узнали бы, что такое наган, который сейчас мирно отдыхает в ящике стола. А учительница рассказывает, рассказывает, а если ей показать наган, так она, наверное, закричит и убежит из класса.

Александр Волгин гордится своим отцом и гордится его оружием и его звездочками. Александр знает, что в боевой жизни отца заключаются особые права и законы, которые он, Александр Волгин, должен соблюдать. Другие обстоятельства, а именно: отцовский спокойный и глубокий взгляд, молчаливые, умные глаза и уравновешенная мужская сила — все это Александр Волгин как-то пропускал в своей оценке, почти не замечал, как не замечают люди здоровья. Александр был убежден, что он любит отца за его боевую деятельность.

Теперь — мама. Мама не закричит и не убежит, если ей показать наган. В городе Овруче она сама отстреливалась от бандитов, а отец в это время сидел на партийном собрании. Там была и Надя, только Наде тогда был один год, и она в этой истории ни при чем. Теперь Наде семнадцать лет. Александр любит ее, но это другое дело. И мать. Мать, конечно, не боевой деятель, хотя ей и пришлось пострелять в Овруче. Во-первых, она работает в каком то там Наробразе, во-вторых, нет у нее ни револьвера, ни звездочек, ни звания старшего лейтенанта государственной безопасности, а в-третьих — она очень красивая, добрая, нежная, и если бы даже у нее был наган и какое угодно звание, кто его знает, на каком месте все это поместилось бы в представлении Александра. Александр Волгин любит свою мать не за какие-нибудь заслуги, а... любит, и все!

У Александра Волгина эти установки любви выяснились еще в позапрошлого года, то есть с того времени, когда в его жизни завелись настоящие друзья, не какие-нибудь слюнявые Коти, все достоинство которых заключается в карманных складах и новых костюмчиках, а настоящие товарищи, обладающие жизненным опытом и самостоятельностью мнений. Может быть, они тоже любят своих родителей, но они не лезут с ними в глаза, да им и некогда заниматься родителями. Жизнь ежедневно ставит такие вопросы, что не только родителей, а и обедать забудешь,

и для разрешения этих вопросов требуется много силы и знаний: возьмем, например, матч между «Динамо» и «Локомотивом», или дела авиационные, или снос дома на соседней улице, или асфальтирование рядом проходящей трассы, или радио. В школе тоже столько дел и вопросов, столько запутанных отношений, столько интриг, столько событий, что даже Володька Уваров теряет иногда голову и говорит:

— Очень мне нужно! Скажите, пожалуйста! Да ну их к чéртям собачьим! Не хочу связываться.

А ведь Володька Уваров никогда не смеется. Володька Уваров на самом деле похож на англичанина, это все хорошо знают. Он никогда не смеется. Другие тоже пробовали, больше одного дня никто не выдерживал, все равно на второй день зубы выскалит и ржет, как обезьяна. А Володька только изредка поведет губой, так это разве смех? Это для того, чтобы показать презрение. Александр Волгин уважает суровую манеру Володьки, но и не думает подражать ему. Славу Александра Волгина составляют остроумие, увлекательный смех и постоянное въедливое вяканье. Все ребята знают, что Александру Волгину лучше не попадаться на язык. Весь пятый класс. И учителя знают. Да... и учителя.

Что касается учителей, то здесь, конечно, сложнее. Бывает часто, что с учителей и начинаются разные неприятности.

Несколько дней назад учитель русского языка Иван Кириллович объявил, что он переходит к Пушкину. Володька Уваров еще раньше учителя принес в класс «Евгения Онегина» и демонстрировал несколько стихов. А теперь Иван Кириллович сказал, что класс основательно переходит к Пушкину. Называется «основательно», а на самом деле самые интересные стихи пропускает. Александр Волгин громко, хотя и вежливо, спросил:

— А как это понимать: «она, пророчествуя взгляду неоцененную награду...»?

У Александра Волгина тонкое лицо и подвижный рот. Он беззастенчиво показывал зубы Ивану Кирилловичу и ждал ответа. В классе все засверкали глазами, потому что вопрос был поставлен действительно интересно. Все хорошо знали, что «она» значит — ножка, женская ножка, у Пушкина об этом подробно написано, и мальчикам понравилось. Стихи эти показывали девочкам и с большим интересом наблюдали, какое они произвели впечатление. Но с девочками эффект получился, можно сказать, отрицательный. Валя Строгова взглянула на стихи, ни чуточки не покраснела и даже засмеялась. А то, что она сказала, даже вспомнить стыдно:

— Ой, желторотые! Они только сегодня увидели!

Другие девочки тоже засмеялись. Александр Волгин смутился и посмотрел на Володьку. На Володькином дородном лице не дрогнул ни один мускул. Он сказал сквозь зубы:

— Когда мы увидели, это — другой вопрос, а вот ты объясни.

Это у Володьки получилось шикарно, и можно было ожидать, что финал всего разговора будет победоносный. Действительность оказалась гораздо печальнее.

Валя Строгова внимательно присмотрелась к Володьке. Сколько в этом взгляде было превосходства и пренебрежения. А сказала она так:

— Володя, в этих стихах ничего нет непонятного. А ты еще маленький. Подрастешь — поймешь.

Такие испытания не каждый может перенести спокойно. В них рушится человеческая слава, исчезает влияние, взрывается авторитет, уничтожаются пучки годами добытых связей. И поэтому все с остановившимся дыханием ожидали, что скажет Володька. А Володька ничего не успел сказать, потому что Валя Строгова встряхнула стриженой головой и гордо направилась к выходу. К ее локтям прицепились Нина и Вера. Все они уходили особой недоступной походкой, небрежно посматривали по сторонам и поправляли волосы одной рукой. Володька Уваров молча смотрел им вслед и презрительно кривил полные губы. Все мальчики примолкли, только Костя Нечипоренко произнес:

— Охота вам с ними связываться?

Костя Нечипоренко учился лучше всех и довольствовался этой славой, он мог позволить себе роскошь особого мнения. Все остальные были согласны, что Володька потерпел поражение, и от него требовались немедленные и решительные действия. Медлить было невозможно, Володька на своей парте замкнулся в холодном английском молчании. Александр Волгин зубоскалил по самым пустячным поводам и на переменках не отдыхал ни секунды. Пристал к худенькому, подслеповатому Мише Гвоздеву, спрашивал:

— Почему у мужчин штаны, а у женщин юбки?

Миша понимал, что в такой невинной форме начинается какая-нибудь вредная каверза, и старался молча отойти подальше. У него осторожные трусливые движения и испуганное выражение лица. Но Александр хватает его за локти и громко, на весь класс повторяет:

— Почему штаны и юбки? Почему?

Миша бессильно двигает локтями, обижается и смотрит вниз.

Володька говорит сквозь зубы:

— Брось его, сейчас плакать будет.

Александр Волгин смеется:

— Нет, пускай скажет!

Миша в слабости склоняется на парту. Он и в самом деле может заплакать. Когда Александр выпускает его руки, он залезает в дальний угол и молчит, отвернувшись к стене.

— Вот чудак! — смеется Александр.— Он уже такое подумал, бесстыдник такой! А это совсем просто:

Чтобы Миша не влюбился,
На мужчине не женился.

Вот теперь Миша заплакал и капризно вздернул локтем в воздухе, хотя его локоть никому и не нужен. Но Володька Уваров брезгливо морщится, и он прав: никаким зубоскальством нельзя уничтожить неприятного осадка после разговора с девочками. В классе было много людей, которые и раньше с молчаливым неодобрением относились к Володьке Уварову и его другу Александру Волгину. В особенности было тяжело видеть, с каким независимым, холодным пренебрежением входили в класс и располагались на своих местах девочки. Они делали вид, что задней парты не существует, а если и существует, то на ней нет ничего интересного, что они

сами все знают и что в этом знании они выше и лучше каких-то там Волгиных и Уваровых. Девочки склоняют друг к другу головы, перешептываются и смеются. И разве можно разобрать, над кем они смеются и почему они так много воображают?

Ситуация требовала срочных действий. Вопрос, обращенный к учителю, должен был восстановить положение. Вот почему Александр Волгин с такой торжественной улыбкой ожидал ответа Ивана Кирилловича. Даже самые отъявленные тихони, зубряки и отличники примолкли: они отдавали должное этой интересной дуэли. Учитель был еще очень молод и едва ли сумеет вывернуться из затруднительного положения.

Иван Кириллович и в самом деле растерялся, покраснел и забормотал:

— Это, собственно говоря, из другой области... ну... вообще .. из области... других отношений. Я не понимаю, почему вы задаете этот вопрос?

Александр Волгин употребил героические усилия, чтобы у него вышло удовлетворительное ученическое лицо, и, кажется, оно получилось ничего себе:

— Я задаю потому, что читаешь и ничего не понимаешь: «неоцененную награду». А какую награду, и не разберешь.

Но учитель вдруг выбрался из трясины и, честное слово, выбрался здорово:

— У нас сейчас идет разговор о другом. Чего мы будем отвлекаться? А я на днях зайду к вам домой и объясню. И родители ваши послушают.

Александр Волгин побледнел и растерялся до полного вежливого изнеможения:

— Пожалуйста.

Володька бросил на Александра убийственный взгляд и сказал, не вставая с места:

— Если спрашивают в классе, так чего домой?

Но учитель сделал вид, что ничего не расслышал, и пошел дальше рассказывать о капитанской дочке.

Александр Волгин хотел что-то еще сказать, но Костя Нечипоренко дернул его за рубаху, силой усадил на место и посоветовал добродушно:

— Не хулигань! Влопаешься!

Честь задней парты была спасена, но какой дорогой ценой!

Об этом сейчас с тревогой вспоминает Александр Волгин. Прошло уже три дня. Дома Александр нервно отзывался на каждый звонок, но учитель все не приходил. Александр теперь особенно аккуратно готовит уроки, в классе помалкивает, а на Володьку старается даже и не смотреть. Если этот Иван Кириллович в самом деле придет ябедничать отцу, трудно даже представить, чем это может кончиться. До сих пор у Александра не было конфликтов с отцом по вопросам школы. Александр учился на «хорошо», скандалов никаких не было. Дома он старался о школе мало разговаривать, считая, что это во всех отношениях удобнее. А вот теперь такая история!

По вечерам, укладываясь в постель, Александр раздумывал о случившемся. Все было ясно. За то, что он задает в классе посторонние вопросы, отец ничего не скажет, это пустяк, а вот за эту самую «неоцененную награду», черт бы ее побрал, попадет. Александр в этом месте быстро перевертывается с одного бока на другой, и перевертывается не потому, что

попадет, а потому, что есть что-то еще более страшное. Пусть как угодно попадет, как угодно, совсем не в этом дело. Да и как там попадет? Бить будет, что ли? Бить не будет. Но как говорить с отцом обо всех этих вещах, наградах, ножках,— ужас! Стыдная, тяжелая, невозможная тема!

Володька Уваров спросил:

— Не приходил... этот?

— Нет.

— А что ты будешь делать, когда он придет?

— А я не знаю.

— Ты скажи, что ты и на самом деле ничего не понял.

— Кому сказать?

— Да отцу, кому же? Не понял, и все! Черт их там поймет!

Александр завертел головой:

— Ну, думаешь, моего отца так легко обмануть? Он, брат, не таких, как мы с тобой, видел.

— А я считаю... Ничего... Можно сказать.. Я своему так бы и сказал.

— А он поверил бы?

— Поверил — не поверил! Скажите, пожалуйста! Нам по скольку лет? Тринадцать. Ну так что? Мы и не обязаны ничего понимать. Не понимаем, и все!

— Не понимаем, а почему такое... выбрали... самое такое.

— Ну... выбрали... Пушкин как раз... подскочил...

Володька искренне хотел помочь другу. Но Александр почему-то стеснялся сказать Володьке правду. Правда заключалась в том, что Александр не мог обманывать отца. Почему-то не мог, так же не мог, как не мог говорить с ним «о таких вопросах».

Гроза пришла, откуда не ждали: Надька! Отец так и начал:

— Надя мне рассказала...

Это было так ошеломительно, что даже острота самой темы как-то притупилась. Отец говорил, Александр находился в странном состоянии, кровь в его организме переливалась, как хотела и куда хотела, глаза хлопали в бессмысленном беспорядке, а в голове торчком стало неожиданное и непростительное открытие: Надька! Александр был так придавлен этой новостью, что не заметил даже, как его язык залепетал по собственной инициативе:

— Да она ничего не знает...

Он взял себя в руки и остановил язык. Отец смотрел на него серьезно и спокойно, а впрочем, Александр с трудом разбирал, как смотрит отец. Он видел перед собой только отцовский рукав и две серебряные звездочки на нем. Его глаза безвольно бродили по шитью звездочек, останавливались на поворотах шитья, цеплялись за узелки. В уши проникали слова отца и что-то проделывали с его головой, во всяком случае, там начинался какой-то порядок. Перед ним стали кружиться ясные, разборчивые и почему-то приемлемые мысли, от них исходило что-то теплое, как и от отцовского рукава. Александр разобрал, что это мысли отца и что в этих мыслях спасение. Надька вдруг провалилась в сознании. Защемило в гортани, стыдливые волны крови перестали бросаться куда попало, а тепло и дружески согрели щеки, согрели душу. Александр поднял глаза

и увидел лицо отца. У отца напряженный мускулистый рот, он смотрит на Александра настойчивым, знающим взглядом.

Александр поднялся со стула [redacted] снова сел, но уже не мог оторваться от отцовского лица [redacted] не мог остановить слез,— черт с ними, со слезами Он простонал:

— Папочка! Я теперь понял! Я буду, как ты сказал. И всю жизнь, как ты сказал! Вот увидишь!

— Успокойся,— сказал тихо отец.— Сядь. Помни, что сказал: всю жизнь. Имей в виду, я тебе верю, проверять не буду. И верю, что ты мужчина, а не... пустая балаболка.

Отец быстро поднялся со стула, [redacted] перед глазами Александра прошли два-три движения его ладного пояса [redacted] расстегнутая пустая кобура. Отец ушел. Александр положил голову на руки [redacted] замер [redacted] полуобморочном счастливом отдыхе.

— Ну?

— Ну, и сказал.

— А ты что?

— А я? А я ничего...

— А ты, наверное, заплакал и сейчас же: папочка, папочка!

— При чем здесь «заплакал»?

— А что, не заплакал?

— Нет.

Володька смотрел на Александра с ленивым уверенным укором.

— Ты думаешь, отец, так он всегда говорит правильно? По-ихнему, так мы всегда виноваты. А [redacted] себе так они ничего не говорят, [redacted] только о нас. Мой тоже, как заведет: ты должен знать, ты должен понимать...

Александр слушал Володьку с тяжелым чувством. Он не мог предать отца, [redacted] Володька требовал предательства Но и за Володькой стояла какая-то несомненная честь, изменить которой тоже было невозможно. Нужен был компромисс, и Александр не мог найти для него приличной формы. Кое в чем должен уступить Володька. И почему ему не уступить? И так зарвались.

— А по-твоему, мой отец все говорил неправильно?

— Неправильно.

— А может быть, [redacted] правильно?

— Что ж там правильного?

— Другой, так он иначе сказал бы. Он сказал бы: как ты смеешь! Стыдись, как тебе не стыдно! И все такое.

— Ну?

— Он же так не говорил?

— Ну?

— Тебе хорошо нукать, а если бы ты сам послушал.

— Ну, хорошо, послушал бы... Ну, все равно, говори. Только ты думаешь, они всегда так говорят: «как тебе не стыдно», да «как тебе не стыдно»? Они, брат, тоже умеют прикидываться.

— А чего прикидываться? Он разве прикидывался?

— Ну, конечно, [redacted] ты и обрадовался: секреты, секреты, у всех секреты!

— И не так совсем.

— А как?

— Совсем иначе.

— Ну, как?

— Он говорит, ты понимаешь: в жизни есть такое, тайное [redacted] секретное. И говорит: все люди знают, [redacted] мужчины [redacted] женщины, [redacted] ничего [redacted] этом нет поганого, [redacted] только секретное. Люди знают. Мало ли чего? Знают, значит, а в глаза с этим не лезут. Это, говорит, культура. А вы, говорит, молокососы, узнали, [redacted] у вас язык, как у коровы хвост. И еще сказал... такое...

— Ну?

— Он сказал: язык человеку нужен для дела, [redacted] вы языком мух отгоняете.

— Так [redacted] сказал?

— Так и сказал.

— Это он умно сказал.

— А ты думаешь...

— А только это просто слово такое. А почему Пушкин написал?

— О! Он и про Пушкина говорил. Только я забыл, как он там говорил.

— Совсем забыл?

— Нет, не совсем, [redacted] только... тогда было понятно, [redacted] вот слова какие... видишь...

— Ну?

— Он говорит: Пушкин великий поэт.

— Подумаешь, новость!

— Да нет... постой, не в том дело, что великий, а в том, что нужно понимать ..

— Что ж там непонятного?

— Ну да, только не [redacted] том дело. Он так [redacted] говорит... ага, вспомнил: совершенно верно, совершенно верно, так и сказал: совершенно верно!

— Да брось ты «совершенно верно»!

— А он так сказал: совершенно верно, в этих стихах сказано об этом самом... вот об этом же... ну, понимаешь...

— Ну, понимаю, [redacted] дальше?

— А дальше так: Пушкин сказал стихами... [redacted] такими, прямо замечательными стихами, и потом... это... еще одно такое слово, ага: нежными стихами! Нежными стихами. И говорит: это [redacted] есть красота!

— Красота?

— Да, [redacted] вы, говорит, ничего не понимаете [redacted] красоте, а все хотите переделать на другое.

— И ничего подобного! А кто хотел переделать?

— Ну, так он так говорит: вам хочется переделать... на разговор, нет, на язык пьяного хулигана. Вам, говорит, не нужно Пушкина, [redacted] вам нужно надписи на заборах....

Володька стоял прямо, слушал внимательно и начинал кривить губу. Но глаза опустил, как будто [redacted] раздумье.

— И все?

— И все. Он еще про тебя говорил...

— Про меня?

— Угу.

— Интересно.
— Сказать?
— А ты думаешь, для меня важно, как он говорил?
— Для тебя, конечно, не важно.
— Это ты уши распустил.
— Ничего я не распускал.
— Он тебя здорово обставил. А как он про меня сказал?
— Он сказал: твой Володька корчит из себя англичанина, [redacted] на самом деле он дикарь.
— Это я?
— Угу.
— И сказал «корчит»?
— Угу.
— И дикарь?
, — Угу. Он сказал: дикарь.
— Здорово! А ты что?
— Я?
— А ты и рад, конечно?
— Ничего я не рад.
— Я, значит, дикарь, а ты будешь, скажите пожалуйста, культурный человек!
— Он еще сказал: передай своему Володьке, что [redacted] социалистическом государстве таких дикарей все равно не будет.
Володька презрительно улыбнулся, первый раз за весь разговор:
— Здорово он тебя обставил! А ты всему [redacted] поверил. С тобой теперь опасно дружить. Ты теперь будешь «культурный человек». А твоя сестра все будет рассказывать, ей девчонки, конечно, принесут, ничего [redacted] классе сказать нельзя! А ты думаешь, она сама какая? Ты знаешь, какая она сама?
— Какая она сама? Что ты говоришь?
Александр [redacted] впрямь не мог понять, в чем дело, какая она сама? Надя была вне подозрений. Александр, правда, еще не забыл первого ошеломляющего впечатления после того, как выяснилось, что Надя его выдала, но почему-то он не мог обижаться на сестру, он просто обижался на себя, как это он выпустил из виду, что сестра все узнает. Теперь он смотрел на Володьку, и было очевидно, что Володька что-то знает.
— Какая она сама?
— О! Ты ничего не знаешь? Она про тебя наговорила, а как сама?
— Скажи.
— Тебе этого нельзя сказать! Ты такой культурный человек!
— Ну, скажи.
Володька задирал голову [redacted] гордой холодности, но [redacted] какое-то растерянное раздумье не сходило с его полного лица. И [redacted] его глазах на месте прежней высокомерной лени теперь перебегала очередь мелких иголочек. Такие иголочки бывают всегда, когда поврежденное самолюбие вступает [redacted] борьбу с извечным мальчишеским благородством [redacted] любовью к истине.
И сейчас самолюбие взяло верх. Володька сказал:
— Я тебе скажу, пожалуйста, только вот еще узнаю... одну вещь.

Так был достигнут компромисс Вмешательство Нади не интересовало друзей, потому что она была в десятом классе, но двурушничество сестры терпеть было нельзя.

Надя Волгина училась в десятом классе той самой школы, где учились и наши друзья Ясны были пути разглашения пушкинской истории. У этих девчонок гордость и разные повороты головы прекрасно совмещались со сплетнями и перешептываниями, а теперь было известно, о чем они шептались. Они обрадовались такому случаю. Если вспомнить, что вопрос о пушкинских стихах был предложен в самой культурной форме, и на самом деле никто и не собирался переделывать эти стихи на язык хулиганов, и все понимают, что эти стихи красивы, и не только они понимают, и если бы учитель взял и объяснил как следует,— если принять все это во внимание, то на первый план сейчас же выступает коварство этих девчонок. Они делают такой вид, что они разговаривают о «Капитанской дочке», а учителя им верят. А они рассказали Наде о пушкинских стихах. Вот они о чем разговаривают.

И Валя Строгова только в пятом классе такая гордая. А домой она ходит с восьмиклассником Гончаренко под тем предлогом, что они живут в одном доме. И на каток вместе И с катка вместе. Еще осенью Володька Уваров послал ей записку:

«Вале Строговой.

Ты не думай, что мы ничего не понимаем. Мы все понимаем. Коля Гончаренко, ах, какой красивый и умный! Только и задаваться нечего».

Видели, как Валя Строгова получила записку на уроке грамматики и как прочитала ее под партой, как она потом злая сидела все уроки и переменки. А на последнем уроке Володька получил ответ:

«Володе Уварову.

Дурак. Когда поумнеешь, сообщи».

Володька три дня не мог опомниться от этого оскорбления. Он послал еще одну записку, но она возвратилась в самом позорном виде с надписью наверху:

«Это писал Уваров, поэтому можно не читать».

А она и теперь все ходит с Гончаренко. А учителя думают, что раз девочки, так ничего. И не только Валя. Пожалуйста. У всех секреты, у всех какие-то тайные дела, а перед пятым классом гордость. И все нити этих секретов уходят в верхнюю перспективу,— в даль восьмых, девятых и десятых классов Тамошние юноши при помощи своей красоты и первых усиков проникают всюду. А что делается у девочек этой высокой перспективы, невозможно даже представить.

Володька Уваров был представителем крайнего скепсиса в этом вопросе. Он рассказывал о старших девушках самые невероятные истории и даже не заботился сильно о том, чтобы ему верили. Для него какие-нибудь факты вообще не представляли интереса, важны были темы, тенденции и подробности. Другие ничего не рассказывали, Володьке не верили, но рассказы его слушали внимательно.

Девушки девятого и десятого классов! Легко сказать! Володька, и тот пасовал. Разве могло ему прийти в голову написать кому-нибудь записку? Как написать? О чем написать? Девушки старших классов были существа малопонятные. На них даже смотреть было страшновато. Если она за-

метит и глянет на тебя,— что может ответить слабый пацан? Только самые отчаянные позволяли себе иногда, шныряя по коридору, задеть плечом бедро или грудь старшей девушки, но это было жалкое развлечение. Все это приходилось делать со страхом и с замиранием сердца, риск был огромный Если поймаешься, если она посмотрит на тебя, если скажет что-нибудь, куда деваться на твердом неподатливом полу, который не проваливается по желанию. В прошлом году в классе был такой бесшабашный скабрезник Комаровский Илья,— потом его выгнали. Ну, и что же? В мальчишеском кругу он о таких подробностях рассказывал, что парты замирали и краснели, а слушатели больше оглядывались, чем слушали. И все-таки и он: рассказывать рассказывал, а если нахулиганит, как встретится взглядом... и умер. Молчит и старается улыбаться. А она ему только и сказала:

— Нос утри. Есть у тебя платок?

И выгнали Комаровского вовсе не за это, а за прогулы и неуды. И когда выгнали, никто не пожалел, даже приятно стало.

Александр Волгин в глубине души ничего не имел против старших девушек, но это был страшный секрет, такой секрет, что настоящее содержание его даже никогда не приходило во сне, а если и снилось, то ничего нельзя было разобрать. А ведь он был еще в лучшем положении, ибо в самой квартире, на четвертом этаже, между ним и родителями жила Надя — существо непонятное, симпатичное и близкое. К Наде приходили подруги-десятиклассницы, такие же, как и она, нежные девушки с убийственными глазами, с мягкими подбородками и волнистыми, до абсурда чистыми волосами, с теми особенностями фигуры, о которых и реально и в мечтах лучше было и не думать. Александр иногда допускался в их общество, допускался не совсем бескорыстно. В этом обществе он держался свободно, говорил громко, острил, сломя голову летал за мороженым и за билетами в кинотеатр. Но это все снаружи. А внутри у него слабо и глухо бормотало сердце, и душа поворачивалась медленно и неуклюже. Смущала его особенная девичья уверенность, какая-то мудрая сила. Она находилась в пленительном противоречии с их кажущейся слабостью и наивностью движений. Они не умели как следует бросить камень, но когда Клава Борисова однажды взяла Александра за щеки мягкими, теплыми руками и сказала:

— А этот мальчик будет хорошеньким мужчиной,— на Александра налетела шумная и непонятная волна, захлестнула, захватила дыхание и понесла. А когда он вырвался из этой волны и открыл глаза, он увидел, что девушки забыли о нем и о чем-то тихо разговаривают между собой. Тогда он неясно почувствовал, что где-то здесь близко проходит линия человеческого счастья. Вечером в постели он вспомнил об этом спокойно, а когда закрывал глаза, девушки казались ему высокими белыми облаками.

Он не умел думать о них, но в душе они всегда приходили с радостью. И этому не мешали ни сарказмы Володьки, ни скабрезности Ильи Комаровского.

И поэтому рассказам ребят о разных приключениях, в которых участвовали будто бы девушки, он не хотел верить. Вот и теперь Володька намекает на Надю. Какие у Володьки доказательства?

— А ты как хотел, чтобы они все перед твоими глазами делали?

— А все-таки, какие у тебя доказательства?

— А ты видел, когда твоя Надя домой идет? Видел?

— Так что?

— А сколько за ней «пижонов»?

— Как «сколько»?

— А ты не считал? И Васька Семенов, и Петька Вербицкий, и Олег Осокин, и Таранов, и Кисель, и Филимонов. Видел?

— Так что?

— А ты думаешь, даром они за нею ходят? Такие они дураки, думаешь? Ты присмотрись.

Александр присматривался и видел: действительно, ходят вместе, им весело, они хохочут, а Надя идет между ними, склонив голову. Видел и Клаву Борисову в таком же пышном окружении, но рядом с небольшой грустной ревностью у него не просыпалось в душе никаких подозрений, хотя «пижоны» и казались очень несимпатичными.

Пришла весна, дольше стало дежурить на небе солнце, зацвели каштаны на улицах. У Александра прибавилось дела: и матчи, и лодка, и купанье, и разные испытания. Надя готовилась к испытаниям особенно напряженно. В ее комнате каждый день собирались девушки. Вечером они выходили из комнаты побледневшие и серьезные, и зубоскальство Александра не производило на них никакого впечатления. Иногда приходили заниматься и юноши, но все это производило такое солидное, десятиклассное впечатление, что и у Володьки не повернулся бы язык говорить гадости.

И вот в это самое время, в разгар испытаний, что-то случилось. После ужина, поздно вечером, отец сказал:

— Где это Надя?

Мать глянула на стенные часы:

— Я и сама об этом думаю. Она ушла в четыре часа заниматься к подруге.

— Но уже второй час.

— Я давно тревожусь,— сказала мать.

Отец взял газету, но видно было, что читать ему не хочется. Он заметил притаившегося за «Огоньком» сына:

— Александр! Почему ты не спишь?

— У меня завтра свободный день.

— Иди спать.

Александр спал здесь же, в столовой, на диване. Он быстро разделся и лег, отвернувшись к спинке, но заснуть, само собой, не мог, лежал и ожидал.

Надя пришла около двух часов. Александр слышал, как она нерешительно позвонила, как осторожно проскользнула в дверь, и понял, что она в чем-то виновата. Какой-то негромкий разговор произошел в передней, из него донеслось несколько слов матери:

— Ты думаешь, что дело в объяснении?

Потом о чем-то недолго говорили в спальне. Там был и отец: о чем говорили — осталось неизвестным. Александр долго не мог заснуть, его захватила странная смесь из любопытства, тревоги и разочарования. Сон

уже прикоснулся [redacted] нему, когда в последний раз перед ним пронеслись лица Нади, Клавы и других девушек и рядом с ними копошились какие-то отвратительные, невыносимые, но в то же время и любопытные мысли.

На другой день Александр внимательно всматривался [redacted] лицо Нади и заметил некоторые подробности. Под глазами у Нади легли синие пятна. Надя побледнела, была грустна и задумывалась. Александр смотрел на нее с сожалением, но больше всего мучило его желание узнать, что именно произошло вчера вечером.

Володьке он ничего не сказал. Он оставался по-прежнему его другом, вместе судачили о школьных делах, затевали мелкие, незначительные проказы, ловили рыбу и осуждали девочек. Но о Наде все же говорить не хотелось. Дома Александр с терпеливой [redacted] настойчивой энергией тыкался носом во все семейные щели, прикидывался спящим, притаивался на целые часы [redacted] кабинете, прислушивался к разговорам отца и матери, следил за Надей, за ее тоном и настроением.

Ему повезло [redacted] выходной день. Отец с рассветом уехал на охоту [redacted] своим отъездом взбудоражил весь дом. Проснулся и Александр, но тихонько лежал с закрытыми глазами и ждал. Сквозь щели глаз он видел, как полураздетая Надя пробиралась в спальню «досыпать». Она всегда это делала по старой привычке, когда отец рано уходил или оставался на службе на дежурство.

Скоро [redacted] спальне начался разговор. Многое не дошло до Александра: кое-что не дослышал, кое-что не понял.

Мать говорила:

— Любовь надо проверять. Человеку кажется, что он полюбил, [redacted] на самом деле это неправда. Масло не покупают без проверки, а наши чувства берем как попало, [redacted] охапку [redacted] носимся с ними. Это просто глупо.

— Это очень трудно проверять,— еле слышно прошептала Надя.

Потом молчание. Может, так тихо шептались, а может, мать ласково поглаживала Надину растрепанную головку. А потом мать сказала:

— Глупенькая, это очень легко проверить. Хорошее, настоящее чувство всегда узнаешь.

— Как хорошее масло, правда?

В голосе матери пронеслась улыбка:

— Даже легче.

Вероятно, Надя спрятала лицо в подушку или [redacted] колени матери, потому что сказала очень глухо:

— Ох, мамочка, трудно!

Александр уж хотел с досадой повернуться на другой бок, но вспомнил, что он крепко спит, поэтому только недовольно выпятил губы: все у них какие-то нежности, а потом масло какое-то! Странные эти женщины, ну, и говорили бы дело!

— Это верно, нужен маленький опыт...

И не слышно, как мать договорила. Вот мастера шептаться!

Надя заговорила быстрым возбужденным шепотом:

— Мамочка, тебе хорошо говорить: маленький опыт! А если ничего нет, никакого самого маленького, а? Скажи, как это так: опыт любви, да? Скажи, да? Опыт любви? Ой, я ничего не понимаю.

«Сейчас заплачет»,— решил Александр и еле заметно вздохнул.

— Не опыт любви, что ты! Опыт любви — это звучит как-то даже некрасиво. Опыт жизни.

— Какая же у меня жизнь?

— У тебя? Большая жизнь,— семнадцать лет. Это большой опыт.

— Ну, скажи, ну, скажи! Да говори же, мама.

Мать, видимо, собиралась с мыслями.

— Ты не скажешь?

— Ты [illegible] сама знаешь, не прикидывайся.

— Я прикидываюсь?

— Ты знаешь, что такое женское достоинство, женская гордость. Мужчина легко смотрит на женщину, если у нее нет этой гордости. Ты знаешь, как это легко сдержать себя, не броситься на первый огонек.

— А если хочется броситься?

Александр совсем начинал грустить, когда же, наконец, они будут говорить о том самом вечере. И что такое случилось? Говорят, как [illegible] книгах: броситься, огонек!

Мать сказала строго и гораздо громче, чем раньше:

— Ну, если уж очень слаба, бросайся, пожалуй. Слабый человек, он везде проиграет и запутается. От слабости люди счастье пропивают.

— А почему раньше было строго? А теперь почему такая свобода: хочешь женишься, хочешь разводишься? Почему при Советской власти такая свобода?

Мать ответила так же строго:

— При Советской власти расчет идет на настоящих людей. Настоящий человек сам знает, как поступить. А для слякоти всегда упаковка нужна, чтобы не разлезалась во все стороны.

— По-твоему, я слякоть?

— А почему?

— А вот видишь: влюбилась... чуть не влюбилась...

Александр даже голову поднял с подушки, чтобы слушать обоими ушами:

— Чуть или не чуть, [illegible] этого не боюсь. Ты у меня умница, и тормоза у тебя есть. Я не за то на тебя обижаюсь.

— А за что?

— Я от тебя такого малодушия не ожидала. Я думала, у тебя больше этой самой гордости, женского достоинства. А ты второй раз встретилась с человеком и уже прогуляла с ним до часу ночи.

— Ох!

— Это же, конечно, слабо. Это некрасиво по отношению к себе.

Наступило молчание. Наверное, Надя лежала на подушке, и ей было стыдно говорить. Потому что и Александру стало как-то не по себе. Мать вышла из спальни [illegible] направилась [illegible] кухню умываться. Надя совсем затихла.

Александр Волгин громко потянулся, кашлянул, зевнул, вообще показал, что он насилу проснулся от крепкого сна и встречает день, не подозревая [illegible] нем ничего плохого. За завтраком он рассматривал лица матери [illegible] сестры и наслаждался своим знанием. У Нади ничего особенного [illegible] лице не было, представлялась она шикарно, даже шутила и улыбалась.

Только глаза у нее, конечно, покраснели и волосы были не так хорошо причесаны, как всегда, и вообще она не была такая красивая, как раньше Мать разливала чай и смотрела в чашки с тонкой суховатой улыбкой, которая, может быть, выражала печаль. Потом мать быстро взглянула на Александра и действительно улыбнулась:

— Ты чего это гримасничаешь?

Александр спохватился и быстро привел в порядок свою физиономию, которая, действительно, что-то такое выделывала, не согласовав своего поведения с хозяином.

— Ничего я не гримасничаю.

Надя метнула в брата задорный насмешливый взгляд, еле заметно два-три раза качнула головой и... ничего не сказала. Это было довольно высокомерно сделано и, пожалуй, годилось для вчерашнего дня, но сегодня стояло в оскорбительном противоречии с осведомленностью Александра. Он мог бы ее так срезать... Но тайна была дороже чести, и Александр ограничился формальным отпором.

— Скажи пожалуйста! И чего ты так смотришь?

Надя улыбнулась:

— У тебя такой вид, как будто ты географию сдал на «отлично».

В этих словах сверкнула насмешка, но она не успела как следует задеть Александра. Широким фронтом вдруг надвинулась на него география, заблестела реками и каналами, заходила в памяти городами и цифрами. Между ними прятался целый комплекс: и честь, и отец, и «удочки» в третьей четверти, и соревнование с пятым «Б» Сегодня испытание. Александр махнул рукой на сестру и бросился к учебнику.

Но, идя в школу, он все время вспоминал утренний разговор. Воспоминание проходило на общем приятном фоне: Александр Волгин знает секрет, и никто об этом не догадывается. На этом фоне располагались разные рисунки, но Александр не умел еще видеть их все сразу. То один выделялся, то другой, и каждый говорил только за себя. Был приятный рисунок, говорящий, что сестра в чем-то виновата, но рядом другой то и дело царапал его душу,— неприятно было, что с сестрой что-то случилось. И тут же было написано широким ярким мазком все их девичье царство, по-прежнему привлекательное и похожее на высокие белые облака. И без всяких облаков прыгали ехидные карикатуры: эти девушки только представляются, а на самом деле, может быть, Володька и прав. Потом все это терялось и забывалось, и вспоминались слова матери в утреннем разговоре, какие-то слова необычные и важные, о которых все больше и больше хотелось думать, но о которых думать он не умел, а только вспоминал их теплую, мудрую силу. Вспоминал слова о том, как мужчина легко смотрит на женщину. Что-то было в этих словах интересное, но что это такое, он не мог разобрать, потому что впереди торчало большое и близкое слово «мужчина». Мужчина — это он, Александр Волгин. После того разговора с отцом это слово часто приходило. Это было что-то сильное, суровое, терпеливое и очень секретное. Потом и этот рисунок стирался, выступали откровенные подпольные мысли о стыдном, скабрезные рассказы Ильи Комаровского и настойчивый цинизм Володьки Уварова. Но и это исчезло, и опять блестят на ярко-синем небе высокие белые облака и улыбаются чистые, нежные девушки.

Все это бродило вокруг души Александра Волгина, толкалось ■ ее стены, по очереди о чем-то рассказывало, но ■ душе сидел только отцовский подарок — мужчина, выразитель силы и благородства.

Александр рано пришел ■ школу. Испытания начнутся ■ одиннадцать часов, а сейчас только четверть одиннадцатого. Возле карт уж работало несколько человек. В школьном скверике гулял Володька Уваров и важничал, заложив руки за спину. Неужели он так хорошо подготовил географию? Володька задал несколько светских вопросов о самочувствии, о Сандвичевых островах, о видах на «отлично», сам высказал пренебрежительное намерение сдать на «удочку» и вдруг спросил:

— Твоя сестра уже вышла замуж?

Александр вздрогнул всем своим организмом ■ влепился ■ Володьку широко открытыми глазами:

— Что?

— Хо! Она вышла замуж, а он не знает! Дела!

— Как ты говоришь! Вышла замуж? Как это?

— Вот теленок! Он не знает, как выходят замуж. Очень просто: раз, раз, а через девять месяцев пацан.

Володька стоял, заложив руки за спину, крепко держа на шее красивую, круглую голову.

— Ты врешь!

Володька пожал плечами, как взрослый, ■ улыбнулся редкой своей улыбкой:

— Сам увидишь.

И направился к зданию. Александр не пошел за ним, а сел на скамью и начал думать. Думать было трудно, он ничего не придумал, но вспомнил, что он должен быть мужчиной. К счастью география прошла отлично, ■ Александр радостный побежал домой. Но когда он увидел сестру, радость мгновенно исчезла. Надя сидела ■ кабинете и что-то выписывала ■ тетрадь. Александр постоял в дверях и неожиданно для себя двинулся к ней. Она подняла голову.

— Ну, как география?

— География? География на «отлично». А вот ты мне скажи.

— Что тебе сказать?

Александр вздохнул громко и выпалил:

— Скажи, ты вышла замуж или нет?

— Что?

— Вот... ты мне скажи... ты вышла замуж или нет?

— Я вышла замуж? Что ты мелешь?

— Нет, ты скажи.

Надя внимательно присмотрелась к брату, встала и взяла его за плечи:

— Подожди. Что это значит? О чем ты спрашиваешь?

Александр поднял глаза и взглянул ей ■ лицо. Оно было гневное и чужое. Она оттолкнула его и выбежала из комнаты. Слышно было, как в спальне она заплакала. Александр Волгин стоял у письменного стола и думал. Но думать было трудно. Он побрел ■ столовую. В дверях на него налетела мать.

— Какие гадости ты наговорил Наде?

И вот снова Александр Волгин сидит против отца и снова близко может рассматривать его серебряные звезды. Но сейчас Александр спокоен, он может смотреть отцу прямо в глаза, и отец отвечает ему улыбкой:

— Ну?

— Я тебе обещал...

— Обещал.

— Я сказал, что буду мужчиной.

— Правильно.

— Ну, вот так и делал... все так делал.

— Только одно сделал неправильно.

— Не как мужчина?

— Да. У Нади не нужно было спрашивать.

— А у кого?

— У меня.

— У тебя?!

— Ну, рассказывай.

И Александр Волгин рассказал отцу все, даже подслушанный утренний разговор. А когда рассказал, прибавил:

— Я хочу знать, вышла она замуж или не вышла. Мне нужно знать.

Отец слушал внимательно, иногда утвердительно кивал головой и не задал ни одного вопроса. Потом он прошелся по кабинету, взял на столе папиросу, окружил себя облаком дыма и в дыму замахал спичкой, чтобы она потухла. И в это время спросил, держа папироску в зубах:

— А для чего тебе это нужно знать?

— А чтобы Володька не говорил.

— Чего?

— Чтобы не говорил, что замуж вышла.

— Почему этого нельзя говорить?

— Потому что он врет.

— Врет? Ну, пускай врет.

— Как же? А он все будет врать.

— Да что же тут обидного? Разве выйти замуж это плохо?

— Он только говорит: замуж...

— Ну?

— А он говорит... такое... он гадости говорит.

— Ага... значит, ты разобрал.

— Разобрал.

Александр кивнул головой, сам себе подтверждая, что действительно разобрал.

Отец подошел к нему вплотную, взял его за подбородок и посмотрел в глаза серьезно и сурово:

— Да. Ты мужчина. Ну... и дальше всегда разбирай. Все.

Александр на следующий день не подошел к Володьке и сел на другой парте. На перемене Володька положил ему руку на плечо, но Александр Волгин резко сбросил его руку с плеча:

— Отстань!

Володька покривил губы и сказал:

— Думаешь, нуждаюсь?

На этом вся история, собственно говоря, и кончается. Пути Володьки Уварова и Александра Волгина разошлись надолго, может быть, навсегда. Но был такой день, всего через две недели, в последний день учебного года, когда эти пути на короткую минуту снова скрестились.

В том же скверике в группе мальчиков Володька говорил:

— Клавка в десятом классе первая...

Мальчики с хмурой привычкой слушали Володьку.

Александр прошел сквозь их толпу и стал против рассказчика:

— Ты сейчас наврал! Нарочно наврал!

Володька лениво повел на него глазом:

— Ну так что!

— Ты всегда врешь! И раньше все врал! И сегодня!

Мальчики в его тоне услышали что-то новое и по-новому бодрое. Они подвинулись ближе. Володька поморщился:

— Некогда чепуху слушать...

Он двинулся в сторону. Александр не тронулся с места.

— Нет, ты не уходи!

— О, почему?

— А я сейчас буду бить тебя!

Володька покраснел, но по-английски сжал губы и прогнусавил:

— Интересно, как ты будешь бить меня?

Александр Волгин размахнулся и ударил Володьку в ухо. Володька немедленно ответил. Завязалась хорошая мальчишеская драка, в которой всегда трудно разобрать, кто победитель. Пока подбежал кто-то из старших, у противников текла из носов кровь и отлетело несколько пуговиц. Высокий десятиклассник спросил:

— Чего это они? Кто тут виноват?

Одинокий голос сказал примирительно:

— Да подрались, и все. Одинаково.

Мальчики недовольно загудели:

— Одинаково! Сказал! Этому давно нужно!

Добродушный голос Кости Нечипоренко спокойно разрезал общий гул:

— Не одинаково. Есть большая разница. Волгин этого гада за сплетни бил, а он .. конечно, отмахивался!

Мальчики громко рассмеялись.

Володька провел рукавом по носу, быстро всех оглянул и направился к зданию. Все глядели ему вслед: в его походке не было ничего английского.

Никакие разговоры о «половом» вопросе с детьми не могут что-либо прибавить к тем знаниям, которые и без того придут в свое время. Но они опошлят проблему любви, они лишат ее той сдержанности, без которой любовь называется развратом. Раскрытие тайны, даже самое мудрое, усиливает физиологическую сторону любви, воспитывает не половое чувство, а половое любопытство, делая его простым и доступным.

Культура любовного переживания невозможна без тормозов, организованных в детстве. Половое воспитание и должно заключаться в воспитании того интимного уважения к вопросам пола, которое называется цело-

мудрием. Уменье владеть своим чувством, воображением, возникающими желаниями — это важнейшее уменье, общественное значение которого недостаточно оценено.

Многие люди, говоря о половом воспитании, представляют себе половую сферу как нечто совершенно изолированное, отдельное, как что-то такое, с чем можно вести дело с глазу на глаз. Другие, напротив, делают из полового чувства какой-то универсальный фундамент для всего личного и социального развития человека; человек в их представлении есть всегда и прежде всего самец или самка. Естественно, и они приходят к мысли, что воспитание человека должно быть прежде всего воспитанием пола. И те и другие, несмотря на свою противоположность, считают полезным и необходимым прямое и целеустремленное половое воспитание.

Мой опыт говорит, что специальное, целеустремленное, так называемое половое воспитание может привести только к печальным результатам. Оно будет «воспитывать» половое влечение в такой обстановке, как будто человек не пережил длинной культурной истории, как будто высокие формы половой любви уже не достигнуты во времена Данте, Петрарки и Шекспира, как будто идея целомудренности не реализовалась людьми еще в древней Греции.

Половое влечение не может быть социально правильно воспитано, если мыслить его существующим обособленно от всего развития личности. Но и в то же время нельзя половую сферу рассматривать как основу всей человеческой психики и направлять на нее главное внимание воспитателя. Культура половой жизни есть не начало, а завершение. Отдельно воспитывая половое чувство, мы еще не воспитываем гражданина, воспитывая же гражданина, мы тем самым воспитываем и половое чувство, но уже облагороженное основным направлением нашего педагогического внимания.

И поэтому любовь не может быть выращена просто из недр простого зоологического полового влечения. Силы «любовной» любви могут быть найдены только в опыте неполовой человеческой симпатии. Молодой человек никогда не будет любить свою невесту и жену, если он не любил своих родителей, товарищей, друзей. И чем шире область этой неполовой любви, тем благороднее будет и любовь половая.

Человек, который любит свою родину, народ, свое дело не станет развратником, его взгляд не увидит в женщине только самку. И совершенно точным представляется обратное заключение: тот, кто способен относиться к женщине с упрощенным и бесстыдным цинизмом, не заслуживает доверия как гражданин; его отношение к общему делу будет так же цинично, ему нельзя верить до конца.

Половой инстинкт, инстинкт огромной действенной силы, оставленный в первоначальном, «диком» состоянии или усиленный «диким» воспитанием, может сделаться только антиобщественным явлением. Но связанный и облагороженный социальным опытом, опытом единства с людьми, дисциплины и торможения,— он становится одним из оснований самой высокой эстетики и самого красивого человеческого счастья.

Семья — важнейшая область, где человек проходит свой первый общественный путь! И если этот путь организован правильно, правильно пойдет и половое воспитание. В семье, где родители деятельны, где их авторитет

естественно вытекает из их жизни и работы, где жизнь детей, их первые общественные движения, их учеба, игра, настроения, радости, огорчения вызывают постоянное внимание родителей, где есть дисциплина, распоряжения и контроль, в такой семье всегда правильно организуется и развитие полового инстинкта у детей. В такой семье никогда не возникнет надобности в каких-либо надуманных и припадочных фокусах, не возникнет, во-первых, потому, что между родителями и детьми существует совершенно необходимая черта деликатности и молчаливого доверия. На этой черте взаимное понимание возможно без применения натуралистического анализа и откровенных слов. И, во-вторых, на той же черте значительным и мудрым будет каждое слово, сказанное вовремя, экономное и серьезное слово о мужественности и целомудрии, о красоте жизни и ее достоинстве, то слово, которое поможет родиться будущей большой любви, творческой силе жизни.

В такой атмосфере сдержанности и чистоты проходит половое воспитание в каждой здоровой семье.

Будущая любовь наших детей будет тем прекраснее, чем мудрее и немногословнее мы будем о ней говорить с нашими детьми, но эта сдержанность должна существовать рядом с постоянным и регулярным вниманием нашим к поведению ребенка.

Никакая философия, никакая словесная мудрость не принесет пользы, если в семье нет правильного режима, нет законных пределов для поступка.

Старый интеллигентский «российский» разгон умел объединять, казалось бы, несовместимые вещи. С одной стороны, мыслящие интеллигенты всегда умели высказывать самые радикальные и рациональные идеи, часто выходящие даже за границы скромной реальности, и в то же время всегда обнаруживали страстную любовь к неряшливости и к беспорядку. Пожалуй, в этом беспорядке с особенным вкусом видели что-то высшее, что-то привлекательное, что-то забирающее за живое, как будто в нем заключались драгоценные признаки свободы. В разном хламе бытовой богемы умели видеть некоторый высокий и эстетический смысл. В этой любви было что-то от анархизма, от Достоевского, от христианства. А между тем в этой беспорядочной бытовой «левизне» ничего нет, кроме исторической нищеты и оголенности. Иные современники в глубине души еще и сейчас презирают точность и упорядоченное движение, целесообразное и внимательное к мелочам бытие.

Бытовая неряшливость не может быть в стиле советской жизни. Всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении, мы должны вытравливать этот задержавшийся богемный дух, который только по крайнему недоразумению считается некоторыми товарищами признаком поэтического вкуса. В точности, собранности, в строгой и даже суровой последовательности, в обстоятельности и обдуманности человеческого поступка больше красоты и поэзии, чем в любом «поэтическом беспорядке».

Что у нас не совершенно исчезли эти «сверхчеловеческие» симпатии к неряшливости быта, лучшим доказательством является стихотворение Вадима Стрельченко, помещенное в пятом номере «Красной нови» за 1937 год.

Не в дому рожденному

В синем небе — тучи, солнце и луна...
Праздничны — акации. Улица шумна.
Что там? Все столпились... Крик на мостовой.
Что там?
Только лошадь вижу за толпой...
Что там?
«Да роженица! Редкие дела:
Как везли в больницу, тут и родила».
Кто бежит в аптеку, кто жалеет мать...
Ну и мне б ребенка в лоб поцеловать:
Не в дому рожденный! Если уж пришлось,—
Полюби ты улицу до седых волос!
Взгляды незнакомые, нежные слова
Навсегда запомни, крошка-голова!
Не в дому рожденный!
Не жалей потом:
Ну,— рожден под солнцем, не под потолком!
Но пускай составят твой семейный круг
Сотни этих сильных
Братьев и подруг.

Что это такое? Поэзия? Шутка? Или серьезно?

Разрешение от бремени на улице, в толпе зевак, среди дикой заботы и диких чувств, есть прежде всего большое несчастье и для матери и для ребенка. По своей санитарной, медицинской, житейской непрезентабельности такое событие может вызвать только возмущение. Это некрасиво, нечистоплотно, опасно для жизни и матери и ребенка. И причины таких явлений не вызывают сомнений: все та же неряшливость, ротозейство, лень, бездумье, неспособность рассчитать, подготовить, организовать, вот эта проклятая манера угорелой кошки всегда спешить и везде опаздывать.

А поэт обрадовался: ему удалось налететь на такой идеально беспорядочный случай. Безобразная, некрасивая история его вдохновила, у него рождаются и эмоции и рифмы. Почему бы ему не вдохновиться таким частым и нормальным случаем, как рождение под потолком, в чистой комнате, в присутствии врача, в обстановке научно-организованной заботы и помощи? Почему? Нет, это пресно, это почти мещанство. А здесь такой красивый бедлам, такой вопиющий беспорядок: и солнце, и луна, и тучи, и лошадь, и крик, и аптека! И «улица шумна»! И он торжествует! Ему не хочется выругать того возмутительного ротозея и лежебоку, мужа или врача, который виноват в этом несчастном случае, ему, видите ли, захотелось «ребенка в лоб поцеловать». В этом желании так много разболтанного и нечистоплотного эгоизма, пьяного воодушевления и довольства жизнью, которые, как известно, всегда носятся с непрошеными поцелуями. Очень жаль, конечно, что этот «не в дому рожденный» не может ничего сказать. Что он мог бы сказать поэту, приставшему к нему с поцелуями, в самый бедственный и трагический момент своей жизни?

— Гражданин! Отстаньте, пожалуйста, с вашими поцелуями, не то я позову милиционера!

Этому ребенку просто некогда разговаривать с поэтом. Он должен крнчать и стонать и как-то выбираться из неприятностей, уготованных для него слишком «поэтическими» взрослыми. И поэтому он ничего не может ответить на восторги поэта и, к своему счастью, пропустит мимо ушей

его дикие пожелания и утверждения. В каком это смысле нужно «полюбить улицу до седых волос»? Зачем нужно запомнить «взгляды незнакомых» уличных зевак и «нежные слова», не имеющие никакого смысла и значения и такие же дешевые, как поцелуи поэта?

В нашей жизни еще встречаются такая умилительная нетребовательность, такие неразборчивость и нечистоплотность. У нас есть еще индивиды, которые действительно полюбили улицу «до седых волос» и вытрезвляются на первом парадном крыльце, а то и просто на тротуаре.

В семье такая неряшливость быта, непривычка к точному времени, к строгому режиму, к ориентировке и расчету очень много приносит вреда и сильнее всего нарушает правильный половой опыт молодежи. О каком можно говорить воспитании, если сын или дочь встают и ложатся, когда вздумается или когда придется, если по вечерам они «гуляют» неизвестно где или ночуют «у подруги» или «у товарища», адрес которых и семейная обстановка просто неизвестны. В этом случае налицо такая бытовая неряшливость (а может быть, и не только бытовая, а и политическая), что говорить о каком-либо воспитании просто невозможно,— здесь все случайно и бестолково, все безответственно

С самого раннего возраста дети должны быть приучены к точному времени и к точным границам поведения. Ни при каких условиях семья не должна допускать каких бы то ни было «ночевок» в чужой семье, за исключением случаев совершенно ясных и надежных. Больше того, все места, где ребенок может задержаться на несколько часов даже днем, должны быть родителям хорошо известны. Если это семья товарища, только родительская лень может помешать отцу или матери с ней познакомиться ближе.

Точный режим детского дня — совершенно необходимое условие воспитания. Если нет у вас такого режима и вы не собираетесь его установить, для вас абсолютно лишняя работа чтение этой книги, как и всех книг о воспитании.

Привычка к точному часу — это привычка к точному требованию к себе. Точный час оставления постели — это важнейшая тренировка для воли, это спасение от изнеженности, от пустой игры воображения под одеялом. Точный приход к обеду — это уважение к матери, к семье, к другим людям, это уважение к самому себе. А всякая точность — это нахождение в кругу дисциплины и родительского авторитета, это, значит, и половое воспитание.

И в порядке той же бытовой культуры в каждой семье должно быть предоставлено большое место врачу, его совету, его санитарному и профилактическому руководству. Девочки в некоторые периоды особенно требуют этого внимания врача, которому всегда должна помогать и забота матери. Врачебная линия, конечно, главным образом должна лежать на обязанности школы. Здесь уместна организация серьезных бесед по вопросам пола, по ознакомлению мальчиков с вопросами гигиены, воздержания, а в старшем возрасте с опасностью венерических заболеваний.

Необходимо отметить, что правильное половое воспитание в границах одной семьи было бы значительно облегчено, если бы и общество в целом этому вопросу уделяло большое активное внимание. В самом обществе должны все сильнее и требовательнее звучать настойчивые суждения об-

щественного мнения и моральный контроль над соблюдением нравственной нормы.

С этой точки зрения нужно в особенности коснуться такой «мелочи», как матерная ругань.

Очень культурные люди, ответственные работники, прекрасно владеющие русским языком, находят иной раз в матерном слове какой-то героический стиль и прибегают к нему по всякому поводу, ухитряясь сохранить на физиономии выражение острого ума и высокой культурности. Трудно понять, откуда идет эта глупая и дикая традиция.

В старое время матерное слово, может быть, служило своеобразным коррективом к нищенскому словарю, к темному косноязычию. При помощи матерной стандартной формулы можно было выразить любую примитивную эмоцию, гнев, восторг, удивление, осуждение, ревность. Но большей частью она даже не выражала никаких эмоций, а служила технической связкой, заменяющей паузы, остановки, переходы,— универсальное вводное предложение. В этой роли формула произносилась без какого бы то ни было чувства, она показывала только уверенность говорящего, его речевую развязность.

За двадцать лет наши люди научились говорить. Это бросается в глаза, это можно видеть на любом собрании. Нищенское косноязычие ни в какой мере не характерно для наших людей. Это произошло не только благодаря широкому распространению грамотности, книги, газеты, но и, главным образом, благодаря тому, что советскому человеку было о чем говорить, существовали мысли и чувства, которые и нужно было выразить и можно было выразить. Наши люди научились без матерного слова высказывать мысли по любому вопросу. Раньше они не умели этого делать и пробавлялись общепринятым и взаимно заменяемым стандартом:

— Да ну их к...!

— Что же ты...!

— Здорово...!

— Я тебя...!

Даже и связная речь, в сущности, была связана из таких же элементов:

— Подхожу,..., к нему, а он..., говорит: пошел ты к... Ах, ты..., думаю! На... ты мне нужен... Да в таких..., как ты..., видел... тысячи.

Матерное слово потеряло у нас свое «техническое» значение, но все же сохраняется в языке, и можно даже утверждать, что оно получило большое распространение и участвует в речи даже культурных людей. Теперь оно выражает молодечество, «железную натуру», решительность, простоту и презрение к изящному. Теперь это своего рода кокетство, цель которого понравиться слушателю, показать ему свой мужественный размах и отсутствие предрассудков.

В особенности любят его употреблять некоторые начальники, разговаривая с подчиненными. Получается такой, непередаваемой прелести, шик: сидит ответственнейший могущественный деятель за огромным письменным столом, окружен кабинетной тишиной, мягкостью, монументальностью, обставлен телефонами и диаграммами. Как ему разговаривать? Если ему разговаривать точным языком, деловито, вежливо,— что получится? Могут сказать: бюрократ сидит. А вот если при всем своем могу-

ществе [redacted] блеске рассыпает он гремящее, или шутливое, или сквозь зубы матерное слово, тогда подчиненные, с одной стороны, и трепещут больше, [redacted] с другой стороны — и уважают. Прибегут [redacted] свою комнату и восторгаются:

— Ох, [redacted] крыл же! Ох, и крыл...!

И получается не бюрократ, [redacted] свой парень, [redacted] отсюда уже близко и до «нашего любимого начальника».

И женщины привлекаются к этим любовным утехам. При них, конечно, не выражаются открыто, а больше символически.

— Жаль, что здесь Анна Ивановна, а то я иначе бы с вами говорил!

И Анна Ивановна улыбается с любовью, потому что и ей начальник оказал доверие. Любимый начальник!

А так как каждый человек всегда над кем-нибудь начальствует, то каждый и выражается в меру своих способностей и прерогатив. Если же он последний [redacted] иерархическом ряду и ни над кем не начальствует, то он «кроет» неодушевленные предметы, находящиеся [redacted] его распоряжении: затерявшуюся папку, непокорный арифмометр, испорченное перо, завалившиеся ножницы. В особо благоприятной обстановке он «кроет» соседнего сотрудника, соседнее отделение и, снижая голос на семьдесят пять процентов, «любимого» начальника.

Но не только начальники украшают свою речь такими истинно русскими орнаментами. Очень многие люди, [redacted] особенности в возрасте 20—22 лет, любят щегольнуть матерным словом. Казалось бы, что немного нужно истратить интеллектуальной энергии, чтобы понять, что русский революционный размах нечто диаметрально противоположное русскому пьяному размаху, а вот не все понимают же! Не все понимают такую простую, абсолютно очевидную вещь, что матерное слово есть неприкрашенная, мелкая, бедная и дешевая гадость, признак самой дикой, самой первобытной культуры,— циничное, наглое, хулиганское отрицание и нашего уважения к женщине, и нашего пути [redacted] глубокой и действительно человеческой красоте.

Но если для женщины это свободно гуляющее похабное слово только оскорбительно, то для детей оно чрезвычайно вредно. С удивительным легкомыслием мы терпим это явление, терпим его существование рядом с нашей большой и активной педагогической мечтой.

Необходимо поднять решительную, настойчивую и постоянную борьбу против площадного слова, если не из соображений эстетических, то из соображений педагогических. Трудно подсчитать, а еще труднее изобразить тот страшный вред, который приносит нашему детству, нашему обществу это наследие рюриковичей[15].

Для взрослого человека матерное слово просто неудержимо оскорбительное грубое слово. Произнося его или выслушивая, взрослый испытывает только механическое потрясение. Матерное слово не вызывает у него никаких половых представлений или переживаний. Но когда это слово слышит или произносит мальчик, слово не приходит [redacted] нему, как условный ругательный термин, оно приносит с собой и присущее ему половое содержание. Сущность этого несчастья не в том, что обнажается перед мальчиком половая тайна, [redacted] в том, что она обнажается в самой безобразной, циничной и безнравственной форме. Частое произношение таких слов при-

учает его к усиленному вниманию к половой сфере, к однобокой игре воображения, и это приводит к нездоровому интересу к женщине, к ограниченной и слепой впечатляемости глаза, к мелкому, надоедливому садизму словечек, анекдотов, каламбуров. Женщина приближается к нему не в полном наряде своей человеческой прелести и красоты, не в полном звучании своей духовной и физической нежности, таинственности и силы, а только как возможный объект насилия и пользования, только как оскорбленная самка. И любовь такой юноша видит с заднего двора, с той стороны, где человеческая история давно свалила свои первобытные физиологические нормы. Этими отбросами культурной истории и питается первое неясное половое воображение мальчика.

Не нужно, конечно, преувеличивать печальные последствия этого явления. Детство, жизнь, семья, школа, общество, книга дают мальчику и юноше множество противоположных толчков и импульсов, вся наша жизнь, деловое и товарищеское общение с девушкой и женщиной приносят новую пищу для более высоких чувств, для более ценного воображения.

Но не нужно и преуменьшать.

Каждый мужчина, отказавшийся от матерного слова, побудивший к этому товарища, потребовавший сдержанности от каждого встречного, разошедшегося «героя», принесет огромную пользу и нашим детям и всему нашему обществу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вера Игнатьевна Коробова работает в библиотеке большого завода, выстроенного на краю города. Обыкновенно она возвращается домой к пяти часам вечера. Сегодня она, ее помощницы и сочувствующие задержались позже — готовились к диспуту. Диспут будет завтра. На диспут ожидают автора, одного из крупных писателей. Читатели любят его книги, любит их и Вера Игнатьевна. Сегодня она с радостью возилась над витриной. Любовно и тщательно она расположила за бортиками реек всю критическую литературу о писателе, красиво подставила к журнальным страницам строчки рекомендательных надписей, а в центре витрины укрепила портрет писателя. Портрет был хороший, редкий, писатель смотрел с добродушной домашней грустью, и поэтому вся витрина казалась интимно близкой и какой-то родной. Когда работа была кончена, Вера Игнатьевна долго не могла наладить себя на дорогу домой, хотелось еще что-нибудь сделать и не хотелось уходить.

Вера Игнатьевна особенно любила свою библиотеку в эти вечерние часы. Она любила с особенной заботливой нежностью принимать со столов и размещать на полках возвращенные читателями книги, приводить в порядок карточки и наблюдать, чтобы старая Марфа Семеновна везде убрала пыль. На ее глазах в библиотеке располагался уютный, отдыхающий порядок, и тогда можно уходить домой, но еще лучше, вот как сегодня, остаться поработать в небольшой компании таких же любителей, как она сама.

В затененных проходах между полками только в некоторых местах корешки книг освещены светом лампы над столом. В этих местах книги

смотрят с таким выражением, как будто они вышли погулять на освещенную вечернюю улицу. Подальше, в полутени, книги мирно сумерничают, о чем-то толкуют тихонько, довольные, что сегодня они не стоят в одиночестве. В далеких черных углах крепко спят старики-журналы, которые и днем любят подремывать, кстати, [redacted] читатели редко их беспокоят. Вера Игнатьевна хорошо знала свое книжное царство. В ее представлении каждая книга имеет свою физиономию [redacted] свой особый характер. Характер составляется [redacted] довольно сложном плане из внешнего вида книги, общего рисунка ее содержания, но главным образом из типа отношений между книгой и читателем.

Вот, например, «Наши знакомые» Германа. Это толстенькая, моложавая женщина с хорошеньким личиком, болтливая и остроумная, но какая-то несерьезная, чудачка. Ее компанию составляют главным образом девчонки семнадцати-восемнадцати лет. Несмотря на то, что она гораздо старше их, они с нею [redacted] приятельских и коротких отношениях, и, судя по лицам читателей, эта толстушка рассказывает им что-то такое, чего в тексте даже и не прочитаешь. Мужчины возвращают эту книгу с ироническим выражением, как будто говорят: «М-да!»

«Как закалялась сталь» — это книга святая, ее нельзя небрежно бросить на стол, при ней неловко сказать сердитое слово.

«Дорога на океан» — это серьезный хмурый товарищ, он никогда не улыбается, с девчонками принципиально не кланяется, [redacted] водит компанию только с суховатыми худыми мужчинами [redacted] роговых очках. «Энергия» — это молчальница, книга с меланхолическим характером, на читателя смотрит недружелюбно, и читатель ее боится, [redacted] если обращается к ней, то исключительно вежливо и только по делу. «Разгром» — это старый известный доктор, у которого очередь записавшихся и который принимает читателей с выражением добросовестной, хорошей трудовой усталости. Читатель эту книгу возвращает с спокойной благодарностью, уверенный, что книга ему помогла [16].

Даже в руках Веры Игнатьевны, когда она отмечает выдачу или возвращение, книги держат себя по-разному. Одни покорно ожидают, пока их запишут, другие рвутся из рук, побуждаемые горячими взглядами читателей, третьи упрямятся [redacted] хотят обратно на полку,— это потому, что читатель встречает их отчужденным [redacted] холодным взглядом.

В представлении Веры Игнатьевны книги жили особенной, интересной и умной жизнью, которой Вера Игнатьевна даже немного завидовала, но которую все же любила.

Вере Игнатьевне тридцать восемь лет. В ее лице, в плечах, в белой шее сохранилось еще очень много молодости, но Вера Игнатьевна об этом не знает, потому что о себе она никогда не думает. Она думает только о книгах и о своей семье, и этих дум всегда так много, что они не помещаются [redacted] ее сознании, толпятся в беспорядке и не умеют соблюдать очередь.

Как ни приятно остаться вечером [redacted] библиотеке, а думы тянут домой. Вера Игнатьевна быстро собирает [redacted] сумочку разную мелочь и спешит к трамваю. В тесном вагоне она долго стоит, придерживаясь за спинку ди-

вана, и в это время сдержанная, шепчущая жизнь книг постепенно замирает, а на ее место приходят дела домашние

Сегодня она возвращается домой поздно, значит, и вечер будет напряженный Еще в трамвае [redacted] се душе начинают хозяйничать заботы сегодняшнего вечера, они распоряжаются ее временем с некоторым удовольствием Откуда берется это удовольствие — она не знает. Иногда ей кажется, что это от любви. Очень возможно, что это так [redacted] есть. Когда встает перед ней лицо Павлуши или Тамары, Вера Игнатьевна уже не видит ни пассажиров, ни пробегающих улиц, не замечает толчков и остановок, не ощущает и собственного тела, [redacted] ремешок сумочки и трамвайный билет держатся между пальцами как-то сами собой, по установившейся привычке. У Павлуши хорошенькое чистое лицо, [redacted] глаза карие, но в белках столько синевы, что весь Павлуша так и представляется золотисто-синеватым мальчиком. И лицо, и глаза Павлуши — это такое пленительное видение, что Вера Игнатьевна даже и думать не может, [redacted] только видит, видит и больше ничего. О Тамарочке она, напротив, может [redacted] думать Тамара, правда, несомненная красавица. Вера Игнатьевна таким же неотрывным взглядом всегда видит в ней что-то исключительно прелестное, женственное, нежное. Этого так много [redacted] ее длинных ресницах, [redacted] темных кудряшках на висках и на затылке, в пристальном, глубоком и таинственном взгляде серьезных глаз, неизъяснимом очаровании движений. О Тамаре она часто думает.

Жизнь самой Веры Игнатьевны с незапамятных времен катилась по одним и тем же рельсам. Этот прямой и гладкий рельсовый путь был проложен по равнинам труда, ежедневных однообразных забот,— однообразного кружева мелочей, которые никогда не оставляли ее [redacted] течение дня, [redacted] так и ходили вокруг нее все одними и теми же петельками, кружочками и крестиками Мимо Веры Игнатьевны с потрясающим грохотом пронеслась революция, она чувствовала ее горячий ветер, она видела, как на этом ветру стремительно подхватило и унесло старую жизнь, старых людей, старые обычаи. Трудовой человек, она радовалась этому животворному вихрю, но оторваться от кружева мелочей она не могла ни на одну минуту, потому что это кружево было для кого-то необходимо Вера Игнатьевна никогда не думала, что это — долг, она просто не могла себе представить, как это можно разорвать какую-нибудь петлю в кружеве, если от этого благим матом может заорать Тамарочка, или Павлуша, или Иван Петрович. Она и замуж вышла за Ивана Петровича, как будто вывязала очередной узор кружева, а не выйти замуж было нельзя: Иван Петрович, по крайней мере, мог бы захныкать

Вера Игнатьевна на свою жизнь никогда не жаловалась, в последнем счете все окончилось хорошо, и теперь можно с радостью смотреть на своих детей и думать о них. А кроме того, ее жизнь украшается книгами. Впрочем, Вера Игнатьевна никогда не занималась анализом своей жизни,— было некогда. Что хорошего, что плохого в жизни,— разобрать трудно. Но когда ее мысль доходила до Тамары, она начинала работать неожиданно оригинально. Не было сомнений [redacted] том, что жизнь Тамары должна пройти иначе. Сейчас Тамара в архитектурном институте, что-то там зубрит, на ее столе лежит начатый чертеж: какие-то «ордера» [redacted] капители[17], какие-то львы с очень сложными хвостами, похожими на букеты, и с птичьими клювами. Конечно, судьба Тамары вовсе не [redacted] этих львах, [redacted] в

чем-то другом. О чем — не совсем было ясно, но это было то, что в книгах называется счастьем. Счастье Вера Игнатьевна представляла себе как лучезарное шествие женщины, как убийственно гордый ее взгляд, как радость, от нее исходящая. По всему было видно, что Тамара создана для такого счастья и сама в нем не сомневается.

Вера Игнатьевна машинально протолкалась к выходу и быстро пробежала короткое расстояние до своего дома. Тамара открыла ей. Вера Игнатьевна бросила сумочку на подоконник в передней и заглянула в столовую.

— Павлуша обедал?

— Обедал.

— Он куда-нибудь ушел?

— Не знаю. Кажется, на коньках.

И в том, что все обедали, и в том, что Павлуша катается на коньках, можно было не сомневаться. Куски пищи были разбросаны по столу, и стояли тарелки с остатками обеда. В передней валяются по полу комочки земли, какие-то веревочки, обрезки проволоки.

Вера Игнатьевна привычным жестом откинула со лба прямые волосы, оглянулась и взяла в передней щетку. Тамара села в широком кресле, распустила волосы, мечтательно устремила в окно хорошенькие глазки.

— Мама, ну как же с туфлями?

Выметая из-под ее кресла, мать негромко сказала:

— Тамарочка, может быть, обойдешься?

Тамара с грохотом отодвинула кресло, швырнула на стол гребень, глаза ее вдруг перестали быть хорошенькими. Она протянула к матери розовые ладони, ее шелковый халатик распахнулся, розовые бантики белья тоже глянули на Веру Игнатьевну сердито.

— Мама! Как ты говоришь! Даже зло берет! Платье коричневое, а туфли розовые! Что это за туфли!

Тамара с возмущением дрыгнула ножкой, обутой в симпатичную розовую туфельку. В этот момент ее костюм не содержал никаких противоречий: халатик тоже розовый, и чулки розовые.

Вера Игнатьевна задержала щетку и сочувственно посмотрела на ножку Тамары.

— Ну, что же... купим. Вот будет получка!

Тамара взглядом следила за работой щетки. По всем законам физики и геометрии ее взгляд должен был бы натолкнуться на истоптанные, покривившиеся, потерявшие цвет туфли матери, но этого почему-то не случилось. Тамара обвела комнату усталым от страдания взглядом.

— Надоело,— сказала она,— сколько уже получек прошло!

Тамара вздохнула и направилась в спальню. Вера Игнатьевна окончила уборку столовой и ушла в кухню мыть посуду. Из кухонного шкафика она достала старенький бязевый халатик, надела на себя. Домработницы у Коробовых нет. По договоренности жена дворника Василиса Ивановна приходит в два часа и готовит обед для Тамары и Павлуши. Иван Петрович и Вера Игнатьевна предпочитают обедать на работе,— это удобнее, меньше уходит времени.

Примус у Веры Игнатьевны замечательный, она не может им налюбоваться. Стоит два-три раза качнуть насосиком, и он с веселой готовностью

без передышки шумит и гонит настойчивый деловой огонек Вода [redacted] кастрюле закипает в четверть часа. По своей привычке Вера Игнатьевна и к примусу относится с любовью и знает [redacted] нем личный характер, очень симпатичный [redacted] дружеский, а главное такой... рабочий.

Умеет Вера Игнатьевна разбирать и выражение физиономий грязных тарелок. Она готова даже улыбнуться, глядя на них,— такой у них приятный [redacted] смешной вид. Они с молчаливым, доверчивым ожиданием наблюдают за ее хлопотами, они с нетерпением ждут купанья в горячей воде. Наверное, у них кожа чешется от нетерпения.

Вера Игнатьевна любила жизнь окружающих вещей и наедине с ними чувствовала себя хорошо. Она иногда даже разговаривала с ними. За работой лицо Веры Игнатьевны оживлялось, [redacted] глазах перебегали с шутками [redacted] дурачились смешливые зайчики, полные губы по-домашнему иногда даже улыбались. Но на глазах у людей, даже и близких, все это легкомысленное оживление исчезало: неловко было дурачиться перед людьми, неловко [redacted] несерьезно, Вера Игнатьевна не привыкла.

Сегодня она за мойкой посуды только самую малость пошутила, [redacted] потом вспомнила о туфлях Тамарочки [redacted] уже до конца думала о них.

Весь этот вопрос о туфлях был изучен ею основательно. Может быть, было ошибкой покупать розовые туфли только потому, что халатик розовый, и вообще нельзя же покупать туфли [redacted] халатику. Но так уже случилось, ничего теперь не поделаешь. Потом была довольно длинная история с коричневым платьем. Платье шелковое, действительно нежно-коричневое. Оно очень идет к карим глазам и темным кудрям Тамары. Но все-таки вопрос о коричневых туфлях возник как-то непредвиденно, сначала казалось, что коричневое платье заканчивает кампанию. Еще третьего дня Вера Игнатьевна, оставшись одна дома, произвела сравнение. Платье было нежно-коричневое, [redacted] туфли розовые, не такие розовые, как розовая роза, а чуть-чуть темнее и не такие яркие. На самое короткое мгновение у Веры Игнатьевны блеснула мысль, что при таких туфлях коричневое платье носить можно. И сами туфли в этот момент как будто кивнули утвердительно. Но это была только минутка слабости, Вера Игнатьевна старалась не вспоминать о ней. Сейчас она вспоминала только расстроенное личико Тамары, и от этого на душе у нее становилось больно.

В наружную дверь постучали. Вера Игнатьевна встряхнула руками над тазом и пошла открыть. Она была очень удивлена: в дверях стоял Андрей Климович Стоянов.

Андрей Климович Стоянов любил библиотеку и книги, пожалуй, не меньше Веры Игнатьевны. Но он был не библиотекарь, [redacted] фрезеровщик, и фрезеровщик какой-то особенный, потому что другие фрезеровщики его фамилию произносили не иначе, как в двойном виде:

— Сам-Стоянов.

— Даже-Стоянов.

— Только-Стоянов.

— Ну!-Стоянов.

— Вот-Стоянов.

Вера Игнатьевна [redacted] одушевленных предметах разбиралась вообще слабее, чем [redacted] неодушевленных, поэтому не могла понять, что такое [redacted] Андрее Климовиче было специально фрезерное? Правда, до нее доносились из це-

хов восторженные сообщения о том, что бригада Стоянова сделала 270—290 процентов, что [redacted] бригаде Стоянова придумали какой-то замечательный «кондуктор», что бригада Стоянова завела целый цветник вокруг своих станков, даже шутили, что бригада будет скоро переименована в «универсально-фрезерную оранжерею имени Андрея Стоянова». И все же в представлении Веры Игнатьевны Андрей Климович выступал исключительно как любитель книги. Ей трудно было понять, как он мог справляться со своими фрезерными, если на самом деле он так влюблен [redacted] книгу. Андрей Климович нарочно устроился работать в вечерней смене, а на выборах в фабзавком сам напросился:

— Приспособьте меня к библиотеке.

Книги Андрей Климович любил по-своему. Книги — это переплетенные люди. Он иногда удивлялся, зачем в книгах описание природы, какого-нибудь дождя или леса. Он приходил [redacted] комнату к Вере Игнатьевне и говорил:

— Человека разобрать трудно, [redacted] человеке тайна есть: писатель разберет, [redacted] наш брат прочитать должен, тогда видно. А дождь — так и есть дождь. Если я на дождь посмотрю, так и разберу сразу — дождь. И какой дождь — разберу, маленький или большой, вредный или не вредный. Лес тоже. Писатель никогда того не напишет, что увидеть можно.

Зато люди, описанные в книгах, всегда вызывали у Андрея Климовича напористое и длительное внимание. Он любил поговорить об этих людях, умел заметить противоречия [redacted] всегда обижался, если писатель был несправедлив к людям.

— Достоевского не люблю. Говорят, хороший писатель, [redacted] я не люблю. Такого про человека наговорит, стыдно читать. Ну, скажем, этот самый Раскольников. Убил он старушенцию, за это суди и взгрей как следует. А тут тебе на! Целый роман написал! И что же вы думаете! Читаю, читаю, [redacted] мне уже его [redacted] жалко стало и зло берет: за что жалею, а все потому, что пристали к человеку, спасения нет.

И вот сейчас Андрей Климович стоит в дверях [redacted] улыбается. Улыбка у него немного застенчивая, нежная и красивая, как будто это не сорокалетний фрезеровщик улыбается, а молодая девушка. И в то же время [redacted] этой улыбке есть много мужественного, знающего себе цену.

— Разрешите, Вера Игнатьевна, зайти, дело есть маленькое.

Андрей Климович и раньше заходил по книжным делам,— живет он на той же улице, но сейчас действительно чувствовалось, что зашел он по какому то особому делу.

— А вы все по хозяйству?

— Да какое там хозяйство! Посуда только. Проходите [redacted] комнату.

— Да нет, давайте здесь, на кухне, можно сказать, в цеху, и поговорим.

— Да почему?

— Вера Игнатьевна, дело у меня... такое, знаете, секретное!

Андрей Климович хитро улыбнулся и даже заглянул [redacted] комнату, но никого там не увидел.

В кухне Андрей Климович сел на некрашеной табуретке, иронически посмотрел на горку вымытой, еще мокрой посуды и спросил:

— На посуде этой вы-то не обедали?

Вера Игнатьевна вытирала руки полотенцем.

— Нет, дети.

— Дети? Ага! Я к вам, можно сказать, от фабзавкома, тут нужно выяснить одно дело.

— Это насчет завтрашнего диспута?

— Нет, это персонально касается вас. Решили у нас кое-кого премировать по культурному фронту. Как бы к Новому году, но поскольку в библиотеке вроде праздник, так вас решили в первую очередь. Деньгами премируют, как водится, но тут я вмешался: деньгами, говорю, Веру Игнатьевну нельзя премировать, ничего из такой премии не выйдет, одни переживания, и все.

— Я не понимаю,— улыбнулась Вера Игнатьевна.

— Вот не понимаете, а вещь самая простая. Деньги штука скользкая: сегодня они в одном кармане, а завтра они в другом, а послезавтра и следу не осталось. Деньги для вас — это мало подходит, да у вас же и карманов нету. Надо вещь какую-нибудь придумать!

— Какую же вещь?

— Давайте думать.

— Вещь? Ага, ну, хорошо. А только стоит ли меня премировать?

— Это уже по высшему соображению. Ваше дело сторона. Так какую вещь?

— Туфли нужны, Андрей Климович. Я вам прямо скажу: очень нужны!

Андрей Климович осторожно глянул на туфли Веры Игнатьевны, и она еще осторожнее придвинулась к табуретке, на которой стояла посуда.

— Туфли эти... да-а! Туфли — хорошее дело, туфли можно.

— Только...

Вера Игнатьевна покраснела.

— Только коричневые... обязательно коричневые, Андрей Климович!

— Коричневые?

Андрей Климович с какой-то грустной улыбкой поглядел в сторону.

— Можно и коричневые, что ж... Только... туфли такое дело, туфли без примерки нельзя. Отправимся с вами в магазин и примерим. Бывает, подъем не подойдет, и фасон нужно присмотреть, а то дадут тебе такой фасон, господи помилуй!

Вера Игнатьевна краснела и улыбалась, а он поднял голову и присматривался к ней одним глазом. Носок его ботинка задумчиво подымался и опускался, постукивая по полу.

— Так что, пойдем завтра купим?

— Да зачем вам беспокоиться, Андрей Климович? Я никогда не примериваю. Просто номер и все.

— Номер? Ну... какой же номер?

— Какой номер? Тридцать четвертый.

— Тридцать четвертый? Не тесный ли будет, Вера Игнатьевна?

Вера Игнатьевна вспомнила, что пора вытирать посуду, и отвернулась к стене за полотенцем.

— Этот номер не пройдет, Вера Игнатьевна,— весело сказал Андрей Климович.

Вера Игнатьевна подхватила первую тарелку, но и тарелка смотрела на нее с широкой тарелочной улыбкой. Вера Игнатьевна сказала так, для приличия:

— Какой номер не пройдет?

— Тридцать четвертый номер не пройдет!

Андрей Климович громко расхохотался, поднялся с табурета и плотно прикрыл дверь. Стоя у двери, он поднял глаза к потолку и сказал, будто декламируя:

— Барышне вашей здесь ничего не достанется... раз я взялся за это дело по специальному заданию. Ни одной коричневой туфли не достанется. Барышня и так будет хороша!

Вера Игнатьевна не умела сказать: «Какое ваше дело», да и вид Андрея Климовича не располагал к такой грубостн. Она растерянно промолчала. Андрей Климович снова оседлал табуретку.

— Вы не сердитесь, хозяюшка, что я вмешиваюсь. А если нужно! Надо что-ннбудь с вами делать. Я, как от фабзавкома, имею государственное право. И я так и сказал: премируем товарища Коробову, а девчонку вашу, франтиху, пускай папка премирует!

— Почему вы так говорите? Какая она франтиха? Молодая девушка...

Вера Игнатьевна сердито посмотрела на гостя. Почему он, в самом деле, говорит такие слова: девчонка, франтиха! Это о Тамаре, о ее красавице с длинными ресницами и кудряшками на висках, о красивой женщине, которой принадлежит будущее счастье. Вера Игнатьевна подозрительно проверила: неужели Андрей Климович враг ее дочери? В своей жизни она мало видела врагов. У Андрея Климовича былн кудрявые усы, они симпатично шевелились над его нежной улыбкой, и это, конечно, противоречило его враждебным словам. Но все-таки пусть он скажет.

— Почему вы так относитесь к Тамаре?

Андрей Климович перестал улыбаться и озабоченно погладил себя по затылку:

— Вера Игнатьевна, давайте я скажу вам правду. Давайте скажу.

— Ну, какую там еще правду? — Вере Игнатьевне вдруг захотелось сказать: «Не надо говорить правду».

— Вот я вам скажу правду,— серьезно произнес Андрей Климович и хлопнул рукой по колену,— только бросьте на минутку ваши эти тарелки, послушайте!

Он прннял из ее рук вытертую тарелку и осторожно положил на горку чистых, даже рукой погладил сверху в знак полного порядка. Вера Игнатьевна опустилась на табуретку у окна.

— Правды не нужно бояться, Вера Игнатьевна, и не обижайтесь. Дело — ваше, понятно, и дочка — ваша, это все так. Но только и вы у нас работник дорогой. А мы видим. Вот, скажем, как вы одеваетесь. Присмотрелись. Вот эта юбчонка, например...

Андрей Климович осторожно, двумя пальцами взял складочку ее юбкн:

— ...Одна у вас. Видно же. И на службе она работает, и на диспуте, и посуду ей приходится. А юбочка свое отслужила, по всему видать. Это счастье, что она черненькая, а то уж... куда уж ей работать! Туфельки... и говорить нечего. От бедности, что ли? Так и муж сколько, и вы — сколько, и дочкнна стипендия все-таки, а детей у вас двое. Так? Двое. А самое кардинальное: барышня ваша щеголиха, куда тебе! Инженерши с ней не сравняются. Придет в клуб,— фу, фу, фу! То у ней синее, то у ней черное, то

еще какое. Да [redacted] не в этом дело, пускай себе ходит, мы [redacted] без того знаем, народ говорит. И посуду с какой стати!

— Андрей Климович! Я мать, могу заботиться!

— Вот редкость какая — мать! Моя Елена Васильевна тоже мать, [redacted] посмотрите, как мои девчурки мотаются. И им ничего, молодые — успеют нагуляться. У моей Елены [redacted] руки не такие, а у вас все-таки, как говорится — интеллигентная работа. Стыдно, прямо скажу. Вам жить да жить, вы еще молодец, и женщина красивая, [redacted] с какой стати, ну с какой стати?

Вера Игнатьевна опустила глаза и по вековой женской привычке хотела пощипать юбку на колене, но вспомнила, как охаял юбку только что Андрей Климович, и еще вспомнила места, где эта юбка заштопана [redacted] залатана. Вера Игнатьевна приняла руку с колена [redacted] начала потихоньку обижаться на Андрея Климовича.

— Андрей Климович, каждый живет по-своему. Значит, мне так нравится.

Но Андрей Климович сверкнул на нее сердитым взглядом, даже его кучерявые усы зашевелились сердито:

— А нам не нравится.

— Кому?

— Нам, народу не нравится. Почему такое: наш уважаемый библиотекарь, а одевается... недопустимо сказать. И мужу вашему не нравится.

— Мужу? А откуда вы знаете? Вы же его и не видели.

— Во-первых, видел, а во-вторых, раз он муж, все одинаковы, возьмет да и то... народ, знаете, какой, за ним смотри да смотри.

Андрей Климович снисходительно улыбнулся [redacted] поднялся с табуретки.

— Одним словом, решили вас премировать отрезом на платье, шелк такой есть какой-то буржуазный, черт его знает, называется не выговоришь, это моя жинка умеет выговаривать, мужеский язык на это неспособен. Но только и пошьем в нашем пошиве, это уж как хотите, чтобы по вашей мерке было. И пенензы у меня!

Он хлопнул себя по карману. Вера Игнатьевна подняла на него глаза, потом перевела их на недоконченные тарелки [redacted] тихо вздохнула. Что-то такое было [redacted] его словах справедливое, но оно насильственно обрывало какую-то нужную петельку [redacted] кружеве ее жизни, [redacted] это было страшновато. И не могла она никак примириться с враждебностью Андрея Климовича к Тамаре. В общем, все получалось какое-то странное. Но [redacted] то же время Андрей Климович любил книги, [redacted] он член фабзавкома, и от него исходила убедительная простая симпатия.

— Так как? — спросил бодро Андрей Климович, стоя у дверей.

Она собралась ответить, но [redacted] этот момент широко распахнулась дверь, [redacted] перед ними встало очаровательное видение: Тамара [redacted] разлетевшемся халатике, [redacted] чулки, и бантики [redacted] туфли. Она пронзительно пискнула [redacted] исчезла, дверь снова закрыта. Андрей Климович провел рукой по усам,— от носа в сторону:

— Да... Так как, Вера Игнатьевна?

— Ну, что же... если нужно... [redacted] вам очень благодарна.

Вечер этот был не совсем обычный, хотя события протекали сравнительно нормально. Вера Игнатьевна покончила с посудой, убрала [redacted] кухне

[redacted] начала готовить ужин. А тут пришел и Павлуша, оживленный, румяный и намокший. Он заглянул [redacted] кухню и сказал:

— Жрать хочется, ты знаешь, как крокодилу! А что на ужин? Каша с молоком? А если [redacted] не хочу с молоком? Нет, [redacted] хочу так, а молоко тоже так.

— Где ты измок?

— Я не измок, [redacted] это мы снегом обсыпались.

— Как это так: обсыпались? И белье мокрое?

— Нет, белье только в одном месте мокрое, вот здесь.

Вера Игнатьевна спешно занялась переодеванием сына. Кроме этого одного места, составляющего всю его спину, он промок [redacted] во многих других местах, а чулки нужно было выжимать. Вера Игнатьевна хотела, чтобы Павлуша залез под одеяло [redacted] согрелся, но этот план ему не понравился. Пока мать развешивала [redacted] кухне его одежду, он вырядился [redacted] отцовские ботинки и синий рабочий халатик Тамары. Прежде всякого другого дела он показался [redacted] этом наряде сестре [redacted] был вознагражден свыше меры. Тамара крикнула:

— Отдай!

И бросилась отнимать халатик. Павлуша побежал по комнатам, сначала [redacted] столовую, потом в спальню. Перепрыгнув два раза через кровать отца, он снова очутился [redacted] столовой. Здесь Тамара поймала бы его, но он ловко подбрасывал на ее пути стулья и хохотал от удачи. Тамара кричала «отдай», налетала на стулья, швыряла их в сторону. Грохот этой игры испугал Веру Игнатьевну. Она выбежала из кухни. Преследуя брата, Тамара не заметила матери [redacted] сильно толкнула ее к шкафу. Падая на шкаф, Вера Игнатьевна больно ушибла руку, но не успела почувствовать боль, так как была ошеломлена звоном разбиваемого стекла: это она сама столкнула с буфета кувшин с водой. В этот момент Павлуша уже хохотал [redacted] руках Тамары и покорно стаскивал с себя синенький халатик. Тамара вырвала халатик из рук брата [redacted] розовой ручкой шлепнула его по плечу.

— Если ты еще посмеешь взять мой халатик, [redacted] тебя изобью.

— Ох, изобьешь! Какая ты сильная!

— Я тебя сейчас изобью!

— А ну, попробуй! Ну, попробуй!

Тамара увидела мать, склонившуюся над останками кувшина, [redacted] закричала:

— Мама! Что это [redacted] самом деле? Хватает, берет, таскает! Что это такое? Как пошить что-нибудь, так у нас три года разговаривают, туфлей допроситься не могу, [redacted] как рвать и хватать, так ничего не говори! С какой стати такая жизнь .. проклятая!

Последние слова Тамара выпалила с рыданием, с силой швырнула халатик на стол и отвернулась к буфету, но больше не рыдала, [redacted] стояла и молча смотрела на буфет. Обычно [redacted] такой позе она всегда казалась матери несчастной [redacted] обиженной и вызывала нестерпимую жалость. Но сейчас Вера Игнатьевна не оглянулась на нее — так была занята кропотливой работой собирания осколков кувшина. Тамара бросила вниз на мать быстрый внимательный взгляд [redacted] снова отвернулась к резьбе буфета. Мать ничего не сказала, молча понесла в кухню стекляшки. Тамара проводила ее пристальным, несколько удивленным взглядом, но, услышав ее шаги,

снова приняла прежнее положение. Вера Игнатьевна возвратилась из кухни с тряпкой и, присев к разлитой воде, сказала тихо, серьезно:

— Ты растоптала воду... подвинься.

Тамара переступила лужицу и отошла к своему столику, но и от столика еще наблюдала за матерью.

События, собственно говоря, протекали нормально. Бывали и раньше такие веселые игры, бывало, что и разбивалось что-нибудь стеклянное. В таком же нормальном порядке мать поставила на стол ужин Полураздетый Павлуша набросился на кашу. Он долго одной рукой размешивал в каше масло, а другой рукой держал на столе стакан с молоком,— он очень любил молоко. Тамара каши никогда не ела, она любила мясо, и теперь ее ожидали на сковородке две подогретых котлеты. Но Тамара замерла у своего столика с чертежом и смотрела мимо матери и мимо ужина. Вера Игнатьевна глянула на дочь, и жалость царапнула ее материнское сердце.

— Тамара, садись кушай!

— Хорошо,— шепнула Тамара и тяжело повела плечами, как всегда делают люди, разбитые жизнью.

Жизнь протекала нормально. В одиннадцать часов пришел Иван Петрович. Давно было достигнуто соглашение о том, что Иван Петрович всегда приходит с работы, и поэтому за последние годы не было случая, чтобы возникал вопрос, откуда он пришел. Даже когда он возвращался в окружении паров Госспирта, Вера Игнатьевна больше беспокоилась о его здоровье, чем о нарушении служебной этики. Такое добросовестное соблюдение соглашения происходило потому, что Иван Петрович отличался замечательно ровным характером, справедливо вызывающим зависть многих домашних хозяек. Знакомые часто говорили Вере Игнатьевне:

— Какой у вас хороший муж! Редко можно встретить мужа с таким характером! Вам так повезло, Вера Игнатьевна!

Эти слова всегда производили на Веру Игнатьевну приятное впечатление,— обычно ей никто не завидовал в жизни, если не считать мелкого случая, когда ей кто-то сказал:

— Какой у вас замечательный примус! Редко можно достать такой примус!

Иван Петрович работал старшим экономистом, но в отличие от других старших экономистов, как известно, людей желчных и склонных к конъюнктурным анализам и к частым переменам службы, Иван Петрович имел характер спокойный, и к анализам склонности не имел, и сидел на одном месте лет пятнадцать, а может быть и больше. Правда, о своей работе он никогда ничего жене не рассказывал, и то, что он где-то работает старшим экономистом, у Веры Игнатьевны вставало как воспоминание молодости

На Иване Петровиче хорошего покроя костюм, лицо у него полное, чистое и маленькая, прекрасно отбритая по краям бородка. О его костюмах Вера Игнатьевна заботится только тогда, когда они пошиты, а как они шьются, Вера Игнатьевна не знает, Иван Петрович заботится об этом без ее консультации. Ежемесячно он дает Вере Игнатьевне триста рублей.

Как всегда, придя домой, Иван Петрович присаживается к столу, и Вера Игнатьевна подает ему ужин. Пока она подаст, он подпирает бородку сложенными руками и покусывает суставы пальцев. Его глаза спо-

койно ходят по комнате. Перед ним появляются тарелки, он чуть-чуть приосанивается и закладывает за воротник угол салфетки. Без салфетки он никогда не ест, и вообще человек он очень аккуратный. Разговаривать он может только тогда, когда немного закусит.

И сегодня все проходило нормально. Иван Петрович съел котлеты и придвинул к себе компот. И спросил:

— Ну, Тамара, как твоя архитектура?

У своего столика Тамара пожала вежливо плечом. Вера Игнатьевна присела на стул у стены и сказала:

— Тамара очень обижается. Никак не купим ей коричневых туфель.

Иван Петрович отломил зубочистку от спичечной коробки и заходил ею в зубах, подталкивая ее языком и вкусно обсасывая. С трудом повел глазом на Тамару. Потом внимательно рассмотрел зубочистку и сказал:

— Туфли — серьезное дело. А что, не хватает денег?

— Для меня всегда не хватает,— грустно сказала Тамара.

Иван Петрович встал за столом, заложил руки в карманы брюк и о чем-то задумался, глядя в пустую тарелку. Стоя в таком положении и думая, он два-три раза поднял свое тело на носки и опустил, а потом начал насвистывать песенку герцога. Можно было предположить, что он думает о туфлях. Но, вероятно, он ничего хорошего не придумал. Качнувшись последний раз, он медленно пошел в спальню, и песенка герцога стала доноситься уже оттуда. Тамара гневно повернулась на стуле и горячим взглядом ударила в дверь спальни. Вера Игнатьевна начала убирать со стола.

Так нормально прошел и этот вечер, один из вечеров жизни Веры Игнатьевны. Но в нем было и свое отличие от других вечеров. С того момента, когда ушел Андрей Климович, в душе Веры Игнатьевны происходило неслышное движение.

И раньше за работой по хозяйству Вера Игнатьевна умела думать о разных интересных вещах. Обычно она вспоминала свою работу в библиотеке, представляла вновь полученные книги, разговоры читателей, отдельные свои советы и слова. Любила вспоминать удачные действия, остроумные выходы, душевные слова. Когда какое-нибудь теплое или значительное выражение проходило в ее памяти несколько раз подряд, она с внутренней улыбкой рассматривала его, прислушиваясь к нежнейшим оттенкам, и радовалась.

Сегодня, если бы не Андрей Климович, она думала бы о завтрашнем диспуте, вспоминала бы витрину и портрет любимого писателя, думала бы о его книгах в красивых, твердых, синевато-сизых переплетах. Книги его отличались молодым насмешливым характером, о них вспоминать было приятно.

Но сегодня обо всем этом не думалось. И готовя ужин, и подбирая осколки разбитого кувшина, и снова вытирая тарелки, когда уже все отправились спать, Вера Игнатьевна все думала о словах Андрея Климовича. Почему-то на первый план выступала только одна тема: убийственный отзыв Андрея Климовича о ее юбке. Было очень обидно узнать, что все ее труды и старания, все надежды пропали даром. Сколько вечеров она истратила на починку юбки, и всегда, заканчивая работу, она была уверена, что цель победоносно достигнута, завтра она выйдет на работу и очень

приличном виде, а временами ей украдкой казалось, что вид у нее не только приличный, а даже элегантный И выходит, что все это было наоборот. «Народ говорит». Все видели и все посмеивались. А завтра? Завтра диспут.

Покончив с посудой и уборкой, Вера Игнатьевна освободила стол, сняла с себя юбку [redacted] разложила ее на столе. Юбка послушно расправила на столе свои старые морщины. Вера Игнатьевна присмотрелась к ней, [redacted] неожиданно ее глаза заполнились слезой: ей так жаль стало эту старушку. Юбка смотрела на нее с выражением печальной, уставшей дряхлости, видно было, что ей так нужно отдохнуть, полежать где-нибудь [redacted] теплом уголке комода, поспать вволю. Когда-то она была шелковой. Была очень хорошенькая, нежная, игривая. Сейчас шелковистость ткани можно было увидеть только, если очень пристально присмотреться, но эта шелковистость была седая. И [redacted] этой легкой дрожащей седине везде прошли морщинки [redacted] рубцы старых жизненных ран. Еще то, что было заштопано давно, кое-как держалось, но последние рубцы представляли собой совершенно изможденные сеточки, сквозь которые просвечивала белая крышка стола.

Вера Игнатьевна включила утюг. Она осторожно, стараясь не сильно надавливать, провела несколько раз горячим утюгом. В том месте, где он проходил, морщины разглаживались [redacted] прятались, [redacted] юбка смотрела со старческой грустной ласковостью.

Отгладив юбку, Вера Игнатьевна подняла ее [redacted] руках и осмотрела. Нет, теперь трудно было обмануться: [redacted] отглаженная, она не обещала никакой элегантности, но Вера Игнатьевна бодро улыбнулась: ничего, вместе жили, вместе [redacted] отвечать будем.

На душе у Веры Игнатьевны стало спокойнее и тише, а когда она села приводить [redacted] порядок свои туфли, [redacted] тишине кухонной комнаты ей показалось как-то по-особенному уютно, и думалось уже не о юбке, не о завтрашнем выступлении на диспуте, [redacted] о себе.

По странному свойству своего характера, сейчас Вера Игнатьевна не чувствовала себя одинокой. Во-первых, на столе лежала отглаженная успокоившаяся юбка, во-вторых, где-то далеко улыбались усы Андрея Климовича. На него она уже не обижалась. Что же? Надо подумать над его словами.

Вера Игнатьевна толстой иглой и вощаной ниткой пришивала отпоровшуюся подошву [redacted] размышляла, улыбаясь. Улыбалась она потому, что чувствовала себя помолодевшей, и это было непривычно [redacted] немного смешно. Она представляла себя в новом шелковом платье, [redacted] это выходило тоже... странно и... тоже смешно. Сквозь туман своих домашних забот она видела, что новое платье это неизбежно, но дело [redacted] том, что это не только платье, [redacted] еще... дико [redacted] стыдно думать, [redacted] нем было что-то, похожее на молодость. Вера Игнатьевна даже головой встряхнула от удивления. Она осторожно подошла к тусклому зеркальцу над умывальником. Ее вдруг поразили действительно молодые, улыбающиеся глаза [redacted] полные, что-то шепчущие, веселые губы. Румянца [redacted] зеркальце не было видно, но Вера Игнатьевна чувствовала, как он теплой краской разливался на щеках. Она нечаянно вспомнила об Иване Петровиче, отошла от зеркала, снова уселась на табурете, но ее рука с толстой иглой не возобновила

работы. Она ясно увидела: какая же она жена? Для этого чисто одетого, чисто выбритого, уверенного мужчины разве она могла быть женой? Она давно уже не была ею и не могла быть. Иван Петрович не видел ее белья, ее чулок, он многого не видел.

Вера Игнатьевна спохватилась. Ее пальцы с спешным усилием заработали над туфлей. Наморщив лоб, Вера Игнатьевна торопилась окончить работу и идти спать, чтобы ни о чем больше не думать.

Диспут прошел очень интересно. Читатели говорили искренне и взволнованно, сходя с трибуны, пожимали руку писателю и благодарили. Вера Игнатьевна ревнивым взглядом встречала каждого выступающего и провожала, успокоенная и радостная. И молодые и старые умели не только говорить, они умели и чувствовать, в этом было большое торжество, и Вера Игнатьевна знала, что это торжество широкое, народное. И впереди себя и за своей спиной она ощущала новую восхитительную страну, которая умеет говорить и чувствовать.

Андрей Климович тоже взял слово и сказал коротко:

— Книги товарища я прочитал, прямо скажу, с опасностью для жизни: две ночи не спал. До чего там народ изображен хороший! Боевой народ, понимаете, молодой народ, веселый. Даже пускай там что угодно, а он своему делу преданный народ! Ну что же? Ночью читаешь, а днем посмотришь, и в самом деле такой народ! Верно показано. Да я и сам такой...

Публика громко рассмеялась. Андрей Климович сообразил, что слишком увлекся, и смущенно разгладил усы от носа в сторону. А потом и поправил дело:

— Культуры, конечно, нужно больше, это верно, и у вас это правильно подмечено. Так для культуры и стараемся. Вот библиотека у нас какая, клуб прямо мировой, писатели приезжают, ученые. И спасибо Советской власти, таких товарищей ставит на работу, как Вера Игнатьевна Коробова.

В зале горячим взрывом взлетели аплодисменты. Вера Игнатьевна оглянулась на писателя, но и писатель стоял уже за столом, улыбался, смотрел на нее и хлопал. В зале многие встали, все смотрели на Веру Игнатьевну, шум аплодисментов подымался все выше и выше. Вера Игнатьевна в полном испуге двинулась было к дверям, но писатель мягко перехватил ее за талию и осторожно подвинул к столу. Она опустилась на стул и неожиданно для себя положила голову на спинку стула и заплакала. Все сразу стихло, но Андрей Климович с дурашливым отчаянием махнул рукой, и все засмеялись добродушно и любовно. Вера Игнатьевна подняла голову, быстро привела в порядок свои глаза и тоже рассмеялась. В зале прошла волна говора. Андрей Климович взял в руки бумажку и прочитал, что парторганизация, фабзавком и заводоуправление постановили за энергичную и преданную работу премировать заведующую библиотекой Веру Игнатьевну Коробову отрезом крепдешина. Последнее слово Андрей Климович произнес не вполне уверенно и даже кивал головой в знак трудности, но все равно, это слово смешалось с новыми аплодисментами. Из портфеля Андрей Климович вынул легкий сверток, перевязанный голубой ленточкой, переложил его в левую руку, а правую протянул для пожатия. Вера Игнатьевна хотела взять сверток, но заметила, что это будет неправильно. Андрей Климович поймал ее руку и креп-

ко пожал, люди в зале аплодировали и смеялись радостно. Вера Игнатьевна густо покраснела и глянула на Андрея Климовича с искренним и сердитым укором. Но Андрей Климович высокомерно улыбался и терпеливо проделывал все необходимые церемонии. Наконец, крепдешин, завернутый в белую бумагу и перевязанный голубой ленточкой, улегся на столе перед ней. В этот момент она вспомнила о своей старенькой юбке и поспешила поджать ноги под стул, чтобы туфли ее не были видны из зала.

Все это еще не так скоро окончилось. Взял слово писатель и сказал хорошую речь. Благодарил фабзавком за то, что он воспользовался этим диспутом и отметил работу такого замечательного человека, как Вера Игнатьевна Коробова. В писательской среде многие знают Веру Игнатьевну. Мало написать книгу, надо эту книгу организовать в глубоком общении с читателем, и так делается великое дело политического, культурного и нравственного просвещения. Вокруг таких людей, как Вера Игнатьевна, растет и ширится новая, социалистическая культура. Сегодняшнее собрание — это не меньшее достижение, чем постройка нового завода, чем повышение урожайности, чем дорожное строительство. И таких собраний, таких проявлений молодой и глубокой социалистической культуры много в нашем Союзе. Мы все должны гордиться этим и гордиться такими людьми, как Вера Игнатьевна. В то время, когда в фашистских государствах книги сжигают на кострах, преследуют и изгоняют лучших представителей человеческого гуманизма, в нашей стране к книге относятся с любовью и благодарностью и чествуют таких творческих работников книги, как Вера Игнатьевна. От имени писательской общественности он благодарит ее за большую работу и желает ей сил и здоровья, чтобы она могла еще долго работать над воспитанием советского читателя...

Вера Игнатьевна внимательно слушала речь писателя и с удивлением видела, что она и в самом деле совершает великое дело, что ее любовь к книге — это вовсе не секретное личное чувство, это действительно большое, полезное и важное явление. Вплотную к ней придвинулось не замечаемое ею до сих пор ее общественное значение. Она напряженно присматривалась к этой идее и вдруг увидела ее всю целиком, увидела десятки тысяч книг, прочитанных людьми, увидела и самих людей, еще так недавно наивных и несмелых, теряющихся перед шеренгами корешков и линией имен и просящих: «Дайте что-нибудь о разбойниках» или «Что-нибудь такое... о жизни». Потом они стали просить про войну, про революцию, про Ленина. А сейчас они ничего уже не просят, а записываются тридцать пятым или пятьдесят пятым в очередь на определенную книгу и ругаются:

— Что это такое! В такой библиотеке только пять экземпляров! Что это такое?!

Вера Игнатьевна удивлялась: да ведь все это она и раньше знала. Под ее руководством работают восемь библиотекарей, и они все это знали, и часто в вечерние часы говорили о книге, о читателе, о методе. Знает она и работу других библиотек, была на многих конференциях, читала критические и библиографические статьи в журналы. Все знала, везде участвовала и все-таки не чувствовала вот такой большой гордости, как сегодня, такого торжества.

И как будто на ее вопрос отвечал писатель:

— Такие люди, как Вера Игнатьевна, страшно скромны, они никогда не думают о себе, они думают о своей работе, они слишком поглощены ее сегодняшним звучанием. Но мы с вами думаем о них, мы с горячей признательностью пожимаем им руки, и прекрасно сделала организация вашего завода, что премировала Веру Игнатьевну дорогим платьем. И мы ей говорим: нет, и о себе думайте, живите счастливо, одевайтесь красиво, вы заслужили это, потому что и революция наша для того сделана, чтобы настоящему труженику жилось хорошо.

Этот исключительный день до конца был исключительным. После собрания в библиотеке был организован банкет для работников библиотеки и актива читателей. На столах было вино, бутерброды, пирожное. Молодые сотрудники усадили Веру Игнатьевну рядом с писателем, и до вечера они вспоминали свои победы, затруднения, сомнения, говорили о своих общих друзьях: читателях, книгах и писателях.

А когда расходились, Андрей Климович осторожно вынул у Веры Игнатьевны из-под мышки перевязанный голубой ленточкой сверток и сказал:

— Домой это вам не нужно нести. Мы здесь его в ящичек запрем, а завтра, благословясь, и в инпошив.

Даже писатель расхохотался на эти слова. Вера Игнатьевна покорно отдала сверток.

Придя домой, Вера Игнатьевна принялась за обычную работу. Павлуша снова отправился кататься на коньках, и после него остались такие же следы в передней. Тамара, видимо, с утра ходила непричесанная, на ее столе лежал все тот же чертеж, в нем за сутки не произошло никаких изменений, если не считать одного львиного хвоста, который сейчас был наведен тушью. С матерью Тамара не разговаривала: так всегда начиналась правильная осада после стремительного, но неудачного штурма.

Раньше в представлении Веры Игнатьевны эта стратегия выражала не только обиду дочери, но и ее собственную вину, а сегодня почему-то никакой своей вины Вера Игнатьевна не чувствовала. И сегодня очень тяжело было видеть, как Тамара страдает, очень больно было смотреть на ее хорошенькое грустное личико, очень жаль было, что в этой молодой милой жизни исковерканным оказывается сегодняшний день, но было уже ясно, что виновата в этом не Вера Игнатьевна. Мысль переходила к Ивану Петровичу. Очень возможно, что виноват именно он. Вчерашняя песенка герцога все-таки вспоминалась. Иван Петрович должен был бы хоть немного заинтересоваться туфлями Тамары. И... триста рублей в месяц — мало. Сколько он получает жалованья? Раньше он получал, кажется, семьсот рублей, но это было очень давно.

Думая об этих делах, Вера Игнатьевна все же находилась под впечатлением сегодняшнего своего торжества, и поэтому думалось как-то лучше и смелее. Она не могла уже забыть и волну любовного внимания людей и широкую картину большой ее работы, нарисованную писателем. И свой дом показался ей сейчас бедным и опустошенным.

Но домашние дела никто не отстранил, они и сегодня протекали нормально, в них была та же привычная техника и привычные пути заботы и мысли, и привычные, десятилетиями воспитанные эмоции. И снова Вера

Игнатьевна подавала ужин Павлуше и Тамаре. Тамара с такой печалью смотрела на котлету, ее вилка с такой трогательной слабостью подбирала крошки пищи на тарелке, ее нежные губы с таким бессилием брали с вилки эти крошки, что Вера Игнатьевна не могла быть спокойна. Начало саднить в груди, [redacted] вдруг вспомнился сверток, перевязанный ленточкой. Простой и жадный эгоизм стоял за этим свертком. В то время, когда эта красивая девушка не может даже надеть свое любимое платье, Вера Игнатьевна в тайне держит где-то свой дорогой крепдешин. А потом она сошьет платье [redacted] будет щеголять [redacted] нем, как какая-нибудь актриса, а кто поможет этой девушке? Уже [redacted] воображении Веры Игнатьевны возникла дверь комиссионного магазина, вот она быстро входит [redacted] магазин и предлагает... но... ей нечего предложить, сверток остался у Андрея Климовича. Быстро-быстро шмыгнуло в уме, что сверток можно взять, но так же быстро Андрей Климович улыбнулся кудрявым усом, [redacted] комиссионный магазин исчез. И в груди стало саднить еще больше, [redacted] до самого прихода Ивана Петровича Вере Игнатьевне было не по себе.

Когда Иван Петрович приступил к ужину, Вера Игнатьевна, сидя на стуле у стены, сказала:

— Сегодня у нас был диспут, [redacted] после диспута, представьте, меня премировали.

Тамара широко открыла глаза и забыла о своих страданиях. Иван Петрович спросил:

— Премировали? Интересно! Много дали?

— Отрез на платье.

Иван Петрович поставил по сторонам тарелки кулаки, вооруженные ножом [redacted] вилкой, деловито и вкусно пережевывая мясо, [redacted] сказал, постукивая черенком ножа по столу:

— Старомодная премия!

Тамара подошла к столу, полулегла на него, приблизила к матери живой заинтересованный взгляд.

— Ты уже получила?

— Нет... он там... там, [redacted] инпошиве.

— Так она уже есть? Материя уже есть?

Вера Игнатьевна кивнула головой и застенчиво посмотрела на дочь.

— А какая материя?

— Крепдешин.

— Крепдешин? А какого цвета?

— Я не видела... не знаю.

Головка Тамары со всеми принадлежностями: хорошенькими глазками, розовыми губками, милым, остреньким, широким у основания носиком, удобно расположилась на ладошках. Тамара внимательно рассматривала мать, как будто соображала, что получится, если мать нарядить в крепдешин. Ее глаза подольше остановились на колене матери, спустились вниз, к туфлям, снова поднялись к плечам.

— Будешь шить? — спросила Тамара, не приостанавливая исследования.

Вера Игнатьевна еще больше застыдилась и сказала тихо, с трудом.

— Да... думаю... моя юбка старенькая уж...

Тамара скользнула по матери последним взглядом, выпрямилась, заложила руки назад, посмотрела на лампочку.

— Интересно, какой цвет?

Иван Петрович придвинул к себе тарелку с сырниками и сказал:

— У нас давно не премируют вещами. Деньги во всех отношениях удобнее.

Полным голосом новое платье заговорило только на другой день. В обеденный перерыв в библиотеку пришел Андрей Климович и сказал:

— Ну, идем наряжаться.

Веселая черноглазая Маруся набросилась на него с высоты верхней ступеньки лестнички:

— А вы чего пришли? Думаете, без вас не управимся?

— А я нарочно пришел. Идем с Верой Игнатьевной в инпошив.

Вера Игнатьевна выглянула из своей комнатки.

Андрей Климович показал головой на дверь.

— Да куда вы пойдете? Кто вас пустит? Это дамский инпошив Без вас обойдемся.

Маруся спрыгнула с лестнички.

— Вам нельзя туда.

— Маруся, вот я вам два слова по секрету скажу. Вот идем сюда.

Они отошли к окну. Там Андрей Климович шептал, и Маруся смеялась и кричала:

— Ну да! А как же? Конечно! Да какой же это секрет?! Знаем без вас, давно знаем! Будьте спокойны! Не-ет! Нет, все понимаем.

Они возвратились от окна довольные друг другом, и Маруся сказала:

— Давайте сюда эту самую премию.

Андрей Климович отправился в самый дальний угол библиотеки. Его вторая сообщница, такая же веселая, только беленькая, Наташа, развевая полами халатика, бросилась за ним с криком:

— Под десятью замками! Сами не откроете!

Они возвратились оттуда со знаменитым свертком. Вера Игнатьевна за своим столом работала, обложившись счетами. Наташа внимательным, любовным движением отняла у нее перо и положила его на чернильницу, отодвинула в сторону счета и с милой девичьей торжественностью положила перед Верой Игнатьевной перевязанный ленточкой сверток. Двумя пальчиками она потянула кончики узелка, и через секунду голубая ленточка уже украшала ее плечи. И вот из конверта белой блестящей бумаги первым лучом сверкнул радостный, праздничный шелк.

— Вишневый! — закричала Наташа и молитвенно сложила руки.— Какая прелесть!

— Ну, что вы, вишневый! — смутилась Вера Игнатьевна.— Разве это можно?

Но Наташины руки уже подхватили благородные волны материи и набросили их на грудь и плечи Веры Игнатьевны. Она с судорожным протестом уцепилась за Наташины пальцы и покраснела до самых корней волос.

Маруся пищала:

— Какая красота! Как вам идет! Какая вы прелесть! У вас такой цвет лица! Как это замечательно выбрано: вишневый крепдешин!

Девушки обступили Веру Игнатьевну и с искренним восторгом любовались и глубокой темно-красной волной шелка, и смущением Веры Игнатьевны, и своей дружеской радостью. Маруся тормошила за плечи Андрея Климовича:

— Это вы выбирали? Сами?

— Сам.

— Один?

— Один.

— И выбрали вишневый?

— Выбрал.

— Врете! Не может быть! Жену с собой водили.

— Зачем мне жена? Если я сам с малых лет, можно сказать, в этих шелках... можно сказать... купался... и вообще вырос.

— В каких шелках? Где это вы так выросли?

— А вот в этих самых креп... креп... кремдюшинах! Как же!

Андрей Климович разгладил усы и серьезно приосанился.

Маруся смотрела на него недоверчиво:

— Вы такой были... аристократ?

— А как же! Моя мать, бывало, как развесит одежду сушить... после стирки, прямо картина: шелка тебе кругом разные — вишневые, яблочные, абрикосовые!

— А-а! — закричала Маруся.— Сушить! Разве шелковую материю стирают?

— А разве не стирают?

— Не стирают!

— Ну, в таком случае беру свои слова назад

Девушки пищали и смеялись, снова прикидывали материю на плечи Веры Игнатьевны, потом на свои плечи и даже на плечи Андрея Климовича. Он держал прежнюю линию:

— Мне что? Я привычный!

В заводском инпошиве продолжались такие же торжества. Вокруг вопроса о фасонах разыгралась такая борьба, что Андрей Климович повертел головой, махнул рукой и ушел, и только на крыльце сказал:

— Ну и народ же суматошный!

Вера Игнатьевна настаивала на самом простом фасоне:

— Это не годится для старухи.

У Наташи от таких слов захватило дыхание, и она снова тащила Веру Игнатьевну к зеркалу:

— Ну, пускай, пускай гладко! А все-таки здесь нужно немного выпустить.

Седой бывалый мастер кивал головой и подтверждал:

— Да, это будет лучше, это будет пышнее.

Вера Игнатьевна чувствовала себя так, как будто ее привели сюда играть с малыми детьми. Даже в далекой своей молодости она не помнила такого ажиотажа с шитьем платья, тем более сейчас ей казались неуместными все эти страсти. Но девиц остановить было невозможно. Разогнавшись на фасонах, они перешли к прическе и предлагали самые радикальные реформы в этой области. Потом пошли темы чулок, туфель, комбине.

Наконец, Вера Игнатьевна прогнала их в библиотеку, воспользовавшись окончанием обеденного перерыва.

Наедине с мастером она твердо остановилась на простом фасоне, а мастер охотно подтвердил его наибольшую уместность. Сговорившись о сроке, она ушла на работу. По дороге с некоторым удивлением заметила в себе серьезную решимость сшить и носить красивое платье. Вместе с этим решительно возникал новый образ ее самой. Это была какая-то новая Вера Игнатьевна. В инпошиве в зеркале она увидела новую свою фигуру, украшенную вишневым шелком, и новое лицо, им освещенное. Ее приятно поразило, что в этом новом не было ничего кричащего, ничего легкомысленно-кокетливого, ничего смешного. В темно-красных складках ее лицо действительно казалось более красивым, молодым и счастливым, но в то же время в нем было много достоинства и какой-то большой правды.

Подходя к дверям библиотеки, Вера Игнатьевна вспомнила речь писателя. Она глянула вниз на свои туфли. Не могло быть сомнений в том, что эта рвань может оскорблять не только ее, но и дело, которому она служит.

Вера Игнатьевна возвращалась домой в состоянии непривычного покоя. Как и раньше, стоя в трамвае, она с любовью представляла себе лица Павлуши и Тамары, так же, как и раньше, любовалась ими, но теперь о них больше хотелось думать, и думалось без тревожной, мелочной заботы, они выступали в ее воображении скорее как интересные люди, чем как опекаемые.

Дома она застала тот же неубранный стол. Она бросила на него привычный взгляд, но привычное стремление немедленно приняться за уборку не возникало в ней так неоспоримо, как раньше. Она села в кресло у стола Тамары и почувствовала, как это приятно. Она откинула голову на спинку и погрузилась в пассивный легкий полусон, когда мысли не спят, но пробегают без дирижера свободной легкой толпой.

Из спальни вышла Тамара.

— Ты и сегодня не была в институте? — спросила Вера Игнатьевна.

Тамара подвинулась к окну и сказала печально, глядя на улицу:

— Нет.

— Почему ты не ходишь в институт?

— Мне не в чем ходить в институт.

— Тамарочка, но что же делать?

— Ты знаешь, что надо делать.

— Ты все о туфлях?

— О туфлях.

Тамара повернулась к матери и заговорила быстро и громко:

— Ты хочешь, чтобы я ходила в розовых туфлях и коричневом платье? Ты хочешь, чтобы я смешила людей. Да? Ты этого хочешь? Так и говори прямо.

— Тамарочка, но ведь у тебя есть и другие платья. И есть черные туфельки. Они, конечно, старые, но целые. И неужели все ваши студенты так строго наблюдают цвета?

— Черные? Черные туфли?

Тамара бросилась к серому шкафику и возвратилась оттуда с черной туфелькой в руках. Она возмущенно протянула ее к лицу матери:

— В этом ходить? Это, по-твоему, обувь? А может, по-твоему, это не заплата? А здесь, по-твоему, не зашито?

— Да ты посмотри, [redacted] каких я хожу! Тамарочка!

Вера Игнатьевна произнесла это несмело, с самым дружеским оттенком доверия. Она хотела по возможности смягчить упрек. Но Тамара никакого упрека не заметила, она обратила внимание только на нелогичность сравнения.

— Ну что ты говоришь, мама? Что же, [redacted] должна одеваться так, как ты? Ты свое отжила, [redacted] я молодая, я хочу жить!

— Я была молодая — я гораздо больше тебя нуждалась. Я часто и спать ложилась голодная.

— Ну! Пошла! Почем я знаю, что, там у вас было [redacted] почему вы голодали. То было при царизме, какое мне дело! А теперь совсем другое! И родители теперь должны для детей жить, это все знают, только у нас почему-то не знают. А когда я буду старая, так я не буду жалеть для дочери!

Тамара стояла, опершись на стол, говорила по-прежнему быстро, размахивая туфелькой, но не видела ни ее, ни матери. В ее глазах [redacted] ее голосе начинали кипеть слезы. Она остановилась, чтобы передохнуть, [redacted] в это время Вера Игнатьевна успела сказать:

— Неужели уж я такая старая, что все должна отдавать тебе, [redacted] сама ходить [redacted] этих опорках?

— А я разве заставляю тебя ходить в опорках? Ходи [redacted] чем хочешь, а меня не выставляй на посмешище! Небось, как себе, так шьешь новое платье! Шьешь. Себе так все можно, [redacted] мне так нельзя? Ты же шьешь себе шелковое платье?

— Шью.

— Вот видишь? Я так [redacted] знала! Сама ты можешь наряжаться. Перед кем тебе наряжаться? Перед кем? Перед отцом, да?

— Тамара! У тебя же есть платье!

— А ты не могла продать? Можно коричневое продать. А у тебя какого цвета эта... премия? Какого?

— Вишневого.

— Ну вот видишь: вишневого! А [redacted] сколько просила вишневое! Я сколько просила, [redacted] ты все забыла, все забыла.

Тамара уже не удержала слез, ее лицо было мокрое.

— Чего же ты хочешь?

— Хочу! А что ты думаешь? Родила, [redacted] теперь ходи как попало? А сама ты наряжаешься, стыдно тебе молодиться на старости лет, стыдно!

Все это Тамара проговорила уже [redacted] истерике. Она еще раз крикнула «стыдно!» [redacted] бросилась [redacted] спальню. Оттуда по всем комнатам разнеслись ее рыдания, приглушенные подушкой. Вера Игнатьевна замерла в кресле. На нее надвинулась черная туча тоски, может быть, ей действительно стало стыдно. В двери постучали. Пошатываясь среди черной тучи, прислушиваясь к рыданиям Тамары, она направилась к двери.

Перед ней стоял Андрей Климович. Войдя [redacted] дверь, он повернул голову на звуки рыданий, но немедленно улыбнулся:

— Я вот решил занести по дороге. Это талоны на бесплатный пошив.

Вера Игнатьевна сказала машинально:

— Заходите.

Андрей Климович на этот раз не выразил желания разговаривать в кухне, охотно прошел в столовую. Вера Игнатьевна поспешила к спальне, чтобы закрыть дверь, но не успела. К двери подбежала Тамара, размахнулась чем-то большим и темным и швырнула его к ногам матери. Легкие черные волны развернулись в воздухе и улеглись на полу. Тамара только одно мгновение наблюдала тот полет, потом метнулась в спальню, и к ногам Веры Игнатьевны полетело коричневое. Тамара крикнула:

— Пожалуйста! Можешь носить! Наряжайся! Мне не нужно твоих нарядов.

Тамара увидела Андрея Климовича, но ей уже было все равно. В гневе она хлопнула дверью и скрылась в спальне.

Вера Игнатьевна стояла над распростертыми нарядами и молчала. Она даже не размышляла. Она не была оскорблена, ей не стыдно было гостя. Человеческий гнев всегда замораживал ее.

Андрей Климович положил на стол какие-то бумажки, потом быстро наклонился, поднял оба платья и поместил их на боковине кресла. Сделал все это по-хозяйски и даже поправил завернувшийся рукав. Потом он стал против Веры Игнатьевны в позе наблюдателя, заложил руки за спину и сказал:

— Вы что это? Испугались этого г...?

Сказал громко, в явном расчете, что в спальне услышат. В спальне действительно стало так тихо, как будто там лег покойник.

Вера Игнатьевна вздрогнула от грубого слова, схватилась за спинку стула и вдруг... улыбнулась:

— Андрей Климович! Что вы говорите?

Андрей Климович стоял в той же позе, смотрел на Веру Игнатьевну строго, и губы его побледнели:

— Это я только говорю, Вера Игнатьевна, а разговоров тут мало. Мы вас, это верно, уважаем, но и такого дела простить нельзя. Кого это вы здесь высиживаете? Кого? Врагов разводите, Вера Игнатьевна?

— Каких врагов? Андрей Климович?!

— Да кому такие люди нужны, вы сообразите! Вы думаете, только вам неприятности, семейное дело? Вот она пообедала, а посуда стоит, а она, дрянь такая, вместо того, чтобы после обеда убрать, чем занимается? Барахлишко вам в лицо кидает? А вы его заработали своим честным трудом! К вам у нее такое чувство, а к Советской власти какое? А она же и комсомолка, наверное. Комсомолка?

— Комсомолка! Ну так что?

Андрей Климович оглянулся. В дверях стояла Тамара, смотрела на Андрея Климовича презрительно и покачивала головой.

— Комсомолка? А вот интересно, я посмотрел бы, как ты посуду помоешь, тряпичная твоя душа!

Тамара на посуду не глянула. Она не могла оторвать от Андрея Климовича ненавидящего взгляда.

— Ты обедала? — кивнул он на стол.

— Это не ваше дело,— сказала Тамара гордо.— А какое вы имеете право ругаться?

— Комсомолка! Ха! Я в восемнадцатом году комсомольцем был и таких барынь, как ты, видел.

— Не ругайтесь, я вам говорю! Барыня! Может быть, я больше вашего работаю.

Тамара повернулась к гостю плечом. Какую-нибудь секунду они смотрели друг на друга сердитыми глазами. Но Андрей Климович вдруг обмяк, развел руками и сощурил ехидные глазки:

— Добром тебя прошу, сделай для меня, старого партизана, удовольствие: помой!

В лице Тамары зародилась улыбка и сразу же приняла презрительное выражение. Она бросила мгновенный взгляд на притихшую мать, такой же взгляд на платья, лежавшие в кресле.

— А? Давай вместе. Ты будешь мыть, а я примус налажу. Ты же все равно не сумеешь.

Тамара быстро подошла к столу и начала собирать тарелки. Лицо у нее было каменное. Даже глаза прикрыла, чуть-чуть вздрагивали красивые, темные ресницы.

Андрей Климович даже рот приоткрыл:

— Вот молодец!

— Не ваше дело,— хрипло прошептала Тамара.

— Неужели помоешь?

Она сказала так же тихо, как будто про себя, проходя в спальню:

— Халат надену.

Она скрылась в спальне. Вера Игнатьевна смотрела на гостя во все глаза и не узнавала. Куда девался Андрей Климович, любитель книги, человек с кудрявыми усами и нежной улыбкой? Посреди комнаты стоял коренастый грубовато-занозистый и властный человек, стоял фрезеровщик Сам-Стоянов. Он по-медвежьи и в то же время хитро оглядывался на спальню и крякал по-стариковски:

— Ах, ты, чертово зелье! «Не ругайтесь»! Вот я тебя возьму в работу!

Он начал засучивать рукава. Тамара быстро вышла из спальни в спецовке, глянула на Стоянова вызывающе:

— Вы думаете, только вы умеете все делать? Тоже: рабочий класс. Воображаете! Вы сами не умеете мыть посуду. Дома жена моет, а вы тоже барином.

— Ну, не разговаривай, бери тарелки.

Вера Игнатьевна опомнилась и бросилась к столу.

— Зачем это? Товарищи!

Стоянов взял ее за руку и усадил в кресло. Вера Игнатьевна почувствовала особое почтение к его открытым волосатым рукам.

Тамара быстро и ловко собрала тарелки, миски, ножи, вилки и ложки. Стоянов серьезно наблюдал за нею. Она ушла в кухню, и он зашагал за нею, размахивая волосатыми руками с такой экспрессией, как будто они собирались не посуду мыть, а горы ворочать.

Вера Игнатьевна осталась в кресле. Ее пальцы ощутили на боковине прохладную ткань шелка, но она уже не могла думать ни о каких нарядах. Перед ее глазами стоял Стоянов. Она завидовала ему. Это оттуда, из фрезерного цеха, приносят люди железную хватку и простую мудрость. Там идет настоящая работа и там люди другие. Перед ней как будто открылся уголок большого занавеса, и она увидела за ним горячую область

настоящей борьбы, по сравнению с которой ее библиотечная работа показалась ей маленькой и несерьезной.

Вера Игнатьевна поднялась и не спеша побрела в кухню. Она остановилась в передней. В неширокую щель приоткрытой двери она увидела одного Стоянова. Он сидел на табуретке, широко расставив ноги, разложив на коленях волосатые руки, и с сдержанной хитроватой улыбкой наблюдал. Сейчас его усы не кучерявятся над нежной улыбкой, а нависли торчком, и вид у них такой, как будто они и не усы вовсе, а придирчиво-острое оружие.

Он говорил:

— На тебя вот за работой и посмотреть приятно. Совсем другая девка. А платья швырять, на кого ты похожа? Ведьма, форменная ведьма! Думаешь, красиво!

Тамара молчала. Слышно было, как постукивали тарелки в тазу.

— Гоняешься за красотой, душа из тебя вон, а выходит у тебя некрасиво, просто плюнуть жалко. Для чего это тебе такие моды-фасоны разные? И черное! И коричневое! И желтое! Да ты ж и так красива, и так на чью-нибудь голову горе с тобой готовится!

— А может, и не горе. А может, кому-нибудь счастье!

Тамара сказала это без злости, доверчиво-весело, очевидно, разговор со Стояновым не обижал ее.

— Какое от тебя счастье может быть, сообрази,— сказал Стоянов и пожал плечом,— какое счастье? Коли ты жадная, злая, глупая!

— Не ругайтесь, я вам говорю!

— И такая ты неблагодарная тварь, сказать стыдно! Мать у тебя... Мать твою весь завод почитает. Работа у нее трудная... На что уж я рабочий человек... Да как же ты моешь? А с обратной стороны кто будет мыть? Пепка?

— Ах,— сказала Тамара.

— Ахать вот ты умеешь, а матери не видишь. Тысячи книг, каждую знай, каждому расскажи, каждому по вкусу подбери и по надобности в то же время, разве не каторга? А домой пришла — прислуга! Кому прислуживать? Тебе? За что, скажи на милость, для чего? Чтобы ты такой ведьмой выросла еще кому на голову? Да на твоем месте мать на руках носить нужно. Последнее отдать, туда-сюда мотнуться, принести, отнести, ты же молодая, собаки б тебя ели. Вот приди ко мне, посмотри,— не хуже тебя девки,— с косами и образованные тоже, одна историком будет, другая доктором.

— А что ж, и приду.

— И приди, полезно. Душа у тебя хорошая, забаловали только. Разве мои могут допустить, чтобы мать у них за прислугу ходила? Мать у них во! Королева! А посуду все-таки ты не умеешь мыть. Что ж это... повозила, повозила, а жир весь остался.

— Где остался?

— А это что? Придавить нужно.

Стоянов поднялся с табуретки, его стало не видно. Потом Тамара тихо сказала:

— Спасибо.

— Вот, правильно,— произнес Стоянов,— надо говорить «спасибо». Благодарность — вещь самая нужная.

Вера Игнатьевна на цыпочках удалилась [redacted] столовую. Она взяла с кресла платья Тамары [redacted] спрятала их [redacted] шкаф. Потом смела крошки с обеденного стола [redacted] начала подметать комнату.

Стало как-то неловко ощущать, что за стеной чужой человек воспитывает ее дочь. Возникла потребность [redacted] объяснении, почему Тамара внимательно слушает его, не дерзит, не обижается, почему воспитание протекает так легко [redacted] удачно?

Тамара принесла из кухни посуду и начала размещать ее на полках [redacted] буфете. Стоянов стал у дверей. Когда она закрыла дверцы шкафа, он протянул руку:

— До свиданья, товарищ.

Тамара хлопнула по его руке своей розовой ручкой:

— Сейчас же просите прощения! За все слова просите прощения, сколько слов наговорили: барыня, ведьма, тварь [redacted] еще хуже. Разве так можно обращаться с девушкой? А еще рабочий класс! Просите прощения!

Андрей Климович показал свою нежную улыбку:

— Извините, товарищ. Это в последний раз. Больше такого не будет. Это я согласен: [redacted] рабочем классе должно быть вежливое обращение.

Тамара улыбнулась, вдруг схватила Стоянова за шею и чмокнула [redacted] щеку. Потом бросилась к матери, проделала с нею ту же операцию и убежала в спальню.

Стоянов стоял у дверей и с деловым видом разглаживал усы:

— Хорошая у вас дочка, душевная! Но только и баловать нельзя.

После этого вечера настали [redacted] жизни Веры Игнатьевны по-новому наполненные дни. Тамара всю свою горячую энергию бросила в домашнюю заботу. Вера Игнатьевна, возвращаясь домой, находила полный порядок. Вечером она пыталась что-нибудь делать, но Тамара [redacted] своей спецовке вихрем носилась по квартире, и за нею трудно было успеть. Она грубовато выхватывала из рук матери разные деловые предметы, брала мать за плечи и вежливо выталкивала в столовую или в спальню. Павлуша был подвергнут настоящему террору, сначала протестовал, [redacted] потом и протестовать перестал, старался скрыться на улицу к товарищам. Через несколько дней Тамара объявила, что будет делать генеральную уборку в квартир и пусть мать в этот день задержится [redacted] библиотеке, а то она помешает. Вера Игнатьевна ничего на это не сказала, но по дороге на работу задумалась.

Ее радовала перемена в дочери. Она почувствовала, кажется, впервые [redacted] жизни, все благо отдыхать, она даже поправилась [redacted] пополнела за эти дни, но [redacted] то же время что-то продолжало ее беспокоить, [redacted] душе нарастала тревога, которой раньше у нее никогда не было. То ей казалось, что нельзя и даже преступно загружать девушку такой массой черной [redacted] неблагодарной домашней возни. Руки у Тамары за эти дни подурнели. Мать обратила внимание на то, что и [redacted] учебе Тамара прибавила работы. Чудесные львы с букетными хвостами были кончены и исчезли со стола, вместо них разлегся на половину обеденного стола огромный лист, на котором Тамара возводила целые леса пунктиров, спиралей, кругов и который назывался «коригфским» ордером. Обо всем этом соображала Вера

Игнатьевна и все-таки чувствовала, что это «не то». Роились мысли и в другом направлении. Не подлежало уже сомнению, что возврата к прежнему быть не может. Та Тамара, которая с простодушной жадностью потребляла жизнь матери, которая швыряла ей в лицо шелковые тряпки, эта Тамара не может быть восстановлена. Вера Игнатьевна теперь прекрасно понимала величину той безумной ошибки, которая совершалась в течение всей ее жизни. Резкое слово Андрея Климовича, сказавшего, что она высиживает врага, Вера Игнатьевна принимала как серьезное и справедливое обвинение. И вот на это обвинение она ничем, собственно говоря, не ответила. Ей по-прежнему становилось не по себе, когда она вспоминала, как бездеятельно и пассивно она позволила постороннему человеку расправляться с ее дочерью, а она сама в это время трусливо подслушивала в передней, а потом на цыпочках убежала от них. А кто будет дальше воспитывать ее дочь, кто будет воспитывать Павлушу, неужели и дальше придется призывать на помощь Андрея Климовича?

Все это пристально разбирала Вера Игнатьевна, во всем находила много нужного и правильного и все-таки чувствовала, что и это не главное, «не то». Было еще что-то, чего она никак не могла поймать, и оно как раз и вызывало неясную тревогу. То человеческое достоинство, которое она увидела в себе на последнем диспуте, та новая Вера Игнатьевна, которая родилась по дороге из инпошива, все еще не были удовлетворены.

С этой тревогой, с этой неудовлетворенностью Вера Игнатьевна и вошла в библиотеку.

День в библиотеке начался плохо. Черноглазая Маруся с озабоченным видом порхала по лестницам от полки к полке, растерянная, возвращалась к растущей очереди читателей и без всякой пользы заглядывала все в одну и ту же карточку.

Вера Игнатьевна подошла к ней:

— Что у вас случилось?

Маруся еще раз посмотрела на карточку, и Вера Игнатьевна догадалась, в чем дело:

— Карточка дома, а книга где?

Маруся испуганно смотрела на Веру Игнатьевну.

— Идите, ищите, а я отпущу очередь.

Маруся с виноватым видом побрела к полкам. Для нее теперь еще труднее стало сообразить, на какое «чужое» место она задвинула книгу. Она уже не порхала по лестницам, а с тоской бродила по библиотеке и боялась встретиться взглядом с Верой Игнатьевной.

Вера Игнатьевна быстро отпустила очередь и уже собиралась заняться своим делом, когда услышала рядом тревожные звуки аварии. Перед Варей Бунчук стоял молодой человек в очках, румяный и оживленный, и громко удивлялся:

— Не понимаю, как это может быть? Я еще раз прошу, дайте мне какую-нибудь книгу о Мопассане. Это же не какой-нибудь начинающий писатель, а Мопассан! А вы говорите «нету»!

— У нас нету...

Варя Бунчук — девушка в веснушках — лепечет свое «нету», а сама со страхом косится на Веру Игнатьевну. Вера Игнатьевна ласково говорит ей:

— Варя, сделайте здесь, а я займусь товарищем

Веснушки Вари Бунчук исчезают в густой краске стыда. Переходя на новое место, она неловко наталкивается на Веру Игнатьевну, от этого у нее наливаются кровью шея и уши, она тихо шепчет: «Ах». Маруся на краю стойки по секрету вручает читателю найденную, наконец, книгу и переходит к другим читателям, но и с ними она разговаривает вполголоса.

Вера Игнатьевна помогает любителю Мопассана и уходит в свою комнату. Через десять минут над ее столом склоняется Маруся и стонет:

— Вера Игнатьевна, родненькая, ой-й-й!

— Нельзя, Маруся, быть такой невнимательной. Вы знаете, чем это могло кончиться? Вы могли бы до вечера искать книгу.

— Вера Игнатьевна, не сердитесь, больше не будет.

Вера Игнатьевна улыбается в жадные, просящие улыбки глаза, и Маруся убегает счастливая, полная готовности бесстрашно пойти на какой угодно библиотечный подвиг.

Через полчаса в дверь заглядывает Варя Бунчук и скрывается Через несколько минут снова заглядывает и спрашивает тихо:

— Можно?

Это значит, что она виновата. Во всех остальных случаях она может ворваться в комнату с сокрушительным грохотом.

Вера Игнатьевна понимает, что нужно Варе Бунчук. Она говорит строго:

— Варя, надо читать справочную литературу. И уметь пользоваться. А то какой глупый ответ — «нету»!

Варя Бунчук грустно кивает в щель полуоткрытой двери.

— Я вам даю срок десять дней, до двадцатого И проверю, как вы разбираетесь в справочниках.

— Вера Игнатьевна, он меня испугал: очкастый такой, мордастый. И все говорит и говорит...

— Что это за объяснение? Вы разве только истощенных можете обслуживать?

Варя радостно спешит:

— Двадцатого увидите, Вера Игнатьевна!

Она закрывает дверь, и слышно, как весело застучали ее каблучки.

Симпатичные девчурки! Еще ни разу не приходилось Вере Игнатьевне делать им выговоры более строгие, чем сегодня, никогда она не повышала голоса, долго не помнила их преступлений. И все же они умеют самыми нежными щупальцами узнавать ее недовольство и осуждение. И тогда они мгновенно скисают, тихо носят свою вину между книгами и печально воспринимают мир. Им дозарезу нужно, чтобы она сказала им несколько строгих слов, может быть, даже не имеющих практического значения. И без того Маруся простить себе не может невнимательности в расстановке книг, а так Варя Бунчук уже отложила справочники, чтобы сегодня вечером заняться ими. Но нужно оказать им внимание и уважеине к их работе.

Почему все это так легко и просто здесь, в библиотеке, среди чужих людей, почему так трудно дома, среди своих?

Вера Игнатьевна задумалась над вопросом: в чем разница между домом и работой? Она с усилием старалась представить себе расположение чистых принципов семьи и дела. Здесь — в библиотеке — есть долг,

радость труда, любовь к делу. И там — в семье — есть радость труда, любовь и тоже долг. Тоже долг! Если дело оканчивается «высиживанием врага», то с долгом, очевидно, не все благополучно. В самом деле, почему долг там, в семье, так труден, когда здесь, на работе, вопрос о долге прост, что почти невозможно различить, где оканчивается долг и начинается наслаждение работой, радость труда. Между долгом и радостью здесь такая нежная гармония.

Радость! Какое странное, старомодное слово! У Пушкина с такой наивной увлекательной красотой проходит это слово и рядом с ним обязательно идут «сладость» и «младость». Слово для влюбленных, счастливых поэтов, слово для семейного гнездышка. Кто до революции мог приложить это слово к делу, к работе, к службе? А сейчас Вера Игнатьевна именно к этой сфере прикладывает его, не оглядываясь и не стыдясь, а в семейном ее опыте ему отведено такое тесное место!

Как каталог, быстро перелистала свою жизнь Вера Игнатьевна и не вспомнила ни одного яркого случая семейной радости. Да, была и есть любовь, вот в чем сомнений не могло быть. За этой любовью можно, оказывается, и прозевать выполнение долга и прозевать радость.

Вера Игнатьевна встала из-за стола и несколько раз прошла по комнате. Что это за чушь: любовь — причина безрадостной жизни! Так разве было!

Вера Игнатьевна остановилась против закрытой двери и приложила руку ко лбу. Как было? Да, как было? Можно ли больше любить своих детей, чем любила она? Но даже эту великую любовь она никогда не выражала. Она стеснялась приласкать Павлушу, поцеловать Тамару. Свою любовь она не могла себе представить иначе, как бесконечное и безрадостное жертвоприношение, молчаливое и угрюмое. И оказывается, в такой любви нет радости. Может быть, только для нее? Нет, совершенно очевидно, нет радости и для детей. Правильно, все правильно: злость, жадность, эгоизм, пустота души. «Высиживание врага»!

Это все от любви? От ее большой материнской любви?

От большой материнской любви.

От... слепой материнской любви!

Все вдруг стало ясно для Веры Игнатьевны. Стало понятно, почему так мало радости в ее личной жизни, почему в такой опасности оказался ее гражданский и материнский долг. Ее любовь к Марусе и к Варе Бунчук оказалась более разумной и плодотворной любовью, чем любовь к дочери. Здесь, в библиотеке, она умела за любовью видеть становление человека, умела словом, взглядом, намеком, тоном, любовно и сурово, страшно быстро и страшно экономно помочь ему, дома она умела только с панической, бессмысленной и вредной услужливостью пресмыкаться перед зоологическим, слепым инстинктом.

Вера Игнатьевна не могла больше ожидать ни одной минуты. Было только два часа дня. Она вышла в раздаточную и сказала Марусе:

— Мне нужно домой. Вы без меня управитесь?

Девицы что-то загалдели в приподнятом стиле.

Она спешила домой, как будто дома случилось несчастье. Только сойдя с трамвая, она испуганно заметила свою панику, а между тем надо быть такой же спокойной и уверенной, как в библиотеке.

Вера Игнатьевна улыбнулась дочери и спросила:

— Павлуша пришел?

— Нет еще,— ответила Тамара и набросилась на мать.— А ты чего пришла? Я же тебе говорила, чтобы ты совсем не приходила!

Вера Игнатьевна положила сумочку на подоконник в передней и направилась в столовую. Тамара топнула ножкой и крикнула:

— Что это такое, мама? Я же сказала тебе не приходить! Иди себе обратно, иди!

Вера Игнатьевна оглянулась С нечеловеческим усилием она захотела представить себе на месте лица Тамары лицо Вари Бунчук. На мгновение как будто это удалось.

Она спокойно взяла стул и сказала официально-приветливо:

— Сядь.

— Мама!

— Садись!

Вера Игнатьевна села в кресло и еще раз показала взглядом на стул.

Тамара что-то простонала, недовольно повела плечами и села на краешек стула, подчеркивая дикую неуместность каких бы то ни было заседаний. Но в ее взгляде было и любопытство, не свободное от удивления. Вера Игнатьевна сделала еще одно усилие, чтобы спроектировать на стуле против себя одну из своих молодых сотрудниц. Возникло опасение, будет ли послушным голос.

— Тамара, объясни толком, почему я должна уходить из дому?

— Как почему? Я буду делать генеральную уборку.

— Кто это решил?

Тамара в недоумении остановилась перед этим вопросом. Она начала отвечать на него, но сказала только первое слово:

— Я...

Вера Игнатьевна улыбнулась ей в глаза, так, как она улыбалась в библиотеке, как улыбается старший товарищ в глаза горячей, неопытной молодости.

И Тамара покорно ответила на ее улыбку, ответила любовным и радостным, виноватым смущением:

— А как же, мамочка?

— Давай поговорим. Я чувствую, у нас с тобой начинается новая жизнь. Пусть она будет разумной жизнью. Ты понимаешь?

— Понимаю,— прошептала Тамара.

— Если понимаешь, как же ты можешь командовать и приказывать и выталкивать меня из дому? Что это: каприз, или неуместная шутка, или самодурство? Вероятно, ты все-таки не понимаешь.

Тамара в изнеможении поднялась со стула, сделала два шага по направлению к окну, оглянулась на мать:

— Неужели ты думаешь, что мне нужна была уборка?

— А что тебе было нужно?

— Я не знаю... что-то такое... хорошее...

— Но в твои расчеты не входило меня огорчать?

И после этого Тамару уже ничто не могло удержать. Она подошла к матери, прижалась к ее плечу и отвернула лицо с выражением счастливого и неожиданного удивления.

Платье готово было [redacted] срок. Вера Игнатьевна первый раз надела его дома. Тамара помогала ей нарядиться, отходила в сторону, осматривала сбоку и, наконец, рассердилась, упала на стул:

— Мамочка, нельзя же эти туфли!

Она вдруг вскочила и закричала на всю квартиру:

— Ай! Какая же я разиня!

Она стремглав бросилась к своему портфелю и, стоя возле него, пела с таким воодушевлением, что ноги ее сами что-то вытанцовывали:

— Разиня, разиня! Какая разиня!

Наконец, она выхватила из портфеля пачку пятирублевок [redacted] понеслась с ними в спальню.

— Моя стипендия! Тебе на туфли!

Павлуша смотрел на мать, вытаращив свои золотисто-синие глазенки, и, вытянув губы, гудел:

— Ой, ой, ой! Мама! Платье!

— Тебе нравится, Павлуша?

— Ой же и нравится!

— Это меня премировали за хорошую работу.

— Ой, какая ты...

Целый вечер Павлуша почти с выражением испуга поглядывал на мать и, когда она ловила его взгляд, широко и светло улыбался. Наконец, он сказал, перемешав слова с глубоким взволнованным дыханием:

— Мама, знаешь что? Ты такая красивая! Знаешь какая? Ты всегда чтоб была такая! Такая... красивая.

Последнее слово вышло уже из самой глубины груди,— не слово, [redacted] чистая эмоция.

Вера Игнатьевна посмотрела на сына со сдержанно строгой улыбкой:

— Это хорошо. Может быть, теперь ты не будешь пропадать целый вечер на своих коньках?

Павлуша ответил:

— Конечно, не буду.

Последний акт драмы произошел поздно вечером. Придя с работы, Иван Петрович увидел за столом красивую молодую женщину [redacted] вишневом шелковом наряде. В передней он даже сделал движение, чтобы поправить галстук, и только в этот момент узнал жену. Он снисходительно улыбнулся и пошел к ней, потирая руки:

— О! Совсем другое дело!

Вера Игнатьевна новым, свободным жестом, которого раньше она не наблюдала, отбросила прядь волос и сказала приветливо:

— Я рада, что тебе нравится.

И сегодня Иван Петрович не покусывал суставы пальцев [redacted] не разглядывал стены размышляющим взглядом, и не насвистывал песенку герцога. Он шутил, острил и даже играл глазами. И только тогда его удивление несколько упало, когда Вера Игнатьевна сказала спокойно:

— Да, Иван, [redacted] все забываю тебя спросить: сколько ты получаешь жалованья?

Наши матери — граждане социалистической страны: их жизнь должна быть такой же полноценной и такой же радостной, как и жизнь отцов и

детей. Нам не нужны люди, воспитанные на молчаливом подвиге матерей, обкормленные их бесконечным жертвоприношением... Дети, воспитанные на жертве матери, могли жить только в обществе эксплуатации.

И мы должны протестовать против самоущербления некоторых матерей, которое кое-где творится у нас. За неимением других самодуров и поработителей эти матери сами их изготовляют из.. собственных детей. Такой анахронический стиль в той или иной степени у нас распространен, и особенно в семьях интеллигентных. «Все для детей» понимается здесь в порядке совершенно недопустимого формализма: все, что попало,— это значит и ценность материнской жизни, и материнская слепота. Все это для детей! Работа и жизнь наших матерей не слепой любовью должна направляться, а большим, устремленным вперед чувством советского гражданина. И такие матери дадут нам прекрасных, счастливых людей, и сами будут счастливы до конца.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ[1]

Какой-нибудь двухлетний Жора смотрит с презрением на чашку молока, замахивается на нее ручонкой и отворачивается. Жора сыт, у него нет желания пить молоко. Этот будущий человек не испытывает никаких прорывов в области питания. Но, вероятно, есть другие области, где его потребности недостаточно удовлетворены. Может быть, у него есть потребность в симпатии к другим людям или, по крайней мере, к другим существам. А если у Жоры еще нет такой потребности, то, может быть, ее нужно создать?

Мать смотрит на Жору любовным взглядом, но эти вопросы почему-то не интересуют мать. Они не интересуют и любую наседку, любую мать в зоологическом царстве.

Там, где жизнь направляется инстинктом, там у матери единственная цель — накормить детеныша. И зоологические матери выполняют эту задачу с благородной простотой: они запихивают в раскрытые пасти, клювы, рты те продукты, которые им удается добыть и притащить в гнездо, запихивают до тех пор, пока удовлетворенные птенцы не закроют ротовые отверстия. После этого зоологические матери могут и отдохнуть и заняться собственными, личными потребностями.

Природа-мать весьма осмотрительно снабдила зоологических матерей очень мудрыми условиями. Во-первых, разные воробьихи и ласточки, чтобы накормить своих деток, должны совершить несколько десятков, а может быть, и несколько сот рейсов в воздухе в течение одного рабочего дня. Пустяковая букашка, содержащая в своем теле какую-нибудь сотую долю калории, требует отдельного рейса, часто при этом неудачного. Во-вторых, зоологические матери не обладают членораздельной речью. Это достижение присуще только человеку.

Выходит как будто, что человеческие матери поставлены в гораздо лучшие условия. Но эти выгодные условия сплошь и рядом становятся причиной гибельного воспитания человеческих детей...

---

[1] Печатается с сокращениями.

Над человеком шефствуют законы человеческого общества, а не только законы природы. Законы социальной жизни обладают гораздо большей точностью, гораздо большим удобством, большей логикой, чем законы природы. Но они предъявляют к человеку гораздо более суровые требования дисциплины, чем мать-природа, и за пренебрежение этой дисциплиной наказывают очень строго.

Очень часто можно наблюдать: человеческая мать обнаруживает склонность подчиняться только законам природы, но в то же время не отказывается от благ человеческой культуры. Как можно назвать такое поведение? Только двурушничеством. И за это преступление матери против высокой человеческой сущности дети несут тяжелое возмездие: они вырастают неполноценными членами человеческого общества.

Нашей матери не нужно тратить столько энергии, чтобы накормить своих детей. Человеческая техника изобрела рынки, магазины, большую организованную заготовку продуктов питания. И поэтому пагубно излишней становится страсть как можно больше напихать пищи в ротовые отверстия детей. И тем более опасно как попало употреблять для этой цели такое сложное приспособление, как членораздельная речь.

Жора смотрит с презрением на чашку молока. Жора сыт. Но мать г о в о р и т Жоре:

— Кошка хочет съесть молоко. Кошка смотрит на молоко. Нет! Кошке не дадим! Жора скушает молоко! Пошла вон, кошка!

Слова матери похожи на правду. Кошка действительно смотрит, кошка на самом деле не прочь позавтракать, Жора смотрит на кошку подозрительно. И природа-мать торжествует: Жора не может допустить, чтобы молоко ела кошка.

С таких пустяков начинается эгоист.

«Я не аскет, но нужна диалектика чувств» [18].

Ф. Дзержинский

Может быть, все провалы воспитания можно свести к одной формуле: «воспитание жадности». Постоянное, неугомонное, тревожное, подозрительное стремление потребить способно выражаться в самых разнообразных формах, очень часто вовсе не отвратительных по внешнему виду. С самых первых месяцев жизни развивается это стремление. Если бы ничего, кроме этого стремления, не было, социальная жизнь, человеческая культура были бы невозможны. Но рядом с этим стремлением развивается и растет знание жизни и, прежде всего, знание о пределах жадности.

В буржуазном обществе жадность регулируется конкуренцией. Там размах желаний одного человека ограничивается размахом желаний другого. Это похоже на колебание миллионов маятников, расположенных в беспорядке в тесном пространстве. Они ходят в разных направлениях и плоскостях, цепляются друг за друга, толкают, царапают и скрежещут. В этом мире выгодно, накопив в себе инерцию металлической массы, размахнуться сильнее, сбить и уничтожить движение соседей. Но и в этом мире важно знать силу соседских сопротивлений, чтобы самому не расшибиться в неосторожном движении. Мораль буржуазного мира — это мораль жадности, приспособленной к жадности.

В самом человеческом желании нет жадности. Если человек пришел из дымного города в сосновый лес и дышит в нем счастливой полной грудью, никто никогда не будет обвинять его в том, что он слишком жадно потребляет кислород. Жадность начинается там, где потребность одного человека сталкивается с потребностью другого, где радость или удовлетворение нужно отнять у соседа силой, хитростью или воровством.

В нашу программу не входят ни отказ от желаний, ни голодное одиночество, ни нищенские реверансы перед жадностью соседей.

Мы живем на вершине величайшего перевала истории, в наши дни начинается новый строй человеческих отношений, новая нравственность и новое право, основанием для которых является победившая идея человеческой солидарности. Маятники наших желаний получили возможность большого размаха. Перед каждым человеком теперь открывается широкая дорога для его стремлений, для его счастья и благополучия. Но он трагически попадает в невыносимое положение, если на этом свободном просторном пути вздумает по старой привычке действовать локтями, ибо даже пионерам теперь хорошо известно, что локоть дан человеку для того, чтобы чувствовать соседа, а не для того, чтобы прокладывать себе дорогу. Агрессивное тыкание локтями в наше время есть действие, не столько даже безнравственное, сколько глупое.

В социалистическом обществе, построенном на разумной идее солидарности, нравственный поступок есть в то же время и самый умный. Это очень существенное обстоятельство, которое должно быть хорошо известно каждому родителю и воспитателю.

Представьте себе толпу голодных людей, затерявшихся в какой-нибудь пустыне. Представьте себе, что у этих людей нет организации, нет чувства солидарности. Эти люди, каждый за свой страх, каждый в меру своих сил, ищут пищу. И вот они нашли ее и бросились к ней в общей, свирепой свалке, уничтожая друг друга, уничтожая и пищу. И если в этой толпе найдется один, который не полезет в драку, который обречет себя на голодную смерть, но никого не схватит за горло, все остальные, конечно, обратят на него внимание. Они воззрятся на его умирание глазами, расширенными от удивления. Одни из этих зрителей назовут его подвижником, высоконравственным героем, другие назовут дураком. Между этими двумя суждениями не будет никакого противоречия.

Теперь представьте себе другой случай: в таком же положении очутился организованный отряд людей. Они объединены сознательной уверенностью в полезной общности своих интересов, дисциплиной, доверием к своим вождям. Такой отряд к найденным запасам пищи направится строгим маршем и остановится перед запасами на расстоянии нескольких метров по суровому командному слову только одного человека. И если в этом отряде найдется один человек, у которого заглохнет чувство солидарности, который завопит, зарычит, оскалит зубы и бросится вперед, чтобы одному поглотить найденные запасы, его тихонько возьмут за шиворот и скажут:

— Ты и негодяй, ты и дурак.

Но кто же в этом отряде будет образцом нравственной высоты?

Все остальные.

В старом мире моральная высота была уделом редких подвижников, число которых измерялось единицами, а поэтому снисходительное

отношение к нравственному совершенству давно сделалось нормой общественной морали. Собственно говоря, было две нормы. Одна парадная, для нравственной проповеди и для специалистов-подвижников, другая для обыкновенной жизни и для «умных» людей. По первой норме полагалось отдать бедному последнюю рубашку, раздать имение, подставлять правую и левую щеки. По второй норме этого ничего не полагалось, да и вообще ничего не полагалось святого. Здесь измерителем нравственности была не нравственная высота, а обыкновенный житейский грех. Так уже и считали: все люди грешат, и ничего с этим не поделаешь. Грешить в меру — это и было нормой. Для приличия полагалось один раз в год подвести черту всем грехам за истекший период, кое-как попостить, несколько часов послушать гнусавое пение дьячков, на минуту притаиться под замасленной епитрахилью батюшки... и списать «на убыток» все прегрешения. Обыденная нравственность не выходила за границу среднего греха, не настолько тяжелого, чтобы быть уголовщиной, не настолько и слабого, чтобы заслужить обвинение в простоте, которая, как известно, «хуже воровства».

В социалистическом обществе нравственное требование предъявляется всем людям и всеми людьми должно выполняться. У нас нет парадных норм святости, и наши нравственные достижения выражаются в поведении масс.

Да, у нас есть Герои Советского Союза, но, посылая их на подвиг, наше правительство не устраивало им особого экзамена. Оно выбирало их из общей массы граждан. Завтра оно пошлет на подвиг миллионы людей и не будет сомневаться в том, что эти миллионы обнаружат такую же нравственную высоту. В уважении и любви к нашим героям меньше всего морального удивления. Мы любим их потому, что солидарны с ними,— в их подвиге видим обязательный для нас практический образец и для нашего поведения.

Наша нравственность вырастает из фактической солидарности трудящихся.

Коммунистическая мораль только потому, что она построена на идее солидарности, не может быть моралью воздержания. Требуя от личности ликвидации жадности, уважения к интересам и жизни товарища, коммунистическая мораль требует солидарного поведения и во всех остальных случаях, и в особенности требует солидарности в борьбе. Расширяясь до философских обобщений, идея солидарности захватывает все области жизни: жизнь есть борьба за каждый завтрашний день, борьба с природой, с темнотой, с невежеством, с зоологическим атавизмом, с пережитками варварства, жизнь — это борьба за освоение неисчерпаемых сил земли и неба.

Успехи этой борьбы будут прямо пропорциональны величине человеческой солидарности.

Только двадцать лет прожили мы в этой новой нравственной атмосфере, а сколько уже мы пережили великих сдвигов в самочувствии людей.

Мы еще не можем сказать, что мы уже окончательно усвоили диалектику коммунистической морали. В значительной мере в нашей педагогической деятельности мы руководствуемся интуицией, больше надеемся на наше чувство, чем на нашу точную мысль.

Много еще живет в нас пережитков старого быта, старых отношений, старых привычных моральных положений. Сами того не замечая, мы в своей практической жизни повторяем многие ошибки и фальсификаты истории человечества. Многие из нас бессознательно преувеличивают значение так называемой любви, другие еще носятся с верой в так называемую свободу, не замечая сплошь и рядом, что вместо любви они воспитывают сентиментальность, а вместо свободы — своеволие.

Из области общих солидарных интересов вытекает идея долга, но не вытекает прямо выполнение долга. И поэтому солидарность интересов еще не составляет нравственного явления. Последнее наступает только тогда, когда наступает солидарность поведения. В истории человечества всегда существовала солидарность интересов трудящихся, но солидарная успешная борьба стала возможна только в конце нашего исторического опыта, завершенного энергией и мыслью великих вождей рабочего движения.

Поведение есть очень сложный результат не одного сознания, но и знания, силы, привычки, ухватки, приспособленности, смелости, здоровья и, самое главное,— социального опыта.

С малых лет советская семья должна воспитывать этот опыт, должна организовать упражнение человека в самых разнообразных солидарных движениях, в преодолении препятствий, в очень трудном процессе коллективного роста. В особенности важно, чтобы ощущение солидарности у мальчика или у девочки не строилось только на узких семейных транспарантах, а выходило за границы семьи в широкую область советской и общечеловеческой жизни.

Заканчивая первый том «Книги для родителей», я позволяю себе надеяться, что она принесет некоторую пользу. Я преимущественно рассчитываю, что читатель в этой книге найдет для себя полезные отправные позиции для собственного активного педагогического мышления. На большее я рассчитывать не могу. Каждая семья отличается своеобразием жизни и жизненных условий, каждая семья должна самостоятельно решать многие педагогические задачи, пользуясь для этого отнюдь не готовыми, взятыми со стороны рецептами, а исключительно системой общих принципов советской жизни и коммунистической морали.

В первом томе я успел затронуть только узловые вопросы, связанные со структурой советской семьи как коллектива. В дальнейшем рассчитываю перейти к вопросам духовной и материальной культуры семьи и эстетического воспитания. Было бы желательно, чтобы второй том был написан не только на основании моего личного опыта, но и на опыте других людей. Поэтому я буду очень благодарен тем родителям, которые напишут мне о своих мыслях, затруднениях, находках. Такое общение между писателем и читателем будет лучшим выражением нашей солидарности.

Конец первого тома

АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ К ПОВЕСТИ «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»

О ПОВЕСТИ «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»

Выступление А. С. Макаренко на встрече с читателями в Ленинградском Дворце культуры им. С. М. Кирова 18 октября 1938 года

Вступительное слово А. С. Макаренко

Товарищи, я полагаю, что все или почти все присутствующие здесь товарищи прочли «Педагогическую поэму». Но другое мое произведение — «Флаги на башнях», которое является продолжением «Педагогической поэмы», многие из вас, вероятно, не читали, поэтому о «Педагогической поэме» говорить не буду, а о последней книге дам некоторое объяснение.

В «Педагогической поэме» меня занимал вопрос, как изобразить человека в коллективе, как изобразить борьбу человека с собой, борьбу коллектива за свою ценность, за свое лицо, борьбу более или менее напряженную. Во «Флагах на башнях» я задался совсем другими целями. Я хотел изобразить тот замечательный коллектив, в котором мне посчастливилось работать, изобразить его внутренние движения, его судьбу, его окружение.

Это — счастливый коллектив в счастливом обществе. И я хотел показать, что счастье этого коллектива, нередко выражающееся в глубоко поэтических формах, заключается тоже в борьбе, но не в такой напряженной борьбе с явными препятствиями, с явными врагами, как было в колонии, а в борьбе тонкой, в движении внутренних человеческих сил, часто выражаемых внутренними, еле заметными тонами. Все это — очень важные и сложные вопросы. Только в коммуне имени Дзержинского я особенно остро понял, почувствовал, что недостаточно охватил еще всю сложность процесса воспитания нового человека.

Это процесс, происходящий не только внутри самого коллектива, он происходит во всем нашем социалистическом обществе. Это — процессы труда и внутренних отношений, и образования, знаний, и роста самого человека, и, наконец, многочисленные чрезвычайно тонкие внутренние междумальчишеские и междуколонистские отношения. Все это я и стремился показать. Может быть, с такой задачей в произведении «Флаги на башнях» я и не справился. Решения этой задачи, вероятно, хватит не одному поколению. Но я обратил внимание, что мальчики и девочки в таком коллективе — это прежде всего граждане. И в этом заключается отличие наших детей от детей какого угодно общества. Наши дети всегда граждане. И чем больше гражданский долг связывается с их ростом и воспитанием, тем более полноценные воспитываются из них люди.

Эти социальные движения, важнейшие по своему характеру и в то же время явно детские — это тоже движения [redacted] нашем обществе, в нашей борьбе и сопровождаются тем же удовлетворением, теми же правами, той же степенью благородства [redacted] деликатности, смелости и другими лучшими человеческими качествами.

Вот это [redacted] стремился показать, а как удалось, как вышло — судите вы, ибо очень часто бывает, что хочется написать [redacted] рассказать многое, но не всегда это удается. Только читатель может судить о том, насколько удачно получилось.

Заключительное слово А. С. Макаренко

Хвалиться мне неудобно, но могу прямо сказать, что мы со своей коммуной шагнули значительно дальше, чем вам кажется.

Я действительно не считал и не считаю своих воспитанников «морально дефективными», [redacted] они не были дефективными ни одного дня.

Некоторым читателям хочется, чтобы воспитатели мучились, перековывая беспризорников в новых людей. Но [redacted] не мучился [redacted] не перековывал. Я достиг больших успехов в своей коммуне, достиг такого положения, что мог брать группу по 50 человек прямо с вокзала. Мы брали только тех, кто путешествует в поездах. Я брал, скажем, сегодня вечером, а завтра [redacted] не беспокоился и никто не беспокоился, как ведут себя вновь принятые мальчики [redacted] коммуне.

Вы скажете, что это чудо? Нет, это не чудо, это наша советская действительность.

Совершеннейшая правда написана во «Флагах на башнях»... с сохранением событий и разговоров. Мы принимали много делегаций, советских и иностранных. Иностранные делегации удивлялись и не верили. Но наши советские люди не могли не верить: они понимали, что это был счастливый коллектив. За все 8 лет не было ни одного черного дня, не было ни одного несчастья.

Я не хочу сказать, что это чудо. Это норма. И именно потому, что я [redacted] этой жизни жил, видел, ощущал каждый нерв, именно поэтому считаю себя вправе настаивать на этом. Я ни [redacted] какой фантастике не прибегаю.

При нормальной организации детского келлектива он всегда будет похож на чудо. У нас в советской школе часто хулиганят [redacted] 5—6-м классе, [redacted] 10-м классе учатся, а потом делаются студентами и летчиками. Сколько хулиганов? Ни одного! А сколько кричали, что в школе хулиганы!

Если имеется настоящая организация детского коллектива, то можно сделать настоящие чудеса.

Нам указывают на кинокартину «Путевка [redacted] жизнь», что вот, мол, какие ребята вредные, испорченные. Я бы сказал так: попал в нормальные человеческие условия и на другой день стал нормальным. Какое еще счастье нужно? Это [redacted] есть счастье! И так бывает всегда в хорошо построенном детском коллективе. Все дети любят дисциплину.

Товарищи, [redacted] себе никогда не позволю исказить советскую действительность, чтобы в угоду критикам выдумать плохих людей. Я себе не позволю этого.

Теперь несколько ответов по существу.

Товарищ, читавший «Флаги на башнях», ставит некоторые вопросы, характеризующие его как читателя вдумчивого, но все-таки вопросы недоуменные. К сожалению, ответить на них развернуто я не в состоянии за неимением времени. Отвечу кратко.

Почему я не удерживал Воленко, когда он решил уйти из колонии? Да, по традиционной педагогике я должен был его удерживать. По нашей, по советской педагогике его не надо было удерживать. Я не боюсь риска и знаю, что перемена обстановки бывает очень полезна, иногда полезно пережить то или иное потрясение. Вот поэтому я не захотел удерживать Воленко. Он считал себя ответственным за то, что в его бригаде происходит кража. Колония считала его ответственным. Это совершенно необычное для старой педагогической логики явление, чтобы в детском коллективе считали бригадира ответственным за кражи. Но в бригаде Воленко были воры, потому что Воленко мягкий человек, всепрощающий человек. Он не мог оставаться в колонии со спокойной совестью, должен был уйти. Это было требование, его собственное требование к себе. Я понимал, что уход из колонии был для него тягостным, но я хотел, чтобы он пережил это. Очень хорошо, когда человек предъявляет к себе большие требования,— это воспитывает человека. У многих наших педагогов есть такое ошибочное желание не слишком перегружать человека требованиями к себе или вообще совсем не перегружать, а все расписать, как и что нужно сделать. Я с этим не согласен и поэтому не удерживал Воленко в колонии.

Кто такой Рыжиков? Это не сознательный вредитель, но по натуре пакостник.

Почему я не применил никаких методов? Главнейший метод — это была вся колония, все общество, весь коллектив. Ни я, ни другой педагог никакими разговорами не можем сделать того, что может дать правильно организованный, гордый коллектив. Рыжиков ничего не смог усвоить даже в этом коллективе. К сожалению, сейчас об этом распространяться я не могу и в романе не распространяюсь. Об этом я напишу в той большой, серьезной книге, которую задумал написать о методике коммунистического воспитания. Относительно перековки. Товарищ спрашивает, почему я не показал перековки Игоря. Трудно показать, когда не было этой перековки, не было у меня дефективных людей; приходили люди несчастные, им трудно жилось в тех условиях, в которых они жили раньше. Я не верю в то, чтобы были морально дефективные люди. Стоит только поставить в нормальные условия жизни, предъявить ему определенные требования, дать возможность выполнить эти требования, и он станет обычным человеком, полноценным человеком, человеком нормы.

Я считаю, товарищи, что нужно говорить о дефективных методах, а не о дефективных людях.

Я получил интересную записку: «Расскажите в своем заключительном слове об отношении к педагогической общественности».

Если под общественностью понимать учительское общество, то я не предполагал бы, что у нас могли быть плохие отношения. Я любил учителей.

А если под педагогической общественностью понимать тех людей, которые по разным причинам почему-то оказывались «мудрецами» педагогики, то наши отношения известны.

Я стою за общественность в педагогике. Когда я воспитываю человека, то должен знать, что именно выйдет из моих рук. Я хочу отвечать за продукцию свою [redacted] моих сотрудников, за будущих инженеров и мастеров, за всю эту организацию, за летчиков, студентов, педагогов. За эту продукцию [redacted] несу ответственность.

Но для того, чтобы можно было отвечать за свою продукцию, нужно в каждый момент своей педагогической жизни знать, чего [redacted] хочу [redacted] чего добиваюсь.

Среди наших педагогических руководителей оказались и враги народа, которые охотно пользовались порочной логикой: такое-то средство якобы обязательно приводит к таким-то результатам. Поэтому это хорошее средство. Проверка опытом [redacted] логически здесь не допускалась.

Я повторяю, что если из человека выходит хулиган, то в этом виноват не он, а виноваты педагогические методы.

В «Педагогической поэме», изданной в 1933 году, сказано, как я относился к педологам: [redacted] педологов всегда ненавидел, никогда этого не скрывал, [redacted] они боялись со мной встречаться. Однажды они пожелали проверить организованность нашего коллектива [redacted] начали задавать ребятам вопросы: «Представьте, у вас есть лодка, она затонула. Что вы будете делать?» Ребята на это ответили: «Никакой у нас лодки нет, и ничего мы делать не будем».

Следовательно, коллектив наш прекрасно чувствовал, что такое педология.

Интересный вопрос относительно Задорова: «Неужели Вы думаете, этот метод принес пользу?» — спрашивает меня автор записки.— Конечно, никогда [redacted] этого не думал. Это было полное отчаяние, бессилие. Если бы на месте Задорова был кто-нибудь другой, может быть, это привело бы к катастрофе, но Задоров был благородным человеком, он понял, до какого [redacted] дошел отчаяния, он нашел [redacted] себе силы протянуть руку и сказать: «Все будет хорошо». Разве этого не видно? Если бы я ударил того же Волохова, то мог быть им избит. Я был действующим лицом, а победителем Задоров, и только благодаря ему [redacted] мог сохранить авторитет, он поддержал меня. Вот в чем заключается успех, а не в том, что [redacted] ударил. Разве удар — метод? Это только отчаяние.

Меня спрашивают: «Преподавателем какой дисциплины [redacted] был раньше?» До колонии я [redacted] школе преподавал историю.

Где я сейчас работаю? По состоянию здоровья и по другим причинам сейчас нигде не работаю, только пишу.

Где бы я хотел работать? Я бы хотел работать [redacted] так называемой нормальной школе. Семейные дети [redacted] тысячу раз труднее беспризорных. У беспризорников никого не было, только я один, а у семейных есть мама и папа в запасе. И вот с этими-то нормальными детьми я бы очень хотел поработать.

Автор записки спрашивает: «За какие [redacted] стою наказания?»

Я ни за какие наказания не стою, но в колонии я применял наказания. Вот тот же самый Клюшник был командиром первого комсомольского взвода, [redacted] ему попадало гораздо чаще, чем кому-нибудь другому. Почему? Да потому, что он был командиром, и на него возлагалось больше ответственности, с него больше спрашивалось, чем с кого-либо другого. Такие

наказания, которые выражают одновременно и уважение к человеку и требование к нему, я считаю возможными, когда они применяются умело, а вообще наказаний в большом масштабе мне не приходилось применять. У меня был хороший коллектив.

Какое я принимал участие в составлении учебника педагогики? Меня пригласили профессора помочь им написать учебник. Я ответил согласием, но при условии, если они ответят на один вопрос: будем ли мы писать педагогику сегодняшнего дня или завтрашнего? Они сказали, что не могут писать педагогику завтрашнего дня. Тогда я сказал: пока вы будете писать педагогику сегодняшнего дня, жизнь вас перегонит, и в результате вы напишете педагогику не сегодняшнего, а вчерашнего дня.

Что касается замечания, будто «Книга для родителей» не нужна, то оно не совсем правильно. Хотя родители и взрослые люди, но не всегда знают, как им поступать со своими детьми. Неправильно считать, что взрослому человеку нечему учиться.

Так же неправильно мнение, что взрослая девушка не должна поцеловать человека, который ей помог. Почему не должна, что же тут предосудительного?

Об Игоре,— что он сейчас делает? Игорь учится, любит отца, уважает его, любит Оксану, и они, наверное, поженятся.

Останавливаться на больших проблемах я сейчас не могу, но должен сказать — ваше внимание, указания и замечания очень помогают в моей работе, и я эти указания использую.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Ф. ЛЕВИНУ[1]

(См. «Литературный критик», № 12. Ф. Левин, «Четвертая повесть А. Макаренко»)[2]

Уважаемый товарищ Левин!

В статье своей Вы вспоминаете:

«Наша критика, и автор этих строк в том числе, приветствовали появление «Педагогической поэмы».

Давайте уточним. Вы и другие критики «приветствовали» мою первую книгу... через два-три года после ее появления. Между прочим, в Вашей статье было и такое выражение:

«...материал, столь несовершенный по своему художественному мастерству...»

Признавая некоторые достоинства моей книги, Вы тогда довольно решительно настаивали:

«...профессиональные писатели имеют гораздо большие возможности создать исключительные, замечательные книги».

---

[1] А. С. Макаренко написал открытое письмо Ф. Левину 29 января 1939 года. Письмо было опубликовано в «Литературной газете» 26 апреля 1939 года, т. е. после смерти писателя (Лит. газ., 1939, 26 апр.).

[2] «Литературный критик», 1938, № 12.

Вы упомянули о некоторых правилах и канонах, якобы известных профессиональным писателям и не известных мне.

Несмотря на общую хвалебность Вашей тогдашней статьи, я почувствовал, что Вы относитесь ко мне с высокомерным снисхождением «профессионала». Между делом у Вас промелькнули довольно выразительные, намекающие словечки: «фактография», «материал вывозит».

Подобное к себе отношение я встречал и со стороны других «профессионалов» и уже начал привыкать к своему положению «фактографа». Совсем недавно в журнале «Литературный современник» была напечатана эпиграмма (не помню автора), в которой была такая строка:

«Сначала брал он факты только ..».

Можно привыкнуть, не правда ли?

Теперь Вы выступили со статьей по поводу «Флагов на башнях». В этой статье, даже не приступив к разбору моей повести, Вы более или менее деликатно припоминаете, что «некоторые молодые авторы плохо учатся и плохо растут», «что одну неплохую книгу может написать почти всякий человек», что «даже весьма удачная книга, описывающая яркий период жизни самого автора, еще не делает его литератором» и т. п.

Одним словом, Вы продолжаете свою линию, намеченную еще в 1936 году,— линию исключения меня из литературы.

Я хочу знать, с достаточным ли основанием Вы это делаете?

Ликвидация меня как писателя — дело, конечно, серьезное, и я в качестве лица заинтересованного могу требовать, чтобы Вы сделали это солидно, с профессиональным мастерством, опираясь на те «правила и каноны», о которых Вы упоминали два года назад. В известной мере в этих «правилах и канонах» и я могу разобраться, ибо еще пушкинский Варлаам, попавший в положение, подобное моему, сказал:

«...худо разбираю, а тут уж разберу, как дело до петли доходит».

В моей повести «Флаги на башнях» Вы указываете, собственно говоря, один порок, но чрезвычайно крупный: повесть — это «сказка, рассказанная добрым дядей Макаренко». Все в ней прикрашено, разбавлено розовой водой, подправлено патокой и сахарином, все это способно «привести в умиление и священный восторг самую закоренелую классную даму института благородных девиц, самую строгую «цирлих-манирлих».

Если отбросить все эти Ваши «критические» словечки: «сахарин», «патока», «классная дама», «священный восторг» (удивительно, как это Вы не вспомнили Чарскую,— по некоторым «канонам» это полагается), то остается чистое обвинение меня в прикрашивании действительности.

Вас это страшно возмущает. Вы не допускаете мысли, что такая счастливая детская жизнь возможна в Советском Союзе. Вы думаете, что рассказанное мною — сказка (Лоскутов в «Литературной газете» думает, что это моя мечта).

Приходится мне раскрыть карты с опасностью на всю жизнь остаться «фактографом». «Флаги на башнях» — это не сказка и не мечта, это — наша действительность. В повести я описал коммуну имени Дзержинского, которой руководил восемь лет. В повести нет ни одной выдуманной ситуации, очень мало сведенных образов, нет ни одного пятна искусственно созданного колорита.

С некоторым расчетом на смертельный удар Вы пишете и цитируете:

«Ведь он [redacted] в самом деле попал во дворец из сказки, рассказанной добрым дядей Макаренко».

Сказка начинает развертываться сразу. «Между цветами проходили яркие золотые дорожки, на одной из них, поближе к Игорю, шли две девушки, настоящие девушки, черт возьми, хорошенькие [redacted] нарядные...».

Между нами говоря, даже по литературным канонам, я мог бы это и выдумать, что же тут особенного: цветы [redacted] золотые дорожки, две девушки, которые показались Игорю хорошенькими. Но мне не нужно было выдумывать: в колонии, которую [redacted] описываю, был гектар замечательного цветника, лучшая [redacted] Харькове оранжерея, и были хорошенькие девушки. Мне и в голову не могло прийти, что для хорошеньких девушек [redacted] литературе существует какая-нибудь зверская процентная норма, ибо [redacted] жизни, допустим, в советской жизни, такие девушки — довольно распространенное явление. И жили мои колонисты, представьте себе, во дворце, [redacted] специальном здании, нарочно для них выстроенном хорошим архитектором, светлом, красивом, удобном. Это могут подтвердить товарищи Юдин, Гладков, Безыменский, которые в этом здании были и все видели.

Я вот не знаю, можно ли по литературным канонам представлять список свидетелей, но что же мне делать, если Вы не верите?

В этом и есть главный момент нашего расхождения: Вы не верите, что это возможно, а [redacted] утверждаю, что это существует, возможно [redacted] необходимо. И чувствуем мы с Вами по-разному. Я утверждаю потому, что я знаю, хочу [redacted] требую от других. Вы не верите потому, что это не соответствует Вашим литературным вкусам.

Вы разбираете мою книгу исключительно с точки зрения литературного профессионала. А я бы хотел, чтобы Вы посмотрели на нее и с точки зрения советского гражданина. Ибо [redacted] последнем счете я могу поставить далеко не лишний вопрос: если Вы изображенный мною, хотя бы и фактографически, кусок нашей жизни обливаете презрительным сомнением и посылаете меня с таким изображением к классным дамам, то во что же Вы сами верите? И какое значение [redacted] таком случае имеют литературные каноны, которые пользуются и моим некоторым уважением.

Например, такой «канон», как тема.

Вы, профессиональный критик, не заинтересовались такими важными «канонами», как тема, содержание книги, система идейной нагрузки повести, авторское утверждение, авторское требование.

На какую тему написана моя книга? По странному недоразумению Вы не занялись этим вопросом. Без какого бы то ни было анализа вместо моей темы Вы подставляете свою и с точки зрения своей темы требуете от меня экзотических подробностей «перековки», а я не думал о такой теме. Вот сравнение:

Ваша тема:

Колония, в которой живут дети, «изуродованные и искалеченные беспризорностью», с трудом поддающиеся «исправлению», [redacted] педагоги, с опасностью для жизни, с нечеловеческим напряжением совершающие свой

педагогический подвиг. Колония растет мучительно от катастрофы [redacted] катастрофе, от провала к провалу. Педагогика здесь еще не уверена в себе и технически не совершенна.

Моя тема:

Образцовый воспитательный советский коллектив, давно сложившийся, растущий материально [redacted] духовно на основе больших концентрированных коллективных сил, обладающий традицией [redacted] совершенной формой, вооруженный тончайшей педагогической техникой — социалистический детский коллектив, [redacted] котором срывы и катастрофы невозможны (и нежелательны, хотя бы это и нравилось литературным критикам).

Товарищ Левин! Ваша тема уже прошла десять лет тому назад,— это тема «Педагогической поэмы». Тема нашего времени, вполне назревшая, оправданная жизнью, а для меня — [redacted] моим опытом,— счастливый детский коллектив, свободный от антагонизмов и настолько могучий, что любой ребенок, в том числе и правонарушитель, легко и быстро занимает правильную позицию в коллективе. Тема «Флагов на башнях» ничего общего не имеет с темой «Педагогической поэмы». Между прочим, Вы и сами кое-что заметили в этом направлении, когда написали:

«...конечно, эта система замечательна».

Отсюда уже нетрудно было бы сделать заключение, что замечательная система должна иметь [redacted] какие-то более или менее счастливые последствия.

Если Вы так слабо разобрались в теме, то еще слабее разобрались [redacted] идейной нагрузке повести, но об этом говорить долго. В общем, Вы не доказали своего профессионального уменья орудовать канонами и правилами, а для Вас это, пожалуй, более необходимо, чем для меня: в крайнем случае я останусь фактографом, а чем Вы останетесь, если забудете нормальную критическую технику?

Недостаток места не позволяет мне остановиться на других «канонах», упущенных Вами. Но еще два-три замечания:

1. Вы уклоняетесь от истины, когда говорите, что я изображаю «неестественно-сладкое счастье». Вы приводите абзац, в котором прямо говорится о счастье, но в книге 24 печатных листа, [redacted] таких строчек очень немного. А кроме того, почему бы мне не говорить о счастье, если тема всей книги — счастье и поэзия детской жизни? Только это не то счастье, которое может понравиться классным дамам. Вы думаете об этих дамах лучше, чем они заслуживают. Я хотел изобразить счастье в борьбе, в коллективных напряжениях, в требовательной и даже суровой дисциплине, в труде, [redacted] тесной связанности с Родиной, со всей страной.

2. Я не принимаю Вашего упрека [redacted] том, что [redacted] моей повести много красивых. Я такими вижу детей — это мое право. Почему Вы не упрекаете Льва Толстого за то, что у него так много красивых в «Войне [redacted] мире»? Он любил свой класс,— я люблю мое общество,— многие люди кажутся мне красивыми. Докажите, что [redacted] ошибаюсь.

3. Я пишу для того, чтобы в меру моих сил содействовать росту нашей социалистической культуры. Как умею, [redacted] пропагандирую эту культуру [redacted] художественной форме. Я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы

разобрали мои художественные приемы и доказали, что они не ведут к цели. Но Вы этого не делаете. Вас не интересуют мои цели. Вы рассматриваете меня в эстетическую лупу и доказываете, что я не профессиональный писатель, потому что у меня не выходят «синтетические» образы. Откуда Вы знаете, какие образы у меня синтетические, а какие списаны с натуры? Вам было бы приятнее, если бы я изображал «исковерканных» детей с той экзотической терпкостью, которая для меня является признаком дурного вкуса, ибо я больше, чем кто-нибудь другой, имею право утверждать, что детская «исковерканность»— в значительной мере выдумка неудовлетворенных романтиков. Вы отстали от меня, товарищ Левин, и поэтому, если и в дальнейшем Вы будете именовать меня «фактографом», а не литератором,— я страдать не буду.

4. Не кажется ли Вам, что некоторые «каноны», при помощи которых действуете Вы и еще кое-кто из критиков,— несколько устарели и требуют пересмотра. «Синтетический образ», «характер», «типизация», «конфликт», «коллизия» — все это, может быть, и хорошо, но к этому следовало бы кое-что и добавить, принимая во внимание те категорические изменения, которые произошли в нашем обществе. Советское общество по характеру человеческих взаимоотношений не только выше, но и сложнее, и тоньше старого общества. Впервые в истории родился настоящий человеческий коллектив, свободный от неравенства и эксплуатации. В настоящее время понятие «образа», особенно в том смысле, в каком оно обычно употребляется, не вполне покрывает требования жизни, в нем иногда чувствуется некоторый избыток индивидуализма. Гораздо важнее, чем раньше, стали категории связи, единства, солидарности, сочувствия, координирования, понимания зависимости внутренней и многие другие, которые в отличие от образа можно назвать «междуобразными» категориями. Коллектив — это не простая сумма личностей, в нашем коллективе всегда что-то родится новое, живое, только коллективу присуще, органичное, то, что всегда будет и принципиально социалистическим.

Я позволю себе употребить сравнение из области музыкального творчества. Вопросы мелодики, даже камерной гармонии, даже гармонии более широкой нас уже не могут удовлетворить в своем охвате. Нас уже должны особенно интересовать вопросы оркестровки,— созвучания разных и количественно значительных тембров, колоритов, сложных красок коллектива

Я как автор в особенности заинтересован в этом вопросе, ибо мой герой всегда коллектив и Ваши измерители для меня уже недостаточны. Но я во многих произведениях советских писателей я вижу эту линию потребности. «Разгром», «Чапаев», «Поднятая целина» заключают очень большие коллективные образы и коллективные явления. Есть и критики, которые чувствуют это.

Но есть и другие критики. Они не замечают новых требований социалистической литературной эстетики. У них в руках закостенелые критические каноны, и они пользуются ими, как шаманы своими инструментами: шумят, стучат, кричат, пугают — устрашают «злых духов». И смотришь, находятся нервные люди — побаиваются.

А. Макаренко

РЕДАКТОРУ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» ВОЙТИНСКОЙ И КРИТИКУ Ф. ЛЕВИНУ [1]

Наш долг, долг коммунаров — наследников светлого имени Антона Семеновича Макаренко, долг советских граждан, большевиков партийных и непартийных — вернуть истине свое место. Мы требуем, чтобы гражданин Ф. Левин публично отказался от напечатанной им статьи в «Литературном критике».

На совещании критиков, посвященном разбору этого дела, Ф. Левин заявил, что его никто не может принудить «расшаркиваться перед урной А. С. Макаренко». Циничность и бестактность этой фразы не требуют комментариев. Мы можем уверить нашу общественность, что приложим все старания, чтобы оградить дорогую нам могилу А. С. Макаренко от людей, подобных Ф. Левину, ибо так может сказать человек, для которого нет ничего святого. Неужели этот «критик» не способен понять, что такими словами он оскорбил наши горячие сыновние чувства к Антону Семеновичу. Какая может быть речь о «чуткости критика» Ф. Левина, если он не обладает чуткостью в самом примитивном значении этого слова!

Но не об этом мы будем говорить дальше. Мы требуем четкой большевистской принципиальности в решении этого спора между ушедшим от нас физически, но живым в своем творчестве, в воспитанных им людях Антоном Семеновичем Макаренко и «живым» критиком Ф. Левиным, который находится по ту сторону нашей жизни, потому что он не любит ее и не способен понять творческих возможностей советских людей.

В чем вся соль возникшего вопроса?

Ф. Левин поместил в журнале «Литературный критик» № 12 статью под названием «Четвертая повесть А. С. Макаренко». В этой статье он обвиняет писателя А. Макаренко в том, что тот искажает действительность, в том, что тот пишет «сусальную сказку, сказку о том, чего не могло быть, нет и не будет».

Не будем пока касаться критики литературных качеств романа «Флаги на башнях», которую Ф. Левин пытается подменить обыгрыванием таких словечек, как «сахарин», «патока», «классная дама», «священный восторг» и т. д.,— пусть это пока остается на Вашей совести, но советуем помнить, что в нашей стране всегда торжествует правда и Вам не очернить имен лучших сынов нашего отечества.

В чем квинтэссенция Вашей статьи? В том, что «добрый дяденька Макаренко» пишет, дескать, «неправдоподобную сказку, идиллию», которая никогда не осуществится и которую осуществить невозможно.

А мы утверждаем, что это клевета не только на А. С. Макаренко, но и на советскую жизнь.

Мы во всеуслышание заявляем, что жизнь, описанная в книге А. С. Макаренко «Флаги на башнях», существовала, что действительно была в Харькове коммуна имени Ф. Э. Дзержинского, названная в романе «Колонией Первого Мая», и что мы ее воспитанники. Там действительно был

---

[1] Письмо было написано в апреле 1939 года. Впервые напечатано в «Учительской газете» 12 марта 1949 года. Текст письма публикуется в сокращенном виде.

дворец, там была жизнь коллектива, стоящая неизмеримо выше простого общежития неорганизованных ребят. В романе «Флаги на башнях» показан коллектив, выросший на основе шестнадцатилетнего педагогического опыта А. С. Макаренко, коллектив, впитавший все то прекрасное, что дала колония имени Горького. Об этом Вы можете узнать, открыв «Педагогическую поэму»!

«Только пятьдесят пацанов-горьковцев пришли [redacted] пушистый зимний день [redacted] красивые комнаты коммуны Дзержинского, но они принесли с собой комплект находок, традиций [redacted] приспособлений, целый ассортимент коллективной техники, молодой техники освобожденного от хозяина человека. И на здоровой новой почве, окруженная заботой чекистов, каждый день поддержанная их энергией, культурой [redacted] талантом, коммуна выросла [redacted] коллектив ослепительной прелести, подлинного трудового богатства, высокой социалистической культуры, почти не оставив ничего от смешной проблемы «исправления человека» — писал Макаренко.

Нет, Вам этого не понять, потому что Вы не верите [redacted] могущество нашего воспитания. Вы не любите советского человека [redacted] сами пишете об этом [redacted] следующих словах:

«Повесть сентиментальна [redacted] паточна, и если бы не вор [redacted] враг Рыжиков, то перед нами был бы сущий рай с архангелами, только без крылышек. Присматриваясь ближе, видишь, что герои повести [redacted] сущности даже не беспризорники [redacted] правонарушители, в них никогда не было каких-либо уродств или вывихов, подлежащих исправлению».

Интересно, что Вы понимаете под словом «беспризорник»? Этакий «Джек-потрошитель», преисполненный всяческих пороков, «уродств» [redacted] «вывихов», вызывающий у вас барскую брезгливость и нездоровый интерес, которые Вы даже не трудитесь скрывать в приведенной выше цитате.

При таком отношении к детям Вам не понять А. С. Макаренко, подлинного гуманиста, созидателя [redacted] страстного певца советского коллектива «могущества непревзойденного», как он писал. Для Макаренко беспризорный — это прежде всего советский ребенок или подросток, именно советский, временно попавший в тяжелое положение. Но эти мальчики и девочки до несчастья, вытолкнувшего их из семьи, учились [redacted] советской школе, многие закончили семь классов, они хорошо сознают [redacted] понимают свое тяжелое положение, всегда ищут из него выход. И мы имеем право сказать Вам от имени всех этих попавших временно в беду детей, что они верят в советскую жизнь и людей и любят их так, как Вы, критик Ф. Левин, не умеете любить, ибо Ваша ирония о рае с архангелами без крылышек, когда описана правда нашей жизни, выдает Вас с головою! Вам подавай «уродство» и «вывихи» — вот что мило Вашему критиканствующему духу.

Но хотя Вы, вероятно, считаете себя «выдающимся критиком», Вами не только не определяется величественное течение нашей жизни, но Вы и видеть его не способны. Представьте себе, что [redacted] дети-сироты, даже если под влиянием неблагоприятных условий они стали воришками, [redacted] улицы наших советских городов и весей совсем не такие «вывихнутые», как Вам бы хотелось. У беспризорных ребят нет чувства безнадежности [redacted] обреченности. На этой самой «улице» их по-матерински журят хорошие советские женщины [redacted] «дяденьки» в рабочих куртках или с портфелями

говорят им: «Довольно шляться по свету, учиться надо и работать. Ты в советской стране живешь, для тебя партия и правительство все приготовили. Отправляйся в колонию, вот тебе и адрес». А эти самые беспризорные, такие же советские дети, как [redacted] все, хотят нормальной счастливой жизни. И как раз вредно, очень вредно — это основная ошибка многих «педагогов» — искать в них каких-то «уродств», как делаете Вы. Но при Вашей «чуткости» Вам трудно разобраться в таких вопросах.

Одной из основных замечательных традиций коммуны было никогда не расспрашивать ребят о прошлом. И поэтому мы ничего не знали друг о друге. Наш замечательный коллектив давал возможность коммунарам забыть их тяжелое прошлое [redacted] чувствовать себя обыкновенными детьми, какими мы [redacted] были.

Мы свидетельствуем, что все описанное [redacted] книге «Флаги на башнях» имело место в советской действительности. Вы можете нам возразить, что если это и было, то это не характерно для нашей жизни, [redacted] поэтому на этом не надо останавливать внимание читателей, не надо этого пропагандировать.

Мы отвечаем:

Великая наука Маркса — Ленина указала конкретные пути строительства коммунизма. Партия ведет нас к коммунизму. Наши писатели пишут [redacted] будут писать с перспективой в будущее. Что Вы будете, гр. Левин, делать с Вашим критическим пером, читая книгу об этом обществе? Ведь каждая такая книга будет для Вас «сказкой доброго дедяньки».

Мы хотим поставить вопрос так: даже если бы все написанное [redacted] книге «Флаги на башнях» и было вымыслом писателя А. Макаренко, то это уже нужно, уже реально потому, что эта книга рисует коллектив, в котором находят свое осуществление глубочайшие принципы и тончайшие методы коммунистического воспитания.

Дальше можно выдвинуть такой вывод: то, что законно для коммунистического общества, может быть, еще неприемлемо пока в наших условиях? Опровергнуть и это — очень просто: коллектив имени Ф. Э. Дзержинского дал стране сотни полноценных граждан нашей прекрасной Родины, работающих буквально во всех отраслях народного хозяйства страны. Берем первых, которые вспоминаются:

П. Працан — студент Коммунистического политпросветительного института имени Н. К. Крупской; Юдин, Локтюхов А., Герцкович Г.— курсанты Военно-морского училища имени Дзержинского; Черный — летчик ВВС РККА; Никитин С.— инженер номерного завода; Таликов — инженер-электрик; Борисов Ф.— инженер ХТГЗ; Беленкова М.— аспирант института иностранных языков; Шершнев Н.— врач; Панов И.— инженер; Конисевич Л.— судовой механик (орденоносец).

Этот список людей, воспитанных, по Вашему мнению, в «паточном» [redacted] «сахаринном» коллективе, можно было бы сделать очень длинным, лишь размер данного письма не позволяет этого.

История этих сотен людей показывает, что идеи [redacted] методы коммунистического воспитания, которые воплотил в жизнь наш духовный отец и учитель А. С. Макаренко, должны быть внедрены буквально во все звенья нашей педагогики, и уже это дает колоссальный толчок вперед делу воспитания нового человека, делу выполнения задач третьей пятилетки,

поставленных товарищем Сталиным в отчетном докладе на XVIII съезде ВКП(б). Для пропаганды этих идей бесконечно ценна и необходима книга «Флаги на башнях».

Если теперь обратиться к Вашей критике литературных достоинств повести, то Вы в статье прежде всего обрушиваетесь на пресловутую «нежизненную красивость» персонажей этой книги. Как можно не заметить, что это не «красивость», а подлинная красота нового человека, красота собранности, подтянутости, точного движения и красота внутренняя, которую надо же уметь, Ф. Левин, видеть. Антон Семенович всегда говорил, что советские юноши и девушки, когда они здоровы, счастливы и живут полнокровной трудовой жизнью,— они все красивы! Если А. Макаренко пишет: «Пацан лобастый и серьезный» или «Володя Бегунок — пацан лет двенадцати, хорошенький, румяный, чуть-чуть важный. Как-то особенно играючи и уверенно ступали его ноги, большие темные глаза по-хозяйски оглядывали все». Разве такой красотой, красотой уверенности не светятся уже наши люди и не будут обладать ею все члены коммунистического общества, которое мы строим и куда Вы, критик Ф. Левин, сумели бы войти, только оставив на пороге весь груз прошлого, мешающий Вам видеть счастье нашей жизни.

Вы не понимаете, как это так легко и свободно беспризорник (в Вашем понимании калека и вор) переделывается в активного, сознательного коммунара. Вы это считаете неестественным, неправдивым.

Напомним, что за пределами Советского Союза якобы «дальновидные мыслители» до сих пор не способны осмыслить стахановский труд, поверить в него. Они не могут понять, что рядовой рабочий Советского Союза обладает таким гигантским потенциалом коммунистического сознания, который позволяет обыкновенными средствами в обыкновенной обстановке дать рост производительности труда на тысячи процентов. Эти критики «с добротной заграничной маркой» кричат, что сведения о советских героях труда — вымысел, нереальная сказка, которая не может иметь места не только сейчас, но невозможна и в будущем.

Для нас стахановский труд — прекрасная правда нашей жизни, и долг наших писателей — воспитывать в советских гражданах те коммунистические начала, которые заложены в стахановском труде.

Для тех, кто кровно связан со своей страной, каждый стахановец, независимо от его физических качеств,— красив! Красив своим трудовым пафосом, служением народу, своей целеустремленностью. Великая правда и эстетика стахановского труда — это чудесная явь нашей жизни, а не сказка. Нам не убедить, а может быть, словами и бесцельно убеждать, злополучных горе-критиков Запада. Мы убедим их на деле, и тогда им не поздоровится!

Мы почти уверены, что и Вас нам не убедить, если Вы не поверили вдохновенной повести А. С. Макаренко, но это тоже не имеет, собственно, никакого значения. Испачканными в чернилах руками не остановить нашей жизни! Коммунистический коллектив, описанный в книге «Флаги на башнях», существовал; будут еще более совершенные коллективы, и они бессмертны, ибо это тот путь, путь непрерывного развития, который указан нам генеральной линией нашей партии.

А. С. Макаренко не только описал этот коллектив, он, вдохновленный партией, создал этот коллектив. Мы — счастливые воспитанники этого коллектива.

И еще об эстетике.

Вам, гражданин Ф. Левин, кажется неубедительным в романе «Флаги на башнях» описание организованного комсомольского коллектива, какой был в коммуне имени Ф. Э. Дзержинского. Радостные, величественные будни братского единства советских людей в труде кажутся Вам слишком пресными. Вам подавай извечные темы торгашеского мира: «человек человеку — волк!»

Вам недоступны симфонии молодой советской жизни, они режут Вам ухо. Что же, есть прекрасная аналогия: длинные уши западных эстетствующих меломанов, воспитанных на визгливой джазовой какофонии, не воспринимают величественной красоты русской народной и классической музыки. А советские народы гордятся своей музыкальной культурой и знают, что она имеет мировое значение.

«Флаги на башнях» Вам не понравились, гражданин Ф. Левин, потому что в этой книге идет речь о тщательной — зеркальной шлифовке нового коммунистического человека, о детском коллективе, о коллективах второй пятилетки, которые растила партия и оберегала вся страна. В эти годы оказалось возможным и необходимым перейти к тончайшей ювелирной обработке личности, обработке, стирающей последние остатки праха прошлого, и человеческий коммунистический коллектив засиял во всей своей новой красоте и силе.

Эта книга нравится тысячам советских людей, которые читали ее. Они писали об этом в письмах А. С. Макаренко. Она нравится нам, мы знаем всю глубину раскрытой в ней правды, и мы гордимся, что прожили свою юность именно так, как описал ее Антон Семенович во «Флагах на башнях».

Мы хотим и будем добиваться, чтобы вся наша дальнейшая жизнь была похожа на ту, которая художественно отображена в этой книге.

А Вы, гражданин Ф. Левин, вышли из фарватера нашей жизни и поэтому не понимаете, что Вы с Вашей «критикой» уже потерпели полный крах.

У Вас есть сейчас только один честный выход: на страницах печати отказаться от Вашей статьи «Четвертая повесть А. С. Макаренко» или за вас это сделают другие. И мы убеждены, что это так и будет.

По поручению колонистов-горьковцев
и коммунаров-дзержинцев:
С. Калабалин, А. Тубин, Л. Салько,
В. Клюшник, Е. Ройтенберг[1].

---

[1] Все авторы письма — впоследствии офицеры Советской Армии, участники Великой Отечественной войны. А. Тубин и Е. Ройтенберг погибли на фронте (*Ред.*).

КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ К ПОВЕСТИ «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»

Повесть «Флаги на башнях» отражает жизнь созданной А. С. Макаренко коммуны имени Ф. Э. Дзержинского, [redacted] которой он работал с 1927 по 1935 год. Именно здесь были наиболее последовательно воплощены [redacted] жизнь педагогические идеи А. С. Макаренко, давшие блестящие результаты. Не случайно А. М. Горький назвал коммуну имени Ф. Э. Дзержинского «окном [redacted] коммунизм».

Произведение является своеобразным продолжением «Педагогической поэмы». В повести действует сформировавшийся подростково-юношеский коллектив, достигший высокой моральной культуры. На подлинных примерах жизни и деятельности колонистов А. С. Макаренко раскрывает пути органического сочетания обучения с производительным трудом воспитанников и благотворное влияние труда на их всестороннее развитие и коммунистическое воспитание.

[redacted] повести убедительно показано, как [redacted] конкретных условиях колонии имени Первого Мая реализуются ленинские установки на воспитание сознательной дисциплины. А. С. Макаренко считал, что дисциплина — это не только внешняя упорядоченность жизни или форма подавления антиобщественных действий отдельных членов коллектива. Она является закономерным проявлением организованности коллектива.

Средствами художественных образов А. С. Макаренко раскрывает одну из важнейших своих формул, в соответствии с которой «дисциплина есть свобода, она ставит личность в более защищенное, свободное положение и создает полную уверенность [redacted] своем праве, путях и возможностях именно для каждой отдельной личности» (т. 5, с 37). «Флаги на башнях» — это повесть о совершенстве, красоте созидательного, сформированного коллектива, «о железной, строгой, крепкой дисциплине, которая способна привести [redacted] идиллии» (т. 5, с. 263).

[1] *Байрон, Джордж-Ноэл-Гордон* (1788—1824) — английский поэт, виднейший представитель революционного романтизма. Он создал образ романтического стихийного и непреклонного бунтаря, одинокого мятежника, своевольного индивидуалиста.— *7*

[2] А. С. Макаренко высмеивает лженаучную «работу» педологического кабинета. Реакционная сущность педологии разоблачена в постановлении ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях [redacted] системе наркомпросов».

Педологи в своей деятельности широко использовали разнообразные упражнения [redacted] задачи для измерения интеллекта детей. Они назывались тестами (от английского *test* — проба, испытание). На основании тестовых исследований устанавливался так называемый коэффициент интеллектуального развития [redacted] его связь (корреляция — *лат.)* с другими психическими функциями.

ЦК партии в названном постановлении подчеркивал, что «практика педологов, протекавшая [redacted] полном отрыве от педагогов [redacted] школьных занятий, свелась [redacted] основном к ложно-научным экспериментам и проведению среди школьников [redacted] их родителей бесчисленного количества обследований [redacted] виде бессмысленных [redacted] вредных анкет, тестов и т. п., давно осужденных партией».— *27*.

[3] В колонии имени А. М. Горького и в коммуне имени Ф. Э. Дзержинского А. С. Макаренко использовал целую систему сигналов. Он писал: «...удобнее,

если движение коллектива в течение дня направляется не звонками, а трубными сигналами, если в некоторые моменты дневной работы допускается символизация при помощи внешних выражений» (т. 5, с. 86). Такое решение этого вопроса типично для А. С. Макаренко. Он считал, что «форма выражения» должна быть предметом специальной педагогической заботы и расценивал правильно найденную форму как признак культуры.— *31*.

[4] Имеется в виду принцип, которого последовательно придерживался А. С. Макаренко,— не интересоваться прошлым своих воспитанников и не вспоминать о нем. Это концентрировало интересы каждого воспитанника на его будущем, способствовало организации новых перспективных линий.

В письме к редактору «Литературной газеты» Войтинской и критику Ф. Левину бывшие воспитанники колонии имени А. М. Горького и коммуны имени Ф. Э. Дзержинского писали: «Одной из основных замечательных традиций коммуны было никогда не расспрашивать ребят о прошлом. И поэтому мы ничего не знали друг о друге Наш замечательный коллектив давал возможность коммунарам забыть их тяжелое прошлое и чувствовать себя обыкновенными детьми, какими мы и были» (т. 3, с. 465—466).— *35*.

[5] *Наробраз* — так назывался районный, городской или областной отдел народного образования.— *39*.

[6] *Декохт* — «сидеть на декохте» в переносном смысле — голодать.— *44*.

[7] *Комонес* — комиссия по делам несовершеннолетних.— *44*.

[8] *Спон* — социально-правовая охрана несовершеннолетних.— *45*.

[9] *ДЧСК* — дежурный член совета командиров.— *57*.

[10] После приема в коммуну воспитанникам представлялись первые два дня для отдыха и знакомства с правилами коммуны и с товарищами.

См. «Методика организации воспитательного процесса», глава «Новые воспитанники», т. 5, с. 62—68 —*60*.

[11] Вступая в оркестр, каждый воспитанник давал подписку, что он будет играть в нем определенное время, а о своем выходе из оркестра обязан был заявить не меньше, как за три месяца. Это дисциплинировало воспитанников, предупреждая «капризы», а если для ухода из оркестра были уважительные причины, позволяло подготовить необходимую замену.— *69*.

[12] *Пропилеи* — парадный проход, проезд, образованный портиками и колоннадами, расположенными симметрично оси движения.— *72*.

[13] Коммунара А. Н. Землянского (прототип Зырянского) в шутку называли «Робеспьером», так как при обсуждении проступков того или иного члена коммуны он настаивал на применении самой строгой меры взыскания — исключения из коммуны.— *75*.

[14] А. С. Макаренко считал принципиально важным научить всех воспитанников умению в одних случаях подчиняться своему товарищу, а в других случаях — давать ему распоряжения, приказывать. «Товарищ должен уметь подчиняться товарищу, не просто подчиняться, а уметь подчиняться»,— писал А. С. Макаренко. «И товарищ должен уметь приказать товарищу, то есть поручить ему и потребовать от него определенных функций и ответственности... вот этот самый мальчик — дежурный командир, который сегодня руководит коллективом, а завтра уже подчиняется новому руководителю, он как раз является прекрасным примером такого воспитания.

Я уходил еще дальше в этом отношении, я старался как можно больше переплести зависимости отдельных уполномоченных коллектива друг с другом так, чтобы подчинения и приказания как можно чаще встречались бы...» (т. 5, с. 211).— *84*.

[15] *ССК* — секретарь совета командиров.— *86*.

[16] Автор цитирует стихотворение Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья».— *99*.

[17] А. С. Макаренко говорил, что новая советская педагогика, сердцевиной которой является методика коммунистического воспитания, рождалась в условиях жестокой борьбы с вековыми традициями буржуазной педагогики. Удушливые газы старой педагогики продолжительное время отравляли наш воздух. Старое оказывалось чрезвычайно живучим. В большинстве случаев оно концентрировалось вокруг тенденций индивидуализма и эгоизма.— *99*

[18] А. С. Макаренко считал принципиально неправильным рассматривать воспитанников только в качестве объекта воспитания. Лучшие условия для

коммунистического воспитания учащихся создаются в том случае, если они одновременно выступают и как субъекты воспитания. Возможно же это только при наличии прочного коллектива. Именно в коллективе личность выступает в новой позиции воспитания — она не объект воспитательного воздействия, а его носитель — субъект, но таковым она становится, только выражая интересы всего коллектива.— *100.*

[19] Порядок и церемониал приема был заранее предусмотрен в приказе от 13.XI.1931 г. по коммуне им. Ф. Э. Дзержинского.— *101.*

[20] *«Парусовка»*—одежда, изготовленная из грубой, толстой льняной ткани.—*103.*

[21] *«Спортсменки»* — специальная эластичная обувь для спортсменов.— *103.*

[22] *Шишельник* — рабочий литейного цеха, который изготовляет шишки — стержни.— *103.*

[23] *«Письмо»* — одна из самых сложных фигур в городошном спорте.— *104.*

[24] В учреждениях А. С. Макаренко (колония имени А. М. Горького и коммуна имени Ф. Э. Дзержинского) существовал четырехчасовый рабочий день. Как правило, воспитанники в первую половину дня учились, а во вторую половину дня работали. Антон Семенович говорил о том, что при правильной постановке школьного дела воспитанников ежедневно необходимо привлекать к производительному труду (по 2 часа в день).— *107.*

[25] *Шабровка* — точная обработка поверхности детали, путем снятия тонкого слоя металла с помощью специального слесарного инструмента — шабера.— *117.*

[26] *Опока* — рама с земляной литейной формой.— *118.*

[27] Имеется в виду энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, издававшийся в Петербурге с 1890 по 1907 год. Словарь состоял из 82 основных и 4 дополнительных полутомов (всего 43 тома).— *118.*

[28] Рыскрывая этот метод воздействия на воспитанников, А. С. Макаренко в Научно-практическом институте специальных школ и детских домов НКП РСФСР 20 октября 1938 г. говорил: «..я очень часто практиковал такие вещи. Я мог бы призвать к себе того, кто согрешил, и сделать ему выговор. Но я так не делал. Я пишу ему записку с просьбой прийти обязательно вечером, обязательно в 11 часов. Я даже ничего особенного ему не буду говорить, но до 11 часов он будет ходить в ожидании моего разговора. Он сам себе многое скажет, ему скажут товарищи, и он придет ко мне уже готовый. Мне ничего уже не нужно с ним делать. Я ему только скажу: «Хорошо, иди». И у этого мальчика или девочки будет происходить обязательно какой-то внутренний процесс» (доклад «О моем опыте», т. 5, с. 269—270).—*141.*

[29] В коммуне имени Ф. Э. Дзержинского кабинет директора был подлинным педагогическим центром. На совещании учителей Ярославской ж. д. 29 марта 1939 г. А. С. Макаренко говорил: «Для своего кабинета я выделил самую большую комнату, обставил ее диванами, и любой коммунар мог присутствовать здесь, мог читать, мог слушать, что говорят. Имели полное право делать это. И тут не нужно было никому ни перед кем тянуться» (т. 5, с. 318—319).—*145.*

[30] *Калиброванная работа* — работа с очень высоким уровнем точности.— *171.*

[31] *Умформер* — электрическая машина для превращения постоянного тока одного напряжения в постоянный ток другого напряжения.—*171.*

[32] В коммуне имени Ф. Э. Дзержинского специальный знаменный отряд состоял из 8 человек: 4 знаменосцев, 4 ассистентов (2 основных и 2 запасных на случай необходимости замены). Состав знаменного отряда был постоянным: раз избранные его члены несли свои обязанности до выхода из коммуны.— *173.*

[33] Коммуна имени Ф. Э. Дзержинского поддерживала систематическую связь со всеми своими выпускниками. Одной из форм такой связи были дополнительные стипендии студентам. См. об этом «Методика организации воспитательного процесса», глава «Выпуск» (т. 5, с. 98—100).— *242.*

[34] О достижениях коммуны имени Ф. Э. Дзержинского А. С. Макаренко говорил: «Коммуна имени Дзержинского... отказалась от государственной дотации и перешла на самоокупаемость. А последние пять лет не только покрывала содержание завода, общежития, всего быта, пищи, одежды, школы целиком, но и давала государству 5 млн. рублей чистой прибыли в год» (т. 5, с. 311).— *247.*

[35] *Фертом* — самодовольно и развязно.— *286.*

АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ К «КНИГЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

Приступая к «Книге для родителей», [redacted] всегда отдавал себе отчет в трудности этой задачи. Собственно говоря, книга имела практическую цель: помочь советской семье в постановке [redacted] решении воспитательных задач, но [redacted] хотел, чтобы эта цель была достигнута художественными средствами. Я знал о небольших методических брошюрах для семьи и знал, что эти брошюры до семьи почти не доходили, а если [redacted] доходили, то производили слабое и малодейственное впечатление. Неудача их объясняется многими причинами, главным образом неглубоким политическим охватом вопросов воспитания и сухостью методических советов. Мне казалось, что художественные образы должны гораздо сильнее воздействовать на широкого читателя — отца или мать, должны гораздо более возбуждать активную мысль [redacted] гораздо сильнее привлекать внимание родителей к проблемам советского воспитания.

Но в то же время я очень боялся, что художественный образ, низведенный до значения прямого примера, потеряет всякую художественность, сделается слишком дидактическим [redacted] спорным. Боялся я и другого: методика семейного воспитания не только у нас, но [redacted] [redacted] буржуазных странах почти не разработана. Обыкновенно домашнее воспитание идет по пути сложившихся [redacted] обществе традиций, поэтому, например, английская «средняя семья» так сильно отличается от семьи немецкой или французской. Наше общество — общество очень молодое, при этом очень быстро движущееся вперед. Больших семейных традиций у нас накопиться не могло. Впереди у нас стоят великие цели коммунизма, каждый сознательный гражданин Советского Союза видит эти цели [redacted] в своей практической жизни, [redacted] своей морали, в своем отношении к людям старается по ним равняться. Накопление социалистических традиций [redacted] традиций коммунистического поведения в области семьи у нас не приобрело еще широкого опытного характера.

Я должен был поэтому не столько подытоживать семейный советский опыт, сколько предсказывать, предвосхищать, основываясь на тех тенденциях, которые сейчас можно наблюдать в нашей семье.

Есть в нашем обществе очень много талантливых и активных родителей, которые дают своим детям прекрасное советское воспитание. Такие родители являются пионерами советской семейной педагогики, у каждого из них есть свои «находки», до сих пор нигде не сведенные в какой-нибудь общий опыт. Из уважения к этим «находкам», из сознания большой важности нашего дела я не мог рассматривать многие вопросы семейной методики как вопросы, мною решенные, не мог рекомендовать определенные приемы и методы. Это было тем более невозможно, что каждая семья представляет собой явление особое, индивидуальное, и воспитательная работа в одной семье вовсе не должна быть точной копией такой же работы в другой.

По этим причинам я должен был ограничиться указанием на общие тенденции нашего педагогического развития, прямо вытекающие из особенностей нашего социалистического общества. Я рассчитывал на единственный результат моей книги: возбуждение педагогического и этического мышления в среде родителей, приближение проблем воспитания вплотную к семье. Я об этом прямо сказал в конце книги и просил родителей помочь мне в продолжении моей работы. Вышел только первый том «Книги для родителей», посвященный исключительно вопросу о семейном коллективе как явлении целостном. Во втором и третьем томах я рассчитывал приступить к рассмотрению некоторых деталей семейной педагогики, пользуясь не только моим опытом, но и опытом читателей-родителей, которые отзовутся на мою просьбу.

Я получил очень много писем от читателей и продолжаю получать их в большом количестве. К сожалению, незначительный тираж книги — 10 тысяч — не позволил ей сделаться предметом внимания широкого читателя. Письма, получаемые мною, принадлежат поэтому главным образом читателю, который получает книгу в первую очередь, читателю-интеллигенту.

Приблизительно половина писем говорит не о самой книге, а о тех педагогических затруднениях, которые возникли в данной семье; об этих письмах я здесь говорить не буду.

Авторы остальных писем говорят о моей книге, одобряют или осуждают ее положения, указывают на недостатки, выдвигают те или иные проблемы семьи и воспитания.

Отзывы о книге чрезвычайно разнообразны. Автор, назвавший себя «старым врачом», пишет:

«Книга для родителей», вернее «О родителях», производит глубокое впечатление. В ней затронуты вопросы, далеко не разрешенные, правильнее сказать, даже не поставленные семьей. Художественное оформление оставляет глубокий след у читателя и заставляет прочувствовать и продумать наше отношение к детям».

Подобные положительные отзывы имеются во многих письмах. Но есть и отзывы прямо противоположные. Товарищ Г. из Ленинграда в пространном письме доказывает, что моя книга очень слаба и фальшива (о «Педагогической поэме» он чрезвычайно высокого мнения): «История Веткиных не советская, а библейская история». «Рассказ о Евгении Алексеевне — мещанская повесть, рассказ о так быстро исправившейся дочери библиотекарши неубедителен». Товарищ Г. указывает и на причины

моей неудачи. По его мнению, [redacted] задумал написать книгу о том, как нужно воспитывать детей, а такая тема у нас вообще невозможна, так как воспитывают у нас не родители, [redacted] все общество. Автор почему-то не заметил моей основной установки, что «главный секрет» хорошего воспитания обусловлен прежде всего чувством гражданского долга родителей [redacted] их политическим поведением.

Товарищ Г. пишет:

«Разве нужно быть педагогом, чтобы воспитывать? Педагоги, к сожалению, очень отсталая каста».

В своих замечаниях (многие из них вызывают мою благодарность) товарищ Г. касается очень важного вопроса, но решает его совершенно неправильно. Он рассматривает воспитание как процесс стихийный, повторяя утверждения многих моих педагогических противников, достаточно напутавших в организации нашей школы. По мнению этих людей, не нужно никакой педагогической техники, а нужно положиться на прямое влияние широкой жизни. Отсюда родились многие завиральные идеи «свободного воспитания», самоорганизации и самодисциплины. Как педагог, [redacted] с товарищем Г., конечно, согласиться не могу. Я убежден, что призыв партии [redacted] правительства «восстановить в правах педагогику [redacted] педагогов» имеет [redacted] виду не только образовательный процесс в школе, но и процесс воспитания. В этом процессе также необходима правильная [redacted] целеустремленная организация влияния на ребенка, направляемая большим педагогическим знанием. В семью организация влияния на ребенка должна прийти через широкую педагогическую пропаганду, через пример лучшей семьи, через повышение требований к семье

Очень много отрицательных отзывов вызывает повесть о семье, брошенной мужем-алиментщиком, повесть о Евгении Алексеевне. Авторы писем указывают, что я слишком горячо набросился на отца [redacted] тем самым набросился на свободу брака. В одном письме написано:

«Неужели вы добиваетесь, чтобы была восстановлена старая крепостная семья, когда двое людей принуждены были страдать всю жизнь, не любя друг друга?»

Я, конечно, этого не добивался. Я только высказался в том смысле, что даже [redacted] стремлении сохранить «свободу любви» нельзя забывать о своем долге перед страной [redacted] о судьбе ребенка.

В первой книжке «Литературного обозрения» за 1938 год напечатано письмо супругов Пфляумер. О них многие знают в Москве, знают в связи с большим человеческим подвигом: в своей жизни они дали воспитание пятерым детям, взятым из детских домов. Товарищи Пфляумеры в общем положительно относятся к моей книге. Они берут, между прочим, под защиту молниеносное исправление Тамары в рассказе [redacted] библиотекарше. Одобряют они [redacted] идиллию о Веткиных, но ставят мне в упрек, что [redacted] не описал веткинских методов. Кстати, в этом же меня упрекают и другие товарищи. Я с этим не совсем согласен. В книге я вообще избегал описывать какие бы то ни было воспитательные методы отдельных лиц. Я полагал, что гораздо полезнее дать более или менее яркий пример крепкой, хорошей советской семьи, и если родители захотят следовать этому примеру, то они уже без особого труда найдут и соответствующие методы. По моему мнению, гораздо полезнее подражать результатам,

чем копировать методы, которые в различных семьях могут сильно отличаться друг от друга.

Наиболее серьезный упрек бросают товарищи Пфляумеры моему «менторскому» тону в публицистических отступлениях. Очень возможно, что авторы письма и правы, хотя, разумеется, менторский тон получился нечаянно. Я просто хотел выражаться как можно короче и точнее, но, работая над следующими томами, я должен буду серьезно подумать над стилем оформления публицистической части.

Наибольший интерес для меня как для автора представляют те письма, которые помогают мне в работе над вторым и третьим томами.

В этом отношении я особенно должен отметить письмо товарища Д. из Горького. Этот товарищ воспитал десять детей. К моей книге он относится положительно. Вместе с письмом товарищ Д. прислал мне очень богатый и интересный материал: записки, дневники, сводки, переписку с педагогами. В этих материалах отражается замечательная работа настоящего большевика-отца (кстати, товарищ Д.— рабочий).

. До сих пор ко мне обратилось восемь читателей, которые обогатили меня не только своими короткими мнениями, но и присылкой подробных материалов о своей воспитательной работе. Я надеюсь, что по мере продвижения книги число таких читателей будет увеличиваться.

Особый интерес представляют письма молодежи, авторы которых хорошо относятся к моей книге и просят дать ответы на отдельные вопросы, их волнующие.

Между прочим, товарищ К. из Москвы, ученик X класса, пишет:

«Что надо делать самим детям, чтобы исправлять ошибки отцов, чтоб стать достойными сынами родины? Ведь не секрет, что Вашу книгу читают наряду со взрослыми и подростки, причем, я бы сказал: они воспринимают ее содержание очень близко, иногда ближе, чем многие из родителей. Я один из таких».

Письма родителей и письма молодежи не только дали мне богатейший фактический материал, но и обогатили мой педагогический опыт. Я глубоко признателен моим корреспондентам за помощь и уверен, что благодаря им следующие томы моей работы будут совершеннее.

Второй том я рассчитываю посвятить вопросам воспитания активного, целеустремленного большевистского характера формирующегося молодого советского человека. Это очень трудный вопрос; я не могу назвать ни одной книги, где бы этот вопрос был разработан методически. Я имею для руководства общие принципы философии марксизма и указания глубочайшего смысла, указания товарища Ленина. Передо мной стоит ответственная задача перевести эти указания на язык семейного быта и семейного поведения.

Третий том я посвящаю вопросам, которые мне хочется назвать «вопросами потребления». Жизнь есть не только подготовка к завтрашнему дню, но и непосредственная живая радость. Сделать эту радость не противоречащей долгу, стремлению к лучшему — это значит решить вопрос об этике большевистского поведения.

О «КНИГЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Вступительное слово

Товарищи, я никогда не думал раньше, что мне придется писать «Книгу для родителей», так как детей собственных у меня нет и вопросами семейного воспитания, мне казалось, я заниматься не буду.

Но по своей работе в трудовых колониях и в коммунах за последние годы мне приходилось получать детей-правонарушителей, уже не беспризорных, а главным образом из семей.

Как вы сами знаете, в настоящее время у нас беспризорных нет, но дети, нуждающиеся в особом воспитании, в колониях имеются, и в последние годы мне главным образом присылали таких детей.

Поэтому я подошел вплотную к тем явлениям, какие имеются в нашей семье. Мне пришлось сталкиваться с такими случаями, когда в том, что ребенок вступил на преступный путь, виновата семья, но в большинстве случаев мне приходилось встречаться с другими вариантами, когда трудно было даже разобраться — виновата семья или нет, когда как будто и семья хорошая, и люди в семье советские, и ребенок неплохой, настолько неплохой, что у меня он становился хорошим на другой день после прибытия. А вот он страдает и семья — их жизнь испорчена.

Таким образом, я поневоле должен был задуматься над воспитанием в семье.

Последние два года мне пришлось исключительно уже работать по вопросам воспитания в семье и заняться исследованием путей помощи семье в ее воспитательной работе. И вот у меня накопилось очень много впечатлений, наблюдений, опыта, мыслей, и я с большой, правда, робостью, прямо скажу, приступил к этой книге.

Книга задумана в четырех частях. Пока вышла только первая часть.

Почему мне захотелось написать книгу в художественной форме? Казалось бы, чего проще взять и написать — воспитывайте так, дать определенные советы. В небольшой такой книжонке очень много можно сказать. А если возьмешься писать художественное произведение, приходится давать иллюстрации, много времени и бумаги тратить на описание детских игр, всяких разговоров и т. д. Почему я это сделал? Умение воспитывать — это все-таки искусство, такое же искусство, как хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо писать картины, быть хорошим фрезеровщиком или токарем. Нельзя научить человека быть хорошим художником, музыкантом, фрезеровщиком, если дать ему только книжку в руки, если он не будет видеть красок, не возьмет инструмент, не станет за станок. Беда искусства воспитания в том, что научить воспитывать можно только в практике на примере.

Со мной работали десятки молодых педагогов, которые у меня учились. Я убедился, что как бы человек успешно ни кончил педагогический вуз, как бы он ни был талантлив, а если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом. Я сам учился у более старых педагогов, и у меня многие учились.

Так и в семье учатся сыновья и дочери у родителей будущей работе воспитания, часто даже для себя незаметно, так что педагогическое

искусство может передаваться с помощью образца, примера, иллюстрации. Поэтому я пришел к убеждению, что [redacted] «Книга для родителей» должна быть написана в виде таких примеров, [redacted] виде художественного произведения.

Почему [redacted] боялся этой темы? Потому что ни [redacted] русской, ни [redacted] мировой литературе нет таких книг, так что не у кого поучиться, как такую книгу писать. А взять эту совершенно новую тему с уверенностью, что вот я с ней справлюсь, у меня такой смелости не было. И все-таки я написал книгу, думал — от нее хоть маленькая польза будет. Я постоянно встречаюсь с родителями [redacted] получил около полутора тысяч писем, причем в этих письмах родители очень мало занимаются критикой моей книги, хвалят или ругают ее, [redacted] все пишут о своих детях — плохие у них дети или хорошие. И почему такие. Задают разные вопросы; собственно, это не переписка советского читателя [redacted] писателя, [redacted] переписка родителей с педагогом.

И вот, по всем этим письмам и моим многочисленным встречам с родителями я вижу, насколько этот вопрос глубок [redacted] важен, [redacted] чувствую свою обязанность не оставлять его. Плохо будет дальше написано или хорошо, читатели скажут, может быть, я начну плохо, но «лиха беда — начало», другой сделает потом лучше.

В первом томе [redacted] ничему не поучал, [redacted] хотел только коснуться вопроса о структуре семьи. У нас [redacted] педагогике этого вопроса просто никто не затрагивал, [redacted] по тем многочисленным примерам, которые я наблюдал, [redacted] особенности изучая детей, поступивших ко мне [redacted] коммуну, я вижу, что вопрос [redacted] структуре семьи, о составе ее, о характере имеет кардинальное значение.

Я уже писал в своей книге [redacted] сейчас скажу,— через мои руки прошло таких семейных детей, вероятно, человек четыреста-пятьсот, [redacted] это редко были дети из многодетных семей, [redacted] [redacted] большинстве случаев — единственные дети. Поэтому для меня уже нет сомнения, что единственный ребенок является более трудным объектом воспитания. Конечно, есть случаи, когда [redacted] единственный ребенок прекрасно воспитан, но если взять статистику, то такой единственный ребенок в наших условиях — трудный объект для воспитания. Я [redacted] решил коснуться этого вопроса.

В первом томе я еще ни о какой педагогике, собственно, не говорю и поэтому решительно отвожу обвинения, почему о школе [redacted] не сказал, о чтении, о культурном воспитании [redacted] т. д. Не сказал потому, что это у меня будет сказано в других томах, не мог сказать все [redacted] первом томе. Здесь я хотел сказать о структуре семьи.

Что я пытался сказать? Прежде всего я пытался сказать, что семья есть коллектив, то есть такая группа людей, которая объединяется общими интересами, общей жизнью, общей радостью, [redacted] иногда [redacted] общим горем. Я хотел доказать, что советская семья должна быть трудовым коллективом.

Во-вторых, я хотел коснуться нескольких тем, относящихся к структуре этого коллектива.

Что меня в этой структуре заинтересовало? Прежде всего, величина семьи. Я являюсь сторонником большой семьи. Изображая семью Веткиных, исключительно сложную, я ничего не выдумывал, все это взято из

тех многочисленных примеров, которые я наблюдал. Семья Веткиных — это действительные события семейной жизни одного из моих друзей, правда, фамилия изменена, так как он не дал разрешения писать о его семье.

Большая семья, переживающая борьбу и всякие лишения и неприятности, все-таки очень хороша, в особенности если отец и мать здоровые, трудящиеся люди, если никто не пьянствует, никто никому не изменяет, нет всяких таких любовных происшествий, если все идет нормально, то большая семья — это замечательное явление, и сколько я таких семейств не видел, люди из них выходят хорошие. В такой большой семье, где двенадцать-тринадцать-четырнадцать ребят, бывает шумно, ребята шалят, трудности, огорчения, а все-таки дети вырастают хорошие, потому что и дружба есть, и радость — коллектив есть.

Я и описал такую большую семью вовсе не с той целью, чтобы сказать: вот как Веткин воспитал, учитесь у него, а только для того, чтобы кое-кого, может быть, увлечь желанием иметь большую семью. Это была моя цель — возбудить интерес к большой семье, а показывать, как нужно эту большую семью воспитывать, я буду в других томах, а не в этом.

Точно так же я изобразил семью, где единственный ребенок, не для того, чтобы показать, как неправильно его воспитывают, а для того, чтобы осудить стремление иметь только одного ребенка. У нас это еще распространено: «родится один ребенок и стоп!» Говорят — будет лучше одет, обут, лучше будет питаться. А это неверно. Он одинок, у него нет настоящего общества. Я показал, что происходит от этого. Это тоже вопрос структуры семьи.

Вопрос о структуре семьи встает и в том случае, когда семья распадается. Наиболее болезненные явления — это, конечно, уход одного из супругов из семьи в другую семью. Я прекрасно понимаю, что мы не можем возвратиться к старой норме, когда родители должны были жить всегда вместе, независимо от их отношений, как говорят украинцы: «Бачили очі, що купували». На этом я не настаиваю. Но все-таки по отдельным примерам очевидно, что уход из семьи иногда происходит легкомысленно. Если бы люди посерьезнее, построже к себе относились, если бы у них было больше тормозов, может быть, не уходили бы. Посмотришь, и любовь возвратилась бы. Любовь нужно тоже уметь организовать, это не то, что с неба падает. Если талантливый организатор, то и любовь будет хорошая. Нельзя любить без организационных усилий.

У нас большая общественная ответственность, и поэтому мы можем организовать наши чувства и нашу любовь.

Я получил писем сорок от мужей, платящих алименты, которые обрушились на меня со страшным гневом, как это я смел сказать, что алиментщик иногда враг по отношению к своему ребенку. «Что же вы хотите эту свободу — сегодня люблю одну, а завтра другую — зачеркнуть?»

Да, я это хотел сказать. И еще хотел сказать, что там, где отец или мать уходят из семьи, там семья как коллектив разрушается и воспитание ребенка затрудняется. Так что если вы чувствуете долг перед своим ребенком, то перед тем, как уйти, вы серьезно подумайте. Я всего не сказал в книжке, но вам по секрету скажу, что если у вас есть двое ребят и вы разлюбили вашу жену и полюбили другую, потушите ваше

новое чувство. Плохо, трудно, но вы обязаны потушить. Останьтесь отцом в вашей семье. Вы это обязаны сделать, потому что в вашем ребенке растет будущий гражданин, и вы обязаны пожертвовать в известной мере своим любовным счастьем.

К структуре семьи я отнес вопрос и о родительском авторитете. Я вовсе здесь не хотел говорить о том, как этот авторитет делать. Хотелось только показать, что если у вас нет авторитета или авторитет ложный, придуманный, фокусный, то у вас в семье идет все немного кувырком.

К структуре семьи относится отчасти половое воспитание.

Я не считаю, что должны быть особые методы полового воспитания. Половое воспитание есть отдельная отрасль дисциплины и режима. С этой точки зрения я и ввел главу о половом воспитании в этом томе.

К структуре семьи я отношу также неправильное расположение семейных сил, когда мать превращает себя в прислугу своих детей— эта структура семьи неправильная. Можно было больше сказать по этому вопросу, но я не хотел чересчур увеличить книгу. Можно было сказать, что если мать превращает себя в прислугу, то дочь или сын живут как господа на основе труда матери, а, с другой стороны, мать теряет прелесть своей личной жизни, полнокровной своей личной жизни и поэтому как потерявшая эту полнокровность жизни становится матерью уже неполноценной. Настоящей матерью, воспитывающей, дающей пример, вызывающей любовь, восхищение, желание подражать, будет только та мать, которая сама живет настоящей полной человеческой, гражданской жизнью. Мать, которая ограничивает свои обязанности простым прислуживанием детям,— это уже раба своих детей, а не мать воспитывающая.

Я коснулся еще одного вопроса, относящегося к структуре семьи,— вопроса о солидарности в семье и хотел показать, что эта солидарность иногда из-за пустяков начинает разрушаться. В новелле о семье Минаевых говорится о том, что отец не съел пирога, сын этот пирог стащил. В этом мелком факте — а жизнь складывается из мельчайших явлений — уже трещинка в семейной солидарности. У сына нет ощущения, что он и отец — члены одного коллектива и нужно думать не только о себе, но и об отце. Я хотел показать, что на такие трещинки в семейной солидарности нужно обращать серьезнейшее внимание, потому что в последнем счете неудачи в семейном воспитании объясняются забывчивым отношением к мелочам. Думают люди — крупное хорошо сделаем, а если сын, как в этом примере с пирогом не подумал об отце, это мелочь, ее не замечают и много теряют.

Повторяю, в этой первой книге я хотел только коснуться вопроса о структуре семьи и о тех причинах, которые эту структуру в той или иной мере нарушают, иногда катастрофически, например уход одного из родителей в новую семью, а иногда и по мелочам.

Второй, третий и четвертый томы посвящаются вопросам воспитания воли и характера, воспитания чувства, устойчивых нервов, воспитания чувства красоты, причем под этим я понимаю не только воспитание чувства красоты неба, картины, одежды, а и красоту поступков, эстетику поступков. Поступки могут быть красивыми или некрасивыми.

Все это, вместе взятое, по моему мнению, составляет фундамент большого, настоящего, гражданского политического воспитания.

Еще раз скажу, трудно надеяться, что по книге можно научиться воспитывать, но научиться мыслить, войти в сферу мыслей о воспитании, мне кажется, можно. Я только на то и рассчитывал, что эта книга поможет читателям самим, на примерах, задуматься над вопросами воспитания и прийти к тем или другим решениям.

Вот все, что хотелось сказать во вступительном слове. Теперь я послушаю вас, и если будут вопросы или замечания, в заключительном слове отвечу.

Заключительное слово

Очень благодарен всем за указания и говорю это не для комплимента, а по существу. Дело в том, что это первое обсуждение моей книги на заводе. До сих пор мне приходилось разговаривать с педагогами, перед которыми я выступал в Политехническом музее.

Собственно говоря, я хотел написать книгу, рассматривая ее исключительно с точки зрения пользы, и поэтому не думал о ней как о художественном произведении, которое принесло бы мне славу. Я прекрасно понимаю, что на такой теме писательской славы не заработаешь, и как ни напишешь, все равно будут ругать. Чтобы приобрести популярность, для этого есть много легких тем, где можно развернуть свои писательские склонности. Эта тема острая, деловая, и я к ней так и подхожу.

Очень рад, что вы высказываете желание дальше продолжать работу вместе, и даже призываю вас к этому. Давайте при вашем заводе начнем постоянную работу по организации воспитания в семье. Будем хотя бы каждую шестидневку собираться. Эта работа будет иметь большое значение и может помочь не только вам, а всему советскому обществу, прежде всего московскому. Это вопрос чрезвычайно важный политически и жизненный. Неудачно воспитанный ребенок — это, прежде всего, сам человек несчастный и несчастные родители. Это — горе, а правильное воспитание — это организация счастья. Поэтому необходимо потратить на такое дело какие угодно силы.

Начну с того, что отвечу на ваши вопросы.

Могут ли родители написать книгу под моей редакцией? Не знаю. Книгу надо написать для широкого читателя. Проще всего было бы сказать: конечно, можно, давайте напишем. Но нужно написать книгу так, чтобы читатель читал с интересом, увлекался, а как написать, какой будет язык книги, все будет зависеть от вашего таланта. Если найдутся люди, которые способны написать хорошо, ярко, интересно, книга получится, но чтобы я стал писать вместо вас — не годится. Так что, если есть у вас литературный кружок, если будет подходящий материал, я готов отдать силы на редактирование и помощь и уверен, что Гослитиздат в печать такую книгу примет.

Насчет обсуждений моей рукописи. Дело в том, что хороший сценарий и тот содержит семьдесят-восемьдесят страниц, а в моем втором томе будет триста-четыреста страниц. Я готов отдельные выдержки у вас прочесть, но думаю, что всю книгу читать невозможно.

Теперь следующий важный вопрос. Почему, в самом деле, я должен писать в книге о том, что нехорошо ругаться, а вы на заводе здесь мол-

чите? Вы должны [redacted] обязаны поднять кампанию. Я уверен, что у вас на заводе найдется процентов девяносто таких людей, которые эту кампанию поддержат.

Следующий вопрос о детской литературе. Завтра [redacted] два часа дня в редакции «Литературной газеты» состоится совещание совместно с Детиздатом о том, какой должна быть книга для детей, где я делаю доклад. Приходите завтра, требуйте от имени завода, [redacted] ваш голос прозвучит лучше, чем голос любого писателя, потому что вы будете говорить от имени многотысячного коллектива вашего славного завода.

Теперь о других вопросах, затронутых вами. Я не стану оправдываться, отрицать отдельные указанные здесь недостатки, особенно художественные. Тут нельзя оправдываться. Я получаю сотни писем, [redacted] нет ни одного места в моей книге, о котором бы все одинаково говорили: один говорит — это лучше всего, другой — это.

Здесь читатель пусть судит как хочет, [redacted] я буду говорить о воспитании.

Коснусь несколько тех тем, которые я разрабатываю во втором томе. Его вы прочтете, когда Гослитиздат издаст, [redacted] он не очень быстро издает: «Педагогическую поэму» полтора года издавал. А пока давайте будем говорить [redacted] педагогике.

Здесь я прежде всего остановлюсь на вопросе, поднятом одним из ораторов, о том, что успех воспитания человека определяется [redacted] младшем возрасте до пяти лет. Каким будет человек, главным образом зависит от того, каким вы его сделаете к пятому году его жизни. Если вы до пяти лет не воспитаете как нужно, потом придется перевоспитывать. Казалось бы, какие могут быть события в жизни ребенка до пяти лет. Родителям кажется, что все идет очень хорошо. А в десять-одиннадцать лет все неожиданно изменяется к худшему и начинает расцветать полным цветом. И родители ищут — кто испортил мальчика. Сами они его регулярно портили от первого до пятого года.

Этой теме я посвящаю половину своего второго тома. У меня не было «собственных» детей, но «чужих» [redacted] в своей семье воспитал все-таки как своих, так что известный опыт у меня есть, но не обязательно писать о своем опыте, я писал, как другие воспитывают — хорошо или плохо.

Нельзя думать, что до пяти лет должны быть какие-то особые принципы воспитания, отличные от принципов воспитания [redacted] десятилетнем возрасте. Принципы те же самые.

Главный принцип, на котором я настаиваю,— найти середину — меру воспитания активности и тормозов. Если вы эту технику хорошо усвоите, вы всегда хорошо воспитаете вашего ребенка.

С первого года нужно так воспитывать, чтобы он мог быть активным, стремиться к чему-то, чего-то требовать, добиваться, [redacted] в то же время так нужно воспитывать, чтобы у него постепенно образовывались тормоза для таких его желаний, которые уже являются вредными или уводящими его дальше, чем это можно [redacted] его возрасте. Найти это чувство меры между активностью [redacted] тормозами — значит решить вопрос о воспитании. Это можно доказать примером из сегодняшних выступлений.

Вот говорили, что не нужно давать деньги детям, потому что они будут развращаться [redacted] тратить как угодно [redacted] куда угодно. Да, конечно, [redacted] том случае, если вы дадите детям деньги и позволите тратить как угодно,

сколько угодно, вы воспитаете только активность, [redacted] тормозов не воспитаете. А вот надо так давать детям деньги, чтобы они могли тратить, куда хочу — юридически, [redacted] на самом деле, чтобы на каждом шагу тормозили свое желание.

Только при таких условиях карманные деньги принесут свою пользу. «Вот тебе рубль, трать куда хочешь»,— [redacted] тут же рядом воспитывать такое чувство, что хотя можно купить мороженое, ребенок купит что-нибудь другое,— более полезное.

Это воспитание активности и тормозов должно начинаться с первого года. Если ваш мальчик что-нибудь делает, [redacted] вы говорите на каждом шагу — не бегай туда, там травка, не иди туда, там мальчики тебя побьют, вы воспитываете только одни тормоза. В каждой детской шалости вы должны знать, до каких пор шалость нужна, выражает активность и здоровое проявление энергии, и где начинается плохая работа тормозов, [redacted] силы тратятся впустую. Каждый родитель, если захочет, научится видеть эту середину. Если вы этого не увидите в своих детях, вы никогда их не воспитаете. Нужно только начать искать это чувство меры, и опыт в течение месяца вас научит находить. Вы всегда поймете границу, где активность должна быть остановлена тормозами самого ребенка, воспитанными вами.

Сюда же относится вопрос, который вызвал сомнение у многих читателей, [redacted] особенности у педагогов. Как это так, говорят, Тамара была плохая, потом вдруг пришел фрезеровщик, и она стала хорошая. А я говорю, что именно так и бывает. Если человек растет так, что ему удержу никакого нет, его можно затормозить только таким образом. Я как раз являюсь сторонником такого быстрого торможения. Я на своем веку перековал много сот, даже до трех тысяч людей. Это можно делать взрывом, атакой [redacted] лоб, без всяких обходов, без всяких хитростей, решительным категорическим потоком требований.

Пока я был молодым педагогом, [redacted] старался каждого беспризорника обходить, разговаривать, изучать, думать за него. Казалось, он поддается влиянию, но он снова крал, убегал, [redacted] все время приходилось начинать сначала. В дальнейшем, я уже понимал, что нужен взрывной метод. [redacted] Харькове мы применяли этот метод к группе новичков в 30—50 человек.

Так и в индивидуальном порядке перевоспитания, если были случаи счастливого перелома личности, то путем взрыва.

Иногда бывало, что воспитанник совершил какой-нибудь проступок: [redacted] делал вид сначала, что ничего не замечаю, как будто все благополучно. Я жду, пока соберется основательный материал, и тогда поднимаю шум на всю коммуну. На общем собрании он выходит на середину, все требуют его выгнать немедленно, перед ним стоит опасность, что его выгонят, [redacted] потом его немного накажут, и он считает, что счастливо отделался.

Так [redacted] с Тамарой. Такие случаи я наблюдал [redacted] семейной жизни. Если ребенок разболтается, нужно как-то умеючи накопить материал [redacted] потом потребовать от него ответа так, чтобы мальчик или девочка понимали, что вы в гневе, что вы решили прекратить это, [redacted] вы увидите, как ваш сын или дочка станут на ноги. Многие в это не верят, но это так.

Но, конечно, такой способ — это самая крайняя мера, и вообще перевоспитание [redacted] семье дело очень трудное. Я смог перевоспитывать

500 человек [redacted] коллективе, [redacted] семье перевоспитать ребенка очень трудно. Поэтому [redacted] семье чрезвычайно важным является воспитание с первых лет жизни ребенка.

Теперь второе положение, на котором я настаивал. Многие думают, что воспитание состоит [redacted] цепи мудрых и хитрых приемов, [redacted] я решительно возражаю против этого. Если кто-нибудь долго пользуется такими приемами, он часто воспитывает очень плохо.

Недавно на одном совещании пионервожатых мне показали альбомы. Несколько звеньев пионерских отрядов соревнуются между собой [redacted] том, кто составит лучший альбом об Испании. Все пионервожатые [redacted] восторге, что они делают хорошее педагогическое дело. Я посмотрел на эту работу [redacted] сказал: кого вы воспитываете? В Испании трагедия, смерть, геройство, а вы заставляете ножницами вырезывать картинки «жертвы бомбардировки Мадрида» [redacted] устраиваете соревнование, кто лучше наклеит такую картинку. Вы воспитываете так хладнокровных циников, которые на этом героическом деле испанской борьбы хотят подработать себе в соревновании с другой организацией.

Помню, как у меня возник вопрос о помощи китайским пионерам. Я сказал своим коммунарам: хотите помочь, отдайте половину зароботка. Они согласились. Получают они 5 рублей [redacted] месяц, стали получать 2 рубля 50 копеек. Так они отдали сознательно свой труд [redacted] пользу пионеров без фасона, без шика, не так, как было с этими вырезками для альбома. А ведь организаторам соревнования казалось, что они делают замечательное педагогическое дело [redacted] что здесь есть педагогическая логика. Я видел девчонок, которые дома говорят матери: почему у Лили крепдешиновое платье, а у меня нет. Почему вы идете на «Анну Каренину», [redacted] я нет, вы все видели, а я ничего не видела. Эта девочка, наверное, добродетельно вырезывает картинки «жертвы бомбардировки Мадрида», [redacted] дома она просто хищник.

Эта самая «мудрая» педагогическая логика, утверждающая полезность средства, потому что [redacted] основу его положены самые лучшие намерения, часто подводит.

Между прочим, если родители получают удовольствие, ходят [redacted] театры, ходят [redacted] гости, шьют себе хорошее платье, то это хорошее воспитание для их детей. Родители на глазах у детей должны жить полной радостной жизнью, а родители, которые сами ходят обтрепанные, [redacted] стоптанных башмаках, отказывают себе в том, чтобы пойти [redacted] театр, скучно добродетельно жертвуют собой для детей, это самые плохие воспитатели. Сколько я ни видал хороших веселых семейств, где отец [redacted] мать любят пожить, не то, что развратничать или пьянствовать, а любят получить удовольствие, там всегда бывают хорошие дети. У вас растет мальчик. Ему три-четыре года, пять-шесть лет, он каждый день видит перед собой счастливых, веселых, жизнерадостных отца, мать, к которым люди приходят [redacted] гости, и если тут же в присутствии вашего пятилетнего вы поставите графин, не напивайтесь пьяным, но чтобы было весело,— никакого вреда от этого нет. Самочувствие родителей является, с моей точки зрения, одним из основных методов воспитаиия.

Я в коммуне применял этот метод. Я был веселым или гневным, но не был никогда сереньким, отдающим себя [redacted] жертву, хотя много отдал здо-

ровья и жизни коммунарам, из-за них не женился до сорока лет. Но никогда не позволил себе сказать, что я собой для них жертвую. Если вы будете такими счастливыми, это очень хорошо. Я чувствовал себя счастливым, смеялся, танцевал, играл на сцене, ■ это убеждало их, что ■ правильный человек ■ мне нужно подражать. Если вы будете такими счастливыми,— это очень хорошо. Ведь метод подражания ■ воспитании имеет большое значение. Как же ребенок будет вам подражать, если вы будете все время с кислой физиономией, с таким видом, будто вы жертвуете вашей жизнью.

Если вы будете жить полной, радостной жизнью, ■ таком случае вы найдете правильные приемы, особенно если будете помнить, что вы должны найти меру между активностью ■ тормозами. Если вы веселы, жизнерадостны, не скучаете, не тужите, даже если трудно, то вы так же весело скажете — нет, стоп, этого делать нельзя. Вы не позволите себе сесть ■ сказать:

— Детка, я тебе расскажу, как нужно жить, вот ты этого не делай.

А нужно прямо сказать:

— Этого больше не делай, баста.

— Почему?

— Вот потому, что я не позволяю.

Это будет сильнее действовать, весь авторитет вашей жизни будет поддерживать ваши требования.

— Тут разрешается ■ другой вопрос, который задавали,— вопрос о жене ■ муже. Я сознательно стараюсь их не разделять, потому что если они как-то расходятся между собой, то весь процесс воспитания становится под удар. Если у вас жена отсталая, женились случайно на отсталой, то вы сами виноваты, почему вам не выбрать было жену по себе, по своим запросам. Вы уже отвечаете за воспитание детей, когда выбираете жену. Я от своих коммунаров настойчиво требовал: влюбился, этот человек будет матерью твоих детей, если будет хорошей матерью, влюбляйся дальше, ■ если ты видишь, что она не способна воспитать детей,— тормози назад!

Допустим, вы уже выбрали себе жену отсталую. Прежде всего, что такое отсталая? Вы читаете газеты быстро, а она медленнее. Научите ее грамоте. Но вопрос не ■ этом. Для воспитания детей не так важно, насколько ваша жена развита по сравнению с вами. Надо, чтобы ваша жена, мать ваших детей, была тоже довольна жизнью. Пусть она радуется своей жизни. Если вы поднимаете жену до себя, то поднимайте так, чтобы это ей доставляло удовольствие, а если вы будете рассуждать так, что я высокий, ■ ты поднимайся, никакой воспитательной работы не будет. Пускай она поднимается весело, пускай это будет для нее радостью, ■ если вы не можете это сделать с радостью, то не поднимайте, но пускай она живет полной человеческой жизнью. В таком случае тот, кто выше, пускай найдет в себе мужество не очень гордиться своей высотой и не показывать ее на каждом шагу. Пускай он всем своим поведением доставит своей жене радость, ■ ■ этой радости она будет расти.

У меня есть новелла, которая называется «Секрет воспитания». Секрет заключается в том, что муж всегда хотел дать жене счастье, и поэтому дети у них были прекрасные. Везде, где муж хочет жене счастья, ■ жена

мужу, там дети хорошие,— конечно, если дело идет о двух толковых людях. Есть известный предел интеллекта у родителей, ниже которого опускаться нельзя. Какой угодно счастливый дурак едва ли воспитает хорошего ребенка. Известный интеллект — ум, рассудок, активность, внимание должны быть. И вот [redacted] снова вернусь к тому утверждению, которое некоторые неправильно поняли,— насчет жены «второго сорта». Я не покажусь вам отсталым человеком, если скажу, что мать, которая не работает на заводе или в конторе, но воспитывает четырех детей дома, делает большое, хорошее дело, [redacted] говорить о том, что она не занимается общественной деятельностью, что она — «второй сорт», нельзя. Мать, воспитывающая двух-трех детей дома, совершает большое государственное [redacted] общественное дело, и упрекать ее [redacted] том, что она не работает на заводе, никто не имеет права, но нужно, чтобы она жила общественной жизнью. Пусть она читает книги, работает в домкоме. Вот идет кампания по выборам [redacted] Верховный совет. Здесь обширное поле деятельности. Пусть найдет такой кружок, где она будет работать. Не обязательно, чтобы она была на производстве,— и без этого она может быть активной общественницей.

Я называю неполноценной матерью ту жену, которая дома обращается [redacted] прислугу.

Тут мы переходим к вопросу о трудовом воспитании.

В моей теореме об активности и тормозах без трудового воспитания обойтись нельзя. Здесь затронули вопрос о мальчике, который говорил: ты мне игрушек не покупаешь, ты плохая мать. Мальчик говорит правду, это плохая мать, потому что у хорошей матери мальчик так говорить не будет. Не надо стесняться сказать:

— Да, мы меньше зарабатываем, не можем купить. Вырастешь, поможешь, или [redacted] стану больше зарабатывать, купим. Ты помоги, помой посуду, а [redacted] книжку почитаю.

Надо, чтобы это было общее семейное дело, [redacted] тогда ребенок не скажет:

— Ты плохая мать.

Если вы знаете вашего мальчика [redacted] любите его, вы найдете слова, чтобы объяснить ему:

— Мы с тобой живем вместе, у нас общие дела, общие радости, ты не думай, что, если я тебе не купила лошадку, это только для тебя горе. Это наше общее горе. Поэтому давай добиваться лучшей жизни, помоги мне, чтобы я хотя бы нервы не трепала.

С двух лет ребенок должен быть членом коллектива, разделяя ответственность за счастье и несчастье.

Очень нетрудно с ребенком об этом поговорить, а не отталкивать, как здесь говорили:

«Отстань, я читаю, [redacted] ты мне мешаешь».

Я согласен с одним из товарищей, который говорил, что как можно ближе должны быть родители к детям, но не допускаю бесконечной близости. Должна быть близость, но должно быть и расстояние. Приблизиться совершенно вплотную к ребенку, чтобы не было никакого расстояния, нельзя. Чем-то [redacted] глазах ребенка вы должны быть выше. Он должен [redacted] вас видеть что-то, что больше его, выше, отлично от него. Такое расстояние, некоторая такая почтительность небольшая, неофициальная должна быть.

Именно поэтому я не допускаю слишком откровенных разговоров о половых вопросах. Вот я — твой отец, ты — мой сын, но об этом [redacted] с тобой стесняюсь говорить. Простое чувство стеснения в некоторых вопросах необходимо. Без этого вы будете приятелем, собутыльником, но не отцом. Это расстояние должно быть, и [redacted] некоторых случаях ребенок должен это понимать. Если он не будет этого понимать, у вас не будет авторитета, [redacted] ваши приказания не будут иметь никакой действенности.

Чувство расстояния необходимо воспитывать с первых дней. Это не разрыв, не пропасть, а только промежуток. Если ребенок с трех лет будет [redacted] вас видеть какое-то высшее существо, авторитетное по отношению к нему, он будет выслушивать каждое слово с радостью и с верой. Если он будет уверен в три года, что между вами никакой принципиальной разницы нет, все ваши слова он будет принимать с проверкой, а какая у них проверка, вы знаете. Он убежден, что он прав. Нужно, чтобы иногда правота приходила без доказательств, потому что вы сказали. Тот ребенок, которому все доказывают, может вырасти циником. Во многих случаях ребенок должен принимать на веру ваше отцовское утверждение, здесь у него вырабатывается то качество, по которому мы верим нашим вождям. Не всегда мы проверяем все. Если нам говорят, что Донбасс перевыполнил программу, мы верим этому, потому что есть какой-то авторитет, которому мы безоговорочно верим, и это уважение к авторитету нужно у ребенка воспитывать с самых малых лет.

Вот ответы на заданные мне вопросы.

Что касается ключа от квартиры, то, если хорошее, правильное воспитание, [redacted] не знаю, почему нельзя дать детям ключа. В коммуне все ключи были на руках у ребят, причем не обязательно у старших. (Голос: «У него вытащить легко»). Воспитайте так, чтобы нельзя было вытащить. Очень нетрудно воспитать чувство ответственности, без которой успеха воспитания быть не может, [redacted] о ней как раз в педагогике нигде не говорится. Это способность ориентировки. В пять лет у вашего ребенка должна быть эта способность, он должен знать, о чем можно говорить, о чем нельзя. Он должен чувствовать, что за спиной делается.

А у многих детей [redacted] школе этой способности ориентировки совершенно нет. Они не видят — сзади свой или чужой сидит. Это ощущение своего или чужого нужно воспитывать с трех-четырех лет. Нужно воспитывать способность разбираться в окружающей обстановке и знать, что где происходит. Если вы это воспитаете, тогда ключ можно дать.

И еще один вопрос, который [redacted] ставлю во втором томе, кстати сказать, поднятый сегодня одним из наших читателей. Вопрос о том, как родители любят детей для себя. Вы, наверное, наблюдали такую картину: по улице идут отец с матерью, ребенок разряженный, по выражению глаз родителей видно — ребенка вывели, чтобы похвастать. Для них это игрушка, которой можно похвастать. Разве отец, который вызывает ребенка при гостях, чтобы заставить его остроумно отвечать на вопросы, не из тщеславия делает это? Особенно часто это у матери бывает: похвалиться своим ребенком, доставить себе удовольствие. А на самом деле ребенок ничего не стоит, потому что избалован.

Я недавно ехал [redacted] Минск, и в одном купе со мной ехала мать. Ей захотелось похвастать своим ребенком. Ему два года, он даже еще не

говорит, а она его тормошит, чтобы он смеялся, и кричит: «Почему ты не смеешься?»

Ребенок смотрит с удивлением: что это за глупая женщина? Но ей удается заставить его улыбнуться. Себялюбие матери здесь совершенно очевидно: для нее не ребенок важен, а важно, чтобы в купе поезда мне, совершенно случайному, не нужному ей человеку, показать способность ребенка улыбнуться после ее мудрых приемов. Такая мамаша до восемнадцати лет будет воспитывать ребенка на показ. Он может выйти хулиганом, шкурником, а она будет им гордиться. Такое воспитание ребенка для собственного тщеславия — это не педагогика.

Мне остается ответить на записки.

Почему не показаны положительные женщины? Как не показаны? Там, где положительная семья, там и положительная женщина. Вообще, товарищи, вы меня простите, я люблю счастливые концы. Я чувствую, что без этого читатель будет обижен, н я всегда даю счастливый конец. Пусть он будет как-нибудь привязан, но все-таки счастливый, я знаю, что читателю это приятно. (Голос: «Значит, несчастные родители не могут воспитывать детей и у них не могут быть хорошие дети?») Да, но ведь от вас зависит быть счастливой. (Голос: «Не всегда».) Всецело от вас. Я не представляю себе такого случая, который мог бы сделать вас несчастной. У вас уже возраст счастливый. Сколько вам лет? (Голос: «Тридцать восемь лет»). Замечательный возраст! А мне пятьдесят лет. Я охотно меняюсь с вами, со всеми моими литературными заслугами, беру ваш возраст, со всеми вашими несчастьями. То, что вам кажется несчастьем,— это просто нервы, дамская болезнь.

Дальше, насчет единственного ребенка. Бывают случаи, когда один ребенок вырастает хороший. Я не говорю, что обязательно нужно тринадцать. Я хотел показать, что если тринадцать хорошо, то как же будет хорошо, если только шесть. Все-таки шесть — легче.

Некоторые товарищи говорили, что в «Книге для родителей» не нужна публицистика, а вот в этой записке женщина пишет, что нужна: иллюстрация иллюстрацией, но скажите, как нужно делать? Она спрашивает — стоит ли воспитывать чувство любви к отцу, оставившему семью. Я считаю, что здесь не может быть никакого вопроса. Отец ушел из семьи, надо прекратить о нем разговоры. Если мальчик спросит — плохой или хороший,— не знаю, не интересуюсь. Другое дело, если отец помогает в полной мере, как-то дружба сохраняется. Но если только издали следит, не помогая, не отвечая ни за что, я бы таких отцов судил уголовным процессом, они страшный вред приносят своим детям. Во всяком случае, если появится новый отец и мальчик будет называть его отцом, я считаю, что это единственный выход из положения. Почему дети должны отвечать за своих любвеобильных отцов?

Не отражаются ли квартирные условия на воспитании?

Конечно, отражаются, но не обязательно в дурную сторону. Там, где у ребенка отдельная комната, иногда воспитание идет хуже.

Была книга задумана как художественное произведение или нет? Нет, просто была задумана как книга для родителей.

Если отец арестован, нужно ли у ребенка вызывать чувство ненависти к отцу?

Если ребенок маленький, он забудет, но если он сознательный [redacted] политически грамотный, нужно, чтобы он считал этого отца врагом своим и своего общества. Конечно, воспитывать специально чувство ненависти не нужно, потому что это может расстроить ребенку нервы [redacted] измочалить его, но вызывать чувство отдаленности, чувство, что это враг общества, нужно, иначе быть не может, иначе ваш ребенок останется в таком разрыве: с одной стороны — враг, с другой стороны — отец. О, тут нельзя никаких компромиссов допускать. Одна мать пишет: не такое большое дело, если отец оставил семью. Я сама могу воспитать. Пожалуйста. Если появится второй отец, тоже совсем не плохо.

Как быть с ребятами, которые предоставлены самим себе? Я видел много таких случаев: мать и отец на работе,— и все-таки ребенок растет хорошо. Это потому, что с детства его воспитывали правильно. Я склоняюсь к такому положению. Если до 6 лет ребенок воспитывается правильно [redacted] нем воспитаны определенные привычки активности и торможения, тогда уж это не страшно, на такого ребенка никто не подействует дурно. В таких случаях обычно говорят: за ним не смотрели, [redacted] он хорошо развивается, наверное, наследственность. На самом деле, не наследственность, [redacted] хорошее воспитание.

Последний вопрос: «Около половины жизни вы отдали воспитанию детей. Профессия это или ваша большая любовь к человеку?» Вот человек работает на токарном станке, работает бухгалтером, хорошо делает свою работу — это любовь к своему делу или профессия? Не может быть профессии без любви. Но это не значит, что каждый родится бухгалтером или педагогом. Конечно, я сначала был плохим педагогом.

Между прочим, воспитание детей — это легкое дело, когда оно делается без трепки нервов, [redacted] порядке здоровой, спокойной, нормальной, разумной и веселой жизни. Я как раз видел всегда, что там, где воспитание идет без напряжения, там оно удается. Там, где идет с напряжением и всякими припадками, там дело плохо.

Спасибо вам за внимание, надеюсь, что мы с вами продолжим нашу работу.

НАШИ МАТЕРИ

«Великое чувство! Его до конца
Мы живо в душе сохраняем.
Мы любим сестру, [redacted] жену, [redacted] отца,
Но [redacted] муках мы мать вспоминаем!»

Некрасов

Некрасовские матери, «подвижницы», оставляющие после себя у своих детей тягостные ощущения невысказанной любви, неоплаченного долга и неоправданной вины, не наши матери. Их подвиг вызывался к жизни не только их любовью, но главным образом общественным строем, самодурством, насилием, хамством властителей, пассивным и беспросветным рабством женщины. И дети их несли на себе то же проклятие истории, и [redacted] этом общем клубке несчастья изувеченная душа матери, беспомощная, горестная ее жизнь находили единственный выход только в подвиге.

Что общего в нашей жизни с этим материнским кошмаром? Наши матери — граждане социалистической родины, их жизнь должна быть такой же радостной, как жизнь отцов и детей. И советская жизнь блещет подвигом, страстным, горячим чувством, но домашний, гибельный, горестный подвиг матери сейчас никому не нужен.

Дети, воспитанные на жертве матери, сохранившие на всю жизнь «муку воспоминаний», о которой говорит Н. А. Некрасов, могли жить в обществе только эксплуатации и рабства трудящихся. И в этих муках, и во всей своей жизни они продолжали ту же симфонию всей своей жизни, они продолжали ту же симфонию страдания, о которой мы можем вспоминать только с отвращением.

И поэтому тем более мы должны протестовать против самоущербления некоторых матерей, которое не вызывается нашей жизнью и представляется каким-то странным историческим разгоном. За неимением подходящих самодуров и поработителей эти наши матери сами их изготовляют из собственных детей. Этот анахронический стиль в той или иной форме довольно распространен, в особенности в интеллигентных семьях. «Все для детей» понимается здесь в каком-то избыточном формализме. Под «все» понимается не только общие плоды нашей культуры, но и то, что детям не нужно или даже вредно. «Все» заменяется «все, что попало», сюда уже начинает входить и ценность материнской жизни, и материнское недомыслие, и даже материнская растерянность. Все это для детей.

ЛЮБОВЬ И ДОЛГ

В идеальном самочувствии христианина любовь проектировалась как априорное начало человеческих отношений. Сама она исходила непосредственно от божеского задания, сама она не имела никаких оснований в человеческом обществе.

В нашем обществе беспричинная, ни на чем не основанная любовь является безнравственной и чуждой нам категорией. У нас любовь должна быть завершением отношений, но не началом их... Долг перед страной, перед всем обществом, перед человечеством может вытекать у нас только из глубокого, сознательного и в то же время кровного ощущения солидарности трудящихся, крепкой убежденности в том, что эта солидарность — благо для всех людей и в том числе и для меня самого. В социалистическом долге нет ни альтруизма, ни самопожертвования,— это необходимая, нравственно обязательная, но совершенно реальная категория, обладающая той железной логичностью, которая может вытекать только из здоровых и реальных, не небесных, а земных, не идеалистических, а материалистических человеческих интересов.

Вот из этой реальной сущности и должна вытекать идея долга. Общественный долг есть функция общественного интереса.

Но в этом положении еще ничего не решается. Из области таких солидарных интересов проистекает идея долга, но не обязательно проистекает выполнение долга.

Солидарность интересов и вытекающая из нее солидарность идей еще не составляют нравственного явления. Последнее наступает только тогда, когда наступает солидарность поведения.

Многие товарищи полагают, что солидарность идей (интересов) обязательно приводит к солидарности поведения. Такое убеждение есть очень большая вредная ошибка.

Вообще можно считать аксиомой, что солидарность поведения невозможна без солидарности идей (за исключением случаев слепого поведения или поведения двурушника), но обратное заключение будет заключением неправильным.

Никакое знание чертежей и расчетов, никакое теоретическое изучение технологии материалов, сопротивления материалов не побудит человека заняться постройкой дома, если он никогда не видел кирпича, балки, цемента, стекла и т. п., если он не упражнялся практически в работе над ними, если он не освоил процесс постройки всеми своими пятью внешними чувствами, своей волей, своим опытом.

Точно так же никакие идеи не определят линии поведения человека, если у него не было опыта поведения.

Опыт солидарного поведения и составляет настоящий объект социалистического воспитания. В советской семье, в советском обществе этот опыт происходит с самых малых лет. Развиваясь рядом с развитием сознания, этот опыт и дает замечательно действенные воодушевленные кадры молодых наших деятелей, которыми мы справедливо гордимся.

Но в некоторых семьях не уделяют достаточного внимания образованию такого опыта. Там иногда продолжают нажимать на чистую идею, и часто даже и на чистую любовь в надежде, что то или другое достаточно гарантирует правильное поведение

Зависимость идей и поведения мы уже видели. А что такое любовь?

А любовь это тоже... поведение. Она придет вместе с долгом, как дети одной матери.

ОБ ОПЫТЕ ТРУДОВОЙ ЗАБОТЫ

Когда труд проклятье, когда труд только неизбежное зло, когда труд только средство к существованию, когда лучшей целью человеческой жизни является освобождение от труда и когда на глазах сотни и тысячи бездельников живут несравненно богаче и счастливее трудящихся, тогда возникает в человеческом обществе идея «беззаботного детства». Правильная идея — пусть хоть дети будут освобождены от проклятия.

Нужно прямо сказать: идея беззаботного детства чужда нашему обществу и может принести большой вред будущему. Гражданином Советской страны может быть только трудящийся, в этом его честь, его радость и его человеческое достоинство. Трудовая забота — это не просто дорога к средствам существования, это еще и этика, это философия нового мира, это мысль о единстве трудящихся, это мысль о новом счастливом

человечестве. Как же мы можем воспитать этого будущего гражданина, если с малых лет не дадим ему возможности пережить опыт этой трудовой заботы и в ней выковать свой характер, свое отношение к миру, к людям, то есть свою социалистическую нравственность.

Говорят: у наших детей должно быть радостное детство! Иногда под «радостным» понимают именно «беззаботное». Почему?

Прежде всего маленькая поправка: когда мы это говорим о детях, мы только выделяем эту мысль из общей мысли: наша жизнь — жизнь целиком радостная, счастливы должны быть и дети, и юноши, и взрослые, и старики. Мы же отгораживаем для детей обособленный уютный уголок в общем неуютном мире, да такой уголок и вообще невозможен, мы это знаем по историческому опыту. Наши дети только потому счастливы, что они дети счастливых отцов, никакая иная комбинация невозможна.

И если мы счастливы в нашей трудовой заботе, в наших трудовых победах, в нашем росте и преодолениях, то какое мы имеем право выделять для детей противоположные принципы счастья? И потом, будем говорить начистоту, какие же принципы: безделье? потребление? франтовство? Или еще что-нибудь? Но какая же возможна «радость» на таких основаниях? Ведь она невозможна в Советском Союзе.

ТРУД КАК МОРАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ

В нашей стране люди перестали работать ради наживы, ради денег, ради семейного благополучия. Наши люди работают для дела, а средства к жизни — это у нас производное нашего участия в общем деле. Уже невозможно представить себе человека, который интересами общественными, интересами своего коллектива пожертвовал бы в угоду своему семейному благополучию. Такой человек представляется нам уголовным типом, не больше. В нашем обществе труд и заработок уже не связаны в замкнутую цепь. У нас труд — дело чести, дело доблести, славы и геройства, а заработок мыслится как форма социалистической справедливости, как результат моего гражданского состояния.

И об успехе человека, о его ценности, о его моральной высоте, о его трудовом значении мы теперь не судим по его заработку, а судим по его общественному значению.

К такому труду, к труду как моральной категории, а не как к категории узкого расчета, мы должны готовить наших детей.

Вглядитесь в эту существенную разницу между старой трудовой проблемой и новой. Раньше в зажиточной семье к труду вообще не нужно было готовиться, а нужно было готовить к той самой эквилибристике, благодаря которой так удачно обходилась десятая заповедь. В семье пролетарской к труду нужно было готовить как к особого вида проклятию, под черными небесами которого рядом стояли труд, нищета, голод, смерть. Труд стоял впереди как неизбежное зло, только потому приемлемое, что более высокие формы зла уже гибельны.

Труд не мог быть моральной категорией: несмотря на весь цинизм Ветхого завета, он все же не решался включить труд в число моральных законов...

ВОТ У ВАС РОДИЛСЯ РЕБЕНОК...

Вот у вас родился ребенок, допустим, девочка. Назвали вы ее Наташей. Пережили первые восторги и беспокойства: «младенческое», зубки, первые шаги и первые слова. Наигрались с Наташей, нарадовались, походили по магазинам, повозились с игрушками и бантиками. Вот Наташе пять лет, семь, десять, двенадцать...

В течение всего этого времени задумались ли вы хотя бы один раз над вопросом, какого человека вы хотите воспитать из вашей Наташи? Задумались? И не один раз?

В таком случае скажите, какого?

Почему же вы затрудняетесь ответом, больше помалкиваете и переглядываетесь с женой? Ведь оба вы коммунисты, казалось бы...

Да, вы хотите, чтобы ваша дочь выросла новым человеком, коммунистом, чтобы она была преданным большевиком... Чтобы она ненавидела эксплуатацию, была человеком образованным, знающим, квалифицированным...

Вы действительно хотите многого для вашей дочери. Какие же меры принимаются вами для того, чтобы все это было?

Нет, [illegible] не удовлетворен вашим ответом: [illegible] не склонен преувеличивать ваши заслуги...

Образование Наташе даст школа. Школа даст ей [illegible] квалификацию. Та же школа, комсомольская и пионерская организации дадут ей марксистское миросозерцание. Вы говорите, что Наташа активная пионерка. Прекрасно: ваша Наташа уже счастливый человек, все приносят ей, как новорожденной принцессе, богатые подарки: [illegible] школа, [illegible] комсомол, [illegible] пионеры. Кстати, а что вы подарили принцессе?

Нет, питание, одежду и игрушки пока отложим. Это тоже существенно, но все-таки отложим. Подумали ли вы хотя бы однажды о ее характере, о ее привычках, о ее натуре? Я уверен, что натуру можно воспитать, а это чрезвычайно важно. И характер, и привычки. Нет, вы ошибаетесь. Иногда так называемое миросозерцание [illegible] миропонимание может быть только словесное, а натура, характер, привычки будут старые. Не может быть?

Бывает. Вот обратите внимание: ваша дочь Наташа за обедом позвала:

— Даша!

Вошла Даша, ваша домработница, почти старушка, которой вы очень довольны [illegible] которая у вас живет и работает тринадцать лет. Вот этому самому человеку, вашему другу, как вы говорили, Наташа сказала несколько расслабленным и усталым голосом:

— Даша, дайте соль, вы всегда забываете поставить соль...

Вы обратили внимание, как это капризно было сказано, сколько было барского высокомерия в лице [illegible] голосе вашей девчонки, из которой вы собираетесь воспитать коммунистку?

Вы не обратили на это внимания? А если бы [illegible] вашей столовой очутилось какое-нибудь такое «тургеневское» существо, нежное, голубокровное, позвонило бы в колокольчик [illegible] попросило бы горничную поднять носовой платок, вы обратили бы внимание?

Никакой нет разницы. Вы только потому не заметили ничего, что это ваша дочь. Ведь вы не заметили того, что Даша, не сходя с места, одной рукой отворила дверцу шкафа [redacted] через полсекунды другой рукой подала вашей барышне солонку.

И хотя ваша Наташа пионерка и, как вы говорите. будущая коммунистка, сегодня она вызвала у меня отвращение.

* * *

Наташа [redacted] ее родители живут [redacted] большом приволжском городе. Я иногда бываю там и у них останавливаюсь. Это очень хорошая большевистская семья, пользующаяся заслуженным уважением в городе. Родители уделяют Наташе много любви и заботы, они с замиранием сердца следят за ее ростом [redacted] уверены, что из нее вырастет новый человек, полезный член общества.

И они не ошибаются: Наташа уже выросла, она [redacted] девятом классе, много читает, много знает, прекрасно разбирается в явлениях политической [redacted] общественной жизни.

Но [redacted] наблюдал Наташу [redacted] домашней обстановке [redacted] был ошеломлен и опечален тем тонким [redacted] глубоким цинизмом, который каким-то чудом родители воспитали в своей дочери.

Даже [redacted] по внешнему виду Наташа производит впечатление двойственное: у нее живые умные карие глазки, но они уже заплыли жидковатым жирком [redacted] иногда принимают то интеллектуально-сытое, чуточку умащенное выражение, которое бывало раньше у знаменитых присяжных поверенных. Лицо у Наташи настоящее юное, румяное, но [redacted] в румянце просвечивает непрочная, розоватая, излишне акварельная легкость, что-то такое комнатное или даже парниковое.

Наташа глубоко уверена, что она будет юристом.

Во время прогулки [redacted] спросил у Наташи:

— Все-таки... Почему вы допускаете, чтобы Даша чистила ваши ботинки, убирала утром вашу постель, даже мыла вашу зубную щетку? И я ни разу не слышал, чтобы вы ее поблагодарили.

Наташа удивленно подняла тонкие брови, глянула на меня уверенно иронически [redacted] засмеялась:

— Ой, какой вы старомодный, ужас! Для чего мне чистить ботинки, ну, скажите?

Я действительно потерялся: старая и новая «моды» вдруг закружились в такой стремительной паре, что [redacted] в самом деле трудно различить, где старая мода, [redacted] где новая. Я все же постарался оправдаться:

— Как для чего чистить ботинки? Для того, чтобы они были чистые, надсюсь...

— Вот чудак,— сказала Наташа.— Так для этого же и есть домработница. А для чего домработница, по-вашему?

Я начинал нервничать:

— Собственно говоря, какое вы имеете отношение [redacted] домработнице? Какое? Какое право вы имеете на ее труд?

— Как «какое»? Она получает жалование. За что же она получает жалование, по-вашему?

— Ваши родители очень заняты, они много работают на большой общественной работе. Вполне заслуженно им помогает Даша. А вы при чем? Чем вы заслужили эту помощь?

Наташа даже остановилась [redacted] изумлении и сказала мне целую речь:

— А я не работаю? Вы думаете, это легко учиться на отлично [redacted] девятом классе, и потом всякие нагрузки? И читать сколько нужно! Думаете, мало нужно читать? Если я хочу быть юристом, так я не должна читать, а должна чистить ботинки, да? А разве мне в жизни придется чистить ботинки или там застилать постели? Если бы я ничего не делала, другое дело, [redacted] то [redacted] целый день работаю и так устаю, вы же не знаете! А что, мои родители не заслужили, чтобы их дочь была юристом, что ли? По-вашему, все вместе: [redacted] учиться, [redacted] ботинки чистить! А где разделение труда? Вот вы учитель, [redacted] другой для вас обед готовит. А почему вы сами не готовите себе обед, почему?

Правду нужно сказать, я даже опешил: [redacted] самом деле, почему [redacted] себе не готовлю обед? Железная логика!

Вечером Наташа лежала на широком диване [redacted] читала книжку. Мать вошла в комнату с чайным прибором.

— Наташа, я тебе принесла чаю.

Не отрываясь от книжки и даже не повернув головы к матери, Наташа сказала:

— Поставьте там.

— Тебе два или три куска? — спросила мать.

— Три,— ответила Наташа, перелистывая страницу и поднимая глаза к первой строчке.

Мать положила в стакан три куска [redacted] ушла. По дороге она поймала мой улыбающийся взгляд [redacted] отвернулась.

Я отвлекся от размышлений [redacted] сказал Наташе:

— Вы даже не поблагодарили мать. Даже не посмотрели на нее. Тоже разделение труда?

Наташа оторвалась от книжки и иронически прищурилась:

— Конечно, разделение: она — мать, [redacted] — «ребенок». Она [redacted] должна обо мне заботиться. Что ж тут такого... Ей даже нравится.

— А [redacted] после такого вашего... хамства вылил бы чай в умывальник.

Наташа снова обратилась к книжке [redacted] сказала спокойно:

— Ну что ж, подумаешь? Это было бы обыкновенное насилие... Это даже хуже хамства!

Еще полсекундочки она посмотрела в книгу и прибавила:

— И хорошо... что я не ваша дочь.

На другой день утром [redacted] напал на родителей. И ботинки вспомнил, и зубную щетку, [redacted] чай. Отец спешил на работу, совал в портфель какие-то папки, искал какое-то письмо. Он пробурчал:

— Черт его знает! У нас с этим действительно... что-то такое... не так. Некогда все, черт его знает, из одного дня десять сделал бы. Побриться некогда!

Уже в дверях он обернулся к жене:

— А все-таки, Женя, с этим... действительно, подумать... черт знает что! Нельзя же... понимаешь... барышня, понимаешь! Ох, опаздываю, черт его знает!

Мать послала ему вдогонку сочувственную улыбку, потом посмотрела на меня внимательно, склонила набок голову, поджала губы:

— Вы преувеличиваете. Это не так страшно. Наташа много работает, устает страшно. И потом... везде ведь так. Раз есть домработница, что ж...

Я вскочил в гневе:

— Как везде? Везде вот такое открытое циничное барство? Рассказать вам, как в настоящей советской семье? Вы разве не видели?

* * *

О нет, вопрос о домработнице, конечно, не отдельный вопрос. Этот вопрос бьет прежде всего по родителям и в особенности по матери. Именно матери убеждены, что это не так страшно, и матери потом горько расплачиваются за свою смелость. Это происходит потому, что в своей мысли родители не сильно шагают за горизонты сегодняшнего дня, что они не хотят ближе рассмотреть печальные уроки прошлого и сияющие перспективы будущего.

Великий здравый смысл нашей жизни должен быть здравым смыслом не житейского обихода, не здравым смыслом сегодняшнего дня, а регулятором и мерилом большой жизненной философии. «Довлеет дневи злоба его» — не наш лозунг. Все злобы, над чем бы они ни «довлели»: над судьбой ли забитых детей, или над страдой матери,— одинаково нам противны. Работа и жизнь наших матерей должна направляться большим устремленным вперед чувством советского гражданина. И такие матери дадут нам счастливых прекрасных людей и сами будут счастливы до конца.

КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ К «КНИГЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

В «Книге для родителей» писатель ставил перед собой цель привлечь внимание родителей к узловым вопросам семьи, помочь им в решении сложных нравственных проблем, способствовать формированию у них педагогического мышления, умения анализировать мотивы поведения и поступков людей.

Познакомившись с первыми разделами рукописи «Книги для родителей», редактор альманаха «Год XIX» писатель П. А. Павленко писал Антону Семеновичу: «Вы начали книгу, великое народное значение которой во много раз превосходит «Педагогическую поэму», произведение редкое по правдивости, но все же написанное на «частную» тему. А «Книга для родителей» — это то, чего еще никогда не было в литературе как жанра»; она «целиком уходит в область философского жанра. Она должна звучать как проповедь, как манифест (грубо говоря), как учебник благородства» (А. С. Макаренко. Соч., т. 4, с. 524—530).

П. А. Павленко предрекал «Книге для родителей» большой успех, превосходящий даже «Педагогическую поэму».

В феврале 1937 г. А. С. Макаренко переехал в Москву, где имел возможность полностью отдаться творческой работе. Он усиленно работал прежде всего над «Книгой для родителей», разделы которой были закончены уже к середине 1937 г. и опубликованы в журнале «Красная новь» в № 7, 8, 9, 10 за 1937 год. В этом же 1937 году книга вышла и отдельным изданием в издательстве «Художественная литература».

«Книгу для родителей» А. С. Макаренко предполагал написать в четырех частях, однако преждевременная смерть (на 51 году жизни) не позволила осуществиться этим планам. О тематике II, III и IV частей писатель-педагог неоднократно рассказывал в своих устных выступлениях и в публикациях.

Выступая в Харьковском пединституте 9 марта 1939 года (меньше чем за месяц до смерти), А. С. Макаренко, отвечая на вопрос, почему он решил написать «Книгу для родителей», говорил: «Последние два года я работал в управлении НКВД УССР, в отделе трудовых колоний, я организовал трудовые колонии. Мне уже пришлось меньше возиться с беспризорными, чем с «семейными» детьми. Если в колонии имени Горького были беспризорные правонарушители, то в последние годы пришлось больше собирать детей «семейных».

Я должен был присмотреться, заинтересоваться семьей, и мне показалось нужным написать такую книгу для родителей. Я выпустил первый том, в котором касался вопроса семьи как коллектива. Сейчас я пишу второй том, который говорит о нравственном и политическом воспитании в семье, главным образом, но приходится касаться и школы. Третий том будет посвящен вопросам трудового воспитания и выбора профессии. И четвертый том, самый для меня важный, на тему: как нужно воспитывать человека, чтобы он, хочешь — не хочешь, был счастливым человеком» (т. 5, с. 279—280).

К сожалению, материалы для II, III, IV частей «Книги для родителей» не найдены. Сохранились лишь некоторые черновые заметки, авторские планы и отдельные фрагменты.

Со времени написания «Книги для родителей» прошло около 50 лет. За эти годы [redacted] нашей стране произошли крупные изменения. В условиях зрелого социализма существенно возрос материальный, культурный и образовательный уровень советских людей. Принципиальные изменения произошли [redacted] советской семье. Накоплен огромный и чрезвычайно интересный опыт совместной деятельности школы, семьи и производственных коллективов по коммунистическому воспитанию детей и молодежи. Однако и [redacted] наши дни книга А. С. Макаренко не утратила своего значения. Основные его положения по вопросам семейного воспитания остаются актуальными, теоретически и практически значимыми. Особую пользу «Книга для родителей» может принести [redacted] реализации установки партии на усиление борьбы с проявлениями эгоизма, мещанства, накопительства, равнодушия [redacted] заботам и делам народа, а также с другими уродливыми явлениями, к сожалению, еще нередко бытующими в нашей жизни.

[1] В первые годы после Великого Октября много говорилось о разложении семьи, которая рассматривалась в качестве носителя мещанского мировоззрения [redacted] психологии. Высказывались даже предложения о том, чтобы с малолетства всех детей забирать от родителей и воспитывать их только в системе общественного воспитания. Н. К. Крупская, А. С. Макаренко и многие другие прогрессивные педагоги придерживались иной точки зрения. Они разрабатывали конкретные пути влияния на семью, которая должна быть не врагом, [redacted] надежным союзником школы в коммунистическом воспитании подрастающего поколения. А. С. Макаренко считал, что положительное педагогическое воздействие на семью школа должна оказывать через своих учеников как представителей государственного учреждения.— *323.*

[2] А. С. Макаренко [redacted] противовес традиционной парной педагогике разработал теорию педагогики параллельного действия, [redacted] соответствии с которой воспитатель должен воздействовать на ученика не непосредственно, [redacted] через первичный коллектив. Таким образом формулу «воспитатель — воспитанник» он дополнил следующим образом: «воспитатель — первичный коллектив — воспитанник».— *329.*

[3] В некоторых изданиях «Книги для родителей» этот текст дан в другой редакции: «Человек давно умел осторожно и нежно прикасаться к природе. Сейчас он научился переделывать природу, творить новые ее формы, вносить [redacted] жизнь природы свой могучий корректив. При этом надо помнить, что мы, советские педагоги, также уже «не слуги природы», [redacted] ее хазяева».

Изменение [redacted] текст внесла жена писателя Г. С. Макаренко. Приведенный вариант излагает мысль А. С. Макаренко, высказанную им в одной из записных книжек: «Надо помнить, что мы, советские педагоги, не слуги природы, а ее хозяева и обязаны овладеть такими активными методами воспитания, которые дают нам возможность преодолевать в наших воспитанниках ненужные советскому гражданину качества, наследственные и благоприобретенные» (см. т. 4, с 533).— *331.*

[4] Данный эпиграф является цитатой из работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности [redacted] государства» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2 е изд , т 15, с 63).— *333*

[5] Здесь приводятся статьи Конституции СССР, принятой в 1936 году.— *341.*

[6] Это положение коммунистической этики А. С. Макаренко более подробно рассматривает в лекции «Коммунистическое воспитание [redacted] поведение» (см. т. 5, с 437—458), которую он прочел [redacted] лектории Московского государственного университета имени М В. Ломоносова 1 марта 1939 г. (ровно за месяц до смерти).— *342.*

[7] А С. Макаренко всегда верил в большие возможности воспитанников. Он исходил из того, что советская педагогика должна ориентироваться не на отрицательные, а на положительные черты личности. Он призывал внимательно изучать все хорошее, положительное каждого воспитанника, что в реальной жизни зачастую теряется [redacted] ежедневных текущих конфликтах. «Хорошее в человеке,— писал он,— приходится всегда проектировать, и педагог должен это делать. Он должен подходить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже с определенным риском ошибиться» (т. 7, т 299—300).— *345.*

[8] *ГРК* — городской рабочий кооператив.— *358.*

[9] *Ломброзо Чезаре* (1836—1909) — итальянский криминалист, автор антинаучной теории прирожденной преступности.— *360.*

[10] *Диезит* — диез — нотный знак, требующий повышения звука на полутон.— *364.*

[11] С. Ю. Витте занимал различные министерские посты в царской России. В 1905 году он получил титул графа.— *440.*

[12] *Шкраб* — сокращение от слов «школьный работник». Оно широко употреблялось в начале 20-х годов.— *461.*

[13] *Сноб* — пустой, с ограниченными умственными интересами человек, увлекающийся только внешним лоском и стремящийся слепо подражать вкусам и манерам буржуазно-аристократического общества.— *465.*

[14] *Эдип* — в греческой мифологии сын царя города Фив Лайя. Согласно мифу, отцу Эдипа была предсказана гибель от руки сына. После рождения Эдип был брошен в горах; спасенный пастухом, он, сам того не зная, убил отца и женился на своей матери. Образ Эдипа широко использовался в мировой литературе.— *471.*

[15] *Рюриковичи* — древнерусская княжеская, позже русская царская династия.— *494.*

[16] Речь идет о книгах: Ю. Германа «Наши знакомые», Н. Островского «Как закалялась сталь», Л. Леонова «Дорога на океан», Ф. Гладкова «Энергия», А. Фадеева «Разгром».— *496.*

[17] *Ордер* (от французского *ordre* — порядок) — один из видов архитектурной композиции. Капитель — верхняя часть колонны.— *497.*

[18] В письме к жене Ф. Э. Дзержинский писал: «Я не аскет. Это лишь диалектика чувств, источники которой — в самой жизни и, как мне кажется, в жизни пролетариата» (Ф. Э. Дзержинский и дети.— см.: Правда, 1936, 20 июля).— *526.*

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

АНТОН СЕМЕНОВИЧ МАКАРЕНКО

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

[redacted] трех томах

Том [redacted]

ФЛАГИ НА БАШНЯХ. КНИГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ [redacted] ПРИМЕЧАНИЯ К ПОВЕСТИ «ФЛАГИ НА БАШНЯХ» [redacted] К «КНИГЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

Издание второе

Заведующий редакцией педагогики *М. И. Мухин.*
Редактор *Н. Г. Несын.*
Художеств. редактор *Г. Е. Полищук.*
Художеств. оформление *С. А. Назарова, М. М Вольпова.*
Технич редактор *Л. Б Ланцман.*
Корректоры *А. И. Сергиенко, Е. И. Зубченко, Л. В. Шуминская.*

Информ. бланк № 5011.

Подписано к печати с матриц 27.12.84. Формат 60×90/16 Бумага типогр. № 2. Гарнитура литературная. Способ печати высокий Усл. л. 36 + 1,062 вклейки + 0,25 форзац. Усл. кр.-отт. 38,56. Уч -изд. л. 45,17 + 0,85 вклейки + 0,42 форзац. Тираж 65 000 экз. Изд. № 30171. Зак. 5-1102. Цена 4 р.

Издательство «Радянська школа». 252053, Киев, Ю. Коцюбинского, 5.

Книжная фабрика им. М. В. Фрунзе, 310057, Харьков-57, Донец-Захаржевского, 6/8.

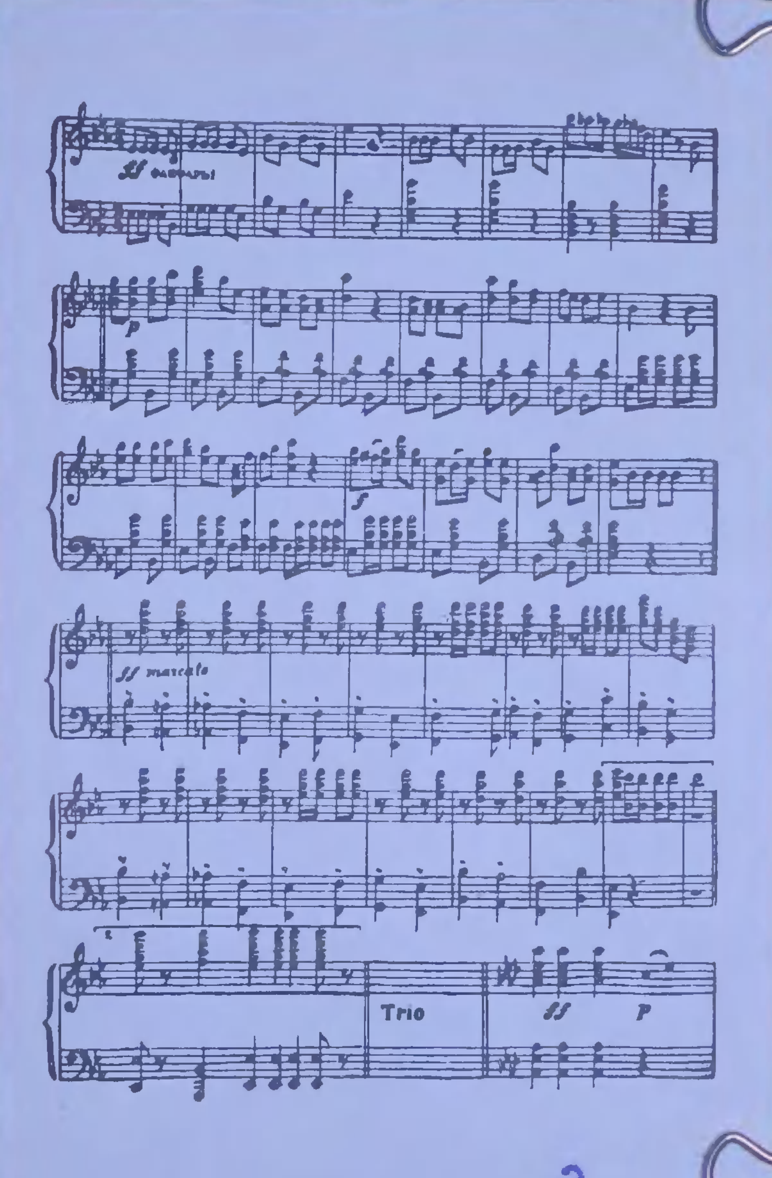
Макаренко А. С.

М15 Избранные произведения: В 3-х т./Редкол.: Н. Д. Ярмаченко (председатель) и др.— Изд. 2-е.— К.: Рад. шк., 1985 — (Пед. б-ка).

Т. 2. 1985, 574 с., В пер.: 4 р. 65 000 экз.

В том вошли произведения «Флаги на башнях», «Книга для родителей», а также авторские материалы, приложения, комментарии и примечания к названным произведениям.

М $\frac{4702010200-289}{М210(04)-85}$ 74+Р2


ff
p
f
ff marcato
Trio
ff
p

Марш коммунаров.
Слова воспитанников коммуны имени Ф. Э. Дзержинского

МАРШ КОММУНАРОВ

Дзержинцы, дни прекрасные
Впереди цветут.
Вас знамена красные
К лучшим дням ведут.

Великими дорогами
Коммуна пусть идёт,
Эй, веселей, эй, веселей...
Трубами вперед!

Дни тяжелые забыты,
С лучшей долей, с лучшей волей
Наши жизни перевиты,
Песней молодой.

Коммунары, трудовой дорогой,
Вспоминая подвиги отцов,
Бодрым маршем идите к жизни
новой,
Маршем радостным новых борцов.

